

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й М И Р

10

Н О В Ы Й
М И Р

1991

10



© 1991



Н О В Ы Й М И Р

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10 (798)

Октябрь, 1991 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО — Белый свет, стихи	3
МАРИЯ АВБАКУМОВА — Балтийские медитации, стихи	5
ОЛЕГ ЖДАН — Вплотьмах, провинциальные рассказы	9
ЛЕВ ТАРАН — Обыкновенная жизнь, стихи	44
ИГОРЬ СЕЛЕЗНЕВ — Потапов и другие, стихи	46
ФЕЛИКС СВЕТОВ — Отверзи ми двери, роман	48
ЗИНАИДА МИРКИНА — В молчанье, стихи	128
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. ГЛАГОЛЕВ — За други своя. Публикация, подготовка текста, примечания и предисловие П. Проценко	130
ИВАН ТВАРДОВСКИЙ — «У нас нет пленных». Страницы пережитого	140
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
И. СУРАТ — О «Памятнике» <i>Из истории русской общественной мысли</i>	193
И. А. ИЛЬИН — О сопротивлении злу. Вступительная статья и со- ставление Б. Н. Любимова	197
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЕЛЕНА НЕВЗГЛЯДОВА — Несвоевременные мысли о поэзии	225
ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ — Представление окончено	235

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

244

Ольга Николаева. «...без бытия»

Вл. Славецкий. Гармонии таинственная власть.

КОРОТКО О КНИГАХ:

И. Винокурова. — I. Евгений Рейн. Темнота зеркал. Стихотворения и поэмы. II. То время — эти голоса. Ленинград. Поэты «оттепели». Сборник стихов. ♦

А. Песков. — Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в. ♦

Алекс Сэндоу. — Revue des études slaves. T. 59. Alexandre Puchkin. ♦

А. В. Давидян, А. В. Жуковская. — А. Н. Архангельский. Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный всадник»

251

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

256

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. Пятое дополнение. Невидимки.

ЛЕОНИД БЕЖИН. Калоши счастья. Записки случайного философа.

СЕРГЕЙ КАЛЕДИН. Поп и работник. Сцены приходской жизни.

ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери. Роман. Продолжение.

ОЛЬГА ГРЕЧКО. Мне на плечи садились бабочки. Стихи.

ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Бушует черноморский вал. Стихи.

БОРИС БОЖНЕВ. Из книги «Борьба за несуществование». Стихи.

Ю. ШРЕЙДЕР. Синдром освобождения.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Трифонов, Шукшин и мы.

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Странная вещь, непонятная вещь (О романах Василия Аксенова).

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки на журнал во всех странах (кроме СССР) принадлежат германской фирме «A. NEIMANIS». По всем вопросам, связанным с подпиской и распространением журнала за рубежом, следует обращаться по адресу:

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5, Germany. Tel.: 089/26 30 76, FAX 26 30 77.

ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО

*

БЕЛЫЙ СВЕТ

* *
*

Деревья только воплотят
Весь гнет и воздух колоннад,
Какими их провидел зодчий.
Чтоб в их листке века спустя
Лепило родину дитя,
Дивясь на своды славы отчей...

Вот, как и встарь, из бездны лет
Упал в ладонь младенец свет,
И, вавилонские предтечи,
Потомки истинных скорбей,
Мальцы Крапива и Репей
Сошлись над ним, смыкая плечи.

Вновь слышится: «Не уходи...»
И под ногами и в груди
Любви настойчивые всходы...
Душа народа не скорбит,
Взирая на обломки плит,
Когда над нею эти своды.

Не в том же суть, чтоб мир узнал,
Кто плуг здесь вел, кто кровь ронял,
Кто храм воздвигнул, небо тронув...
Земля доселе не полна
Трудами сердца. И земна
Печаль умов под сенью кленов.

Когда сбывается закат,
Тревожат сумрак колоннад
Недремных пращуров смотрины...
Деревья только воплотят
Все то, что зрело невпопад
В народе на груди равнины.

В который раз раскрылся зрак,
И время полоснуло так,
Что раб затейный лиру пропил!..
Земля доселе не полна
Плодами лун. Но новизна —
Вне хрупкой страсти
Хриплых сопел...

* *
*

Четыре сестры мою нитку сучили
Из белого света.
Вдоль смерти по жизни ходить научили
И любят за это.
И каждая втайне глядит как на сына
И молится сладко...
А званьем — царица,
А статью — рябина,
А сердцем — солдатка...
И страшно однажды из рук их напитокъ.
Шутливо проститься.
И думать, шагая: «Как небушко длится!»
Да вдруг оступиться...

* *
*

Говорил Калита, обнимая наяд:
«Это все суета, что про нас говорят.
Что Россия смешна, что Россия грешна,
Что у русского князя пустая мошна».

Утверждал Калита, отправляясь в Орду:
«Мы построим Лимонию в новом году!
Я для матери-Родины денег найду.
Или там получу, или так украду».

Заневестились люди в своей наготе.
И привыкла земля доверять Калите.
Миновали века, а Россия стоит.
И о рае земном Калита говорит.



МАРИЯ АВВАКУМОВА

*

БАЛТИЙСКИЕ МЕДИТАЦИИ

*

Мы не нужны пришельцам.
Просто они посещают планеты, где приходилось бывать.
К старости это обычно.

*

Рига спустя четверть века.
Те же «три брата» и площадь Дома,
кошки... собаки... люди
те же — хотя и не те.

*

Развалины замка...
Такую бы старость — коль старости не миновать.

*

Грянувший дождь превращает Ригу
в город летучих мышей.

*

Любовь закрутила меня, как рапан.
Послушай: там твой океан гудит днем и ночью.

*

Эта сосна живет и не знает,
что имя ее — М
Эта сосна лучше всех.

*

Разбивается взгляд о косяк журавлей.
Что тут попишешь?!

*

Взморье
Зальсины осени
Свора цепных облаков

*

В парке, где много деревьев,
осень еще не хозяйка.
Но как же она измотала деревце на берегу!

*

Заморозки по ночам.
Вряд ли и твой приезд уберезет от них.

*

Над морем летели четыре утки.
Они не знали, что я их вижу и провожаю ласково.

Подумай вослед мне что-то хорошее.

*

Крохотные букеты в крохотных глиняных вазочках —
так много они говорят о душе латышей...

*

Человек, привыкший быть толстым и грузным,
не знает о том, что и он — Свет.

*

Лунный светоч горит для космических путников.
Потому он так холоден к нам.

*

Когда ты услышишь о своем раздвоении
(ты была здесь, но увидели там),
знай, что когда-то уже побывала
там — куда ждут не всех.

*

Даже собака ожидает улыбки, прежде чем подойти.

*

На пограничье моря и берега живут белые чайки.
На пограничье праха и вечности — светлые люди.

*

Вазочка, брошь, кошелек, янтарек,
сакта, засушенной травки пучок...
Как легко унести тебя, Латвия.

*

Ты слишком женщина, чтобы
кого-то любить из этих обломков мужчин.
Только жалость ко всем... только жалость.
Как Христофор — младенца Иисуса,
хочется перенести их через поток.

*

Ты, кто убил человека, — я не тебя виню.
Вспомни-ка первую встречу со взрослым:
о чем он с тобой говорил?..

*

Сосредоточься на осени. Взглядом листву обними.
Будь в одиноком молчании...
Может, услышишь шаги...

*

Человек — существо словесное —
в городах совсем изболтался.
И редко кто говорит.

*

Сухие былинки в стакане — все, что осталось от нас.

*

В этот смиренный день
что напишу я лучше латышской керамики,
все обо всем сказавшей?!

*

Затылочные люди,
боюсь я ваших очередей.
О как безразличны они к тому, что над ними.

*

Ездили в Каунас.
Экскурсовод закупала свечи... много свечей.
Этой осенью в Риге будет совсем темно.

*

Если бы каждый литовец проникся
сознанием Чюрлёниса,
за человечество я была бы спокойна.

*

Когда рядом море, люди не замечают реки.
Уходи, Лиелупе!
Ты найдешь свое счастье в Елгаве.

*

Латышский язык самый древний после санскрита?!
Так вот почему у латышских женщин
так часто скорбят уголки губ.

*

У этого громадного памятника нет почитателей.
Даже голуби не садятся справить нужду.

*

Создавшие это, теперь мы тычем друг в друга
пальцами.
Так бывает, когда создают не то.

*

Грифель костела напишет на небе все твои просьбы.
Только войди.

*

Слово уродует мысль.
Привыкший беседовать мыслью
обычно сторонится слов, как шумных базарных баб.

*

Над намагниченным собственной страстностью морем
стукки материи первородящей — чайки.

*

Эти лебеди в Дзинтари не хотят никуда улетать.
Они принимают подачки людей спокойно, лениво...
Эти лебеди что-то познали.

*

Здесь мне уже не найти свою половину.
Видно, она не здесь.

*

Сегодня роскошный закат. Как откровение, что
жизнь не в конце, а в начале.

*

Вспомнит ли про Океан
янтарная нитка на шее? —
в банку с морской водой ее опускаю.

*

«Когда ученик готов, является и Учитель».
Юноша вообразил, что он-то вполне готов...
Нетерпеливость приводит его к отрицанию.

*

Надев на себя все яркое,
ты скрываешь свое содержание черного цвета.
«По рвению нашему получаем цвет духовной одежды».

*

Аномалия молнии — это авария высоковольтки небесной:
миг страшный, но полный восторга.
Нечто подобное — встреча с невидимым вестником.
Я говорю это, ибо — познала.

*

В таллинском старом кафе среди седых и достойных дам
я узнала умершую маму.
Молчунья — она здесь так мило болтала.
...Как удачно ты воплотилась
после ужасной, мучительной жизни.

*

Я поздним вечером была у моря.
Глазам предстала бездна моря-неба.
Вдали, как мощный дух, светились волны.
Песчаный берег потерял границы
Глухая ночь. Христос один в пустыне.

*

Улыбка... ты рыбки пронырливей.
Сколько ты значишь в угрюмую пору!
А что ты такое, улыбка,
если не лучик розовой праны,
посланный нам на помощь.

*

Когда костенеешь от мысли ничтожности всех твоих дел, —
ты уже сделал шаг...

Дубулты, октябрь 1990.



ОЛЕГ ЖДАН

*

ВПОТЬМАХ

Провинциальные рассказы

Породок этот стоит на высоком берегу реки Вихра, на самом краешке Белоруссии. За рекой — Россия, Смоленщина. Понятно, что доля ему, оказавшемуся в таком месте, на таких дорогах, досталась соответствующая. Ни одна война за почти уже тысячелетнюю историю не минула, ни один мор или указ. Однако порой везло. Не оставила явных следов татарщина, не добрался известный рыцарский орден, не здесь душили газами людей в первую мировую, не дотла сожгли в Великую Отечественную. То же и иные наши дела. В тридцать втором и тридцать третьем опухали, разумеется, с голоду целыми деревнями, но умирали поодиночке. В тридцать седьмом и прочих сажали, но на месте не расстреливали — отвозили в Могилев, в «область».

Или — из последних событий: тучка, что неслась к городку из Чернобыля, вдруг задержалась, замешкалась, завертелась на месте. Куда? Налево, направо, прямо? Уловила просторным парусом новое небесное движение и помчала к Черикову, Краснополью, Славгороду. Там, поднакопив живительной влаги, и пролилась — где нежным майским дождем, где рухнула белым апокалиптическим градом. Град на теплых дорогах растаял к вечеру, на зеленых полях и лугах к утру, а в распадках лежал и два и три дня. Там — зоны: жесткого контроля, отчуждения, отселения.

Здесь — оазис. Подфартило, пронесло, повезло. Правда, некое время не продавали молоко, не собирали грибы и ягоды. Но к следующему году посмелели, привыкли. И в самом деле, что говорить о своем ожоге, если рядом — пожар?

То же и в прежние времена. Где-то Освенцим, Хатынь, Бабий Яр, Воркута, Магадан, — здесь...

Оазис в пустыне времени. Везло.

Хотя и не всегда одинаково и, само собою, не всем. Впрочем, о везении как-нибудь позже. Сейчас — о людях.

Заклинило

Когда очереди за вином сравнялись с количеством населения и стали позорить партийную и советскую власть, магазин по торговле такими напитками был перенесен на окраину. Там, у оврага, они, страждущие, терпеливо ждали открытия с утра до полудня, а потом бились яростным смертным боем. Толпа рвалась к двери ничтожного магазинчика ожесточенно, упрямо, и если бы не знать — за чем, можно подумать — за спасением. Продукт один — желаний, воля и выражения лиц тоже одинаковы. Казалось, продукт этот нужен всем сразу, а не каждому в отдельности: один поддерживает другого, и тыл так же важен, как авангард.

Дело в том, что — последний привоз, завтра 1 Мая.

Учитель математики Степан Лукич Князев, по кличке Царь (любил повторять: математика — царица), стоял в отдалении. Мелькали в толпе потные лица бывших учеников, учитель физкультуры успешно воевал у входа, но обратиться к ним не решался. Здесь же околичивался историк Иван Антонович — «диктатура пролетариата», тайный любитель выпить и закусить, униженно совал мятый червонец то одному, то другому, но кто возьмет, если на руки — две бутылки? Вообще-то как участник войны и инвалид — не было у него ступни, потерял в сорок третьем под Харьковом — он имел право без очереди. Но совестно махать инвалидной книжкой. Не хлеб.

Беда в том, что 2 мая Князеву сажать картошку. А еще в том, что не вовремя появился у Лехи Русского, который ежегодно вспахивал ему участок. Перемолоченный в такой вот мельнице Леха сказал решительно и бесповоротно: «Две вина или одну водки». «Где я тебе достану водки?» — обиделся Степан Лукич. «Не знаю. Математика — царица наук».

Леха Русский — бывший ученик, с пятого по десятый трювил душу, никогда бы не получил аттестата, если б не Князев, но когда то было и что ему аттестат!

Через час толпа вдруг обмякла и, как волна, штурмовавшая берег, с шипением начала отливать. Только кое-где сохранились воронки из трех-четырех человек: тоже решали, что делать и где искать. А когда и вовсе никого не осталось, Степан Лукич, поскрипывая протезом, вошел в магазин.

— Надя, — сказал, — мне картошку сажать второго.

Надя — тоже когда-то училась у него — охнула, ахнула.

— Степан Лукич, хоть бы вы мне мигнули!.. Ни одной бутылки нет! Только что Чупаревич звонил — где я возьму?

Чупаревич — начальник милиции, и уж если ему не досталось... Степан Лукич загрустил.

Однако в цепком взгляде Надежды мелькнуло некое соображение.

— Знаете что?.. Ехайте в Сутоки, к Таньке Прищеповой. Только не сегодня, а завтра после демонстрации. Ей председатель запретил сегодня торговать. Я вам записку напишу.

И, оторвав листок тетради, крупно написала:

«Таня, дай этому человеку, что у тебя есть. Очень прошу. Надя».

Степан Лукич повеселел.

— Спасибо, Надя.

— Степан Лукич! — горячо отозвалась она. — Если вам когда... Только заранее. Я для вас всегда... Кому-кому, а вам...

Хорошая была девочка, и женщина образовалась славная. Бережно спрятал листок.

На следующий день, с хорошим настроением отбыв демонстрацию, решил не ждать автобуса, а ехать на велосипеде. До Суток около пяти километров — в самый раз. «Куда это ты покати, Лукич?» — интересовались знакомые, увидев в костюме и галстук. Отвечал: секрет.

День солнечный, дорога асфальтовая. Протез удачный, удобный — что родная нога. Глядел по сторонам и радовался весне. Машины с флагами и песнями возвращались в деревни после демонстрации. Березовые дымки слева и справа, озимая рунь. Вот и Сутоки показались в распадке.

Однако подозрительно пусто было перед магазином. Поднажал.

Одна из машин, что обогнала его, разгружалась — несли флаги в правление, пританцовывали, гармошка играла, и бубен гремел. Видно, неслабо взяли: гармошка свое, бубен свое.

Не без робости вошел в магазин.

— Вы — Таня?

— Я.

Прочитала записку и так же, как Надя, охнула.

— Вчера еще продала!.. Мужики забастовали, и продала! А что делать? Они мне чуть магазин не разнесли!.. — Сочувственно глядела на него. — А вы кто ей будете?

— Да никто, — ответил упавшим голосом. — Учитель. Это я картошку собираюсь сажать.

— Ну понятно... — Помолчала будто в поисках выхода. — Вы на чем, на велосипеде? Съездите в Мазолово, а? Там Катя работает, моя швагерка, у нее должно быть. Я вам тоже записку напишу...

И переписала те же слова на таком же листке.

— Я учителей уважаю, — сказала на прощанье. — Если б было, я...

Доброе слово подняло дух — решил ехать. Еще пять километров — не десять. Небо чистое; жаворонки поют. Покатил.

В Мазолове, однако, его ожидало разочарование.

«Швагерка» Катя швырнула его записку обратно и закричала:

— Она посылает! Ей десять ящиков привезли, мне пять, и она посылает! Зойка посылает, Надька посылает! Мало у меня своих пьяниц! У меня склад, спиртзавод!

Злобно швыряла пустые ящики, будто он, Степан Лукич, испортил ей праздник своим беспробудным пьянством, из-за него она, когда все гуляют, торчит здесь.

Вышел.

Магазин стоял у дороги, рядом — остановка автобуса. Толпились там молодые ребята в солдатской форме — то ли демобилизовались недавно, то ли приехали на побывку.

— Что, отец, дала в кости?

— Дала... — усмехнулся.

— Придется в Ходосы ехать. Там вчера винища привезли — вагон.

Ходосы — станция. Очень похоже.

— Вагон?

— Ну.

От Мазолова до Ходос, однако, еще десять километров... Что делать? С велосипедом в автобус не влезешь... Оставить в деревне?

— Скоро автобус?

— А бес его знает. Если б у меня была тачка... — кивнул на велосипед.

«Поеду», — решил Степан Лукич.

В конце концов в приключении появлялся юмор. Юмор — если возвратиться с полным. И нелепость — если с пустым.

Автобус обогнал его, когда въезжал в Ходосы. Шофер посигналил, а ребята, те, что насоветовали, кинулись к окнам, махали руками: дескать, давай, отец, нажимай. У цели! Обрато под газом будет веселей.

Он тоже помахал им.

А когда подъезжал к магазину, они уже стояли на дороге и плевались: ни «винища», ни водки, ни, разумеется, пива. Минеральная вода «Минск-3».

— В Черкасове есть, — сообщили ему. — Только туда автобус не ходит.

Завистливо поглядели на велосипед.

— Что будете делать?

— Как что? Пойдем! Семь километров... Час-полтора — и мы в канаве.

Рассмеялись.

— А если и там нет?

— Как нет? Сами видели: на бровях оттуда мужик валил. И за пазухой два пузыря нес.

Ну что ж, подумал Степан Лукич, все равно возвращаться. А Черкасово хоть и в стороне, но на обратном пути. А там — сразу домой. Главное же, вспомнил, что в магазине там работает еще одна бывшая ученица, Галя Сидорчук, — виделась года три назад.

Парни уже пылили далеко впереди. Была не была.

— Отец, — кричали, когда обгонял, — дуй веселей!

— Дед, закусь есть?

— Дорвешься — из горла не пей!

И что-то еще. Он повернул голову и кивал.

Дорога стала похуже — проселочная. Дождей не было давно, пыль лежала в ладонь. И культа на протезе начала гореть.

Впрочем, семь километров — не много, если двадцать уже пропахал. Как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо копать. Леха Русский мужик прямой и бесповоротный, а с лошадьми в городе беда.

Крутил поскрипывающие педали и меж тем думал кое о чем.

К примеру: не смешно ли, если поглядеть на все это с птичьего полета?.. Конечно, зависит от того, кто летит и глядит. Птицам, должно быть, смешно. А людям? Им не видно? Зрение похуже, чем у птиц? Ладно, возьмем пожиже: со второго этажа райкома и исполкома. Им все равно?.. А если из окна школы, где проработал тридцать пять лет? Вот отсюда в самом деле смешно: учитель, старый, в общем, человек, — и за «винищем» по всему району... С другой стороны, есть в городе десяток беспробудных пьяниц. Как с ними бороться? Надо придавить так, чтоб весь городок пищал. А если страдаешь за будущую всеобщую трезвость, тогда легче и педали крутить.

Усмехался: перспектива обнадеживала его.

В Черкасове Степан Лукич был давно, лет десять назад. Только и помнилось что деревушка с ручьем и островок березового кладбища. Через час пути начал оглядываться: пора быть.

Что-то он слышал о Черкасове год-два назад. Что?.. Или заплутал? Была, похоже, развилка, да и не одна...

И вдруг, увидев ручей, березовый островок на отшибе, понял, что едет по когдатошней деревенской улице. И вспомнил, что года три уже как снесли ее, маленькую и неперспективную, и соседнюю смахнули, Старую Былку, построили новую. Куда теперь, где?

Дорога поднималась на пригорок, всполз на него и увидел — вот он, новый поселок. Версты три. Белый, каменный, чистый, ни ручейка, ни болотца, ни деревца вокруг. Даже кладбища еще нет. Вон и магазин при пыльной дороге, и люди копошатся возле него. Может, и продавщица другая?

Через полчаса он входил в магазин.

За прилавком в белом халате стояла Галя. Поздоровался — ответила, рассеянно отвела взгляд. Неужто так постарел?

— Галя, — позвал жалобно, — или не узнаешь меня?

— Нет, — испуганно сказала она.

И тут понял, почему не узнает: дорожная пыль толстым слоем лежала на праздничном костюме, на нелепом галстуке, на бровях, ресницах, усах.

— Это ж я, Степан Лукич, учитель твой.

— Господи! — чуть не кинулась через прилавок. — Что с вами, Степан Лукич? Ей-богу, не узнала... Что вы здесь?

— Ой, Галя. Все не расскажешь. Езжу по району, водки ищущи или вина. В Сутоках был, в Мазолове, Ходосах... Картошку собираюсь сажать. Леху Русского помнишь? Сказал: без бутылки не приходи.

Она вышла из-за прилавка, стояла лицом к лицу, качала и кивала головой, словно с ее учителем стряслась беда.

— Миленький вы мой, — сказала. — Нечем мне вам помочь. Мне вообще ни одной бутылки не завезли. Ни одной!.. И дома нет. Я одну бутылку с женского дня держала на всякий случай, вчера глянула — нет. Мишка выпил не знаю когда. Если б было... Да я бы вам... Степан Лукич, я... Или не верите?

Степан Лукич улыбался: до чего славные девчата учились у него.

— Ладно, Галя. Это я сдуру. Сперва туда, потом дальше, как молодой. Обойдусь.

— Да я этому Лехе в рожу пьяную плюну! — сказала Галя. — Я ему, красноордому...

— Не, не надо, Галя, — сразу запротестовал. — Он ничего. А то вообще... Коней в городе нет.

— Степан Лукич!.. — Уже знакомое — по Наде, Тане — выражение мелькнуло в лице Гали. — Говорят, в Калиновке есть. Подруга у меня там, я ей записку напишу. Она запасливая, и мужик у нее не пьет... Тут рядом, километра три. Ну четыре...

— Нет, — усмехнулся Степан Лукич. — Ну ее. Поеду домой.

Потом она звала к себе — поесть, отдохнуть, — но Степан Лукич решил возвращаться: стыдно чувствовать себя дураком.

Она его проводила, выгнав из магазина мужиков, и стояла с тем же до крайности виноватым лицом, пока он не скрылся за холмом.

Отъезжая от магазина, Степан Лукич крутил браво-жваво, а скрылся из глаз и понял, что ехать больше не может. Остановился, чтобы пройти немного пешком, и почувствовал: так и будет стоять до вечера, не может вторую ногу свалить, светло.

— Приехали, дурак дураковский, — сказал вслух.

Кое-как, однако, задрал, свалил. Тут увидел тот самый ручей — вот спасение. Подобрался к бережку, содрал протез, окунул ногу. Ох, славно!.. Вот почему жизнь зародилась в воде. А скольких дураков спасла?

Посидел у журчащего, попил серебряной, ополоснул лицо. Теперь хоть в Калиновку!.. Но — хватит людей смешить. В конце концов, можно и под лопату. Весна только начинается, до Духа можно сажать.

Вперед? И пропилил, как молодой, километра полтора.

Все. Пришкандыбал. Юмора — хоть отбавляй.

Через час попробовал подняться — не смог. Что дальше — ползком? И как теперь — с птичьего полета или хоть из окна?

Тут бы ему и ночевать, если б не случай: телега показалась на холме. Глядел на нее, как потерпевший кораблекрушение: свернет или не свернет?

Однако телега приближалась.

— Хозяин, — попросился, — подвези.

— А этот? — возница, мужчина его возраста, кивнул на велосипед.

— Заклинило, — ответил неопределенно.

— Ну грузи.

Погрузить можно. Как самому подняться?

Возница подозрительно глядел на него.

— Мэкнул маленько?

— Ну да, в лежку.

Слез с телеги, помог подняться — поверил, но все ж понюхал около носа.

— Что это ты?

— Я ж говорю: заклинило.

По дороге рассказал о своих приключениях. Рассказ понравился, но ничего смешного старик в нем не нашел.

— А я на них не надеюсь, — сказал он. — К Пасхе выгнал литров двадцать... До Духа хватит. Кабы знать, и тебе уступил.

Вот ошибка. Надо было сразу не водку, не «винище» искать, а родной самогон. Довез до самого дома. Вывалил на траву.

Утром следующего дня Степан Лукич проснулся, как всегда, рано и решил начинать. Взял лопату, пошел в огород. Земля легкая, погода ясная, скворец пел на яблоньке — работалось хорошо.

Не успел, однако, пройти один ряд, как услышал: «Тпррру!..» — увидел Леху. Плуг лежал на телеге — значит, к нему. Предчувствуя конфуз, вышел навстречу.

— Леша, — сказал, — а я не достал.

— Чего?

— Ни вина, ни водки. Ничего.

Леха увидел лопату в его руках и неожиданно начал буреть.

— Лукич, — сказал, — ты как дите. Я болтанул, ты поверил. Что я, наркот?.. Это я на них разозлился. Не могут хоть к празднику привезти. Взяли силу над мужиком.

Тем временем распрягал лошадь, выводил из оглобель.

— Так я и картошку не приготовил, — сказал Степан Лукич.

— Иди готовь.

Лукич кинулся в сарай.

Впрочем, сеянка заготовлена была с осени, и не только заготовлена, но и пророшена на солнышке, оставалось собрать в корзины и ведра и оттащить на огород.

Забегала и жена в доме.

Семь соток — не большая работа под плуг, закончили через час. Леха привязал коня к телеге, хитро спросил:

— Может, по шкварке, Лукич?

Порылся в сумке под сеном, вытащил бутылку.

— Откуда она у тебя?

— «Диктатура пролетариата», — ответил и рассмеялся. — Я ему уже вспахал.

— Где он достал?

— В Калиновке.

Эх, кабы знать... С другой стороны, мог там со своей бутылкой и заночевать.

И когда заканчивали обед, Леха, хватив лишнего, громко говорил, на что он готов для него, Лукича, любимого своего учителя. И вспахать готов, и поборонить, и распхать-выпахать, и... Даже если бутылка ему потребуется — готов. Он же не какая-нибудь скотина или наркот.

Степан Лукич тоже расчувствовался и думал о том, что вот она, одна из минут оправдания жизни. Многие проверялось этой простой минутой: и какой он учитель, и — какой человек.

Когда-то в центре города находилась Базарная площадь, а вокруг унаследованные со времен нэпа магазинчики, жестяные мастерские, кузница. В мастерских без роздыху гремели молотками жестянишки, в кузнице черномазые молодцы месили раскаленный металл с утра до вечера, на Базаре вопили и звонили по кувшинам горшечники — не было для нас, мальчиков и подростков, зрелища интереснее, чем азартный всеобщий труд.

Дома тоже все всегда торопились. Утром, поднявшись, — бегом за водой, бегом за дровами, бегом к плите, бегом на работу. Сеяли, сажали, пололи, убирали, готовили, стирали... Вся жизнь была — труд, естественный и нескончаемый.

Прошло немало времени, пока я познакомился с иным отношением: «где бы ни работать, лишь бы не работать», «позже начнем — раньше кончим», «работа дураков любит» и так далее. Вдруг оказалось, что труд не приносит удовлетворения, трудолюбивый наивен и глуп.

Одновременно уменялись числом ремесленников и продавцов базары, а ропот его, недавно слышимый в любом конце города, затих. Когда закрыли последнюю из шести городских церквей и костелов — Александра Невского, базары и вовсе сошли на нет: многие ехали в город из деревень посещения церкви ради, ну а чего теперь вставить ни свет ни заря?

Закрывались мастерские и кузницы. Мой старый знакомый, бывший кузнец Григорий Авербах, рассказывал, что к началу коллективизации насчитывалось в городе сорок две кузницы — на всех дорогах, проездах, выездах. Отнюдь не только шкворни да лемехи ковали там — производили все, что нужно в хозяйстве: колеса, телеги, жернова...

Я застал последнюю — в центре города. Наконец потушила горн и она.

Дольше продержалась мастерская. И не потому, конечно, что жила по другим законам, а — был в городе Мастер, который умел все, от велосипеда и гармошки до стиральной машины и холодильника. Единственно чего не умел — выписывать квитанции, посылал, грубый человек, тех, кто требовал таковых, подальше и еще дальше и вообще держался как хозяин, а не наемный рабочий. Вспомним, кстати, что одно из забытых значений слова master — хозяин... А поскольку был он нужен всем, в том числе райкому, райисполкому, его терпели.

Лет десять назад Мастер погиб. Тотчас профессия и роль его расплылась на десяток иных: слесаря, сантехника, сварщика, настройщика... Вот только мастерами никто их не называет. Есть имя, фамилия — хватит.

Будет

— Гок? — дурашливо спросил молодой парень.

— Гок, — согласно ответил пожилой.

— Гак?

— Гак, гак, — опять снисходительно и терпеливо согласился.

Это была присказка. Придумал ее пожилой, а молодой подхватил и повторял поминутно. В распоясанной гимнастерке, коренастый, крепкий, крутые плечи, он подмигнул, перебросил топор из руки в руку.

-- Засекай, дядя Ваня. Шестьдесят секунд. Ах! — выдохнул и, делая насечки, задом кинулся вдоль бревна. Прыжком вернулся и отлупил метровый кусок. — Ах! — отвалил в сторону. И пошел, пошел.

Дядя Ваня дым пускал и шурился, глядя на него.

— Готово! — крикнул молодой. — Минута?

— Что ты рекорды ставишь? — ответил пожилой. — Работай. На спор и Степка-дурак успеет. Вот давай ухо руби. А потом я.

— Ладно. Засекай.

Шея у него была загорелая, руки крепкие, а когда сгибался и разгибался, вдоль спины от поясницы до шеи вздымались два длинных крутых бугра — мышцы молодые, завидные. Лопатки пропечатывались под гимнастеркой. Шея наливалась легкой молодой кровью.

Топор вгрызался сочно, и рубленое дерево брызгами вылетало из-под лезвия.

— Ах! — сказал парень. — Ну?

Вместо ответа дядя Ваня плюнул в корявую ладонь, подошел к другой лесине, размахнулся — топор тонко зазвенел.

— Раз! — выдохнул. — Два! — И поглядел на молодого. — Раз! — снова выдохнул. — Два!.. — Воткнул топор, пошел в сторону. Поднял бычок, затыкнулся и довольно сощурился.

— Ты, дед, сорок лет с топором, а я второй год.

— Сила — дура, — ответил с хорошим настроением. — Глянь, как дерево покурочил.

— Старый ты становишься, — рассмеялся молодой. — Болтаешь много.

Дядя Ваня обиделся.

— Я тебя, дурака, работать научить хочу. Чтоб перед людьми совестно не было, чтоб...

— Кинь, дед, дурное. Не меньше тебя зарабатываю.

— Зарабатываешь... Так ведь деньги — что? Позор, если... если...

Молодой улыбнулся. Улыбка у него была хорошая — смелая и необидная.

— Все говорят, что у тебя не хватает. Так и есть.

— Кто это говорит? Гришка?

— Люди.

— Будешь людей слушать — дурнем останешься.

Он еще долго ворчал, повторяя «люди... люди...». Молодой тоже помалкивал. Однако долго дядя Ваня сердиться не умел — воткнул топор, разогнул спину.

— Сегодня стропилы поставим, — сказал и погладил лесину, — завтра обрешетим и крыть начнем. Не люблю крыть. Не плотницкая работа.

Хозяйка вышла из дому — молодая, лет тридцати женщина. Подозрительно поглядела на них.

— Мылятся, — сказал дядя Ваня. — А чего?

— Мало дернул с нее, вот и мылятся. Бабы — они такие. Дернешь — уважает, не дернешь — нет. А может, супа хочет?

— Супа?

— Ну. Я поды одной перетягивал на Здоровцах. Тоже мылилась. В обед есть съедет — меня не зовет. Ладно, думаю, была не была: что мне, с голоду помирать?

Хвать за шмоньку. Она кастрюлей — держу. Сковородой — держу. «Пусти, — говорит. — Супа хочешь?» И пошло. Утром, в обед, вечером. Месяц перетягивал. Когда-никогда и теперь загляну... А ты, дядь Ваня, как? Уже не можешь?

Тот стеснительно глядел вбок.

— Я... это... как сказать...

— Рано сошел с дистанции. У меня дед до семидесяти воевал.

— Здоровья нет, Васька. А так... Что ж...

Затюкал топором. Однако, видно, здоровья в самом деле было маловато: скоро уронил топор, вытер шапкой лицо.

— Я здоровье потерял, когда председателем работал.

— Перестарался? — обрадовался молодой. — Всех перепилил или только девок?

— Да нет, я... это... Девкам замуж надо, а семейные... Не было этого.

— Ни разу? Ну ты даешь, дед. Зачем жил?.. Но колхоз ты им, понятно, развалил, а? — спросил с новой надеждой.

— Как сказать. Лучше не сделал, но... Не получалось. Опять же, грамоты мало, один билет. Заставили... Зато встречу кого теперь из той деревни — здороваемся. Никому не мешал. Собрал бригаду из хлопцев и всем дома за два года поставил. День и ночь колотил.

Молодой выслушал, но, чувствовалось, не очень поверил.

— А что, дядь Вань, — сказал, — хозяйка сегодня бутылку не выставит?

— С какой стати? — Задержал топор на весу.

— Работа идет! Для настроя... Или, может, сообразим в обед маленькую? Завезли вчера в «Колосок».

— Не, Вася, — ответил ласково. — Стропилы ставить. Сиганешь сверху — и к Гилтеру.

Гилтер, по кличке Гитлер, — давно померший сторож городского кладбища.

Молодой улыбнулся: жизнь только начинается, до Гитлера далеко.

Топоры были острыми, лес податливым, работа спорилась, они увлеклись и долго молчали.

Подступала осень, было пасмурно, но польхал кругом желтый цвет. Вызревшие яблоки в саду перебывали запах сосновой стружки. Дядя Ваня время от времени принохался, головой крутил: «Ух, пахнет, ух, пахнет, — приговаривал. — Что на спиртзаводе. Бродит оно, что ли, яблоко?» И молодой принохался.

— Дядь Ваня, — сказал вдруг, — ты ведь на спиртзаводе тоже работал?

— Ну, — согласился. — Это когда меня с председателей... Работал.

— Попил спиртику?

— Маленько, конечно, попил, но... Не, немного.

Молодой засмеялся:

— Врешь, дед. Я знаю: сам не пил и другим не давал.

— Как не давал? Давал... Только ж надо человеком быть.

— Вот тебя и выперли.

— А я и сам не хотел, — опять нахмурился.

Стропила были почти готовы.

— Дядь Ваня, — сказал молодой с хитростью в голосе, — а у меня не хуже твоего выходит.

Дядя Ваня, не разгибаясь, снизу посмотрел в его сторону.

— Ну что ж. Девки уже давно щупаешь. Я в твои годы...

— Тоже щупал?

— Не... Уже женатый был. Я в твои годы... Ты вот на мотоцикл собираешь, а я на штаны собирал. Помню, годков в пятнадцать... — Примолк, вспоминая, но молодому стало неинтересно.

— А может, сделаем? — сказал он. — Что — маленькая на двоих?

— Не, Вася. Если охота, ко мне пойдем, молодуха моя огурчи́ков нарежет... Я уже и не могу так, на пеньке. Люблю ви́лкой поковыряться... А может, и хозяйка поставит. Слышь, жареным пахнет?

— Не похоже, — сказал молодой.

— Не похоже.

— Вот разве — за шмоньку?

Сомнения оправдались. Вечером, когда заканчивали работу, хозяйка вышла, сладко улыбалась, говорила, что картошка опять не уродила, а вот гарбузы разнесло по всему огороду. Они слушали, но сами помалкивали, лицами посуровели.

Обтерли топоры, пилу завернули в тряпку.

— Чепела рыжая, — сказал вслед хозяйке дядя Ваня. — Надо было дернуть с нее сотни четыре.

- Вот я и говорю, — оживился молодой. — Надо ей сказать... Гришка вчера...
- Ну, Гришка... — сразу перебил дядя Ваня. — По Гришке тоже волки воют.
- Чего ты с ним? Он про тебя ничего.
- Я его знать не хочу.

Шли в потемках, и дядя Ваня тяжело сопел. То ли сердился, то ли прокурил вконец легкие.

— Я себе сарай строил, — сказал вдруг. — Одному стропилы не поставить, Гришку позвал.

— Не пришел?

— Пришел... Полста взял!

— А, дед, какие деньги... Бутылку вам надо брать и мириться.

— Не в деньгах дело, — неохотно отозвался тот.

Лужи стояли на дороге. Молодой перепрыгивал, а дядя Ваня шлепал напрямик и сердился.

— У него байстрюки по всему району, — сказал Васька. — И все на него похожи. Идем по городу, а он показывает: «Мой... И тот мой». На каждой улице отмечился. Хорошо вам было после войны!.. Он и теперь как молодой. Мы в Коробчине комин одной хозяйке перекладывали — я вечером домой, он к ней на печку. Дядь Ваня, а ты... Неужто совсем не можешь? Страшно подумать. Как без этого жить?

— Молодой ты, Вася. Совсем еще молодой... — И вдруг остановился на перекрестке. — Знаешь, пойдём-ка в ресторан. А то моя молодуха... Кто ее знает. Может и чепелой. Бурчала с утра.

В ресторане было пусто, но сели они за самый крайний столик, в углу. Все-таки заведение, а пришли в кирзовых сапогах, с пилой, топорами. Впрочем, не от сознания сели в угол, а чтоб не выперли. И когда официантка подошла, дядя Ваня навстречу шею вытянул, торопливо заказал котлету и водки: дескать, расслаживаться и портить картину не собираются, а работали весь день люди, надо перекусить. Официантка чиркнула в блокноте, ушла, и дядя Ваня с облегчением вздохнул, повеселел. Молодой же не боялся ее, на ноги поглядел, проследил, как шла.

— Толстая, — неуверенно сказал дядя Ваня.

— Не, — возразил Васька, — что надо.

Дядя Ваня промолчал, на эти темы он давно разучился говорить.

— Жениться тебе надо.

— А! Не пекет.

— Пока человек не женится, считай, жить не начал. Одна беготня.

Васька улыбнулся и поглядел на вновь подошедшую официантку — раскладывала ножи, вилки и не спешила.

— Ничего, — сказал громко. — Потерпим. Дураки женятся сразу после армии. Гульнуть надо.

Стащил с плеч бушлат, повесил на спинку стула.

— Ну?

Дядя Ваня сразу сморщился, скукожился, понес рюмку ко рту, выпил, плюнул. Василийпил уверенно, даже головой не мотнул, только губы сжал — и с вилкой к котлете.

— Хорошо пьешь, — позавидовал дядя Ваня. — А у меня уже года с три как плохо идет. А бывало, сяду...

Василий засмеялся. Проглотил и сказал:

— Тебя, дед, не поймешь. То хвастаешься, то жалуешься. — И вдруг умолк. — Глади-ка. Это кто?

Дядя Ваня оглянулся и сразу сник: Гришка, до сих пор огненноглазый и кучерявый, оглядывал с порога зал.

— Помирю вас, — сказал Васька.

Остановить его дядя Ваня не успел.

Гришка сделал вид, что только теперь заметил, двинул в их сторону.

— Здорово, — сказал, ни на кого не глядя. — Заседаете?

Сел и сейчас же развернулся всем телом в зал, отыскивая официантку. Наверно, и он ощущал неловкость.

— На-ка, — сказал Васька. — Гундерграм.

— Да щас.

— И ты, дядя Ваня.

— Не, — помотал головой. — Не идет.

Гришка сидел к нему левым боком и тотчас насмешливо взглянул левым огненным лошадиным глазом. Вздернул голову — как закусил удила.

— Ладно, — сказал дядя Ваня. — Давай.

Чокнулись, глядя на рюмки.

Васька свою котлету подставил Гришке, но тот только рукой перед ртом помахал.

— Не закушую. Иначе не берет, холера.

Васька рассмеялся: ситуация ему нравилась.

Принесла официантка еще графинчик. Поглядела на Ваську, круто повернулась, пошла. Гришка вслед глянул, крикнул, а Васька подмигнул:

— Во магнит, а?

— Магнит!

Оба рассмеялись и поглядели на дядю Ваню.

— А вот дядя Ваня не может, — сказал Васька. — Хотя, если молодую подложить под бок... массаж сделать... А, дед?

— Придуривается, — возразил Гришка. — Я его знаю. Он тут весь чернозем перепахал. Знаешь, почему его Степановну нельзя было уговорить? А потому что там, где Иван поздоровкался, делать нечего. На всю жизнь память. Разрывной снаряд.

— А, дядя Ваня? — продолжал Васька. — Если молодую?

— Не, — неожиданно ответил тот. — Если молодая... совестно.

— А старую не совестно? — спросил Гришка.

И оба захохотали так, что все вокруг обернулись и официантка выскочила из буфета.

— Ладно, — сказал Гришка, будто уступая судьбе, сдаваясь, и взялся за графинчик. Поднял его, задержал и налил первому дяде Ване.

Теперь отказываться было поздно. Пил тот раз, надо пить этот. В голове звенело, и побаливал живот, как всегда после плохой закуски. А главное — было на душе тяжело. Что-то в ней подвывало: а-а-а, у-у-у...

Те, вдвоем, разговаривали, официантка бегала мимо. Гришка порой взглядывал на него, как бы предлагая вступить в разговор.

— А Клавку на Слободе знаешь? Во магнит!

— Магнит!.. А Танька Шепелева?

— Не, ноги тонкие.

— Зато с разворотом! Я, когда рамы ставил Павлючихе... Чего она из-за забора выторкивается, думаю? Эй, говорю, рыжая...

Одно время дядя Ваня жалел, что плюнул тогда ему в рожу. Черт с ней, с полсотней, не в ней же дело... В самом деле, почему он должен за спасибо работать? Кто он ему — кум, сват? День человек потерял от и до. Гришка тоже хотел помириться. Но — воротила душа, не мог на него глядеть. Улицу переходил, в другую сторону поворачивал. Надо, надо мириться, трудно одному, вот молодого пришлось позвать. Сам не Иисус Христос. Рука его потянулась к графину.

— Вот другой разговор, — обрадовался Гришка. Отобрал графинчик, налил так, что задрожало на краешке.

Выпили.

— И сколько вы дернули с ее? — спросил Гришка.

— С дядей Ваней дернешь, — сказал Васька весело.

— Да... Вот ты, Иван, за ту полсотню никак не успокоишься. А сколько у меня денег отнял?

— Как это? — опешил дядя Ваня.

— А так. Работа стоит двести, ты берешь сто. И получается — ты хороший, я — скотина.

— Это ты про Савельевну?.. Совесть надо иметь, — сдавленно сказал дядя Ваня. — Она... ей...

— У меня сыны учатся в институте, помогать надо. Дочка больная. А Савельевна твоя — одна, и пенсия у нее по первой группе. У меня такой пенсии не будет и у тебя не будет.

Дядя Ваня молчал, глядя под стол. Опять, как всегда в разговоре с Гришкой, не было на языке слов, а в голове мыслей. Но что-то забрезжило в этот раз.

— А вот интересно мне... — начал он и ядовито усмехнулся.

— Чего? — насторожились.

— Интересно мне, Гришка, как ты при коммунизме жить будешь?..

— Где? — не поверил ушам, аж поперхнулся. — Коммунизме?

— Да, — подтвердил дядя Ваня, мстительно усмехаясь. — Коммунизме.

Гришка с Васькой переглянулись и захохотали.

— Готов, — сказал Васька. — Понесем?

И тут же смолкли, вглядываясь в него.

— Ты, Иван, газеты читаешь? Какой коммунизм? Его на нашей жизни, слава Богу, не будет. Отменили.

— Будет!

— Не, не будет, — сказал Гришка и отвернулся.

Оставшееся время дядя Ваня не произнес ни слова. Живот перестал, и в голове не звенело, но звук усилился: у-у-у...

Гришка с Васькой о чем-то спорили, кажется, договаривались взять работу на двоих.

Наконец поднялись, помогли и ему подняться. На крыльце опять громко и весело говорили, но о чем — дядя Ваня уже не знал. Гришка хлопал его по спине.

— Дойдешь?

— Дойдет! Разве к чужой заблудит. Ты, дед, сразу требуй массаж!

Никому не отвечал, будто оцепенел.

Разошлись в разные стороны. И только на своей улице дядя Ваня пришел в себя. Шлепал по лужам и зловеще и угрожающе повторял про себя: «Будет... Будет!»

По семейным обстоятельствам

Антон Литвин вступил в партию, когда служил действительную. А то, что совершил ошибку, понял, когда оказался на гражданке и взносы пришлось уплачивать не с 3 руб. 80 коп. — зарплаты рядового солдата, — а со ста пятидесяти и больше. Впрочем, не сам понял — подсказала супруга. «Хорошее дело, — произнесла однажды задумчиво, — кило масла каждый месяц отдаем твоей партии...»

Зарплата меж тем росла, и каждый раз, поглядев в партбилет, Тоня прикидывала: полтора кило... два... Через двадцать лет совместной жизни, вернувшись из поездки в Бобруйск, он застал Тоню за столом в очках, с карандашом, листом бумаги и его партбилетом. «Вот, — ткнула пальцем. — Тысячу рублей им отдали. За что? Начальство платит — им возвращается, а мы?»

Ныне, когда в больших городах даже начальство начало отрекаться от партии, и вовсе пропилила насквозь: «Выходи». Однако в их городке еще никто не вышел... Нет, не поднималась рука.

Опять же, чем мотивировать? Идейными соображениями? Их у Антона отродясь не было. Материальными? Стыдно. Требованием супруги? Смешно...

— Пиши: по семейным обстоятельствам, — посоветовала Тоня. — Я им объясню, если не поймут.

Так и написал. Понес к секретарю.

Секретарь партийной организации и начальник отдела кадров автобазы Чумаков удивился, увидев его, поскольку до сих пор встречались, только когда платил взносы.

— Вот, Пахомыч, — сказал Антон, улыбаясь нежно, как девушка. Точно так улыбался двадцать лет назад, когда принес заявление на вступление — другому секретарю, старшине. — Решил.

— Увольняешься? — спросил Чумаков.

— Ну. Надоело.

— А куда пойдешь?

— Никуда.

— Может, кооператив решил открыть?

— Какой кооператив?

Тупо поглядели один на другого.

Чумаков начал читать. Читал он долго. Во-первых, потому, что писатель Антон был такой, что ЦРУ вывихнет мозги, разбирая его иероглифы, во-вторых, текст заявления оказался не обычный. В-третьих...

Скинул очки, в которых работал, выхватил из ящика стола другие, запасные, опять зашевелил губами.

— Так, — сказал наконец и, сильно моргая, посмотрел на Антона. — Долго думал?

— Долго, — нахально ответил Антон. — Аж двадцать лет.

— Так... А как это — по семейным обстоятельствам? Ты что, отпуск просишь? — покрутил у виска пальцем.

— Отпуск не отпуск, а платить вам больше не буду.

— Понятно. Жалко для партии три рубля.

— Жалко. Что она мне дала?

— А ты ей?

Замолчали оба.

— Сядь, — приказал Чумаков и набрал номер. — Иванович, зайди.

Антон понял, что говорит с начальником автобазы, и съезился.

Начальник, Кругалев, почувствовав по голосу серьезное, явился тотчас. Чумаков молча протянул ему заявление. Этот прочитал и понял быстрее.

— Газет начался?.. Гляди, Антон. Они сегодня пишут одно, завтра другое. Как бы не пожалел. Или... — с надеждой посмотрел на Антона. — Говори прямо, не крути: что хочешь? Новый «Икарус»?

Двадцать лет Антон ездил на «ЛАЗе», считай, каждый день ремонтировался и говорил — все, в последний раз. Или «Икарус», или увольняется.

— Обойдусь.

Чумаков и Кругалев тупо поглядели один на другого: что делать? Слух пойдет по всему городу. И что скажут в райкоме?

Комнатка Чумакова была маленькая, стол и стул его стояли у стены. Чумаков сильно постучал кулаком в стену — так вызывал главного бухгалтера и председателя месткома Губаревича, чья комната была рядом.

Губаревич тотчас влетел как на пожар:

— Что?

— На, читай.

Губаревич тоже не сразу взял в толк содержание заявления и даже посмотрел, нет ли разъяснения на обратной стороне.

— Да-а...

Теперь молчали все четверо. Кругалев драл пятерней жесткий чуб.

— Как у него с жильем? — спросил он Губаревича.

— Да как... Свой дом. Чего еще?

Нет, не разгадывалась загадка.

— Это не у тебя жонка желудком болеет? — спросил Губаревич. — Есть путевка в Кисловодск. Даже и две.

— Не, не у меня.

— Ну, можно и так съездить, для профилактики. Работник хороший... А?

— Ничего мне не надо.

— Так, — сказал Чумаков. — Я всегда знал, что ты, Литвин, неформал. И то тебе не так, и это... Все люди как люди, а ты... Забери свое заявление.

— Не, — ответил Антон. — Будь что будет.

И вышел.

Антон стоял на ремонте (первая передача не втыкалась, вторая выскакивала) и почти до обеда веселился, вспоминая, как протравил начальство. Однако к концу рабочего дня почувствовал, что раскаивается. Одно дело Москва, Минск, другое — их городок. Устроят ему позорище. А все Тонька...

И в самом деле, что ему эти три-четыре рубля? Опять же, новый «Икарус»... Да и в Кисловодск съездить неплохо. Сорок с лишним лет прожили здесь, никуда никогда не ездили. Все лето в огороде копаются.

Захотелось с кем-нибудь поделиться. «Все, — сказал, заглянув в конторку к электрикам. — Подал заявление. Надоело». Двое молодых — Володька и Ленька — выслушали равнодушно, беспартийные, а вот Тихон Кончак, старый приятель, поглядел с интересом. «Правильно, — одобрил без особой уверенности. — Сколько можно?» «А ты? — спросил Антон. — Не собираешься?» «Я? Не. Погляжу, как они тебя уделают». И захихикал.

В результате настроение у Антона испортилось.

Решил заявление забрать.

И забрал бы, да Чумакова не оказалось на месте. «Ушел в райком» — висело объявление на двери. Что-то угрожающее, опасное было в этом листке.

А вечером разругался с Тоней. «Отдал Чумакову заявление», — словно между прочим обронил за ужином. «Какое заявление?» — «Из партии. По семейным обстоятельствам. Все как договорились». Тоня молчала, размышляя или вспоминая. «Ты это серьезно?» — «Ну». — «Дурень ты, Антон. Я смехом, а ты... А что о н и ?» И когда рассказал, как предлагали ему «Икарус» и путевки в Кисловодск, Тоня вскопчила из-за стола, кинула ложку на пол и заголосила:

— Люди добрые, поглядите на дурака! Раз в жизни ему, а он... Заездил меня, затуркал и радуется! Ой! Ой!

— Стихни!

Разругались, как никогда до сих пор.

Утром, придя на автобазу, Антон первым делом покосился на доску, где обычно вешали карикатуры на пьяниц, прогульщиков: нет ли и его, «выходца»? Нет, не было. Маленько повеселел. Сегодня он опять стоял на ремонте. Решил, что в обед пойдет к Чумакову и заявление заберет. Скажет, что смехом, хотел проверить его на вшивость. Или что подумал и перерешил. И так стало легко,

свободно, что даже встреча с Тихоном Кончаком, который шарахнулся от него как от тифозного, развеселила. «Эй! — крикнул вслед. — Заявление принес?»

В обеденный перерыв Чумакова Антон не застал. «В райкоме», — сказала контора. Не пришел он и к вечеру. Ладно, решил Антон, можно и позже снять вопрос.

Однако на следующий день его занарядили в Минск — укатил в шесть утра, вернулся в двенадцать ночи. Потом ездил в Могилев, Бобруйск, Оршу. И только на следующей неделе улучил момент, зашел в отдел кадров. «Привет, Пахомыч, — сказал весело. — Давай мое заявление. Передумал. Партия не сдастся! Пойдем вместе. Либо они нас, либо мы их!» «Заявление? — удивился Чумаков. Губы на его старом и сером лице подрагивали, как всегда, когда на собрании задавали неожиданный вопрос. — На!» — и выставил кукиш. «Не понял», — сказал Антон угрожающе. «Мы тебя уже исключили». «Исключили? — теперь удивился Антон. — Как так? А я?.. Почему не позвали? Может, я смехом, может...» «А на хрена ты нам нужен?» — «Как — на хрена? Как деньги брать каждый месяц, так нужен, а как...»

И вдруг вспотел и обмяк.

— Заразы, — сказал. — Потиху, да? Чтоб шуму не было, да? Ладно, я вам... Не обрадуется.

— Иди отсюда. Неформал!

Антон вышел.

Плевался до автобуса, что стоял с работающим двигателем рядом, и в автобусе тоже плевался. Заплевал и доску приборов и окно. Не в том дело, что... или... Нет, не в том. А в том, что... Нет, и не в этом. А в том, что, если уж... или когда... а они... Ух!

Да-а... Деловые.

И только под Чаусами немного успокоился.

Чего, спрашивается, платил двадцать лет подряд? Кому?

Тьфу!

Первая ласточка грядущей свободы пролетела в нашем небе давно, еще накануне XX съезда. Побывав в Москве у племянника, городской ассенизатор Степка-дурак вышел из автобуса на площади и крикнул: «Привет от Хрущева!» — будто пиво в Москве пил с ним, а не с племянником. «Неужто видел?» — заинтересовались жители. «Сто раз. Как включу телевизор, так увижу». Посмеялись, продолжили московский разговор: «В Мавзолее был?» — «Не, я на усатого глядеть не могу даже в гробу». Больше вопросов не было: дурак ляпнет — умный отвечай, а до съезда надо еще дожить. «Скоро, думаю, его понесут». «Как?» — удивились. «А так, как занесли: ногами вперед. Законопатят в стену».

И опять сошло с рук. Понятно, времена изменились, но еще и в том дело, что имел Степка дар прорицаний. Накануне ареста Берии, например, пригласили его в отдел за длинный язык, и, увидев портрет, Степка перекрестился, пробормотал: «Ну и рожа». А на другой день радио сообщило, что Степа прав и, следовательно, надо его освободить. Между прочим, падение Хрущева тоже предсказал. «Эх, Никитушка, — обронил, прихлебывая чаек перед телевизором. — Отвоевался ты, друг родной». Ляпнул не подумав, а назавтра — пленум.

«Ну, этот долго сидеть будет», — заметил, увидев преемника. И снова, как известно, оказался прав.

«А этот?» — спросили в новые времена. «Не знаю, — впервые признался Степка. — Только я ему не завидую. Охо-хо. Уж лучше ... возить».

И опять, кажется, прав.

Телевизор

Что ни говори, а профессия писатель — сомнительная. Один из моих приятелей, когда интересуются, где и кем работает, отвечает: летчиком сельскохозяйственной авиации, — и любопытствующий удовлетворяется. Однако приятель и в самом деле летал несколько лет, — а что отвечать мне? Скажи — шофером, спросят, на какой машине, в какой автобазе; ответь — инженером: на каком заводе, в каком цехе? Потому я говорю — сценаристом. Профессия ныне понятная, доступная, ну а пару сценариев я и в самом деле написал.

Я приехал к Сожу с удочками ранним утром. Густой туман укрывал и деревню Подлужье и лес в Засожье. Недавно пролились обильные дожди, и островок, на

котором я расположился прошлый раз, оказался недосыгаем. В растерянности стоял на берегу.

— Перевезти? — вдруг услышал бодрый голос.

— Перевези, если не шутишь, — ответил в туман.

Через минуту стукнуло весло, хлопнула вода и показалась лодочка-душегубка. Стоя на одном колене, правил в ней мужичок лет шестидесяти, с интересом поглядывал на меня.

Еще минута, и мы на острове. Мужичок торопливо втаскивал лодку на берег и поглядывал, будто опасаясь, что я скроюсь в тумане. Был он не по-утреннему оживлен.

— Подожди, — сказал. — Я тебе место покажу. Клюет — только снимай.

Бегом побежал впереди меня по мокрой траве.

— Вот! Стой здесь. А я здесь.

Стоял рядом, глядел, как я разбираю снасти.

— Из города? — спросил.

— Угу. В отпуску. Из Минска.

— На что будешь ловить?

— На червяка.

— А теста нет?

— Нету.

— Хочешь, дам?

Кинулся к своему узелку, принес.

— С анисовым маслом! У-у... — понюхал. — Я вчера леща на него взял, удочка пополам... Туман поднимется — коников наловлю. Ловил на коников? Вчера плотвы взял — у-у... Старуха весь день бурчала, не любит чистить. Ленивая стала: старая. Где бы это молодую найти? — захихикал. — Вот удивилась, если б привел!.. Где работаешь?

— На киностудии. Сценаристом.

— Это как же?

— Сценарии для кино пишу.

— Да ну? — охнул. — Тебя-то мне и надо!.. Телевизор у меня не работает.

Может, посмотришь?

— Нет, я в телевизорах не понимаю.

— Не понимаешь? Угу...

Я почувствовал, что уважение и интерес ко мне возросли.

— У тебя лишнего поплавок нет?

— Есть.

— Давай меняться.

Поменялись. Удовлетворенно разглядывал новый поплавок.

— А крючки?.. Ну-ка покажи. А у меня — вот...

Сбегал, принес.

— Этот я у прокурора выменял. А этот у Лукьянчика, корреспондента.

Знаешь прокурора?

— Знаю.

— А Лукьянчика?

— Тоже знаю.

Еще на порядок подскочил интерес.

— Это не ты ему телевизор починил? Говорил, приехал человек из Минска, сделал лучше, чем в мастерской.

— Нет, это не я.

Потом мы менялись лесками, грузилами, поводками. Даже и червяками: я в городе накопал, он здесь.

— Поглядим, каких больше любит, деревенских или городских... У Лукьянчика какой телевизор? «Горизонт» или...

— Так я не знаю. Я у него дома не бывал.

— Угу...

Тут у него клюнуло. Вытащил плотвичку, с сожалением поглядывал на меня: хорошо бы поменяться, да у меня не клевало.

— Становись на мое место, а я на твое, — нашел выход.

И вынул подлещика.

— Меня рыба любит. Куда я, туда и она. Я, когда был молодой... все девки мои. Не успею закинуть — клюют! — счастливо рассмеялся. — Ну а теперь старуха клюет. С утра до вечера клюет. Бывало, как забурчит, я ей телевизор включу. А радио слушать не хочет. — Вздохнул. — Ну и как там у вас, в Минске?

— Да как сказать...

— А нам землю предлагают брать.

— Ну? — бодро отозвался я. — Возьмешь?

Однако на бодрость мою новый знакомый не откликнулся.

— Ты я дурны?

Впрочем, через минуту засомневался.

— Конечно, земля есть земля... А здоровье где взять? Мне уже много земли не надо — два метра. Раньше надо было думать. Когда я с голоду пух, не думали... Жизнь прошла — бери. Мне теперь — телевизор вечером поглядеть. Посмеяться с них. А? — опять вопросительно взглянул на меня.

Я промолчал.

— Опять же, один сын в Кричеве, другой в Могилеве. Дочка в Гродне...

— Ну а другие? Тоже не хотят?

— Не, никто не хочет. Вот разве Матвей возьмет... Жадный. Крючок зацепит — лезет в воду, хоть Пасха, хоть Покрова. Зальется когда из-за крючка.

— Кто этот Матвей?

— Да тут один... Сосед мой.

— А молодые?

— Про молодых не знаю. Может, кто и возьмет... На собрании языками чесали много: когда, где, сколько?

— Выходит, ты против перестройки.

— Ясно, против. Я свое отчесал.

— Пускай все останется как есть?

Он надолго задумался.

— Пускай остается. Лучше не будет. Сколько живу, как что придумают — хуже. Опять же, какой мужик в один год перестраивает и хату, и хлев, и собачью будку?.. Какая перестройка, если телевизор не могу починить? В город везти — машину надо, тут — некому... А? Поглядел бы. Рыбы тебе наловлю — сколько хочешь.

— А к рыбе? — неосторожно пошутил я.

— А как же! — воскликнул. — Само самой! Что я, не понимаю? Будешь доволен. Пойдем, а? Паяльник у меня есть.

— Да шучу я. Не понимаю в телевизорах. У меня совсем другая работа.

— Угу... Понятно.

«Перестройка... — бормотал про себя. — А телевизор не работает. Радио работает, а телевизор нет».

— Нашему народу никакая перестройка не поможет, — сказал вслух.

— Почему?

— Незавидливый. У тебя есть корова, а у меня нет — ну и хрен с тобой. Пей свое молоко, хоть залейся, а я гарбата¹ попью. Завидливые лучше живут. Вот Матвей... Только б гроши грести.

— Насолил он тебе?

— Кто, Матвей? — удивился. — Не. Он ничего. Мы с ним... считай, всю жизнь.

Между тем одну за другой вынимал плотвичек, подлещиков. Поглядывал виновато: хотел, чтобы и у меня клевало.

— Гришка!.. — раздавался глуховатый и требовательный голос. — Ты где? Перевези!

Тотчас бросил удилище, кинулся к лодке.

Мужчина, которого он привез, оказался крупный, темный и, пожалуй, суровый и характером и лицом. Недобро взглянул в мою сторону и, не кивнув, не спросив о клеве, начал удаляться в туман.

— О н... — шепотом сказал Гришка и, беспокойно поглядев вслед, весело добавил: — Бойтся, что всю рыбу переловлю.

Зов «Гришка!» раздавался еще несколько раз, и тотчас мой новый знакомый кидался к лодке. А иной раз, прислушавшись, правил к тому берегу без зова: догадывался, что стоит там кто-то — приехал из города на автобусе — из чужих. К незнакомым он проявлял больше интереса — отводил на «хорошее» место, и в тумане я слышал уже понятный мне разговор: «Из города? Где там работаешь? В телевизорах не понимаешь?.. Давай поплавокками мяться. А крючки есть?..»

Берег постепенно населался, оживал.

— Глянь! — вдруг крикнул Гришка и показал на горизонт, где за туманом поднималось солнце — огромное, розовое, совершенное. — Господи! — воскликнул, хлопнул по коленям руками. — Сколько живу — не нагляжусь на эту красоту!..

Туман над рекой клубился, утекал по течению, открывалось Засожье, и лес за рекой казался бескрайним.

¹ Гарбата — чай.

Растерянно глядел то на солнце, то на меня, словно призывая в свидетели, сокрушенно качал головой.

— Нельзя помирать, — тихо добавил. — Надо жить.

Стоял, опустив руку с удочкой, забыв про поплавок.

Время от времени он обегал всех, кого перевез: «Ну, клюет?.. На-ка попробуй на тесто... Крючок у тебя какой, пятерка?.. Много, давай тройку... Как ты завязываешь? Дай-ка я... Вот, другой поворот».

Наведывался и к Матвею. «Не клюет у него, — озабоченно сообщал, возвратившись. — Ай-яй-яй...»

Застрекотали, согрешившись, кузнечики в высокой траве, и Гришка, оставив удочку, пошел ловить их. Замирал, прислушиваясь, и вдруг кидался, будто ему не шестьдесят, а шесть или десять лет. Через полчаса принес полную спичечную коробку, протянул мне.

— Один коник — один головень.

Коник по-белорусски — кузнечик, головень — голавль.

Вдруг из-за куста, где стоял Матвей, раздался отборный мат. Гришка прислушался с интересом.

— Большая сорвалась, — пояснил мне. — Если маленькая, тихо ругается, большая — громко. И с начальством так: маленькое — слабо, большое — сильно.

— А чего ругается?

— Как с вами не ругаться? — причислил и меня к клану начальствующих. — Что ни сделаете, все поперек мужику. Если б не вы, давно перестройку закончили. — Я не начальство, Гриша.

Промолчал: дескать, это еще посмотрим. Все теперь отказываются, кто может. Никто не виноват, а жизнь прошла. Хорошо проехались на крестьянском горбу. Боятся, что придется слезть.

Матвей опять загрохотал.

— Не везет ему сёння. Злой пришел, потому не везет. Щас до хаты пойдет. Ай-яй-яй.

И правда, через ту минуту, что требовалась собрать снасти, Матвей, плюясь, вылез из-за куста. Остановился около нас, сердито поглядел на меня.

— Из Минска человек, — сказал Гришка. — По телевизорам.

Информация эта на Матвея впечатления не произвела.

— Что поймал?

Гришка услужливо поднес ведро с рыбой.

Матвей выругался, закурил.

— Ну, что там у вас, в Минске? — презрительно обратился ко мне. — Разогнать вас всех надо.

Ответить просто: кого и за что? Но Матвей ответа не хотел и не ждал.

— И землю и рыбу отравили, заразы.

— Матвейка, — ласково произнес Гришка, — они не начальство. Они...

— Кончается ваше время. — Снова обильно сплюнул. — Все ваши телевизоры и газеты.

— Подожди, дядька, — не выдержал я. — Во-первых, при чем тут я? Во-вторых...

— Все теперь ни при чем. Все за правду... Перевези! — бросил Гришке и пошagal.

Гришка послушно побежал следом.

Там, у протоки, они еще о чем-то поговорили. Голос Матвея звучал требовательно, властно, Гришки — послушно.

Вернулся оживленный, словно чувствовал облегчение без Матвея.

— Ох крепкий мужик, ох крепкий... — бормотал. — Если б мне его способности, давно в Москве жил.

— Какие способности?

— А всякие, какие есть. Работник. Только характер тяжелый. Свет такой, что с одним надо выпить, с другим рыбу половить, а он — нет, никогда.

— Значит, характер важнее способностей?

— Само собой.

— А у тебя?

— У меня его совсем нет.

Такая вот ситуация. Тяжелый характер — плохо, легкий — еще хуже. «Способности», получается, и вовсе не имеют значения.

— А что сделаешь? — философски бормотал Гришка. — Такая жизнь... У него тоже телевизор не работает, — вдруг сообщил с новой надеждой. — Второй год. Если б ты ему... Он бы тебе...

— Гришка, — вразумительно начал я, — если у тебя хворает корова, кого зовешь?

— Нету у меня коровы, сдал. Когда у Матвея молока возьму, когда чай попью. Ого, корова!.. Прокорми ее.

— Ну кабанчик.

— Кабанчик есть, — скучно ответил, давно догадавшись, куда клоню. — Ветинара зову, бутылку ему на стол.

— Так вот я не ветинар, Гришка, понятно?

— Понятно... Чего непонятного?

Однако после этого разговора загрустил, а там и начал беспокойно оглядываться на деревню.

— Старуха в огороде корпается... Вон моя хата, насупроть. Эйшь как ее крутит... Середина у нее болит. Может, потому и бурчит. Мне этот телевизор... А ей... Пойду, надо помогать. Ты покричи, когда надоест, я перевезу. А не хочешь — там, нижей, мосток есть.

С этим же сообщением обошел других по бережку.

Собрал удочки, побрел горбясь, плутая ногами в траве, — совсем иной человек, нежели тот, что возник из тумана.

Вот и весло стукнуло, хлюпнула у днища вода.

— Эй!

Я оглянулся и увидел его нечесаную голову над высокой травой.

— Не посмотришь?

Плюнул и бросил удочку.

В телевизорах я понимаю только предохранители. Вытащил первый — так и есть. Через минуту телевизор работал.

Гришка и обрадованно и укоризненно качал головой: дескать, что ж ты? не совестно?

— Марья! — крикнул в окно. — На стол!

А когда выпили по рюмке водки и закусили картошкой с яичницей — и панибратски и просительно пихнул меня рукой:

— Слухай... Давай Матвею починим, а? Ну я тебя прошу!..

Город, как упомянуто, древний. «Оазис провинциальной культуры» — назвал его один из белорусских писателей. «Провинциальная столица», «белорусский Суздаль» — кто-то из журналистов. И то, и другое, и третье — от щедрости и желания иметь то, что когда-то было — и нет. Правильнее было бы сказать — музей провинциального варварства.

Об уничтоженном монастыре и церквях уже говорилось. А вот есть в окрестностях города низины, болотца, озеро. Последние двадцать пять лет взялись их сушить. В результате Святое озеро, гордость жителей, любовь детей, переплыть которое решались только самые отчаянные, превратилось в загаженное утиное болото. Конечно, в сравнении с бедой Арала гибель этого озера — тьфу...

Или: прихотливо петляла по городу сотни лет система отвода весенних и ливневых вод — где болотце, где канавка, мосток. Но что стоит современному «МАЗу» ухнуть десять тонн песка в такое болотце? Тонут в низинах дома и осенью и весной.

Или — старые одно- и двухэтажные дома в центре города, точно отражавшие провинциальную культуру прошлого и начала нынешнего столетия. Ее примеры я видел в разных уголках Белоруссии и России. Неяркая, скромная — быть может, не было причины ею гордиться, но было основание уважать.

Однажды эти дома покрылись красно-сине-зеленой плиткой. Почему, зачем? А затем, что такой плиткой украсились такие же старые дома в соседнем городе. Мые что, поуже?.. Ныне плитка и вовсе отваливается. Красота?

Или — «МИГ-15» при въезде. Думаете, во время Отечественной войны был в нашем городе крупный военный аэродром? Авиазавод? Или хотя бы произошло в здешнем небе памятное всем воздушное сражение? Отнюдь. Все в том же деле: в одном из соседних городков поставили танк, в другом пушку. Не было вариантов, фантазия исчерпана, осталось только — самолет...

Что ж, слава Богу, не крейсер и не линкор.

Вновьмах

Двое сидели за столом и коротали вечер. Стояла на столе недопитая бутылка водки, лежала растерзанная ножом селедка, дешевая колбаса, наломанные куски хлеба. В комнате было сумрачно, но никто не вставал, чтобы включить свет.

Сидели уже давно, однако пили помалу, и потому, когда вошел третий, в бутылке еще оставалось. Двое недовольно переглянулись между собой, насупились.

Тот, что вошел, глянул на стол, обрадовался, но сделал вид, что ничего не заметил или его эта картина не интересует. Весело, громко поздоровался и пошел мимо по комнате, потирая руки будто от холода и вздрагивая плечами. Был он на вид крепок, приземист, походку имел пружинистую, легкую.

— Ну и льет, — сказал и искомая взглянул на сидящих, на стол. — Вымок что собака... Это, я мимо иду и думаю — дай-ка к Акимычу загляну, махорочки закурю да дождик пережду. С обеда как зарядил, собака...

Он говорил, а двое молчали. Лиц их в темноте видно не было, только поочередно вспыхивали сигарки, высвечивая пальцы, нос, губы. А тот чему-то улыбался и ходил по комнате боком к сидящим. Мол, давайте поливайте, а я похожу, мешать не стану.

— Ты вот что... — наконец сказал Акимович. — Раз пришел... на.

Он сразу повернулся, шагнул к столу. Но тут же и задержался, словно запнулся за что-то, завис в воздухе.

— Да ладно! — махнул рукой. — Я уже... это... Черт ее знает... — И опять шагнул, хоть к столу, а немного и в сторону.

— Вот тебе сто грамм... — Акимович налил и поставил стакан на край стола.

— Вы только не думайте, — сказал тот виноватым голосом. — У меня деньги есть. На вот... — Он протянул трешку второму за столом, который сидел и молчал. — Сбегай!

Второй был молодым и потому посмотрел на Акимовича.

— Сиди, — сказал Акимович. — А ты прятая свою трешку. — Но и на него она возымела действие. Голос стал мягче. — Пей, сколько дают.

— Ну что ж, — вошедший хохотнул. — Будем здоровы, Акимыч!

— Давай-давай. Поливай.

Он поднял стакан на уровень лица, глянул на свет в окне, выпил и заметался над столом.

— Закусывать особо нечем. Хлеба с селедкой пожуй да махорки покури, если охота.

— Ох стерва... — преодолевая спазмы, прохрипел тот. — Первак, что ль?

— Первак... — снисходительно проворчал Акимович. — Рассуждаешь, как...

Спирт чистый.

— О-о... То-то, смотрю, дыхнуть нечем.

— Смотришь...

— Да-а. Давненько я его не пробовал. Лучше всякой водки. Голова утром не болит, а воды хлебнешь — опять пьян. — Он засмеялся, но никто его не поддерживал. — А свет чего не включите?

— А зачем он нужен? Мимо рта не пронес.

— Не пронес, это точно, не пронес, — опять засмеялся, стараясь угодить. — И скажи ты, как пьется, зеленая! Вот заставь ты меня стакан воды выпить, когда не хочу! А эта идет!.. Ну-ка, махорочки твоей. И где ты ее досташь? Воруешь или как? Лучше твоей ни у кого не курил.

— Охота тебе словами ляпать. Иди в синенький магазин, пуд возьми.

Вошедший опять хохотнул, сел поудобнее, закурил. Он уже и опьянел малость, и вообще почувствовал себя ловчей. Во-первых, свое получил, во-вторых, у него-то еще лежала трешка в кармане, а у тех — шиш. Вот только этот, второй, молодой, что сидел и молчал, беспокоил. Взглянул на него раз, другой, спичку зажег вроде прикурить — нет, ничего...

— Ты вот все сердисься на меня, Акимыч, — сказал он. — А зря. Мало мы с тобой водки попили?

— Мне на тебя что сердиться? — ответил Акимович медленно и вразумительно. — Нам детей не крестить.

— Крестить не крестить, а работать будем.

— Не, не будем.

— Будем, Акимыч, хорошо будем. Ты пойми мою точку зрения: и пить будем и работать будем.

Акимович молчал.

— У нас уговор какой был? Я делаю штукатурку — ты мне раствор готовишь и махорку покуриваешь. Потом ты ставишь отопление — на меня покрикиваешь. Был уговор, не спорю. Но не получилось. Всяк бывает. Я тебе половину грошей — и дело с концом. Так?

Говорил он уверенно, но сказал и глянул на второго, молодого. Молчал тот. Ч-черт!..

— Ладно, — сказал Акимович. — Только не половину.

— Тоже верно. Но ведь я кто? Специалист. А ты?

- Я дурень. Надо было тебе тогда в морду дать.
- Акимыч... Сколько я тебе должен? Говори от души — и вот они! — Он вдруг выгасил из-за паузки скомканную пачку денег. — Твои!.. Десять? Двадцать?
- Не надо мне твоих денег.
- Тридцать? Хочешь, все отдам?
- Отстань.
- Ну вот, — рассмеялся, сунул деньги обратно. — Сам понимаешь, все правильно. Остался бы я тогда с тобой — получай косую на двоих. А так — вот они, шуршат и шепчут. А?.. — Опять взглянул на второго.
- Никто ему не ответил.
- Сейчас вот отправлю рублей тридцать в Киев, первой своей, и забурюсь на неделю. Сам буду пить и тебя поить. Ты меня еще не знаешь, Акимыч. Мы с тобой сколько знакомы? А ты не знаешь. Души не знаешь!.. — Голос у него дрогнул.
- Над твоей душой пусть баба думает. А мне...
- А что мне баба? — крикнул тот со слезами. — Что мне баба, если я с ней, может, три дня не проживу! Со стервой!..
- Чего ж это?
- Есть причина, Акимыч. Есть!
- Причина... По бабам бегаешь, вот и причина.
- Не понимает она меня, Акимыч! Ни грамма не понимает!.. Все мои штаны вчера, сука, замочила, чтоб дома сидел! Я ей про одно, она про другое... Увидишь, кину я ее. Одного дня жить не буду!
- Куда ж это ты пойдешь?
- А хоть куда!.. К Катьке.
- Катьке? Так она курва.
- Зато красивая!
- Катька? Крокодил.
- Или к первой своей поеду. В Киев.
- Надо ты ей.
- А вот и надо. Она меня... любит! И я ее... люблю. В другой раз — прямо жить без нее не могу. Заработаю, пошлю рублей с тридцать, а сам думаю — мало, гад, мог бы и пятьдесят послать! Так меня совесть и мучает, так по горлу и режет!
- Что ж разошлись, если режет?
- Дурной был, Акимыч, чумной... Ох баба была, Акимыч, ох баба! Ландыши с лепестками. Как вспомню — на свою смотреть страшно. В лес бы убег... Культурная, по имени-отчеству называла, штаны надевать в другую комнату выходила! Жили мы с ней три года — как один день прошел. Она без меня, бывало, есть не сядет, ждет. В кино — под ручку, телевизор — рядом. Головку положит, песню споеет... А потом раз я на неделю забурился, другой — и колесом.
- Я тебе скажу: сиди и не выпайся. А то теперешняя твоя... Посмотрит, потерпит да сама и кинет.
- И кинет. Кинет... Да только я, Акимыч, как гляну на нее, особо после похмела, — убил бы! Некрасивая!.. Проснусь, а она около печки ходит. Ноги кривые, руки, что у обезьяны, длинные, а морда — это ж страх. Кастрюлями гремит!.. Закрою глаза и помирать хочу... Ты знаешь, Акимыч, какие у меня были женщины? Ласточки, Акимыч.
- Дети у тебя от первой есть?
- Всё!
- Что — всё?
- Нету!
- Врешь.
- Нету, Акимыч! Выплатил! В том месяце выплатил!
- Понятно... То-то такой веселый. Ну а что теперь?
- А что? Хочу — пошлю рублей тридцать, хочу — пропью.
- Ты ж говоришь — любишь ее.
- Любишь... Конечно, люблю. Мне сейчас надо душой отойти, Акимыч. Ты подумай: сама двести рублей получала и с меня еще по тридцатке!.. Я как посчитал раз, сколько на нее денег перевел, — вспотел. Думал — сплю. А если б на книжку, Акимыч? Каменный дом поставить можно!
- Или машину купить.
- Или машину...
- Я вот смотрю на тебя и думаю: почему ты такой молодой, если мы с одного года?
- Тот рассмеялся.
- Наследственность такая, Акимыч. Газеты читаешь?
- Газеты... Жить ты, наверно, будешь лет сто.
- Опять засмеялся:

— Сто не сто, а дед мой жил около этого.
 — Тоже, значит, был... рыжий?
 — Ха!.. Не, он вроде цыгана. На свежем воздухе жил.
 — Коней, значит, крал?
 — Ха-ха-ха!
 — А чего ты все гогочешь?
 — Так выплатил, Акимыч! Хочу — пошлю, хочу — пропью!.. На вот, — опять протянул трешку второму, молодому. — Сбегай!
 — Сиди! — сказал Акимович и даже ладонью пристукнул. — Тебе надо, ты и беги.

— Ха-ха! А тебе не надо, Акимыч?.. Ладно, ждите.

Он поднялся, вытянул вперед руки, чтоб найти дверь в темноте, и пошел, сильно качнувшись. Потоптался в коридоре, загремел в сенях. Выматерился невнятно, хлопнул дверью.

В комнате стало тихо.

— Гад... — сказал Акимович. Положил отяжелевшую голову на кулаки. — Гад... — И замолчал надолго. — Ладно, посмотрим. Пускай несет.

Второй сидел у окна, и на него падал свет от фонаря на улице. Он тронул вдруг Акимовича за плечо и замахал руками, замычал: «Тьфу! — Плюнул вслед ушедшему. — Тьфу!..»

— «Тьфу!», — поддразнил его Акимович. — Много ты понял. «Тьфу»...

С места не вставали, свет не включали. Акимович курил и со свистом, шумно дышал.

Очень скоро снова раздались под окном неровные шаги. Дверь грохнула, ведро загремело. Руками по стене шарил, искал в комнату ход.

— Черт! Лбом в печку!.. Ты чего это, Акимыч? Включи свет! Где у тебя?

— Не тронь!.. Сядь.

— Ну... как хочешь. — Подошел, стукнул о стол двумя бутылками. — Гляди не смхни. Ох и льет, собака. Опять вымок.

— Я, может, твою рожу видеть не хочу.

— А?

— Не могу. Свет не включаю потому, что, боюсь, не выдержу. Дам тебе по глазам.

— Ха-ха-ха!.. Чего это ты, Акимыч? Не надо... Сам говорил: я молодой, ты старый. Я тебя побью. Ну ладно, ладно. Наливай буль-буль. Легче бундить. Ты мне сто, я тебе двести. А ты говоришь — не будем. Будем! И работать будем и гулять будем... А хочешь, я тебя с Катькой сведу? Бутылку в карман — и тама. Ух баба! Как платье начнет скидывать... Ух!

То ли протрезвел, то ли повеселел, но стал он еще смелей, ловчей. Бутылки разом открыл, стаканы стряхнул, в донышко дунул.

— Видишь — и пива принес. А говоришь — не будем... Делаешь ты правильно, Акимыч, — неправильно выражаешь свою мысль. Так жить нельзя, как ты говоришь. Ну, разругались бы мы с тобой... А так — вот. Сто — двести. Я знаю, выпить ты не дурак, а денег у тебя никогда нет — баба у тебя такая. А я своей могу копейки не дать — рада, хоть домой приду. В руках их надо держать, тогда и ласковая будет. Вот так, Акимыч, поговорим, покурим. А чего это ты все молчишь? — обратился он ко второму.

— Не тронь его. Он немой.

— Немой? Ух ты... Не люблю я этих немцев.

— Чего это ты их не любишь?

— Да вот... сидит и молчит! Кто его знает, что у него на уме?

— Не бойсь. Он лучше нас с тобой обоих.

— Да что ж... Ну пей! — Он тронул немого за рукав и показал на стакан.

— У него слыха нет, — продолжал Акимович, — так он глазами все видит. Каждого человека видит, и меня и тебя...

— Давай, давай по грамулке.

Выпили, запили пивом, колбасу попробовали.

— А что, Акимыч, рускач-то не хуже твоего самогона?

— Какого самогона?

— Которым ты меня поил сегодня. Это не спирт был, Акимыч. Самогон.

— Самогон... говоришь?

— Да ты что, ты что, Акимыч?.. Я ж смеюсь! И правда, тебе только с немцами пить. Шуток не понимаешь.

— Ты шуточки брось. С Катькой своей шутись!

— Ну ладно, ладно... Что ты за человек?

— Не... — сказал Акимович. — Не понимаю. Почему ты все ж таки такой молодой, если мы с одного года?

— Я тебе сказал. Акимыч. От деда.
 — Не... Не. Тут что-то другое.
 — Что?
 — Подумать надо. Мозгой пошевелить.
 — Ну думай... А чего ты с ним пьешь? С немцем.
 — Чего? Потому что хороший человек. Не обманет.
 — Так. А я тебя, значит, обманул.
 — Не, не обманул. Нагадил
 — Значит, я гад?
 — Гад.
 — Ну ладно. А водочку мою пьешь? Ты мне сто, а я тебе двести, а?
 — Когда-никогда я тебе добавлю. Будет такое время!
 — Не, Акимыч, не будет. Ты ведро с раствором поднять на козлы не можешь.
 Вот ты выпил и пьян, а я что больше пью, все трезвею. Не надо. На одной улице живем. Нельзя. Я тебе добра хочу.

Акимович уронил голову на стол, на кулак, и долго молчал, трудно дышал.
 — И дышалка у тебя как у паровоза. Может, тебе жить один год осталось
 — Твоя правда, — сказал Акимович и наконец поднял голову. — А вот скажи мне: где десять лет после войны был?

— Как где? Служил.
 — Эков стерег?.. Я все знаю. Народ знает!
 Тот рассмеялся:
 — А что, эки не люди? Их, по-твоему, стеречь не надо?.. Вот ты. В плену был? Был. Фашистский суп ел? Ел. Кто тебя знает, что ты оттуда привез. Надо стеречь. Сколько ты просидел?

— Семь.
 — Значит, год не досидел. Правильно, если один к двум: год в плену — два в лагере. Четыре года — восемь. А? — расхохотался. — Не досидел, Акимыч, не досидел! Оттого и бундишь. Я так приметил: семь лет человек бундит, а на восьмой — все. Хороший.

— Людей стрелял?
 — Не, Акимыч. Этого не было. К стенке, правда, ставил. Прислонял. — Опять хотел было захохотать, но вдруг поперхнулся. — Шучу, Акимыч, шучу.

— Шутишь? Тогда вот что... Иди-ка ты сегодня домой. Не переваривает тебя моя душа сегодня. Иди. Не ровен час

— Ладно, Акимыч. Это я понимаю. Я тебя не боюсь, но пойду. Правду говоришь, бывает такой момент, знаю.

— Иди, иди... Не говори больше, иди. Я тебя дайже провожу.
 Они поднялись и, пошатываясь, натываясь в темноте на табуретки, пошли к выходу.

Дождь утих, даже звезды кое-где проглядывали. Но было темно. Только едва-едва брезжило от далекого фонаря.

— Все, Акимыч, пошел. Я тебя не боюсь, но по себе знаю — бывает. А нам всерьез никак нельзя. Рядом живем, вместе работаем. Бывай...

Акимович молчал, опустив голову. А когда увидел его колыхнувшую широкую спину, понял, что тот уже повернулся, пошел и сейчас скроется в темноте, вдруг кинулся вслед, нагнал разом и изо всей силы ударил в затылок. Тот екнул и сунулся в грязь. Мгновенно перевернулся и, не подав звука, начал подниматься и приближаться к нему. Акимович ждал, растопырив руки.

Дрались на ощупь, целили в лицо, ногой в пах, били со стоном от усилия и злобы, тяжело падали, поднимались, а потом все так же без слов, тяжело дыша, отступили задом и разошлись.

Никак не могу сказать, что пьянство в нашем городе развилось в последние десять или двадцать лет. Пили, сколько помню, всегда — и сразу после войны, и во время «двойного», по молоку и мясу, обгона Америки, и в период срочного строительства коммунизма. Пили, я думаю, и до указа великой Екатерины о «чарочных», пьют и сейчас в ожидании рынка и окончания перестройки.

Пьяницы в городе очень разные, есть счастливые, а есть несчастные. Счастливые пьют в уютном семейном кругу, а потом отдыхают в чистой постели, греясь о теплые женины ножки; несчастные — за углом, в дождь и ветер, только от вина и ожидая утешения. Друг детства А.К. давно не здороваётся со мною, отворачивается, но, утешившись, издали улыбается, страстно жмет руку. «Красавец ты мой! — говорит. — Красавец!»

Пьяниц не надо презирать, унижать, ненавидеть. Их надо уважать, жалеть и любить. Уважать потому, что без них нет жизни в малом городе. Надо отклепать косу, перенести уголь в сарай, попилить воз дров, переложить печную трубу? Все сделают, но уж и вы извольте, не жмитесь. Закуска необязательна. Настоящий пьяница, человек скромный и воспитанный, не станет расслаиваться за столом, досаждать хозяйке, подцепит вилкой яйцо со сковороды — ариведерчи, Рома.

Жалеть надо потому, что жизнь их беспokoйна и трудна. Какие заботы тревожат мало или вовсе не пьющего человека? Здоровье семьи, заработок, дети. То же тревожит и пьяницу, а кроме того — с утра до вечера мозжит в душе одна мысль: где добыть два-три рубля? К счастью, в большинстве они люди мастеровые, один хороший сантехник, другой — кровельщик, третий — печник, четвертый — столяр и плотник. Но и здесь возникает напряжение между долгом и желаниями: заказов набирают больше, чем в силах выполнить. А что им делать, если низко ценится ручной труд и дорого стоит утешение?.. Посему кровельщик приколачивает два-три листа шифера, сантехник откручивает кран, печник разваливает старую печь, столяр высаживает перекосившуюся дверь или оконную раму — и просят под счастливое начало, чтобы не текло, не задувало, грело, аванс. После того как аванс дан и получен, хозяин-заказчик становится шелковым, ждет и неделю и месяц. Конечно, сердится, но вслух свое раздражение не выказывает, а если и выкажет, то не категорически, чтобы не проститься с авансом. Обе стороны мечтают расстаться, но крепче семейных уз связывают двадцать — тридцать рублей: один не хочет лишиться денег, другой — потерять авторитет. Чем больше пьяниц, тем выше вольный дух соревновательности в городе, веселее и живее хозяйственная жизнь.

Опять же, дух взаимовыручки, приятельства, дружбы. Вы давно замкнулись в своей квартире, забыли друзей, кроме сослуживцев, а они помнят обо всех. Каждый их день начинается помыслами о друзьях.

Или — уровень согласительности и доброты. Вы, трезвый, непьющий, можете позволить себе раздражаться, ссориться, с апломбом говорить о левых и правых, они — нет, не могут. И присоединятся к вашему мнению, даже если вы идиот. Впрочем, не только потому, что у вас есть три рубля, а у них нет, а потому что знают: ничего не зависит в этом мире ни от вас, ни от них. Слишком маленький городок и далеко до Могилева, Минска, Москвы...

Есть человек!

Когда вино подорожало и заработать на него стало труднее, Тимофею Заглядкину пришла счастливая идея. С согласия супруги он продал швейную машинку, купил бензопилу, и пару лет они прожили безбедно. Но появились пилы и у приятелей... Со временем пришлось делить сферы влияния. Тимофею досталась Слобода, Лехе Русскому — Здоровцы, Литвину и Степе-Шлепе — Кирпичня и так далее. Но какой заработок на Слободе, где когда-то жили евреи, а теперь либо вымерли, либо выехали?

Пробовал вязать на продажу корзины, но год, а то и два должна пролежать готовая корзина на чердаке, пока высохнет и потеряет вес, — никто не покупал его изделия; пробовал делать грабли, топорща, навилники, косья и пупки для кос... Ноги собьешь; пока отыщешь в лесу хорошую березку для топорща, орешину для косья и граблевины. Твердого приработка к зарплате кочегара не получалось.

Порой мечтал купить коня, как цыган Цыган, но, во-первых, коня надо каждый Божий день кормить, во-вторых, где взять денег на такую покупку? Все, что можно продать, давно продано. Есть в доме две кровати, стол, шкаф — сколько дадут за все это, даже если продать разом?

Большинство приятелей перебивались тем, что сшибали по рублю-два у знакомых, — Тимофею такой промысел претил: как просить в долг, если знаешь, что отдавать нечем?

И тогда Тимофей стал приворовывать. А к сорока пяти его годам весь город знал, что Тимофей — злодей. Известно, воровство — либо профессия, либо страсть, либо мелкое увлечение. Тимофей был исключением из правила: для него стянуть то, что плоховато лежит, было искусством. И как бы ни прятали, заведя его, хозяева всякую рухлядь, как бы ни топырили руки в боевой стойке, всегда оказывалось, что либо топора, либо молотка, пилки, зубила, напильника, долота, мотыги, косы, лопаты — нет. Впрочем, поскольку сегодня украл, а завтра принес украденное у другого, прощали. Дорого не брал — рубль-два, независимо от того, сколько не хватает на бутылку. Если же случалось запутаться и принести хозяину

то, что у него же стянул, не настаивал, отдавал даром. Особо наловчился на пустых бутылках, что обычно выставляют в сени: до десяти штук поднимал десятью пальцами, ни разу не звякнув. Ну, это там, где вчера отмечался день рождения, праздновалась свадьба или состоялись похороны. Такая удача выпала не часто.

Ныне, когда ввели талоны на вино и водку, жизнь стала еще сложнее: что такое две белой и две красной на месяц?.. И когда он спер годовую карточку в очереди у старой бабки, его побили свои же друзья-приятели. Не потому, конечно, побили, что: как же ей, бабке, до конца года без вина и водки? — а потому, что, отоварившись, хотел незаметно слинять из магазина и выжрать две бутылки «Агдама» один.

Это было несправедливо. Вовсе не один собирался он пить «Агдам», а с супругой Евдокией, что ждала, сухая, как осенний лист, за углом. И не только с ней, но и с падчерицей Тонькой, которой в тот день исполнилось ровно пятнадцать лет.

Самая верная пара в городе — Евдокия и Тимофей. Она добудет — несет ему, он — ей. А ведь встретились, можно сказать, случайно. Что было бы, если б тогда, три года назад, он не пришел к открытию магазина или опоздала она? У нее оказалось два рубля, у него рубль. Так и познакомились, оценили друг друга. И — теперь уже понятно — навсегда.

В молодости Тимофей парень был видный и в женщинах дефицита не чувствовал. По крайней мере, до Евдокии женился три раза: с первой мыкался два года, со второй четыре, с третьей восемь. С первой у него вовсе ничего не получалось, даже ребенок за два года не сделали; со второй лучше — сделали одного; с третьей совсем хорошо — двух, но дрались зверски, чуть откроешь дверь — в лоб, как с ней жить? То есть он жил бы, в лоб не больно, но однажды, когда выменял ее старые туфли на три пива, открыла дверь и ногой в пах. Ну, это уж совсем.

Евдокия тоже бывала замужем сколько-то раз — раз в Тюмени, раз в Мурманске и два или три раза в Тамбове и Могилеве. Трех дочек вырастила, двух замуж выдала. Хорошие получились женщины, никогда в гости не придут пустые, хотя и к себе, надо признать, не позовут и в долг не дадут.

Не то его сыновья. Приехали вместе прошлым летом, сказали: «Ну, б.тя, ты даешь», — и все. Даже не посидели с родным отцом за столом.

Теперь с ним и Евдокией живет только ее дочка Тоня — золотая девка по всем статьям. Правда, погуливать начала рановато: то с одним бубнит под окном, то с другим. Однако что сделаешь, если время такое и требует организм? Ну и учиться не хочет, а так все как надо: уберет-приготовит, за стол сядет — больше полстакана не пьет.

Гулять Тонька начала с четырнадцати, то есть с прошлого года, а неделю назад Тимофей заметил за ней странное: выпила портвейна розового за два сорок — вырвало. Говорит — сладкий. И правда, портвейн азербайджанский, сахара семь процентов. Назавтра выпила за три восемьдесят, четыре процента; — опять вон. Поделится подозрением с Евдокией. «Не плети абы что, — ответила. — Она у меня еще девочка». «Девочка, — подумал Тимофей. — А чего сиськи трогают?» Имелись и другие наблюдения, но промолчал. Время и организм покажут. В конце концов — их заботы, а не его.

Накануне Нового года случилась одна, а за ней другая удача. Во-первых, сук сломался на старом клене около церкви, и, пока все чесались, они с Евдокией распилили его и притащили домой. Милое дело встречать Новый год на горячей печке. Зима — тяжелое время года, наказание людям. Снег задувает в щели подоконника, ши на загнетке промерзают к утру до дна. Надо бы запастись летом топливом, но воз дров или три куба брикета — полста рублей. Забор свой они с Евдокией давно спалили, и теперь Тимофей промышлял тем, что то у одного хозяина примет беремце дров с поленицы, то у другого. А поскольку человек честный — никогда два раза подряд у одного хозяина не брал. Конечно, все равно случалось — побыть, но что делать? Не замерзает же насмерть!

Во-вторых, возвращаясь накануне Нового года из кошарки, он вдруг увидел гуся, гуляющего по снегу, — толстого, важного, будто из гостей. Оглянулся — и в одно мгновение скрутил ему голову, сунул под пальто. В самом деле, что за безобразие — гусь в центре города, около Дома культуры и милиции! Место ему на сквороде.

Кроме того, Евдокия добыла две бутылки мадеры по три восемьдесят. И Тонька отказалась от своих кавалеров, осталась дома — праздник получился что надо: выпили, закусили и завалились спать.

Однако не спалось. Так славно было лежать в тепле, чувствовать себя сытым, слушать умиротворенное посапывание Евдокии, что Тимофей размечтался о будущем, когда каждый день будет таков и не хуже. Купит он телевизор, ковер, а может быть, и диван. Положит голову на подушку, будет подремывать, а Евдокия смотреть фильмы про любовь. Еще можно перекрыть крышу, чтоб не лилась вода на голову во время дождя, перестелить полы, поскольку давно прогнили и лаги половицы, крысы носятся, как котята, туда и сюда. Можно купить и магнитофон, нажал на кнопку — пускай гремит хоть час-два. В конце концов, можно купить Евдокии новое пальто. Хорошая, и, по всей видимости, скоро, наступит жизнь.

Тоньке не спалось тоже: ворочалась, вздыхала — свои, молодые надежды мучали ее. Потом поднялась, пошла на кухню к ведру. Уборная далеко, дверь отвалилась еще летом, — свищет ветер, и зимой они пользовались ведром.

Подумал и о ней немного: неплохая девка, хозяйственная, кто женится — не покается, гуся приготовила, как в могилевском ресторане «Днепр». Однако скоро, скоро время и организм покажут, что он прав...

Еще думал о завтрашнем дне, о том, где с утра добудет повеселить душу. Надеялся, что окажется это несложно: праздник. Надо заглянуть в дома, где опохмеляются, — неправда, рюмку-другую нальют. Проблема в другом: как вынести Евдокии? Она по домам стесняется — женщина, а душа одинаковая что у нее, что у него. Хорошо получилось в прошлом году: зашел к директору школы, предложил разбросать снег с дорожки, а прощался — опустил незаметно полбутылки и котлету в карман.

А еще вспоминал своих бывших жен, особенно первую, Раису, и третью, Лизку. А также первую и третью тещу. Все они обещали ему скорую смерть под забором, однако — живет, здравствует, и даже хорошая женщина похрапывает рядом, славно пахнет мадерой, горячим потом, гусем.

Вспоминал и своих неудачных хлопцев: Егорку, Андрейку, Степу. «Батя, погляди на себя», — говорил один. «Батя, на кого ты похож?» — вопрошал другой. «Батя, что ты себе думаешь?» — третий. Не свои, понятно, говорили слова, а те, что ввели в уши бабка и мать. «А вот, хлопчики мои, — думал Тимофей усмешливо, подпекая на печи то один бок, то другой, — ничего такого страшного нет. Все идет как шло, и даже к лучшему».

Что-то долго задерживалась Тонька у ведра, все звякала и звякала дужкой, постанывала. Съела что-нибудь? Кроме гуся, картошки и хлеба, был у них на столе зельц — по рублю за килограмм, а не по шестьдесят копеек, от которого всегда революция. Напрасно она опять отказалась выпить рюмку, нет лучшей дезинфекции, чем алкоголь. Конечно, в медицинском отношении на первом месте спирт, но спирт теперь вроде золотого запаса — где-то есть, а никто не видит. Хорош и коньяк, однако бьет либо по ногам, либо по голове. Или стоишь и ничего не понимаешь, или все понимаешь, а не стоишь. Вино действует пропорционально и на походку и на изображение.

Вот директор маслозавода: придет в ресторан в новом костюме, хрястнет стакан коньяка — плачет. А они, Тимофей и Евдокия, дернут винища — и улыбнутся.

Из всех вин лично для него лучшее «Агдам», два пятьдесят, девятнадцать на восемь, ноль пять: два пятьдесят — цена, девятнадцать — крепость, восемь — сахар, ноль пять — объем. Неплохо и «Колхети» — три восемьдесят, восемнадцать на семь, ноль семь. А вот туркменская «Сахра» — три сорок, девятнадцать на четыре с половиной, ноль семь — не идет. Тяпнешь бутылку — утром пальцами разлепляй глаза. Все остальные, даже «Далляр», идут хорошо.

Все в его жизни как надо, жаль только — здоровье у Евдокии сдает: даже после церковных вин кагора и «Шемахи» не может слезть с койки, он ей в тазике подает воду промыть глаза. Много ей выпало, хлебнула по самые уши, одних абортот делала штук пятнадцать, без жалости топтали ее мужики. Что она теперь без него? То же и Тонька. Как бы она, пятнадцатилетняя, сейчас без — пусть не родно, но — отца?

Сдавленные стоны и кряхтенье на кухне усилились. Что это с ней? Разбудить Евдокию? Жалко, уж больно хорошо похрапывает и свистит. Ничего, пройдет, расстройство желудка не повод для беспокойства. А может... Похолодел от такого предположения. Нет, рано.

Тут Евдокия всхрапнула, как лошадь, и вздрогнула.

— Что? — спросила спросонья. — Что?

Поделиться подозрением Тимофей не успел: опять сильно звякнула дужка ведра, что-то рухнуло, а следом вякнул тоненький детский голос.

— Есть человек! — объявил Тимофей.

Они вскочили в кухню, включили свет и увидели, что Тонька лежит на полу, а в ведре плавает и вякает человек.

Сознаться, кто отец ребенка, Тонька не захотела, а может, и сама не знала кто. Поначалу не хотела и кормить, пока Евдокия не взяла в руки бельевую веревку. Понятно: стыдно иметь ребенка в пятнадцать лет и неизвестно от кого. Хотела родить на ведро и вынести на помойку. Не получилось, однако: будет жить! Очень нравился Тимофею этот человек, все на месте — и ручки, и ножки, и, главное, пипка. Мальчик! Особую радость доставляла мысль, что именно он спас его от неминуемой смерти. Когда был молодой, не понимал, какие они славные, дети; теперь понял, да поздно — старый.

У знакомых, где были малые дети, добыли одеяльце, пеленки. Тут и алименты на нее, Тоньку, пришли — двадцать семь рублей. Очень вовремя: кормить кормящую мать надо хорошо. Только три рубля взяли они из алиментов на вино, а на рубль Тимофей насобирает бутылок. Две бутылки поднял на бензозаправке, в масле, пришлось отмывать керосином, мылом. «Что-то они чертом воняют?» — спросила приемщица Надя. И пока нюхала, он спер у нее из ящика еще три. Одну-единственную бутылку мадеры выпили за два дня.

Пора было подумать о детской коляске.

И Тимофей решил продать свою бензопилу. Не так уж легко было решиться. Выручил сто рублей и сразу — в универмаг.

«Зачем тебе коляска, Тимох?» — спрашивали продавщицы. «Внук родился!» — «Откуда у тебя внук?»

Он тоже посмеивался: и в самом деле, не было — и вдруг есть.

«Как ты его назовешь?» — «Ясно — Тимох!»

Чуть не бегом катил коляску к дому.

Тоньки, однако, не было. В нетерпении ходил взад-вперед, выглядывал из окошка.

Не пришла Тонька и к вечеру и к утру. Явилась через день — без ребенка.

Сдала в детприемник, в Могилев.

— Что? — закричал Тимофей жалобно, вспомнив и ручки, и ножки, и пипку. — Куда? А-а...

Обыкновенно походка у него была мелкая, неуверенная, а тут копытил, размахивая руками, и на лице было выражение, будто знает, что делать. И в самом деле знал: нужно добыть три рубля и талон, а уж тогда, мэкнув полбутылки, поймет и главное — то, что должен предпринять.

Прежде всего заглянул в магазин. Увидел на полке «Далляр» — портвейн розовый, два сорок, семнадцать на семь, ноль пять, — обрадовался. Уж два рубля непременно добудет, а за сорок копеек продаст какой-либо старухе лопату-шуфлю для расчистки снега, что спрятал в сугроб на днях, проходя по школьному двору.

Однако, выйдя из магазина и, как паровоз, прочесав полгорода, вдруг понял, что перспективы неважные: добыть талон труднее, чем деньги. Поразмышляв, решил использовать шанс-энзз, который держал на самый последний случай: пойти к любимой учительнице Марье Петровне. Уж у нее-то должен быть талон. Он виноват ей с прошлого года восемь рублей — пускай даст для круглого счета еще два. Припустил со всех ног.

— Да, — звонко отозвалась на стук Марья Петровна: одинокая была, радовалась, если кто приходил.

Однако, увидев Тимофея, разочаровалась.

— Ты, Тим? — И усмехнулась. — Наверно, долг принес.

Сняв шапку, он стоял у порога, как ученик, опоздавший на урок

— Марья Петровна, — сказал. — У меня внук родился. Дайте два рубля и талон

Марья Петровна сразу замахала короткими ручками.

— Нет, нет, нет. Мне надоело, Тим, хватит. Как не стыдно, я старая женщина, а ты...

Так и в школе махала, когда задавала вопрос про пассаты, а он бойко катил про муссон.

— Марья Петровна, я вам сейчас такое расскажу...

— Нет, нет, нет. Ничего слушать не хочу.

И тогда Тимофей рухнул на пол и на коленях ринулся к ней. Схватил руки, стал целовать.

Марья Петровна испуганно вырывалась, но Тимофей держал цепко. В конце концов обмякла, сдалась.

— Боже мой, Боже мой... Что с тобой стало, Тим? Ты был такой славный...

— Марья Петровна! — Отпустил, ударился головой об пол. — Отдам!

Учительница вскочила, прыгающими руками отыскала сумку, а в ней талоны и кошелек.

— На, на, на! Возьми, ради Бога, я тебя прошу, не приходи ко мне. И долг не приноси и не приходи. Я не могу... — Похоже, собиралась заплакать.

Тимофей поднялся с колен, поклонился до земли.

— Марья Петровна, знали б вы, как вас все уважают!

— Иди, иди. Ступай...

Хотел еще раз поймать руку, но Марья Петровна отскочила прытко, как девочка.

— Ступай же!

Оказавшись на улице, Тимофей подумал, что идти в магазин рано. На один талон положено две бутылки вина, а денег у него на одну. Пойти к старому Авербаху, поговорить с ним об Израиле и арабах? Но об этом он уже говорил, а три рубля Авербах даст только за интересный рассказ. И тут мелькнуло: если рассказать, как падчерица рожала на ведро, вполне откинет и три, и четыре рубля, и — на будущее — талон.

Ясность перспективы настолько обнадежила, что захотелось думать о чем-то хорошем. Например, о том, что сегодня же отправится в Могилев, отыщет мальчика, вырастит и воспитает его. Опять же, если сообщить Авербаху о таком намерении, можно рассчитывать и на пять рублей.

Через час Тимофей катил к магазину, имея в кармане все, что хотел.

Слухи

В жизни этого городка есть особенность, непонятная, быть может, жителям больших городов: здесь постоянно бродят, пузываются, лопаются и снова возникают слухи. Возникают неизвестно почему и откуда, будоражат публику неделю, две и так же в одночасье исчезают в забвенье. То шквалом, разметав горторговские запасы, прочтится весть, что истощились в стране соляные копи, то стойко, как осенним дождиком, обложат слухи о строительстве в городе Дома умалишенных, то вырвется горячим паром новость об ограничении числа абортот для каждой женщины в целях увеличения населения, то прогремит едва ли не правительственное сообщение, что Горбачев уезжает из России — работать Генеральным секретарем ООН...

Вот так же без причины родился слух, что бывший учитель, а ныне персональный пенсионер областного значения Степан Лукич Князев, председатель городского общества ветеранов, никакой не ветеран, не фронтовик, а бывший энкаведист. И не на передовой получил он свои многочисленные ордена и медали, а там, среди белых снегов: бил эсков с левой и с правой, а сколько положил с вышки — Богу известно, больше никому. И ногу потерял не на фронте, а придавило сосной на лесоповале, маленько промахнулись эски, желая отблагодарить за доброту.

Не вдруг и не сразу заметил Князев, что вчерашние приятели загадочно умолкают при его приближении, воротят носы. А когда заметил... Сосед, горький пьяница Тимофей Заглядкин, которому Князев никогда не отказывал в трояке на похмелье, честно разъяснил причину причин. Степану Лукичу стало весело: «Я — энкаведист? Смешно». Будущее показало, что смеяться не стоило: слух обрастал подробностями, укреплялся. Вот уже и точный адрес его деятельности известен: с сорок первого по сорок третий — воркутинский лагерь, с сорок третьего по сорок пятый — Магадан. И должности: в Воркуте — рядовой вертухай, в Магадане — заместитель начальника. Тоже и бытовые детали: как пользовал женщин в лагерной бане, как половинил посылки, какой процент брал с денежных переводов.

И вот уже Валя, продавщица ближнего магазина, где по субботам выдавали участникам войны паек-заказ, провозгласила неопределенно и яростно:

— Я бы кое-кого давно вычеркнула из списка. Попили кровушки!

Без адреса было заявление, что ответишь? Даже Игнат Стрельцов, с которым вместе уходили на фронт и воевали рядом с сорок первого по сорок второй, до ранения, потупился: дескать, а — с сорок второго?

Наконец кто-то и вовсе нарисовал на калитке мелом фашистский знак. С кем объяснить, как?

Однажды заглянул выпить пива в «Ветерок» и как только открыл дверь, в баре, где всегда шумно, как в бане, стало тихо. Расступились, чтоб пропустить врага народа без очереди, а Тоня-продавщица так шваркнула перед ним кружку, что пена взлетела на потолок

— Люди, вы что? — возопил Князев. — С глузду съехали? У меня три тяжелых ранения, у меня ноги нет, я...

Никто не глядел на него, все — в пиво.

Плюнул, выругался, хлопнул дверью.

Перестал и из дому выходить.

Накануне Дня Победы его как кавалера трех степеней Славы обыкновенно приглашали к пионерам на встречу, и он старательно готовился к таким дням, чтобы не повторяться, чтобы интересно было мальчикам, — в этот раз не пригласили ни в одну из трех школ. В слухах ли дело или просто наскучили его рассказы, но тут Степан Лукич и вовсе затосковал.

«Что делать, Дарья?» — спросил жену. «Плюнь, — ответила. — Поговорят и забудут».

Сказать легче, чем плюнуть. Вот придет внук, а ему доложат: дед твой — враг народа, энкаведист. Слух — дело ядовитое. Как говорится, то ли он украл, то ли у него украли, а что-то такое было.

«Уехал бы ты куда подальше, Лукич, — посоветовал Тимофей Заглядкин, получив свои три рубля. — Все одно жить не дадут».

И мысль эта не показалась дикой. Куда? Да хоть в Воркуту, в Магадан, черт вас возьми. Но уедь он — укрепитя мнение: удрал от справедливого народного суда.

Как жить? Один союзник остался в городе — Тимофей, да и тот за деньги.

Пошел в райком: помогите, на промилый Бог.

«Нам больше делать нечего?»

Пошел к редактору районной газеты Супрунову: «Хочу дать объявление». «Какое?» — «А такое, что в НКВД отродясь не служил». Супрунов — молодой, здоровый, красивый — рассмеялся: «Шутишь, Лукич? Если газета станет заниматься сплетнями...» Но тоже подозрительно глядел на него.

Тогда и решил Князев дать объявление самостоятельно. Катя, школьная машинистка, под копирку отпечатала ему десять листков.

«Дорогие сограждане-земляки!

Я, Степан Лукич Князев, был призван в Красную Армию для обороны Отечества 23 июня 1941 года. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта по 15 апреля 1942 года, когда получил ранение в шею, потом в составе 2-го Украинского по 17 ноября 1943 года, когда получил проникающее ранение в правую верхнюю часть грудной клетки, потом опять в составе 1-го Белорусского по 20 февраля того же года, когда снова был ранен и потерял ногу. На излечении находился в Челябинске, а в НКВД никогда не служил».

На каждом листке поставил разборчивую подпись.

Расклеивал в темноте, вечером, но скрываться был не намерен и утром пошел к гастроному — дать людям объяснения, ответить на вопросы. Издалека увидел перед листком толпу. Вот и разъяснится сплетня. Сейчас они обернутся, увидят его, рассмеются: «А мы, Степан Лукич, ничего такого не думали. Это ты зря в голову взял». Остановился позади, стал ждать.

— Эйшь ты, — услышал голос, — стенгазету выпустил. Все теперь отмываются. Чем больше орденов, тем чистей.

— И ногу свою приплел, вертухай.

— Теперь они не стреляли, они только к стенке прислоняли.

— Собрать бы их всех, оставшихся, да кирки в руки.

— Соберешь... Как бы они тебя не собрали. Пока еще вся сила у них, позорников.

— Однако зашевелились, пускают завесу.

— Боятся, что пенсию отберут.

Князев пошагал прочь. В тот же день решил — уезжать. И уехал бы, нашел бы себе уголок на оставшиеся пять — десять лет, если б не Дарья. «Не поеду», — заявила она. И тогда решил — к сыну, в Гродно. Надо посоветоваться, что делать и как.

Ночь не спал, а когда рассвело, начал собираться.

— Куда? — подхватила с постели и Дарья.

— На кудыкину гору, — получила ответ.

Что за глупая баба? Знает, к примеру, что собирается с рассветом по грибы или на рыбалку, а увидит встающего, всполошится: куда это ты собрался?

Накидала в сумку еды, словно — в Магадан.

Когда сел в автобус, услышал:

— Далёко, Лукич?

— От дураков подальше. — Не оглянулся.

Сел в мягкое кресло, закрыл глаза. Противно было глядеть на окрестности, где прожил больше чем шестьдесят лет. На лес, речку, озеро, которые еще вчера казались самыми прекрасными из всего, подаренного Богом земле.

Вернулся Князев через месяц с твердым решением дом продать, уезжать. «Вот вам комната, — сказал сын, — переезжайте». И невестка согласилась. «Только барахло не везите с собой, — предупредила она. — Свое некуда девать».

Настроение было легкое. В последние дни познакомился с человеком, у которого тоже приключилась похожая история: его, фронтовика, оставили полицаем. Ехать некуда, терпеть нет сил — будет устраиваться в стардом.

Вышел на своей станции, бодро поскрипывая протезом, пошагал к дому. Вот и гастроном с его «стенгазетой». Дожди смыли буквы, только и можно разобрать «Дорогие сограждане-земляки!». Усмехнулся, пошагал мимо.

— Лукич! — услышал голос. — Где ты пропал?

Мужики толпились у «Ветерка», дружелюбно глядели на него.

— Всё поливаете? — недобро и независимо сказал он.

— Где там... Пиво привезли, а она не отпускает. Поговори ты с ней. Она тебе не откажет.

Князев поразмышлял.

— Что ж ты меня просишь, если я враг народа?

Не поняли.

— Это Русский виноват, дурень. Пиво ему разведенное. Она кассу на замок и всех — вон: переучет.

— Я не про пиво. Я про то, что месяц назад вы меня позорили, а теперь...

Снова не взяли в толк. Тут и Тоня показалась в дверях.

— Я все слышу, — сказала. — Они мозги пропили, Лукич. Говорят, развела пиво. Пускай зовут контроль.

— Какой контроль, Тоня? — загадели все сразу. — Это Леха, дурень, мы ему уже накостыляли, вон он, гляди...

Униженный Леха виновато выглядывал из-за угла.

— Разве я про нее, Лукич? — взмолился он. — Я вообще. На заводе разводят...

Замолчали, с надеждой глядя то на Лукича, то на Тоню.

— Отпусти ты их, — решил Князев. — Еще повалится который от жары.

— Ладно, — нехотя согласилась. — Ради Лукича. А в другой раз...

Заказал и Князев кружку, потом другую. Нет, никто не вспоминал ту историю. А за третьей кружкой он окончательно убедился, что слух приказал долго жить. Ныне городская общественность волновалась иным: какой ребенок родится у Клавки Букачевой — рыженький или черненький? Будто видели ее полгода назад в Минске в ресторане «Беларусь» с негром. «Было дело, — смеялся Семен Букачев, — только и я с ней был. Танцевал с ней один раз черный — лично у меня разрешения просил». Улыбались: может, и один раз, может, и с расстояния могут. Такой народ. Климат у них такой. (Семен смеялся месяц, другой, а потом... «Если что — сразу развод». Слава Богу, родился рыженький. И все забыли о слухе тотчас.)

Об истории Князева ныне и вовсе никто не помнит. Забывает о ней и он сам.

Пропаганда добра раздается там, где его меньше, — в столицах. Малые города равнодушны к таким призывам. Философия малого города — умеренность, образ жизни — подчинение и нескончаемый труд. Здесь меньше возможностей проявлять власть и силу и вовсе нет надежды жить праздно. Потому властолюбивые и ленивые покидают его, едут в столицы.

Ценность имеет только сам человек, самая малая должность — минус. Чем выше она, чем больше у человека возможности распоряжаться чужими судьбами, тем больше он минус, тем меньше плюс.

Нет, они вовсе не равнодушны к устройству мира, к тому, что творится в столицах. Однако великие события так мало зависят от них, подчас оборачиваются таким вселенским злом или мыльными пузырями, что не торопятся поддержать даже самые благородные из них. Популярное присловье «поживем — увидим» родилось скорее всего здесь. Сколько жил в этом городе, столько слышал: нужна революция. Задумано все честно и правильно, но прорвались к власти корыстные и дурковатые, не везет России, надо кое-кого тряхнуть. Призывалась революция по всем поводам: нет в магазине водки, не завезли топливо, размыло дорогу, начальник построил роскошный дом. Предполагалось,

что она, революция, должна произойти там, где испортилась, — в Москве, Минске, а мы здесь посмотрим да поглядим. Ну а пока...

По воскресеньям из Дома культуры выходят одетые в малиновые гусарские мундиры музыканты — около десяти человек. Строятся, пожимаясь от ветра или шурясь на утреннем солнышке, и, заиграв «Прощание славянки», отправляются по центральным улицам. Тамбурмажор бодро отмахивает ритм. Поначалу за ними увязывалась ребягтя, останавливались прохожие. Позже привыкли. Пускай играют, пускай идут.

Отшагав положенное — мимо милиции, райкома, райисполкома, — располагаются на площади, рассаживаются на приготовленные стульчики, расставляют пюпитры. Подолгу играют забытые печальные вальсы... Платят музыкантам за выход по десять — двенадцать, в зависимости от погоды, рублей на нос. Далеко слышно, славно играют, хорошо. И люди внимают им.

В столицах легче быть принципиальным и последовательным. В большом городе человеку проще забыть о своем прошлом и мечтать о будущем. В большом твоя референтная группа, какой бы широкой ни была, знает тебя сегодняшнего — уверенного, совершенного. Рыцаря без страха и упрека.

В малом — иное. Здесь хорошо помнят, как тебя принародно пороли за неприличную надпись на соседском заборе, как сторож в колхозном саду влепил заряд соли в мягкое место и ты отмачивал его, сидя в реке, как до полуночи свистал перед окнами девочки с бантиками, как... Грешный след тянется с раннего детства.

Или, к примеру, вот человек, который вчера выписал тебе машину замечательных конских «органических удобрений» — выписал три тонны, а нагрузил пять, — а сегодня говорит при встрече на улице: «Что же это они, сволочи, делают с партией?» Как поведете себя при такой встрече? Скажете, что так ей, родной, и надо? От партии отречетесь и заодно от навоза откажетесь? Нет, сбавите обороты, если вы не заезжий гость. Один согласится, что были ошибки, другой — были и настоящие люди, а значит, и достижения. В конце концов, перестройка может закончиться завтра, а навоз потребуеться и в следующем году. Сам характер жизни малого города требует согласительности. Слишком много зависит от человека, а от идеи — пока — почти ничего...

Партия победила

Дома их стояли рядом — на взгорке, у речки, построились, когда были молодые. Теперь, если б довелось, Микола построился бы на другом конце города, а может, и в другом районе. Теперь, если подумать, ясно — всегда были разные. И Микита не кто иной, как анархист и куркуль: «Поглядите на дурака, — сказал. — Все, кончился твой райком».

Летом первым просыпался Микола и сразу же, как только солнце ударяло по березкам на взгорке, выходил во двор на скамейку, а Микита... Он природой не интересовался, ему все едино, что дождь, что снег, что ясное солнышко.

Микола закуривал папироску, оглядывал мир, как личное свое приусадебное хозяйство: все в порядке? Кажись, все: речка внизу петляет, шука лупит, осинки лопочут. А вот Миките покурить некогда, носится от дома к сараю: корова, свинья с поросятами, гуси, утки, индюки, куры, кроли и мерзкие крысы нутрии. Потому вид Миколы его сердил.

— Дядька, — кричал Микола, — кинь дурное, сядь покури!

— Штаны надень, — отвечал Микита, поскольку выходил Микола всегда в трусах.

И опять пластался.

Наконец корова подоена и выправлена в стадо, поросята успокоены пойлом, гуси и утки отправлены к речке, индюки и куры на улицу. Оба уходили завтракать. После завтрака опять во двор.

— Дядька, что ел? — интересовался Микола. — Сало с салом?

То был намек на известную белорусскую байку: что ел бы мужик, если б стал паном?

— Хрен с маслом.

Микола обрадованно гоготал.

Если б Микита ответил — гуся, кроля или петуха, Микола сказал бы: и я. То есть в том дело, что ничего, кроме кур, не держал, а все, что Микита, ел. Хотя, по правде, больше всего он любил найти в сарае теплое яичко и выпить с хлебом и солью. Погреться на солнышке и выпить еще одно.

Марья, хозяйка Микиты, тоже с утра пораньше косолапилась в огороде.

— Тетка! — кричал Микола. — Хватит уродовать!

— Иди к... — отвечала, не разгибаясь.

Микола опять смеялся. Интересно людям портить себе жизнь, когда такая красота кругом, а человеку больше чем два яичка не надо. Ни тысячу, ни рубль с собой к Гилтеру не заберешь. Он спасибо не скажет. Лишний пуд картошки, что она накопает осенью, стоит того, чтобы все лето стоять в борозде задницей вверх? То же и малина с клубникой. Пошел в лес — тут тебе и малина, а главное, опять же красота.

То — летом. Зимой первым поднимался Микита — надо топить. Микола лежал на печке с Катькой, пока не на работу. Куснул что-ничто — и бегом. Первые годы Катька тоже конопатилась в огороде, а потом сказала: «Тебе надо и мне». А когда ему помогать, если каждый вечер по всему району колесом?

Всю жизнь прошоферил Микола в райкоме — то с одним секретарем, то с другим. Летом чуть не каждое утро вызывали наверх: заводи. И до ночи. Какой, к дьяволу, огород? Да и зачем? Любой председатель задаром прикатит машину картошки, капусты, морковки — только скажи.

Микита тоже шофер. Но не повезло человеку, пашет на автобазе тридцатый год.

Между прочим, когда-никогда, а раз в неделю точно — особо если кто из области, а летом их хоть на ворота вешай, — закатываются они к какому председателю. Или сами удовольствия ради протянут бреденек. И всякий раз привозит Микола Миките то карпа с лапоть, то карасей мешок. Нет, не отказался ни разу, хоть вечно его дармоедом критиковал.

Опять же, в районе с топливом, торфобрикетом плохо, того и гляди останешься на зиму как цыган. Не раз Микита постучал бы со своей Марьей костями, если б не старый друг. Или перекрыть крышу надумал — где достанешь шифера в наше время? Только через райком. То же и цемент, лес, кирпич — все у него, Миколы, в руках. Только мигнет в райкоме или исполкоме — сразу под козырек: «Решим вопрос».

Лично ему, Миколу, ничего не надо. Крыша потекла, труба развалилась? Ничего, перезимует, а там поглядим.

Микита считает, что причина его авторитета — в бане, которую он топил для начальства. Глупости. Причина иная: совет может дать и язык за зубами держать. К примеру, когда встал вопрос, где строить баню, он, Микола, посоветовал — в Пустоши. На границе двух районов, чтоб непонятно чья, а плотников посоветовал привезти из третьего, чтоб не знали — кому.

И все было бы тихо-мирно, если б Смоляков, горкоммунхоз, не утоп. Тяпнул после инфаркта полстакана «Пшеничной» и повез Зойку-парикмахершу на спине на другой берег. Не довел.

Он, Микола, был виноват в случившемся. В его обязанности входило поглядывать, чтоб никто не выбежал за забор. Все полетели с работы, и только ему, Миколу, новый секретарь, Ткач, сказал: «Работай». Потому и полюбил его навсегда.

Все пошло, как было, и даже эта перестройка Миколу нравилась — есть что посмотреть по телевизору, особенно как быковатый, что всегда против, выступит, или еврейчик на костылях, или тот, что будто из кипятка выскакивает.

Все шло, как прежде, пока не объявились в городе свои анархисты во главе с доктором Тихановичем.

Что будет, если победят на выборах?

Известно что: ни секретарь, ни Микола до пенсии не доработают. Секретарю, понятно, место найдут, а вот ему, Миколу, — на автобазу. Крепко заскучал он, когда доктор устроил митинг. Как не заскучаешь, если, кого ни спроси, все против, даже Микита. «А шифер, брикет, кирпич?» — напомнил ему Микола. «Мне главное — справедливость». Поглядел бы он, как Микита справедливостью крышу крыл.

А за неделю до выборов Микола и вовсе разволновался. Казалось, все шло, как надо: в районной газете редактор Супрунов чуть не в каждом номере позорил анархистов, из колхозов их гнали в шею, слух пошел, что за аппендицит доктор берет двадцать пять рублей, а за язву сто двадцать пять, что с учительницей географии, доверенным лицом, у него шуры-муры, и вообще все они из группы поддержки этим занимаются... Однако чем ближе воскресенье, тем яснее, что все собираются голосовать против секретаря.

«Вы что? — взывал Микола. — Они, если возьмут верх... Водка будет двадцать рублей, колбаса пятнадцать. Пенсии бабам с шестидесяти, нам — с шестидесяти пяти. Колхозы распусят, всех заставят пахать. Каждому — двадцать га».

Посмеивались!

Что мог он, маленький человек? Оставалось ждать.

В день выборов проснулся рано. Надел костюм, почистил ботинки. «Эй! — крикнул Миките. — Пошли, анархист!» «Успею».

Отправился один, даже Катьку дожидаться не стал.

В Доме культуры, где расположился избирательный участок, было еще малоллюдно. Бывало, выборы — праздник, музыка, буфет, самодеятельность. Буфет и теперь есть, но праздником и не пахнет. Люди за столами беспокойно глядели на него.

— Голосую за партию! — объявил, перед тем как войти в кабину.

Уронил листок в просторную щель. Есть!

И — обмер. В то мгновение, как листок нырнул в урну, вдруг ясно увидел, что вычеркнул не доктора, а секретаря.

— Ай! Ай!

Поздно. Кинулся к столам — так и так, объяснял, хотел одно, получилось другое. Шарик за ролик, куриная слепота. Дайте еще листок. «Дубина! — просвистел начальник комиссии Хурцаев, городской собес. — Осел».

— Ай! Ай! — стонал по дороге домой.

Пришел и повалился на кровать.

— Помираешь? — поинтересовалась Катька, услышав стоны.

— Предатель я, Катька. Дезертир.

Объяснил.

Катька рассмеялась. Когда-то — лет тридцать назад — очень нравился ему ее смех, а теперь задушил бы своей рукой.

— И я проголосую за доктора, — заявила она. — Жизни мне не было за твой райком.

— Ай! У-у-у... — тоненько взвыл.

— Стихни!

Микола залез головой под подушку и продолжал выть.

Когда наконец выглянул, Катьки не было, отправилась голосовать.

Вышел во двор, мызгая ногами, как старик.

— Микита! — позвал слабым голосом. — Проголосуй за Ткача. Я тебе все объясню. Я... Черт меня подпихнул.

Рассказал, что произошло. Микита загоготал.

— Ну и дура-ак, — удивился он. — Все, кончился твой райком. Будешь теперь и ты картошку сажать. Марья! Погляди на него!..

И Марья обрадовалась.

От обиды слезы навернулись на глаза Миколы. Разве это люди? Еще и смеются. Сколько лет торфобрикетом снабжал! Околели бы на своей печке, если б не райком.

Опять лег на кровать. Это ж надо было построиться рядом!..

Катька вернулась веселая. Исполнила, зараза, свой гражданский долг. Как это он женился на ней? Гремела кастрюлями так, что кололо в ушах. Наконец подошла, села на край.

— Ты чего?

Так хотелось лягнуть ее ногой.

— Не захворал?

Микола молчал.

— Ладно, вставай. Проголосовала я за твоего Ткача.

Микола открыл один глаз.

— Пускай еще попьет с тобой мою кровь.

Однако молодец Катька. Ничего не скажешь — супруга. А как же иначе? Вместе, считай, тридцать пять лет.

Но все равно его дурацкий голос мог оказаться роковым...

Сказать, что так и лежал до вечера и стонал, было бы неверно. Время от времени поднимался, даже выходил на улицу.

От проходящих мимо мужиков узнал, будто нарушают в деревнях правила голосования. Уговаривают стариков и старух голосовать за секретаря, а если нет, то и коня и брикета нет. Будто, когда стемнело, устроили короткое замыкание по всему району, и пока электрики разбирались, опустили в урны подготовленные листки.

Слухи такие маленько подняли настроение. А как вы думали? Партия не сдается. Бьемся до последнего патрона и гвоздя.

Уверенности, однако, не было. Наседают анархисты со всех сторон. А что дальше?

Так напереживался за день — рухнул в постель, будто косою по ногам.

Ночью ему приснился сон. Ведут его по улицам города, зацепив тем крюком-кошкой, которым вылавливали Смолякова, и дощечка висит на груди — «дезертир» Привели на Базарную площадь, а там доктор стоит перед толпой.

«Двадцать га, — произнес он, увидев Миколу. — Пускай пашет с утра до вечера». Ткач получил тоже двадцать, а Зойка-парикмахерша, поскольку молодая и развратная, двадцать пять.

Еле поднялся утром с кровати. Уныло поплелся в гараж.

Через полчаса его увидели несущимся вскачь по улице.

— Партия победила! — кричал он.

Три года назад, после двух десятилетий мерзости запустения, снова начались службы в церкви Александра Невского. На открытие и освящение собрался весь город, приехал митрополит, иерархи окрестных городов и деревень. Вольно звонили сохраненные колокола, звенел голос молодого, двадцатитрехлетнего священника отца Тарасия, вопили на крестном ходе старухи, разучившиеся как следует петь, несли в дар иконы, лампы, дароносицы, древние наперсные кресты...

Между прочим, присутствовал на освящении бывший секретарь райкома, ныне он в другой должности, в другом городе. Стоял среди людей как должно, сняв шапку и склонив голову, а уходя, сыпнул горсть мелочи в копилку «на ремонт храма». Люди к этому его душевному движению отнеслись разное. «У, скырла, — говорили одни, — не мог рубля положить». Другие — левого дохода у бывшего секретаря теперь нет, а грехов много: где набраться рублей? Третьи — слава Богу, хоть не перекрестился.

Бывший секретарь человек еще молодой — не он разрушал в городе храмы. Напротив, именно он задолго до перестройки приказал покрыть две заброшенные церкви оцинкованной жстью, чтобы хоть как-то прикрыть уродство, — не столь уж элементарный шаг в те времена.

Но давно посеяно недоверие к начальству, не первые поднялись всходы, и сколько бы ни сыпали теперь — веры нет.

Новый секретарь, Комаровский, однажды со всей командой ходил вокруг другой церкви, Параскевы Пятницы, — по слухам, сам намерен предложить патриаршеству открыть второй приход. Собрались и люди, прислушивались. Отводили глаза. Нет веры, нет. Не будет уже никогда, пожалуй...

А однажды утром жители города прочитали объявление: «На фазенду Комаровского требуется рабыня Изаура». Объявлений было одно-два, но разнеслась весть за минуту. Милиция сбилась с ног: где, на каком столбе наглая бумажонка? А город веселился и ликовал, передавая новость друг другу.

Тут надо сказать, что Комаровский — мужчина молодой, в силе. И к женщинам, наверно, как все мы, интереса не лишен. Однако давно известно: не позволено Юпитеру то, что можно рядовому бычку.

То, что фазенды у Комаровского нет, не имело значения. Что не уличен — тоже. Был бы начальник, а грех найдется. Дело не в Комаровском — в предшественниках. И не столько в грехах, сколько в масках: бесновались, а маски носили святых.

Русский, немец и поляк танцевали краковяк

До перестройки в городе никто не знал, что Леха Русский — белорус, а Антон Литвин — русский. И как узнаешь, если один рыжий и длинный, другой еще рыжей и длинней, будто одного батьки дети. Имелись в городе евреи, цыгане, один китаец и один татарин — тут все ясно, а русский и белорус...

И вдруг Русский, приехав из Могилева, объявил в очереди за пивом:

— Белоруссия для белорусов!

Его никто не понял, поскольку и прежде любил сказать что-нибудь загадочное простым людям, к примеру: «Двадцатый век — Фокс — Голливуд!» Или попроще: «Ехали китайцы, потеряли яйца». Или: «Эс лебэ дэр рабэ!» Последнее по-немецки означает «да здравствует ворона!», но содержанием он не интересовался, только звуком.

Никто в новом заявлении не обратил бы внимания, если б Русский не начал проталкиваться без очереди. И когда был у цели, Антон Литвин ухватил его длинной рукой за шиворот.

— А ну сдай назад. Пиво для всех, белорус хренов.

Надо сказать, что Леха Русский никогда не сопротивлялся — то ли в участок ведут на мойку, то ли родная жонка воспитывает черенком лопаты. Надо так надо. Нельзя так нельзя. Стал в хвост

Впрочем, пива завезли много, хватило на всех. И, сидя на травке у ближайшего болотца, они, Литвин, Русский, а еще Семен Букачев и цыган Цыган, продолжили разговор.

— Какой ты, на хрен, белорус, если говорить не умеешь?

— Умею. Прывитанне, дзякуй, калі ласка!

— Так это и Цыган умеет.

— Талака-тутэйшыя-адраджэньне!

— Ого, — сказал Цыган. — Я так не умею. Что он бормочет?

Тут пора сделать кое-какие пояснения. Как уже говорилось, расположен городок в Белоруссии, но за рекой — Россия. В городе настоящего белорусского языка не услышишь кроме как в редакции районной газеты, но в деревнях не услышишь настоящего русского. Впрочем, и те и другие понимают друг друга так же легко и свободно, не задумываясь, как свободно и не задумываясь дышат одним воздухом, пользуются одной водой и землей.

С национальным вопросом — откровением нового времени — здесь и легко и трудно. Легко потому, что — какая разница земле, кто ее пашет? Вопрос этот важнее для тех, кто сидит за столом и кушает. Трудно потому, что вот Леха Русский, как оказалось, белорус, а родной брат его в деревне за речкой — русский.

Леха работает электриком, Литвин шофером на автобазе, Семен сантехником, ну а Цыган — с конем, сам по себе. Объединяет их примерно одинаковый возраст и любовь к пиву.

Пиво пользуется в городе особой популярностью. Во-первых, потому что своего пивзавода нет, завозят из Могилева, и тогда пьют даже те, кто не любит или не хочет, — чтоб было о чем вспомнить, когда захочется; во-вторых, пиво можно пить и тому, кто уже отпил свое, как Семен Букачев, или кто не пьет водки, как Цыган, но любит посидеть в компании, или кому все равно, что пить, как Лехе Русскому. Ну а Литвин считал, что два пива равны одной червивке, которую выпускает местный завод.

— Ну и как там, в Могилеве? — спросил Литвин Русского. — Что на этот раз привез?

В разрезе было немало яду. Дело в том, что Русский ездил в Могилев в отпуск раз в три-четыре года и всякий раз оттуда что-ничто привозил. Один раз привез шишку на лбу величиной с кулак и разорванное, будто в собачьей драке, ухо, второй — триппер, третий — игру в наперсток. А между шишкой и триппером привез жонку, которая теперь и воспитывала его черенком лопаты, если после пива, и плашмя после чего покрепче.

Но самое интересное, разумеется, игра в наперсток.

Понаблюдав, как они, могилевские ханыги, весело переключаются в карманы четвертные и полсотенные, Русский решил, что задача умного учить дураков, а в их городке дурней не меньше.

Реквизировал у жонки три наперстка, вырезал из старого каблука шарик. И так наловчился переставлять, что сам забывал где что. Отыскав в бельевом шкафу между жонкиных лифчиков и трусов загашничек, осторожно извлек пятьдесят рублей и отправился сюда, к винному магазину.

«Играем, граждане, в древнюю персидскую игру наперсток! — закричал, ловко переставляя наперстки по дощечке. — На кону пятьдесят рублей! Пятьдесят на порсят, двести — невесте».

Толпа собралась в одну минуту, посмеивались, однако играть никто не решался. Понятно, у кого тут, среди местного люмпен-пролетариата, пятьдесят рублей? Ладно, если втроем собрали на бутылку.

Наконец Антон Литвин предложил — в долг. Что было делать? Согласился. И через минуту толпа взревела от восхищения: Литвин выиграл. Единственная полсотенная перескочила в чужой карман.

Сильно затосковал Русский в этот момент. Но тут же нашел выход: «Теперь я в долг». «Не, с меня хватит», — ответил Антон. «Как — хватит? Несправедливо». «Не нравится — увольняйся», — и Литвин отвратительно захихикал. «Я! Я в долг!» — послышался голос. Но Лехе Русскому уже ни играть, ни выигрывать не хотелось. Единственно чего хотел — вернуть свою полсотню, поскольку страшно подумать, что будет, когда обнаружит Машка пропажу.

«Отдай ты мне эту полсотню, — тихо попросил Литвина. — Совсем заест Машка за нее». — «Как это — отдай? А если б ты выиграл?» — «Я бы отдал». Литвин опять захихикал. «Ну одолжи. Ей-богу, верну. По частям». «Ищи дурней за себя», — отвечал тот. «Ну купи у меня велосипед за полсотню». — «Твоему велосипеду сто лет. Он мне задаром не надо». «Ну... — прошептал, — бензопилу».

Вот это предложение и смutilo Литвина. Уж если бензопилу, единственную свою возможность заработать от жонки червонец, — значит, край. Вытащил

хрусткую, свеженькую из кармана, сложил пополам — и слева направо по мокрому от напряжения носу Лехи: «На! На!»

Ох как несяя домой. До чего хороший человек Антон Литвин!

Засунул полсотенную на место, отдышался. А через минуту проверил: лежит или нет? Лежит! Слава Богу!.. Зарекся.

— Могилев гудит. На митинге был в воскресенье. Поливают начальство, что твоя Москва. Один по-белорусски чесал как из пулемета.

Мая мова, як щчасце на вуснах,
хвалявання гарачы прыбой,
можа быць, на чужой засмяюся,
усё ж заплачу з тугі на сваёй, —

вдруг пробормотал Семен Букачев. И пояснил: — Это у меня сын вчера мормотал весь вечер.

— Вот это белорус! — обрадовался Литвин. — А ты? Хрен с горы.

— Я не белорус! — возразил Семен. — Я по батьке поляк.

— Да ну? — удивились все сразу. — А пшекать умеешь?

— Проще бардзо. Не пшепепши вепша пепшем².

Рассмеялись:

— Здорово!

Так они обнаружили, что — интернационал.

— Еврея только не хватает, — сказал Русский.

— Я и еврей, — заявил Семен.

Поглядели с недоумением:

— Еврей?

— Ну.

— Не дури головы.

— Точно. На другую половину. По мажке.

— Баба Зося? — еще сильнее удивились.

— Не, она неродная. Родная во рву лежит за Кагальным колодцем³.

— А как же ты?

— Я на батьку похож. Матка меня бабе Зосе подкинула.

Озадаченно помолчали.

— Ну и ну, — сказал Русский. — Что ж ты не говорил?

— А зачем?

— Ну, мы при тебе... анекдоты и все такое.

— А мне что?

Поразмышляли. Тоже правда.

— В Израиль не поедешь? — осторожно спросил Литвин.

— Чего я там не видел? Арабов?

Рассмеялись.

— А в Польшчу?

— В Польшче у кого больше, тот и пан. Белорусскому мужику там делать нечего.

Вздыхнули: так и есть. Тут жить, тут и помирать.

— Наши еврей ни в Израиль, ни в Америку не поедут, — сказал со знанием дела Русский. — Одно — что им и тут неплохо, а другое — Готлиб собрал всех в прошлом году и говорит: кто подаст заявление — удавлю. Ему что, начальник.

Готлиб — один из самых старых евреев в городе и, по слухам, председатель еврейской общины.

— Appetитная у него дочка, — вспомнил Русский.

— Была аппетитная, — возразил Литвин. — Теперь бочка.

— Ты ее по соседству не попробовал? Как они, интересно, еврейки? Как русские или...

— У них поперек.

Заулыбались обрадованно. Тема интересная, хоть тебе двадцать, хоть шестьдесят.

Однако — еще о пиве.

Как бы много ни привезли его — кончится к вечеру. А мужики прибывали. Вот и Костя Туркин разочарованно вышел из магазина, яростно плюнул себе под

² Пожалуйста. Не переперчи кабанину перцем.

³ «Кагал» — слово древнееврейское: сход, община, мир. Евреи, однако, там, у колодца, никогда не жили, и название его — метафора. Город на холме, вода глубоко, а у подножия бьют ключи. Жители города огородили их плотным срубом и оттуда развозили воду в бочках, здесь же поили лошадей — тесно было и весело. Ну а расстреливали евреев за колодцем, видно, погому, что и близко и затишно. Ныне Кагальный развалился и мощеная дорога заросла травой.

ноги. И тут увидел дружную компанию у болотца. Приблизился — без корысти, из чистого любопытства.

— Эйшь, отоварились, — произнес осуждающе. — Из-за вас, жлобов, горло промочить нечем.

Костя был известен тем, что вечно с утра пересыхало горло и промочить его можно было чем угодно, только не водой и не молоком.

Переглянулись, посочувствовали. Опять же, завтра горло может пересохнуть у каждого.

— Иди промочи.

С пониманием последили, как он, судорожно дергая худым кадыком и слепо выпучив на солнце глаза, опорожнил половину бутылки.

— Чмыкнул вчерась?

— Да где там... Пузырь на троих. — Отдышался. — Ну, о чем разговор?

— А вот Русский говорит: Белоруссия для белорусов.

— Само собой, — согласился Костя.

— А ты белорус?

— Я? А как же. Или русский.

— Так русский или белорус?

— А хрен его знает. Матка вроде со Смоленщины, а батька свой, здешний. Хотя... Не, это батька со Смоленщины, из Хиславичей, а матка тутэйшая.

— Глянь, по-белорусски заговорил, как пива дали.

— Я? И не думал.

— Матка, батька — это по-русски? А — тутэйшая?

— Чего ты пристал? Говорю, как все.

Помолчали: надо и отдохнуть.

— Цыган, — спросил Литвин, — а вы как, тоже будете требовать себе область? Сейчас все требуют.

— Не знаю, — ответил. — Как могилевские цыганы решат. Они главные.

— Так цыганы из Индии пришли, — сказал Русский.

— Не, мы из Молдавии.

— Да не теперь. Вообще.

— Матка мне этого не говорила.

— Этого и бабка не помнит. Тысячу лет, при царе Горохе.

Надо сказать и о Цыгане. В сорок шестом, когда, спасаясь от голода, цыгане поперли из Молдавии и шли через городок, одна из цыганок, на сносях, отбилась от табора. Тут и разрешилась в местной больнице. Первые месяцы жила с младенцем в стогах, а когда наступили холода, выплакала, выцыганила угол у одинокой старухи. Старуха зимой померла — занимала цыганка хоть и дрянную, но крышу над головой. О таборе не помышляла: малец был чуть жив, застудила-таки в стогах. Сперва промышляла тем, что гадала и на картах и по руке, а парень, когда подрос, танцевал в базарные дни «на пузе и на голове». Тут и вышел указ об оседлости, а в гадании люди разуверились — пришлось брать в руки лопату...

— Могилевские цыганы меня за дурачка считают, — вдруг он вспомнил с обидой. — Живешь, как гаджо, сказали.

Гаджо по-цыгански — русский.

Цыган в самом деле изменил привычкам своего племени, однако привязанность к лошадям сохранил: каждый год менял, покупал, продавал. И то: чем бы еще заработал на хлеб?

— Красивая у тебя жонка, — сказал Костя. — Где такую нашел? У нас ее вроде не было.

— У могилевских украл, — заулыбался Цыган.

— На коне увез?

— Почему на коне? На поезде.

Исчерпали и эту тему. Мужики у магазина меж тем начали лаяться с продавщицей — мало привезла пива. «Вам, пьяным рожам, хоть из шланга поливай — мало! — отвечала она. — Залиться готовы, ироды!»

Убывало пиво и у нашей компании. И день убывал. Солнце мирно катилось к лесу, лягушки шлепались и покрякивали в болотце, птицы пробовали голоса перед вечерней спевкой. Было хорошо.

— Мужики, а Васька Немец — он кто, белорус или...

— Ясно, белорус, — уверенно отозвался Русский. — Или русский. А может, и немец, гусь его знает. Немцы у нас паслись, как татары.

— А Ленька Швед?

— Шведы, между прочим, тоже здесь были. Может, какая бабка и согрешила.

Живет, как упоминалось, в городе и один китаец. Однако про него не вспомнили: китаец и есть китаец. Непонятно, правда, как попал в одиночестве в эти края, но это другой разговор.

Тут пиво кончилось, завершился и разговор. Следующий раз привезут через неделю, не раньше, но даже если и завтра — вряд ли возникнет опять этот пустой разговор.

За рекой, в пяти километрах от города, весной минувшего года начала строиться деревня. Следующей весной сюда придут жители — сразу все. Новоселье целой деревни — нечто новое: до сих пор оно было делом и фактом семейным. Будет праздник — у старых омраченный воспоминаниями, у молодых... То же и у молодых. Старым, однако, здесь умирать, молодым жить. Соответственно и заботы: как вы будете жить без нас на чужой стороне? и — как мы будем без вас?

Две реки, Вихра и Сож, сливаются за деревней в общее русло. Можно ли купаться и ловить рыбу? Лес неподалеку синей грядой. Можно ли собирать ягоды и грибы? Настоящие они или тоже декоративные? Красота без пользы, как известно, плохо живет.

Можно: этой реке и этому лесу повезло. Можно есть здешний хлеб, пить тутэйшее молоко.

Станут обживать дома и сарайчики, сажать морковь, картошку... Взойдут ли? Взойдут. Не на бедный уголок земли, благодарение Богу, попали они.

Особо будут приглядываться к местным людям: не обидят ли?

Не обидят.

У здешних людей этого стремления в крови нет. Впрочем, приглядываться тоже будут: какие принесли повадки и намерения?

А те же, такие же. Разницы большой нет.

Пройдет сто лет после нашей жизни, и новые жители окончательно сольются, сроднятся с местными, ни говором не будут отличаться, ни повадкой, ни воспоминаниями. А когда освободится наконец земля их забытых предков от той отравы, что принесла и сбросила синяя тучка, они не захотят уезжать.

Город М., 1991.

ЛЕВ ТАРАН

*

ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Майор

Помешался майор. Помешался на Боге.
Жизнь его протекала, как у всех, как у многих.

В двадцать лет — лейтенант, в двадцать семь капитанил.
Никого не убил он, никого он не ранил.

Но однажды очнулся — просветленно и мудро.
И увидел: за окнами — божее утро.

Нежно птички щебечут, под стреху залетая.
Молодая трава. Синева золотая.

Наступать, отступать — больше нету в том нужды.
И майор наотрез отказался от службы.

Прилетел генерал. И полковник из штаба.
Он на все их посулы отвечивал слабо.

«От служебного долга никто не свободен!»
«Я свободен,— ответил,— был голос Господень!»

Суховатый, прямой. И седой, да не старый.
Виноватой улыбкой встретил он санитаров.

Пьет лекарства теперь. Тих и вежлив с врачами.
Скрытно молится он — в туалете — ночами.

Пусть деревьев немного, мало пусть окоема —
хорошо ему в кущах сумасшедшего дома.

Среди московской толчеи...

Я сам себе противоречу:
и восхваляю нашу встречу,
чужой квартиры холодок,
и жадной, сбивчивую речь,
быть может, душу ей калечу,
а я не груб и не жесток.

Так уж случилось-получилось:
она судьбе сдалась на милость
и вышла замуж сгоряча.
Не дождалась, не дозвонилась.
Детей — аж трое — народилось.
Рубила истово, сплеча.

С тех пор...
С тех пор прошло, считай, лет двадцать.
И надо ж было повстречаться
среди московской толчеи.
Не поболтать и распрощаться,
а на такси в Перово мчаться...
О, небо, происки твои!

У друга, на кривом диване,
воспоминанья, раздеванье,
взаимный жар бессвязных слов,
объятья, слезы и стенанья,
потом опять воспоминанья
забытых встреч, забытых снов.

«Бог есть! Бог есть! — она твердила. —
Иначе бы какая сила
в такой толпе столкнула нас?

Бог есть! Бог есть! Не смейся,
милый!

Да я всю жизнь тебя любила,
как я люблю тебя сейчас!»

Она семью свою не бросит.
Она побыть подольше просит:

«Вдвоем, еще чуть-чуть вдвоем!»
Так отчего ж меня заносит?
И некрасив, и мудр, и впроседь,
и в неудачниках притом.

«Вдвоем, еще чуть-чуть вдвоем!» —
смеются черти за окном.
И голос, полный тайной силы:
«Бог есть! Бог есть! Не смейся,
милый!»

Боль

Она умирала от рака. Однако
еще улыбалась, еще говорила.
Она не боялась грядущего мрака —
жила в ней какая-то темная сила.

И муж, исхудавший, склонялся над нею,
кормил ее с ложечки — тихий и жалкий,
и нес ей лекарства, от страха бледнее,
и все повторял свои «елки-моталки».

Она изменяла легко и бесстрашно,
всегда повторяя коронную фразу:
«Тебя не люблю я. Но это не важно!»
Она истребляла любовь, как заразу.

И вот он — единственный. Нежный и кроткий.
Сидит отрешенно, уставившись в точку.
Она ободрилась: «Да выпей ты водки!
Мне тоже плесни, чтоб не пить в одиночку!»

Она не боялась ни рая, ни ада.
Она не боялась ни черта, ни Бога.
И лишь от невинного мужнего взгляда
в душе поднималась глухая тревога.

Сознаться б — во всем. И покаяться — разом.
И сердце наполнится чистой любовью.
Да он не поймет. Да и знать не обязан.
Она улыбалась. И харкала кровью.

И муж улыбался и гладил ей руку,
глядел на нее, откровенно жалея.
И эту запретную смертную муку
ей вынести было всего тяжелее.

Она умерла, не сказавши ни слова.
И дети и муж безутешно рыдали.
И было лицо ее бледно-сурово.
И дети святою ее называли.



ИГОРЬ СЕЛЕЗНЕВ

*

ПОТАПОВ И ДРУГИЕ

О добре

Потапов помогал своей старухе.
По цвету нужный выбирал сатин.
Подумать только!

А мужик один
распространялся против показухи.
Купили.

Магазин своим народом
был полон. А мужик свое долбил.
Ему Потапов бросил мимоходом:
«Я выставляться тоже не любил».
И — смолкло все. Одна жужжала муха.
К такой Потапов тишине привык!
Смотрела на него его старуха.
«Ты объяснишь», — потребовал мужик.
И слышно стало, как шуршала мышь!
Вздыхнул Потапов, глядя на прилавок:
«С людьми неделю не поговоришь —
ослабевают разговорный навык.—
И начал так:— Рассказываю кратко.
Однажды я заметил мужика.
И сразу понял, что ему несладко.
Работа. Дом. Дорога далека.
С похмелья нет в кармане пятака.
А у меня с собой была десятка.
Мне от десятки — небольшой урон!
И я еще тогда подумал сдуру:
дать прямо в руки — как посмотрит он?
И тайно сунул я ему купюру!
Да руку из кармана слишком

резко

я выдернул и чувствую: завал!
Бегу... А он — за мной. В руке — стамеска.
«Ты чьи же деньги мне в карман совал?»
И — поволок. Уж я и так и сяк.
Не хочешь, говорю,— давай обратно.
А он глядит и говорит: «Пааа-нятно...»
И — хватить меня башкою

о стояк!

И снова руку держит наготове!
А я ему — про тайное добро!
Вокзал, толпа, милиция...

А крови,

я помню, было не одно ведро».
И тут шагнул Потапов к мужикам,
сатина сверток передав старухе,
и объявил: «По-ка-зы-ва-ю шрам!
Выходит, что нельзя без показухи».

Об ангелах

Едва живой от своего труда
домой Потапов шел из сельсовета.
Прислушался. Собрались люди где-то.
Решают что-то.

Он пошел туда.

Пришел. И что же? Парень у стены,
с которого заране взятки гладки,
рассказывает ангелов порядки,
толкует их различья и чины!
И ангелов показывал руками!
«Да это говорит в тебе стакан!»—
сказал Потапов, стоя с мужиками.
И усомнился.

Не был парень пьян.

Народ еще молчал со всех сторон!
И верх рассказчик взял в конце концов,
когда сослался на святых отцов.
А в них Потапов не осведомлен.
«Про тех, кого ты видел наяву,
узнаю точно.

Вызвали в Москву.

Поговорим, когда вернусь оттуда».
А сам подумал, глядя в синеву:
«Но если нет их, то держись, паскуда».

И что он делал? Где ходил в Москве,
оставив на селе толпу народа?
Уехал на неделю или две,
а не было Потапова с полгода.
Но вот сидит, толпой сельчан тесним,
спиною привалясь к родному дому.
И парень тут. Беседу начал с ним:
«Ходил в Москве я по делам твоим
к митрополиту, а затем к наркому!
Стаканов пять с последним выпил. Чаю.
С митрополитом было веселей!
Уже назад пожитки собираю,
как вдруг бумага мне: «Пройти врачей».
Я тоже думал: ухо, горло, нос.
А брали жидкость спинномозговую!
Трудился, оказалось, на износ.
И вот комиссовали подчистую».

А после в окружении родни
спросил у парня: «Все читаешь книги?
Ну есть они, твои архистратиги.
Но ты скажи — зачем тебе они?
Я так тебе скажу: узнал — и знай.
Я тоже, может, знаю через край.
Представь, что я не старикам и детям,
а раструбил бы по округе всей,
куда стремимся и откуда едем!
Так нам тогда

не удержать вожжей!»

ФЕЛИКС СВЕТОВ

*

ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ

Роман

ОТ АВТОРА

«Отверзи ми двери» — мой первый большой роман; когда он был закончен, в нем оказалось без малого сорок печатных листов, я написал его в какие-нибудь десять месяцев, отрываясь только для того, чтобы заработать на пропитание.

Я написал первую фразу: «Зима, видно, кончалась, такая брошенность была в природе, оставленность, как в квартире, из которой хозяева выехали, а новые еще не въезжали...» Я не отдавал себе отчета в том, что в этой фразе уже заключена мысль романа, а она разворачивалась; покагилась и судьба героя, раскрывающего себя, узнававшего о вещах, о которых он никогда не подозревал. Время плотнилось, густело, я шел к финальной фразе — она четко увиделась на белом листе в первые же дни работы над книгой, конца которой было не разглядеть. Но чтобы пробиться к финалу, герою предстояло пройти в неполные три недели сюжета и разрывающие душу и сердце испытания, узнать свою немощь в посланных ему искушениях, попытаться понять и обступающие на каждом шагу совпадения, их неслучайность и промыслительность. Как выяснилось, материала для описания такого странного для меня в ту пору состояния души человека было предостаточно. Такое состояние знакомо душе и сердцу каждого, оно ждет своего часа...

Это был неофитский роман о неофите. Герою предстояло понять себя и отказаться от себя, отдать свое «имение» — переоценить прожитую жизнь, прошлые привязанности, отказаться от всех своих пристрастий — не ожидая взамен ничего, к р о м е вечности. А это, как сказано в Евангелии, «человекам... невозможно, Богу же все возможно» (Мф., 19, 26). И автору предстояло уложить в найденную романную форму непосжимый мир души человека, услышавшего в себе новую жизнь, пытающегося в ней разместиться, еще ничего о ней не зная. И здесь все казалось необычайно важным: и лавина книг, обрушившаяся на новокрещенного, а он о них никогда прежде не слышал; и таинственный мир церкви, о котором он знал понаслышке, воспринимаемая традиционно безбожные представления о нем как о некоем реликте или фольклоре; и люди, о существовании которых он не задумывался; и трагическая история России со всем ее ужасом и красотой — и ее надо было переосмыслить; и тьма, затопившая современность; и груз собственных лет с их безобразием, прожитая жизнь, изменить которую без Божьей помощи невозможно. Неофитский восторг обжигал героя романа жаждой поделиться с каждым встречным всем, что ему удалось узнать, — но отсюда его срывы и подчас агрессивная неспособность понять тех, кто остался в прежней жизни.

И еще один момент, не столько определивший сюжет романа, сколько постоянно его «взрывающий»: герой был евреем, принявшим святое крещение и пытающимся приобщиться к глубинам Православия. Казалось бы, нет в этом ничего необычного: разве апостолы, просветившие весь мир светом христианства, не были евреями? разве Божия Матерь, горячо почитаемая Православной Церковью, не была еврейкой, а Ее Сын не воспринял от Нее Свою Плоть и Кровь, Которые Он отдал за жизнь мира?.. Бог явился избранному Им народу, этим народом был распят, но избрание и обетование Его непреложны. И потому христианство и антисемитизм не просто несовместны, антисемитизм есть грех человеконенавистничества и для христианина является тяжким преступлением против Бога и собственной души... Неисчерпаемые и таинственные проблемы иудео-христианства — исторические и богословские, мучающие человечество вот уже две тысячи лет, должны были встать в судьбе ничем не примечательного человека, неожиданно для себя с ними столкнувшегося. Я пытался не сглаживать углы и не лукавить, не упрощать и не превращать роман в богословский трактат. Я искал художественную форму, рассматривал эту проблему на психологическом уровне, пытаюсь разобраться в душевной сумятице человека искреннего и страстного, перед собой честного в столкновениях бытовых и конфликтах идеологических. Герой романа уже понимал, что не сделает и шагу в новой жизни, если не сумеет мысленно прикоснуться и к высокой судьбе ап. Павла, и к трагедии недавней русской истории, в которую вторгались вчерашние ученики хедера с красными бантами и маузерами в руках; если не поймет сущность сегодняшнего шовинизма — бытового

и так называемого «патриотического». Герой религиозной драмы должен был с новых для него христианских позиций осмыслить и Архипелаг ГУЛАГ и Освенцим.

Судьба романа сложилась поначалу, на удивление, счастливо: огромная рукопись, лохматая и перегруженная материалом, законченная в 1975 году и тут же попавшая в самиздат (в самиздате роман назывался «Кровь»), уже в 1978 году вышла в Париже в издательстве YMCA-PRESS. Книга читалась нарасхват неоязычниками, узнававшими в ней себя, и была враждебно встречена теми, кто был чужд христианству. Пятнадцать лет назад христианство, в частности православие, вызывало у нашей непросвещенной и оторванной от христианской культуры интеллигенции только отрицательные эмоции, а еврейская тема была вовсе запретной, попытка ввести ее в контекст христианства воспринималась как антисемитизм. Я пережил весьма драматические разрывы с друзьями, а с другой стороны, в лагере националистически настроенных людей — будь то антисемиты или иудействующие, воспитанные все тем же госатеизмом, — был заклеен как «выкрест», посягающий на то, что ему не принадлежит. Христианство знает оба эти соблазна со времен своего возникновения; и те, кто борется с христианством, и те, кто хочет присвоить его, выдавая за фрагмент своей национальной культуры, по сути дела едины в стремлении воспользоваться христианством в собственных, подчас неблагоприятных целях.

Сегодня у романа начинается новая жизнь не только потому, что он станет доступен читателю уже не за рубежом, где был впервые издан, но и на родине. Готовя роман к изданию, я подверг его тщательной авторской редактуре, и он представляет собой новый и окончательный вариант. В связи с этим я должен упомянуть об одном обстоятельстве, которое считаю важным.

Закончив книгу, я отправил ее А. И. Солженицыну. Он был еще в Швейцарии, такого рода пересылки были связаны в ту пору с большими трудностями, рукопись не застала адресата и догнала его в Вермонте. Высылка Солженицына в 1974 году была огромной потерей для России, но я воспринял ее еще и лично. В только что появившемся тогда сборнике «Из-под глыб» одна из статей («Русские судьбы») принадлежала мне и была по сути конспектом будущего романа «Отверзи ми двери». Пересылка его казалась мне свидетельством (или знаком) того, что мы еще живы и продолжаем начатую в «Глыбах» работу. Иначе я едва ли решился бы отправлять Солженицыну тысячстраничную рукопись для прочтения.

Я был ошеломлен, получив ответ: и самим его фактом, и содержанием. Письмо в половину печатного листа, на мелкой машинке без полей и интервалов, с подробным постраничным разбором книги и поразившими меня доброжелательными и профессионально-редакторскими рекомендациями. А. И. обещал содействовать изданию романа, настоятельно советуя значительные сокращения, чтобы избавиться от утяжелявших повествование объяснений. Был ли я в ту пору в состоянии услышать справедливый и трезвый голос? Во мне еще гудели все эти сотни страниц, а свобода жизни в самиздате не подразумевала никакого, даже самого разумного вмешательства. Я сделал минимальное из того, что следовало, и отправил рукопись в издательство. Книга была напечатана, возвращалась в Россию единичными экземплярами, они вылавливались на обысках, роман обругали в эмигрантской прессе, а спустя семь лет он вошел в мое обвинительное заключение (как, впрочем, и «либретто» романа — статья в сборнике «Из-под глыб»).

Я не стал бы писать обо всем этом, если бы история с письмом Солженицына не получила продолжения, имеющего непосредственное отношение к сегодняшней публикации романа. Я спрятал письмо, оно не должно было попасть в чужие руки; оно уцелело при многочисленных обысках в 80-е годы (по нашим «делам» их было 16 — у нас и у наших друзей), но в ссылке узнал, что во время очередного перепрыгивания архива в наше отсутствие (Зоя Крахмальникова была уже в ссылке, а я еще в тюрьме) письмо для пушей сохранности уничтожено.

Оно неожиданно вернулось ко мне полгода назад (как выяснилось, письмо не уничтожили, а очень далеко запрятали).

Я прочел письмо новыми глазами и увидел, насколько оно для меня и для работы над романом важно. Но для того чтобы я оказался способным воспринять сказанное в нем, потребовалось пятнадцать лет, я прожил целую жизнь, написал еще четыре романа, отбыл «свое» в тюрьме и ссылке...

Февраль 1991 г.

...и так весь Израиль спасется...
(Р. II. 26)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Зима, видно, кончалась, такая брошенность была в природе, оставленность, как в квартире, из которой хозяева выехали, а новые еще не въезжали. Лев Ильич усмехнулся про себя — переезжал он много раз, и комнат этих, квартир навидался, и каждый раз, открывая дверь нового жилья, ежился от неприютности; земля где обнажилась, где покрывал ее слежавшийся мокрый снег, кучи обледеленого мусора у мелькавших за окнами пристанционных построек, бумага, огрызки в полосе отчуждения, деревья, натканые без цели и смысла, брошенные куклы без рук, ног, с оторванными головами, пыльные осколки раздавленных елочных игрушек, замусоленные книжки без титульных листов, старые учебники, лыжные палки без колец, аптечные пузырьки, а вот теперь: недостроенный брошенный дом, повалившаяся изгородь, собака, копошащаяся в отбросах, нищие огороды — все улетает, поворачивается перед глазами, поезд грохочет, проскакивая мосты, речки в темных полыньях с тускло блеснувшей рыжей водорослью, и снова стрелки, разбегающиеся рельсы, грязные вагоны в тупиках, и опять голые брошенные поля со случайными деревьями, поломанными стульями, матрасами в желтых разводах с торчащими пружинами...

Лев Ильич всегда любил возвращаться, а уезжал с трудом и редко, волновался, дожидаясь встречи, считал километры, смотрел на часы, ждал и боялся упустить, опоздать, а теперь было сонное безразличие — устал или что-то сломалось в нем, первый раз так: пусть бы остановился поезд, стал посреди поля, можно лечь на полку, закрыть глаза — все равно.

Он и внимания не обратил, отметил как еще одну мелькнувшую за окном подробность, не вздрогнул, просто голову повернул на шум отъехавшей двери и раньше всего увидел, как поехали в зеркале, уходя в переборку, водокачка, столпившиеся у переезда грузовики; поздоровался механически, ничто в душе не открылось, а всегда так чуток бывал до мелочей, загорался, предощущая, — а сколько напрасно предчувствовал! — и все-таки, не зная, угадывал — что-то быть должно. А тут жизнь поворачивалась, гром грянул, а ему было все равно. Устал, стало быть, Лев Ильич, подошел к краю, а здесь уже от него (или не от него совсем?) зависело — пройти мимо или навстречу шагнуть иной жизни, что вошла в тесное купе с чемоданчиком, с сумкой, расположилась наискосок у двери... Он уже разговаривал, что-то отвечал: надо ж так, случайно встретились, тесен мир, знакомы столько лет, хоть и встречались не часто, последний раз с год назад, — да, да, чуть меньше, под первое мая... — нет, на Пасху! Верно, на Пасху у ...ских, ночью приехали: развороченный стол, свеча в закапанном стеарином, заваленном крашеными яйцами, скорлупой — зеленом, переросшем овсе, разгул, странные, пьяные, освещенные неверным светом свечей лица — зачем все это? И вот она, это лицо — да, да! — мелькнуло и забылось.

— Откуда это вы?

— Да тут... Пришлось навестить одну старушку.

— Грязь, наверное?

— Да, едва добралась, до станции километров пять, больше, автобуса не дождалась, промокла, уговорила проводника, а то еще час до электрички.

— Сейчас чаю попрошу, согреетесь.

— Спасибо, как-нибудь — скоро Москва.

И тут, как нарочно, проводник с подносом, чай, а у него лимон сохранился, полбутылки водки («Один пить не могу, а вам в самый раз...»). И вот уже на столе мед в большой — три литра — банке («Бабушка-старушка — нянька наша старая...»), пирог домашний («Вам домой, верно, дали?» — «Обойдутся, он еще теплый, дышит»)... Со второй полки спустился третий пассажир, ночью сел, Лев Ильич не видел его, отвернулся к стене, когда грохнула дверь.

Поезд стоял на станции: «Последняя, что ли, перед Москвой?» — «Еще одна будет через час, а потом — все».

Что-то было в ее лице, что остановило Льва Ильича, подивился: почему не взглядел раньше, мелькало, не задерживалось, — жена и не приятеля даже, знакомого, мало ли их у него, кто-то из друзей с ним поближе, да и все встречи по праздникам — шум, бестолковщина, всегда своим занят — не до кого. Круглое лицо,

чуть курносое, скулы (ох, намешали татары!), подбородок нежный с ямочкой, глаза с косинкой, в зелень, печаль пронзительная, этим, верно, и остановила: не постоянно влажная, что пригляделась в темных еврейских глазах, а светлая, холодная безнадежность, до отчаяния рукой подать, но светятся добротой, внимательные, будто и его беду готовы на себя переложить, намеки только — ей все равно... Ох, сколько всего сразу напридумывал Лев Ильич!

— Вот и сосед не откажется. Видите, сосед, каким нас Верочка исконным, деревенским потчует.

— Не откажусь, у меня, правда, пусто...

— Да что там, час-два и разойдемся, Бог знает, может, и свидимся... Вера?.. Хорошо, пусть просто Вера, ну а я — Лев Ильич, так солиднее... Костя? Отлично... Вот и стаканы у нас... Нужно ли споласкивать — водка... Как там у Толстого — мед с огурцами? Ну а водка с медом — тоже дедовская история — медовуха...

— Тот продукт почище был, без химии.

— Да, я и забыл, вы не то химик, не то физик? Что делать, цивилизация, от нее никуда, вот вам плоды ее реальные просвещения — и ничего, живем, не от водки ж помираем...

Тепло стало Льву Ильичу, и за окном посветлело, он уже не глядел на всю эту заброшенность, неприютность: Вера сидела против него, через стол, мило враз стало, и мусор она выбросила (а он и не заметил), окурки, полотенце с петухом свесилось со столика, мед желтел в миске, и Костя, видно, славный человек, поглаживает смешные рыжие усы...

— Интересная вещь днем пить, — воодушевился Лев Ильич. — Что-то круто меняется. Вечером ритуал, деться некуда, а днем словно совершил что-то, смелость нужна, шаг делаешь, ломается привычное течение жизни. А часто ли мы на это способны — жизнь самостоятельно переиначивать?

— Фу, нищета какая. — Костя ложку с медом у рта задержал, глаза у него острые, огоньком загорелись. — Рюмку водки днем выпили — уже и подвиг совершили. Печальная ваша жизнь, Лев Ильич, простите меня, конечно.

— Верно, печальная, я про то самое, только смелость нужна самому себе сказать вслух. Год к году собирается: первый класс, десятый, вуз, одна жена, вторая, ребенок, отпуска... Смотрите, печаль наша — снег с грязью пополам, травы и в помине нет, и будет ли?

— И впрямь думаете, не зазеленеет? — внимательно взглянул Костя. — Коли неверующий человек, стреляться надо. Чего зря небо коптить?

Лев Ильич поставил стакан на стол.

— Жестко вы со мной, хотя что ж, верно, логично.

— Нет, нет! — Глаза у Веры потеплели («Стало быть, и отчаяние ее не до конца, — подумал Лев Ильич, — доброта поглубже...»). — В том и дело, человек тем и отличается... от дерева, у него не только программа, генетически или еще как, у него настроение, падения, взлеты... Ему кажется, смерзлось, все растерял... Но — подул ветер, глядишь, он и не знает откуда, а зелень проклюнулась. Зачем вы так, это не жесткость, а холодность, равнодушие...

— Я всего лишь хочу последовательности от человека, если он взялся размышлять, — резал Костя. — Нашему интеллигенту постоянно плохо — и внутри и вокруг, но, заметьте, смирения при этом ни на грош, полная путаница — снова живем! Но гадости делать не хочет — по мере возможностей, конечно, стыдится, хотя стыдиться, между прочим, нечего, если ты от обезьяны произошел, а она, как и дерево, от атома. Бери что плохо лежит! Но он стесняется, в карман не лезет, хоть и готов взять, только чтоб соблудности видимости, что не из чужого кармана, а вроде ему дают за благородство. Все равно знает, вот что интересно, ему вдолбили, как правило умножения, что он и венец творения, и звучит гордо, и что мир победит войну или наоборот — не в этом суть. Но вот, скажем, жена изменит, с работы погнали, дочка за прохиндея вышла или того веселей — влипла, тут он совсем впадает в отчаяние, в панику — трава у него не зазеленеет! Ну и стреляйся, все равно лопух из тебя вырастет — небось зазеленеет. Или плюнь на нелепое благородство, обезьяна нагишом прыгает в клетке, хватай что плохо лежит — все равно хватаешь!.. Но на это нет смелости, печаль, видите. Да не печаль, так, слякоть...

Лев Ильич глядел на Веру, такая в ней была обнаженность, будто и у него не глаза — рентгеновские лучи... «Всем заметно!» Как же она живет, бедняжка — не солги, не умолчи — все наружу! За него переживает? Или очень жалок, а несчастенького почему бы не пожалеть — как огурцы с медом, дедовская традиция...

— Не так вы говорите...— Вера взяла у Кости спички, две сломала, Лев Ильич зажег, она прикурила.— То есть... можно и еще добавить. Но — опасно: вы нашли или вас одарили, а он — гибни? Тут другое, удивительная любовь к себе, ослепление... Верно, он все знает, никакой загадки: почему гром гремит, после весны — лето, а феодализм сменяется капитализмом. Написано в книжке, а учился прилежно. Но почему он так себя любит? Своей жизнью недоволен, все ругает, надо всем смеется, в окно посмотрит — нелепость, задумается — глупо все, жизнь его висит на волоске. дом строит-строит, таскает по кирпичику — достань-ка кирпич и не запачкайся! — а разрушить дом ничего не стоит, дунуть посильней, где он, дом?.. Но я о другом. Ему в голову не приходит усомниться: может, он все-таки не прав, не так построил, не туда строит, не на то тратит силы, не знает главного, чего ради можно и про дом позабыть, про машину, что с таким трудом... А как ему все трудно достается! Но ведь можно перечеркнуть жизнь, начать с начала никогда не поздно... Вот тут вы, Костя, и не правы — отнимаете у человека будущее, а оно у него в руках, надо только перестать себя любить. И эту свою слабость, и свое страдание — не важно, копечное оно или настоящее,— кто может оценить чужое страдание, вы, скажем, мое? И силу, и то, что достиг, и знания... А что он знает-то, Господи, стыдно сказать, какая степень невежества у нашего интеллигента, в какой бы он области ни зарабатывал хлеб! Но он собой все равно упоен. Вы на него посмотрите внимательней, когда он что-то объясняет, рассуждает или высказывает доморожденные умозаключения, когда он хозяин, муж, любовник, отец — такая снисходительность, нет до других никакого дела, а слух идет — он добрый, хороший... Навидалась! Одно дело его жизнь, беды и проблемы, другое — как живут остальные. Они, мол, сами виноваты, стадо, рабы, того заслуживают. Такой, понимаете, иностранец в своей стране... Тошно, с души воротит. Но привыкает человек к такой жизни, вот и я... И уже не тошнит, редко, и с души не воротит — сил нет...

Лев Ильич смотрел изумленно: вот так рентген у нее, дедовская традиция, защитила... Стало быть, он про нее ничего не понял — себя она, что ли, защищает? И как-то они друг друга узнали, с намека, будто вчера шел разговор, оборвался на полуслове, и что-то знают, что ему невдомек, на него никакого внимания — или это о нем?

— ...Тут ослепление...— торопилась Вера; щеки у нее порозовели, глаза стали тверже, печаль ушла.

— Бога нет,— прервал ее Костя.— Страшная история, тем более если человек не молодой — что он принесет на Последний Суд — ослепление, самодовольство, пустоту?

— А будет Суд? — быстро спросил Лев Ильич.— Вы уверены, я не в метафорическом смысле, а чтоб реально?

— Вы его не чувствуете? Что страшнее, когда в том, что само собой разумеется, усомнились,— что трава зазеленеет?

— А там,— очень важно стало Льву Ильичу услышать ответ,— там станут наше добро и зло мерить-взвешивать?

— Оно взвешено, Лев Ильич, измерено. Вы подумали о чем-то хорошем,— Вера улыбнулась, и Лев Ильич опять изумился обнаженности ее лица — все на нем видно, хоть и знал теперь, нет у него ключа, чтоб понять,— всего лишь подумали! — а на небесах такая радость, ангелы крылами машут...

— Интересен как вы сошлись,— высказал Лев Ильич свою мысль вслух,— впервые встретились, а будто вчера расстались.

— Я вас видел,— сказал Костя Вере,— в храме на ...ке, мне думается, на Рождество, вы стояли у стенки против левого клироса, к вам сторож подходил, или он служка — рыжий, без бороды?

— Не помню... На Рождество я там была, вечером...

Дверь поехала, и снова метнулись в глаза Льву Ильичу, утекая в переборку, деревья, голый, облезлый бугор, а на месте их в проеме пожилая женщина в плисовой жакетке, в шали, завязанной крест-накрест на груди, и девочка трех-четырёх лет в платочке, в валенках с галошами — тянула ручонку.

— Вы как сюда?! — Проводник — красный, распаренный — повернул женщину за плечо.— Бригадир попросит, отойти нельзя, стаканы прибрать...

— Зайди-ка, девочка.— Вера разрезала пополам белую булку, налила мед, намазала.— И вы присядьте. Куда вы их, все равно до станции. Чайку попьете.

— Не положено,— буркнул проводник,— вас пустил не знаю зачем.

— Спасибо тебе, дамочка.— Женщина вытянула девочку в коридор: с булки капал мед.— Мы до Москвы с одного перегона на другой. Дочка померла, отец внучки

сбежал, она еще не родилась. В Москве, говорят, проживает, веселый, лихой, ни разу письма не прислал, не только что денег.

— Как же найдете? — Костя выгреб из пальто мелочь.

— Человек не иголка, не затеряется. Да и похожа — из одного мешка горошины. Мы из Барнаула, зря по вокзалам валяемся? Бог не допустит оставить сироту, а я уже не жилища. Спасибо вам, гражданин, сироту пожалели.

Лев Ильич, отчего-то смущаясь, достал три рубля.

— Вишь как, — женщина ту же опоясалась шалью, — а ты — бригадир, бригадир. Мы под Богом ходим... Спаси вас Христос, гражданин хороший, и дамочке вашей душевной с вами радости да детушек...

— Послушай, мать, — сказал Костя, — у нас разговор... Да садись, отдохни, и девочка поест, пусть приходит — ничего он не сделает. Тебя как зовут, малявка?.. Тоже Верочка?.. Пролезай к окошку... Скажи, мать, жизнь у тебя, видать, не такая веселая: и внучка на тебе, и дочь умерла, и мужа давно нет, верно? А вот предложили бы снова прожить жизнь, и чтоб все не так — жила б в Москве, была ученая — все, чего надо. Захотела б или повторить свою, такую, как была?

— Молодой ты, хоть и усы нарастил. Что ты понимаешь про мою жизнь — веселая она или в петлю? Да хотя бы и в петлю — такое испытание, удержусь или нет от греха... У меня такое в жизни было... Ты как кадры в очках — на заводе я в войну работала: «Мужа нет, нация, в армии не служила, в белой то есть...» Разве ты меня в этих кадрах разберешь? Грех замаливаю, внучку доставляю до места. Испытание или еще, может, чего. За что мне по второму разу ходить? Не такая великая грешница, такого наказания никогда не бывало. Последнее дело позавидовать другому счастьем или своим перед кем погордиться. Делай что совесть говорит. А чего выгадаешь-продаешь, не нашего ума дело.

— Вы простите меня... — Лев Ильич нервничал. — Мне очень важно, чтобы вы... А вам если неприятно, не отвечайте... Вы в Бога веруете? Не так чтоб — а как же, мол. А... на самом деле, во Христа, в Воскресенье Его на третий день, по Писанию, в Церковь, что в ней не одна только служба и обряд, утешение — Бог обитает? — Лев Ильич смотрел внимательно, напряженно, но краем глаза отметил, что Вера к нему обернулась.

— Ты сам-то не русский будешь? — спросила женщина.

— Нет, — сказал Лев Ильич, что-то в нем дрогнуло, — я еврей. И отвечать не стоит?

— Христос с тобой, милый человек, а Богородица наша — Матерь Божия кто была, а святые Апостолы? Я потому спросила, что немолодой, в моих годах или помене?

— Сорок семь лет. Полвека живу.

— Видишь как, сколько в России прожил, а такое про Церковь загадываешь. А как бы я жила — не верила? Мужик мой у нас в деревне — я из-под Сасова, Тамбовская была область, это в войну залетела в Сибирь — озорничал, крест сшиб на колокольне. Последний оставался крест, служить давно некому, нашего батюшку лет за восемь до того кончили. Сбил крест, перед деревней выхвалялся, когда колхозы пошли. Правда, не случись с ним, может, и отыгралось бы ему его озорство — у нас всех озорников-партийных позабирали. Под самую Пасху сбил, а через неделю — да не очень и пьяный был, на Пасху он загулял — углядел у меня икону. Да чего глядеть, как себя помню, всегда в углу висела — бабкина икона. Это, говорит, что за темнота, крест на колокольне сбивать, а в своем доме терпеть? Пошел в угол, поднял руку да и брякнулся об пол. Десять лет я его на солнышко выносила, без ног пролежал, пока не схоронили. Есть Бог или нет?.. А про церковь никого не спрашивай — приходи, стань на коленки, отстоишь службу — чего тогда спрашивать, сам не захочешь. Я в Москву еще еду, говорят, церквей много — везде служба. Правда — нет?

— Не так чтоб много, как было, — сказала Вера, — но есть.

— Вишь как живете, а другой раз встретишь из города, из Москвы, жалуются — того, сего нету. Я гляжу, вы люди грамотные, поймете: мне внучку покрестить надо. У нас нет ничего, бабы увидят мужика с бородой, приезжего, в избу тащат — крестить или венчать, а он и лоб перекрестить не умеет. Они теперь, какие из города, все в бороде, а что толку? Я хочу внучку — чтоб в храме, чтоб в Москве, чтоб благодать...

— Зачем в храме? — влез Костя. — У вас, наверно, и документов нет. Мы ее так окрестим.

— Как так? — нахмурилась женщина. — Найдем документы. Нам в храме нужно — пусть внучка со Христом растет.

— Спасибо вам, — сказал Лев Ильич. — Я очень ваш ответ и разговор запомнил.

— Тебе спасибо. И всем вам, люди добрые. — Она низко поклонилась.

— Подождите... — Вера давно уже хотела что-то сказать, не решалась. Теперь она встала, оперлась рукой о столик, рука подрагивала.— Подождите! Вы из какой деревни под Сасовом, не из Темирева?

Женщина на нее внимательно посмотрела, поправила платок.

— Из Темирева мы, а ты уж не из тех ли мест?

— Из тех,— сказала Вера,— то есть я-то нет, а родня...

— То-то я смотрю, словно бы и видала, хотя где — девчонкой ты была, я с войны оттуда.

— Нет,— сказала Вера,— я там не жила, слыхала. Это отца Николая, батюшку, у вас убили?

— Его. Вон как, знаешь. Хороший был батюшка, царство ему небесное, отлучился. Меня крестил. И дурака моего отчаянного... Один он у нас и был, как себя помню.

Вера схватила со стола банку с медом, завязала тряпицей.

— Вам пригодится с девочкой.— И руки стиснула на груди.

Женщина посмотрела на нее, размотала торбу, устроила.

— Спаси вас, Господи.— Она опять поклонилась в пояс.— Пошли, внученька, а то за нас этому орлу нагорит от бригадира; он и то уж стал на курицу похож.

Дверь с треском задвинулась.

— Вот вам и православное сознание в чистом виде. И заметьте,— Костя выжимал из бутылки последние капли в стакан,— ей и в голову не пришло, как любому благородному интеллигенту непременно бы, качать права: хотя бы заявление написала, через милицию найти ничего не стоит, объявили бы розыск. Она его ищет древним способом — подумаешь, Москва, десять миллионов, у нее приметы: лихой, веселый и на внучку похож! Найдет, не сомневаюсь. А вы правда знаете того священника?..

Лев Ильич смотрел в окно: поезд двинулся, женщина в плисовой жакетке с девочкой пошла в вокзал, не торопясь, будто и надо им здесь выходить, не оборачивались.

Вера молчала.

— Есть в романе у великого нашего писателя такое место,— сказал Костя.— Рогожин спрашивает князя Мышкина, как вы только что. Лев Ильич: веруешь ты в Бога или нет? А тот ему рассказывает про свои недавние четыре встречи — не помните?

Лев Ильич обернулся, посмотрел на Веру:

— Как я счастлив, что вас встретил... Я и не знаю, чтоб со мной было, когда б не так... Простите, Костя, что за место, не помню?

— Четыре встречи. Первая с ученым человеком — атеистом: все он не о том говорил, а о том ничего не знал. Потом князь жил в гостинице — там случилось убийство. Два немолодых мужика из одной, что ли, деревни, один у другого углядел серебряные часы, ему понравились, он взял нож и, когда тот, с часами, отвернулся, этот — с ножом, перекрестился: «Прости, мол, Господи, ради Христа!», зарезал и взял часы. А третья... Вспоминаете? Идет князь по городу, а навстречу пьяный солдат: купи, барин, серебряный крест за двугривенный. Князь купил — оловянный крестик, сразу надел на себя, а солдат тут же отправился крест пропивать. И четвертая — самая главная встреча. Князь только-только вернулся из-за границы, знакомился с Россией, видит бабу с ребенком, с грудным; ребенок первый раз улыбнулся, она и перекрестилась. Что это ты? — князь спрашивает. А вот, мол, как радость матери, когда первый раз младенец заулыбается, так, мол, и у Бога радость, когда ему с неба видно, что грешник от всего сердца помолится. Вот вам, кстати, на ваши вопросы ответ. Князь Мышкин — припадочный идиот или другими словами скажем — Рыцарь печального образа, первые впечатления от России так и сформулировал: есть, мол, что в России делать, если неграмотная баба сердцем поняла такую глубокую христианскую мысль. Сто лет минуло — есть что в России делать или нет?

— Делать здесь всегда было что,— сказал Лев Ильич,— простор позволяет экспериментировать, а делатели подросли ли? Вон вы как с интеллигентами круто обошлись, или на эту несчастную женщину с внучкой рассчитываете?

— Не на нее. И не на господ интеллигентов. На Бога надеюсь, на Спасителя нашего Иисуса Христа.

— Верно говорят: о чем подумаешь, то и произойдет. Произошло! — вскинулся Лев Ильич.— Значит, на Бога? Но Он, как мне известно, от человек что-то хочет. От России дождался: с колокольной разделались, про священников и говорить нечего... Сначала все не о том писали-говорили, потом брат брата за часы зарезал,

крест пропили, дальше — больше, церкви скovyрнули, а вы все на Бога да на бабок надеетесь, которые первой улыбке младенца радуются, — так, что ли?

— Так, — тихо сказала Вера. — В этом, Лев Ильич, главная христианская мысль Костя очень резко говорит, не так можно понять. Улыбка, которой ангелы или Сам Господь радуются, она все прочее перевесит — и зарезанного мужика, и проданный крест, и копеечный атеизм, и даже Архипелаг, может быть. Вы это сердцем поймете, слова этой женщины, сказанные тут, сердцем услышите — и вопросы будут другие, и сама жизнь изменится.

— Я уже слышу вас, Вера. А мне и это, по моей жизни, много — не стою... Простите, если неприятно, какие у меня права на такую откровенность.

— Про то никому не известно, — так же тихо продолжала Вера, — кто чего стоит, только в «кадрах», как она говорит, расценки на каждом пункте анкеты, а в подлинной жизни нет пунктов. Человек и Господь Бог.

— Крепко вы за меня взялись, — сказал Лев Ильич, — а я сетую — делателей, мол, нет!

— Вы по-женски, Вера, поэзия, а Лев Ильич человек реальный — какие ему младенцы. — Лев Ильич с удивлением взглянул на Костю, тот говорил важно, покровительственно. — Я литературу вспомнил, чтоб выразить мысль о разнообразии русской религиозности. Режет — а верует, крест пропивает — а верует! И о природном таланте веры — не от ума, тем более не от образованности, — сердечном таланте понимать Христа. Наши мудрецы и пророки никак не могут выразить, их и обвиняют — то в национализме, то в изоляционизме и еще Бог знает в чем. Все слова давно скомпрометированы, в тираж вышли — богоносность, скажем. Какая богоносность, когда — не евреи же в кожаных куртках! — сам православный народ гадил в своих храмах! Здесь другое: талант понимания глубины веры — из удивительного страдания, забвения себя. История, факты — вся культура стоит на этом. А про младенцев, не забывайте, сто лет назад написано, дело происходило в православной стране — существенная разница, принципиальная. В семнадцатом году в России Христа действительно предали — и не так, как солдат, что крест пропил (не продал, заметьте, а пропил!), но от веры не отказался. И не так даже, как мужик, что брата земляка за часы зарезал — тот Богу при этом помолился, есть разница. Здесь так предали, что и младенцы, которые улыбаются, и священники, что через день бегают к уполномоченному и еще не знаю куда, — не помогут. Какая на нем благодать, соблазн только. Есть мысль более существенная, и если хотите, сегодня более важная, современная, хотя, как ни странно может показаться, святоотеческая. Дух — Он где хочет дышит, не только в храме, загаженном жалкими житейскими компромиссами... Живет, быть может, человек — и не подумаешь о нем ничего такого — и за всех и за все отмаливает.

— Святой, что ли? — спросил Лев Ильич.

— Где хочет, сказано, — строго глянул на него Костя. — Вы не смотрите, что я сигарету курю и чужой водкой не брезгую.

— Это мне не понять, — вздохнул Лев Ильич. — Трудно постичь сразу.

— И я не пойму, — сказала Вера. Она уже увязывала сумку, что-то новое услышал в ней Лев Ильич. — Откуда вам может быть известно, кто, куда и зачем бегают? И если побежал, что с того? Речь о сердечном таланте веры.

— Как что с того? — вскрикнул Костя. — Вы что ж, зная о его сотрудничестве, поверите в благодать на нем, пойдете к нему причащаться?

— Я не к нему прихожу, — сказала Вера. — Я в храм прихожу — не в «кадры». За него вместе с ним помолюсь. С собой бы разобраться...

Они подвезжали, вошел проводник с билетами, не поглядел на них, молча отдал. Поезд шел все медленнее, дернул напоследок — и встал. Все поднялись.

— Вы меня не бросайте, — заспешил Лев Ильич, — давайте обменяемся телефонами, мне очень важно, плутаю в трех соснах... А ваш, Верочка, у меня есть...

— Я там не живу теперь, Лев Ильич.

— Переехали?

— Я вам сама позвоню. Кстати, если услышите, кто сдает не очень дорого... — Она уже выходила в дверь с чемоданом и сумкой.

Лев Ильич пошел следом.

2

Он перешел площадь, подземным переходом широкое, как проезжий тракт, грохочущее Садовое кольцо и углубился в переулки. Странное состояние было у него — будто он и не он шлепал по жидкому снегу, сворачивал не выбирая дороги, куда

ноги несли. Домой ему не хотелось. Старые ботинки промокли, руки он засунул в карманы, портфель зажал под мышкой.

Ему было хорошо! И вот, собирая и не умея собрать разбегавшиеся мысли, он пытался понять, отчего хорошо ему — немолодому, уставшему человеку, вернувшемуся и все старавшемуся оттянуть возвращение домой, промокнутому и озябшему?..

Выпить ему захотелось, он не пил никогда в одиночку, только с друзьями, по случаю или с женщиной, а тут от сырости, озноба, бесприютности — счастья, звеневшего в нем, захотелось холодной, чтоб все замерзло, а потом само из себя загорелось, зажглось, расходясь по гелу.

Он толкнул дверь и оказался в столовой. Час был неурочный, уборка, кто-то все-таки сидел, он не стал глядеть, отметил: буфета нет, значит, снова выходить в магазин, под снег... Подошел к кассе.

Блондинка не блондинка, светленькая, с кудерьками, а глаза под тоненькими, наверно, выщипанными бровками неожиданно добрые и с усмешкой.

— Замерз, что ли? Платите три рубля за гуляш.

Лев Ильич вытащил деньги.

— На раздачу, а компот здесь получите.— Она выбила чек, достала стакан, початую бутылку, покрасила компотом — второй стакан стоял у кассы, сверху плавало сушеное яблочко. — Пей на здоровье, а то у нас, говорят, японский грипп.

— Ловко. — Лев Ильич смотрел с восхищением.

— Приходи почаще, я тебя не такому научу... Иди-иди, не пугайся — шутка.

Лев Ильич сел в углу у окошка. «Господи, хорошо-то как!» — думал он. Водка была теплая, компот сивуху перебил, он не успел закусить, зажглось внутри, как и ждал. Намазал горчицей черный хлеб, из глаз посыпались слезы. «Интеллигентская сентиментальность!» — усмехнулся он. Выпил сто грамм и всех готов целовать — хорошо-то как! Женись на этой женщине: комната у нее тихая; старенький телевизор под белой вышитой салфеточкой-ришелье, узорчик хитрый; кровать с шишечками, или нет, тахта широкая — кровать выбросила; круглый стол под тяжелой цветастой скатертью с кистями; хорошо бы абажур, нет — люстра с тремя светильниками! Цветочки на окне — гераньки и беленькие занавесочки с тем же узором. А книг нет, «Огоньки» стопочкой, и на стенах оттуда приклепленные картинки. Квартира небольшая, тихая, старушка да паренек, может, пьющий, а может, ушел тот паренек в армию — никого. Утром она на работу, снимает бигуди, сковороду картошки на стол, скатерть заворачивает; он тихонько встает, чайку с картошкой поест, откинет занавесочку, выглянет на улицу — беденький двор, помойка, рыжая собака, старые ящики, деревцо дрожит на ветру... В чем же дело, думал Лев Ильич, ему правда хорошо, себя не обманывал, ничего другого не нужно, это раньше казалось обязательным, столько тратилось сил — душевных, всяких: шумные за полночь встречи, рестораны, дорогие духи, громкие споры и рискованные песни, дешевая отчаянность, искренняя увлеченность... Может, возраст, усталость; не зря говорят: натворит человек в молодости, наблудит, а когда сил нет, начинает призывать к трезвости. Может, и так, только это пошлость, жалкий цинизм, мудрость дешевенькая, здесь в другом дело... Легко думалось Льву Ильичу, быстро. По молодости и думать времени нет, да и о чем? О любви? Для себя, чтоб повеселел, послаще, а чуть опомнишься, почувствуешь свою вину — за другого ощутишь боль, станет она ночами или, еще страшной, — днем приходить, тогда услышишь... Стой-ка, обрадовался Лев Ильич, вот и разгадка: все вокруг хорошо, когда тебя коснется любовь, но не потому, что тебе хорошо, а из чувства вины, жалости... «О чем это я?» — остановил он себя и заторопился, пошел к дверям.

— Согрелись? — Кассирша курила сигаретку, посетителей не было.— Может, еще компотику?

— Спасибо.— Лев Ильич дошел было до дверей, да воротился.— Не подскажите, мне бы нужно... Никто комнату не сдает?

— Вам, что ль, надо? Чего подсказывать — у меня и живите, целый день нет дома. А вечером вдвоем веселей... Сына провожу через недельку-другую в армию — живите. Квартира тихая.

— Может быть, для себя, а может, для женщины одинокой.

— Заходите, как надумаете, найдем, чего там хитрого.

«Почти угадал, — усмехнулся Лев Ильич. — и квартира тихая, и сын уходит в армию, осталось стол и гераньки проверить. И перед этой женщиной чувствуешь себя виноватым, потому и полюбить готов? Жениться надумал, а сын вернется из армии. да по шее, по шее!» И опять ему стало хорошо. Он уже шагал по бульвару, посреди посуше было, снег летел, как зимой, машины с двух сторон всхлипывали, как

тормозили... Вот тебе весна, думал Лев Ильич, Пасха... Какая Пасха, далеко еще. Значит, год назад я ее видел, тепло уже совсем, ночь была ясная... А не тут ли разгадка?.. Он даже остановился, отвернулся от ветра, вытер лицо платком. Откуда мне знать? — перебил он себя, не хотелось, боялся об этом думать, что-то с ним случилось... Ему вспомнилась еще одна Пасха: давно, больше тридцати лет назад, он жил в деревне, война, ему лет тринадцать, нет, четырнадцать... Теплынь, на пригорках сухо, мальчишки учили его играть в бабки, а потом водили по избам: где им давали кулича, где крашеное яичко. Так странно: есть нечего, он ни о чем тогда и не думал — только б поесть, а тут чужой паренек — и не жалко! И вина он выпил первый раз, красного, все в голове покатило. «Христос воскрес!» — поцеловала его хозяйка, где они жили с теткой. «Спасибо», — сказал он. «Да не спасибо, нехристь, а еще из города! Воистину воскрес!» Хозяйка была молодая, крепкая, она ему и во сне приходила, подглядывал с печки (вместе с ее ребятишками спал), как она утром умывалась, сбросила рубашку... «Воистину воскрес...» — согласился он, глядя на нее...

Нет, не оттуда, подумал он, раньше. С нянькой он был в церкви в Москве, еще отец был дома, лет пять ему, нянька не велела рассказывать, куда ходили. Зимой, темно, свечи горят, душно, запах непривычный, и все, как знают его, в руки совали конфетки, еще что-то; страшно. «А ты перекрестись, батюшка, — сказала нянька, — и не будет страшно», — и пальцы ему сложила. Он крестился, а бабки охали да по головке его гладили. «Ты руку, руку-то поцелуй!..» — зашептала нянька, когда к ним кто-то подошел, остановился, положил руку на голову; рука была теплая, большая, не как у отца — мягкая. «Вот и хорошо, — шептала нянька, когда уходили. — ты дома молчи, а то мне попадет от твоих партийных...»

«Вот она любовь откуда», — с умилением думал Лев Ильич: ему стало тепло, ноги словно высохли, не чувствовали, хоть шлепал по воде не разбирая. Они про благодать спорят — как ей не быть, сорок лет прошло, а он ту теплую руку помнит!

Но и это еще не все, что-то было в душе, что он никак не мог ухватить, но так важно казалось вспомнить, словно там и содержалась разгадка — вот-вот! — и сердце падало сладко, как на качелях.

Лев Ильич стоял возле ограды церкви, мимо шли старушки, крестились на надвратный образ. Лев Ильич стянул с головы шапку, мокрым снежком его облепило, и шагнул в ограду. Пересек дворик, раздал мелочь, вошел в двери.

Не очень много было народу, темновато, как в детстве, и запах вспомнил, оклады тускло блестели золотом, он ничего не различал, продвинулся вперед... «Спасителю, Спасителю передай...» — ткнула ему в спину костяным пальцем старуха, глаза глянули на него из-под черного платка — и Лев Ильич увидел все сразу: и священника, появившегося перед закрытыми Царскими воротами, и маленький хор, и изображение Спасителя на кресте, и свечи перед ним.

«Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи пред тобой...» — услышал он четкий глуховатый голос, быстрый, как горох, прежде все казалось гулом — слова различил. Вон он что вспомнил, — что-то летело в нем, вот почему издавна боялся заходить в церковь. Он заглянул тогда в кладбищенскую церковь, первую жену похоронил, мальчишка — двадцать два года: успел и жениться, и жена на его руках умерла, он сначала никак не мог опомниться, потерялся, свел дружбу с могильщиком, который ее закапывал, зачастил к нему в дом, тот и жил на кладбище — стояла рубленая изба, вокруг кресты, памятники, комнатка — только кровать влезала и столик, жена, большой уже сын... Да, да, вспомнил Лев Ильич, целая история, он и сын-то не их... Но сейчас не до того ему было, он с т р а х тогдашний вспомнил. Он вбежал в церковь — прямо против дома могильщика, будто кто-то гнался за ним, — а там гробы, гробы, не отпевали еще, служба шла, он ничего разобрать не успел, да и все равно не понял бы, но только шагнул из притвора, дьякон и провозгласил с амвона: «Оглашенные, изыдите!..» Он споткнулся да назад попятился, а с паперти кинулся вон с кладбища. Плохо ему тогда было. А сейчас услышал — четко произносились слова.

«Господи, — сказало в душе Льва Ильича, — это ко мне!» И тогда было ко мне — не готов оказался, меня и вышвырнуло из церкви, а сейчас, стало быть, пришло мое время.

Лев Ильич обернулся, глаза уперлись в конторку, за ней старуха. Он все теперь здесь видел!.. Он вытащил деньги, зажал свечки в кулаке и не заметил, как оказался подле Спасителя, огонек затеплился в руке, подошла бабка, свечку поставила. Он снова обернулся — на него из глубины темной доски глядела Божья Матерь — он поставил вторую свечку.

«Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя имя святое Его!» — услышал он тот же голос рядом с собой, оглянулся, но теща не разглядел. «Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его!» — повторил Лев Ильич ошеломившие его слова.

— Да ты не мучайся,— старушка рядом со Львом Ильичом глянула из-под платка,— извелся. Перекрестись — легче станет.

Как же, подумал Лев Ильич, я некрещеный... А пальцы сложились, он осенил себя крестом, низко поклонился, ошутил рукой прохладный камень.

— Полегчало? — упорно смотрела старушка.

Лев Ильич не мог ответить.

— Ты поплачь, батюшка,— еще полегчает.

«Как нянька моя...» — с умилением думал Лев Ильич. Он пошел к выходу. В дверях обернулся и снова перекрестился.

Снег перестал, зажглись огни, он шел переулками и ничего вокруг не видел. Он вспомнил, что мучило его и никак не давалось, вспомнил в тот самый момент, когда с темной доски выступила, глянула на него Матерь Божия. Он болел, лежал в кроватке с сеткой и проснулся ночью — от чего, не знал. Тишина стояла, отбросил одеяло — жар у него был. Темно в комнате, сквозь морозные стекла с улицы падал свет, продохотала телега. Кто-то вошел в белом, он не испугался, как сон видел. «Маленький мой,— шептала мама,— горишь...» — что-то сунула под подушку, прикрыла его одеялом, подоткнула, поцеловала, он закрыл глаза, она не видела, что не спит. А потом руку под подушку... Проснулся — светло, весело, солнышко бьет в окно, все сверкает — и здоров, хоть сейчас выпрыгивай из кровати. Разжал кулак, а в нем голубенький образок: женщина с ребенком — Матерь Божия с Сыном.

Знал Лев Ильич, откуда тот образок у мамы, все он вспомнил, не так давно узнал всю историю, но прошла мимо, никогда не возвращался к ней — не его история, да и зачем; а вот сегодня — е го оказалась, и образок мамин не случайно вошел в его жизнь. Странную историю рассказала мама. Болела, незадолго перед смертью, а он слушать не хотел — успею, страшно было, отгонял от себя мысль, что когда-нибудь поздно будет, да и все про нее знал — так считал... Усадила все-таки рядом: ты послушай, может, задумаешься. И рассказала. Отца тогда забрали первый раз; еще не до конца, хотя все понимали, коли берут — крепко будет. Пришли три человека, и обыска не было, он только сказал ей, как уходил: «Может, совсем, так ты прости меня за все...» Прощать было за что, только она наперед ему простила. А следующей ночью ей приснился сон: Божья Матерь вошла к ней и говорит: ты, мол, завтра пораньше вставай, иди в церковь к ранней, в ту, что близко возле вас. Подойди к конторке, увидишь образок — голубенький. Не торопись, сразу не разглядишь, второй раз пройди мимо и третий. Как увидишь, купи и сразу надень на себя. А вернешься, заводи пироги, у сына день рождения. Ни на кого внимания не обращай, кто тебя станет стыдить. Всех зови — справляй день рождения. Вечером — вернется... Она так и сделала. Утром побежала в церковь — и не знала, как туда входить. Конторку сторгая пробежала — нет ничего! — она как безумная была, и того, что было, не видела. И второй раз, и третий. Дурой себя посчитала — совсем ума решила, рассказать бы кому! — и тут заголубело... Маленький образок — Божья Матерь с Сыном! С цепочкой. Она тут же на себя надела. А дома нянька на нее кинулась: какие пироги, простите меня, совсем сбрендила, хозяин в тюрьме и вернется ли, нет, что по этим временам себя надеждой тешить, какой там праздник-именины. Нет, говорит, ставьте тесто, и родных обзвонила. Пришли брат отца с женой, еще кто-то, понять ничего не могут, осуждают. А она хлопчет, накрывает стол, скатерть самую лучшую стелет, ставит вино, закуски... Сидят, молчат, мрачно, как поминки. А она все в окно глядит. Потом неловко стало, наливайте, говорит, простите меня, я и правда с ума схожу, а тут в дверь зазвонили — отец...

Как странно, думал Лев Ильич, какая-то неразрывная связь увиделась ему, не логика, нет, связь истинная меж тем, что билось, дышало в нем, а он и не знал никогда, и чем-то еще — единственным, что определяло все вокруг, и в жизни его няньки — неграмотной простой женщины, и в стихах поэта, которого он любил с детства, повторял не задумываясь, открывал в пленительных колдовских строках, которые и постичь ему умел до конца, и в философских отвлеченностях. Все завязано было, лестница ему увиделась, по которой сил бы достало взбираться, связанная ступеньками-перекладами, а сломай ее — досточки бессмысленные.

Перед Львом Ильичом блеснуло что-то, завеса разорвалась. Не нужно торопиться, сказал он себе. Потом, потом, только б удержаться, не потерять...

Он поднял голову и изумился, что пришел. Он стоял возле своего дома, распахнутая дверь открывала темный подъезд. Ну, раз пришел, подумал он, так тому и быть...

Он стал подниматься по лестнице, лифт был занят, люди спускались, громко, возбужденно переговаривались. «Похороны, что ль?» — подумал он. Прошел еще марш, толпились у открытой двери, шум был как на вечере в провинциальном клубе. «У Валерия... Умер кто-то...» — испугался он.

— Левка! Черт, приехал! А я думал, не повидаемся.

Его уже тянули, тормозили, расстегивали пальто, он протиснулся, люди стояли в коридоре, как в троллейбусе в час пик.

— А я Любу спрашиваю, — сыпал Валерий; белая рубашка на нем расстегнута, лицо потное, глаза блестят, — едва ли, говорит, успеет. Завтра улетаем... Ребята, Лев Ильич приехал!

— Постой, — сказал Лев Ильич, — куда улетаем?

Но того уже оттащили, он исчез в толпе. Лев Ильич разделся, бросил пальто — целая гора лежала под вешалкой на сундуке, мелькали знакомые лица, он втиснулся в комнату — и сразу увидел Любу: она сидела за разгромленным столом — бутылки, стаканы, недоеденная закуска, гул стоял, как в туннеле, она с кем-то оживленно разговаривала, он взгляделся. Тот поднял на него глаза. «А он зачем здесь?» — подумал Лев Ильич, узнав Костю.

3

Конечно, он вспомнил, понял, что тут происходит. Эгоизм какой, думал Лев Ильич, так собой занят, что позабыл, что происходит с товарищем. А может, не эгоизм, просто консерватизм мышления, не поспеваем за жизнью, все давно изменилось, ежедневно меняется, а мы меряем прежним, а главное — страхом. Люди уезжают, сотни, тысячи, десятки тысяч, еще пять лет назад об этом кто думал, на костер за это шли, а теперь нормально — жутко, конечно, постыдно, омерзительно, но нормальная наша жизнь. Главное в другом — решишь, плюнь на все, прокляни в душе или оплачь — это уж от опыта, темперамента или от совести — придумай себе оправдание: не только, мол, шкуру спасаешь — Россию, за дорогих тебе людей будешь хлопотать, правду расскажешь про нашу жизнь, кричать станешь на весь свет, пока не охрипнешь. Ох, только быстро там хрипнут, голос теряют или приходит понимание, что здесь у нас акустика получше — отсюда и шепоток слышен, а там кричи не кричи — лес глухой, каменный.

И то и то правда. Лев Ильич давно решил: каждая судьба уникальна, каждое соображение имеет резон, нельзя выписывать общие рецепты. Столько про это обговорено, но то теории, отвлеченности: есть право, нет права; надо об этом думать — не надо думать; может ли быть спасение предательством, или предательство становится спасением — внутренним компромиссом; что естественней — страх или авантюризм? Все естественно, всегда думал Лев Ильич, — но тут — Валерий!

Лев Ильич оглянулся — странное было сборище, и верно, похоже на поминки. Он прочитал в одной книжке, в рукописи — не издана, когда еще издадут! — эх, пошли бы те книжки, что лежат в столах, и не у писателей, ихним союзом дипломированных, а у тех, для кого то, что они пишут, — жизнь, нет в тех книгах корысти, никакой продажи, это сразу чувствуется. Вот в одной такой рукописи и прочел Лев Ильич, и название было прекрасное — «Лестница страха», что такая толкучка-проводы на поминки похожа. Жалко, не раскрыл автор образ, метафору — и так все ясно! Покойника уже давно вынесли, закопали — и позабыли про него после третьей рюмки, за здоровье оставшихся пьют, и у каждого крутится в голове: я-то остался, жив покуда! У каждого свое — то, пятое, десятое — а, ладно, гуляем сегодня! Глянешь на вдову — печально, конечно, и тут же мысли, хорошо не итвивые, лезут в голову, да и про покойника, у всех с ними свои отношения, чаще непростые, да еще приятеля встретил, не виделось столько времени: как у него дела, чем-то может помочь, спросить, не позабыть... Идут поминки, разворачиваются, хорошо, коли пносить не начнут покойника и вдовы не застесняются, или песнь грянут — покойник, мол, был веселый человек, рад бы был, что весело провожали... И такая устойчивая традиция — интеллигентские поминки, вроде бы и обычай старый, дедовский, и юмор ко всему на свете — современный, ничего не страшно, да и кормят как, тоже не последнее дело, другой раз кажется, за неделю готовились. Льву Ильичу неловко стало, очень он азартно наформулировал, — а что ему про чужое горе известно?

Но тут и верно кто-то вытащил гитару, тронул струны, покойник... «Прости Господи, — подумал Лев Ильич, — сам хорош, дорассуждался...»

— Тише, тише! — закричали. — Валерий будет петь!

— Галича! — крикнули из коридора, и все хлынули в комнату, затеснились, лица возбужденные, женщины красивые, глаза блестят, кто-то водку разливает, стаканы передают в коридор, никак не замолчат.

— Да ладно, наслушались...

— Тихо, тихо! Совесть имейте — слово имениннику!

Валерий настраивал гитару, ногу утвердил на стуле, влажные волосы упали на лоб. Красивый какой парень, подумал Лев Ильич, не стареет. Неужто и правда никогда его больше не увижу?

— Значит, Галича? — звонко так спросил Валерий и рванул струны. Голос у него был сильный, с хрипотцой — самый шик.

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино,
А я шпыленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака,
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!..

Он отшвырнул гитару, она хрипло охнула, сел на стул и заплакал. И сразу стало тихо.

— Лева! — крикнула Люба. — Что же ты?

Лев Ильич протиснулся поближе, сел рядом, положил Валерию на плечо руку.

— Чушь, — сказал Валерий, ухватил его за руку. — бред. Помнишь, прошлой весной я тебе свою Москву показывал. Помнишь?..

Лев Ильич помнил: они тогда загуляли, Валерий остался у него ночевать, невеселая была история, с женой думал расходиться, потом обошлось, Люба ей звонила: у нас, мол, двумя этажами выше, успокаивала; а утром ушли, пиво пили, как никогда разговаривали. Глупая была история: девочка, только десятый класс кончила, где-то встретились — Валерий читал лекции про кино, демонстрировал западные фильмы, зарабатывать деньги — халтурил, на студии начались неприятности, его собственный фильм прикрыли, новый снимать не дали. А тут любовь, страсть — первый раз так, и уж конечно — последний; а сколько слышал Лев Ильич от него — и все в первый раз, и все, конечно, в последний. Тогда Валерий об отъезде и начал теоретизировать, про то, что еврей, вспомнил. А девчонка горит, у них начиналось шикарно: рестораны, в Ленинград поездка, мастерские художников, актеры — высший разряд! «Зачем мне это все?» — Валерий спрашивает. И верно, незачем, сказал ему тогда Лев Ильич. Они долго ходили по городу. «Я тебе Москву покажу, — сказал Валерий, — мимо ходишь, а не видишь». Далеко не ходили, у дома Пашкова круглая лестница, балюстрада-верандочка. Льву Ильичу в голову никогда не приходило подняться, а там скамеечка каменная, и как поднимаешься — будто от всего отделился: Кремль — угловая башня, Троицкие ворота, Каменный мост, — а то, что мимо бежит, суетливо грохочет — не видишь, забываешь. А может, настроение такое было, — но очень хорошо стало Льву Ильичу. «Я знал, что тебе понравится», — Валерий говорит. Свернули за угол. «Возле самого Пентагона, не доходя, — торопил Валерий, — фонтан знаешь? Не знаешь ты, никто не знает, за решеткой, перед библиотекой». И верно, фонтан за чугунной решеткой, как на картине старого мастера, порос жимолостью. вода сочится, журчит. «Ты послушай, послушай!.. И еще одно место, если не сломали, против Пентагона — Мастер там жил со своей Маргаритой...» Они прошли стройку, перелезли, вдоль заборчика, толкнули калиточку — тихий зеленый дворик, двухэтажные дома покосом, скамейка под деревом... «Ее, что ль, сюда водил?» — спросил Лев Ильич. «Я их всех сюда — у меня маршрут один, и все остальное одно и то же. Мне товарищ показал, тот, правда, не для того собирал коллекцию. Такой был московский человек — не нам чета, печенками чувствовал; тоже, между прочим, уехал — попробуй объясни! Теперь на земле Обетованной, а такой здешний человек, я и представить города без Сережи не могу, все кажется, вывернется из-за угла — маленький, чернявый — цыганенок, да ты видел его у меня, Сережа... Как он Москву собирал, когда ломали, для него как руку режут, хоть и пошучивал. Как он по чужим закоулкам шастает? Или получше нашел?..

— Помню, — сказал Лев Ильич, — у меня память дурная, все, что мне тогда говорил, помню — и про Сережу не забыл. Это навсегда. Ты все равно остаешься со мной.

Валерий поднял голову, в глазах стояли слезы:

— Простите меня, выпил лишнего.

— А по мне, ты тут единственный нормальный человек.— Лев Ильич глянул на Любу, очень она на него требовательно смотрела.— Мы с тобой и видимся последнее время редко, и разговариваем мало, но это не важно, ты мне все когда-то сказал, а я, как мог, ответил... Подумаешь обо мне, а я услышу, ты же не можешь не подумать?

— Чего там думать... — Еще один подошел, налил водку в большой фужер, намазал кусок колбасы маслом; рука у него была тяжелая, с перстнем на толстом пальце, где-то и его видел Лев Ильич, не мог вспомнить, здоровенный малый: в американских джинсах, лицо красное, потное — пьяный, а так, видать, красавец — чернокудрый, с бараными глазами; Лев Ильич, когда пробирался коридором, обратил на него внимание — он даму в длинных серьгах прижал в углу, вольно, чуть ли не руками с ней объяснялся.— Нам не думать — ехать надо, пожили, говнеца похлебали, кому сладко, пусть хлебает да в Магадан сплавает за облаками, как Галич перед отъездом расплакался. Там им кино покажут, не коньяк с цыпленочком табака — кошек скоро начнут жрать, собственной юшкой закусывать. Туда и дорога.

Лев Ильич крепко держал Валерия за руку.

— Ты пойми меня, — заторопился он, ему свою мысль договорить было дорого: «Никогда не увидимся!» — Эти расстояния — чепуха не потому, что аэропланы — сел и через три часа в Париже, как в Калугу съездить, может, и будет так, да не в нашей жизни, я про другую связь, ей и название простое, и писем не нужно, обязательных встреч — ты же вспомнишь меня, как ты про это забудешь!..

Лев Ильич смутился и замолчал. Неправду говорю, подумал он, не случайно — и то, что видеться мы перестали, и что я только что плакал в церкви, а он собрал эту ораву. Но что-то есть, вот и он заплакал, как вспомнил Галича и свою скамейку — пусть там с бабами начинались у него сюжеты, что я ему за судья? Или все-таки есть разница между ним, сразу же для дела приспособившим московские закоулки, и его Сережей, собиравшим их неизвестно для чего? Может, у меня с Сережей любовь, хоть я его и не знаю, а не с моим многолетним приятелем?

— Значит, мало, что бежит, шкуру спасаете, еще наплевать хотите на все, что здесь оставляет: а на могилы родителей — небось здесь закопали, и на землю, что вас вскормила, читать-писать выучила, и на книжки — вас же пытались людьми сделать, а то бы до сих пор по деревьям лазили, на хвостах раскачивались, а на всех оставшихся, которым, как изволили выразиться, в Магадан плыть,— про них что и говорить, — так, что ли?

Это Костя сказал, Лев Ильич сразу узнал его голос, запомнил с поезда, такая в нем звенела внутренняя энергия, раскручивалась. Он по-прежнему сидел рядом с Любой, бледный, руки на столе сжаты в кулаки.

Тот, с кольцом, длинно на него посмотрел, поболтал водкой в фужере, выплеснул в рот, кусок колбасы с маслом туда же кинул, прожевал и старательно вытер рот рукой.

— Вон кто, оказывается, у тебя сидит, Валерий, напоследок полезно поглядеть-запомнить, а то твой дружок лопочет про память, которая поверх границ, оказывается, летает. Не забудь. А пока даю справочку. Первое. По деревьям вы лазили, когда мы уже Библию записали и Храм построили. Это раз. Про ваши книжки я еще в детстве позабыл — дешевое слюнтяйство, лживое. Могилу моего отца мы еще вас заставим разыскать — носом будете пахать землю отсюда до Тихого океана, пока не найдете. А мать я сам сжег, не в землю же поганую опускать, и пепел ее перед отъездом выковыряю — вам не оставлю. А на вас, тут оставшихся, кто все это глотает, трусливо, рабски оправдывает свою жизнь — ничтожную или драгоценную, это уж как угодно! — на вас я и плевать не стану, слюну пожалею. Отцовские могилы вспомнил! Надо ж — страна, единственная, между прочим, где на кладбищах устраивают стадионы, каждого десятого дали зарезать среди бела дня, в барабаны от восторга стучали, а по ночам от страха тряслись, радовались, что не к нему, а к соседу!..

Вот оно, думал Лев Ильич, что ответишь — не услышит, не поймет, да и нужно ли говорить? Значит, две правды существует или сколько людей — столько и правд?

— Но как же так,— сказал он,— прожили здесь жизнь, откуда такая злоба? Ну, понимаю, отец, еще что-то не забудешь, но неужто ничего хорошего не было, что памятью увезете, что оставите, о чем когда ни достанешь — заплачете?

— Оставлю,— усмехнулся тот.— Эх! Сколько мы семечек набросали — поглядите, какие девочки набежали вашего друга проводить! Какие еще всходы будут от той сладкой памяти, пока всю рабскую кровь не перебьет...— Он налил себе еще водки.

— Ну да,— сказал Лев Ильич,— когда так — разъезжаться нужно, не дотолкуешься.

— Вот и объяснились: вам направо, а нам — налево, так, что ли, Валерий? Давай-ка выпьем, чтоб лучше летелось, да с глаз долой — из сердца вон. Запомнилась премудрость посконная.

— С глаз долой — это хорошо, — сказал Костя; спокойный, холодный стал у него голос. — Здесь другое — как это могло случиться? Не о том, что уезжают — скатертью дорога, баба с возу — кобыле легче, и так ведь говорят, коли посконное вспоминать... Откуда, как вы сказали, злоба, отсутствие желания понять, не только к себе — к другому прислушаться? Про свои страдания вспомнил — что ж, меряться будем, у кого их больше?

— Что ж, померяемся. — Тот, с кольцом, глянул на Валерия, махнул рукой и еще один фужер с водкой опрокинул в рот. — С чего начнем: с погрома в Кишиневе или с сорок девятого, после великой победы славного года?

— Да нет уж, — сказал Костя, — не будем меряться — кровью захлебнетесь, не улетите, останетесь воздух отравлять, сказано — скатертью дорога. Да и не на базаре, только в больную голову могла залететь мысль — кровь мерять на литры или на килограммы, не про Троцкого со Свердловым, не про Ягоду и не про Райхмана вспоминать...

«Но все-таки вспомнил, — с огорчением отметил Лев Ильич и устыдился — самому та же мысль пришла в голову. — Стало быть, и у меня на литры пошел счет — вон до чего докатился!»

— Я другое хочу понять: как, каким образом?.. — Костя тоже налил себе водки. — Простой ответ, между тем, — он обращался ко Льву Ильичу. — Мы с вами днем, помните, в поезде говорили о том, что Бога нет, что Христа здесь предали — вот оно и отыгрывается, человек теряет образ и подобие, а много ли прошло — два поколения! И уже на деревьях виснут, хвостом помахивают, в собственной навозной куче копаются...

— Ну затянул, чего вспомнил — про царя Гороха, давай про Ярилу, кто там еще? Дажь-бог с Перуном — давайте, давайте! — катайтесь на святках с горки ледяной, блинами закусывайте — христиане православные! Да евреям, которые у вас тут полезными останутся, пускайте на Пасху перья из подушек, особенно выкрестам — самая сладость проявить гражданские чувства, патриотизм, смелость — мы великий народ! Для этого пусть и остаются.

— Перестань, Саша. — Валерий встал и пошел к дверям, там уходили, прощались.

И тут Лев Ильич увидел мальчика: значит, он все время стоял, слышал! Тоненький, в джинсах, вытертых до белых пятен, большие серые глаза горели — он глядел на Сашу с восхищением. Какой красивый, подумал Лев Ильич, похож на Валерия, нет, получится будет, и вдруг ему стало так больно, защемило сердце, он даже рукой схватился: как насквозь его проткнули. Вокруг каждого из нас существует магнитное поле, думал Лев Ильич, связи настоящие, истинные и случайные; слова сказанные и невысказанные; отношения — и нереализовавшиеся, добрые поступки, побуждения, — да мало ли что хорошего исходит от каждого за целую человеческую жизнь! Человек умер, похоронили — все остается так или иначе, но проявляется, длится, пусть память короткая, забудут про него, но кто-то ведь не забудет, цветочки принесет, — а это ведь ой как много, когда он один приходит, никто о том не знает, он с вечностью разговаривает! А тут завтра все это исчезнет, в квартире дырка, пустота, окна станут слепыми, а он, Лев Ильич, подходил к дому вечером, глядел на эти окна, его-то окна во двор, глядел и не думал зачем, просто отмечал — дома Валерий, знал, жена в его комнате никогда без него не сидит, раз горит лампа — знал и настольную и большую, — ничего теперь не останется! Нет, неправда; что баба с возу, вот этот мальчик, горящий как свеча, как он здесь, у нас нужен с его чистотой, пусть и с ненавистью — на попранной справедливости она замешана, нашей виной вскормлена, а как нам завтра будет не хватать его чистоты и горения — вот о чем думать, плакать над чем!..

— Дядя Саш, — сказал мальчик, — налей-ка и мне, я с тобой хочу выпить, отец совсем никуда. Там мы его быстро приведем в норму... Чтоб у тебя эта... богоносная бодяга кончилась, чтоб скорей мы тебя там увидели — вместе начнем с первого колышка!

— Брось ты, — сказал Саша, он сливал из разных бутылок в стакан, — какой тебе колышек, там такие, Боренька, эйфелевы башни, будем поплевывать в Средиземное море с утра и до вечера.

«Помоги ему Бог, мальчику несчастному», — подумал Лев Ильич, не отпускало сердце, раньше так долго никогда не болело.

— Ну а вы, Любушка,— Саша явно был пьян, хотя, видно, много мог в себя перелить, но хватил лишка,— неужто с вашей красотой и ученостью останетесь в этом богомерзком городе? Супруг ваш, вижу, из тех, кого не научишь, кому одна радость, когда их по голове бьют, им в этом видится высшая цель, но вам-то зачем? Глазки повыплачете, выцветет красота, последние бабьи годочки, простите за прямоту! Эх, мы и загуляли бы! Названья одни чего стоят — Ницца, Монте-Карло, Лиссабон, Бермудские острова! Торганем вашей красотой — небу станет жарко! — русская женщина с еврейской закваской.... Угадал, не ошибся? Самый, простите, цимес, поверьте, попробовал... Да замордуют они вас тут, слюкняйством занудят, масштаб теряете. Эх, не то вам нужно! Знаю, повидал кой-что, глаз имею...

Костя поднялся, на Льва Ильича дико посмотрел.

— Взаправду берете?..— Люба на вид была спокойная, ничто в ней не дрогнуло, только глаза выдавали, да и не каждому — кто знал их. Лев Ильич знал эти глаза и все, что сейчас последует.— Значит, не шутите, берете? Только запомните, Саша, я женщина дорогая, мне не слова нужны, я слов за свою жизнь наслушалась! И Ницца мне не нужна, Лиссабон с дурацкими островами. Там у них в Европе есть закоулочки...

— Вы серьезно, Люба? — Саша на глазах начал трезветь.— Да если б я хоть на минуту мог поверить, если бы вы согласились, — я один еду, я бы мгновенно вас вписал к себе... Правда? Если б с вами...

— Стоп, — сказала Люба, она ни разу не повернулась, на Льва Ильича не смотрела, — а как там мной собираетесь торговать: советовать станете или кто даст больше, а вам все равно? Хотя прошу прощения, много ли мне осталось, не успеете, состояния не сделать, самому б хватило...

— Вы меня простите, Люба. — Новые нотки появились у Саши в голосе.— Я для остроты, чтоб разговор перебить, я понимаю, мне в голову не могло прийти. Я вас давно заметил, у меня, правильно поймите, идея была б, не залатывать же эти вонючие прорехи, нашей кровью перемазанные? Хоть чистого воздуха поглотаю, а с вами — можно б и правда все сначала... Куда хотите!

— А вдруг передумаю, позову в Абакан?.. Ну, ну, что вы,— она покраснела, подняла руку к глазам, — пошутила, зачем требовать подвига, тем более предупреждена, раньше надо было встретиться, тогда б могла диктовать и географические условия. Значит, выбор между Ниццей и Лиссабоном?

Саша все больше трезвел и менялся, такая спокойная наглая уверенность была в нем, а тут...

— Вы знаете, Люба,— сказал он уже негромко,— я вас верно давно знаю, помните, может быть, один вечер в ресторане на Речном вокзале — цыгане были?..

—Ну вот,— засмеялась Люба,— я еще с вами уехать не успела, а вы при моем муже такие подробности, может, я всю жизнь о том молчу.

Сашу даже жалко стало, до того он смутился:

— Нет... я в том смысле, что с тех пор никак вас не могу забыть. Поверьте, это редко со мной...— Он на Льва Ильича оглянулся — и сбился.

— Ну что ты! — смеялась Люба.— Зачем такие откровенности! Такой воин, гуляка, русофоб, а перед русской женщиной, с которой только спать да на дверь указывать, правда, кровь еврейская подмешана, но так-то уж зачем теряться! Или крепко надеетесь, что меня ненадолго хватит, сразу скисну — сдадите в богадельню?

— Я извинился перед вами,— Саша начал злиться,— объяснил...

— Объяснил, извинился! Разве женщина такое забудет? Эх, простота! С какими ты бабами дело имел, что из твоего подвига-миссии получится? Разве всходы будут — сорняки, их полоть не нужно, сами повянут. Или и из такого, как ты, человека можно сделать — последнее на тебя потратить? Родину за ради такого дела продать — не жалко, да и самой меж делом спаситесь! А правда, Лев Ильич,— она впервые к нему повернулась,— не совершить ли мне такой подвиг, если я одного человека человеком сделаю — и то подвиг?

— Тетя Люба, вы это всерьез?

— Понимаешь, Боренька, тебе соврать не могу — и захотелось бы, не смогла. Нет, не поеду. Никуда я отсюда никогда не поеду. Поздно, правду твой герой сказал. Да и время бы не ушло, не поехала. Я думаю, и тебе ехать незачем — дел-то, дерьма, в университете не взяли, морду набили, жидом обозвали! Пусть бы кровь пустили, родительские стекла вдребезги — твое это все, Боренька. И ты — наш, жиденок ты или русский — наш ты, здешний. Чистота твоя — здешняя, и ненависть — здешняя, знаю я тебя, видела, слышала, как ты с моей Надькой разговариваешь... Да что там говорить — все решено, завязано, сожгли кораблики... А меня вы простите, Саша, я вас обидеть не хотела, хотя так, как вы, меня еще никто не обижал.

Саша взял со стола бутылку воды, стал наливать, она у него выскользнула, покотился фужер, упал на пол — брызнул стеклом. Лев Ильич поймал бутылку, налил стакан воды, подал ему. Саша выпил, зубы стукнули о стекло, и повернулся к Льву Ильичу.

— Я вам этого никогда не забуду, — сказал он. Лев Ильич вздрогнул, такой злобы он ни у кого не видел. — Спасибо за науку. — Он опять говорил громко, видно, взял себя в руки.

Лев Ильич все еще поживался. Саша пошел из комнаты.

— Что дома? — спросил Лев Ильич.

Люба наливала себе вина.

— Вот как, тебя, оказывается, дом интересует? Скажите, Костя, вы, как я поняла, сегодня познакомились с моим благоверным, к тому ж человек посторонний, похож он на моего мужа? Только искренне, без вранья — у нас сегодня откровенный вечерок.

— Только таким он и мог быть. Я очень ценю вашего мужа.

— Конечно! Что он вам такого наговорил?.. Догадываюсь. Есть, есть в нем кое-что, нельзя не оценить, особенно по контрасту со здешним героем... Ох, и надоели они мне все. Костенька, кабы вы могли знать! Началось бы что-нибудь, чем нас наши умники пугают, забрали бы, увезли — пусть эти туда, а мы чтоб в другую сторону, на казенный счет, разумеется.

— Тетя Люба, вы серьезно считаете, что я совершаю предательство, или вы... чтоб Сашу отвадить?.. Он не такой, вы не думайте, он хороший, сильный человек, его мучают, не пускают... — Боря дрожал, ждал ответа.

— Бог с тобой, мальчик, уезжай! Я, может, и не понимаю, на себя меряю. Тебе и там будет тяжело, тебе везде будет трудно, если ты райской жизни боишься — не будет ее у тебя. Ты молодой, поплачешь и позабудешь, только место ищи, чтоб верно с колышка начинать, а не гулять под пальмами и небоскребами. Есть, конечно, своя правда в этом жутком отъезде, и люди там нужны — вот чтоб и ты был нужен, а не просто как шлак отработанный, пусть и благополучный, удачливый. Я за тебя выпью, вон, кстати, Надька, жаль, ты с ней больше не увидишься...

— Папочка! — В дверях стояла девочка, тоненькая, в широких бархатных брюках, темные длинные волосы косо падали на бледное лицо, светлые глаза в слезах. — Приехал, успел, а я боялась — не попрощаешься... — Она вбежала в комнату, Лев Ильич шагнул навстречу, поцеловал ее в голову, в мокрые глаза. — Вот видишь, — лопотала она, — Борька уезжает, ему никак нельзя оставаться, он мне объяснил, ну никак нельзя. А может, изменится, правда? Может, будем туда-сюда ездить? Я на практику или, знаешь, случится, — она зашептала Льву Ильичу в ухо, — гастроли, а? И Борька приедет — там просто: из Франции в Италию, из Италии в Швецию — может так быть?..

— Свои остались. — Валерий вошел следом за Надей. — Варя, иди сюда, посидим тихонько... Баталия была, пока я всех выпроваживал? Саша огузнул, перебрал...

— Баталия, — сказал Костя, — уехали бы вы все скорей, а то мы только вами занимаемся.

— Завтра уедем, успокойся. — Варя подошла к Боре, обняла за плечи, посадила. — Завтра чуть свет нас не будет.

Тихая она какая, подумал Лев Ильич, вот точное слово про нее — тихая. И всегда была такая, что бы Валерий ни устраивал.

Она прибрала на столе, осколки с пола, подрагивал светлый пучок на голове.

— Ты знаешь, Надя, — сказал Боря, — я сегодня шел по Москве последний раз. Мы с отцом сходили в посольство, поставили визы, все сделано, книжки последние отправили, он куда-то пошел, а я один, пройду, думаю, по бульварам. И так странно было, будто меня уже здесь нет, а я все вижу — в кино, что ль, смотрю или откуда-то, не знаю. И даже не грустно, а просто странно — сон такой.

— Борь, не может быть, мы ведь с тобой увидимся? — Надя оторвалась от Льва Ильича, присела на корточки возле Бори, волосы закрыли ей лицо.

— Ладно, — сказал Валерий, — вы увидите, а мы — никогда. Давайте выпьем последний раз да идите, нам еще чемоданы укладывать, а уже первый час...

Они стояли на площадке, все уже перецеловались.

— На аэродром не нужно, — говорил Валерий, — там будет народ, да и ни к чему, сердце разорвется.

— Пусть, — обнял его Лев Ильич, — все правильно. Наверно.

Варя подошла к нему, уткнулась в плечо и заплакала, первый раз он видел ее слезы.

— Никогда, — сказала она, — никогда, Лева, я тебя больше не увижу.

Боря держал Надю за руку.

Они стали подниматься по лестнице, прошли марш, Надя вдруг повернулась и бросилась обратно.

— Пусть ее,— сказала Люба,— пускай у них побудет.

Они поднялись еще на этаж. Люба открыла дверь. Костя вошел с ними.

4

— Тише,— сказала Люба, едва они оказались в коридоре,— проходите на кухню, я сейчас посмотрю, может, спят.

— А кто там? — спросил Лев Ильич, ему не понравилось, что кто-то без него...

— Один парень с женой, у него неприятности. Одним словом, надо было уехать из дому, глаза не мозолить. Я тебе потом расскажу.

Они сели за маленький стол у окна. Лев Ильич огляделся. Странное у него было чувство — будто он еще не приехал, хотя вот он и дом, и все здесь его руками двигалось-прибывалось: медные ручки на дверях из квартиры его теток — свинчивал, когда ломали дом, картины на стенах — с каждой что-то связано, тарелочки — пятна, трещины прикрывались... Чайник появился новый, отметил он, и такой запах знакомый, домашний — а уже без меня. Что-то с ним случилось, произошло, а что — никак не мог понять...

Он встал, поставил чайник, зажег газ. Говорить не хотелось, а знал, не избежать разговора, потому и не шел, оттягивал, и Костю привел — не обойдется ли? Может, хорошо, что чужие, отложится объяснение, но чувствовал — добром сегодня не кончится.

Они уже входили в дверь: молодая женщина, длинноногая, с накрашенными, испуганными глазами, он — в бороде, улыбался.

— Мы тут у вас расположились, извините, не знали, что сегодня приедете... Митя.

— Да что вы,— Льву Ильичу стало стыдно: людям деваться некуда, что-то у них стряслось, а он о себе, первое чувство — комнату его вишь заняли.— Устроимся, я опять, может, уеду...

Люба поняла — ох, знала его, потому, может, и тяжело было с ней. «Ничего она не знает!» — обозлился он вдруг, с трудом сдерживая раздражение.

— Сейчас чайку попьем,— сказал Лев Ильич,— тяжкий у нас выдался вечерок.

— Понятно, — живо откликнулся бородач,— у нас с друзьями те же истории. А что думаете, вынуждают людей. Я всегда считал невозможным, а теперь — и выхода другого нет.

— Выход есть всегда,— сказала Люба,— сейчас мы его обнаружим.— Она открыла холодильник и вытащила запотевшую бутылку.— Чем не выход в такой ситуации?

Посмеялись.

— А не поздно,— спросил Лев Ильич,— вы, наверно, спать собирались? — Не хотелось начинать новое застолье, разговаривать с чужими людьми. Да и Любы он побаивался.

— Что вы, это вам тяжело, устали с дороги.

— У меня просто день длинный — никак не кончится. Да и не заснешь...

Все разместились за столом, Люба нарезала колбасу, вытащила сыр, холодную картошку.

— Больше ничего нет.

Разговор не начинался, смущались друг друга.

— А что у вас стряслось, если не секрет? — спросил Лев Ильич.

— Обыкновенная история... Разрешите.— Митя разливал водку.— Пришли в восемь утра четверо, работали двенадцать часов — все перетрясли, даже письма перечитали.

— Нашли что-нибудь? — это Костя первый раз подал голос.

— Так, ерунда, у всех есть. Я не маленький, дома хранить. «Раковый корпус», Библия американская... Жалко, конечно, лучше бы продал, сейчас можно хорошие деньги взять.

— Странно,— сказал Лев Ильич,— книг нет, у людей голод на книги, а за них деньги берут, да еще хорошие.

— Потому и берут, что дают,— Митя засмеялся,— закон коммерции.

— Ну да.— смутился Лев Ильич,— я понимаю, но... неловкость — вы не согласны? — на такой жажде зарабатывать деньги.

— Старый разговор,— сказала Люба,— наслушалась споров: может врач брать деньги — безнравственно это или нет?

— Тут другое, — спешил Лев Ильич, ему недовко было, но и не мог оставить без ответа. — Мне рассказывали, в церкви, здесь, в Москве, зимой на паперти стоял мужик и обращался к каждому входящему, как милостыню просил: «Хоть какую-нибудь книжку, ради Христа! Я, говорит, из Курска, все у нас сожжено, ни одного храма не осталось, ни одного слова печатного евангельского, хоть что-нибудь дайте для нас!» Как же так: милостыню просит, а у него деньги брать?

— Ну, знаете, — сказал Митя. — настоящие собиратели книг тратят огромные деньги, переплетают, книги в цене не падают — только поднимаются, по нашим временам это, так сказать, верное вложение капитала — сегодня пятьдесят рублей заплатишь, а через год сто получишь.

— Вы так подходите? — Лев Ильич растерялся: человеку ночевать негде, он прячется, а я его, выходит, оскорбляю, осуждаю, попрекаю своей нравственностью. — Конечно, если к книжкам относиться как к капиталу... Но ведь у них есть и другое назначение, первое — они, так сказать, утоляют духовную жажду.

— А разве плохо, если человек, вместо того чтоб купить шифоньер, притащит домой книгу, — тоже о нем свидетельствует?

— Ну да, — с усилием бормотнул Лев Ильич, — о том, кто купит, но и о том, кто продает, тоже.

— Так не он же цену устанавливает! — сказала Люба с горячностью. — Разговор какой-то глупый, рынок ее диктует в зависимости от потребностей. Забыли политэкономия, мало вам вдалбливали в свое время.

— Наверно, так, — согласился Лев Ильич, грустно ему было. — Но не хочется, чтоб Библию продавали, наживались на ней. Тут еще возникает проблема... — Он пытался пробыться, нащупать почву — трудно было разговаривать с новыми людьми, как по тонкому льду шел, проваливался. — В Писании как раз и идет речь, чтоб не стяжать, не собирать сокровищ на земле. А человек, особенно я имею в виду кто читал, — а кто не читал Евангелия? — за эти слова берет деньги. Согласитесь, странно?

— Так ведь и Библию где-то печатают: станки, набор, бумага, рабочие — все стоит денег, да и продают же ее там в магазинах, не в сумме дело, может, тамошний цент подороже наших бумажек, если перевести на настоящий курс, — никак не сдавался Митя.

— Бесплатно там раздают, — сказал Костя, — вот вам и политэкономия.

Льву Ильичу стало скучно:

— И правда, разговор странный, тем более вино давно налито. А я сегодня с утра пью, никак не могу остановиться.

— Догадался все-таки, — Люба обожгла его глазами. — Давайте за тех, кому завтра... Не нам, вот в чем дело, им будет плохо. Наше плохо — оно так и быть должно, а потому — нормальная жизнь. А там что случилось — в море головой, благо теплое у них везде море. — Она выпила и пошла из кухни.

— А чем вы занимаетесь? — спросил Лев Ильич.

— А я самиздатчик, — просто сказал Митя. — Числюсь в разных местах, чтоб участковый не ходил: то сторожем, то в булочной — грузчиком, чтоб время было свободно, и так дела много.

— Что ж, и техника существует?

— Какая техника — фотоспособом да машинка, верно, жажда большая.

— Ну и как... — не утерпел Лев Ильич. — Окупаются?

— Окупаются. — Митя первый раз прямо взглянул на него. — Пришли с обыском, не отстанут, пока не заберут, если уехать не успею.

— Непросто все, — подумал вслух Лев Ильич. — Одна правда, вторая, третья — сколько я сегодня насчитал? — вон и плутают люди, пока до своей доберутся. А если ошибся, не за ту принял?

— Нет тут никакой путаницы. — Митя почувствовал себя уверенней после первой рюмки. — Все просто: что не ложь — то правда, зачем мудрить? Правда, что мне тут лыщать не дают, что миллионы людей ни за что убили, что завтра опять может повгориться — гарантий никаких, а я об этом сказать громко не могу — это ли не правда?

— И истина, по-вашему, в том же? — спросил Костя.

— Я вашу терминологию, может, и не знаю, но для меня это и истина, в том смысле, что аксиома.

— Хорошо, — сказал Костя, — предположим. Ну вот вы своим способом — какой у вас есть, будете эту правду говорить, талдычить, люди ею проникнутся, поверят вам, что-то изменят, получат, скажем, гарантии, о которых хлопочете, и сможете

уже не доморощенными средствами, а с помощью печатного станка, радио и телевидения говорить свою правду...

— А зачем ее тогда говорить? — удивился Лев Ильич.

— Я это и имел в виду.— Костя не улыбнулся.— Какая же истина, если всего лишь привязана к сегодняшней конкретности?

— Вон вы о чем! — обозлился Митя.— Мне на мою жизнь моей правды хватит. Как же, изменится, ждите, тут еще триста лет то же самое будет.

— Вот ведь как,— дотягивал свою мысль Костя,— в вашей деятельности, оказывается, и практического смысла никакого — не только истинного! Одно, как бы помягче сказать, сотрясение воздуха.

— Нет, позвольте, — Митя загорячился.— По-вашему, я должен мириться с мерзостью? Людей будут на моих глазах убивать, за каждую свободную мысль в сумасшедшие дома, нарушать собственные законы, о которых шум на весь мир, а я буду помалкивать и, стало быть, участвовать в этом? Тогда и вообще никакого движения в обществе — застой на тысячу лет. А что такое, по-вашему, прогресс? Он от активности человека, способного принести жертву, или от такой, извините, рабской покорности обстоятельствам?

— Это долгий разговор — про прогресс,— ответил Костя,— не миритесь — ваше дело. Только истинной свои хлопоты не называйте. Даже если жертву принесете, рискнете жизнью. Борьба ваша не за истину, а лишь за улучшение условий существования, своего в том числе, да за право заниматься любимой деятельностью. Ну, чтоб вам разрешили обличать конкретные недостатки, бичевать. Так? Или чтоб печатать что угодно. Только, кстати, Библию тогда на черном рынке не продашь — ее бесплатно станут раздавать, как на Западе.

— Странно это здесь слышать,— сказал Митя,— не того, признаться, ожидал. Если мы говорим откровенно, это элементарное приспособленчество, готовность примириться с любым преступлением самого гнусного режима... Все, мол, от Бога и кесарево кесарю! А между тем если что и было в России истинного, что к отечественной гнусности не имело отношения — от декабризма до теперешнего самиздата,— оно именно и боролось с рабским страхом, с трусливой пассивностью, готовой все на свете оправдать, лишь бы самого не трогали.

— Ну да,— сказал Костя,— будто бы Архипелаг построили славянофилы-примиренцы и те, кто в церкви смиренно молился о здравии Государя Императора, а не большевики-активисты, которые выводят свое начало от Белинского и героев-народовольцев. Думать нужно, Митя, сто лет прошло, как в России за царем как за диким зверем начали охотиться, а каким морем крови отлилась чистота тех героев, которые о справедливости, о правде пеклись и против пассивности метали громы и молнии? Неужто никогда не задумывались? И вон опять: демократические свободы, грабь награбленное, главное — перераспределение! Чтоб в особняк Рябушинского поселить пролетарского писателя. По анекдоту: дворник из подвала в хоромы въехал — а кто в подвале живет? Как кто — дворник!

— Правда, значит, я тут кой про что наслушался, что у нас уже и этим ветерком потянуло, ладаном трусливым запахло. Не верил, что на самом деле может быть. А почему, собственно, не быть? Татары резали, князья продавали, баре секли, попы причастниц лапали, в навозе и в грязи копошились при лучине, когда Европа давно жила электричеством. Да и новая, наша свеженькая мерзость не случайна — той же богоносной гнусностью вскармлена, трусливой подлостью, жестокостью азиатской. Да куда ни посмотрите, вы хоть выезжали из этой заплеванной Москвы, видели, как люди живут, как они всем довольны-счастливы? Как же — телевизоры, стиральные машины, «Жигули» — консервная коробка — как хорошо! А церкви разрушены. Случайно ненависть накопилась? Загажено, по камушкам растащили, в нужники не войдешь, а проберешься, увидишь — выложены чугунными плитами от паперти. Сам видел в деревне, подле знаменитого монастыря, кстати. И не по приказу, без добротства ничего такого не сделать, тут внутренняя страсть к мерзости, разрушению — во всем, она и определяет атмосферу жизни — да в любой области, вкус ее и цвет.

— Как страшно,— сказал Лев Ильич, грустно ему было, хоть плачь,— как страшно. Костя. Я у кого-то прочитал, помнится, может, в том романе, о котором мы с вами говорили? Как у нас либералы или революционеры, так обязательно Россию ненавидят, и не просто ненавидят, а со злорадством, сладострастием, будто он и не русский — иностранец. Я еще того Сашу готов понять, у него идея, свой счет — а тут-то? Ну ради чего тогда ваш либерализм, жертвенность, неужто всего лишь чтоб мерзость выискивать да за это на костер идти? Простите, Митя, я не

про вас, я понимаю, когда несправедливость толкает на сопротивление, но против сути-то почему? Почему наше проклятье, факт злосчастный, беда — пусть конкретная, пусть общая, почему она вызывает не жалость, не огорчение, почему не пронзает болью? Злорадство, злобный смех, даже восторг?.. Ну, хорошо, может, и я в чем не прав, не знаю, в конце концов, любить не прикажешь, но ведь либерализм подразумевает, так сказать, исправление во имя чего-то, не во имя ненависти. Чтоб исправить — любить нужно. Это иностранец может приехать, углядеть свежим глазом мерзость, обличить и поехать к себе, а в своем кафельном ватерклозете ухмыляться над чужой дикостью и варварством. Но здесь ведь свое? Либеральная болтовня, а не боль... От чего эта странность?

— От обывательского равнодушия, — отмахнулся Митя, — от трусости и рабства, которые боль перекрывают. Либеральная болтовня никакого отношения к самиздату не имеет. Одно дело болтовня, а другое — размноженное слово. Про клопов сто пятьдесят лет назад написали — обиделись, о сю пору обиду вспоминают! Неправда, что Россия была загажена клопами, да и сейчас? Благодарить нужно, что вам глаза открыли, а вы все про любовь к отечеству толкуете. Тоже мне отечество — клопы, шпицрутены, лагеря и ложь на каждом шагу...

Звонок резко так ударил.

— Наденька! — Лев Ильич сорвался к дверям. — А, — удивился он, — Иван? Поздний гость. Заходи.

— А тебя вроде не ждали сегодня. — Иван с Костей знакомился, и к Мите: — Водку без меня выхлестали?

— Какая водка, — сказал Митя, — такой разговор — пить не захочешь.

— Разговоры разговариваете, нет бы делом заняться. — Иван налил себе в чашку остаток. Он был в строгом костюме, галстук на белой рубашке, спокойный, уверенно-грустный, как всегда. — Об чем спор?

— Об том самом, — сказала Люба, она стояла у косяка, прислонилась. («Вон оно что. — увидел Лев Ильич, — еще, значит, выпила...») — Вместо того чтоб за женщинами ухаживать, русские проблемы решаем. Наконец мужчина пришел. Ко мне пришел, Ваня, надеялся, дурачок мой еще не приехал?

— Чего надеяться, я знал — его нет, — невесело усмехнулся Иван.

— А его нет, — сказала Люба, — тебе показалось. Костя вон зашел — познакомься, скучный человек, но ничего, молодой, им можно заняться. А Митю трогать не будем — у него Кира...

Кира показалась в дверях, глаза бессмысленные — и ее подпоила, со злостью подумал Лев Ильич, и молчит, хоть бы рот открыла.

— А что мы на кухне, — продолжала Люба, — пошли в комнату. Посуду берите.

В большой комнате, она у них называлась кабинетом, хотя тут спали и принимали гостей, горел верхний свет и настольная лампа, на письменном столе — бутылка коньяка и большая бутылка-корзина с красным болгарским вином; на тахте, стульях разбросаны женские тряпки.

— Вот и славно, люблю, когда баб мало. — Люба налила себе в стакан вина, Ивану опрокинула в чашку коньяк.

— Стоп, Любания, сначала с ихними проблемами разобраться, а то Митя, гляжу, загрузил.

— Чего грустить, пулемет нужен — облегчить господам христианам перемещение из этого мира в иной. Им здесь слишком хорошо. Богоугодное дело — они к тому и стремятся!

— Про Льва Ильича все знаем, не удивит. Ну а Костя — тоже туда? — Иван держал чашку в руке.

«Что это он вдруг заинтересовался? — подумал Лев Ильич. — На него не похоже. А, вот оно что, надо прояснить отношения Кости с Любой — что, мол, за человек, откуда?..»

— Перестань, Иван, — сказал он, — тебе это совсем не нужно.

— Ты за меня и это знаешь?

— Вы, Митя, дослушайте, — отмахнулся Лев Ильич, — не обязательно соглашаться, но, может, задумаетесь. Вы вспомнили загаженную деревню, хстя там у всех холодильники и телевизоры. Верно, все загажено, сам видел. Но тут проблема посерьезней. Я был сейчас в командировке, жил на квартире у одинокой женщины, пожайлы. Поселок, деревушка. Комнатка маленькая — не повернешься, а вся заставлена техникой — только полотера нет, потому без паркета — доски. А то бы купила и полотер. У меня, говорит, все есть, чего хочу, все могу купить. А как-то мальчишки выбили стекло — играли в футбол, пришел сын, взрослый, женатый; нет,

говорит, мать, пока бутылку не поставишь, не вставлю... Вот в чем проблема, думается мне, а не в том, что у нее нет свободы слова — ту женщину я имею в виду, — она ей и не нужна.

— Да что вы мне рождественские сказки рассказываете! — взорвался вдруг Митя. — Стекло разбили, сын у матери бутылку требует — нашли проблему! Вы мне тогда мою проблему разъясните, если истиной обладаете. У меня тоже мать — да не в деревне, в Москве, в почтовом ящике. И отец здесь — на Новодевичьем. Так вот, я у нее бутылку не требую, а она на меня стучит — понимаете, что это такое? Стучит! И не оттого, что ее загаскали, ноги-руки выкручивают — ладно б, она сама к ним ходит, наводит, по моим ящикам шарит — куда их любительству, профессионалка! Вы б это мне объяснили...

— Мотать тебе отсюда нужно — и побыстрей, — вставил Иван. — Пусть их решают свои проблемы. Ты из-за них в лагерь загремишь, а они не заметят за своим моральным совершенствованием. Пусть бы все отсюда уехали, а мы как-нибудь...

— Как — уезжать? — испугался Лев Ильич. — Вы же своим делом занимаетесь — Россию спасаете-исправляете?

— Ничего, мы ее и оттуда спасем, даже лучше, — сказал Митя и не улыбнулся. — По крайней мере видеть не будем, кого надо спасать, а то, верно говорите, ненависть... Жрите-ка вы сами свое дерьмо, если оно так вам нравится! А мне пожить охота, как люди живут — по-человечески, да и заслужил — каждый день ждешь стука в дверь!..

— Хватит, — сказал Иван, — девочки заскучали. Люба-то где?

Люба вошла в другом уже платье, вечером, на открытой груди бусы.

— Итак, поскольку муж в командировке, отсутствует, — сказала она, глядя мимо Льва Ильича, — кидаемся в разгул. Серьезный повод, чтобы мальчишки нас не позабыли, мало ли куда их закинет. Программа такая: за мной ухаживает Митя, за Кирой — Ваня, а Костю будем держать на скамейке для запасных — поможет, кто заскучает. Давайте, Митя, для начала выпьем на «ты».

Кира неожиданно громко засмеялась, все замолчали.

«Живая все-таки...» — подумал Лев Ильич.

— Заметано, — сказал Иван, — остренькая ситуация. — И опять, как всегда, его глаза поразили Льва Ильича — затаенно-грустные даже сейчас, когда ему коньяк явно ударил в голову. Он подошел к Кире, обнял ее, но она смеялась, не могла остановиться. — Знаете, Кира, смеяться и целоваться две вещи несовместные, закон физики, между прочим... — Вот так он всегда острил — по-фельдфебельски.

Митя с Любой пошли на кухню, Лев Ильич вдруг обозлился на Костю: «Ну что он сидит, зачем пришел?» — забыл, что сам его и привел. Тот пристроился на тахте, смотрел с интересом: кино ему показывают, не часто такое увидишь!

— Вернулись! — провозгласила Люба, втаскивая за руку Митю в комнату. — Пока, Костя, в вас нет необходимости, у тебя как, Кира? Не оплошал мой дружок?

Иван оторвался от Киры, она лежала в кресле с закрытыми глазами.

— Постой-ка, — сказала Люба, — слушай, Ваня, что на тебе за жлобский галстук? Получше выберу, у Левы моего командированного есть... — Она распахнула шкаф, вытащила галстук, Иванов развязала, швырнула на стол. — Так получше, да и про мужа нет-нет, а вспомню, вот и нравственная проблема разрешена!

Иван молча смотрел на нее, не шевельнулся, пока она проделывала над ним все эти манипуляции.

Лев Ильич знал: главное — ни во что не влезать, она специально дожидается его реплики.

— Очнись, Кира, — не унималась Люба, — молодое мясо, конечно, лучше старого, да жаль, быстро варится, нынешний мужик и загореться не успеет. Поэтому старое теперь в цене, хоть и жевать искусство требуется — профессионализм.

— Прожужим, — сказал Митя, — нам не к спеху.

— Bravo! Будем считать, что образование щенка под мастера началось — десятый класс закончил. Итак, приступим ко вступительным в университет. — Она щелкнула кнопкой магнитофона. — Танго! — объявила громко и сразу подошла к Мите.

Он тем временем налил себе полный стакан вина из большой бутылки, выпил, вытер бороду и поцеловал Любу. Иван вытащил Киру из кресла, она глаз так и не открывала.

Теперь танцевали две пары: Иван целовал Киру, не отрываясь, а Любины волосы смешались с бородой Мити. Костя налил себе вина.

— Может, достаточно? — сдался Лев Ильич.

— Батюшки! — охнула Люба, остановив Митю. — Надо ж, муж приехал, явился без предупреждения! Что в таком случае происходит?

— Пусть обратно едет, — буркнул Иван. — В другой раз за три дня чтоб сообщал.

— Не гуманно, — сказал Митя, — да и не по-русски, без физических мер воздействия не обойдешься.

— Ну что ж, — Люба высвободила руку, шелкнула выключателем — теперь только на столе горела лампа, — будем считать, в университет вы кое-как поступили, прошли конкурс. Но ведь еще надо диплом защитить...

Тут как раз танго кончилось, джаз взревел.

Лев Ильич встал и пошел на кухню.

В комнате начался шум, ревел магнитофон... Потом музыка оборвалась, погалдели и вывалились в коридор.

Люба, уже в пальто, наброшенном на плечи, заглянула в кухню.

— Я тебе этого, Лева, никогда не прощу, — сказала она.

Дверь хлопнула.

— На аэродром поедут, в Шереметьево, — сказал, входя, Костя. — Валерия провожать. Как вы здесь живете? Отойти нужно — так хуже. А Иван этот кто?

Лев Ильич не ответил, пошел в комнату, принес бутылку с вином, налил себе и Косте по большому стакану, выпил, сразу налил еще, отхлебнул и стал пить с жадностью, пока в голове не зашумело. Он заставил себя допить до конца.

— Надо ж так. — Лев Ильич поставил наконец стакан на стол. — Я как открыл сегодня глаза — вас увидел. И целый день вы передо мной. Какой черт нас связал веревочкой?

— Поверили, стало быть?

— Как? — не понял Лев Ильич. — Во что поверил?

— Вы про Бога спрашивали — абстракция для вас, а если черта вспомнили — дело пошло всерьез.

— Это какого — с рогами, с копытами?

— Пустяки, — отмахнулся Костя, — пострашней бывает.

— А это представление — только что было, — еще не то?

— Бабьи шалости, одна литература, к тому ж невысокого разбора. Сами виноваты.

— Похлестче видывали?

— Вы про что?

— Все про того же, который с рогами-копытами.

— Приходил, — тихо сказал Костя. — Не такой, как вы думаете. — Он глядел прямо в глаза Льву Ильичу; что-то страшное пролетело меж ними, бесформенная черная пустота открылась Льву Ильичу на мгновение, пахло холодом, сыростью. У него вспотели руки.

А ведь и правда, подумал Лев Ильич, что ж он не прекратил безобразия, мерзость — он же муж, хозяин дома, отомстить хотел? Она потому и гуляла, что была дома, а он был рядом, всегда знала: что бы ни случилось, поймет... Тут не литература, не шалость...

— Понял, — усмехнулся Костя, — оно и есть начало премудрости — страх Господень.

У Льва Ильича дрожали руки, никак не мог зажечь спичку.

— Так вот господа русские интеллигенты и проявляются, — говорил Костя. — Сначала натворят, сделают мелкую пакость, а потом начинают страдать, и страдание невероятное, будто произошло что-то космическое. Иной раз действительно приходит в голову: Бог придумал Россию, чтоб человек однажды такую гадость увидел, до чего никакое животное не дойдет — и не от темперамента, не от чувств, эмоций, а от душевного извращения.

— Бедная Россия, — сказал Лев Ильич, он начал в себя приходиться, — евреи ее ненавидят, русские презирают, христиане считают дьявольским наваждением — страшным уроком человечеству...

— Что ж, в этом высшая справедливость. Не человеческая, конечно, когда считают, что за подвиг тут же тебе и награда, причем в точном соответствии с потерями, как в дурацких физических законах. Высшая, провиденциальная, которую человек, может, когда-то и научится понимать. А национальное — то же самое мирское, поверхностное, душевное — никак не высшее. И от него нужно отрешиться, выбросить, всего лишь к земле тянет.

— Хоть бы этот день кончился, — подумал вслух Лев Ильич, а про себя сказал: «Поздно мне, нет уже сил разобраться...»

И тут звонок брякнул, он встал, и его развернуло о косяк. «А я просто пьян!» — обрадовался Лев Ильич.

Надя бросилась к нему, спрятала мокрое лицо на груди, горько-горько заплакала:

— Все, папочка, никогда больше, я понимаю — все!..

— Давайте расходиться, Костя, — сказал Лев Ильич, — извините меня.

Он укрыл Надю одеялом и долго сидел возле нее, пока она не утихла, только всхлипывала. Потом поцеловал, потушил свет и плотно прикрыл дверь в ее комнату.

5

Ему снилось, что он в провинциальном зоопарке: жалкие звери, почему-то вместе — или это молодняк? Нет, какой молодняк: старые волки с облезлой шерстью — или это собаки? мерзкие кошки, такие шныряют по помойкам, — не тигрята ли, раз их посадили в клетку? А рядом лев — груды желтой шерсти — грязной, потертой, граченной молью, грива закрывала голову — старый диван с поломанным валиком. А может, и не зоопарк, помойка, что видна из их окна? Людей нет, пусто. Потому и страшно... И тут он увидел толпу: возле одной клетки стояли плотно, молча. Лев Ильич подошел, но за спинами не разглядеть. Он начал протискиваться. Пропускали неохотно — и ему неловко, словно забрел на чужие похороны и любопытствует. Мрачно молчали — черные, каменные спины. Он еще протиснулся — и различил клетку. «Пустая, что ли?» Но тут увидел: в углу на задних лапах-ногах стояла обезьяна, держалась за прутья. Неподвижно стояла, как и толпа, и молча глядела на всех. «А что она, говорить должна?» — удивился себе Лев Ильич. Но обычно они двигаются, прыгают... И вдруг он понял, почему на нее смотрят, — она похожа... На кого, никак не мог вспомнить. Он стал еще настойчивей протискиваться, человек перед ним обернулся: красные губы в черной бороде раздвинулись, и он засмеялся — громко, звонко, и вся толпа засмеялась, оборотившись на Льва Ильича, показывали пальцами то на него, то на обезьяну и хохотали. Звон стоял в ушах, он хотел зажать уши, а руки не поднимаются, стиснули его. И обезьяна зашевелилась, руки к ушам подняла, повторяя жест, который Льву Ильичу не удалось сделать. И тут он узнал ее! «Лев Ильич!» — услышал он знакомый голос, он все время ждал его, надеялся, что услышит, и в зоопарк пошел, чувствовал, там встретятся. И обезьяна в клетке кинулась на голос — из угла к другой решетке. «Да это ж я! — вырвалось было у Льва Ильича, но он не смог крикнуть. — Нет, я здесь, это обезьяна, она похожа на меня, а я здесь, здесь!..» Но рта он раскрыть не мог, и так стыдно стало, что в клетке он голый, все смотрят, и она, значит, смотрит, видит... «Вы спите, Лев Ильич?..» — все громче звенел в ушах голос.

Он собрался с силами, рванулся и отбросил одеяло. В комнате было темно, сквозь штору едва проникал свет, рано еще, а телефон звонил и звонил, наверно, давно.

Он прошлепал по комнате, взял трубку и услышал, как тот самый голос, который он только что слышал в зоопарке, спросил:

«Я вас разбудила, Лев Ильич, извините меня, я боялась, вы уйдете... Мне очень хотелось бы вас где-то...»

— Нет, нет, Верочка! — кричал Лев Ильич и сжимал трубку. Он не удивился, просто обрадовался. — Я не сплю, я очень рад вам, мне тоже необходимо вас повидать!..

Они договорились встретиться днем, сегодня он мог не сидеть в редакции, надо было только зайти.

Люба не приезжала: проводили Валерия, а потом прямо на работу? В том платье? Хотя ей не с утра, заедет домой, переоденется. «Какое мое дело...»

Он оделся и пошел было из комнаты — тяжело стало: все разбросано, шкаф открыт; подошел к столу, выдвинул ящик, достал свою рукопись — полистал. Тоже не много было радости: год, как он сел писать, а все «начатая», да и что, о чем — сам толком не знал. На столе бутылка из-под коньяка, грязные стаканы, галстук Ивана в пятнах от вина, — будто и зоопарк не сон, так оно и было. Он бросил рукопись, задвинул ящик и пошел прочь.

Побрился, выпил холодного чая, оставил Наде записку — пусть спит, куда ей сегодня в школу, и тихонько вышел. Вызвал лифт — не мог пройти мимо квартиры Валерия.

И на улице все та же пакость.

Жуть какая, вспомнился ему сон, скверная история, не к добру. Идти ему, собственно, некуда было: в редакцию рано, а куда еще? Во как жизнь повернулась, размышлял Лев Ильич, шагая по улице, полвека прожил в этом городе, миллион знакомых, друзей, родня, а дошел до стенки — и податься некуда.

«А почему до стенки?» — подумал он. Что случилось такого, чего не было три дня до того или месяц? Дом был... от этого и пляши. Был дом, куда складывал — радости, печали, заботы, доморощенные открытия. Нет, не так, перебил он себя, это

пустые слова. И он вспомнил, из какого странного материала сооружался его дом, а стало быть, вся жизнь, вчера рассыпавшаяся. И верно, странный был материал.

А что случилось, снова остановил он себя. Что такого нового, невиданного, что можно бы считать концом, а значит, и началом?.. Другое дело, если счастье поводом, забрать чемоданчик... «Какой чемоданчик?..» А такой: все эти годы, сказанное, передуманное, невысказанное, обиды, подарки, которые никто не заметил... Я же нашел вчера, что показалось главным, неимоверно трудное, что себе и не скажешь, а решишься, определишь выбор, сделаешь первый шаг, соберешь силы для следующего — второй-то особенно нужен. Первый — это еще нечто неосознанное, ненужное или случайное, нога сама пошла, а голова не подумала, может, и сердце не дрогнуло, а дрогнуло — так ты и не услышал, не понял. Второй шаг — уже поступок, принятое решение, за него придется отвечать. Сделаешь второй шаг и там — далеко-далеко, в конце пути — увидишь, нет, не свет еще, а узкую полоску, как бывает в поле, когда солнце закатилось, небо затянуто тучами, идешь по пыльной дороге, еще дождем не прибитой, сейчас, думаешь, гром грянет, торопишься, страшно, пусто на душе, выбираешь — куда бежать: к лесочку, к ближней деревне или в овраг спрятаться? И вдруг — далеко-далеко, где сошлось небо с землей, блеснет, а потом обозначится узкая алая полоска. И на душе полегчает, отпустит: вон куда надо...

«А что же ты все-таки нашел вчера?» — спросил себя Лев Ильич, мысль бежала в сторону, уходила, петляла, скажешь себе — сразу окажешься перед вторым шагом, и нужно решаться на него или шагать в сторону, на обочину, в привычную грязь: поругаемся, выясним отношения, а там день рождения, праздник-новоселье, работа, новая книжка журнала, роман переводной, премьера, вернисаж, политическая сенсация. Как не обсудить, не проклясть под хорошую закуску, под рюмочку — глупость, идиотизм. Или связь, интрижка незатейливая или шумная, — и покатится, покатится...

Лев Ильич сунул руки в карманы, выгреб мелочь, подошел к автомату: «Что же мне, позвонить некому? Ага, — остановил он себя, — испугался...» Он купил в киоске сигареты, закурил и пошлепал дальше. Обезьяна в клетке стояла перед глазами, мерзко было Льву Ильичу. Вот и материал, из которого строился дом: из вранья такого привычного, что словно бы и не вранье, а нормальная жизнь, лучше других жили — не воровали, никого, кроме себя, не обманывали, много работали, пока не стали профессионалами, пока не построили в долг человеческую квартиру, не хуже, чем у людей, радовались, отдавали долги, медные ручки привинчивал, старые люстры, что теперь вошли в моду. Но и это не то, с раздражением перебил он себя, давай всерьез о м а т е р и а л е, который шел на постройку дома, — не из медных ручек он складывался и не из добрых поступков, порядочности.... И он явственно, отчетливо увидел, что главное, из чего складывалась его жизнь долгие годы, что пролегли как неделя — от понедельника до воскресенья, в другом: как он жадно хватал жизнь, все, что происходило в доме, невидимым образом вращалось только вокруг него; как он добивался всего, что ему было нужно, — слабостью ли, силой, упорством, хитрым расчетом; как, получив, тут же забывал о благодарности — так, мол, и быть должно, чужую доброту как лимонад пил, не задумывался. Вот он, материал, сказал себе Лев Ильич и ужаснулся.

Да что, — заспешил он, как с горы сорвался, — разве домом тут ограничишься, что я, о разводе, что ль, хлопочу — тут жизнь решается! Да и не жизнь, что-то стучалось, слышал он, хоть и не мог сказать, проваливался, но чувствовал, знал, о чем-то еще куда более важном задумывался.

Толпа его обгоняла, текла навстречу — самое ходовое время, часов восемь; он никогда не выходил так рано, хотя вставать привык, дочку провожал в школу, варил ей манную кашу, пока она, в восьмом, что ли, классе однажды не взмолилась: «Ну не могу я, папочка, я вставать из-за этой каши боюсь!..» Ладно, он ей яичницу жарил последний год.

Вот, кстати, Наденька, подумал Лев Ильич, а она как же? Росла себе девочка, любила его, он ее любил как мог, а если недодал — какие у них счеты, когда любовь — здесь все просто, и думать нечего. Маму вспомнил Лев Ильич, вон где беда его неизбывная, неутолимая вина, а тоже любовь, что все наперед простила. Но разве прощение ему сейчас нужно, никогда не сможет себе простить, он и думать про это не решался. И он вспомнил: тихая улыбка, вечная забота, ровность, все за него понимающая, непостижимое свойство в любой ситуации не за себя — за него думать, будто у нее своего ничего нет — да и не было. И все равно он считался хорошим сыном, заботливым, любящим, но сам всегда знал, а особенно как ее не стало, четко

представлял цену своим «заботам», любви, жадной только до своего. «А вдруг и она это понимала?» — страшно стало Льву Ильичу от этой мысли.

Так и сооружал свою жизнь: одна доброта, что еще бы на две его жизни достало — и не исчерпал бы; другая, что однажды да враз кончилась — вся вышла, и там своя правда, он и прав никаких на нее не имел. А сколько еще нахвагал — много было надо: крышу покрыть-покрасить, печку переложить — дымит, крыльцо развалилось, венцы подгнили — без конца забот, в одном месте залатаешь, с другого конца горит; вот и брал, благо давали. И он вспомнил женщин — не так и много было, а коль долги отдавать — жизни не хватит. И хорошо, если весело, заранее определено, просто, а вот когда что-то загорится, а ему лишь бы поскорей уйти да по избитой, привычной колее дальше, когда непролитые слезы увидишь, а не увидишь — и так поймешь, а все равно не останешься — тикают часы на руке, когда телефон ту же откликается, словно там рука все время и лежит на трубке, а ты не звонишь — так, под настроение, о том, мол, разговора не было, стало быть, и прав.

«Все, что ли?..» — отчаяние билось в душе Льва Ильича. Ишь закрылся воспоминаниями поэффектней, отгородился, не прихвастнуть ли хочешь? А может, самая малость, о чем забыл, отмахнулся, она, быть может, и будет потяжелей того, что в глаза бьет? И он подумал о своей тетке, старой-одинокой, у которой давно не был, — жива, мол, раз никто не сообщил; еще была родня. О няньке — не поспел на похороны, не знал, но ведь и на могилке не был — три года прошло! О товарище, с кем сводил счета, рядился, кто перед кем больше виноват — он зайдет, тогда и я, что ж я первый, он же меня обидел...

Он уже задыхался — чернота поглощала его, он и не ожидал, как вошел в ту речку, что так затянет, потащит, все же любили его, сколько себя помнит: Лева да Левушка, Лев Ильич — он человек славный, особенный, чистый, мухи не обидит, от себя оторвет. Он вдруг оглянулся, не увидел бы кто, и сразу мысль обожгла: «От кого прячешься, Он-то все видит».

Лев Ильич остановился, как наткнулся на что-то. Он стоял посреди улицы, машины летели, обтекаая его с двух сторон, грязь из-под колес, шофер высунулся из пикапчика — погрозил кулаком...

Он передохнул — пока прошли машины, перешел улицу возле блинной, толкнул дверь, его обдало вкусным горячим запахом, народу немного, взял блинов, полил маслом, кофе два стакана, выбрал столик около окна.

Вон как, усмехнулся про себя Лев Ильич, аппетит не отбило. К нему силы возвращались: с голодухи еще не то на себя придумасшь, — что-то в нем легонько посмеивалось. Вчера ничего не ел, только в поезде пирога с медом, столовский гуляш, зато винища выдул!.. Не один я — у всех так, когда остаются сами с собой, ну а на миру, известно, не так страшно...

Хорошо, пусть так: Лев Ильич оглянулся — не написано было, что нельзя курить, но пепельниц на столах нет, а была не была, закурим! Важным показалось дотянуть мысль до конца, страшно себе об этом сказать, но коль решился... А если теми же дорожками пройти сначала? И он вспомнил вчерашнюю женщину в поезде с ребенком, Костя ей тот же вопрос задал. «За что это, — сказала она, — такая мука, не такая великая грешница...» Запомнил ее слова Лев Ильич, а понять не мог, почему она ничего не хочет исправить, тоже, верно, накопилось, если бы захотела с собой разобраться?

Или можно иначе? Позабудь, все затрется, сколько средств существует для забвения — от блинов до какой-нибудь политической деятельности. И опять время покатится — от понедельника до воскресенья, никто ничего о тебе не вспомнит, а когда заметя — конец подойдет, поздно, никто не схватит, улетел Лев Ильич, перехитрил. «Кого только?» — подумал он и не улыбнулся своей шутке.

В чем все-таки тут дело? — уже из упрямства настаивал он. Если набраться мужества и дойти до конца, в себя заглянуть, да не так, как он, а чтоб не шадить, разлюбить в себе все, чем он нет-нет, а любовался, если безжалостным и холодным глазом, чужим посмотреть на собственную жизнь: хватит ли сил продолжать ее? Каждый новый шаг увеличивает зло, хотя бы в смысле количества, — бухнул он себе. А сколько его и без того накопилось в мире?.. Значит, коли ты человек честный и ответственный — не только о себе хлопчешь, какой единственный, гуманный выход? Сам собой разумеется, существует, дан как некий абсолютный закон природы. Почему тогда человечество живет уже столько тысячелетий, не один же он за блинами, после того, как его шелкнули по носу, ту единственную логику увидел, понял — что-то еще есть, кроме обезьяньего легкомыслия, что удерживает людей на земле?

Да знал он, что есть, читал, слышал, но одно дело мысль, вычитанная из книжки, чужой опыт, от которого и дрогнуть можно, а все равно отмахнешься — не с тобой же... Ну что я себя казнию-мучаю? — возмутился он вдруг. Что ж я, лучше других или просто любуюсь собственными разоблачениями, собираю коллекцию своих подвигов? Да и что такого случилось? — опять спросил он себя. Дочь растет — добрая, красивая, ну зажились с женой, хватит, потравили друг друга, он ли, она виновата — разошлись в разные стороны, вот и ладно, всем хорошо. Работа у него есть, на хлеб денежки, комнату можно снять, пусть в коммуналке, столик у окошка, можно сочинять, он давно хотел, и планы-замыслы имелись, и проблемы проклятые не нужны, все равно никакого смысла: Россия, цивилизация — какая цивилизация, ему самой малости достаточно. Милая женщина ему свидание назначила, мало ли как сложится, нежная, руки у нее добрые — все вчера разглядел Лев Ильич. А это — грошовое похмелье, в омут головой! Да и неправда в той логике, знак спутал, вот и результат вышел не тот, слишком сложное уравнение, куда ему решать такие задачки со столькими неизвестными, попроще надо — четыре правила арифметики, с этим он бы еще справился. Дочь вырастет — доброе дело, женщину пригрет, ей не сладко, не позвала б иначе — чем не дело, не зря, значит, небо будет коптить. Поживем еще! — он потушил в тарелке сигарету, вытер губы бумажной салфеткой, пошел к выходу, да и застрял в дверях — народ входил-выходил, натыкались на него, стоял с кепкой в руке, пока швейцар не тронул за плечо, попросил пройти...

Как же так, думал он, а вчерашний мерзкий вечер — толкучка, проводы, домашний спектакль, а до того его слезы в церкви — все в сторону? С чем он в комнатке за геранькой станет жить? Опять, значит, ошибся, там знаки перепутал, а здесь схири-и, вместо неизвестного подставил наперед знакомую цифирь, ответ подогнал: «Кого перехитрил-то?» — снова спросил он себя.

Он же не врал себе, не договаривал всего лишь, четко назвал тот отчаянный, каждодневный ужас, что ж — он исчезнет, сном окажется, разве от него убежишь? — и сейчас не получилось, не удалась хитрость!

Он уже дотопал до редакции: тихое было место, милые люди, к нему доброжелательные, он кропал популярные заметки, статеечки, очерки, поехать мог куда угодно, сам себе выдумывал тему, не любил ездить, но приходилось, и каждый раз бывал доволен — то леса защитит от бессмысленной вырубке, то напишет о разведении норок, об исчезнувшей пелапиде, то о японской сельди, хищнически уничтоженной нашим рыболовством, про бобров мечтал написать, хоть и без него давно выяснено. Ни во что не лез, природа в двадцатом веке и не сопротивлялась, печально угасала, а он ее описывал, как вымирающих аборигенов — хватит на его век природы!

Он походил по редакционным комнатам, пошутил с машинисткой — повинился, что не привез обещанной вяленой рыбки: «Я тебе здесь достану, вместе порыбалим...» Составил отчет о командировке, выслушал новый анекдот, курьер-весельчак затащил в «тихую комнату» и выложил, начальства, слава Богу, не было, да и с начальством поболтал бы, — он как бы и не присутствовал здесь: что-то делал, улыбался, говорил...

Время, как на грех, стояло, а тут двинулось — он испугался, как на часы взглянул, хорошо, можно было уйти, не нужен никому.

Он кое-как вгиснулся в троллейбус, хотя никогда не любил транспорта, если недалеко, пешком лучше. А что было бы, когда б она не позвонила утром, куда бежать? — ему даже жарко стало: неужто и такое было возможно! Но мысль катилась, захватывала все глубже: главное не в том, что сделал, совершил — грешки! — похуже бывало: не совершил, так подумал, второе-то подлее, трусливее, и отвечать за ту мечту придется... «Как отвечать?..» — испугался он, и впервые реально представил себе, что все, что он в своем истеричном похмелье навспоминал, все это правда — но тут петли не будет, не сбежишь, там не ты станешь выбирать наказание. «А кто?» — спросил он себя.

Троллейбус стоял, впереди затор — давно стоим, засуетился Лев Ильич, стал пробиваться к выходу, кругом ворчали: не видит, что ли, дверь закрыта. «Да откройте, откройте! — закричал Лев Ильич, протиснувшись. — Все равно стоим!» — «Как же, откроет, чтоб ему на штраф налететь, спать не надо было!» Лев Ильич уже у двери пальцами барабанил по стеклу, вплотную к ним грузовик, легковые машины, автобусы — все забито. Дернуло, проехали и опять встали. «Надо было пешком — ноги-то верней...»

Он с детства боялся закрытых дверей, замкнутого пространства, из которого не выбраться; вспомнил, как подростком, когда в войну жил в деревне, заполз на полати,

а ночью проснулся, поднял голову — ударился, руку протянул — стена, и в другую сторону, и так стало страшно — замуровали, закричал, забился...

Вагон дернулся и снова резко затормозил — его притиснули к самой двери, навалились: вот он — сон в руку. И такая безнадежность на него накатила — он затих.

6

«Опоздал...» — подумал Лев Ильич. Нет, просто пришла пораньше — у него потеплело на душе.

Она сидела боком на каменной скамье, глядела вниз на Кремль, мост через реку и обернулась, когда он подошел вплотную, поднявшись по лестнице.

— Хорошо как здесь... — начала было она. — Господи, что с вами, Лев Ильич? А я-то...

— Ничего, ничего. — бормотал он, ухватившись за ее руку, — теперь ничего.

— Да вы больны, Лев Ильич, не нужно было вас вытаскивать!

— Что вы! — Он со страхом глянул на нее. — Если бы вы не позвонили...

— Ну как бы я не позвонила. — У Веры глаза круглые-круглые, а сначала, когда улыбнулась, увидев его, удлинненные с косинкой.

Лев Ильич почувствовал, как спокойствие теплой волной поднимается в нем, и осторожно, боясь расплескать его, сел рядом.

Она замолчала и больше ни о чем не спрашивала. Он вытащил сигареты.

— Да, здесь хорошо. Не я открыл, то есть не мое место, по наследству досталось.

— Сколько мимо бегала, сначала в детскую библиотеку, потом годами просиживала, а все мимо, мимо. А вам не холодно, пойдете лучше или посидим?

— Да как хотите.

— Давайте тогда и я закурю. Бросаю, не покупаю сигарет, а как увижу...

Город бежал мимо, не замечая, позабыв про них, в одну, другую улицу, через мост, раскручивался; солнце глянуло сквозь летевшее облачко, блеснуло золотом на кремлевских куполах...

— Пойдем, — сказала Вера. — Солнышко, а я замерзаю.

Они и пошли молча. Лев Ильич даже позабыл про нее, ничего не замечал, хотя и поддерживал ее, когда переходили улицу, что-то она говорила, он отвечал, но скорей механически, будто сто лет ее знал, все сказано и все знают друг о друге — чего языком молоть, коль необходимости нет.

Да что это я, опомнился он, идем, верно, с полчаса, больше, вон куда забрались, она по делу звонила, не просто на меня глядеть и молчать, наверно, обиделась.

— Простите, — сказал он, — у меня с утра... Только что опомнился. У вас дело ко мне, раз позвонили так рано?

— Дело... — сказала Вера. — Какое дело, повод придумала, а сейчас забыла какой. Вас хотела увидеть. — Она спокойно на него смотрела и не улыбнулась.

— Это как же! — смутился Лев Ильич. — Что на меня глядеть, радость какая... То есть спасибо большое. — Он сбился.

— Ну вот, — засмеялась она, — я вас в краску вогнала.

Экая татарочка, подумал Лев Ильич, и ямочки на щеках.

— А мы пришли, — сказал он, — я вчера познакомился с одной женщиной, насчет комнаты обещала или с ней вместе...

Она внимательно взглянула на него и тоже порозовела:

— А я думала, вы забыли.

— Ну что вы, я тогда пошел с вокзала, холодно было, промок, помните, вчера жуткая погода, дай, думаю, выпью, мы так славно начали в поезде, я потом до поздней ночи остановиться не мог... Правда, оно похуже вышло... — Он помолчал, припоминая, как оно у него и верно не весело получилось. — А тут столовая, через бульвар перейдем, в переулочке. Женщина, кассирша... Заходите, говорит, найдем, чего, мол, хитрого. То есть насчет комнаты я ее попросил.

— Прямо так и спросили? — улыбнулась Вера.

— Нет, не сразу. Мне очень хорошо было, хоть и промок, выпил, думалось легко, а потом, по дороге домой я... Ну, это не к делу, — перебил он себя, — вам, может, неинтересно. Она мне водки налила в компот, то есть подкрасила компотом, им нельзя торговать водкой. Какая славная женщина, думаю, вот бы жениться, комната тихая... Нет, нет! — его в жар бросило. — Такая нашла размягченность...

Вера до слез смеялась:

— Теперь вы меня вместо себя хотите предложить?

— Не поверите, но я и спросил для вас — она подтвердит, — улыбался Лев Ильич.

— А я звоню, свиданье назначаю, признаюсь, что хотела видеть... Опасный вы человек, Лев Ильич.

Они уже подходили к столовой, Лев Ильич открыл дверь: так же пусто, вчерашняя кассирша сидела там же, поглядывала в окошко.

— Здравствуйте,— сказал Лев Ильич, — а я вам жиличку привел, как вчера говорили.

— Разве мы про жиличку? Я на жильца рассчитывала.

Вера только рукой махнула, пошла столик выбирать.

— Для нее, что ли? А не побойтся, что отобью?..

Лев Ильич было рассердился, но самому стало смешно.

— Обедайте, я потом подойду. Компоти́ка пожелаете?

— Сейчас спрошу. — Он пошел к Вере.

— Попало вам? — улыбалась Вера. Она выбрала столик, принесла вилки и ложки.

— Попало,— в тон ей ответил Лев Ильич,— расплачиваться придется. Выпьем компота, о котором я вам рассказывал?

— Мне полстакана, у меня дело вечером.

Лев Ильич воротился к кассе.

— Строго она тебя взяла — выпить спрашиваешь. Не люблю таких,— отрезала кассирша.— Позволила или переждешь, пока отвернется?.. Возьми и мне для знакомства, а то как разговаривать...

Лев Ильич поставил два стакана «компота», третий чистый. Сел, положил руки на стол и снова забылся. Теперь он знал, бежать ему некуда — его все равно поймали, сейчас оттяжка. Но, может быть, нет в этом ничего необычного, подумал Лев Ильич, каждый думающий человек, решивший однажды говорить себе правду о себе, так и существует: держится за бревно, пока не забрали или пока сам не устанет, не надоест, а там — была не была! — оттолкнется, побарахтается да и пойдет ко дну. Может, там только и начинается настоящее — реальность, а пока условность, призрачность? Не нелепо ли: жалкая столовая, водка, подкрашенная компотом,— так, пересадка на далеком пути...

Он увидел, как Вера с подносом, уставленным тарелками, идет между столиками, поворачивается, обходя одно препятствие за другим — красиво шла, Лев Ильич как бы издали видел, словно не к нему шла сейчас эта милая, по всей вероятности, добрая женщина, только что так просто сказавшая, что хотела его видеть.

Она села напротив, взглянула на стаканы с «компотом» и поежилась.

— Страшно? — спросил Лев Ильич, ему полегче стало, когда она оказалась рядом.

— Сначала страшно, дух захватывает — первый шаг, потом все само собой покатится.

— Вы так думаете? — сбился Лев Ильич. — У всех по-разному, я делаю первый шаг чаще бессознательно или для славы, от трусости, из эгоизма, а на вид — по бесшабашности. Но перед вторым — задумаешься, второй непременно обязывает к продолжению.

— Может, мы о разном говорим, вы хотите головой понять, рассчитать, а нужно сердце слушать. Оно самый верный — единственный шаг подскажет...

Верно, подумал Лев Ильич и вспомнил, что вчера в этой жалкой столовой, тот же «компот» перед ним стоял, он услышал — он знал, что услышал! — как что-то забилось в нем. Вчера, а сегодня утром?..

— Здесь можно ошибиться,— упрямо сказал он.— Мало ли что можно принять за этот знак: водки выпьешь, размякнешь — знак, женщина тебе улыбнется — знак, детство, маму-покойницу вспомнишь — опять знак. Эмоции, психология, а то и вовсе физиология — первый шаг. А перед вторым начнешь говорить себе правду... Нет, лучше сидеть в своем болоте и не чирикать.

— Печально,— сказала Вера,— как вас измордовали: сердцу вы своему не верите, слезы о матери считаете физиологией, покаяние вас назад в ваше болото швыряет...

— Покаяние? — удивился Лев Ильич.— Почему покаяние?

— О чем же вы — я вас правильно поняла? Маму вспомнили, слезы — вину ощутили перед близкими, случайное слово, что вырвалось — не поймаешь...

— Конечно! — поражался Лев Ильич.— Вспомнил, но... это и с вами бывает?

— А как же,— сказала Вера,— я думаю, нет человека, который бы... ну, кто раньше, кто позднее, кто перед концом...

— Ну и что тогда, если вытащишь на поверхность ужас, что в тебе запрятан, как потом жить?

— А это начало премудрости,— легко сказала Вера.— Страх Господень.

— Знаю, читал,— отмахнулся он и вдруг остановился: «Страх Господень!», только что, в троллейбусе, и был, наверно, страх Господень! — Ну а дальше? — уже с надеждой спросил он.— Если переживешь, в петлю не полезешь, вывернешься?

— Так я и говорю вам об этом, — внимательно смотрела на него Вера, — о покаянии. Покайтесь — вам и отпустит.

— Как я покаюсь, — сказал Лев Ильич, — я некрещеный.

— А вы креститесь. Не зря вокруг ходите.

— Я серьезно спрашиваю, — огорчился Лев Ильич. — Я понимаю, для христианина это мистический акт, ему, наверно, легче становится, когда с него снимают грехи, ну а остальные люди — вообще люди, как они могут жить, если их посетил этот страх?

— За других не знаю, тем более вообще за всех, думаю, страх этот уже и есть раскаяние. Если вы тот ужас испытали, тьму египетскую в себе увидели, неужто не повиновились в том, что натворили, неужто грехи в душе не прокляли, а это начало пути. Так в Писании и сказано: и язычникам дал Бог покаяние в жизни.

— Так и сказано — в каком Писании?

— В Деяниях апостолов, кажется. Помните, вы с Костей говорили в поезде о том, какая радость бывает у ангелов Божиих о каждом кающемся грешнике? Так и написано: больше радости будет об одном кающемся грешнике, чем о девяти праведниках, нужды не имеющих в покаянии.

— Тоже в Деяниях?

— А говорите, читали. Нет, в Евангелии, у Луки, наверно.

— Все сказано, — потух Лев Ильич, — а легче оттого никому не стало. Петр апостол — и я кое-что помню — ему Христос не читал, Сам говорил, и то отрекся, да еще трижды.

— Мы про это с вами и говорим. Он третий раз отрекся — помните, петух пропел? — пошел и горько заплакал. Вот в чем соль христианская — в раскаянии. Что горше — он после тех слез и стал апостолом...

— Голубчики мои, иль у вас разговор семейный, не для посторонних?.. Закуски остывают, компот выветривается — меня ждете? — Кассирша пододвинула стул и села к ним.

Лев Ильич посмотрел на нее с удивлением:

— Садитесь, пожалуйста,

— А я уже сижу. Закусывать мне не положено — на работе, а выпить не помеха.

Лев Ильич поставил перед ней стакан с «компотом».

— Нет, так не пойдет, у нас равенство, скоро шестьдесят лет как от оков освободили. Иль не согласны? — Она плеснула в пустой стакан. — Могу в аптеке работать? За кассой бы усидеть, точность требуется, а может, преувеличивают, будто денежки счет любят? Их тратить нужно. Со знакомством. — Она выпила, глазом не моргнула. — А зовут меня Маша. Вот и познакомились. У меня сестра была Вера, померла. Кому из вас комната нужна или вместе будете снимать?

— Мне нужна, — сказала Вера, — только не знаю, может, на месяц, а может, на полгода — потом будет где жить.

— Хорошо, сразу говорите, а то некоторые снимут на год, а через неделю бегут — убыток хозяину. Значит, срок неопределенный. Вы работаете или дома будете сидеть, кухню коптить?

— Работаю, — сказала Вера. — Мне бы чайник вскипятить...

— Этак не годится. А как мы со Львом Ильичом — правильно я вас назвала? — к вам в гости пожалуем, одни чаи гонять? Или будете в столовой нас принимать?.. Шучу. Посмотрите комнату, если понравится — живите, много с вас не возьму, сын уходит в армию, на что мне его хоромы. А сейчас его нет, он на съемках в Одессе. А вернется, у меня переночует. Есть и еще комнатка. Так что понравится, сегодня и оставайтесь.

— А когда можно посмотреть? — спросила Вера.

— Да хоть когда. Рядом, через переулочек. Я уже отработала, сейчас сменщица придет, если не задержится. А нет, ключи дам, поскучаете с молодым человеком. Закончите разносолы-закуски — и отправляйтесь.

— Спасибо, — сказала Вера, — я не ожидала, что так просто, месяц не могу найти.

— Не знаю, где ищите, ваш кавалер сразу нашел. Верно я про вас понимаю?

— Какой я кавалер, — улыбнулся Лев Ильич, — на свою жизнь жалуясь.

— А это самый верный ход, хитрый — разжалобишь, считай, дело выиграно — сама в руки пойдет... Вы не стесняйтесь, как надоест сидеть, я вам ключи дам. Спасибо за угощение. — Маша отправилась за кассу.

— Какая славная женщина, — сказала Вера, — повезло мне с хозяйкой. Может, правда, пойдём, здесь неуютно?..

— Чего зря время тратить, правильно, — сказала Маша, когда они подошли к ней. — Перейдете переулок, наискосок направо возьмете, двор будет, сразу против ворот — строение номер два. Самое и есть «строение». Подъезд невидный, не пугайтесь, на окне цветы, сразу увидите. — мое окно от ворот видать.

— Герань, что ли? — усмехнулся Лев Ильич.

— А вы откуда знаете — были в нашем дворе?

— Не был, а угадал цветочки?

— У меня много всяких, а герань редкая... Держите ключи. Квартира вторая, как дверь откроете, первая комната направо. Там подождете, а я следом.

Они прошли грязным двором, мимо развороченной помойки и увидели в «строении» — двухэтажном кирпичном особнячке, резко выделявшемся среди грязных обшарпанных стен, зеленое — живое окно на первом этаже. Оно было таким сплошь зеленым и цветущим, что казалось издали куском яркой занавески.

— Смотрите, какая прелесть, — сказала Вера, — я говорю, мне повезло.

Лев Ильич открыл ключом дверь.

Было тихо, темно, он нащупал справа незапертую дверь, и они очутились в комнате с ярким зеленым окном.

Лев Ильич должен был признаться себе — не угадал: какая там чахлая герань под сиротской занавеской — ботанический сад, тропики, буйство и веселье. Он даже оторопел от изумления.

— Никак не ожидал, — подумал он вслух.

В комнате был беспорядок, на стульях висели платья, кофточки, на крепком квадратном столе под темной клеенкой небрежно прикрытая полотенцем невымытая посуда, продавленный диванчик, картина на стене маслом. Живопись была хорошей. Настоящей, Лев Ильич сразу понял, хотя и не мог бы угадать художника, да и темно — не разглядеть. Полка, под потолок набитая книгами, растрепанные корешки, пыльные — давно к ним не прикасались. И большой телевизор в углу.

— Неожиданное жилье, — повторил Лев Ильич, взял у Веры пальто и повесил поверх своего на крюк у двери. Она присела на диванчик, он поместился напротив, у стола.

Тишина была глубокая, как не в Москве, а ведь рядом бульвары с их грохотом. Видно, каменный двор скрадывал звуки, и переулок тихий.

— Какая икона хорошая, — тихо сказала Вера.

Лев Ильич оглянулся в угол: еле теплился огонек, а там Божья Матерь, как вчерашняя, в храме, выплывала из темной доски.

— Какая хорошая... — как бы про себя повторила Вера. — Как хорошо мне здесь — так бы и не уходила. Я понимаю, Лев Ильич... Вы на меня не рассердитесь, что я в вашу жизнь без спросу вмешиваюсь?.. Я вижу, вам тяжело, я даже испугалась, как вас сегодня увидите. Но это нужно, чтоб так было — совсем плохо. В вас предчувствие стучится — увидите. Главное, чтоб вы за свою тяжесть на весь мир не озлобились — чтоб полюбили. Полюбите, все осветится. Вспомните мои слова.

— А я уже... — сказал Лев Ильич и сам себя будто издали услышал. — Я уже полюбил.

— Я же об этом. — Вера вдруг смутилась. — Я скверная, сама не знаю, зачем вас вытащила, правда, повезло — и комната, и человек добрый, и вы рядом, может, помогу, вам нужно помочь. Вот и дело на первое время.

— Вы меня. Верочка, не бросайте, — попросил Лев Ильич. — Я возле вас начал в себя приходигь.

— А я вас о том же самом хотела... Как же, — рассмеялась она, — зачем нам друг друга бросать, когда только нашли?

— Я вчера вечером Костю видел, — вспомнил он, — того, что в поез. Он у меня дома был допоздна, мы с ним разговаривали, пили много. Интересный человек, я таких раньше не знал.

— Я так и знала, что он к вам пристанет.

— Как пристанет? Мы случайно встретились у моего товарища в нашем доме.

— Не нравится он мне, — сказала Вера. — Я боюсь таких людей.

— Правда? — удивился Лев Ильич. — А я подумал, у вас с ним общие интересы.

Дверь стукнула, в коридоре уверенные шаги, вошла Маша с тяжелой сумкой, звякнуло в ней, когда спустила на пол.

— Опять тишина? Что это вы как незнакомые, все о чем-то молчите? Здесь никого нет, не пугайтесь. Или вы правда до сего не были знакомы — не пойму?

— Хорошо у вас. Маша, я говорю Льву Ильичу — уходить не хочется.

— Ну и живите на здоровье, за тем пришли. Как цветы — понравились?

— Я такого не видел, — признался Лев Ильич, — парк тропический.

— Скажете! — Она разделась, подошла к окну. Дома она показалась совсем другой: исчезла лихость, развязность — милая женщина, радующаяся людям, что пришли к ней. — Сама намудрила. Герань у меня, верно, редкая... И клен комнатный — колокольчики розовые. Ну, тут фиалки узамбарские — все время цветут. Столетник разросся, надо бы горшков достать, а у меня под кактусами. А это угалайте, какое дерево? Манго купила — напротив в магазине, чудной плод, косточку воткнула в землю, глядите, деревце порядочное... Баловство, конечно, коты летом пашагаю в окно взад-вперед, устраивают разрушения в моем парке. Я для них другой раз двери не закрываю, а они не признают. Ой, Господи, что ж я вам зубы заговариваю, видела, как вы над нашими харчами скучали. Пойдемте-ка. Верочка, я вам квартиру покажу... — Они обе вышли. Лев Ильич глухо слышал их голоса.

Он подошел к окну, тронул розовый колокольчик на клене, и ему послышалось — тоненько он так звякнул, Лев Ильич даже вздрогнул от неожиданности, протянул руку — чашечка фиалки пощекотала ладонь, разросшуюся герань рассматривал... Вот так мещанский цветок! Особенно в такую грязь-распутицу в холодном раскисшем дворе эта роскошь казалась чудом. Он так загляделся, что не услышал, как подошла Вера, почувствовал ее дыхание:

— Мы с вами попались — у Маши именины...

Он обернулся, взял ее руку и поцеловал. Вера на него тихо посмотрела, хотела что-то сказать, но тут вошла Маша.

— Такая история, гости дорогие. У меня сегодня, как я Вере докладывала, вроде бы именины. Тут беспорядок и жизнь холостяцкая, одна осталась. Я вас приглашаю к моему соседу, надо мной, по лестнице поднимемся.

— Неудобно, — сказал Лев Ильич, ему не хотелось уходить. — Мы совсем чужие.

— Знаю, чужие, я вас на улице подобрала. Вот и познакомьтесь. Сосед мой всегда рад людям. Мне он не чужой, значит, и гостям моим обрадуется. Вы не одевайтесь, мы выходить не будем.

Она что-то сунула в сумку, и они вышли в коридор.

— Да, — спохватилась Маша, — я вам комнату не показала, что будете снимать, заболталась на кухне. — Она щелкнула выключателем, под потолком в коридоре загорелась мутная голая лампочка; велосипед висел вверх колесами, под ним лыжи, ободранный шкаф с холстами в подрамниках и просто так — один на другом до потолка, еще одна дверь рядом, она ее распахнула. — Вот вам и комната, хоть сегодня ночуйте.

Они заглянули. Чуть поменьше была комната, на окне глухая штора, темновато. Лев Ильич разглядел тахту — матрас на самодельных ножках, ученический письменный стол, полка с книгами и кожаное кресло — глубокое, вытертое...

— Не богато, да жить можно, — определила Маша.

— Славно, — сказала Вера, — мне подходит.

— Ну и договорились. Пойдемте, у нас дела поважнее.

Они стали подниматься по лестнице с выщербленными ступенями и поломанными кой-где перилами, когда-то, видно, красивая была лестница.

— У вас сын художник? — спросил Лев Ильич.

— Какой он художник, вот отец его кой-что в этом понимал...

Они стояли перед дверью, еще марш вел назерх, видно, на чердак: Маша позвонила.

Дверь открылась сразу, как ждали, они вступили в темный коридор, Маша с кем-то уже шутила. Еще открылась дверь: на окне в красивой клетке большой попугай с зеленым хвостом вертел головой, рядом круглый аквариум с водорослями, подсвеченными лампой, рыбы медленно, важно так проплывали; стены в книжных шкафах. Правый угол — в иконах, перед ними зажжена лампада.

У книжной стены в кресле, таком же, видно, как во второй Машинной комнате, только обтянутом светлым чехлом (парные кресла, отметил Лев Ильич), сидел мужчина. Он встал, как только они вошли. Лица его было не разглядеть, он подходил от окна, белело в черной бороде, длинные волосы падали на плечи. Он был в широкой домашней куртке, ворот белой рубашки выброшен поверх.

Маша еще и рта не успела раскрыть, он подошел к ним, протянул руку, и Лев Ильич увидел его глаза — светлые, острые, что-то знакомое в них, но он не вспомнил.

— А я вас давно жду, Лев Ильич, — сказал он, — знал, что вы когда-нибудь, но непременно ко мне придете.

Уже и свет зажгли, проще стало, хоть и непривычно: весь угол в иконах, мерцающие рыбы в аквариуме, попугай задумчивый, притихший при свете, стены в книгах... Лев Ильич сидел уже в кресле, вышло, что его тут же усадили, Вера устроилась подле на стуле, хозяин против них, колени в колени. Лев Ильич разглядел его: возраст трудно определить из-за черной окладистой бороды, а глаза молодые, зоркие, добрые. Маша вместе с хозяйкой летали по комнате — стол на глазах преображался, звенело, расставлялось, а Лев Ильич никак не мог опомниться — и оттого, что так встретил незнакомый человек в чужом доме, и какой-то смысл ему в этом угадывался, а в чем — он не схватывал. Никак не мог вспомнить, но он знал этого человека!

— Смотри, Дуся, какой у нас гость! — обернулся хозяин к жене. — Помнишь, к Федору Ивановичу в родительскую ходили, к могилке сворачивали?.. Это он и есть — тот самый!

У Дуси обе руки заняты тарелками — остановилась, внимательно посмотрела на Льва Ильича: милое лицо, волосы гладко зачесаны, пучочек небогатый на затылке, мягкие глаза под светлыми бровками; улыбнулась, поставила тарелки, обтерла руки об фартук:

— Спасибо, что пришли. Я очень вам рада.

— Ну что, хозяин, — сказала Маша, — хороших гостей привела? А он сомневался — чужие, мол, неудобно. Были, говорю, чужие, когда на улице подобрала, а теперь свои. Мы с ним давно свои — второй день пьянствуем.

Хозяин на нее обернулся.

— Ладно, ладно, не сердись, мой праздник-именины!

— Не беда, Лев Ильич, что не помните, важно, что пришли, а пути нам неведомы. Федор Иванович, покойник, часто вас вспоминал, да и я, видите, не забыл... Ну что там? Можно? К столу. Сегодня у нас именинница на масленицу угадала...

Они уже сидели за столом, у Льва Ильича в глазах рябило, он и не видал такого, хотя нагостевался: тарелочки, миски деревянные, обливные — огурчики, грибочки, селедка, балычок, мед в большой миске, ягода красная — брусника, что ли...

— Вот уж простите, — сказала Дуся, она не присела, — икра бы нужна, но что делать, это сейчас все икру хотят, а к блинам не обязательно. Рыбка хорошая, а это грузди — свои, и еще, очень вам советую, рыжики в сметане. И бруснику обязательно — моченая... Да что это я, — спохватилась она, — у меня квас петровский на меду... — Она вернулась с большим кувшином.

— Помолимся, — сказал хозяин, встал и оборотился к иконам.

Опять уселись.

— У нас только водка, вино к блинам не идет. Хорошая водка, на смородиновом листе настаивала, на укропчике. — Дуся пододвинула мужу плоский граненый штоф, он налил в большую рюмку — лафитнички.

— Ну, именинница, — сказал хозяин, — дай тебе Бог, а ты меру знай.

— Эх! — вздохнула Маша и опрокинула рюмку в рот. — Кто мне отмерит-то?

— Здравствуй! — сказал хозяин, Лев Ильич его отчество не расслышал, когда онзнакомился с Верой, Кирилл Сергееч, что ли? — Будто того не знаешь, Кто?

Водка и верно была отличная, пахла травами, Лев Ильич подхватил грибочек. Так все с ним стремительно происходило, никак не мог остановиться, себя понять — почему он тут и кто?

— Что же вы, или сразу блинов, а то я смотрю — скучают гости... — Дуся вышла и вернулась с большим блюдом, на нем высокой горкой лежали блины, дух от них пошел по всей комнате, Льву Ильичу первому выложила на тарелку — румяные, ноздреватые.

— Со сметаной или маслом полить?

— Ой, смехота! — сказала Маша. — Как я Льва Ильича напугала!.. Он вчера забрел в столовую — вижу, мокрый, замерзший человек. Компотиком отпотчевала, а он согрелся и вздумал у меня комнату снимать. А сегодня не один приходит. Ах ты, говорю, что ж, мол, девушку обманываешь, я жду, рассчитывала с тобой вечера коротага, а тут вон оно что!

— Я говорю, меру знай, — нахмурил брови хозяин, но не выдержал, засмеялся. — Набрался все-таки смелости, раз пришел?

— Да ну, — не унималась Маша, — это Верочка спокойная, другая б на ее месте — убежал бы, так его б и не увидели!..

— А я знаете что вспомнил, Лев Ильич? — сказал хозяин. — Наша именинница шутит, вы, мол, испугались, убежали... Я, может, потому вас сразу узнал, двадцать

лет прошло, изменились. Я стоял обедню в Ваганьковской церкви — как бы не двадцать пять тому, мне пятнадцать лет исполнилось. Я сразу вас заметил: робко так вошли и остановились у дверей. А дьякон возгласил: «Оглашенные, изыдите!» — вы обратно кинулись. Я за вами до кладбищенских ворот бежал — не догнал. Да и что, подумал, время наступит, вернется. Лицо ваше на всю жизнь запомнил — смущение, страх неподдельный...

— Господи! — вырвалось у Льва Ильича. — А я вчера вас вспомнил... Кирюша!.. — Он вскочил со стула.

— Слава тебе Господи, разобрались, — улыбался хозяин.

Они поцеловались, Лев Ильич руки его не отпуская.

— Да как же так, а я ни разу не искал вас!..

— Так и я вас не искал. Квиты. А Федор-то Иваныч...

— Какой Федор Иваныч? А...

— Десять лет как схоронили. Марья Петровна при вас жива была? Она еще с полгода промаялась. А он видите сколько прожил, хотя постарше лет на пятнадцать...

Лев Ильич вспомнил, все он теперь вспомнил. И себя, горящего, как свеча, от безысходного горя, и Федора Иваныча с голубыми глазами на изрезанном коричневыми морщинами лице, и его руки — широкие, корявые руки могильщика с ввевшейся в них глиной. И с каким он ужасом глядел на эти руки, будто та глина его была с той самой могилы. Тогда он и Кирюшу заметил. Длинный, нескладный подросток, сидел с книжкой, чужой в комнатушке, где на широкой кровати трудно умирала женщина, а в окошко глядели кресты. Вспомнил Лев Ильич ту историю. Пришла на кладбище женщина проведать могилку — тридцатые годы, с Федором Иванычем договорились, оставила деньги, чтоб следил, — сама, мол, уезжает надолго, он не понял, куда да зачем: что ему за дело, присмотрит. С ребенком пришла трехлетним, мне, говорит, туда-сюда сбежать, проездом, мол, в Москве, а поезд вечером, пусть мальчонка у вас побудет. И на это Федор Иваныч согласился — почему не помочь. И не вернулась. А мальчик не ее, она рассказала Федору Иванычу. У них в Ростове — вот они откуда — посадили священника, забрали попадью, мальчишка отдала сестре, потом и сестру замели — все вычищали под корень, мальчонка остался соседям. Никакой жизни в Ростове не стало, друг друга боялись, молчи, мол, пока цел. И за этой женщиной что-то водилось — путаная история, Федор Иваныч слушал вполуха, ему ни к чему, наслушался веселых кладбищенских баек. Так ли, не так, но паренек остался. Детей у них не было, они не усыновили, остерегались, время было хитрое, как-то записали, оформили, жил под их фамилией — сын не сын. Да и Льву Ильичу та история была ни к чему, ему все она виделась, как тепло из нее в его руках уходило, и он на руки Федору Иванычу глядел...

— Ну и что ж... вы, — споткнулся на его имени Лев Ильич.

— Видите, как, — улыбнулся Кирилл Сергеич, — живу. Федора Иваныча схоронили недалеко от вашей могилки — давно не были?.. Кусты насадили — сирень, смородина... Разное у меня было, как у всех, а потом выправился, кончил академию, женился. Третий год служу.

— Кем... служите? — не понимал Лев Ильич.

— Да батюшка он, Господи! — не выдержала Маша. — Какой тебе, Веруша, непонятливый мужичонка достался! Батюшка наш — отец Кирилл, а для меня милый Кирюша, правда, нет?

— Чудеса, — сказал Лев Ильич. — Не в том, что вы священник, хотя и это... удивительно. Но почему, зачем? Зачем я вдруг оказался у вас? Не думал, кто б сказал, не поверил — как это происходит? Второй день у меня все идет к этому! — Лев Ильич разгорячился, на него всегда первая рюмка действовала, потом приходил в себя. — Мы с Верочкой вчера утром встретились в поезде, еще там один оказался, и понимаете... Кирилл Сергеич, вся моя жизнь с тех пор, со вчера, непрерывно вокруг этих, как сказать, проблем. Я и думал-то о них к случаю, необязательному разговору. А ночью, сегодняшним утром до стенки дошел. Хорошо за Верочку уцепился. И в довершение всего у вас, а вы... Чудо или меня кто-то за руку ведет? Вы меня извините, — опомнился Лев Ильич, оборотясь к хозяйке, — я разоткровенничался, а у вас праздник, настроение порчу.

— Бог с вами, — сказала Дуся, — мне Кирюша рассказывал, как вы тогда убивались, я словно давно вас знаю. Вы мне молоденьким виделись, а теперь вы... Блины мои не жалуете — не нравятся?

— Что вы, — сказал Лев Ильич, — я только и делаю — ем. Правда, разговариваю много.

— Лев Ильич,— спросила Вера, она до сего молчала, внимательно слушала,— мы только что с вами... я вам об этом и говорила — помните? Что вы не случайно вокруг ходите — вот и пришли. Как же в чудо не поверить!

— Это он — в чудо не верит? Да что ты, Веруша! — Маша тем временем разливала водку из штофа. — Я его замерзшего, тихого разглядела в столовой — люблю таких скромных.

— Маша, Маша, — нахмурился Кирилл Сергеич.

— Ну что ты меня все останавливаешь, батюшка? Я правду говорю. Они, тихие-то, самые душевные, а для нашего женского пола... Им ли в чудеса не верить!

— Маша, ты, конечно, именинница, — сказал Кирилл Сергеич, — вроде бы хозяйка, но не расходишь.

— Вы... насчет чуда... — сказал Лев Ильич; ему таким важным показалось все, о чем тут говорили: надо ж как, удивлялся он про себя, жизнь и за рюмкой с блинами продолжается! — Я понимаю: хочешь, за чудо посчитай, а не хочешь — обыкновенно: встретились, разговорились, пришли нанимать квартиру, а тут именины — случай!.. Ну а реальные чудеса — их христианство отрицает? От чуда и Христос отказался — не сошел с Креста... Ну было, было, — заспешил он, — знаю, были и чудеса: и Лазарь, и бесноватые, и пять хлебов — может, и метафора, символика, но в первые века были чудеса со святыми. А в наше время — или при жизни не узнается? А как потом отличить легенду от реальности?.. Я очень нескладно, темно выражаю? — смутился он.

— Нет, отчего же,— сказал Кирилл Сергеич.— Мне кажется, я вас понял. И Фома-апостол тем мучился, если помните, не уверовал, пока персты в Его раны не вложил. Когда человек живет с верой, у него иное отношение к жизни, как бы другое зрение, ему постоянно открывается чудесное, в каждой мелочи, мимо которой люди обычно проходят, не замечают... Вчерашняя встреча, сегодняшняя — случайность, стечение обстоятельств — пошел бы налево, а не направо, заглянул бы в другую столовую. Ну а поверь вы в то, что в жизни ничего бессмысленного не происходит, что все волосы у нас на голове сосчитаны, хотя и полная свобода при этом — между злом и добром я имею в виду. Он потому и с Креста не сошел, чтоб навсегда оставить нам эту свободу.

— Это я умозрительно понимаю,— сказал Лев Ильич,— а какое имеет отношение к моей жизни — никак не пойму. То есть вам-то я верю...

— Ну и этого для начала немало. Разные пути есть. Одному через чудо, другому — встреча, третий от отчаяния или, как говорят модные философы — от желания отчаяться. Грех не в том, что согрешил, кто безгрешен, а в том, что за своим грехом ничего не увидишь, уныние и есть самый страшный грех — к смерти.

— Да, — сказал Лев Ильич, — я сегодня целый день об это бьюсь. Значит, и... выхода нет?

— Есть, — серьезно ответил Кирилл Сергеич.— Только тут разница. Апостол Павел говорит в Послании к коринфянам: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть».

— Тогда нет выхода,— сказал Лев Ильич, — у меня мирская печаль.

— Почему вы так полагаете? — спросил Кирилл Сергеич.

— Я, видите, в азбуке не разбираюсь, не крещен.

— То беда поправимая, — сказал Кирилл Сергеич,— давайте мы вас окрестим.

— Вот это дело, — обрадовалась Маша.— Сколько у нас — четыре дня осталось до Поста, чтоб власть погулять? Я и крестной буду.

— Что вы, — испугался Лев Ильич,— как я могу креститься, когда я в азах сомневаюсь.

— Не надо, — легко согласился Кирилл Сергеич, — не следует неволить.

— Как не следует? — горячилась Маша.— И святой апостол сомневался, пока ему чудеса не предъявили. Непременно я буду матерью крестной — я его на улице подобра!

— Подожди,— отмахнулся Кирилл Сергеич.— У вас логическое заблуждение. Вы доверяете логике от незнания себя. Как не верите, вы не случайно о чудесах заговорили — они горят у вас в душе, я вас с юности запомнил: и как в церковь вошли, как бежали оттуда — так не бывает без веры. Что, у вас корысть, что ль, какая в вашем, как вы полагаете, мирском покаянии, вы за него что-то получить надеетесь?

— Нет, — сказал Лев Ильич, — какая корысть, я сегодня тьму-египетскую среди бела дня увидел, от ужаса и... омерзения...

— Видите как, — кивнул головой Кирилл Сергеич, — вы о себе плачете, о себе негодуете, себя почитаете виновным, отсюда и страх, и ревность, и взыскание, по слову апостола. А покаяние, сказал преподобный Исаак Сирий,— корабль, страх

Божий — кормчий, любовь же Божественная — пристань. Страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и пристает к Божественной пристани.

— Прекрасно,— сказал Лев Ильич,— красиво. Но может быть, в этом страхе и есть корысть, о которой вы говорите,— что-то в нем не хотелось сдаваться. — Какая же чистота в этом деле, если я заберусь на тот корабль с перепугу, от страха наказания — не от веры?

— Разные пути, мы и начали с этого. Но коли взошел на корабль покаяния, доверься кормчему — он мимо той пристани не провезет.

Колокольчик звякнул, пропел мелодично. Дверь открылась, и Лев Ильич обомлел, а больше всего оттого, что первым его чувством было раздражение: это уж слишком, зачем так все сходится? Он взглянул на Веру — она недоуменно пожалала плечами.

— Хорошо-то как, — проговорил Кирилл Сергеич, — спасибо, пожаловали. А у нас гости, блины, кстати...

— Не знаю, кстати ли, но Марию Кузьминичну поздравляю с именинами.— На Косте белая рубашка с галстуком, дешевый костюм отутюжен; он протянул Маше хризантемы.

— Вот он, мужчина, а я, балоболка, его не жалею! — воскликнула Маша и стул подле себя отодвинула. — Садитесь, Костя, буду за вами ухаживать.

У Кости лицо не дрогнуло, как Льва Ильича с Верой разглядел, только глаза сощурил.

— Вон как, Лев Ильич, у нас с вами дорожки сходятся.

— А вы знакомы? — поразился Кирилл Сергеич. — Что ж вы, Костя, его давно не привели? Мы сейчас подсчитывали — двадцать пять лет знаем друг друга, а почти столько же не виделись. И Веру Николаевну знаете? Вот и славно.

Из-за спины Кости показался еще один гость: совсем молодой паренек с румянцем во всю щеку, светлая прядь волос падала на широкий лоб, широко расставленные глаза смотрели смущенно, но смело, из распахнутого ворота ковбойки выглядывала мальчишеская шея.

— Да,— замешкался Костя, — я, извините, не представил своего молодого друга. Федя Моргунов, давно мечтал с вами, отец Кирилл, познакомиться, никогда не видел живого священника, не верил, что бывают.

— Я никогда вам такого не говорил.— Федя залился краской, даже лоб покраснел.— Охота вам меня сразу дураком представлять?

— А не сразу можно? — сказал Костя.

— Ну, если заслуживаю.— у Феди глаза отвердели.— У меня с церковью сложные отношения — смахивает на провинциальный театр, а священники такие любители, вот мне и хотелось увидеть не на сцене или за кулисами — в жизни.

— Вон какого привел! — сказала Маша.— Садись-ка, зритель, блинов наших отведай, только честно скажешь, любительские или профессиональные. Как с блинами разберешься, тогда и о церкви поговорим.

— Садитесь, садитесь, — пригласила Дуся.— что вы на него напустились, человек первый раз пришел. Вы сначала закусите — а я вам горяченьких, у меня дожидаются в духовке.

— Спасибо, — румянец на щеках у Феди полыхал все ярче, — я не голодный.

— Да чего там, — сказала Маша.— мы все ныне сытые, а раз пришел, признавай наш устав. Так я говорю, отче?

Еще раз выпили за именинницу.

— Рыжики, грузди, — угощала Дуся.

— А мне интересно, — сказал Кирилл Сергеич, — ваше заключение насчет провинциального актерства на чем основано, вы с чем-то сравниваете или другого не знаете?

Федя не мог ответить, он заправил блин в рот, да по совету хозяйки подтолкнул его туда рыжиком, у него даже слезы выступили на глазах. Он рассердился.

— Мне сравнивать не с чем, — он получил, наконец, возможность говорить, — а что видел — в полном соответствии с тем, что только и может быть. А как иначе? Я, скажем, прихожу сегодня в церковь, вчера на луну слетал, за день до того пересадил умирающему сердце от свежего трупа, в кармане у меня транзистор — футбол передают из Мексики, а в церкви все как при царе Горохе: свечки, безголосый хор, язык, давно его никто не понимает, одеяния — как в музее, нафталином пахнет, от тоски скулы воротит, десять убогих старушенок и мужичонка колченогий. А священник в допотопном азыме делает вид, что ничего не изменилось — ни луны, ни

транзистора, ни современной медицины. Да еще старушонки-святоши за руки хватают...

— Чего ж они тебя, сердешного, схватили? — искренне изумилась Маша.

— Кто их знает, не понравилось, что руки назад сложил. Не нравится! Еще до татар такое правило установили.

— А я напугалась, ну, думаю, чего он руками размахивал? Эх, философ! Старушки не в музей пришли, не глазеть на диковину — домой. А дома, погляди на свою мать, разве она руки за спиной когда сложит, они у нее беспрерывно делом заняты: исподнее твоё отстирать, кашку сварить. Небось самому стыдно дома туристом похаживать?

— Какой дом, говорят не по-нашему — ни слова не понять.

— Но они-то, может, понимают? — это Вера спросила. — Вы за себя говорите или за других?

— А другие не сейчас живут, не по тем же улицам ходят?

— Ну да, — сказала Вера, — в смысле транзисторов большие произошли изменения на планете.

— Нет, почему же, — сказал Кирилл Сергеич, — есть такая точка зрения, что нынешняя церковь консервативна, не учитывает изменений, происходящих ежегодно в мире. Верно, не учитывает. Но беда ли ее в этом? Может, в консервативности сила? Вы подумайте, какие невероятные изменения в мире да хоть за последние двести, сто, даже пятьдесят лет. И все, заметьте, разрушается, самое, казалось бы, прочное, на века строенное, чему рукоплескали, восхищались, гордились — никто не вспоминает. А церковь стоит. Татары, Петр, большевики — а церковь стоит. Может, в ее консерватизме и смысл, а чем, как не высшим смыслом, вы это чудо объясните?

— Да мало ли что стоит. — Федя потянулся было к блинам, но опять рассердился, налил себе рюмку, выпил. — Стена китайская стоит, еще древней, а какой в ней смысл — одна историческая нелепость. Нет, глупость сморозил, не подумайте, я к вам не спорить пришел, не уличать в обмане! Это Костя меня дураком представил. Я подумал, может, вы мне главное сомнение разъясните? Церковь — это обряд, традиция, нужна старушкам, ну и Бог с ними, пусть ходят, раз им хорошо. Любительская служба, профессиональная — пускай их! Можно и без церкви — Бог где хочет живет, но чтоб поверить! Я чувствую, вижу, без веры все расплывается, а с Богом стройно, все на свете объяснимо, без вранья и жалких научных допущений, когда библейское объясняя социальным, а философию физиологией. Но как главное примирить, самому себе объяснить?

— Что же вас так смущает, — сказал Кирилл Сергеич, — не дает поверить, когда уже почувствовали необходимость?

— Главный, вечный — страшный вопрос, на котором все головы расшибали. Но про всех-то — зачем мне? — У Феде даже кровь отхлынула от щек, видно, правда, был в недоумении. — Хорошо. Бог. Шесть дней, грехопадение, потоп, Христос, даже Воскресение — и это можно представить, как ни дико, пусть символика, все равно стройно, прекрасно — все на месте. Соблюдайте заповеди или старайтесь соблюдать... Замечательные блины, — перебил себя Федя, — вы правду сказали, — он посмотрел на Машу, — мама тоже печет, редко, правда.

— Видишь как, — сказала Маша, — все и выходит правильно.

— Нет, но я хочу договорить, спросить! — зашепел Федя, испугавшись, что теперь его перебыют. — Но как все-таки понять, как поверить, что это не жуткая бессмысленность — невозможно вообразить себе Божье злодейство? Как понять Бабий яр, Архипелаг или, мне еще ближе, — бабушка умирала? Она всю жизнь была голубь чистая, шишки на нее валились со всех сторон, только добро делала всем, кто бы с ней ни соприкасался. А умирала целый год, я и в книгах не читал, чтоб человек так мучился — за что? Она не жаловалась. Но я не могу и никогда не смогу забыть ее недоумения... Постойте, — ему показалось, Кирилл Сергеич хочет что-то сказать, — я договарю. Что ж, там, где вечная жизнь, она будет сидеть рядом с каким-нибудь медным лбом, который моего дела допрашивал поблизости, на Лубянке? Я деда никогда не видел, говоряг, крепкий был человек, до того его допрашивали, такую на себя напраслину наговорил, да ладно бы на себя — ни в один роман не влезет... Тот изувер, может, крещеный, покаялся перед смертью, он одесную съедет, а моя неверующая бабушка на сковородке — так, что ли? Ну как поверить, не счастье злой бессмыслицей, безответственнее, чем рассуждения про обезьян, которые из палок понаделали луки, а потом Библию написали? Как жить с этим?..

Вот оно, подумал Лев Ильич, какие у всех разные пути.

— Стало быть, билет возвращаешь. — усмехнулся Костя; он молча сидел и не слушал вроде, отведывая ото всего, что было на столе. — Русский мальчик с транзистором из книжки выскочил, начался.

— Я знаю, это смешно, всем давно известно, — у Феде опять запылали щеки. — но оттого, что известно, разве оно исчезло!

— Подождите, Костя, — спокойно посмотрел на него Кирилл Сергеич. — Билет билетом, а кто уйдет от ответа на такой вопрос? Он стоит перед тобой, душа задохнулась — не от умозрения же... Здесь, Федя, в страшном этом вопросе, есть две стороны. Одна общая, высшая, где существует безусловное разрешение, тоже, разумеется, не для всех — для тех, кто верит, кого называют юродивыми во Христе, чей подвиг — не искушаться видимым господством зла, не отрекаться ради него от добра, пусть оно и невидимо, а рядом со злом и вовсе незаметно. Конечно, что оно скажет сердцу человека неверующего, у которого душа рвется, которому факты весь свет застыт? Как он поверит, если палач получает пенсию, а бабушка умерла в муках? Можно ли тут что доказать? Поэтому, коли вы говорите — Бабий Яр или Архипелаг — объяснимо. При всей не укладывающейся в голове чудовищности совершенного преступления — объяснимо, если подыдемся на высоту Промысла о судьбах еврейского или русского народа, прошедших для чего-то неведомого нам через такие уму непостижимые испытания. А зло, в котором мы пусть мистическую, но целесообразность поймем, уже и не зло, ибо зло, как известно, всего лишь бессмыслица. Но вот как с бабушкой вашей быть? Рационально ли, метафизически такое конкретное зло не разрешить, с этим ужасом справиться только собственное мистическое переживание. Это запредельно, тут тайна, которая человеку не может быть ведома. Только притушить своим страданием, собственным переживанием, живым религиозным опытом, поверить в скрытый смысл недоступной нам гармонии, который приоткроется в конце времен... Иначе путь страшный — тут и начинается дьяволово искушение, бунт, требующий объяснения: Иов забывает, Кого вызвал на суд, перед Кем потрясал кулаками... А кто, как вы говорите, одесную сядет, а кто будет брошен в огненное озеро, на муку «второй смерти», о том не за столом, не за блинами говорить. По вере, по молитве, в церкви, где Бог от века пребывает, вместе с церковью поможет своей бабушке, хоть и неверующая она, а кто знает, искренняя молитва Господу все равно будет услышана. А чем ей еще помочь?

— Церковь помолится, как же, — сказал Костя, — он как бы про себя говорил, бледный был. — Много молилась ваша церковь об Архипелаге, вот о бабушке, хоть и неверующая, можно заказать панихиду — не испугается, пусть ересь, а за тысячи расстрелянных священников, за свои же загаженные церкви... И все благодать у них, которую им уполномоченный выдает на время обедни под расписку из своего ящика.

— Вон как, выходит, не сбылось обетование о Церкви? — сказал Кирилл Сергеич. — Одолели врата ада.

— Да не врата, — с раздражением бросил Костя, — а уполномоченный со старостихой. И не Церковь, которая камень веры, а те, кому все равно где служить, была б служба. Им и Маркса с бородой повесь, найдут цитату из Писания — кесарево, мол, кесарю. Кесарево, а не Божье — так сказано!

Кирилл Сергеич промолчал. Они говорили как бы меж собой, продолжая какой-то давний спор.

— Может, чайком займемся, а то еще блинов — у меня теста целое ведро? — спохватилась Дуся.

Она так же без суеты переменяла посуду, появились пироги, варенья, внесла большой чайник. Притихшая Маша ей помогала. Все стихли или показалось Льву Ильичу, сам от блинов отяжелел, но что-то осталось на душе от быстрой той перепалки, потянуло знакомой сыростью... А стол был красивый: мед отсечивал янтарем, разноцветные варенья, широкие чашки с узорами, — а все было тяжело. А может, не привык к такому угощению — осоловел?

Они еще посидели, неловко сразу подниматься. Кирилл Сергеич с Верой затеяли разговор о воспитании детей, Лев Ильич не вслушивался, пытался припомнить в точности и понять, что тут все-таки произошло.

— Дети, дети! — встряла Маша в разговор. — О воспитании толкуешь, а чего ж детушек-то один Сережка, рожали бы, коли про воспитание все наперед известно?

→ Ну да, — блеснула глазами Дуся, так и загорелась, — какие дети, когда у отца то пост, то служба!

Кирилл Сергеич даже крикнул:

— А ты, мать, погуляла, однако, на масляной!..

Все стали подниматься.

— Спасибо,— сказал Федя, горячо пожимая руку Кириллу Сергеичу.— Я боялся, вы меня начнете утешать, уговаривать.

— Заходите,— ответил Кирилл Сергеич,— еще поговорим, подумаем. А вас,— он со Львом Ильичом расцеловался,— непременно жду, если мы нашли друг друга — нельзя теряться.

Они уже выходили в коридор, пропуская друг друга вперед, Костя пошел первым.

— Благословите, отец Кирилл,— подошла к нему Вера.

Лев Ильич увидел, как мягко засветились глаза Кирилла Сергеича.

8

Они молча прошли двор и остановились в переулке. Было темно, тихо, прогрохотал, сверкнув огнями, трамвай. Лев Ильич обернулся в темный двор: в первом этаже вспыхнуло зеленое окно — Маша с Верой, подумал он. Они не успели ни попрощаться, ни договориться о следующей встрече. Да и совсем не так, думал он, сложится вечер: даже не поговорили. «Ночевать она, что ли, осталась?» «Завтра», — подумал он, завтра все решится. А что решится? Он и сам не знал ч т о, но такое ясное было предчувствие о завтрашнем дне. Но ведь и сегодня надо как-то прожить, подумал он с тоской.

— Спасибо, Костя, что привели меня,— услышал он Федю.— Замечательный человек, я не знал, что такие бывают.

— Литературный поп, — сказал Костя. — Сочиняет. Читал, не завидую, если подсунет вам.

— Странно,— сказал Лев Ильич, они двинулись в сторону бульвара, — я вас второй день знаю, третий раз вижу и не перестаю удивляться — кто вы такой?

— Вас мое социальное положение заботит? — Костя был раздражен и не пытался сдерживаться.

— Мне кажется, вы все время себе противоречите. В поезде одно, вчера ночью — мы с вами сидели — иначе, а тут я совсем встал в тупик. Почему литературный?

— Кажется! Ежели кажется — перекреститесь. Да потому, что грошовые рассуждения о теодицее, зады русского так называемого религиозного ренессанса — соловьевско-бердяевского — пора б и позабыть. А когда священник перед мальчиком с горящими глазами демонстрирует жалкую интеллигентскую эрудицию — смешно. Потому и говорю: литературный поп, — с удовольствием и со вкусом повторил он.— Пусть бы неофит, Христа в книжке обнаруживший, а то священник, ему положено существовать в святоотеческой традиции — покаяться, если чистый человек, что участвует во лжи. Ежедневно совращает людей.

— Странно,— повторил Лев Ильич, — я его мальчиком знал, а сейчас он произвел на меня самое глубокое впечатление — и чистый, и добрый, и несомненно искренний.

— Профессиональные приемы. Да что толковать, не здесь же, да мне и недосуг, дела,— отрубил он резко.— Определительность нужна, как Отцы любили говорить, а не розовая благодатность.

— А я согласен со Львом Ильичом,— вступился Федя, молча шагавший в стороне по мостовой.— Мне стыдно, что я сначала наговорил — ничего не знаю про церковь. Там вон какие люди служат.

— Какие — вон такие? — со злостью спросил Костя.— Начитанные и блинами с брусничкой потчуют, квас медовый выдумывают? Так это Дуся бессловесная. Ничего она ему врезала, не ожидал от нее такой прыти! — Он злорадно засмеялся.

— Она пошутила,— сказал Лев Ильич,— чтоб вашу неловкость сгладить.

— Вот я и говорю: им бы сгладить, смазать да блины рыжиками закусывать.

— Будто вы блинов не ели! — засмеялся Федя.— Небось за ушами трещало!..

Костя резко остановился, повернулся к Феде, хотел что-то сказать, сдержался, махнул рукой и пошел прочь. Они как раз вышли к бульвару, постояли, посмотрели ему вслед и пошли дальше.

— Странный человек, — продолжал свое Лев Ильич,— второй день удивляюсь.

— Замечательный человек,— горячо сказал Федя.— Я его тоже не очень давно знаю. Раньше он был серьезным ученым — физиком, но потом бросил. Нигде не работает, не знаю, на что живет — денег никогда нет. Один. Я был у него — комната маленькая, пустая, иконы хорошие и книги. Он пишет, замечательный богослов, я мало что понимаю, но говорит — заслушаешься. Я думаю, он особенный человек. Я его давно просил познакомиться меня со священником — интересно. Костя утверждает, что церковь у нас продалась властям. Не то чтоб продалась, хотя фактически продалась, но это, мол, второе, первое — она права не имеет.

— Как не имеет? — удивился Лев Ильич.— На что?

— Я не совсем понял, речь о благодати. Церковь, мол, монопольно ею владеет, а она дается по делам, по свободному Божьему волеизъявлению. У них с отцом Кириллом была перепалка, слышали?

— У кого же право? — спросил Лев Ильич.

— Тут и загвоздка, мне потому с ним трудно, хотя интересно. У него право...

— Как у него?

— Да так, — невесело подтвердил Федя. — Он человек избранный. Богом избранный. Апостол.

— Ну да? — оторопел Лев Ильич.

— Так получается, — уныло продолжал Федя. — У него встречи были, и сейчас бывают — ну, понимаете? И ему сказано. А никто из его приятелей не верит, потому он огорчается. И отец Кирилл тоже. Разговор переводит.

— Он вам сам сказал про эти... встречи?

— А кто ж? Мы много об этом говорили. Я, конечно, верю, если человеку не верить, то и диалога с ним не получится — это Костя мне объяснил.

— Ну а дальше что?

— Вот то-то что и не знаю. Конечно, интересно потрясающе, все на свете переворачивается, и человек он удивительный, много знает. Но... понимаете, я иногда сомневаюсь, может, он сумасшедший? — Федя смотрел на Льва Ильича с недоумением. — Хотя и грех так думать, а он меня пытается — веришь, мол, нет? А зачем ему это важно, коль он взаправду... встречи имеет?

— Да, — вздохнул Лев Ильич, — тяжелая история. Давайте как-нибудь вместе пойдем к Кириллу Сергеичу. Не возражаете?

— Я вас о том же хотел просить, одному неловко, а с Костей... видите как...

Они пожали друг другу руки и расстались.

Лев Ильич заторопился: было поздно, когда уходил из дому, забыл, что придется возвращаться, а теперь опять ночью. Лучше совсем не приходите. А куда деваться? — подумал он. Да и нехорошо, трусливо, ничего не сказав, не выяснив...

Он опять, как вчера, неожиданно обнаружил, что стоит возле дома: «Ноги знают, куда мне надо», — невесело усмехнулся и начал подниматься.

Открыла Наденька.

— Мама их провозжала, пока мы с тобой спали! Если бы я знала...

Он тихонько поцеловал ее в волосы, разделся, услышал гул голосов из большой комнаты.

— Кто у нас?

— Да много там.

— Пьют, что ли?

— Чай пьют, спорят.

Люба вышла в коридор. Лев Ильич молчал.

— Пришел все-таки, — сказала она. — А я думала... Они опять у нас — тебя нет, а комната пустует.

Лев Ильич открыл дверь в большую комнату. Вчерашний Митя по-домашнему сидел на тахте у стола. Что-то в нем остановило Льва Ильича: «Вот оно!» — развеселился он. На Мите его бархатная куртка, он ее дома переодевал — тепло и уютно. В кресле устроился Иван. Вадик Козицкий — давний, еще по университету приятель Льва Ильича, веселые фельетоны сочинял: небольшого роста, черноглазый, славный человек, прямодушный. Посреди комнаты Феликс Борин — модный одно время литературный критик, обличитель и гроза романистов — лохматый, в толстых роговых очках. На тахте у стены лежала Кира в Любином стеганом халате, пускала дым в потолок. «Во, поселяемость какая!» — обозлился Лев Ильич. И тут его в жар бросило — за дверью, у книжной полки, поместился еще один человек. Лев Ильич увидел его, только обернувшись: в алом свитере под шее, американские джинсы, ботинки на толстой подметке выставил вперед, небрежно зачесанные русые волосы открывали красивый лоб, глаза только Льву Ильичу никогда не нравились, он в них и смотреть не мог — наглая спокойная самоуверенность. Он совсем забыл о его существовании. — Коля Лепендин, Верин муж!..

— Наконец-то! — крикнул Феликс Борин. — Мы им сейчас покажем, никаких, понимаете, нравственных устоев. Им бы все сломать, а во имя чего?..

Лев Ильич взял стул и подсел поближе к тахте. Возле нее на журнальном столике, застланном газетой, на тарелках крупными ломтями нарезана колбаса, ветчина, сыр, две открытые консервные банки, большой заварной чайник. «Скатерти у нас, что ли, нет? Колбаса как в забегаловке». Ладно тебе, кабы блинов не налопался, и в голову бы не влетело, окоротил себя Лев Ильич.

— Поешь. — сказала Люба, устраиваясь на тахте. — наверно, голодный?

— А действительно, во имя чего? — повторил Лев Ильич риторический вопрос Феликс Борина. Ему тоскливо стало — вопросы, вопросы, хоть бы раз кто ответил. — Во имя чего ломать?

— Вот, вот, — обрадовался Феликс. — Я их целый вечер выпрашиваю — финты и отмахиваются. До основания, мол, а там поглядим.

— Ну а ты сам что про это думаешь?

— Я?.. — сбился Феликс. — Я полагаю, спешить не следует. Насочиняли рецептов и дозы распределили — кому по сколько, а явился смельчак, рецепты — в печку и всем одно лекарство — клистир. Вот и бегаем по сю пору в лопухи, облегчаемся.

— Разоблачился наш Цицерон, — сказал Вадик Козицкий. — ловко ты его, Лев Ильич, осадил, чтоб не бахвалился.

— Пожалуйста. Вам положительную программу нужно? — обозлился Феликс. — Устали правдой питаться, крутенько для желудка...

— Что ты все насчет желудка, — веселился Вадик, — неудобно под ветчину!

— Ничего, слопаешь. Я себе не противоречу. Одно дело, когда разоблачают ради разоблачения, для улучшения обмена...

— Я говорю, он на этом заклинился! — хохотал Вадик.

— Дождешься, тебе правда клизму поставят — шут гороховый, — злился Феликс. — Меня не собьешь. Когда это совершается во имя справедливости...

— Вот-вот, — поддержал Лев Ильич, — давай насчет справедливости.

— Лев Ильич протаскивает вчерашнюю идею, — заметил Митя, — правда мешает его комфорту, внутреннему я имею в виду, тревожит задремавшую совесть — думать приходится, а то живи себе спокойненько, лишь бы тебя не трогали, и при свете лампадки сочиняй статейки про допотопных рыбок. Рыбки помалкивают, пока их на тук переводят — на удобрения. Для планового хозяйства. Можно и всплакнуть над исконно русской закуской, которой издревле славилась богоносная Россия.

Вон как, подумал Лев Ильич, спит на моей тахте со своей длинноногой селедкой, сидит в моей куртке и меня поносит? Про статьи узнал — Люба доложила?

— В закуске есть какой-то смысл, — сказал он спокойно, — тем более когда она исконная, а вот в том, чтобы тратить свой пафос... В чем же все-таки положительная программа?

— Талант — вот моя программа! — звонко сказал Феликс Борин. — Не надо христианских аллегорий. Великого Инквизитора, философии. Представь русского идиота, который настолько во все это вписан, что и не страдает от мерзости, находит в ней жалкие радости, юмор, он не знает, что где-то иная жизнь, что она может быть, что человек уже по Луне гуляет. То есть он и сам летал в космос, но таким же идиотом, жалким рабом. Какая разница — на Луне или в Рязани, он не знает, что существует эр кондишен и билль о правах. Всю нашу жизнь можно показать через идиота, но с блеском, с талантом — пальчики оближешь.

— Подожди. — осановил его Лев Ильич, — ты сказал, что хочешь написать правду. Но разве такой идиот — правда о России?

— А как же? — искренне изумился Феликс Борин. — А кто, по-твоему, правда — Ноздрев, Собакевич или Алеша Карамазов со своим старцем, тут же и провонявшим? Не зря у наших гениев с идеальными героями ничего не получалось — нет их, да и мысль, которую в них пытаются втиснуть, всего лишь сочиненная, умозрительная, а талант требует жесткости, пожалел — проиграешь.

— А по-моему, правда не Ноздрев и не Алеша, а Гоголь и Достоевский — их сердце, сострадание к людям, любовь. А как ты отличаешь поражение от победы в искусстве?

— Да я вам про то и талдычу целый вечер! — закричал Феликс. — Сострадание, невидимые миру слезы, любовь к падшим и милость! Злости мало. Когда ощутишь злость — не до сострадания! Талант — единственный критерий, не подведет. А потому талант надо беречь, поддерживать — вот национальное достоинство, платить, прости за грубость, в современном обществе следует по таланту, а не по труду. Чтоб дачи и квартиры давали не лгунам-приспособленцам, а тем, кто истинно достоин пользоваться достижениями цивилизации. Ну не нелепо ли, чтоб Цветаева полезла в петлю от голода, Платонов подметал писательский двор, а наши сочинители в особняках жуировали жизнью? Вот за что я борюсь, прости за громкое слово, вот в чем пафос, как ты изволил выразиться. Спасать нужно русскую культуру, которая от непризнания ударилась в варяги — хоть по еврейскому, хоть по какому вызову, хоть в гастроли — лишь бы ноги отсюда унести. Там, — он махнул рукой в окно, — для таланта непременно подберут соответствующую оправу, а здесь — головой в навозную кучу.

— Вот оно что, — сказал Лев Ильич, — я по простоте думал, ты истину ищешь, а ты всего лишь хлопочешь о правильном перераспределении, вон где тебе видится борьба за справедливость? Мы вчера о том же самом беседовали с моим новым другом, — кивнул он Мите. — Те прогнали миллионера Рябушинского, в построенный на его деньги дворец запахнули голодного Горького — в этом была справедливость, а ты избираешь новый вариант: бездарного Горького на улицу, благо привык в детстве, а туда пристроить гениальную Цветаеву и кормить пожирней, чтоб о петле думать забыла! Ну а поскольку Цветаева этой радости не сподобилась, кого-нибудь из нас, грешных, кому ты талант определишь — так, что ли?

— Можно любую мысль вывернуть, представить идиотской, — сказал Вадик Козицкий, — тем более наш оратор оперирует образами по части желудка, но резон есть, между прочим.

— Да уж какой резон — все наружу, — заметил Лев Ильич. — Очень справедливое будет общество.

— Чем же ты еще будешь мерить справедливость, как не талантом, отмеренным Богом? — спросил Феликс. — Кому больше дано, о том общество и должно проявлять заботу. В чем, по-твоему, высшая справедливость? Знаешь притчу о таланте?

— Знаю... — сказал Лев Ильич, — то есть при чем тут?

— Вот они, нынешние христиане, — не упустил Митя. — И свой талмуд выучить не удосужатся.

— Ну как же, — с готовностью откликнулся Феликс Борин. — Он зачем зарыл свой талант, как ты думаешь?

— По неразумению, — ответил Лев Ильич, — вместо того чтоб пустить в рост, пожадничал и поленился — вот и пропало полученное... Кстати, там речь идет не о даровании, а о мере серебра — «талант» называлась.

— Какая мера — там одни иносказания! А тебе, Левушка, купцом надо быть или спекулянтom — в рост! Куда деваться с талантом, когда его в лучшем случае никто не замечает. В лучшем случае. За подлинный талант, собственное видение мира непременно сгноят. А если будешь давать в рост, размениваться — проживешь благополучно, выстроишь дачку, но от твоего дарования останутся одни рожки. Убежден, это позднейшее добавление в Евангелии, компромиссное, апокриф, быть не может, чтоб мораль оказалась такой хитрой — не в стилистике.

Господи, подумал Лев Ильич, откуда такое вывернутое, помраченное сознание, как я жил здесь столько лет, почему только сейчас открылось?!

— Подожди, Феликс, — сказал он, — что ты говоришь, какой апокриф, все Евангелие стоит на этом, две тысячи лет сознание в этом укоренено, ты все вверх ногами переворачиваешь? Я тебя хорошо знаю, люблю твои статьи, злость всегда считал очистительной, да и Вадик вроде бы пишет легкомысленные фельетоны, но и там скрытый гнев против мерзости. Евангельский хозяин потому и приказал выбросить ленивого раба во тьму внешнюю — где стон и скрежет зубовой, что талант, подаренный Богом, нельзя скрывать, он для людей, не для тебя одного и твоего благополучия. И это не литература, не философия, не разговоры — жизнь. Ты всерьез думаешь, что вся беда таланта в... недостатке средств к существованию, в том, что его преследуют и зажимают?

— А в чем же? — спросил Митя, он ясно видел, что противник посрамлен, что-то лепечет...

— Как в чем? — удивился Лев Ильич. — И Пушкина царь погубил через своего француза, и Мандельштам, когда б не лагерь, расцвел, счастливые гимны сочинял бы о радости? Я не пойму. Вы простите меня, я сегодня попал в один дом, выпил, мне... не понять — вы смеетесь надо мной?

— Плачем, — сказал Иван. — Плачем над полной гибелью идеала, продавшегося мракобесию за ни за что. Хотя бы платили, смысл был.

— Быдло! — неожиданно выпалил Коля Лепендин. Все к нему обернулись и замолчали.

— Ты что? — ошарашенно спросил Феликс.

— Пушкин, Мандельштам, судьба таланта! О чем вы толкуете? — Коля Лепендин все так же сидел, засунув руки в карманы штанов. — Кому он нужен — талант? Здесь, в России?... Я в метро третьего дня ехал, вверх по эскалатору, глядел на толпу. Быдло! Какой Мандельштам, они и друг другу горло перегрызут за кусок колбасы. Мотать откуда надо, и все, что можно увезти — вывезти. Музей останется — сокровище Туганхамона. Ничего им не пужно! Трусливые рабы. Мандельштам! Не знаю, не встречал. Зато про Вавилова, еще кой про кого — про себя, например, знаю.

Что завтра им миллиарды даст — из кошки человека сделать — им и это, если завтра, не нужно.

— Как из кошки? — испугался Лев Ильич.

Коля Лепендин первый раз повернулся и взглянул на него:

— Элементарно, путем направленного изменения наследственности.

— И это... теоретически возможно? — спросил Лев Ильич.

— Завтра. — сказал Коля. — Не сегодня, а завтра, если б здесь было как там, — он ткнул пальцем себе за спину. — Из кошки, а не из этого быдла, эту вонючую природу я б и исправлять не стал, пусть для музея уродств сохранится. — Он замолчал так же неожиданно и резко.

И все затихли.

У Льва Ильича пошли зеленые круги перед глазами: кто же такая Верочка?

— Значит, весь твой конфликт, — тихо начал он, обращаясь к Феликсу, молчать он уже не мог, — борьба, будем серьезно говорить, пафос, страсть, гнев, нравственная платформа, на которой ты стоишь, с которой произносишь речи, они в том, чтоб забрать у них — и себе? Я не пойму, ты мечешь громы и молнии против тех, кто, пользуясь, скажем, ситуацией, низким уровнем, невежеством — обращает лживую демагогию в деньги, так? А сам хотел бы получать те же деньги, но за обличение их в этой мерзости? А чем тогда ты от них отличаешься?

— Я бесплатно должен работать? Сколько я б написал, когда б жил в том особняке, за тем столом?

— В каком особняке? — похолодел Лев Ильич.

— У Рябушинского, про который упоминали, в доме-музее пролетарского писателя... Шутка, вижу, ухватишься...

— Нельзя не ухватиться; — сказал Вадик Козицкий. — Но если наш уважаемый друг полагает, что Мандельштаму лагерь пошел на пользу, он до того договорился, что стыдно и в дом к нему ходить. Ты Феликса на словах ловишь, а сам в тот особняк не метишь ли? Спасибо за комплимент, но мне мои легкомысленные, как ты выразился, фельетоны одни неприятности принесли — книгу гробанули в издательстве. Да и Феликса в наше благословенное время, которое способствует расцвету таланта, — правильно я тебя понял? — вовсе не печатают. По отношению властей предержавших к тому, что мы делаем, и можно определить истинную цену творчеству и у кого какие цели заодно выяснить. Смотри, дорогой Лев Ильич, на опасную встал дорожку!..

— Тут все ясно, — сказал Митя, — по мне — и весь диспут лишний. Не зря блаженной памяти вождь и учитель восстанавливал церкви.

— При чем тут церкви? — спросил Феликс.

— Пусть вам товарищ доложит, какой избрал путь — самый короткий, между прочим, для необходимого контакта с теми, которые предержавшие.

Лев Ильич затушил в пепельнице сигарету, встал и ссутулившись вышел из комнаты. «Сколько еще раз я эдак буду откуда выходить?» — подумалось ему.

Надя, видно, спала, дверь была закрыта, он свернул на кухню, пододвинул табуретку и сел у окна. «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? — залетели ему в голову слова, которые он знал, читал, а никогда не вспоминал. — Нет, говорю вам, но разделение..»

— Разделение, — бормотал Лев Ильич, — разделение. Не мир, но разделение...

Он поднялся, распахнул форточку — душно ему было, невамоту.

Стукнула входная дверь, видно, уходили.

Люба вошла на кухню — он угадал по шагам, не обернулся.

— Что с тобой, Лева? — тихо спросила она. — Ты был всегда мягкий, добрый. Хорошие ребята, твои друзья, обычный разговор, славный... Что с тобой? Один останешься.

— Все, — сказал он, оборачиваясь и глядя ей в глаза. — Не могу я так больше. Не хочу.

Она двинула табуретку к столу, села и тоже посмотрела на него.

«Как она все-таки постарела! — с внезапно пронзившей его жалостью подумал Лев Ильич. — Неужели не восстановить? А если сначала, по-другому, иначе?.. Поздно, да и нет сил. Сил или полегче захотелось?..»

— Тебе скверно, Лева? — вглядывалась в него Люба. — Может, ты из-за Вани, ревнуешь?.. То давно прошло, теперь ничего нет.

Сейчас начнется объяснение на полночи, подумал Лев Ильич.

— Может, у тебя есть кто? — спросила она, не дождавшись ответа.

— Нет, — сказал Лев Ильич. — я не ревную. И никого нет. Сторело все. Все, что было. А может, устал — сам не знаю. Только так жигь, — он махнул рукой туда, где

была комната-кабинет,— больше не могу. А может, и это не так. Но теперь — не могу. Я и тебе не помощник, только мешаю. Я завтра уеду в командировку. — сказал он неожиданно для себя. — Может, надолго. Не знаю. Прямо сейчас пойду — поезду утром рано, чтоб не проспать. Посижу на вокзале...

Он вскочил, все-таки дело было: взял портфель, не раскрывал его со вчера — провалялся под вешалкой, и теперь не стал раскрывать. Вернулся на кухню. Опять сел. Люба не двинулась с места.

— Выходит, все — посмеялись семнадцать лет, покуролесили, начнем новый шалашик сооружать. Ловко устроились, Лев Ильич, в самый сок вошли. А мне, как вчера определили, — в богадельню!.. Не просчитаетесь? Кто сопли станет утирать, или думаешь, прошел насморк за семнадцать лет, а как ветерком обдует?..

Только молчать, повторял про себя Лев Ильич, только бы рта не раскрыть!..

— А я-то, дура, нянчилась, пусть, мол, мальчик погуляет, сил наберется, мудрости, от твоей мерзкой ревности тебя ж и берегла, а сколько упустила? Будет чем заняться на старости лет. Вера Лепендина поумней — какого красавца загодя бросила. Чем ждать, пока вы об нашего брата начнете ноги вытирать...

Лев Ильич поднял голову, хотел спросить, но удержался.

— Да что там, мало вытирал, что ли? Думаешь, не знаю — всего, может, не знаю, мне и того, что известно, довольно. И дружки твои приходили, возле меня начинали крутиться — выбалтывали. И сама слышала... И сегодня, дура последняя: ребят позвала, самых твоих близких, пусть, думаю, придут, разговоритесь...

— Разговорились, — сказал Лев Ильич, — оттого и сил нет.

— Перестань, вранья мне не нужно! Принципиальность оставь девочкам. когда будешь им головы морочить. Они делом заняты — и Феликс, и Вадик, у них право есть говорить о принципиальности, без куса хлеба остались. Да и Митя — не знаю, за что ты на него взъелся — уж не приревновал ли, как все семнадцать лет к каждому, с кем словом переמודилось?..

Лев Ильич поморщился и взялся за портфель.

— Он тоже не тебе чета — тюрьма за ним каждый день ходит, и не литературная, а самая что ни на есть Лефортовская. А ты... — У Любы глаза загорелись.

«Господи, вот повезло, что один чай пили!..»

— Так и знай, с тем и строй новый шалашик...

Лев Ильич встал и пошел из кухни. Оделся. Люба вышла за ним.

— Бог с тобой, — сказала она уже спокойно, — большой вырос мальчик. Думала, орлом станет, спасибо не коршуном — так, петушок с поистраченным гребешком... Бог с тобой. — Она светло взглянула на него и неожиданно перекрестила. — Ступай.

Лев Ильич остановился, но дверь уже открылась, он шагнул на лестницу.

9

Он ничего не помнил из той ночи, сколько потом ни вспоминал, не мог бы восстановить, где он ходил, по каким улицам, куда ноги несли. В подъезде себя увидел, на лестнице сидел, наверху хлопнули дверью — он поднялся, пошел прочь, а что за подъезд — дверь, что ли, была открыта, почему его туда закинуло? На вокзале был, а на каком — убей не знал; потоптался возле касс, глядел на расписание, не видел, ни одного города не запомнил. С кем-то в разговор вступил, да, на вокзале это и было, с проезжим, объяснял, как отсюда попасть в Центральные бани, а откуда «отсюда»? — не помнил. Потом, под утро, обнаружил себя на скамейке — на бульваре. С того момента он себя и осознал: трамваи с двух сторон погромыхивали, он подмерз, но уже знал, зачем здесь сидит и чего дожидается, на часы поглядывал.

О чем он думал? Не помнил, вертелось в голове: какие-то обрывки, разговоры, лица, о чем-то он сокрушался — бабки подбивал, подсчитывал. Неладно выходило.

Лица Любы в дверях он не мог забыть, мелькнула было мысль — вернуться, но не мог без содрогания вспомнить комнату-кабинет и себя в ней.

Он с себя как паутину снимал, решимость зрела, он не называл ее, боялся спугнуть. И все равно знал — есть она. Но это уже на бульваре, когда опоминался.

Он даже вздремнул, на минуту забылся. Небо ему привиделось сиреневое — предгрозовое, что ли? — а больше ничего; страшно, будто не на земле, летит — ничего, кроме неба. Оно темнело, темнело, становилось фиолетовым, темень наползала — и померкло. Он открыл глаза — начинало светать. Народ повалил. Он посматривал на часы.

Было восемь часов, когда он поднялся. Рано, конечно, но пока дойдет, да и трудовые люди, не бездельники.

Он зашагал решительно, будто ждали его: прошел переулок, свернул во двор, прямо к зеленому окошку, в подъезд, мимо двери на первом этаже — не посмотрел, стал подниматься по лестнице. Вот и звонок.

Он перевел дух, нажал кнопку, услышал мелодичный звон, даже за ручку взялся: он домой пришел, знал, что домой, потому и можно ни свет ни заря, без предупреждения.

Дверь открыла Дуся и не удивилась:

— Хорошо-то пораньше!.. Кирюша! — крикнула она, обернувшись. — Смотри, какой гость!

В коридоре было темно, Кирилл Сергеич не узнал сразу.

— Вот и отлично, — сказал он, разглядев, — пожалуйста ко мне.

Днем все было иначе, ничего таинственного, или он привык за вчера? Славно, уютно, только раскрытый чемодан с пакетами и свертками на диванчике будто не на месте, а так — хорошо: живут люди, все под руками.

Попугай чистил нос о прутья, гремел и бормотал про себя. Лев Ильич подошел к окну разглядеть — такой он был яркий, а на фоне серенького, грязного двора — сердце радовалось. Как цветы внизу, у Маши, подумал он.

— Смотрите, — сказал Лев Ильич, — вчера он был скучный, я думал, больной или старый, а сегодня — хлопотун!

— К вечеру устает или неестественный свет на него печаль наводит. Какой бы шум ни был в комнате — дремлет. А утром оживает. — Кирилл Сергеич внимательно смотрел на гостя. — Садитесь в кресло, удобней, чайку попьем.

— Кирилл Сергеич, я к вам по делу.

— Вот и хорошо. Да садитесь же, тем более дело.

Лев Ильич снова взглянул на попугая — тот сидел на жердочке, поглядывал на него.

— Я хотел попросить вас... Могу я у вас креститься?

— Вот это отлично! — потер руки Кирилл Сергеич и поднялся. — Молодец, без разговора. Особенно хорошо, что зашли утром — мы сегодня уезжаем за нашим Сережей. Он в деревне, у родни. Захворал, расшибся. Отправили его на десять дней. Учится он хорошо, пусть отдохнет. На три дня едем, а там пост — мне до Пасхи не оторваться. Хорошо, постом и причаститесь, как я вернусь... Мать! — весело крикнул он и сказал Дусе, появившейся в дверях с кухонным полотенцем: — Лев Ильич-то пришел по делу. Могу, говорит, я у вас креститься?

— Чудесно как, — тихо сказала Дуся.

— Может, неудобно... У вас... времени нет, уезжаете, надо собираться, а тут я... Тогда в другой раз... — У него голос дрогнул.

— Ну вот, интеллигентские разговоры. Что может быть важней? Успеем, успеем — три часа до поезда. Да, погодите... — оборвал себя Кирилл Сергеич, а у Льва Ильича внутри опять что-то дрогнуло: «Нельзя, верно?» — А... Маша сегодня с утра работает?

— Может быть, Верочка? — спросила Дуся. — Она вчера у Маши оставалась ночевать, если не ушла.

Кирилл Сергеич остро глянул на Льва Ильича:

— Нет. Разыщи Машу, если в столовой, пусть все равно приходит, ничего без нее не стряется. Садитесь, садитесь, время есть, поговорим.

Лев Ильич опустил на стул возле окна, попугай на него поглядывал с любопытством, но вдруг отвернулся и занялся прутиком, забурчал.

— Привык, — сказал Кирилл Сергеич, — пригляделся. Всегда глядит на свежего человека, знакомится. — Он уселся против Льва Ильича; свет из окна падал ему в лицо, Лев Ильич его по-новому разглядел: глаза были хорошие, ясные, думающие, но незатаенные — не о своем. — Ну что ж, Лев Ильич, я рад, что вы так просто и хорошо пришли ко мне с т а к и м делом. Вы это твердо решили, обдумали?

— Да. Я все обдумал.

— А Символ веры знаете?

— Нет, — смутился Лев Ильич. — Читал, слышал, но... наизусть не помню.

— Повторите за мной. Мы вчера говорили с вами о покаянии, о страхе Божьем, когорый и есть начало премудрости. Я понимаю ваши переживания — о чем, не знаю, но могу представить такую муку. Это... как бы вам сказать... когда идет тот с в е т, вся ложь и грех обнажаются. Это не может не быть ужасом перед собой.

— Да, — сказал Лев Ильич, — так и было.

— «Покаяния отверзи ми двери. Жизнодавче...» — читаем мы сейчас покаянную молитву, — продолжал Кирилл Сергеич. — Чем дальше вы будете в себя в этом истинном свете всматриваться, все больше станете видеть и понимать свои слабости.

Боль не пройдет, но не нужно пугаться, это отвращение от греха. «Даруй ми зрети моя прегрешения...» — помните любимую молитву Пушкина? Так же и о других.

Лев Ильич вздрогнул, хотел объяснить, но смолчал.

— ...Мы очень часто по слабости начинаем судить, это опасный путь. Любите, скажем, кого-то, ничего плохого в нем не замечаете, а случись, совершит по отношению к вам нечто скверное, оскорбит — и забыто то, что раньше вас восхищало. Но коль вы видите свои слабости, знаете их, а с ними живете — та же, быть может, борьба происходит и в вашем бывшем друге? Легко ошибиться — какой он на самом деле? Мы себя хорошо не знаем, что можем о ком-то?.. Вы этим мучаетесь? — спросил он просто.

— Да,— сказал Лев Ильич.— Но я к вам пришел не прощать, а, как вчера говорили, с корыстной целью — спастись.

— То высокая корысть,— сказал Кирилл Сергеич.— Господь заповедал нам быть расчетливыми купцами, искать жемчужину спасения, складывать добродетели, грош к грошику. Ничего нет в мире выше того богатства. Но заповеди первые какие? Возлюби Господа своего, всем сердцем, всем разумением своим, и возлюби ближнего как самого себя. Это заповеди главные.

— А я... не могу.

— Молитесь,— сказал Кирилл Сергеич,— и вам непременно будет помощь. А сейчас мы вместе об этом помолимся. Знаете, какой непростой путь зарождения ненависти? Макарий Великий говорил: ненависть от гнева, гнев от гордости, гордость от неверия, неверие от жестокости, жестокость от лености, леность от ослабления, ослабление от презрительности, презрительность от уныния, уныние от малодушия, малодушие от сластолюбия. Непременно что-нибудь тебя да зацепит, о что-нибудь приткнешься. Может быть, ничего у вас и не случилось, а мытарствуете, и не только оттого, что увидели свою черноту — кругом нескладно, куда ткнуться? Раз, другой, третий попробовали — стена. Так? Тут человеку и открывается — есть иной путь — вверх! Не мирской, где удача, признание, дружество — та же стена, один раньше в нее упрется, другой позже. А если поймешь — тогда небо откроется.

— Я сегодня увидел небо,— улыбнулся Лев Ильич.— Небо, и я был в нем. А больше ничего.

— Вот видите! — обрадовался Кирилл Сергеич. — Все верно. Хорошо, что мытарствуете, не пустые слова сказаны: Господь кого любит, того и наказует. Скорби — печать избранничества, говорят Отцы. Явный знак, что от Бога — помнит о вас! Не желай, чтоб все так сделалось, как ты хочешь, но желай, чтоб оно было так, как будет.

Раскрылась дверь, вслед за Дусей вошла сияющая Маша, за ней... Вера.

Они и правда, Лев Ильич сразу почувствовал, это и потрясло его, были счастливы за него, будто его решение не для него — для них событие, праздник!

Все стремительно завертелось: женщины о чем-то вполголоса переговаривались, хлопали дверьми, Кирилл Сергеич на него не обращал внимания — занят был, Дуся вызвала его из комнаты, Лев Ильич слышал обрывки разговора: «...Маша, найди свечки, не там — в шкафчике...» — это голос Дуси. «...У меня в коробочке возьми... Шнурочек найдет...» — это Кирилл Сергеич. Голос Веры: «Я дам свою цепочку, а себе шнурок...»

Вошла Дуся с газом — белым, большим, звонким, поставила тяжелый кувшин.

«Это еще зачем?» — испугался Лев Ильич.

В комнату вступил Кирилл Сергеич — в епитрахили, с большим тяжелым крестом на груди. Он казался еще выше ростом, лицо торжественное, суровое, самоуглубленное. Он не глядел на Льва Ильича. За ним Маша — строгая, в беленькой кофточке. И Вера — сосредоточенная, она со Льва Ильича не спускала глаз.

Кирилл Сергеич взял со стола книгу и взглянул на Льва Ильича.

— Вы разденьтесь,— сказал он.

— Как? — оторопел Лев Ильич.

— Ну... вы в трусах?.. Если такой стыдливый, рубашку снимите...

Лев Ильич торопливо, презирая себя, стал раздеваться. Положил на стул пиджак, свитер, стянул рубашку...

— Ботинки, ботинки — у нас тепло,— сказал Кирилл Сергеич,— и носки.

Он снял ботинки, носки, застеснялся своих ног, а оттого, совсем обозлившись, стянул штаны. Его в жар бросило: трусы были длинные, черные, велики ему на два номера.

— Подойдите сюда,— сказал Кирилл Сергеич, когда он закончил возню.

Сам он стоял спиной к окну, в углу возле икон, Льва Ильича поставил лицом к себе, за спиной у Льва Ильича три женщины.

Кирилл Сергеич надел очки и стал читать по книге.

Лев Ильич ничего не слышал, мысли летели, метались: знал бы, надел красивые, купальные. Ну да, окоротил он себя, на пляже ты на Черноморском, что ли? Помылся бы, душ принял с дороги, — и опять промелькнуло: будто к врачу пришел за бюллетенем! Не о себе же я, им неприятно!

Он себя со стороны увидел: белого, рыхловатого — живота нет, спасибо! — на тонких ногах в венах, с грудью, поросшей седеющими волосами. Осенью бы, загар бы не сошел, а то к весне... И он представил себе вдруг с ужасом, что тут же стоят — да нет, сидят развалившись! — Иван с Вадиком Козицким, Феликс Борин и новый его знакомец — Митя, сидят и смотрят...

Он поднял голову и осмысленно посмотрел перед собой. Кирилл Сергеич молился, повернувшись лицом к иконам, скоро, отчетливо выговаривая слова, попугай сидел тихонько, на Льва Ильича заворуженно смотрел... Он все увидел иначе! Комнату среди утренней Москвы — гремящей, бегущей, топочущей, брызгающей грязью, сверкающие машины, модных женщин и деловых мужчин с большими желтыми портфелями. А здесь, в грязном дворе, в тихом закоулке, в комнате с попугаем — таз, в который — теперь он знал — для него налили воду, священника перед иконами, трех женщин (он угадывал их дыхание за спиной), себя в длинных черных трусах — бледного, жалкого и незащищенного. И такая пронзительная печаль и умиление его сотрясли — ведь и Он так же стоял, шагал — оплеванный, избитый, сгибаясь под Крестом, падал, поднимался, шел туда, где ждали Его гогочущие солдаты и дорвавшаяся до крови толпа. Так же и сегодня Он шел бы по этим сверкающим — равнодушным, своим только занятым улицам, так же бы плевали в Него, когда Он — раздетый и жалкий пытался бы подняться и поднимался с Крестом, сбившим ему плечи...

Да ведь Он не шел бы, Он и сегодня идет тем же путем, а мы так же смеемся и злорадно кричим: «Сойди с Креста!» — вздрогнул Лев Ильич своей мысли, такой ясной, будто не подумал, а увидел...

— Отрицаеши ли ся сатаны?... — услышал он вопрос священника. — Говорите: отрицаюся.

— Отрицаюся, — твердо повторил Лев Ильич, повернувшись к тем, что стояли за ним. И еще и еще раз повторил: — Отрицаюся...

— Сочетаваеши ли ся Христу? — спросил священник. — Говорите: сочетаваюся.

— Сочетаваюся, — с восторгом сказал Лев Ильич, повернувшись лицом к священнику. И еще и еще раз повторил следом за ним: — Сочетаваюся...

— И веруешь ли Ему?

— Верую Ему, яко Царю и Богу, — ответил Лев Ильич и уже с радостью и счастьем услышал и повторил за священником фразу за фразой: — «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым... И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного, прежде всех век...»

Шло, длилось, как тысячи, сотни тысяч, миллионы раз до него, и сколько еще будет после, невыразимое и трогательное до слез таинство, и малая церковь из трех женщин стояла за его плечами, и сам он был не свидетелем, а, как казалось ему, членом ее. И Он стоял среди них, знал Лев Ильич, слышал Его дыхание...

Священник набрал пригоршни воды из таза, вылил на голову Льва Ильича:

— Крещается раб Божий Лев во Имя Отца! Аминь... И Сына! Аминь... И Святаго Духа! Аминь...

— Крестик! — сказал священник.

Маша протянула ему крестик на цепочке.

— Поцелуйте крест, — сказал священник и надел цепочку на Льва Ильича. — Перекреститесь.

Он помазал ему лоб, грудь, руки, ноги.

— Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь...

Зажгли свечки.

Он шел вслед за священником, оставляя мокрые следы на полу вокруг купели, а за ним три женщины со свечами, они тихонько пели, а Лев Ильич бормотал, повторяя за ними, угадывая слова: «...Во Христа креститесь, во Христа облекостесь...»

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!..

Его остановили.

— Прочти, Маша, — сказал священник и передал ей раскрытую книгу.

— «Братие, елице во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся...» — услышал Лев Ильич за спиной спотыкающийся Машин голос.

Губкой, смоченной водой, священник отер Льву Ильичу помазанные части тела:

— Крестился еси, просветился еси, миропомазался еси, освятился еси, умылся еси. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Священник отрезал у него прядь волос, склеил волосы воском, бросил в воду.

— Ну вот, — сказал священник, он опять стоял у окна, возле икон, лицом к ним, — вы приняли сейчас Святое Крещение, крестились во Христа Иисуса, в Его смерть. Нет уже ни иудея, ни эллина, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского — ибо вы во Христа Иисуса облеклись. Помните, разное дело — знать истину и жить по ней. Не забывайте, как силен дьявол, как он тщится пролезть в самую узкую щель, как велика ярость бесов на тех, кто начинает преуспевать в деле стяжания Духа Святаго, кто делает первые шаги к спасению. Они и ночью и днем не дадут вам покоя, прознают, через кого к вам подойти...

Он говорил просто, спокойно, твердо глядя в глаза Льву Ильичу.

— ...Вы сделали выбор, добровольно надели на себя крест, никогда его не снимайте. Вы взяли его в трудное время. Быть может, и пострадать придется. Что ж, никто не может прожить без своей Гефсимании и Голгофы! Радуйтесь испытаниям, какие предстоят, ибо убежать от них, по словам Отцов, то же, что убежать от самого спасения. Это огонь, которым должна осолиться жизнь каждого, кто хочет наречься чадом Божиим. Поздравляю вас со Святым Крещением!..

Лев Ильич увидел перед собой крест — как в росе, огнем сверкающий. Он поцеловал крест и руку священника, держащую крест. Дуся захватила таз, кувшин, все вышли за ней. Лев Ильич быстро оделся, руки у него дрожали.

Маша вернулась, крепко, трижды поцеловала в губы.

— Поздравляю тебя, сынок!

За ней Дуся:

— Я говорила — какое счастье, что вы нас разыскали! — Они поцеловались.

Подошла Вера, у нее слезы в глазах, а может, виделось Льву Ильичу, — перед ним все плавало как в тумане.

Кирилл Сергеич, уже без епитрахили, без креста, снял со стены икону, поцеловал ее и протянул Льву Ильичу.

— Это ваша, — сказал он, — крещальная.

Лев Ильич взял, но руки дрожали, едва не уронил. На него из темной доски Божья Матерь глядела с Младенцем.

— Господи!.. — сказал он. — Отец Кирилл, это мамина икона!..

— Ну вот, — улыбнулся Кирилл Сергеич, — нет ничего случайного. Кто в случай верит — тот в Бога не верует.

— Надо бы праздник наш... отметить, — сказала Дуся, — а мы, как на грех, уезжаем.

— Ничего, — сказал Кирилл Сергеич, — вернемся через три дня, если до поста успеем, а то в Пасху у нас и будет праздник.

— Да, да, — заторопился Лев Ильич, прижимая икону к груди, — у вас нет времени. Я пойду, спасибо вам за все.

— Пусть уезжают, — подала голос Маша, — я сегодня с полдня вернусь домой. Вот у меня...

— Да, — вспомнил Кирилл Сергеич, — я ваш телефон запишу, адрес, а то вернусь, надо будет сразу повидаться.

— Понимаете... — Лев Ильич не мог промолчать. — Я сегодня ночью ушел из дома. Не знаю... совсем ушел. Так что, куда звонить — на работу если... Где буду жить — трудно сказать.

Кирилл Сергеич посмотрел на него.

— Знаете что, — сказал он вдруг, — живите пока у нас, квартира пустует. За попугаем, за рыбками приглядите, что ж мы Машу нагружаем. Здесь и живите — в этой комнате. Ключ будет у Маши, она вам объяснит, где что.

— Нет, мне...

— Вот и договорились, верно, Дуся?

— Конечно, я только рада буду, нам спокойнее... Попугай у нас, можно сказать, особенный, с характером, один ночью не остается. Мы раз уезжали — заболел, еле отходили. Очень нас выручите. — Дуся улыбнулась. — А Маша все расскажет... Не стесняйтесь, обязательно приходите!..

— Вернемся — обо всем поговорим, — сказал Кирилл Сергеич. — Что ж наспех, еще кой-что подкупить нужно, в деревне — пусто...

Лев Ильич с ним расцеловался, пошел было к двери, но вспомнил про икону, воротился, положил на стол.

Кирилл Сергеич длинно, внимательно смотрел на него. «Какие у него глаза усталые...» — подумал Лев Ильич.

10

Он и этот день много раз потом пытался вспомнить — все просто было, каждый шаг он ясно видел, да и ничего словно бы не случилось. Он находился в здравом уме, день был, а не ночь, и все передвижения по городу, встречи, даже разговоры были на памяти. Даже ощущения запомнились — важный и дорогой был день, как забудешь. Другое его томило, он каким-то иным, странным чувством знал, что именно в этот день допустил промашку; нет, не то слово, позволил себе, разрешил, что нельзя было разрешать, а там — как с горы покатился. Но с чего началось, не понимал, да и знал бы, не удержался, и остановил его, он бы не услышал, не зацепился... Он долго еще потом вовне искал, кого-то обвинял, будто ташили его, а не он сам шагнул навстречу. Чему?.. В том и дело, что все было призрачно, и когда сыростью потянуло, гнилью, он и тогда не сразу осознал и напугался.

Ему было хорошо и радостно. Он и шел иначе, на знакомые улицы не так глядел, ему казалось, люди встречались словно бы те, что уже не раз видел, примелькались в толпе, но и они не так воспринимались, не тем останавливали.

А день, и верно, выдался славный: солнце, подмерзло, хрустело под каблуками, небо было высоким, бледным, но где-то далеко угадывалась синева, месяца через три она все затопит.

Он здесь уже не был случайным — нелепым прохожим, муравьишкой, которого могли и смять ненароком. Все иным стало, наполнилось смыслом — не само по себе, а для него! Улица открывается, переходит в другую, а не будь его — тупиком бы заканчивалась. И у тех, кто попадался ему на пути, кого он одаривал, желая им счастья, и у них появлялся смысл в их муравьиной жизни — из-за встречи с ним, а что иначе с ними могло быть!

А меня, получается, за меня самого наградили? — усмехнулся Лев Ильич. Усмехнуться-то усмехнулся, но горячо стало, ноги ступали тверже, звонко шел, поглядывал вокруг.

Он о Верочке подумал с радостью — но тоже не так, как прежде, когда бежал сломя голову. Она стала реальностью — и не как у Кирилла Сергеича, когда за спиной слышал ее дыхание. Только что полчаса сидели у Маши, договариваясь на вечер. Он ее впервые разглядел по-настоящему. В поезде остановила чем-то, а чем — Бог весть; вчера на улице и в столовой, — слишком собой был занят, и у Кирилла Сергеича не до нее. Тут разглядел: сидела, ходила по комнате прелестная молодая женщина, стройная, плавная в поворотах, глаза блестя добротой, глубина угадывалась, неясность томила, и рот, особенно нижняя губа, чуть запухшая... Сегодня вечером он пойдет к себе — а она там! Он был недалеко от редакции, когда вспомнил, что для Любы он в командировке — так ему жалко ее стало! Но и тут иная была жалость, не та, что там, у двери, ночью. Снисходительно он о ней думал: конечно, жалко по-человечески, худо-плохо, но... Легко он о ней думал: семнадцать лет сбросил с плеч — свобода! Да и вчерашние друзья-приятели — все у них ничтожно: и эти разговоры, злость... Ни ценностей настоящих — единственных, ни представления о своей вине — на два шага вперед видимость, бредут как в тумане, а больше на месте топчутся безо всякого смысла.

А что ж ты, если такой заботник обо всех, что ж им не поможешь? Что я, собес, что ли? — отмахнулся Лев Ильич.

Хорошо он шел, звонко, легкость была, какой и не помнил. Он даже на себя со стороны пытался посмотреть — в окна, витрины — хорошо шел! И всегдашней усталости, что хоть ложись другой раз посреди мостовой, — не было теперь. Он плечи распрямил, фуражку сдвинул на затылок, лед позванивал. Он уже и на прохожих не глядел — Бог с ними, пусть хлопчут, складывают денежки, торопятся — боятся опоздать. Каждому свое!

«Батюшки!» — сказал он себе и остановился, дух перевел. Вот откуда легкость звонкая — он же чист, все, что давило, тянуло к земле, — все с него сняли! Он теперь как пыленочек пушистенький — только родился, вылупися. Потому и солнце, и безогчетная радость, ничего не гнетет. Он дальше не шагнул — полетел... И верно полетел — остушился, поскользнулся — и брякнулся во всю длину. Спину зашиб. К

нему мужик подходил с большущим желтым портфелем, фуражку его поднял — далеко отлетела. Он встал, счистил фуражкой грязь с пальто... Даже юмора не было. А бывало, смеялся, когда так вот падал. Случалось, он давно, с юности запомнил, как пойдет весело, размашисто, занесется: похвалит его кто-то, девушка объяснилась в любви или еще как-нибудь его выделят, поднимет голову, распрямит плечи — обязательно под ноги наледь, корка гнилая — он и брякнется. Смеялся, и останавливало всегда. А тут — удивительное дело! — знак подавали, предупреждали, а он всего лишь обозлился: и улицу не чистят — центр, столица мира, прости Господи... Но уже со звоном идти не мог, в спине отдавало, прихрамывал.

Нет, не увидел он знака, не захотел прислушаться, хоть и побаливала спина, напоминала — только морщился. Мысль сбили, радость пытались испортить — а я, мол, не поддамся! Он подумал о том, какой удивительной, самостоятельно живущей в нем оказалась память. Невежда он был, читал много, но без смысла и направления — интеллигентский набор. Да и все, что читал, надо бы заново перечесть, что он понимал — сюжет и аромат остался, а главное ускользало. То самое, ради чего писались великие книги, в культуру вошли, — что он об этом знал? А теперь вспомнилось! И та — Главная, о которой прежде никогда не приходило в голову подумать, давно, чуть не тридцать лет назад она ему попала... У его теток была домработница — молоденькая, а богомолка, он взял у нее Новый завет, хорошо прочел. Ни к чему было, а сохранилось, видно, в рост пошло — страницами вспоминал. Тоже неспроста!

Хорошо ему стало, теплота разлилась по сердцу — все было не случайно, не просто так, кто-то о его жизни наперед знал и присутствовал в каждом шаге. Кто-то... Да не «кто-то» — Кто! — сказал он строго, вроде бы самого себя призывая к порядку и уважению к себе. И снова распрямил плечи, пересилив боль. Все было правильно и как быть должно.

В редакции ему и сегодня нечего было делать. Начальство, как и накануне, отсутствовало, он сунулся было к машинистке, но, видно, невпопад: его приятельница размазывала слезы и краску, волосы, всегда тщательно уложенные, сбились. «Ну чего я полез?» — огорчился Лев Ильич, теперь уже не закроешь дверь: горько, безутешно плакала. Модная на вид девица, встретишь на улице — не подумаешь, что эти разноцветные тряпки, сверхмодные туфли, серьги, кольца на длинных пальцах, — все этими самыми пальцами и выбито. Она хорошая была деваха, веселая, добрая, но невезучая, характер легкий, и комната своя — а это первое дело, чтоб баба устроила свою жизнь. А может, не первое, может, через ту комнату и получается, что как войти в нее мужику легко, так и выйти не трудно? Нет, не в комнате беда. Черта такая бывает — в лице, в складе ума, характера, взглянешь на нее, поболтаешь минут десять и сразу ясно: не везет, да и никогда не повезет. И сам собой механизм срabатывает у мужичины — берегись невезучих, с ней и тебе не будет радости.

С Таней у Льва Ильича давно сложились добрые отношения — пошучивали, о чем-то не говоря договаривались, хотя чуть было и не сладилось. В редакции был праздник, столы накрыли в кабинете главного, пили-веселились, а к ночи отправились к Тане допивать. У меня, мол, есть дома... Они и поехали, он и еще один автор, случайно оказавшийся на пьянке.

Квартира была двухкомнатная, бабья, сразу видно, гвоздь некому вбить. С сестрой она старшей жила, Лидой. Лида не спала, хоть и поздно, быстро на кухню организовала стол, спирт был, автор мог на гитаре, и гитара нашлась — хорошо сидели. Таня веселилась, на Льва Ильича поглядывала с нежностью. А он, как вошел, увидел ее сестру, и забыл про Таню. Совсем другая была, как и не сестра, — Таня тоненькая, модно-современная — красивая девчужка; а эта простая, с отчаянными прозрачными глазами, глянешь в них — далеко видно. Да уж куда дальше, когда ночь, все подпили и что еще делать, как не разойтись по комнатам. Они и разошлись, как попробовались спирта, то есть куда автор делся, Лев Ильич никогда не узнал, может, он с Таней до утра играл на гитаре, а про себя все знал, хоть и крепко был пьян, а запомнил...

Лев Ильич прикрыл за собой дверь, сел рядом, тихонько тронул длинную серьгу. Таня обернулась, открыла ящик, вытащила сумочку, а оттуда лист бумаги, сложенный в несколько раз, подала Льву Ильичу, а сама отошла к окну, достала зеркалаще.

Он развернул бумагу — размашистый почерк, три строчки карандашом: «Прости меня, Танюша, а другого не придумаю, как уехать из дома. Может, у тебя чего наладится, ты меня не ищи, не беспокойся. Не жить нам вместе, я тебе жизнь заедаю...» Без подписи. Лев Ильич повертел бумагу, сложил, и вдруг его осенило — это же Лида, ее записка!

Таня села за машинку, переложила новый лист копиркой, вставила — и все выложила Льву Ильичу. И как у нее появился парень — знал его Лев Ильич, художник, подхалтуривал в редакции, никчемный малый, но словно бы добрый, зарабатывал, не очень и пил, больше для веселья и куража. Неделю он у нее жил, Таня после работы бежала домой, жарила полуфабрикаты, пошли в театр, — вот-вот, думала, предложит зарегистрироваться. Не сразу заметила: он спит с ней, а поглядывает на стену — в соседнюю комнату. Дальше — больше, он дверью и ошибся. Она той ночью ушла, домой не заходила, а сейчас соседская девчонка с площадки принесла Лидину записку.

А твоей заслуги нет в этом? — спросил себя Лев Ильич. Вот она, вина, ты про нее позабыл, от тебя отлетела, простили, а она гуляет по белу свету, мало ли где аукнется, вот и к тебе вернулась. «Да простили мне все!» — крикнул себе Лев Ильич, что ж, и буду всю жизнь тащить все, что накопил, тогда и шагу не ступишь! Ну что он мог сделать для нее сейчас, что сказать?

И тут, на его счастье, открылась дверь.

— Вот он где скрывается! — Курьер всунулся. — Вас, Лев Ильич, спрашивают солидные посетители, обыскался, думал, ушли.

Эх, Лев Ильич, Лев Ильич, такой знак подавали, как звезда в ночи заблестела! И тут не разглядел, ну а когда сам человек не хочет остерегаться, не спасается, как его спасти? Он воротился от двери записать Тане телефон Кирилла Сергеевича, если, мол, что, там и разыщешь. Держись, мол, Танюша, это к лучшему, испытание, Бог тебя любит, оберегает от такой радости...

Это была полная для него неожиданность: за его столом сидел Вадик Козицкий, на подоконнике устроился Феликс Борин, а по комнате прогуливался Виктор Березкин — тоже старый дружок, философ, не то чтоб известный, но уважаемый.

— Я тебе домой позвонил, Люба сказала — ты в командировке. Уехал? — ухмыльнулся Феликс Борин.

— Уехал, — сказал Лев Ильич. — Зачем пришли?

— А ты не пришел бы на нашем месте? — глянул на него Вадик Козицкий.

Ага, догадался Лев Ильич, притащились спасать его от него же самого. «Ишь, сколько ловцов по мою душу! — обозлился он. — О себе бы беспокоились...»

Было у них давнишнее место, ресторан не ресторан — столовая, а получше ресторана: вино давали хорошее и кормили. Березкин, кстати, открыл, его знакомый адвокат привел — адвокатское место, те понимали толк.

Они быстро добрались, недалеко было. Выбрали столик в уголке. Березкин подошел вместе со здешним начальством — заведующий, что ли? — белесым малым — не запомнить, не то знаешь его хорошо, не то в первый раз видишь. Тот ни о чем не спросил, чиркнул в блокнотик: четверо, мол, и ладно, обидно не будет. А рядом за столиком скандалили, к ним уже час никто не подходил, у них обеденный перерыв кончался, требовали жалобную книгу. Белесый не обернулся на шум.

— Вот она, Россия, — сказал Феликс, — поразительная территория, любые землетрясения, что бы ни происходило — она все такая. Советская власть, что ль, виновата, что этот мужичонка уродился прохвостом, он бы и сто лет назад служил половым и так же.

— Ну положим, — сказал Вадик, — если б тогда дошло до жалобной книги, его бы в тот же миг вышвырнули. Принципиальная разница.

— Я не о том, — начал горячиться Феликс. — Я про хамство, оно в крови — наследственная черта, из поколения в поколение независимо от общественно-экономической формации...

Им меж тем уже накрывали столик, поставили вино — и в дорогом ресторане не съешь — хванчкару, лобио. Жав самолично обслуживал, поставил нарзан, разлил вино. Потом неторопливо подошел к соседнему столу — там тихо, робко заказывали. О бунте и помина не было.

— Вот она, Россия, — кивнул Вадик, — не половой, а народ самого себя достоин и всего, что бы с ним ни делали. Тоже, между прочим, по наследству передается.

— Есть и другая точка зрения, — сказал Березкин, смакуя вино, — у одного писателя. Это, говорит, у англичан передается из рода в род. А у нас распалась связь — с предками, с преданиями, каждый раз Америку открываем. Не писатель, я заметил: каждое поколение считает себя полностью обновленным, будто весь род русский насадка вчера выпела в крапиве.

— Это у Лескова, — сказал Феликс Борин, — а говоришь, собственное наблюдение — плагиатор несчастный.

— У Лескова про наседку, а у меня про Америку, — засмеялся Березкин, — а суть одна — ни корней, ни обязательств.

— Будет вам, — сказал миролюбиво Лев Ильич, — нашли материал для обобщений. Они у вас и получатся гастрономические. Кормят — и спасибо, такого вина не найдешь, — он отхлебнул из бокала. — Куда б девались, как не этот половой — к нему же пришли?

— Если правду говорить, — сказал Вадик, — мы тебя не за тем привели... Что с тобой происходит?

— А что? — спросил Лев Ильич; он уже с трудом сдерживался. — Неужто своей собственной вины за все, да хоть за это, не ощущаете?

— А в чем? — удивился Феликс. — Я ни в чем не виноват. За каждое слово отвечаю. Нет поступка, которого мог бы стыдиться.

— Да Бог с тобой, Феликс, — с отчаянием сказал Лев Ильич, — ну что ты говоришь! Мать у тебя умерла — тому пять лет, неужто ты себя виноватым перед ней не чувствуешь? Ну прости меня, у тебя ребенок у Инки остался — ты и перед сыном не виноват? От нищего отворотился, спешил — гроша не подал, так никогда и не вспоминаешь? Кто-то тебя о мелочи попросил — чепуха, отмахнулся, недосуг, а для него, может, землетрясение, конец света... Что ты с собой делаешь, Феликс?

— Вон ты о чем! — махнул рукой Феликс. — Я думал, о том, что я на площадь должен был выйти или впрямую обличать, не в подтексте, тут мы бы поспорили, я бы доказал бессмысленность максимализма в сегодняшних условиях. О такой ерунде я и говорить не стану.

— погоди, Феликс, — вмешался Вадик Козицкий, — давайте не будем отвлекаться. — Что с тобой, Лева, ты отдаешь себе отчет, куда катишься?

— Что вы обо мне забеспокоились? — Лев Ильич почувствовал, что срывается. — Дорогу я вам перешел? Не собираюсь, не хлопчите — все вам останется в полное распоряжение. Можете закусывать, обличать и снова закусывать.

— Я не пойму, — сказал Феликс, — почему ты злым стал?

— Надоело. Слово для вас гарнир к трапезе — трапеза обязательно, а гарнирчик можно заменять.

— А что такое слово, по-твоему? — спросил Феликс Борин.

— «В начале бе Слово, — сказал Лев Ильич, — и Слово бе к Богу и Бог бе Слово».

— Ну и что? — оторопел Феликс.

— Выставился! — засмеялся Вадик. — У тебя у самого не гарнир получается, а филе на вертеле!

Им как раз горячее принесли — шашлык на шампурах.

— Кстати, — обрадовался Березкин, он в толк не мог взять, о чем они говорят, — вот и на вертеле.

— Бросьте вы дурацкие шуточки. — Лев Ильич больше всего хотел бы уйти, не нужна ему их дружба, давно кончилась. Мужская солидарность у них называлось: муж говорит жене, что уехал в командировку, а друзья днем водят его по ресторанам, чтоб к ночи силы были. — Слово же для пищеварения дадено, в нем действительно Бог присутствует, за него жизнью нужно быть готовыми отвечать... — Он поморщился — высокопарность получилась, все равно ничего не поймут, только высмеют. — Вчера мне сказано — да ладно бы сказано, намеки трусливые! — что я гнусные цели преследую, рвете со мной, а сегодня шашлык винцом запиваем? А завтра?

— Если хочешь, завтра не будет, — сказал Вадик. — Я думал, ты под плохое настроение, с женой не поладил. А если всерьез — скатертью дорога. Только предупредить бы хотел, без намеков, да и вчера тебе впрямую говорил, не в моих правилах лукавить: ты на опасном пути. Стремление оправдать отступничество сначала теоретически — еще гаже выходит.

— Да от чего отступничество? — крикнул Лев Ильич. — От вашего жалкого юмора? От злобной ненависти ко всякой иной жизни? От ничтожного пафоса всеобщего разрушения? Всеобщего, но чтоб касса сохранилась, где за свой очистительный труд рассчитываете получать — и чтоб не обчитали! От этого? Да я готов прослыть предателем, если, по-вашему, принадлежал раньше к этой славной когорте!

— Ты хоть сейчас не торопись, — бросил Вадик Козицкий. — уже прислушиваются.

— Да не того ты боишься, — продолжал Лев Ильич, — взгляни на себя, ну кто ты, да и все вы, философ среди вас профессиональный, — кто вы такие? Мировоззрение у вас есть хоть какое-то — взрослые люди, интеллигентами себя называете? Ну кто вы — материалисты? Нет, скажете, теперь стыдно, логика к марксизму выводит, на Лубянке теоретическая твердыня, вам не подходит — чистенькие. Идеалисты — абсолют признаете? Но идеалисты-то небось верующие люди, а для вас страшней

страшного... Да, вспомнил — экзистенциалисты! Так это и не мировоззрение — ну кто вы такие?.. Да и стыдно, простите, жить в России и поносить ее по любому поводу, а пуше безо всякого. Половому трояк сунули, чтоб он вам шашлык получше изжарил,— Россия виновата, хамство да взяточничество. Люди торопятся поесть, на работу опаздывают, нет ни сил, ни времени затевать скандал — они наследственные рабы и достойны своей участи. Вашему приятелю этот разговор омерзительен — он, стало быть, коллаборационист, отступник. Или как вчера — наш знакомец всех в быдло определил, а сегодня и вовсе в крапиве русский род вывели. Стыдно... Вам уже за сорок лет — о Боге пора думать! Да не поверить я вас зову, куда вам! Помирать скоро, а вы и встретились вроде всерьез — о жизни собрались говорить, а все то же: хохмочки, полового осудили, рабство за соседним столиком углядели. Я вчера с одним мальчиком говорил — ну, наверно, двадцать лет — куда вам, вы только в книгах об этом читали да рефераты сочиняли, а для него жизнь и верно проклятые вопросы. Действительно русский мальчик — не вам чета. У Лескова не про русский народ, а про вас — из-под наседки выскочили, с рождения перестарки! Есть и родословная, между прочим: русская интеллигенция, да, да, та самая, что в крапиве нашли, узнав, что все позволено, напозволялась, дорвавшись до власти, самое себя пожрала, а потом из того, что осталось, из поскребышей, вас и произвела. Какое же отсутствие преемственности, потому и за права боретесь — полагаете себя законными наследниками. А с меня хватит. Надоело. Пусть другой вас спасает — говорят, никогда не поздно. По мне, так поздно — одеревенели. Прощайте!

Лев Ильич задыхался, попробовал закурить, не раскуривалась, бросил.

— Вон, оказывается, ты куда заехал? И темперамент, надо же... — медленно сказал Березкин. Он, под разговор, доел шашлык, запил вином, аккуратно вытер губы.— Воистину Россия непостижимая страна, только пора ее тем не менее умом понимать, а то обрадовались, гений разрешил: не аршином, мол, не разумом — мистической статью и еще более метафизической верой. Рады-радешеньки — ничего понимать не нужно, мы — особенные, человечество спасаем... Был пустынный, где-то в лесу спасался. Углубился в молитву, ничего вокруг не видел, не слышал. А молился он всегда об одном — о спасении человечества. Русский человек, ему масштаб нужен. И вдруг кто-то его за плечо трогает, он не заметил за молитвой, как ближний сосед — верст за полста пустынный в другом лесу вполз в пещеру. Тогда он в бешенстве, что прервали высокий разговор с Богом, схватил камень и того брата по голове. Убил на месте. А тот, как выяснилось, меду принес, два года собирал, чтоб брата попотчевать.

— Врешь ты, — сказал Лев Ильич с отвращением, — не было такого пустынного.

— Откуда знаешь, все истории перечитал?

— Я ничего не читал, — Льва Ильича трясло, — тебя знаю. Такая история только в помраченной голове русского интеллигента могла возникнуть. Чехов и Горький напридумывали целый ворох, да еще Лев Толстой.

— В хорошую ты меня компанию, спасибо. Верно, только что сочинил. Про Россию. Красиво?

— По мне, так омерзительно.

— Так, друг наш Левушка, к месту история — хорошо у тебя камня под рукой нет... — Березкин уже не шутил, тоже злился.— А раз мы в живых остались, позволь тебя спросить — не только тебе спрашивать, у нас все-таки демократия. Или отменил?.. Если у нас, как ты полагаешь, мировоззрения нет, определил, видимо, нам бесформенное интеллигентское сознание? Допустим. Ну а мы с кем имеем дело, какое у тебя мировоззрение?

— Я про то и говорю, — сказал Вадик Козицкий, — что мудрить. Ты у нас верующий теперь? Может, и крестился?..

Сколько Лев Ильич ни вспоминал потом — как, почему случилось: испугался он, но кого — Феликса с Вадиком, Березкина? Стыдно ему, что ли, стало, как представил, что они его увидят в комнате с попугаем, таз посередине... Или — одно дело самому с собой радоваться, что у тебя жизнь иная, а сказать кому-то, что твой чуть не пятьдесят лет жизни ничего не стоят, зачеркиваешь?.. Трусость ли, стыд, неловкость, робость или скромность — но запнулся Лев Ильич.

— ...Хотел бы поверить, — выдавил он наконец.— Счастлив был бы, если бы сил на это достало.

Сказал, потух как-то, встал да и пошел было к выходу, но с подороги воротился, достал деньги и положил на стол — пять рублей, больше не выйдет.

Они не смотрели на него. И на деньги не взглянули.

11

Он пришел в себя по дороге. Нужно было зайти в магазин: Маша сказала, у нее всего достанет, но нашли нахлебника! Он поставил в портфель бутылку коньяка, сыру, кофе ему смолоты, шоколадных конфет. Пока что все было как в доброе старое время, когда торопились на свидание к женщине. Только и нового, что злость никак не утихала: эх, не нашелся, говорить — так все, ничего чтоб не оставалось, и слова те забыть, и язык паскудный, в крапиве сочиненный. Столько дней и ночей потрачено, столько лет было там проведено — самому бы со стыда не сгореть! Ничего, и это урок, главное, что простился — ушел, уехал, улетел, достало сил.

Он опять по-другому шагал: как по городу оккупированному. Захватили город, ввели комендантский час, расклеили приказы на чужом непонятном языке — смерть, кто нарушит, шаг в сторону — пуля в затылок! — вон патрули на каждом перекрестке. А он идет себе, докопайся, что у него в душе! Всего лишь убить можете — велика премудрость, дай желторотому мальчишке, который думает по складам, в руки ружьецо, он кого хошь застрелит, а что возьмете? В том и поражение их великое, что про человека ничего не поняли, хоть и танков наштамповали, интеллигентов позакупили, даже оппозицию завели, чтоб потихоньку выпускать пар, а дойдет до красной черты — за очки, за бороду! Все предусмотрено, не было такого, никто не додумался — глыба! А он, Лев Ильич, идет себе, чем его купишь, чем напугаешь — выскочил!.. Сказано вам: «Если Бога нет — все позволено!» Что ж боитесь, стесняетесь — позволено! Межумками и век доживете? Еврея за бороду хватать нельзя, а в особняк Рябушинского забраться можно? Где ваши критерии, в какой крапиве вам их наседка высидела? Ох, не договорил Лев Ильич, было где разгуляться!..

Он и гулял, шел себе, стучал каблуками по оккупированному городу. Ошибка их была в том, что они сформулировали человеческую природу по своей модели: независимость, свобода, о которой пекутся, она или в деньгах, или в правовой обеспеченности — закон охранит! Как просто! То-то и оно, что они только с этого и начинаются — настоящие проблемы! Потому и справиться с вами проще простого — отними материальную независимость, кончи с правовой обеспеченностью — и разговору никакого! А с ним что можно сделать, когда ему в бесправии — радость, в нищете — счастье? Он расправил плечи, коньяк булькнул в портфеле — и опять юмора в той ситуации не заметил Лев Ильич — хорош был нищий да униженный!

Вера еще не приходила, его встретила Маша, провела в зеленую комнату, усадила.

— Понимаешь, какое дело, Лев Ильич, у нас сегодня... юбилей, будет время — расскажу. Надо к родне ехать. Все соберутся — без меня никак. Ты меня прости: сама позвала и сама ноги уношу. Может, твое крещение на Пасху отпразднуем? Не обидишься?

— А если потом поехать? — огорчился Лев Ильич. — Посидим, выпивка есть, после отправитесь.

— Далеко ехать, в Коломенское, там заночую.

Открылась дверь — у Веры, значит, ключ свой, она зашла с чемоданчиком, выходит, переезжала.

— Я объясняю ему, — сказала Маша, — и ты меня прости, должна ехать. Без меня скоротааете вечерок — не заскучаете?..

Они поднялись наверх, Маша вручила Льву Ильичу ключ, открыла шкафчик — одеяла, подушка, простыни, отвела на кухню — показала чай, сахар.

— Живите, главное — с попугаем дружите, воды налейте. Клетку Дуся почистила, а завтра я перед работой забегу. Вчерашняя закуска в холодильнике. Грибочки, брусника.

Комната без хозяев казалась нежилой — чистенько, душновато. Попугай вспорхнул было, их увидев, а свет зажгли, затих.

Они присели, было неловко.

— Да вы что как не дома? — засмеялась Маша. — Правда не уезжать? Не могу, никак не могу... Да! — вспомнила она. — Откройте форточку и курите. Раз его нету, можно.

Все трое задымили. Стало свободнее.

Маша собралась, Лев Ильич пошел проводить ее до двери, в коридоре было темно, он двинулся наугад, да вдруг как бы ослеп от звона и грохота. Вера раскрыла дверь из комнаты, стало видно: большой белый таз как живой прыгал и звенел на полу.

Они еще молча посидели, покурили. Внизу в подъезде стукнула дверь — Маша ушла.

Вера отправилась на кухню ставить чайник, Лев Ильич подошел к книжной полке, вытащил одну, другую — мудрено, куда ему, он про такие никогда не слышал.

На комнату оборотился: мерцала лампадка, таинственно светились иконы, в форточку ворвался ветер. Сыро было, знобко.

Лев Ильич спохватился, шелкнул портфелем, выставил коньяк, развернул сыр, конфеты. Вошла Вера с грибочками, увидела коньяк, улыбнулась:

— Гуляем?

— Не по себе,— сказал Лев Ильич. — Я никогда не спал в комнате... с иконами. Глядят... Или это — живопись на досках?

— Думаете, в другой комнате или за стеной, пусть каменной — спрячетесь, не увидят?

— Так считаете?.. — засмеялся Лев Ильич.

Они сидели напротив через широкий стол, он спиной к окну; и вдруг он про все позабыл: и про эту странную комнату, так его вчера поразившую, и про попугая, затихшего за спиной, и про книги, до которых ему не скоро дотянуться...

— Давайте за вас, Верочка,— сказал он,— весь вечер будем за вас пить. Я не пойму, что меня остановило в вас, как только увидел? Но остановило!

— Бросьте, Лев Ильич, все вы придумали. Ничего во мне нет. Запуталась. Да и вы, видно, с собой не разберетесь, вот мы и оказались вместе под этими иконами.

— Но ведь оказались, — сказал Лев Ильич,— значит, так и надо...— Первая рюмка ударила в голову, он знал, ненадолго, скоро пройдет, торопился все сказать, потом не решится.— Я вас видел всего ничего, сколько кроме того у меня случилось, а вы у меня все время перед глазами. Я умею: гляну на человека, он уйдет или я отвернусь, а его вижу, как отпечатался, могу спокойно разглядывать, а то неудобно смотреть в упор, по шее получишь. Но странность в том, что вы каждый раз другая, мешаєте, никак не разберусь.

— Ну уж извините! — смеялась Вера.— А что вы углядели — даже интересно?

— Да если честно...

— Давайте честно.

— Я вчера вашего мужа видел. У себя дома,— сказал Лев Ильич, сам того не ожидая.

— Не может быть?..— Вера покраснела.— Нет, почему же... Ну и как он вам?..

Тоже разглядывали?

— Последнее дело женщине, которая нравится так, что и не знаешь — любовь, что ли? — плохо говорить о муже. Но... мне потому и с вами... трудно.

— Как с ним живу, не поймете? Так я не живу. Ушла.

— Я бежал сюда,— сказал Лев Ильич,— такое у меня было странное ощущение...

Будто я иду по своему городу, а он уже не мой — захватили. Оккупировали. И муж ваш, ну, Коля Лепендин, он, не то чтоб оккупант, но... чужой, как и все они. То есть я совсем не то хотел сказать, — сбился Лев Ильич. — У меня очень сложное чувство: от разговора со старыми друзьями, от того, что в этой комнате произошло утром. И от вас. Все вместе. Вся эта оккупация как бы и ни к чему — город у меня все равно не заберут. Меня могут схватить, убить — но до меня не доберутся. Понимаете? И то, что сейчас с вами, — никто не отнимет. Никогда.

— А в других случаях? — спросила Вера.

— В каких других?

— Мне первой, что ли, в любви объясняетесь? Да... Налейте, выпьем, вы же мне объяснились, да так ловко, что я и перебить не смогла! Как же, в первый раз — так я вам и поверила!

— У меня никогда так не было,— сказал Лев Ильич, он твердо верил тому, что говорил.— Всегда было ощущение, что непременно что-то помешает, не мое — чужое, да и не нужно, как бы хорошо, чтоб помешали!.. А сейчас страшновато, но — дома. И вы против сидите — мне ничего не надо.

— Ну если ничего, тогда я вас поцелую! — Вера поднялась с места.— Не испугаетесь?

Ветер швырнул форточку, попугай взмахнул крыльями, как вихрь пронесся по комнате, лампадка моргнула и погасла. Лев Ильич встал на табуретку закрыть форточку, она не поддавалась.

Вера стояла посреди комнаты, смеялась:

— Видите, природа против нас, ничего — мы сильнее!..

Что потом было, как случилось? Просто все было, что мудреного, когда мужчина и женщина, каждый со своей бедой, неудачами, остаются вдвоем в пустом доме, когда несколько дней их сводит друг с другом, и коньяк на столе — что здесь удивительного? Но что-то все-таки иное было.

Он ничего не знал о ней, да и не хотел знать. Отчаяние ли ее к нему бросило, а может, сочувствие, жалость. Нет, от жалости тарелку супа может баба предложить,

себя, как тарелку супа. А тут будто с чем-то в себе прошалась, затаптывала себя. Неужто потом сядем друг против друга, закурим, станем разговаривать?

Он прошел к столу и поразился, как комната изменилась: разбросанные тряпки, подушка на полу... А из угла, из темных досок, выплывали лики, но теперь, без лампадки, они казались застывшими, безглазыми.

Он воротился к ней со стаканом. Какая она красивая, подумал он, и так неожиданно все в ней было...

Она жадно отхлебнула из стакана, он поднял подушку. И тут его защемило от жалости к ней. Так бывает в самый разгар лета, когда в безумстве зелени и цветения вдруг пронзит тебя что-то, и не поймешь сразу — что это? Лист ли сухой, запах, напомнивший о чем-то, освещение, преломившееся сквозь ветви? Пусть лишь случайно — и лист прошлогодний, и запах ветерок принес издалека, и освещение тут же изменилось, — но уже все равно, вопреки очевидности и календарю вдруг поймешь, что и осень не за горами, что этот разгул, буйство, радость — ненадолго, что они таят в себе тление, смерть, — и пусть чувство мимолетно, и острота его минет, но долго еще не пройдет печаль, запомнится и будет тревожить до слез.

Она поняла или перехватила его взгляд, закрылась одеялом до подбородка, отодвинулась к стене.

— Холодно, — сказала она. — Сырость, прямо из погреба тянет, а вчера здесь тепло было. Может, закрыть форточку... нет, курить нельзя. Потуши свет, — попросила она. Лев Ильич лег рядом: вон как, и ей то же самое мерещится.

Она отбросила недокуренную сигарету, прижалась к нему, затихла и сказала, Лев Ильич не сразу разобрал:

— С тобой тепло: Я тебя не отпущу... — Лев Ильич слышал, как стучало ее сердце, волосы щекотали лицо, он боялся шевельнуться. — Защити меня, Лев Ильич, спаси... — сказала Вера.

Он не знал, что ответить.

— Где тебе — самого надо спасать. И тоже от себя. — Она отбросила одеяло и засмеялась, сдувая волосы с лица. — Напугала я тебя? Признайся — напугала?

— Нет, я всегда не таким уж был пугливым.

— То всегда, а то — теперь! — смеялась Вера. — Теперь все по-другому будет.

И он опять поразился, что они думают одинаково.

— Мне иногда кажется, не я, что-то ведет к тебе, — говорила она. — Что мне от тебя нужно?.. Ну, не без того. — Она, видно, улыбнулась, влажно блеснули зубы над оттопыренной нижней губой. — Ты не думал так?

— Кто же тогда? — спросил Лев Ильич.

Попугай встрепыхнулся, когтями, клювом скрежетнул о прутья.

— Послушай, Лев Ильич, может, его накрыть платком, они и в темноте видят. Его я боюсь, этих не боюсь, а его...

Лев Ильич стал было выбираться из-под одеяла.

— Нет, лучше лежи, Бог с ним, пусть смотрит, только чтоб ты не уходил. Я знала, что так будет, ну не так, не здесь, но знала. Как вошла в купе, ты на меня глянул, я и догадалась — будет!

— Не может быть, — удивился Лев Ильич. — А я думал, я к тебе пристаю.

— Я же тебе позвонила, свидание назначила. Решился бы ты или нет?

— Или да, — сказал Лев Ильич, — я давно решился.

— Кто-то ведет меня, — прошептала Вера. — У меня никогда не бывало, чтоб охотилась за мужиком.

— Перестань, — сказал Лев Ильич, — я во всем виноват, что ты себя казнишь-мучаешь?

— Глупый! — засмеялась Вера. — Мне так хорошо никогда не бывало, думала, и не будет. Кабы не ты...

— Не верю, что ты от него ушла, — подумал вслух Лев Ильич. — Прости, но подумал... Ты не можешь быть одна.

— А я не одна, — сказала Вера. — Я с тобой. Ты что, бежать вздумал?

Он так ясно представил себе Колю Лепендина: в алом свитере, с вытянутыми ногами в толстых ботинках, с холодными глазами.

— У тебя сын? — спросил он.

— У меня ты, — сказала Вера и поцеловала его.

Он падал, падал, падал, падал и уже хотел разбиться, сил не было лететь в бездну, — повезло б умереть, не долетев... Его ослепило светом, что-то грохнуло — он пришел в себя. А-а, подумал он, машина въехала во двор, полоснула фарами по стеклу, не сюда ли?.. Пусть и сюда! Теперь, когда прошла новизна, он ощутил сладость

в этом бесстыдном грехе, пожалел, что потушил свет — пусть бы видели, чтоб и они, и попугай смотрел! Он уже летел, погибал и погибел радовался, теперь он знал: и его кто-то ведет, тянет, бросил, чтоб захлебнулся в собственной черноте... Какая чернота, успел он подумать, когда красота, зажги свет, увидишь — и ей и мне радость, радость, радость, повторял он, чтоб заглушить ужас перед самим собой и бездной, куда летел, уже не в силах остановиться... И тут подумал, что и ее губит и за нее будет держать ответ...

Они так и лежали, молча, слушая, как во дворе снова заворчала, разворачиваясь, машина, полоснула по окну светом, рядом хлопнула дверь подъезда, и снова стихло.

— Пропали мы с тобой! — сказала Вера, будто снова подслушав его мысль. — Сначала думаешь — ведет, ты, мол, при чем, потом поймешь — никто, кроме тебя самого. Лихо станет, когда поймешь.

Он не понял, а может, не хотел понимать, он никак не мог отойти от ужаса, отчаянной радости: сам ли, кто-то его туда бросил — не все ли равно?

Тихо в доме да и во всем мире было, но Лев Ильич уже знал: та тишина обманчива, он чувствовал: они здесь не одни, он ясно, реально ощущал плотность воздуха, не слухом, чем-то еще слышал скрежет — и не попугай когтями, клювом скребся о железные прутья... Только здесь, под одеялом, прижавшись к ней, он мог защититься, и знал — и она понимает, потому и нашли друг друга, каждый искал себя в другом, в нем надеясь спастись.

Ему внезапно показалось, их протащило в форточку, они проплыли над городом на немислимой высоте, а потом их швырнуло вниз, и снова он ясно ощутил ужас падения, снова от сладкой этой жути зашло сердце и захотелось, чтоб скорей кончилась эта жизнь, только было открывшаяся ему, которую он сам же и погубил. И он опять, опять, опять, опять падал и уже не помнил, сколько прошло времени, пока их носило, швыряло и било в визжащей, клопочущей бездне, заглушавшей голос собственного греха и вины...

Он услышал, как далеко-далеко — в другом мире проскрежетал трамвай. Утро, подумал он, возвращаясь, жив, стало быть.

Вера лежала неподвижно, но не спала. Он осторожно поцеловал ее волосы.

— А что, если нам поесть? — сказала Вера, будто ждала его движения. — Вон и стол накрыт.

Она натянула его свитер, он пошел на кухню, поставил чайник, присел рядом с ней. Лицо у нее стало тоньше, бледность ей шла, глаза потемнели.

— Знаешь что, — сказала Вера, — я хочу о себе рассказать. Всю свою жизнь, а то ничего не поймешь, хоть и хвастаешь, что прозорливец. Все равно не заснем. Свет потуши, скоро съехать будет.

Окно и верно начало бледнеть, он закрыл форточку, оделся и сел у нее в ногах.

— Я это никому, и Коле никогда не рассказывала — ему все равно ни к чему...

12

Она говорила ровным бесстрастным голосом, как книгу читала. Так и понял Лев Ильич: все это давно передумано, для себя сформулировано, не просто прожито, а будто две жизни текли одновременно — одна всем видная, а другая — главная, про которую никто не догадывался, но именно в ней она и жила на самом деле. Так это было или Вере хотелось так представить, но что ему первому рассказывается, он поверил сразу и твердо. Хотя был момент в рассказе, в самом конце, а может, и в начале тоже промелькнул, почувствовал Лев Ильич, о чем-то умолчала, не могла или не захотела говорить.

Он только сигареты ей прикуривал одну за другой.

Ей было тридцать пять лет — Вере Лепендиной, а по отцу — Никоновой. «Серьезный возраст для женщины», — Лев Ильич до того не думал, сколько ей лет. Не двадцать пять, когда еще не знает — любопытство это, жажда жизни, азарт или просто силы девать некуда; не тридцать, когда опыт — уверенность в себе, веселое сознание, что все можно; не сорок, когда терять нечего и порой самой трудно понять, откуда благодарная нежность — отчаянность, надрыв или блеснувшая, когда уже не ждешь, надежда. В тридцать пять еще не страшно, но лучше не ошибиться.

Она родилась в Москве, никуда не уезжала, а раньше и интереса ни к чему другому не было. «Раньше...» — сказала она и запнулась, сбилась в рассказе. Отец, и дед, и прадед — весь ее корень не москвичи, из тамбовской деревни, теперь Рязанская область.

— Помнишь, — сказала Вера, — женщину в поезде с ребенком? Она про отца Николая рассказывала — священника из их деревни, из Темирева? Я поразила, ни

разу до того не слыхала. Про моего деда история — отца Николая Никонова, темиревского священника. Они испокон веку там жили: и прадед, и до него все были священники — сельские попы, но не темные люди.

О прадеде Вера слышала, он в конце жизни принял постриг, в монастыре спасался. А дед всю жизнь прослужил в Темиреве. Он был самый тихий из семьи, незаметный. Его брат, отцов дядя — недавно умер глубоким стариком в Коломне — академик, у него большущий шкаф с книгами, как у отца Кирилла. Он служил раньше в Москве, отец, когда учился, жывал у него, тогда, видимо, кое-что почитал — больше откуда ему? А у деда старенькая Библия да Псалтырь. Но человек, наверно, был добрый, умный. Отец пересказывал одну его мысль — простую, но ее еще в юности поразила, и она запомнилась. Настоящая мысль, не из книжки, из собственного опыта. Хотя нет новых мыслей, они просто рождаются в нас заново... Каждому из нас, говорил дед, особенно следует хранить сердечное тепло, и в грехе, и в падении — своем или ближнего, ежели тебе дано увидеть. Всегда знать — это не чужое, не пришлое, наше собственное детище: брошено когда-то легкомысленное слово, взгляд, или просто страсть зажглась — все забылось, греховным делом стать не успело, — но уже брошено в мир, нашло пристанище в слабых душах, пустило корни, проросло. А потом вернется к тебе в такой мерзости — ужаснешься, будешь страдать, а не узнаешь, не вспомнишь, что твое. Вот и знай, когда что-либо из того видишь или услышишь, спрашивай свою совесть: «Не я ли, Господи?» ...Отец повторял эти слова перед смертью, и не однажды про деда вспоминал...

«Поразительно! — подумал Лев Ильич. — Я сегодня о том же самом, когда Таня... О том же, точно так же...»

— Дед жил тихонько, — продолжала Вера тем же ровным голосом, — его уважали, любили, мужики помнили его ровесником, небось в бабки играли, между ними никогда не было стены или непонимания. Но видно, духовность чувствовали, он у них заместо всякой власти — превыше: и плакались ему, и за советом ходили, и когда спор какой, тяжба. Они жили патриархально, бабуку я помню, при мне померла — благостная старушка, навсегда замолкшая от пережитого ужаса. Очень моего отца любила, преображалась, когда его видела — может, он на деда был похож?.. Нет, отец другим был, еще в кого-то — отчаянным. В четырнадцать лет — началась та первая война — он и сбеги из дому...

У них была чудная деревня: глушь, Тамбовщина, даже реки нет, а как в армию — всех темиревских мужиков на флот. Они рассказывали чудеса и привозили кокосовые орехи, — если возвращались. Вот и отец, звали его тоже Николаем, побежал, думал добраться до моря, моря не увидел, но, как ни странно, на войну попал. Неизвестно, где он был, но в каком-то сражении участвовал, подвиг не подвиг, но пулю схватил, в газете написали. В госпитале его навестила императрица — Александра Федоровна, подарила коробку шоколадных конфет. Он говорил, что таких конфет никогда не увидеть — ни в кино, нигде. Наверно, если императорские конфеты. Ну а раз императрица — ему пожаловали солдатский крест. А с тем после госпиталя — пустяшное было ранение, определили в кадетский корпус, в Москве. Так бы нипочем не попал — сын сельского попа. Первый Московский Императрицы Екатерины Второй кадетский корпус, а во главе генерал-лейтенант Римский-Корсаков. Красиво?.. Отец писал в анкетах: первую, мол, гимназию окончил, боялся. Он заканчивал свое образование к семнадцатому году. Там учились детки лучших русских фамилий, той глухой осенью они закрылись в Лефортове со своими винтовочками. Какая могла быть осада, смешно: в первый же день подвезли пушку, там кадетики и остались. Но дело было к ночи, — куда, мол, денутся. А у них дядька из солдат — классово свой победившему пролетариату. Он десяток оставшихся вывел ему только ведомым ходом, содрал с них погоны, кого смог переодел, и — минуя плац, здание Третьего кадетского корпуса, Алексеевского военного училища, через Дворцовый мост, мимо Елисаветинского института благородных девиц, по Вознесенской, улица Радио теперь, мимо частной женской гимназии фон Дервиз, по Гороховскому, мимо церкви Никиты Мученика, Межевого института, по Старой Басманной, к Земляному валу... Ушли! Отец рванул на юг. Везло ему отчаянно — он и на юге очутился, и у Деникина побывал, но главное, остался в живых и через год явился к деду в Темирево.

А там такой страх был, дед чудом спасался, а тут еще сын кадет, у Деникина побывал... Однажды мужики силой отбили деда, привезли из Сасова, там сгоряча чуть было не шлепнули. Безо всякого повода. Зачем повод был нужен?

Потом в деревню пришли каратели. Комиссар, как нарочно, еврей, в коже, перепоясанный пулеметными лентами, с красным бантом на тачанке. Над кем было расправу чинить? Не было никого, они в других уездах настрелялись. А все мало.

Давайте попа, говорит. Дед-то тихий, тихий, а панихиду отслужил по расстрелянном Государе Императоре, всю семью поименно поминал. Донесли. Выволокли деда на площадь: что, мол, длиннохвостый, попил нашей кровушки?.. Над убийцами торжественные молебны служишь? А отец как встал на колени перед дедом, так и стоял и кадетскую фуражечку в руке забыл, держит. «А это еще кто? — комиссар спрашивает, он на паперти сидел, маузером поигрывал. — Из офицеров, что ль?.. Сыночек тоже из длиннохвостых?.. Тащите обоих на выгон, там шлепнем».

Повели. Ну а дорогой мужики осмелели: мальчонка, мол, никакой не офицер, наш, деревенский, с нами вместе гусей пас, дите... Ладно, говорит, у нас справедливость, чтоб наглядную разницу видели. Пусть встанет на колени, как стоял, да поближе, поближе к попу, и фуражечку офицерскую наденет. А я, мол, пушечку испробую, еще не обстрелял. Если есть Бог — гуляй, не забудь пролетарскую справедливость, а нет — не взыщи. Вот он — наш Бог, — и маузером махнул.

Отец говорил, он был в беспамятстве, ничего не помнил: как его поставили, как прижался к отцу, тот его только перекрестил. Потом у него сорвало с головы фуражку и глаза залило — отцова кровь хлынула. Не враз отца Николая убили, не пристрелял комиссар пушечку.

Так и забили деда. И тело не разрешили забрать. Ночью отец с мужиками его вывез, те уже уехали на тачанке. Отец над ним сидел до утра, про что думал, не рассказывал. А через день уехал из Темирева: один пожалел, а уж другой свел бы с ним счеты.

— Станный он был человек, отец. Я думаю, в ту ночь, когда он сидел над дедом, вся ненависть в нем сгорела, один страх остался да еще что-то, про что до самого конца и не знал. А страху натерпелся, ума можно было решиться. Но кроме страха в нем цепкость была, ум мужицкий, трезвый. Он на одном месте не сидел — тем и спасся. Даже образование получил, совсем по тем временам немислимо. О вузе думать, когда бывших вычищали, а тут сын расстрелянного попа, да если бы догадались, что первая гимназия — кадетский корпус, сразу бы к стенке! А он втерся, его прогнали раз, другой, числился заочником — в Тимирязевке, сортиры чистил по Москве, экзамены ходил сдавать по квартирам профессоров — получил бумажку! И сразу из Москвы, чтоб духу его не было. Его однокашники, кого не замели, понаписали диссертации, получали кафедры, а он на Таймыре, на Камчатке — в самых гиблых краях, да и то застрял больше года на одном месте у него в заводе не было. Выжил, защитил все, что мог, — умер профессором. Ботаник.

Она не очень его хорошо знала, и жила с ним немного, он не только дочери, себя самого боялся, лишь перед смертью заговорил откровенно, да и то не про все рассказал. Поэтому кто он был на самом деле — Бог его знает, но трудно поверить, чтоб он, человек умный, даровитый, а главное — мужик, выросший в деревне, чтоб он в ботанике был таким... оголтелым. Послушать его, когда выступал, а он был оратор, язык, видно, поповский, — заслушаешься, хотя какой язык — лысенковская болтовня. Но он с таким смаком повторял идиотскую демагогию, явная пародия, а не подкопаешься, кто же скажет, что издевается? Да и над кем — над собой, что ли? Любил почет от местного начальства, уважение, а карьеры делать не думал, боялся, знал, чем кончается.

И женился поздно, перед войной. Куда ему было жениться, когда с места на место бегал, как заяц. Из экспедиции привез жену — мать Веры. Красивая, не пара ему — по-настоящему из бывших, недорезанная аристократка — Екатерина Федоровна. Тоже, между прочим, из духовного звания были в роду. А отец был видный, он, если б не эта всемирная история, по духовной линии не пошел бы, ему прямой путь был по военной — выправка, крупный мужчина, бывало, повторял: «Первый Московский Императрицы Екатерины Второй кадетский корпус...» Явный был генерал. Они недолго мучили друг друга, лет пять, ей в нем тонкости не хватало да и простой домашности — вся жизнь на колесах. А ему нужен был товарищ, кому можно не только сердце, но и душу доверить. На войну его не взяли, было освобождение. А ей хотелось развлекаться, жизнь кипела, которую отняли, хоть чем-то заменить. Она заменяла — раз, другой, он чуть не убил ее, а в третий с очередного перегона совсем уехала. С кем-то на фронт.

— Со мной даже не простилась. Через год-два умерла, не знаю как. Я ее не помню. Не было у меня матери. Я жила у тетки — младшей отцовой сестры, в Москве. Он наезжал и умирать приехал. Он в полгода умер — сколько ему? — шестидесяти не было, в самой еще силе. Рак желудка, обыкновенное дело. Знаешь, как умирают такие здоровые, крепкие мужики? Он никогда не болел, не умел болеть, а тут настоящие муки, тяжело. За месяц перед концом что-то в нем сломалось. Тогда мы с

ним и стали разговаривать. Он и про деда рассказал. И про Него вспомнил. Я думаю, он всегда о Нем знал, но в его заячьей жизни какой Бог — ему ноги нужны были да мужицкая хитрость. Но все помнил, удивительное дело, службу знал, и как боль отпускала, литургию пел, читал псалмы, духовные стихи. А однажды сказал такую странную вещь, видно, та мысль засела в нем с той страшной ночи, которую он провел над дедом, не знаю, думал он об этом или сама жила в нем, вырастала...

Это она запомнила. Он умирал весной, денек был серенький, промозглый, в комнате темень, они жили вместе у тетки, Вера почти все время была с ним. Возле его кровати горела лампочка, ночничок. Она ему подушки подложила под спину, он сидел. Выпить попросил. Как заболел — не пил. А бывало выпивал крепко; тетка рассказывала, что, когда они с матерью жили, он пил и во хмелю страшен становился, на что мать ничего на свете не боялась, а тут остерегалась, пряталась от греха — он здоровенный был, не удержишь.

И вот он такую странную вещь сказал. Я, говорит, никогда не мог забыть, как расстреливали отца. И знаешь, думаю, что евреи в России — это нам Божье наказание за великие грехи. Ты, говорит, подумай, Он к ним явился, к избранному Своему народу, они всей своей невероятной историей готовили Ему чистую обитель, и они же Его распяли. Но Он им Крест простил и обетование оставил, как у апостола: дары и избрание непреложны, спасение им все равно, но будет. А в России как они у нас появились, мы за них взялись — еще с каких пор! Но то случайности, мало ли что. А потом, в прошлом веке, особенно в начале нашего, тут мы во вкус вошли. Распятие Божьего народа стало прямо национальной идеей. Знаю, мол, помню, да и потом наслушался. Революция, гражданская война, комиссары в коже, когда они сами стали убийцами, в русской крови перемазались, когда тот двухтысячелетний грех, им прощенный, в стране, наверно, тоже избранной для чего-то высокого, снова взвалили на себя... Но может, и нам наказание, вот бы что понять... По своему легкомыслию, беспечности, слабости не мы ли способствовали, сделали их кровавыми убийцами? За это и платим, да еще, мол, не весь счет...

— С тем и отошел, а я хоть крещеная была — меня тетка ребенком крестила, и он меня Верой не зря назвал, — а похоронить как положено не смогла: профессор, советский ученый, лысенковец — целая комиссия была. Сожгли отца. А я с тем осталась... Ты что, не слушаешь меня? — спросила вдруг Вера.

Он задыхался, он и не заметил, как встал и, зажав руками рот, потрясенно смотрел на нее.

— Что с тобой? — повторила она.

— Как же так?.. — выдавил он. — Ну я понимаю... Убивать нельзя. Но ведь и забыть нельзя. Простить можно ли?

— Не простить, — сказала Вера. — Это другое — как не прощать? Понять свою вину. В чужом грехе свой собственный увидеть. Как дед говорил: «Не я ли, Господи?..» А мне отец сказал, не в тот день, а перед самой смертью: я, мол, всегда жалел, что у меня не сын, а что ты можешь — только за еврея замуж выйти...

Лев Ильич снова уселся, плеснул себе в чашку коньяк, что оставался, выпил. Молчал.

— Вот тебе, Лев Ильич, мои корни, с чем я начала жить самостоятельно. — Она говорила все так же ровно, спокойно, сидела недвижно, облокотившись на подушку, курила много. — А вот тебе моя часть, собственная.

Он не сразу услышал, что она говорила дальше — не был в силах понять. Наверно, не так, как он, надо было для того прожить жизнь. Да и не было у него права, как у ее отца, об этом думать. «Права жизни или права крови?» — спросил он себя, первый раз ему такая мысль залетела в голову. И снова чуть не задохнулся. Не было у него еще сил отвечать на такие вопросы.

—...Это у нас очень модно, — услышал он наконец, — во всем, что происходит, винить последние полвека, будто, как ты говоришь, нас и впрямь кто-то оккупировал, принес чужие нравы и обычаи. Но ведь не так, издавна идет, в том и дело, здесь главное хроника, если, конечно, глубоко глядеть, а не по поверхности, как вчерашний мальчик с транзистором. Мы вот семью ни за что считаем, она у нас и распалась, и случайна, и отношения скотские — и это верно. Все виновато: и тяжкий быт, и бесконечные несчастья, и идеология, которая входит в сознание с букваря. При чем отец-мать, когда среда существует? Мне особенно близко, я этим занимаюсь — я биолог, генетик. Сталин, кстати, помнил, не зря выкорчевывал под корень, но даже ему масштаба не хватило — повыврастали детки, никуда от них не денешься. Я не к тому говорю, что за еврея замуж вышла...

— Мне в голову не приходило, что Коля еврей, — удивился Лев Ильич.

— Ну да! — засмеялась Вера. — Будто тип сохранился. Он, может, и сохранился, но как исключение, для анекдотов. Тут столько намешали... Не чистый, конечно, полукровка, а где чистые?.. Есть у нас один приятель, тоже скоро уезжает, там другое — идея, хоть и не высокого разбора: здесь нет приложения темпераменту... А с Колей я познакомилась, когда училась в университете. Он кончал аспирантуру, считался гением, а я — девчонка, в баскетбол играла, на втором курсе. Про это рассказывать нечего. Он одаренный человек, к тому же бешеное честолюбие, работоспособность — все, что нужно для ученого. Ну и предел, разумеется. Он-то его не знает, он видит только тот предел, который ему ставят конкретные обстоятельства: за границу не пускают, академиком ему не быть. Да и то может случиться, честно сказать, Коле это никогда не мешало... Я о другом пределе, более серьезном... Тебе, может, неинтересно?.. — перебила она себя. — Но я закончу. — для самой себя.

Генетика странная наука, говорила Вера, и мученики и невероятные успехи, а завтрашние вовсе ошеломительны. Они уже управляют наследственностью, информацию, скрытую в коде, понимают, в банке вырастили ублюдка, а того не знают, что несчастный отец, прославлявший Лысенко, понимал. Чего никогда в себе не преступил. У них гения нет — Эйнштейна, который бы на сто лет вперед сфокусировал в формулу, в поэтическую строку втиснул, а перед тайной навсегда б остановился — предел бы им поставил.

Они и слова такого — тайна — не понимают, смелость нужна самому себе сказать об этом. Я их биологию про себя называю «эвклидовой», им только чистоты опыта не хватает, — а стало быть, денег и чтоб за границу ездить. Все позволено и все возможно. Они и Лазаря воскресят, если им предоставят свободу в эксперименте, то есть кормить будут хорошо. Реанимируют человека, а какая, мол, разница — через две минуты после смерти или через день-два! Всего лишь сегодняшшний уровень науки. А завтра — воскресит! И пускай бы болтовня, не стоило бы говорить, но это убежденность, мироощущение...

— А ты веришь, — спросил Лев Ильич, — веришь, что Лазарь вышел закутанный в погребальные пелены, со следами глени на лице, встал и вышел вон?

— А как же, я об этом и говорю: верю в тайну, а они только в свой опыт, который им советская власть мешает поставить.

— Как же так?.. — начал Лев Ильич и не решился.

— Так и есть, — поняла его Вера. — За все платим, полной мерой за каждую свою слабость... Бедный мой отец, если б он знал, когда мучился своей высокой виной, как сложится моя жизнь в том доме! Здесь, конечно, можно считать метафорой, потому как Коля Лепендин такой же еврей, как я. Но если бы я могла передать тебе, как меня ломали и корежили! Я и забыла себя, а когда вспомнила, — где она, Верка Никонова? Ничего не осталось. Такой фейерверк, блеск, размах невероятный! И это после тетки, как и отец, насмерть перепуганной, после няньки, которая, сколько себя помню, заговаривалась да заговаривала — старая ведунья, после отца и его смерти... А тут — смелость, ирония над всем на свете, все можем и все позволено! Это потом смелость оказалась наглостью, остроумие — отрыжкой после обильного ужина, а гениальность — мракобесием. А я была деталью интерьера, сначала для постели, да какая поспель — компот после жаркого! — а потом чтоб поддерживать дом, возникший из ничего, на пустом месте, чтоб всегда звенели ножи да вилки, чтоб время можно было со смаком загробить — днем, ночью — когда вздумается... Там, понимаешь, и греха нет, слякоть — от скуки, и преступления нет — хитрость, на все свои ресурсы. Но что поглавней всего — любви быть не может. Ты смог бы полюбить ублюдка, оплодотворенного в банке?

Она замолчала, поправила подушку и легла, глаза закрыла.

— Не могу я так больше. Не могу... — Две слезинки выкатились из-под закрытых век. — Пусть меня отец простит — не готова к подвигу, — она еще пыталась отшутиться. — Лучше б у него сын был, а не я.

— Так это ж... в прошлом? — сказал Лев Ильич, он никак не ждал такого завершения. — Помнишь, Кирилл Сергееч говорил: если зло определить, назвать, оно уж и не зло, — что ж пугаться? Пусть себе... острят.

— Не так он говорил. Ты сам только что сказал, что не видишь меня... одну? — Вера открыла глаза — они были у нее сухими, только блестели. Вот и я себя там не вижу.

— Что ты! — перепугался он. — Зачем над собой такую муку?.. Кончилось все — так ли, нет, но кончилось. Ты же ушла!

— Так не кончается. Мальчик у меня, ты спрашивал. У них и он таким вырастет. Как собачонка бегает за отцом, в глаза заглядывает. Мне, понимаешь, важно — даже

не с собой взять, — заторопилась она вдруг. — Я к няньке ездила прощаться, ну, когда подседа к тебе в поезде. — чтоб с собой увезти ее и все вокруг. Это-то ладно, увезу. Мне важно и здесь себя оставить. Я потому, как увидела тебя...

— Как оставить? — почему-то шепотом спросил Лев Ильич.

Вера покраснела и села на диване.

— Так, бабья метафора. — улыбнулась она через силу.

— Постой, почему метафора? Я хочу понять. Ты же сама только что про... Лазаря, про тайну, в которую не можешь не верить...

— О том и говорю, — уже с раздражением сказала Вера, — о тайне. Хотела б навсегда в тебе здесь остаться. А теперь отвернись, — новая нота зазвенела в ее голосе, — я одеваться буду.

13

Он проснулся от свиста и скрежета. Они плыли над землей, летели в небе, путаясь в редких облаках, затухая, и тогда можно было различить слабую мелодию, тут же и заглушаемую. Он не видел себя, не знал, где он, да и совсем ничего не было в мире, кроме этого грохота — может, все уже кончилось, может, и его не было, только душа слышала и откликалась, ждала той мелодии. — слепая душа, которой всего и оставалось что надежда на возможность услышать, но и ее вот-вот заберут. Ему так страшно, темно было, он чувствовал, и эту мерцающую надежду отнимут — ничего не будет, страшная черная пустота, в которой он один, и не задохнется даже, а всегда будет задыхаться.

Мелодия исчезла, он летел в черной пустоте, проваливаясь, зная, что не за что уцепиться, хватал руками воздух и, только услышав снизу свист, скрежет, ворочающий камни, собрав все силы, так что внутри будто сломалось что-то от напряжения, открыл глаза.

Он лежал ничком на диване одетый, в комнате было светло, душно, попугай гремел о железные прутья, бил крыльями, грязь и остатки зерен разлетались по комнате. И тут звонок ударил — в который уж раз? — мелодично пропел и опять смолк.

Он вскочил, сунул ноги в ботинки, прошел по коридору и открыл дверь.

Он не удивился, скорее обрадовался, хоть и не понял почему, но именно Костю он бы и хотел сейчас видеть.

Он шел обратно по коридору, раскрыв дверь в комнату, пропуская Костю, приволил себя в порядок, застегивал рубашку и все думал: почему он обрадовался человеку, который в последний раз раздражал, смущал, и Бог знает что про него начал думать. — зачем он ему?..

— Н-да, — Костя шевельнул усами. — вот так жилище священнослужителя...

Лев Ильич взглянул на него и обернулся на комнату: на столе пустая бутылка, грязные рюмки, на тарелках огрызки, свитер, пиджак, скомканные на стуле, постель на диване кое-как сложена, набитая окурками пепельница. Он посмотрел на себя Костиными глазами: небритый, заспанный, в незашнурованных ботинках... Он забрался на табуретку, распахнул форточку.

— И лампадка не горит, нехорошо. — Костя пододвинул стул, чиркнул спичкой, засветил лампадку и перекрестился. Еще раз глянул на Льва Ильича и откровенно усмехнулся. — Ну здравствуйте, Лев Ильич, не ожидал вас опять тут встретить. А хозяин где?

Лев Ильич объяснил, справился с ботинками, собрал посуду, отнес на кухню, вытер со стола, вытряхнул пепельницу, убрал постель, принес веник, старательно подмел, попугаю налил воды в чашечку. Костя сидел у окна, молчал.

Лев Ильич подсел к столу, закурил.

— А я здешнему квартирному человеку принес книгу из его библиотеки. — Костя положил на стол толстый том. — За тем и заглядываю.

— Может, чаю выпьем? — спросил Лев Ильич. — А сколько времени — у меня часы не заведены?

— Одиннадцать часов, могу не сокрушаться, что вас разбудил. Хотя вижу, у вас до утра какое-то бдение было?

— Я крестился вчера, — сказал Лев Ильич.

Костя сощурился на него.

— Много... всего произошло, — добавил зачем-то Лев Ильич.

— Ну и кто был... посредником? — спросил Костя; Льву Ильичу послышалось раздражение. — То есть что я спрашиваю — понятно.

— Посредником? Как кто? А... Отец Кирилл, ну и...

— Стало быть, отметили начало новой жизни,— ухмыльнулся Костя.— Благочестиво, ничего не скажешь. Впрочем, каков поп, таков и приход. Так, что ль, говорят?

— А каков поп? — быстро спросил Лев Ильич.

— Что я вам, объясняющий господин? Каков приход, сказано. Что ж вы крестились, а ничего не узнали?

— А что я должен узнавать? — опомнился Лев Ильич. — В отдел кадров обращаться?

— А как же. Не в храме крестились — дома. А почему там побоялись? Как же без кадров — обязательно надо паспорт предъявлять, все и робеют — велика опасность: ко Христу идут, а зарплату потерять бояться...

Лев Ильич промолчал.

— Что ж вас на это подвигло — скоропалительность такая — как в прорубь? Блины с рыжиками? Или серного озера напугались? Думаете, на вас теперь благодать снизошла, а небось и Символа веры не знаете?

— Что вы меня допрашиваете,— тихо спросил Лев Ильич,— по какому праву?

— Без права. Нагляделся на христиан из инкубатора, от засмердевшего либерализма шатнувшихся в церковь. Религиозный Ренессанс! Для них Евангелие как стихи какого-нибудь нынешнего... Щипачева, вместо страсти, пожара — центральная батарея журчит, тепло, лобызаются друг с дружкой. После копеечной баррикады — духовное отдохновение, кадрили под транзистор да еще в джинсах. Вот оно и православие неофитское!

— Не пойму, — вздохнул Лев Ильич, — отец Кирилл плох, я, конечно, не хорош, а есть... третий путь — ваш?

— Не обой мне речь. Где уж вам, когда в той кадрили закружились. Я, признаться, вас встрегив, не того ожидал, мне было уйдилось истинное горение, неутоленная жажда, реакции не головные, сердце услышал. Выходит, и тут ошибся.

— Не пойму, — повторил Лев Ильич, — что я не так сделал?

Костя смотрел на него с явным превосходством.

— Когда такое спрашиваете, какой может быть разговор — не услышите. Те, кто в кадрили, убеждены, что благодать вручается им в крещении вроде как членский билет в добровольное общество. Да если бы и пастырь находился под благодатью — и то не передаст, самому надо заслужить — от Бога благодать, не от пастыря, назначенного продавшей иерархией. Может, по-вашему, священник, открывающий тайну исповеди уполномоченному, быть посредником в таинстве? А если он вчера прелюбодействовал — сегодня навек соединит любящие сердца, обвенчает? Да не прелюбодействовал — коленки на две ладони ниже юбки отметил — шуточки? Если он на крик о немыслимости участвовать в každодневной лжи учит трусливому смирению, а когда ему рассказывают о разорвавшейся пред тобой завесе — о встрече со Спасителем, он тебя обвиняет в прелести,— через него Дух Святой говорит, вино в кровь пресуществляет? Такой пастырь, по-вашему, способен увидеть огонь в чаше?.. Нет на нем благодати и быть не может, как нет ее на его рукоположившем епископе, у которого все силы и таланты уходят, как бы с консисторией да властями поладить, как нет ее на патриархе, отгороженном теми епископами от жизни, ублаженном своим жалким пленом да и неизвестно кем поставленным. Потому и членский билет, выданный новокрещеному, не больше того стоит, сколько бумага, на которой отпечатан!

— Откуда вы про них знаете? — спросил Лев Ильич, что-то в нем еще сопротивлялось.— Про коленки, про уполномоченного, видит он огонь или нет? А вдруг не так?

— То-то что вдруг. По делам узнаете. Вы на себя поглядите — как вас вчерашняя благодать преобразила! Вот он, приход, про который толкую,— развеселая кадрили.

— Как же тогда,— шепотом спросил Лев Ильич,— значит, нет ни церкви, ни священства, ни таинств?..

— В том и дело, что есть. И врата ада не одолели. Ада, а не жалкой власти, способной лишь на бесчинства и варварство. Ну на убийство — подумаешь. Будто христианину не радость претерпеть поношение и гибель за веру! Святыми стоит Церковь уже две тысячи лет. Один, два — в целом мире, как сказано, молятся за всех, а их поносят, а их — сжигают, а они — всех спасают, огмаливают. Вот где истинная Церковь, где выдают не членский билет — крест взваливают на плечи, где путь на Голгофу, а не в самодовольную кадрили, где путь и жизнь, а не комфорт с современным интерьером. Где в смерти — радость, надежда и упование, а не провинциальная комедия жалкой проповеди за панихидой, тебя и во гроб провожающая безблагодатной ложью.

— Откуда вы все это знаете, Костя? — спросил Лев Ильич, он вдруг явственно в застилавшей ему глаза черноте увидел соломинку: «Ухватиться бы, ухватиться!»

— Сказано, — поднялся со стула Костя. — Мне сказано. В последние времена, кои чувствую, знаю — приближаются, когда на маковках Святой Церкви — да вон прочтите, — показал он на книгу, положенную им на стол, — являются новые, доселе невиданные розовые лучи грядущего Дня Немеркнушего. Тогда Бог выбирает кого хочет, говорит, а я слышу: «На камне сем, на месте развалившейся, сгнившей, продавшейся — воздвигни новую церковь — Церковь Святых».

— Там... так сказано? — спросил Лев Ильич, он обеими руками держался за хрустевшую в пальцах соломинку.

— Мне сказано, — отрубил Костя, и тут показалось Льву Ильичу, он словно бы смутился на мгновение. — А вы поскромней, попроще будьте, — не всем дано. Оставьте мудрствование, у вас ни на что нет сил, вижу, вы и разу небось от соблазна, от жалкого греха не смогли отказаться — зачем вам думать? За вас решено и подумано, отмолено — крестными муками Спасителя и тех, кому мир воистину доверен, кого никто не знает, кого затопчут, а хуже того — не заметят. В них все: альфа и омега, оплот христианской веры, камень...

— А мне что ж, все... — будто уже и не он, не Лев Ильич, что-то в нем сказало, — все, выходит... можно? А они, которых затопчут или не заметят, они и мое «все можно» примут на себя?

— По вере получите, — сказал Костя. — По истинной вере в Церковь Святых. И здесь и там. Они будут на том последнем Суде и вашими защитниками и обвинителями. Себя забудьте. Тому доверьтесь, кто всю вашу мерзость взвалит на себя. В руках у Льва Ильича хрупнула соломинка — и он сорвался.

Костя шагнул к окну, обернулся — и Лев Ильич увидел, что глаза у него разные: левый чуть косил, был темным, а правый посветлей. Костя косым левым моргнул ему.

— Чего ждем-то? — спросил Лев Ильич.

— А я уже дождался, — ответил Костя и засмеялся отрывисто.

— Ты что, издеваешься надо мной? — спросил Лев Ильич.

— Наконец-то! — Костя повернул стул, уселся верхом, выкинул вперед ноги и ловко скрестил их перед собой. — Давай излагай, что горит, разберемся.

— Не хочу, чтоб ты надо мной смеялся.

— Что ж, мы слезы будем лить? Хорошо погулял?

— Видишь, едва ноги таскаю, кабы не ты — полдня проспал.

— Ловок... Седина в бороду...

— Ну это ты брось, здесь другое.

— Неужто? — развеселился Костя. — Духовные стихи читали? То-то я вижу, катарсис, ноги не держат.

— Черт его знает, — пожал плечами Лев Ильич, — безумие.

— Знаю, чего хитрого. На сладкое потянуло — недостаточность организма, процесс вполне химический. Знаешь, как кристаллы выпадают? Бросают в перенасыщенный раствор — это взрыв, как в атомном котле, и ты уже не гот, аморфность, хаос определится звонкими гранями, засверкает. Ты же рисковал, мог оказаться ничтожеством, сгнить незамеченным в растворе, или он бы тебя исторг, не принял. А тут — возрождение, в новом качестве, обновленный — посторонись, все можем!

— Что-то не пойму, — сказал Лев Ильич, — конечно, уверенность появляется, однако... Черт, зачем мы об этом?

— Ну, если неохота. А может, хвастать нечем? — подмигнул Костя.

— Зачем уж так. Просто недоспал — наверстаем.

— Ладно, — сказал Костя, — оставим тему, мужчина должен быть благородным. Что у тебя еще?

— Мелочи: семнадцать лет надо бы списать, виснут, понимаешь, мораль, но... привычка — мешает, путает.

— А ты и там был на высоте?

— Ну, семнадцать лет, многовато все время на высоте — голова закружится. Быт, сам понимаешь: после завтрака — обед, ужин, посуду мыть три раза на день — одно и то же.

— Чего не понять — механика разбанальная: от кислого скулы воротит, а от сладкого зубы болят. Весь смысл, гастрономический я имею в виду, в смене впечатлений, одна кухня приедается.

— Что-то ты больно примитивен.

— Я всего лишь точен, это ты привык прятаться за словами. Списать, стало быть? У тебя что — обязательства? В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.

— Ну а жалость, сострадание, благодарность, наконец?

— Эх, куда тебя шатнуло! За что благодарить? Неужто свой счет позабыл, списочек, так сказать, благодеяний? Тут не арифметика — алгебра скорей, коль не интегралы. Что ж у тебя каждая единица — единице равна? Твоя небось подороже. Все дело в силе переживаний, твой один раз — помнишь, как на стенку взбирался? — а ей что! Да и разные, согласишься, вещи — мы им или они нам?

— Что это тебя все на пошлость тянет — иначе не можешь?

— Коробит? Давай иначе. Тебя оскорбили? Оскорбили. Унизили? Унизили. Зачем ты должен терпеть? Ты себя в жертву хочешь принести — да не хочешь ты, в том и дело! Но полагаешь — надо, как же, мол, христианин без жертвы! Ты о смирении хлопчешь, а того не понимаешь, что человек должен развить в полной мере все, что ему положено, дадено — в полную меру взрастить. Притчу о талантах недавно вспомнил, правильно этим дуракам объяснил...

— Постой,— перебил Лев Ильич, — откуда ты знаешь? Разве ты тогда был? Это на следующий день, ты вроде накануне заходил?

— Да брось мелочиться — был, не был. Я про дело говорю, а ты о форме хлопчешь. Талант надо пускать в рост, он сам-пять отдаст, не зарывать же его, когда он в тебе бурлит. Человека осчастливил, не просто страсть, блуду потрафил — поможешь идее осуществиться, высокой к тому ж...

— Ты что? — оторопел Лев Ильич. — Про какую ты идею?

— Про ту самую, об которую еще не раз споткнешься. Русский интеллигент! Интеллигент-то да, да русский ли?

— Знаешь что, Костя,— сказал Лев Ильич, он вытирал платком пот на лбу,— ты меня не пугай, у меня сердце заходится.

— Не бойся. Я тебе с самого начала объяснил — доверься. Через все это необходимо пройти, чистота, на которую и тень не падала, не многого стоит: не то она чистота, не то поганка. За одного битого двух небитых дают. Невозможно миру без соблазнов, тому горе, через кого они приходят, а сами по себе они играют очистительную роль — соль в них, коей не осолиться, завянешь в пресности.

У Льва Ильича в голове звенело, пугалось, пугалось.

— Литературный ты человек, Лев Ильич, — услышал он Костю.

— Ну а сострадание, если оно искренне... Нет, почему литература, я же знаю, что искренне? — обиделся он вдруг. — Нет, ты скажи, перекроет такое искреннее отношение вину, мерзкий грех — зачтется?

— Вон как хочешь устроиться? И толкуешь об искренности! Чтоб тебе за все платили: и за сострадание, и за нежность, а за вину и грех чтоб не брали?

— Кругом, выходит, плохо. А как быть?

— Ну что с тобой делать! — смеялся Костя. — Как тебя отучить от слов, в которых никакого смысла? Хорошо, плохо! Кому хорошо, а кому — плохо. Это Толстой все пытался очертить теми словами, да не Толстой — большевики! Это они любят на такие темы рассуждать в газетах, а сами все и запутали: сегодня то хорошо, что вчера было плохо, да и завтра окажется скверным. Что, мол, к л а с с у выгодно, а класс за воблу готов душу заложить. Где только ее возьмешь, воблу, а за душой нынче никто и охотиться не станет — бери, сколько унесешь, хоть целый мешок. Ты вчера не поверил истории про пустынного, спасавшегося в лесу и брата приглубившего камнем от великой любви к человечеству. А между прочим, достоверная история. Так же, как про Беломорский канал, про который Солженицын высчитал, что там закопали четверть миллиона строителей. Тоже ведь заради того, чтоб освобожденное человечество перемещалось из Белого моря в Балтийское на легких яхтах и экспрессах на подводных крыльях. Не в том дело, что — как он же отметил — спустя сорок лет по этому каналу одна баржа в день проходит, да и в ней смысла нет, а в том, что любовь к человечеству обязательно вырождается в смертоубийство — камнем ли брату по голове или энтузиастов за колючей проволокой цингой да морозом в штабеля. О себе надо думать, Лев Ильич, себя спасать, а о человечестве Господь позаботится, если сочтет нужным.

— Ты б хоть остановился,—сказал Лев Ильич,— ты на каждом слове себе противоречишь — я уследить не могу. Тебя даже на противоречии не поймал, потому это и не противоречие, а... дискретность.

— Сообразил! — хохотал Костя. — Значит, тебе больше улыбается о себе позабыть, не иметь своей воли, все, что собрал, скопил, чем гордился, чем этой ночью радость... ближнему... — хохотнул Костя,— доставил, небось и слезы счастливые увидел? Все, что вспомнилось, заговорило в тебе — ото всего отказаться? Снова

взвалить на плечи свою путаницу и еще новую, что эти церковные кадры наворотили... Вон еще дочка у тебя поспевает, и ее...

— Господи, — сказал Лев Ильич, — спаси и помилуй меня...

Он поднял голову. В комнате стало посветлей, облака, что ль, разошлись, солнце ударило ему в глаза, покатались разноцветные круги, он протер глаза, открыл и вдруг заметил: у Кости на штанах — ноги по-прежнему переплетены перед стулом — обозначилась клетка... Лев Ильич еще раз вытер платком взмокшее лицо.

— ...себя забудьте, — говорил Костя. Он стоял возле окна, поглядывал на улицу, но тут обернулся, внимательно посмотрел на Льва Ильича. — Вы, я вижу, устали, больны, что ли? В другой раз поговорим, коль охота будет. Иль вы все равно со двора собрались?

14

Ему было мучительно стыдно, он даже не мог заставить себя разобраться: слышал его Костя или это одна мерзкая фантазия? Он оделся, ему хотелось поскорей отсюда выбраться. Они направились к дверям, но он вспомнил про голодного попугая, сунулся было найти зерно, не мог сообразить где, накрошил хлеба и насыпал прямо в клетку. Натянул пальто, и они пошли, как Костя сказал, со двора.

На улице было холодно, небо голубело сквозь облака, все таяло, звенело, они вывернули в переулок.

— Вон столовая, — сказал Костя. — Вы, как я понял, не завтракали. А у меня мелочишка есть. Горяченького?

Лев Ильич поморщился. Машу видеть у него не было сил, да махнул рукой — ему было все равно.

За кассой сидела другая женщина — в очках, пожилая.

Лев Ильич верно проголодался. Костя поковырял безо всякой охоты. Молчали.

— Скажите, Костя, — Лев Ильич наконец отодвинул тарелку, проглотил теплый кофе, — что вы имеете против Кирилла Сергеевича? Мне это важно. Я плохо разбираюсь в людях.

— Все-таки интересно? — Костя закурил, сквозь дым шурился на Льва Ильича.

— Не то чтоб интересно — нужно, — уточнил Лев Ильич. — Так бывает, помнишь человека с детства, с юности, сто лет вроде знаешь, а встретишь и не можешь понять — в чем дело, зачем? Выходит, случайно встретились? Меня, правда, уверили, что случайности нет; может, и нет, но жизнь у нас была разная, и если вы верно говорите, а я вашей искренности не могу не верить, пусть и заблуждаетесь, но на чем-то основан этот ваш пафос и... отрицание?

— Все-таки тянет понять. Вы не слышали меня?.. Религиозный опыт от человеческого — психологизм, житейская мудрость, то-се — тем и отличается, что здесь умом и эмоциями не возьмешь. Я вам толкую про духовный опыт. Знаете, что значит, когда завеса разорвется?

Лев Ильич смотрел на него, и так ему вдруг себя жалко стало...

— Ну хорошо, — говорил Костя. — Вы из тех, кому все хочется потрогать, чтоб носом ткнули — факт нужен. Извольте, факт. Я с вашей приятельницей — мы еще в поезде с ней об этом перекинулись, на Рождестве столкнулись в храме. Я ее почему-то запомнил, сам не знаю, — со злостью перебил себя Костя. — Ладно, не в том дело. У нас теперь по Москве мода то на один храм, то на другой. Интеллигенция валом валит, разговор концертный: «Вы где на Пасху — у отца Вячеслава? Конечно, конечно, к кому ж еще идти!» Или эдак: «Ну что, мол, это за проповедь, я отца Анатолия слушала в прошлое воскресенье — и сравнить нельзя!» И прочее. Так и ходят — то к Анатолию, то к Вячеславу — в кадрили участвуют, пока не станет известно, что кто-то из них проворовался. А он всегда подворовывал, но им, как и вам, факт нужен, — чтоб за руку поймали.

— Ну а вы-то зачем... тогда? — не удержался Лев Ильич.

— По делу, — отрубил Костя. — Я только по делу бываю, и это вам, простите, ни к чему.

— Извините, — поспешил Лев Ильич, — вы уж договорите, пожалуйста.

— Служба не начиналась, а набились — руку не поднимешь перекреститься. Я и вышел... покурить, — сказал Костя с вызовом. — Наш приятель — отец Кирилл, тоже выходит, меня увидел, кивнул и не подошел, а, казалось бы, мог поздравить с праздником, не один час толковали про разные разности. Не до меня — к воротам дует, рясой снег метет. К нему старушки за благословением лезут, он отмахивается, благословляет, а сам на улицу поглядывает не больно-то благочестиво. Ждет кого-то. И верно, подкатывает шикарная «Волга», дверь отлетает, а из нее, гляжу — глазам не

верю: собственной персоной выпрыгивает Витька Березкин — философ из нынешних, а за рулем ослепительная дама звенит серьгами, концертное платье шумит из-под шубки. Красивая баба, я потом узнал, жена режиссера, сталинского еще сокола — известный мерзавец. У нее с Витькой большое чувство уже три месяца...

— Березкин? — с недоумением спросил Лев Ильич. — Виктор?..

— Знаете? Как же, известная фигура, громкие статьи, математически доказывает, что Достоевский был атеистом, вольтерьянцем и неосознанным предтечей большевизма. Да ладно статьи, мало ли что пишут, он мне как-то доверил свое открытие о заповедях блаженства — тут есть о чем задуматься! Надо, говорит, взглянуть на арамейский текст, перевод неправильный, вольный: блаженны нищие — запятая, а то, мол, мракобсы запятую скрыли от человечества, а там все точно и справедливо — нищие, обездоленные — они и блаженны! Как же, он человек либеральствующий, прогрессист. Да что я чушь эту повторяю, нормальное помочение рассудка...

— Неужели Березкин? — не мог успокоиться Лев Ильич.

— Кто ж еще? Ваш приятель юности православный священнослужитель его под белы руки вместе с великосветской дамой — и ведет в храм, раздвигает толпу, хлопчет, то вперед, то назад забежит. Мне любопытно стало, протискиваюсь следом. Он их на клиросе устроил, только что кресла не вытащил. Бедные старушонки — апостолы нашего православия, единственная надежда! — только рты беззубые поразжили. А я плкнул да и пошел оттуда.

— Что ж это? — спросил Лев Ильич.

— То-то и дело, что? Может ли святыня помещаться в блудилище? А если священник заражен корыстью и мирской суетой? Мне вам объяснять не нужно, кто такой Березкин — знаете? Можно ли после этого к отцу Кириллу обращаться за благодатью? Если вы считаете абстракцией разговор о наущничестве и разврате в храмах, то вот вам самый, можно сказать, обыкновенный, будничный факт, в котором раскрывается такое море безбожия, будто видишь — и не через тусклое стекло, а как в волшебном фонаре, всю цепь, завязанную еще в раннем русском средневековье, когда Божьим начали торговать в розницу и оптом — кесарю отдавали, а дальше кесарем и городничего почитали и квартального — да те хоть в Бога верили, а тут и до секретаря райкома докатились, до уполномоченного! Если всерьез будем искать виновного в том, во что Россия превратилась за последние полвека, обернулась Архипелагом, то не ошибемся, когда все и припишем русской Церкви. Началось с духовного соблазна цезарепапизма, все отдали светским властям — мораль, культуру, науку, на все было наплевать, лишь бы их не трогали и сребролюбью не мешали. А что оставалось, как было не взрасти ничтожному нигилизму, чему еще произрастать на безблагодатной почве? Или вам дальше протянуть атеистическую цепь — к толстовскому морализму или к большевистскому лицемерию? Не церкви вина, что народ оставили без благодати? Сначала на стерляжьё уху разменивали, а потом на рабскую участь молчаливого соучастия во всех кровавых преступлениях. Может, вам фактов подбросить, если до них горазды, или, как раньше говорили, анекдотов?.. Не об отдельных мерзавцах и корыстниках речь, история про отца Кирилла пострашнее, потому что и не ловится. В том и дело, что пока не проворуется, все вроде бы нормально: храмовое благочестие, богослужение — что еще надо? Какое благочестие — смешно говорить! Заповеди, что ль, пыгаются выполнить? Только и разговору про седьмую — самую модную: можно, мол, с бабой переспать или нет? Посты, что ли, соблюдают, общая молитва у них дома — утром, вечером, со Христом живут в сердце? По мне, Березкин лучше — не придуривается, живой человек: привел бабу вроде как в цирк, развлекся, потом в ресторан, а там уж судя по обстоятельствам!.. А верующий шагнет за церковную ограду, как у отца Кирилла окормится, что ж он, по-вашему, остался христианином, утвердился? Он и шагает из одного блудилища в другое, не поймешь, где гаже. Отказались от Христа, продали Его в семнадцатом году, откуда братья благодати — из сталинской хитрости, пооткрывавшего церкви для своих мудрых расчетов? Да их в любую минуту с патриаршего благословения обратно позакрывают, складами сделают! Или из духовной академии, где штампуют пастырей, как уполномоченных по хлебозаготовкам? И говорить неохота, в зубах навязло...

— Не верю я вам, — сказал вдруг Лев Ильич. — Не верю. Когда так, а теперь мне ясно, что так, тогда и совсем ничего нет. И святых ваших нет, и Воскресения не было.

Костя как споткнулся, зажег спичку прикурить, да и забыл о ней, такого воздействия своих слов, верно, никак не ожидал.

— Не по зубам орешек? — спросил он, отбросив спичку.

Перед Львом Ильичом будто кинематографическая лента прокручивалась, мелькали последние три дня: он увидел себя в поезде с Верой, Костей, бабкой с девочкой; в церкви — вспомнившим маму с ее иконкой; в комнате с попугаем, в нелепом тазу. А потом подвернул ногу — и покатился, покатился...

— Не по зубам, — подтвердил он. — Но если верно, цепь существует, которой мир Адамом завязан, или еще до того, когда твердь, звезды и всю живность создавали. цепь, к которой потом ковалось звено за звеном — через Авраама к Матери Божией, к святым, если ее конец сегодня в руках у отца Кирилла... Можно поверить в нерасторжимость той цепи, ежели хоть в одном ее звене усомнился? Хоть в одном, самом маленьком — всего лишь в связке? Нет тогда никакой цепи — и шести дней не было, и Адам со змием — пошлая сказка, и облако на горе с Моисеем — бездарная метафора, да и Церковь на лживом камне, изначально освещенная предательством...

— Погодите, Лев Ильич...

— Я вас наслушался, Костя, с меня довольно. Только что сами объяснили. У вас логики хватает отрицать благодать и поносить сегодняшнюю церковь, а дальше пойти смелости недостает или своя корысть — куда вам тогда деться со своим избранничеством? Очень ловко: любое сомнение объяснимо слабостью греховной, бесом изворотливым, Промыслом — диалектика, отточенная за две да еще за шесть тысяч лет до того. Промысел! Иван Грозный прибрал церковь к рукам — Промысел, Петр с патриархом покончил — Промысел, большевики поставили патриархом кого захотели — снова Промысел! Да почему Промысел, а не политиканство? А если так, и благодати в русской Церкви нет и быть не может. Откуда ей взяться, если священники — жулики они или нет, не все ли равно, — они же епископами рукоположены, а те точно, выходит, казнокрады, поставлены чекистами, и патриарха — тут и сомнения нет, правильно я вас понял? — не Божьим же жребием избирают? И не наши, не нынешние — пусть бы их! — а еще с тех самых пор. Ложь и обман кругом, понял, дошло. Спасибо, просветили. Зачем друг перед другом хитрить — не верна логика? Нет никакой цепи, сегодняшние звенья нам дано потрогать — все трухлявые, а коли бы могли и прежние пощупать, и те такими же окажутся? Почему же т о м у преданию верить, когда я в этом усомнился? Да хорошо бы усомнился, надежда была б, могу ошибиться — а тут математически доказано. Да и слишком стройно получается: младенчика в ключья разорвали — так надо, евреев перерезали — правильно, еврейскими руками пустили русскую кровь — еще вернее! И Дахау правильно, и Колыма верно, и Лубянка на пользу, и священник во храме в облачении с крестом на пузе — и он правильно, что соглядатай, — к очищению! Не много ли — что останется? Почему, с какой стати я должен верить в мерзкую, кровавую бессмыслицу? На себе проверил — почему меня Бог не остановил, от себя не защитил, в тот же день и изгадил — в том самом месте, где и молились, и ангелы сослужали, и лампадка — дунули на лампадку и нет ее...

Костя опять сидел верхом на стуле, подмигивал косым глазом, губы у него раздвинулись в блудливой ухмылке, под усами зуб блеснул тусклым золотом: «Вроде не было у него золотого зуба?» — успел подумать Лев Ильич.

— Давай, давай! — ухмылялся Костя. — Ты про Суламифь позабыл, про Матерь Божию подробности, про архангела Гавриила да про монахов — говорят, в женский монастырь прокапывали подземный ход...

— Зачем мне ихние мерзости, своих, что ли, мало? — Льву Ильичу все стало ясно!

— Давай, давай! — веселился Костя. — Эко тебя разобрало, люблю горячих, с горошки подтолкни, не догонишь.

— Ясное дело — не догонишь, куда! Мы, евреи, народ избранный — бегать горазды.

— Ты ж недавно говорил, что русский, о России хлопотал-переживал?

— А кровь-то? — брякнул Лев Ильич. — Еврейская кровь, коль еще не разжижена, погорячей будет, где прольется, цветы вырастают — то-то от них и ваш брат как от ладана шарахается — не другой водице чета! Здесь что ни гений — Моисей ли, Эйнштейн — найди-ка кого другого?

— Эко тебя разобрало, — нахмурился Костя.

— Не нравится? Ну да, еврея в лучшем случае можно жалеть. А если они верно избранные? Ладно, шучу — кем избранные? — смех один.

— Н-да... — пробурчал Костя.

— Не по зубам орешек? Не все тебе меня озадачивать!

— Действительно, быстро вы, евреи, бегаєте, не угонишься. Которые с горы я имею в виду. На гору-то потише взбираетесь.

— Ага! — засмеялся Лев Ильич. — И ты, оказывается, грешешь антисемитизмом, не думал, что и у вас там. Нашел чем уколоть!..

— Тут согрешешь, — Костя надулся. — Не люблю, когда меня обскачат. Что же теперь делать будешь? — У него левый косой глаз злобно сверкнул. — Крестик-то висит на пузе?

— А что с ним делать? — Лев Ильич вдруг такую ненависть ощутил к Кириллу Сергеичу, впервые его так опалило, даже запеклось внутри! «Кирюша! Вот кто во всем виноват!» Он запустил руку под свитер, расстегнул рубашку, нащупал, рванул, но цепочка оказалась крепкой, в шею врезалась...

Он поднял голову от громкого голоса:

— Поели, освободьте место, очередь ждет. Понимать надо, у нас столовая — не ресторан, дома поговорите.

Перед их столиком стояла пожилая кассирша, очками поблескивала.

— Сейчас пойдем, — сказал Костя. — Вы больны, Лев Ильич, побледнели. Я думал, вы покрепче. Конечно, когда в голове каша, трудно слушать правду...

Лев Ильич вытирал пот, болела шея: цепочка, видно, глубоко врезалась. Он перевел дух и вдруг явственно увидел хрупкую соломинку, ощутил ее в пальцах. Вот откуда ненависть! — вспомнил он слова отца Кирилла. Лев Ильич перевернул их: от сладостолбия! От него малодушие, от малодушия — уныние, от уныния — презрительность, от презрительности — ослабление, от ослабления — леность, от лености — жестокость, от жестокости — неверие, от неверия — гордость, от гордости — гнев. А от гнева и ненависть. «Обо что-то непременно преткнетесь...» — как напроорочил отец Кирилл. Да не обо что-то — обо все сразу!

Он держался за соломинку обеими руками. Она все явственней хрустела в пальцах.

— Откуда вы, Костя, взяли, что на том камне надо соорудить новую церковь Святых, а эту отринуть? Как Он мог сказать об этом, хоть и явился вам, если и в это я поверю, когда нигде такого не сказано? А разве Он может сказать что-то столь принципиально иное, и у Достоевского Спаситель Инквизитору и слова не промолвил в каземате, всего лишь и сделал, что его поцеловал. Когда Он скажет Слово — Оно уже Страшным судом явится, не так разве? Может, тогда есть надежда? Не та цепь, что от Адама до отца Кирилла, а ваша сплетена из придуманных — корыстных ли, для самоутверждения, — но лживых звеньев...

15

Ему открыла дверь Вера. Было уже поздно, темно, опять пошел мокрый снег, он продрог, и его познабливало. Весь день был темным провалом в душе: словно не он, а кто-то сидел за него в редакции, кому-то звонил, даже спорил о каких-то проблемах — убей его, никогда б не вспомнил о чем. И не то чтоб он о чем-то другом, как утром или третьего дня, думал, жил двумя жизнями одновременно — он просто исчез, растворился в черной пустоте, пропал.

Вера прижалась к его мокрому пальто, а он было забыл о ней. Уже и домой хотел вернуться, и еще куда-то переночевать — ноги сами его сюда притащили.

— ...хорошо, что пришел, я боялась, тебя не увижу, мне домой нужно — мальчик заболел.

Они прошли в комнату Маши. Она сидела за столом в очках над раскрытой книгой.

— А мы беспокоились — забыл, что ль, дорогу?

Тихая была комната. Низкий абажур освещал только стол. Углы затаились в темноте. Он опустился на тахту.

— Ты что — бледный, в пятнах? Не заболел? — спросила Маша, сняв очки и вглядываясь в него. — Поставь, Веруша, чайник; я тебя малиной отпою — простудился?

— Что читаете? — спросил Лев Ильич.

— Люблю это место... Перед постом хорошо.

Вошла Вера, пощупала ему лоб:

— Да он горит! У вас нет градусника?

— Ерунда, со мной бывает. — Он боялся, она снова выйдет.

— Веруша, теперь ты, — сказала Маша, — дочитай главу.

— Может, не стоит? — Вера глядела на Льва Ильича. — Он еле сидит...

— Отчего ж. — Лев Ильич толком не понял, что они собираются читать. — Я с интересом, а потом, верно, от чаю не откажусь — продрог.

Вера взяла книгу:

— С того места, где остановились?..

Лицо ее было в тени, свет падал на белые листы книги, они казались чистыми. Он закрыл глаза.

— Сегодня четверг, — сказала Маша, — стало быть, ровно через сорок девять дней будет Великий Четверг. Это место и читают...

«...Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня...»

Лев Ильич вздрогнул и открыл глаза: что это, почему, откуда они знают, опять случай?.. Вера читала тихим, ясным голосом, а слова жили сами по себе, прои з н о с и л и с ь в его душе.

«...Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? И другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо...»

Лев Ильич был так напряжен, что казалось, вот-вот что-то надорвется в нем, лопнет со звоном, он знал теперь этот с л у ч а й, это к нему были с л о в а.

«...Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня...»

Льву Ильичу казалось, он уже не дышал.

«...И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Конечно, пришел час; вот, предается Сын Человеческий в руки грешников; встаньте, пойдемте: вот приблизился предающий Меня...»

— Стойте! — закричал Лев Ильич. — Не нужно, не могу я больше!

Он стоял у стола, облокотившись на него обеими руками, смотрел на раскрытую Книгу и двух женщин, испуганно глядевших на него снизу вверх.

— Простите меня, — опомнился он. — Простите за все. Простите. Простите...

Он упал на стул, уронил голову на стол и заплакал. Он плакал горько, как ребенок, как только в детстве с ним было, когда все казалось таким навсегда неутешным, будто за этим — чего не дали, потерял, отняли, обидели, не сумел, не смог — и кончается все. Те слезы не приносят утешения, облегчения — уже ничего нет и быть не может, — что еще осталось за этим: «не дали», «потерял», «отняли», «обидели», «не сумел», «не смог»?..

— Что с тобой, Лев Ильич, родной! — вскинулась Вера.

— Погоди, Веруша, оставь его, — сказала Маша. — Пойду-ка чаек заварю да малины...

Он ощутил ее руки у себя на затылке — нежные, легкие пальцы, очнулся, и ему стало мучительно стыдно. Он встал, пошел в ванную, умылся, не сразу решился вернуться.

— Лев Ильич, ты где там? Чай на столе...

Они сидели втроем вокруг стола, под абажуром — только и было светлое пятно в комнате. «Господи, какие мы все разные!» — подумалось ему. Чего только не было с ним сегодня с тех пор, как он ее обнимал, а что у нее, с ней произошло? — никогда не узнать. Что я знаю про нее, хоть и все пересказала — сюжет только, и не вспомнил за целый день, а в какую она сегодня бездну заглядывала, а если нет — еще страшней?.. Мальчик захворал, а сидит, сопли мне вытирает. Да и Маша — компот в столовой, лихость, а тут этот дом, эта Книга. Он взглянул на Евангелие: «...вот, приблизился предающий Меня...» Господи, подумал он, что стоит сокрушившая меня сегодня логика, горы фактов рядом с этим?.. «Я про Суд недоумевал — вот он Суд и есть то Слово...»

— Я хорошо сделала, что вчера уехала, — сказала Маша, — там без меня... Правда, Льва Ильича не уберегли — за тобой глаз да глаз нужен, простудился, как маленький. У тебя еще с третьего дня простуда, когда пришел ко мне замерзший, компотик отведал...

Лев Ильич молчал, обжигался чаем: того ему никогда не узнать — хорошо ли она сделала. А если б не уехала — все б не так было? Опять случай или о н все равно бы его достиг, не тут, так в другом месте, как бы он уберегся, когда бежал навстречу — ничего не слышал, не замечал...

— У меня родня, уж и не знаю — дальняя, ближняя... — продолжала Маша. — Первая жена моего мужа-покойника и ее отец. Я их давно знаю: старик больной и она тоже... плохая. Как дети малые. А вчера особенный день, они каждый год отмечают. Старик отмечает. Заведено... Глеб был хороший художник — думаю, очень хороший. Вот-вот Игорь приедет — мы вам покажем, ежели охота. Здесь мало, основная часть у них, мы с ним только пять лет прожили. Что при мне наработал. Хотя не так мало, а там — все. Европа теперь открыла нашу живопись, ездят за иконами: да за картинами, а при нем мало кто знал, что происходит по московским

закоулкам. Я вчера приехала, а там скандал. Передо мной ушли два иностранца. Не знаю, что им предлагали, — Лариса хотела продать. Все равно, мол, тут пропадет, сгниет, мы подохнем — растащат, пожгут, а там сохранится. Иностранец во французский музей предлагал все сразу купить, обещал выставку. А старик не дает. Я, говорит, их знаю, жулики, не музей, они на базаре за доллары. А он, мол, для нас писал, ничего не продавал. Верно, не продавал, некому было. Писал да за шкаф ставил. Старик кричит: «Внуку оставлю!» Игорю моему, он его любит. Я, говорит, дожись, когда наш музей купит. Едва ли, конечно, ему под восемьдесят, да и Игорь, дай Бог, чтоб дождался. Не знаю, кто прав. Но раз Глеб ничего не сказал, я бы тоже не продала. Будем им все отдавать — с чем останемся?..

Лев Ильич поднял голову: в темноте было понять, он и в прошлый раз отметил — настоящая живопись. Маша повернула абажур, тень качнулась, открылась картина: прямоугольник стены, серая, шероховатая — часть храма, что ли? Неба не видно, стена уходит вверх... Из нее начал выплывать крест, едва намеченный — не горит, не сияет, или не видно при таком свете?..

— Не смотри, — сказала Маша, — нужно днем. Первая наша картина. Я к нему пришла, он ее писал. Только ее и повесил. Очень меня тогда любил, а может, нет, кто его знает, но с тех пор висит. Но это другой разговор, долгий. А вчера старик меня увидел: ей говорит, то есть мне, все отдам, она законная наследница — не тебя, он ее любил, у нее сын, мой внук. Совсем с ума стронулся — дочке такое слышать. Я их развела, успокоила, не помню, что говорила. Старик... Конечно, ей тяжело с ним. Я молодой девкой к ним ходила — к старику. Они тогда недалеко жили. Убирала у них. Он жил один, а дочь здесь, с Глебом. Старик тогда только на пенсию вышел. Он знает кто? Служил надзирателем в лагере, в вохре. Сначала был заключенным, потом ссыльным — из нэпманов. В конце двадцатых годов взяли, он и остался в лагере, как вышел срок — лет, может, пять отсидел. Теперь кажется небольшой срок, когда по семнадцать — восемнадцать сидели, но тоже — отбудь пять-то годков. Чудной человек, законник. Как посадили, он свою жизнь зачеркнул, позабыл, друзей, родных — вычеркнул из памяти. А когда срок вышел, пошел в вохру — над собой, что ли, издевался? Чтоб себе досадить. Там и вышла история, оттуда юбилей, дага... Ты согрелся хоть чуть? Давай еще чайку, первое дело при простуде — лучше водки...

Лев Ильич откинулся на стуле: где он, что слушает — книгу ему читают, бывальщину рассказывают, он здесь при чем? Но в том и дело, как ни странно, что было «при чем».

— ...Он служил в женском лагере, старик мой, — услышал Лев Ильич голос Маши, — тогда разделили. И там в одном бараке — попадья. Молодая еще женщина, красивая, измученная, конечно, но необычайной святости человек. На что кругом зверье, блатняшки, в бараках такое творилось, а от нее как отскакивало: смотрела, а ничего не приставало, не видела. Только молилась о сыне, оставленном на воле и где-то потерявшемся. Ее не трогали. Один полез было — мужской лагерь рядом, хоть и проволока, собаки, а купить кого хочешь можно, — его бабы в бараке чуть не разорвали. А наш-то, видно, к ней чувства питал. Он скрытный человек, ничего не добьешься. Я это постепенно узнала. Сначала он ее придирами допекал, хотя она ни от чего не отказывалась — любую работу выполняла: и барак убирала, и параша, даже на повале. Его проняло, от нее несомненная святость исходила. Другой раз просто так, без дела в барак — посмотреть на нее. Меж ними слова не было сказано. Но все равно — женщина, поняла, угадала. Один только раз попросила, чтоб разрешил не выходить на работу. Его волчий закон нарушить. Мне, говорит, надо панихиду отслужить. Он сначала не мог понять: какую панихиду, о ком? Обо мне, мол, помру, срок вышел. Они были вдвоем. В загончике — вагонка на четверых отгорожена в бараке. Три ее товарки-блатняшки с утра на работе. Лагерь где-то на Урале, лес валили. А еще через день они совершили побег — втроем ушли. К ним в вагонку ходили воры из другой зоны, к своим марухам, а те к ним, их и вохра — все боялись. Вместе ушли — не знаю, сколько мужиков, но из женского лагеря трое. Уйти-то они ушли, да одного вохровца прирезали — не то он их накрыл в последний момент, не то его участь давно была решена. Короче, обнаружили его с ножом в боку в вагонке. И попадья. Чего думать: она, мол, и знала, и уход прикрыла, и убила. Может, могла защититься, не знаю, но ничего говорить не стала. Что, мол, пугаете, расстрелять можете? Только радость — оттуда сыну скорей дойдет молитва, а срок прибавите — велика разница, когда жизнь вечная или смерть вторая, тоже, мол, вечная, а тут десять, пятнадцать, ну двадцать пять лет. Что ж я стану помогать людям ловить, грех такой брать на душу? Старик приходил к ней в карпер, или в БУРе она сидела. Ему сказала, что ни в чем не виновата, да и так всем было ясно, что не знала о побеге,

те с ней не делились. Просила разыскать сына. Расстреляли — не зря себя отпела. Этот день он позабить и не может.

— Это он... старик все вам и рассказал? Значит, предчувствие? — Нет, не мог Лев Ильич понимать такие вещи.

— Не предчувствие,— сказала Вера и поднялась, — это святость. Там все по-другому. Я пойду, поздно. Знали б, как мне уходить не хочется.

— Иди, иди, — сказала Маша,— ребенок болен. А за ним я пригляжу. Аспирином, малиной еще напою.

Лев Ильич встал, голова поехала, ноги как ватные: неужто заболел?.. Вера прижалась к нему и на Машу не посмотрела, крепко поцеловала в губы, хотела что-то сказать, передумала, кинулась в дверь.

— Ушла? — Маша собирала посуду. — Совсем, гляжу, плохо мужику.

— Тяжко, — сказал Лев Ильич.— Грех жаловаться, жив, здоров. А так крутит — не знаю за что. Знаю, сил только нет.

— Не нравится мне... эта твоя. Прости, ровно бы не мое дело. Какая-то порча в ней — не пойму какая, а есть. Не верю ей.

— Да что вы? — изумился Лев Ильич. — Она хорошая, добрая да...

— Ласковая? Они такие и есть — ласковые. Ну... коли любишь. Так ты и мне не чужой. Знаешь, Лев Ильич, какой я тебе дам совет. Поговори с нашим Кирюшей: ты к кому пойдешь исповедаться?

— Исповедаться? Я и не думал еще...

— Как не думал? После крещения надо поскорей причаститься, опасно. Что ты — крестился, да не причастился? Нечистый силен, на свои силы нельзя рассчитывать, мало ли что. Что ты — думал, не думал! Завтра или через день придет — сразу к нему.

Лев Ильич растерялся. Ему в голову не приходило...

— Ты знаешь, — сказала Маша, — я его давно, лет двадцать знаю, мальчонкой был, никакой не священник, привыкла,— но все равно верю, он благодатный человек. Он и есть... той папады сын.

— Какой папады? — не понял Лев Ильич.

— Я рассказывала только что.

— Той — расстрелянной в лагере?

— Мы на том и познакомились. — Маша опять села к столу, закурила. — Никак не отстану курить, а надо бросать. Сердце болит. Давай постом вместе бросим?.. Ладно, ладно, испугался. Ты, смотрю, смурной, правда, что ли, болен? Вижу, болен, но у тебя еще что-то. Я тебе серьезно насчет исповеди-причастия. Я теперь твоя крестная мать — отвечаю за тебя.

— Так что ж... отец Кирилл? — спросил Лев Ильич.

— Тогда тебе всю историю рассказывать. Может, аспирина да пошел бы лег?

— Ну что ты, Маша, что я, ребенок? Не гони меня.

— Да хоть живи, небось не обижу. Хорошо, расскажу. Старик мой, когда вернулся в Москву, ему пенсионное время подошло, и поражения в правах не было — по чистой. К себе вернулся, недалеко, на бульваре жили. Он тяжелый человек — законник. Сейчас-то в детство впадает, а тогда другое дело, и я была молодая. Ты с какого года?

— Мне сорок семь.

— Я помоложе. Двадцать лет назад самая жизнь у меня. Я на Трехгорке работала, сразу после войны, вместе с Кирилловой Дусей. Она совсем молоденькая, а все равно подруги. Это ее квартира — здесь и жила. Не ее, конечно, Глеба отца весь дом, еще до революции профессор — Фермор их фамилия. Его я не застала, он в тридцатые годы погиб, жена вернулась из ссылки. Глеб жил внизу, а наверху ихняя кухарка так и осталась. Как их обоих забрали, она дочку прижила, Дусю. Я ее мать уже не застала, а Глебова мать при мне умерла. Дуся за ней ухаживала, я помогала. Схоронили. Я переехала к Дусе, наверх. Лариса упростила меня убирать у старика. Он один жил, как волк. Лариса с ним и двух часов не выдерживала, чуть не дрались. А ко мне сразу душой повернулся. Как-то всю эту историю он мне доложил и упрости: и деньги, говорит, дам, и чего хочешь — поезжай искать сына той папады. Мы с Дусей вдвоем и поехали в отпуск — все равно хотели к морю...

— В Ростов? — вылетело у Льва Ильича.

— А ты откуда знаешь? — удивилась Маша.

— Так я его еще раньше знал! — все больше поражался Лев Ильич.— Мне Федор Иваныч рассказывал.

— Что ж ты меня спрашиваешь?

— Я только и знаю, что её какая-то женщина бросила на кладбище, больше и Федор Иваныч не знал.

— Да, Федор Иваныч. Тут и загвоздка. Я пока до Федора Иваныча добралась — пол-России объездила. В Ростове никого не нашли, но след обнаружили. Мы девчонки ушлые были, сообразили — отправились в церковь, там старушонка торговала свечками за ящиком: «Отца Сергия? Сухановых да не знать...» И попадьё, и батюшку, и нашего Кирюшу. Отвела к другой старушонке. Они нам обрадовались, а когда я им её лагерные мытарства описала, не знали, куда меня сажать, будто я её спасала. Панихиду отслужили в церкви — по убиенной мученице Варваре... Тут мы и попали на след той несчастной женщины. Новожилова её фамилия. У неё всех поубивали, а ей ещё поповского сына на шею повесили. Перепугалась. Жила в Алтайском крае, в деревне за Барнаулом, ещё машиной километров сто... Сразу я туда не поехала. Старик послал ей письмо. Она, конечно, не ответила. Я поехала зимой. К тому времени уже ушла с работы, переселилась вниз. Потому и поехала, вину чувствовала... перед ними. Чем-то загладить. Глеб как-то попросил меня позировать, он портреты не писал, ну а тут не знаю, портрет или я ему понадобилась? Дописался до того, что Лариса уехала к старику. Глеб меня отпустил, деньги у него были. Длинная история, как добиралась до той деревни — Костин Лог называлась; никогда не был в сибирских селах? Тридцать — сорок километров одно от другого, на лошадах. Доехала. Нашла. Три дня я её уламывала. Она работала в школе завхозом, опустившаяся, пропащая женщина. Попивала. История про нашу мученицу её не проняла. Мы выпили, я заводная была, про свое наговорила — про любовь-женильбу; она раскисла, свое вспомнила — бабий разговор, короче. Сказала. На кладбище, мол, у могильщика. Я на другой день на лошадечку и домой. С Глебом отправились к Федору Иванычу. Кирюшу увидели не сразу, намыкались, пока нашли, ушел он как раз от Федора Ивановича...

Льву Ильичу дышалось все трудней. Будто он и верно читал книгу, но теперь она удивительным образом перекрещивалась с его жизнью.

— ...Кирюше тогда лет восемнадцать было. — рассказывала Маша. — Он знал, что Федор Иваныч ему не отец, а больше тот ничего не говорил да и не знал ничего. Что-то между ними произошло — ударил ли его или еще что, но он ему того забыть не мог. С Федором Иванычем у нас тяжелая была встреча на Ваганьковском. Если от церкви по главной аллее, большая изба с высоким крыльцом. Комнатушка, наверное, метров десять, темная, кресты глядят в окно...

— Был я там, — буркнул Лев Ильич. Он слушал все с большим напряжением.

— Был?.. Ну конечно, ты их раньше моего знал. Он человек простой, но такой... мрачный. Сначала и говорить не стал. У них за месяц до того произошел скандал, в нем еще все горело — обида! Подобрал, вырастил, а тут — на тебе. В тот раз ничего не добились. Глеб к нему один отправился, они крепко выпили, у ворот кладбища была пивная.

— Я и там был, — сказал Лев Ильич; помнил он, как Федор Иваныч ему в кружку с пивом доливал водку, а он ему на руки глядел.

— Ключ ко всем один, потому как замок общий. — кивнула Маша. — Он подтвердил, что мальчик у него с трех лет, а теперь ушел из дому, где — не знает, да и знать не хочет. Глеб сам стал разыскивать, тот дал ему ниточки: у церковного сторожа сынишка — ровесник Кирюши, еще кто-то, клубочек размотался. Притон был, не на кладбище, а рядом, на Пресне, сейчас поломали, возле площади стояли двухэтажные деревянные дома. Там. Курили что-то, дурели, Глеб попасть не смог — не пустили. Тогда мы с Дусей и отправились, благо она работала рядом. Вызвали Кирюшу — девки молодые, мало ли зачем пожаловали. Рано утром, помню, Дуся после ночной смены. Он вышел бледный, грязный, жалкий, как волчонок невымытый. Чего, мол, надо? Я ему сразу врезала: от матери, говорю, последние к тебе слова. Хочешь узнать? Он залился краской, затрясся. Ты знаешь, Лев Ильич, ты про чудо спрашивал, оно у меня на глазах происходило с человеком — с этим заморенным водчонком. Светлеет и своих слез не боится, как ты только что... А потом сказал: мне надо со стариком поговорить... Потом его в семинарию приняли, Глеб помог. Он верующий был человек, знал в Москве священников... Дальше все хорошо пошло: на Дусе женился, в академии — служит. А Федор Иваныч так и умер на кладбище. Они с Дусей ходили к нему, но что-то у них не получалось, хоть и вроде бы примирились. Тяжелая история... Я тебя заговорила, — взглянула на него Маша, — тебя уложить надо. Пойдем-ка наверх, аспиричику дам.

— Я не могу... сказать,— Лев Ильич чувствовал, что не в состоянии выговорить, объяснить.— Я, понимаешь, все считал литературой, а тут жизнь. Хорошая, плохая. правильная или неправильная — но жизнь. А я, как всегда, наблюдатель.

— Какой же ты наблюдатель, настоящими слезами плачешь, небось не нарисовал их?

— Ну да... Ты представить себе не можешь, как мне неловко... во, слово какое пустое! Как трудно будет с ним встретиться, как я все сам в себе... изгадил. Лучше я уйду.

— Знаешь что, Лев Ильич, ты мне не рассказывай, мне не нужно. Я простая баба, может, не так скажу, да и зачем? Мне как-то Глеб сказал, он много понимал, хотя целые дни красил да ставил за шкаф. Когда, говорит, обнаружится высшая Божья сила — в тебе или в том, что с тобой случилось, тогда все наши ловко — неловко, лъзя — нельзя ничего не стоят. Другая правда начинается — истина. Может, не теми словами, но я запомнила.

— А как узнать, — спросил Лев Ильич, — высшая сила обнаружилась или еще что? Он ко мне обращается или нет — а если еще кто-нибудь? Зачем Он такое со мной допустил?

— Не знаю, что с тобой, но Он ко всем обращается: приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вас. Приспичило, обратился — и Он тут же должен прибежать, успокоить? Экие у вас отношения с Богом! «Се стою у двери и стучу» — вон как сказано. Он к тебе пятьдесят лет стучался, ты ему дверей не открывал, а тут пришлось, вспомнил — как же, мол, тут же не откликается, не уберег от твоей же, прости меня, пакости! То ты учился — некогда; то женился — радовался, не до Него; то пьянствовал — время нет; то деньги зарабатывал — дело прежде всего. Разве стук услышать!

— Пстой, стой! — вскричал Лев Ильич.— Ты о ком? — Ему вспомнился вчерашний разговор с друзьями и по какой-то непостижимой для него ассоциации, додумать которую сил у него не было, Верин рассказ о том, как расстреливали ее деда... — Это Он к ним стучался, а им некогда: освобождали, произносили речи, убивали, а теперь... мы?..

— Кто мы? Ты что, Лев Ильич, голубчик, что с тобой? — кинулась к нему Маша.

16

Снежок шуршал, в окно скребся, день начинался серенький: «Поздно, наверно?...» Льву Ильичу почудилось — дверь стукнула, шаги на лестнице: «Ушел, что ли, кто?» Слабость была, будто неделю провалялся. Но такая тишина, покой. Он опять закрыл глаза — печально и хорошо было. В детстве, когда жил с мамой, бывало, проснешься: и болен, и ничего не болит, лежишь себе тихонько, тепло, славно, а сейчас мама войдет, подоткнет одеяло, поцелует...

Он вдруг с ужасом открыл глаза и отбросил одеяло.

Та же комната, в которой он и вчера проснулся: сумрачно, чисто, тепло. Попугай посматривал на него убогостворенно, в клетке чистота, вода в чашечке, зерно.

Он увидел на столе записку — круглый почерк школьницы: «Сладко спишь — совесть чистая! Будить жалко. Сиди дома, пойдешь — заболеешь. Пей чаю побольше с малиной, каша в духовке, найдешь. А я днем забегу. Маша».

Он так и остался сидеть, забыв листок в руке: что она с ним возится, зачем? Ну а что — за дверь, что ли, его должна была выставить, куда деваться, если он тут? Не в том дело, а почему он в сорок семь лет оказался бездомным — вот вопрос. Да и не бездомным, чепуха — и дом есть, и снять комнату можно — тоже трагедия! Но ведь счастлив был, новая жизнь открывалась, гордился... Не лишняя ли та гордость?..

Он протянул руку и взял со стола тяжелый том — тот, что Костя вчера принес и оставил. Раскрыл.

Он никогда потом не мог понять, что же все-таки произошло с ним? Он всегда был книгоцеем, увлекался, привык с детства, мама воспитывала в нем культуру чтения, но не бывало, чтоб жизнь путалась с книгой. Книга книгой, а кроме того дела: чай пить, во двор к ребятам... Книга оставалась на столе, ждала его, о ней, случалось, подумается, приятно или утомительно — но чтение — не жизнь!.. Он забыл обо всем и очнулся оттого, что растворилась дверь, вошла Маша, запорошенная снегом.

— Ты что, голубчик, только проснулся?

Лев Ильич сконфузился, но не мог взять в толк; сколько времени он так вот сидит, не одевшись, на незастланном диване, с книгой на голых коленях.

— За тобой правда нянька нужна. Давай-ка одевайся. И чаю не пил?

Маша пошла на кухню, загремела там, Лев Ильич быстро оделся, сложил постель, умылся. На плите кипел чайник, Маша накладывала в тарелку гречневую кашу.

— Хорош. И давно так вот сидишь, больной-то?.. Напьюсь чаю и побегу — у нас сегодня народ. Каникулы студенческие кончились, а моего дурачка все нет...

Он не слышал ее. Поел, каша упрела, пахучая, вкусная, чаю напился. Слабость проходила, но решил не ходить в редакцию: позвонил, что заболел, будет в понедельник.

Как только Маша ушла, он сел к столу и взял книгу.

Почему она попала к нему сегодня утром?.. Костя!.. Но почему именно Костя принес, оставил, а сам... «Откуда ты знаешь, как и через кого т о приходит?» — огорошил сам себя Лев Ильич, и ему жарко стало от радости, счастья, вернувшегося вдруг к нему. Он лихорадочно листал книгу — вот оно, место о предельном отчаянии: «Я не знаю, есть ли Истина или нет ее, — читал он. — Но я всем нутром ощущаю, что не могу без нее...» Судьбу, разум, душу — все вручаю в руки Истины, ради нее отказываюсь от доказательств. Ибо если нет ее — деваться некуда...

Неужели тебе не стыдно, — читал Лев Ильич обращенные прямо к нему слова, — хнычешь, жалуешься, не можешь жить без того и сего. Не можешь жить — умирай, истеки кровью, но живи в чистом, горнем воздухе, в прозрачности вершин, а не в духоте преющих долин, где в пыли роются куры и в грязи валяются свиньи. Стыдно!..

Лев Ильич нашарил спички и первый раз сегодня закурил. Зло не что иное, как духовное искривление, — читал он, — грех — все, что ведет к такому. Или, другими словами: грех — беззаконие: не «я» делаю, а со мной происходит, земля швыряется под ногами. все оказывается свободным во мне и вне меня — все, кроме меня!

Лев Ильич держался за книгу, как брошенный в реку, нырнувший безо всякой надежды выбраться, доплыть до берега. В эмпирической действительности, — читал он, — нет ничего безусловного, даже совесть. Только Христос идеал каждого человека — не отвлеченное понятие, не пустая норма человеческого вообще, не схема, не ходячие нравственные правила и не модель для подражания. Он — начало новой жизни. А дело каждого все равно обнаружится — это уже Лев Ильич крепко усвоил, — материал, пущенный в постройку, выявит свою природу, и дело целой жизни может оказаться ничем. День покажет подлинную стойкость — день абсолютной оценки, судный День!..

Но здесь-то куда кинуться? — лихорадочно думал Лев Ильич. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее»...

Церковь же строится из самих людей, — читал Лев Ильич с загоревшимся сердцем. — Какой же это материал? Не то, чем человек сам для себя является, а то, что он есть как Божье создание, каким он себя свободно выражает в подвиге, преодолевающим злую самость. И нет ничего прекраснее личности, которая в таинственной мгле внутреннего делания оставила мир греховных тревог и, осветленная, дает увидеть в себе мерцающий как драгоценный маргарит образ Божий. А потому тайны религии — это не секреты, которые не следует разглашать, не условный пароль заговорщиков, а невыразимые, неопишуемые п е р е ж и в а н и я , которые и не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречий, которые зараз и «да» и «нет». А потому и сама неопределимость церковности, неуловимость ее для логических терминов, несказанность — не доказательство ли, что это ж и з н ь — особая, новая, недоступная рассудку? Неопределимость православной церковности — лучшее доказательство ее жизненности. А потому и нет для в е р у ю щ е г о разделения Церкви Духа Святаго и Сына Божия, нет Церкви мистической и Церкви исторической, на которой все спотыкаются — это одно существо, вторая врастает в первую, они спаяны так крепко, что кажутся высеченными из одного камня.

«...Многими веками, изо дня в день собиралось сюда сокровище, самоцветный камень за камнем, золотая крупинка за крупинкой, червонец за червонцем, — читал Лев Ильич. — Как благоуханная роса на руно, как небесная манна выпадала здесь благодатная сила богоозаренной души. Как лучшие жемчужины сыпались сюда слезы чистых сердец. Небо, как и земля. многими веками делало тут свои вклады. Затаеннейшие чаяния, сокровеннейшие порывы к богоуподоблению, лазурные, после бурь наступающие минуты ангельской чистоты, радость богообщения и святые муки острого раскаяния, благоуханные молитвы и тихая тоска по небу, вечное искание и вечное обретение, бездонно-глубокие прозрения в вечность и детская умирненность души, благоговение и любовь — любовь без конца... Текли века, а это все прибывало и накапливалось... И каждое мое духовное усилие, каждый вздох, слетающий с кончиков губ, устремляет на помощь мне весь запас накопленной благодатной энергии...»

Да, все было так, так он и чувствовал — не зная и не понимая, не умея сказать и подумать, но он з н а л это, всегда знал! Что ему было до того, как могут прочесть услышанное им, подаренное ему неведомо за что — с насмешкой ли, с брезгливым

раздражением! Чтобы прийти к Истине, надо отрешиться от самости, надо выйти из себя, а это для него, для нас решительно невозможно, ибо мы — плоть. Но как в таком случае ухватиться за Столп Истины? Не знаем, и знать не можем, читал он. Знаем только, что сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь вечности. Это непостижимо, но это — так. И знаем, что Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философов и ученых приходит к нам, приходит к одру ночному, берет нас за руку и ведет так, как мы не могли бы и подумать. Человекам это «невозможно, Богу же все возможно»...

Да, это непостижимо, но это так, — бормотал Лев Ильич, — сама Истина делает за нас невозможное для нас. Книга обращалась прямо к нему — для него была написана. По мере приближения конца истории, читал он, являются на маковках Святой Церкви новые, доселе почти невиданные розовые лучи грядущего Дня Немеркнувшего... Те же самые слова, те же цитаты услышал он в этой комнате от Кости. Не так, не о том было написано — Лев Ильич теперь знал это твердо.

«Розовые лучи грядущего Дня Немеркнувшего», — повторил он про себя и увидел картину в комнате. Маши, выплывшую к нему из темноты: стену храма с розовеющим на ней крестом...

— Ну, хозяин, принимай гостей!

Лев Ильич поднял голову, еще не понимая: в дверях стоял Кирилл Сергеич с чемоданом, под руку ему поднырнул мальчишка — быстроглазый, с исцарапанной щекой, в шапке с опущенными и завязанными под подбородком ушами, кинулся к клетке с попугаем, тот залопотал, рассказывая о своих переживаниях. Лев Ильич, смущенный, не готовый к встрече, вскочил, громыхнув стулом.

Кирилл Сергеич зорко смотрел на него, щелкнул выключателем, зажегся свет.

— Что это вы впотымаж?

— Зачитался... Накурил у вас, простите.

— Знакомьтесь, Лев Ильич, с моим наследником, — сказал Кирилл Сергеич.

Мальчик уже разделся, розовые уши торчали, как крылья у бабочки; смело подал руку:

— Сережа.

— Разболелись, Лев Ильич? — спросила Дуся. — Сейчас я вас медом буду отпаивать.

— Спасибо, мне лучше. Маша за мной ухаживала. Я пойду, что ж... мешать.

— Бог с вами, метель на дворе, да и поздно.

— И не думайте, Лев Ильич, — сказал Кирилл Сергеич. — Может, хорошо, что заболел? — глянул он вдруг Льву Ильичу в глаза. — Болезнь другой раз посылается человеку, чтоб он остался наедине с Богом.

— Спасибо. — Лев Ильич стоял, держась за спинку стула, схватился было за карман — закурить, и смешался. — Я... если не помешаю, правда останусь.

— Вот и отлично. Вы на нас внимания не обращайтесь, мы — на вас. Читайте, перекусим и поговорим.

Окна потемнели. «День прошел!» — поразился Лев Ильич, он и не заметил за книгой.

Маша забежала, куда-то торопилась.

— Ну слава Богу, передаю дежурство над тобой. Ты у нас, Лев Ильич, переходящий: Вера — мне, я — Дусе. Не выпускай его, Дуся, он как маленький.

Сели за стол с молитвой. Если б не то, что с ним тут случилось, Льву Ильичу совсем было бы хорошо. «Чего захотел, чтоб все хорошо — заслужить надо!..»

Сережа попросился — спать пора.

— Славный мальчик, — сказал Лев Ильич, когда за ним закрылась дверь; он не знал, как начать тот разговор.

— Трудно вам было, Лев Ильич? Надо бы мне задержаться на денек — причастить вас.

Лев Ильич откинулся на стуле и впервые посмотрел Кириллу Сергеичу в лицо — оно было печальным, и опять, как в тот раз, при прощании, его поразила усталость в глазах.

— Нет, здесь не то... Я чуть было не пропал, отец Кирилл. А вернее сказать... совсем пропал.

— Ну что вы, так нельзя. Я вас предупреждал от отчаяния. Плохо! Посидите завтра в тепле, книги почитайте — я вас никуда не выпущу, а в воскресенье — у нас Прощеное воскресенье будет, исповедую, причащу.

— Даже не знаю, Кирилл Сергеич, смогу ли... — начал было Лев Ильич, но вдруг сорвался: «Защищаюсь, на других хочу свалить, чужими грехами оправдаться!..» Подумал, но не удержался: — Вы знаете Виктора Березкина?

— Березкина?.. — удивился Кирилл Сергеич. — Березкин Виктор... Погодите. Философ? Как же, знаю. А он ваш приятель?

— Приятели, — буркнул Лев Ильич, тоскливо ему стало. — Правда, что он у вас на Рождество был в храме и вы встречали его с этой, простите, шикарнейшей любовницей? Провели, хорошо поставили...

— На Рождество?.. Кажется... Был. Как же, на клиросе стояли. Хорошо поставил? Там удобно, а то народу много — не протолкнешься.

— И однако вы их... протолкнули. Он неверующий и... более того.

— Читал его статьи о Достоевском — смелый исследователь. Я-то его не так хорошо знаю, а он про Достоевского — всё, будто тот ему исповедовался. Как же, читал — он выводит атеизм Достоевского.

— Ну... и почему ж вы?

— А что такое?

— Как же вы его... встречали, провели, сами говорите, народу было много, поставили?

— Я что-то не пойму вас, Лев Ильич, а почему бы мне его не встретить и поудобней не устроить, если он мне знаком? А что неверующий, так я всегда рад атеистам в храме — глядишь, услышат.

— Но ведь чтоб его с... дамой провести, надо было кого-то потеснить — истинно верующего, да и место хорошее могли бы тем предоставить, кто того достойней. Там были поблагочестивей...

— Подостойней, поблагочестивей? — искренне изумился Кирилл Сергеич. — Вы проще говорите, что думаете, а то я вас никак не пойму.

— До конца? Ну если до конца, то и получается: здесь, в этой потрясающей книге, меня про меня заставившей забыть, сказано: нельзя различить Церковь мистическую и историческую, она как бы срослась. Но если и священник отравлен мирским — суетой ли, корыстью — да чем бы то ни было! Если... ну не о Боге же вы думали, отец Кирилл, когда моего дружка устраивали на клиросе?

— О Боге, — сказал Кирилл Сергеич, и лицо его стало серьезным. — Вот вы о чем! Понял, простите меня, недогадлив. Значит, в том, что я...

— Нет, нет! — перебил его Лев Ильич. — Тогда я все объясню, а то совсем получается глупо. Конечно, факт обыкновенный, ничего не стоящий, — и человеку сделали удовольствие, а может быть, ему и в душу западет, и притчу о блудном сыне можно вспомнить. Я другим ушибся. Этот факт, мелочь, чепуху, пусть даже вашу слабость, если вы мне ее объяснить не захотите, я, понимаете, связал единой цепью — с Адама начиная, через праотцев ко Христу, мучеников веры, святых... И если конец той цепи... у моего дружка Березкина на клиросе, тогда — ничего нет. И цепи нет, и клирос — пустое место. Я, может, сбивчиво, не так объяснил, но мне скверно, отец Кирилл, совсем плохо. Вчера Маша, а сегодня — эта книга чуть привели в себя. В ней все красиво, стройно — другой мир. Но — куда мне!..

— Хорошая книга. Молодая. Романтическая. Это большой разговор, ежели всерьез о «Столпе» и Флоренском. Но напряженность мысли о Христе несомненная и удивительная даже у нас. Хорошо, что вы ее так прочитали. Вы напрасно думаете, что я от ваших слов намерен отмахнуться, почесть этот факт не стоящим внимания. Я, правда, не знаю, почему он так вас потряс — видимо, есть свои причины, — захотите, сами расскажете. При чем тут притча о блудном сыне? Этот наш философ — нормальный либеральствующий коммунист. Конечно, коль считать всех неверующих блудными детьми...

— Простите меня, отец Кирилл, я не хотел вас обидеть.

— Бог с вами, Лев Ильич, я священник, какие могут быть обиды? Хотя, что делать, и слаб, и недостоин, способен на ошибки — вольные и невольные. Но если Богу будет угодно, я вам помогу. Если вы себе цепь представили, которая начинается в первородном грехе, а заканчивается моим несовершенством — обо мне ведь речь, не о Березкине, правильно я вас понял?.. — глянул он на Льва Ильича. — Надо ли нам подсчитывать чужие грехи, кичась своим благочестием, забывая о том, что наше собственное положение безвыходно, что вот-вот и нас призовут к ответу?..

— Что ж получается, и мораль, и нравственность, и право, моя способность оценивать поступки, добро и зло, справедливость — это ничто, у Бога все иное? Как же я тогда ориентируюсь в мире — я же в нем существую?..

— Вам даны заповеди. У вас есть Откровение, Предание, Церковь — там все ответы. «Вы выказываете себя праведными пред людьми, — сказано в Евангелии, — но Бог знает сердца ваши: ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Подумайте об этом в церкви, разложите перед собой все, о чем вы сейчас говорите:

себя, свое душевное богатство, память, сомнения, тревоги — и то, что почувствуете в церкви. Попросите Бога помочь вам оценить то и это. И все станет ясным. Я убежден — вы получите ответ.

— Церковь! — сказал Лев Ильич с горьким ожесточением. — Я прочитал о ней прекрасные слова, и когда читал, мне казалось — живу и вижу. Но что делать с сомнениями, с тем, что не можешь не учитывать и позабыть? Да, и о недостойнстве священников, и о том, что благодать в крещении может быть не передана — так ведь?

— О чем вы, Лев Ильич? Вы приходите ко Христу, себя отдаете, Ему вручаете, вам открылась жизнь вечная, а вы о чем? О ничтожестве пастырей? Да разве вы сами не слабы, разве вам не дано споткнуться на ровном месте? Почему же другой, даже облеченный властью вязать и разрешать, от того не огражден? Он такой же. Серафим Саровский ходил за благословением к священнику отцу Нифонту, который не любил подвижника, утеснял его самым недостойным образом. Столп Православия, праведный Серафим, двенадцать раз удостоенный лицеизреть Матерь Божию, просил благословения у священника, которого мирски, за его поведение, можно подозревать во всякого рода корысти! А что о крещении, то, по слову того же преподобного Серафима, благодать Духа Святаго, ниспосылаемая нам свыше в таинстве крещения, столь велика, необходима и живоносна для человека, что даже от человека-еретика не отъемлется до самой смерти. Не в этом ли и доказательство истинности, реальности Церкви — собрания спасающихся грешников, а не святых? Самый хороший человек срывается, поступает скверно, — если б это было не так, вы б ему просто не поверили. Священник не святой, он только передает благодать, а лично ею вне церкви может и не обладать. Иуда был апостолом, а разбойник — разбойником!..

— Не оставляйте меня, — попросил Лев Ильич. — Я все затоптал, у меня не хватает сил — ни преодолеть этого, ни в себе... разобраться.

— Молитесь. А я исповедую вас. В церкви. Быть может, это вам испытание, Господь ищет вас исправить — за грехом последует покаяние, слезы — не стыдитесь их.

— Пусть так. Но я еще жив, как могу, не лицемеря, идти к вам, не будучи уверенным, что завтра не совершу того же, в чем сегодня покаялся — пусть искренне, со слезами, с душевным сокрушением?

— А белье, когда отдаете в стирку, разве не убеждены — и сомнения нет! — что непременно снова запачкаете? Главное смыть грязь. Мы себе не судьи, откуда вам знать, хуже вы стали или лучше, хотя и вновь тем же согрешите? Может, строгость к себе возросла, духовная зоркость? А может быть, хорошего в себе не видите — стало быть, нет тщеславия, да и то, что боретесь, страдаете о грехе, — разве не благо, хоть и вновь мучаетесь? Ревность к себе много лучше, чем фарисейское сознание своей избранности. Когда вы сказали о Березкине, я, признаться, напугался — он плох, недостойн, а мы, выходит, достойны? Помните притчу о мытаре и фарисее, благодарившем Бога за то, что он не такой, как прочие, лучше?.. А Богу один кающийся грешник приятнее, чем десять самодовольных праведников.

— Ну а Бог, Он прощает святотатство?

— Бог есть любовь, Лев Ильич, милосердие. На что вам еще уповать?

17

В церкви было пустынно, холодно и сумрачно. А день обещал быть хорошим, и когда Лев Ильич добирался сюда, с радостью поглядывал в небо, голубевшее сквозь редкие облака. Он был собран, напряжен, растерянность, которой встретил позавчера отца Кирилла, ушла — ему казалось, он готов к тому, что ему предстояло.

Он и готовился вчера целый день. С утра тихо было в квартире: Кирилл Сергеич ушел, мальчик убежал в школу. И Дуся куда-то отправилась. Он читал Флоренского, а потом раскрыл Евангелие: отец Кирилл посоветовал — от Луки и Иоанна...

Солнечный луч задрожал в зарешеченном цветном стекле, прорвался, прорезал церковь, и она наполнилась светом. Читались Часы, в церковь шли и шли люди, все больше свечей пылало, потрескивало у икон Спасителя, Божьей Матери, святых и мучеников.

Из боковых дверей показался священник в облачении с тяжелым золотым крестом. Лев Ильич не сразу узнал отца Кирилла — лицо было суровым, он казался старше. Две старушки кинулись за благословением, он о чем-то говорил с ними, увидел Льва Ильича и кивнул ему. Глаза у него были строгие, не улынулись, ничем не ободрили.

— Сейчас будет общая исповедь у другого священника, у того алтаря. А вас я исповедую.

Лев Ильич поднялся на две ступеньки, они отошли к боковому приделу. Отец Кирилл дал ему в руки раскрытый молитвенник.

— Почитайе пока, а я подойду...

Лев Ильич смотрел в книгу и ничего не видел. Буквы прыгали, пот заливал глаза. Он перекрестился, вытер платком лицо. «Господи, как сказать об этом?..»

Отец Кирилл, оборотаясь к иконам, начал молиться.

— Говорите все, что есть и лежит на душе, — сказал он, повернувшись к нему. — Помните, что не мне говорите, но Христу, невидимо стоящему сейчас между нами.

Лев Ильич забыл все слова, что приготовил, что так стройно было накануне обдуманно, где он, не щадя себя, пытался уложить, сформулировать все, что случилось с ним за эту неделю. Сейчас у него не было слов и душа словно окаменела. Он не знал, сколько это длилось. «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...» — услышал он вдруг в себе слова молитвы, произнесенной отцом Кириллом в день его крещения в комнате с попугаем.

— Я слышу вас, Лев Ильич. — сказал отец Кирилл, — не смущайтесь. Вы перед лицом Спасителя.

И тогда он почувствовал Его присутствие: как ветер пронесся по храму — что стоили его сомнения, рассуждения, претензии, жалкий суетливый бунт перед бьющим ему прямо в лицо снопом света! Да, это был с у д. Лев Ильич так отчетливо увидел себя — и фарисеем, пришедшим в храм помолиться, в глубине души зная, что он не такой, как все: и женщиной, взятой в прелюбодеянии; и богатым юношей, не способным отказаться от своего достоинства; и управителем, растратившим доверенное ему имение...

— Слава тебе, Господи, за твою милость и доброту ко мне! — прошептал Лев Ильич дрогнувшим голосом.

Он упал на колени, заговорил, не мог остановиться, и замолчал, только почувствовав руку на своей голове.

Отец Кирилл был взволнован. Лев Ильич успел заметить это прежде, чем тот накрыл его епитрахилью и отпустил. Лев Ильич поцеловал Евангелие и крест, лежащие перед ним.

Шла литургия, дьякон выходил, подпрыгивая, летящей походкой, взывал — и хор, и вся церковь вздыхала: «Господи, помилуй!» О патриархе, иерархах, о воинстве, о храме, о плавающих, путешествующих, страждущих и плененных и о спасении их, о избавлении нас от всякия скорби, гнева и нужды. «Господи, помилуй...» — шептал Лев Ильич. «Пресвятую, Пречистую, Преподобную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим!..»

— Тебе, Господи!.. — шептал Лев Ильич.

С клироса возгласили блаженства, и Льву Ильичу так легко было креститься, повторяя их про себя: «Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное...»

Раскрылись Царские врата. Апостол вынесли на середину храма... «Вонмем!» — громыхнул дьякон... «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!..» — пел хор...

Шла, нарастая, заполняя все углы храма, во всем своем великолепии удивительная служба. Лев Ильич видел, когда открывались Царские врата, молящегося отца Кирилла, воздевавшего руки — и он знал, что когда молится он обо всех христианах, где б они ни находились сейчас — в дороге ли, в болезни, в заточении или в пропастях земли, — он помнит и про него. «За что мне это?» — думал Лев Ильич. Да это и вредно, какой-то компромисс, несправедливость — ставить меня на одну доску с теми, кто всю жизнь, чистотой достоин прощения и того, что сейчас здесь происходит? Только если отказаться от логики, если это и впрямь безумие, абсурд?.. Но он ведь и пришел сюда безо всякой логики, против смысла, которому всю жизнь пытался быть верен, — что его сюда привело, почему? Только на это может быть надежда — на Божие милосердие вопреки всему, безо всякого основания. Только сочувствие, жалость, милость, над которыми не властны мирские разум и справедливость. «У меня нет права, Господи, у меня только надежда — впрочем, да будет воля Твоя!» — сказал он шепотом и поднял голову.

«Отче наш, Иже еси на небесех!..» — начал хор, и вся церковь подхватила слова Господней молитвы.

Слезы стояли в глазах Льва Ильича, он не сразу различил иконостас, вознесшийся высоко над Царскими вратами, так что надо было запрокинуть голову. Под самым куполом, под изображением Спасителя на Кресте, стояли праотцы, пророки, апостолы, святые, мученики... Слезы мешали ему различить лики, и вдруг на какое-то

мгновение он увидел, что они вышли из золотых рам: стояли в храме, служили вместе со всеми — вместе с ним, Львом Ильичом — литургию, стояли твердо, спокойно, глядя ему в лицо, ступили из стены, наполнив весь видимый в храме придел.

Он сморгнул набежавшие слезы. А когда еще раз рискнул поднять голову, иконы снова сияли на стене, но он уже знал о живом присутствии всех, кем живет и всегда будет жива Православная Церковь.

Врата Царские снова растворились, и дьякон возгласил: «Со страхом Божиим и верою приступите!..»

Лев Ильич подвигался вслед за причастниками.

— Руки, руки сложи, сынок... — прощамкала, обернувшись к нему старуха.

Он сложил руки крестом на груди, подвинулся еще вперед и увидел прямо над собой отца Кирилла со святой чашей и дьякона с красным платком подле него.

— Причащается раб Божий Лев... во оставление грехов и в жизнь вечную...

— Лев Ильич, поздравляю вас!..

Он глядел и не узнавал: «Кто это?»

— Я так рада вам... здесь. Со святым причастием! Простите меня!

— Господи, Таня! — обрадовался Лев Ильич.

— Вы знаете отца Кирилла? — шептала Таня. — Мне с вами нужно поговорить. Вы куда пойдете после обедни?

— Да, да... — не понимал ее Лев Ильич, перед ним все звенело и радовалось. — Вместе пойдем.

— Ко кресту будете подходить?

Он глядел на нее, не понимая. Какая она красивая, совсем девочка, как его Надя. и глаза, когда не намазаны, глубокие, ясные.

— Подождите, сейчас проповедь... — шептала Таня.

Они протиснулись поближе к алтарю.

Лев Ильич держал Таню за руку, и его проникло ощущение удивительной, ни на что не похожей близости с этой девушкой, про которую он, как казалось ему, всегда все понимал, а вот не знал самого главного.

Он опять увидел отца Кирилла высоко над собой у Царских врат.

— Помните, — услышал он слова священника, снова обращенные прямо к нему, — что учеников Христа после Вечери ожидали тягчайшие испытания. Сын Божий был схвачен, унижен, побиваем и распят вместе с разбойниками... Есть три пути от Тайной Вечери: путь Христа — страдания, смерть и воскресение, путь его учеников — заснувших в Гефсимании, и путь Иуды — предавшего и погибшего...

— Господи!.. — прошептал Лев Ильич и услышал:

— Храни вас Христос!

— Спаси вас Господи! — ахнула церковь.

Он шел ко кресту вместе с Таней.

«...Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси...» — хрипловато читал на клиросе лысый старик в стареньком пиджаке.

Отец Кирилл, усталый и взволнованный, наклонился и подносил каждому подходившему крест, с иными разговаривал.

Он поцеловал сверкающий золотом тяжелый крест в руке священника.

— Приходите обязательно, — сказал ему отец Кирилл. — Я сегодня буду поздно. У меня требы, потом всенощная. Сегодня чин прощения. Простите меня за все...

Лев Ильич не знал, что ответить.

— Простите вы меня! — нашелся он наконец.

Они расцеловались.

— Я, может, домой сегодня пойду, — вырвалось у Льва Ильича неожиданно для него самого. — Я еще подумаю. Или лучше завтра?..

Отец Кирилл внимательно и длинно посмотрел на него.

— Идите сегодня. Прощеное воскресенье — не забудьте.

(Продолжение следует)

ЗИНАИДА МИРКИНА

*

В МОЛЧАНЬЕ

* *

*

Где музыка живет, когда она
в пространстве нашем больше не слышна?
Не движется, как сонная вода,
и будто не втекает никуда,
но полнится... И кажется, вот-вот,
мир переполнив, через край пойдет...

Ночные сосны светятся во тьме.
И отразился и повис в уме
тот в зеркалах не отраженный вид,
тот звук, который в этот миг молчит.

* *

*

Из инобытия... из теми...
из тесноты передо мной
незримо вырастает время,
развертываясь, как весной
из почки лист.

О, как нам труден
наш первый шаг, наш робкий свет!..
Бог е с т ь, но Он еще лишь
будет...
Бог есть. И все же — Бога нет.

Мир не родился. Он сегодня
рождается. О, как же нам
увидеть скрытый лик Господний?
Ведь Он еще ни здесь, ни там...

Из инобытия, из теми...
Кто угадал, кто досмотрел,
кто внутрь себя вместил все время —
тот знает времени предел.

Оно должно остановиться,
свершив свой полный разворот.
И вот тогда-то мир родится.—
Бог станет зримым. Он придет.

* *

*

Крещение — это погруженье
Внутрь, в сердцевину бытия.
По чутким замершим ступеням
Беззвучно погружаюсь я,

И наступает миг причастья
Тому, что не имеет дна.—
Мир внешний над душой не властен:
Я наконец-то крещена.

В вечерний час, час равновесья
Недвижных вод и дымных гор,
Незримый Ангел в поднебесье
Крыла прозрачные простер,
Но в нашей суете и гуле
Мы и заметить не смогли,
Что, словно птицу, вдруг спугнули
С небес Хранителя земли.
И всё еще не угадали,
Как наша звездочка мала, —
А эта высь и эти дали —
Лишь легкий взмах его крыла...

* *
*

Конец? Но там, во тьме глубокой,
Вот там, где нас безмерность ждет,
Ты можешь повернуть к истоку —
Есть этот тайный поворот...
И дух его нащупать волен
Еще в плоти, еще в крови,
Зайдя за мыс последней боли,
В простор немереной любви.

* *
*

А если море долго слушать
И долго видеть пену вала,
Оно наращивает душу,
И сколько б ни было — все мало.
И все же где-то есть барьеры.
Вот так, как стенки у сосуда,
Так у души есть чувство меры —
Тот горизонт, где всходит Чудо.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. ГЛАГОЛЕВ

*

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Последняя мировая война, вторгшись в СССР, неожиданным образом привела к улучшению положения Церкви в социалистическом государстве. Перед 1941 годом на всю страну оставались действующими около ста храмов и пять служащих на свободе архиереев. В таком городе, к примеру, как Киев, служило «полтора» храма (один, Никольско-Набережный, обходился дьяконом, без священника).

На оккупированной немцами территории народ, еще не уяснив сущности пришедшего режима, попытался вернуться к свободной трудовой жизни, от которой он несколько десятилетий был насильственно оторван коммунистической тиранией. Надежды эти вскоре разбились о жестокую действительность. Но порыв многомиллионного народного организма к переменам и духовному выпрямлению оказался столь сильным, что на всей захваченной немцами территории стихийно начался религиозный подъем. Оккупационные власти не препятствовали этому процессу, так что вскоре на подвластных им землях открылось около шести тысяч православных храмов и десятки обителей. В том же Киеве возобновилась деятельность более дюжины храмов и пяти монастырей (для сравнения: сейчас, после частичного возврата Лавры, монастырей всего три).

Волеизъявление народа, столь ярко выразившееся в стремлении жить церковно, было так очевидно, что заставило советское руководство спешно перестроить свою антирелигиозную политику. В догматическое обоснование ее нового варианта Сталин положил понятие «патриотизма», проявленного Церковью и верующими. С того исторического момента и до сего времени постулат о «патриотической позиции» духовенства стал чуть ли не единственным официальным оправданием существования в советском обществе религиозных организаций и открытых проявлений религиозной жизни. Что же конкретно скрывается за этой расплывчатой формулой?

Танковая колонна имени Дмитрия Донского и эскадрилья боевых самолетов имени Александра Невского, построенные на церковные средства, — пример, кочующий из одной пропагандистской брошюры в другую; неопределенное упоминание о неких священниках, помогавших партизанам, за несколько эффектных кадров из документальных фильмов: бабушки в храмах, ставящие свечи за победу, — вот, пожалуй, и все, что может узнать рядовой советский человек или специалист-историк о данном вопросе.

Священство «под немцем» — не менее неисследованный раздел этой засекреченной темы. Те же брошюры, упомянув о патриотизме безымянных представителей духовенства, выливают ушат клеветы и обвинений в измене родине на целый ряд конкретных священнослужителей. А могли рассказать хотя бы о тех, кто выполнял задание в тылу врага. Я видел фотоснимки московского священника, заброшенного к партизанам Югославии: рядом с дюжиной бойцами с красными звездами на паняхах он выглядел интеллигентным замполитом с бородкой. Но если не затрагивать бывших на задании, то и сейчас при самых осторожных оценках можно утверждать, что на оккупированной земле священнослужители восстанавливали храмы и общинную жизнь, старались помочь народу в его новых бедах.

Краткая запись священника Алексея Александровича Глаголева — бесхитростное и скупое свидетельство о поведении рядового священнослужителя, старавшегося помогать людям, преследуемым гитлеровской карательной машиной. Заметка писалась в 1945 году специально по требованию церковных властей, что называется, по свежим следам, для «отчета» наверх: тогдашнему первому секретарю ЦК КПУ Хрущеву и уполномоченному по делам Русской Православной Церкви Ходченко.

За сухим описанием событий можно не заметить и как бы пройти мимо мужественной личности автора. Между тем она резко неординарна и вступает в противоречие не только с образами, рисуемыми атеистической пропагандой, но и с той сусальной картинкой патриотического «церковного деятеля», которая создана в послевоенную эпоху в кругах Московской Патриархии.

Невысокая худенькая фигурка в длинном плаще и соломенной широкополой шляпе на куполе храма: идет ремонт кровли. Тонкое лицо в очках, за стеклами которых кротко смотрят грустные, чуть выпуклые глаза.

Родился он в Киеве 2 июня 1901 года. Детство его прошло на древнем Подоле; отец — знаменитый протоиерей Александр Глаголев, настоятель храма Николая Доброго (в котором венчался Михаил Булгаков), профессор Киевской Духовной академии, специалист по Ветхому завету и еврейской истории. Всероссийскую известность протоиерей Александр получил как эксперт на суде по делу Бейлиса, обвиненного черносотенными кругами в ритуальном убийстве русского подростка, на котором Александр Глаголев авторитетно засвидетельствовал полную абсурдность обвинений. Почти через десять лет, в 1922 году, на другом суде, над Петроградским митрополитом Вениамином (Казанским), человеком святой жизни, обвиненном в сопротивлении распоряжениям советской власти, его адвокат Гурович заявил красным судьям, что он, еврей, счастлив засвидетельствовать уважение к русскому духовенству, отстоявшему в лице священника Глаголева правду на киевском процессе¹.

Не удивительно, что, обитая в церковно-профессорском кругу, с его своеобразной атмосферой, Алексей Глаголев впитывал в себя ее лучшие, благодатные веяния: трезвую ученость и ясную веру. Во время детских игр Лесик, как звали его в семье, всегда брал на себя роль священника, строил храмы и «крестил» в них сверстников.

В начале 20-х годов он, с последним выпуском, окончил курс в Киевской Богословской академии (под таким названием Киевская Духовная академия смогла прожить ненадолго свое существование). Однако в силу социального происхождения, несмотря на полученное прекрасное образование (в совершенстве владел основными европейскими языками и древнегреческим), Алексею Александровичу пришлось работать чернорабочим на заводах, сезонным рабочим в Институте сахарной промышленности, счетоводом, и так до 1936 года, когда ему удалось поступить на математический факультет пединститута (окончил в 1940 году).

Поначалу, по просьбе отца, Алексей Александрович отложил принятие священства до исполнения канонического возраста Христова, а когда он наступил, времена слишком переменились... В 1927 году исполняющий обязанности Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополит Сергей (Страгородский) издал знаменитую «Декларацию». После ее опубликования девятый вал новых, самых длительных гонений обрушился на верующих.

Алексей Александрович входил в общину замечательного киевского священника Анатолия Жураковского, состоявшую из интеллигенции и молодежи. Общинники стремились возродить древний образ христианской жизни, сберечь культурные традиции разрушаемого русского общества, сохранить свободу и высокое достоинство Церкви. Не удивительно, что о. Анатолий и его паства порвали с митрополитом Сергеем, перестали возносить его имя за богослужением (движение «непоминających») и одни из первых ушли в Катакомбную Церковь².

Глаголев и его жена, Татьяна Павловна, урожденная Булашевич (ум. в 1981 году), предоставили свою квартиру на втором этаже двухэтажного аварийного домика по Десятной улице для тайных богослужений. Подпольная киевская церковь была довольно многочисленна, одно время (по праздничным дням) служба шла сразу в трех-четыре местах. Духовным главой этой церковной группы в 30-е годы всеми признавался выдающийся старец схимник-епископ Антоний (Абашидзе). В далеком прошлом ректор Тифлисской семинарии Давид Абашидзе попал на хрестоматийную когда-то картину придворного художника Бродского, изображавшую исключение юного Сталина из семинарии. При этом по воле партийного императора, как рассказывают очевидцы, у старца имелась кремлевская грамота, оберегавшая его от арестов.

Когда с приходом немцев появилась возможность выйти из подполья, Алексей Глаголев, по благословению схиархиепископа, принял священный сан. Управляющий Киевской епархией епископ Пантелеймон назначил о. Алексея настоятелем Покровской церкви на Подоле. Вокруг этой церкви в основном разворачиваются описываемые в воспоминаниях события. В краткой «Автобиографии» он так вскользь упоминает о том же: «Божией помощью я спас несколько советских граждан, русских и евреев».

Как складывалась его судьба в дальнейшем? «Во время немецкой эвакуации из Киева, — пишет о. Алексей в официальной справке, — я был насильно угнан, ограблен и избит фашистами». К счастью, ему удалось бежать.

Наконец Киев освобожден; экзарх Украины митрополит Иоанн утверждает о. Алексея в должности настоятеля Покровской церкви, рапорты о его подвиге отправляются в высокие инстанции. Но радость победы не могла заслонить горького положения Церкви, на этот раз под мрачной опекой Верховного Главнокомандующего.

Начались новые неприятности. Еще при немцах о. Алексей открыл на дому нечто вроде школы для желающих принять священство. Когда кое-где по стране стали открываться духовные учебные

¹ Профессор-протоиерей А. Глаголев расстрелян в подвалах киевского НКВД в 1937 году.

² См. книгу «Священник Анатолий Жураковский. Материалы к житию». УМСА-PRESS. 1984, с моими предисловием и комментариями.

заведения, в частности семинария в Киеве, церковные власти отказались допустить туда о. Алексея в качестве преподавателя.

Молодежь тянулась к этому на вид невзрачному священнику, стучалась в двери его квартиры, и он до последних лет жизни на дому негласно продолжал заниматься с желающими; семинария в очередное, уже хрущевское гонение на религию вновь закрылась, а он по-прежнему учил — и многие его ученики в результате были рукоположены и служат до сих пор. (За некоторых ему пришлось расплачиваться: родители писали доносы, а стражи государственной безопасности терзали на допросах больного священника.)

За годы его настоятельства Покровская церковь (памятник архитектуры XVIII века, архитектор Григорович-Барский), полученная общиной в аварийном состоянии, была капитально отреставрирована, заново построена кирпичная ограда. А в 1960 году храм снова отняли у верующих. Больше о. Алексею не суждено было стать настоятелем...

Умер он 22 января 1972 года в сане протоиерея и погребен на Байковом кладбище.

Церковное начальство не жаловало его, чужим он казался и для собратьев-сослужителей, но в Киеве 50—60-х годов он стал духовным центром для «бывших» людей, для уцелевшей старой церковной интеллигенции, опорой для ростков новой верующей молодежи (сейчас это, в свою очередь, уже пожилые отцы христианских семейств).

Когда говорят о тяжелых нравственных болезнях России, я вспоминаю некоторые имена, и одно из них — священник Алексей Глаголев. При мысли о нем ощущается личность, надежная и скромная, средь бурь житейского моря сохранившая верность Христу. Маяком для него была смиренная любовь к Богу и безмерная жалость к человеку. Быть может, свет, исходящий от подобных людей, растеплит и возродит Россию.

П. ПРОЦЕНКО.

... **28** сентября 1941 года на всех перекрестках Киева появился приказ о том, что «...все жиды миста Києва повинни з'являтися 29 вересня, о 8 годьни ранку, на Дегтяривську вулицю коло жидивського кладовища». Предлагалось взять с собой ценные вещи и теплую одежду. Было объявлено, что не только не подчинившиеся этому приказу евреи, но и все лица, осмелившиеся их укрывать, будут расстреляны. Ужас охватил сердца людей — не только тех, к кому непосредственно относился этот приказ, но и всех, в ком сохранилось хоть какое-то человеческое чувство.

Никто не знал, что именно ждет евреев, но ясно было: ничего доброго ждать не приходится. Одно уже назначение еврейского кладбища местом сбора и полное умолчание о том, брать ли с собой какой-нибудь запас пищи, не предвещали ничего хорошего. Обреченные то впадали в полное отчаяние, то как утопающие хватались за соломинку, питая слабую надежду на то, что к еврейскому кладбищу будут поданы железнодорожные составы, на которых их увезут куда-то из города.

Изгнание, тяжелые работы, даже концлагерь — все это не казалось таким страшным, как насильственная смерть, ибо «dum spiro, spero» (пока дышу, надеюсь). Пока человек дышит, в нем теплится надежда на избавление от этой неволи, на спасение и своей жизни, и жизни своих детей и близких.

Идти же на расстрел самим, да еще своими руками нести или вести туда же собственных детей и видеть перед смертью, как их оторвут от матери и будут убивать на твоих глазах, — эта мысль была настолько ужасна, что каждый гнал ее поскорее прочь. Вот почему всем хотелось верить, что евреев ждет только высылка из города, больше ничего. Но верилось плохо, и эти сутки зловещей неизвестности были так нестерпимо мучительны и страшны, что во всех концах города стоял дикий предсмертный вопль ожидающих своей гибели людей.

После ужасной ночи наступило еще более мрачное утро.

По направлению к еврейскому кладбищу, повинувшись немецкому приказу, потянулись непрерывным потоком десятки тысяч евреев. Здесь были и цветущие, здоровые юноши и девушки, и горькие, дряхлые старики, и полные сил мужчины, и слабые перепуганные женщины, и дети всех возрастов, даже грудные младенцы.

Многие из них были роскошно одеты и везли на ломовых извозчиках целые горы дорогих вещей, другие, победней, сами везли свои вещи на тележках и детских колясках, третьи тащили все свои пожитки, навьючив их не только на себя, но и на своих маленьких детей, четвертые вели или несли своих больных и калек. Их обгоняли легковые извозчики, на которых совершали свое последнее земное путешествие известные киевские профессора, врачи и адвокаты-евреи.

И все эти люди стекались с разных концов города малыми ручейками в один огромный, нескончаемый поток, устремленный к еврейскому кладбищу.

Потрясающее было зрелище!

Что делать? Как предотвратить готовящееся зло? Эти вопросы роились в измученной голове. И вдруг ко мне через общих знакомых обратилась одна несчастная женщина, умоляя спасти ее и ребенка. Это была Изабелла Наумовна, урожденная Миркина, дочь очень известного в Киеве зубного врача.

Она надеялась, что если я походатайствую за нее перед городским головой и засвидетельствую, что она замужем за русским, то ей дадут право не подчиниться немецкому приказу от 28 сентября. Я сейчас же написал письмо, и моя жена побежала с ним в городскую управу. Все мы надеялись, что городской голова посчитается с моей просьбой, поверив свидетельству сына уважаемого им профессора протоиерея Глаголева, в приходе которого он родился и прожил всю свою жизнь. Но из этого ровно ничего не вышло. Бывший тогда городским головой профессор Оглоблин вышел в приемную бледный и растерянный и сказал, что, к сожалению, он ничего не может сделать, так как немецкие власти заявили ему, что еврейский вопрос — личное дело немцев и украинским властям они не дают никакого права в него вмешиваться. Попасть же к кому-либо из представителей немецкой власти не оказалось никакой возможности, так как в этот день все двери были наглухо закрыты.

Лишившись последней надежды получить право на легальное существование, Изабелла Наумовна бросилась догонять свою семью, чтобы разделить с нею общую участь, но ни отца, ни сестры, ни мачехи в условленном месте возле кладбища уже не оказалось, да и многих уже не оказалось, — все они уже перешагнули за ту грань, из-за которой никому нет возврата, ибо, как мы впоследствии узнали, в этот день и в последующие дни в Бабьем Яру за еврейским кладбищем было зверски расстреляно более 70 тысяч евреев.

Несчастных ставили над обрывом, расстреливали из пулеметов и засыпали землей не только убитых, но и живых, даже не смертельно раненных.

По другим сведениям, взрослых убивали током, а детей просто швыряли в яму и зарывали живьем.

Уже в начале первого дня многим евреям стало ясно, что никаких эшелонов нет и что их гонят прямо на убой.

Страшные слухи быстро распространились среди собравшихся у еврейского кладбища, а оттуда по всему городу и заставили всех содрогнуться от ужаса. Говорят, что многие в ожидании своей участи сходили с ума и тут же, у стен кладбища, принимались танцевать или хохотать безумным смехом. Некоторые предпочли сами наложить на себя руки. Многие стали искать убежища в Церкви, умоляя священников поскорее крестить их вместе с детьми, и этим спастись от смерти, на которую они обрекались как евреи. И некоторые действительно крестились, но это их не спасло, так как немцы считали, что, и будучи крещенными, они остаются все равно евреями и не заслуживают лучшей участи.

* * *

Был уже вечер, когда Изабелла Наумовна вторично подходила к еврейскому кладбищу. Вдруг какая-то женщина окликнула ее: «Куды вы?! Не йдите туды, не йдите, бо не вернетесь!..»

Поздно вечером, совершенно разбитая, она добралась до квартиры, где жили мать и сестра мужа. Но что же было делать дальше? В этом доме и дворник и все жильцы знали, что она еврейка. Остаться здесь значило погибнуть и погубить других. И вот опять родственники Изабеллы Наумовны обратились к нам, умоляя ее спасти. Мы с женой не спали всю ночь, мучаясь и безрезультатно ища способа для ее спасения. Какие же мы христиане, если оттолкнем несчастную, с таким упованием просящую к нам руки и умоляющую о помощи?

И вдруг жене моей пришла в голову отчаянная мысль: отдать Изабелле Наумовне свой паспорт и метрическое свидетельство о крещении и с этими русскими документами отправить ее в село к знакомым крестьянам.

Это было, конечно, очень страшно и трудноосуществимо. Понятно, какой опасности подвергалась моя жена, оставаясь без паспорта в такое тревожное время, когда немцы в каждом жителе Киева видели беглого еврея. Кроме того, на паспорт вместо фотокарточки моей жены надо было наклеить фотокарточку Изабеллы Наумовны, снятую с ее паспорта. Возможно ли это? Но я твердо надеялся, что Бог нам поможет в этом добром деле. Так оно и случилось. К счастью, паспорт моей жены во время бывшего у нас в доме пожара был залит водой и пришел в такое состояние, что печать на нем сделалась совершенно неясной и расплывчатой. Это и дало

возможность, подмочив фотокарточку Изабеллы Наумовны, наклеить ее на место прежней.

Рано утром жена побежала разыскивать Изабеллу Наумовну, которую мы никогда в жизни еще не видели. Она нашла ее в кладовке под лестницей, замаскированную дровами, где та оплакивала гибель своего отца, любимой сестры и мачехи и ежесекундно ждала такой же участи для себя и своей дочери. Можно себе представить, как она обрадовалась неожиданному приходу моей жены с русскими документами. Вечером она отправилась на Злодиевку, где и прожила у крестьян два месяца.

В этот период жена моя чуть не поплатилась жизнью за свой отчаянный поступок. Ходившие по квартирам с целью реквизиции гестаповцы потребовали у нее паспорт и, когда его не оказалось, заявили, что отведут жену мою в гестапо как подозрительную личность. А уж из гестапо редко кто возвращался домой. Едва-едва удалось их упросить оставить жену в покое, удостоверив свидетельскими показаниями ее личность.

В то время как подлинная Татьяна Павловна Глаголева подвергалась в Киеве таким опасностям, новоявленная Татьяна Павловна довольно мирно проживала в 50 километрах от Киева в селе Злодиевка на правом берегу Днепра.

Но, к сожалению, месяца через полтора после ее поселения здесь сельские власти стали поглядывать на нее с некоторым подозрением и наводить о ней справки у живущих по соседству крестьян. В этом не было ничего удивительного, так как городская женщина, поселившаяся вдруг, ни с того ни с сего, без всякого дела в крестьянской хате, да еще не летом, когда в Злодиевке поселяется множество дачников, а глубокой осенью, когда все оттуда разъезжаются, несомненно должна была производить странное впечатление. Кончилось тем, что Изабеллу Наумовну вызвали в сельраду для установления ее личности.

Кое-как выпутавшись из этой неприятности, Изабелла Наумовна поспешно бежала в Киев и поздно вечером 29 ноября явилась вдруг к нам как снег на голову. С этого момента она, а затем и ее десятилетняя дочь Ирочка поселились у нас под видом родственниц и в течение двух лет никуда от нас не уходили. Мы всюду странствовали вместе.

Прятать их приходилось и у себя в квартире, и на церковной колокольне. Задача была очень трудная, так как надо было скрывать Изабеллу Наумовну не только как еврейку, но и как женщину, подлежащую по своему возрасту отправке в Германию или мобилизации на постройку мостов и дорог, что было бы для нее гибелью, так как, во-первых, ее расстроенное здоровье не выдержало бы тяжелых работ, а во-вторых, там мог встретиться кто-нибудь из прежних знакомых и выдать ее, даже против своей воли, одним неосторожным восклицанием.

Кроме Изабеллы Наумовны Миркиной и ее дочери Ирочки нам удалось спасти еще несколько евреев. К числу таких относятся Полина Давыдовна Шевелева и ее мать, Евгения Акимовна Шевелева. Полина Давыдовна, молодая женщина 28 лет, была замужем за украинцем Дмитрием Лукичом Пасичным; жили они в большом доме под № 63 по улице Саксаганского. Здесь их и настиг роковой приказ от 28 сентября. Сразу почуяв недоброе, Дмитрий Лукич Пасичный решил, что спешить на еврейское кладбище его жене и теще особенно нечего, и, заперев их в квартире, отправился на разведку.

Он явился в назначенный для евреев час на Лукьяновку и в своих изысканиях зашел так далеко, что был задержан и чуть сам не погиб вместе с евреями. Едва-едва удалось ему оттуда вырваться.

Ему стало ясно, что отправить жену и тещу на еврейское кладбище — значит отправить их на расстрел, и он решил во что бы то ни стало укрыть их от немцев. Это было очень трудно, так как в доме знали, что они еврейки.

Каждую минуту в квартиру могли ворваться немцы и увести бедных женщин на расстрел. Такой ужасный конец был уделом многих, забившихся в смертельном страхе куда-нибудь в подвал; их находили там и беспощадно гнали на смерть в Бабий Яр. Бедный Пасичный ломал себе голову, ища какого-нибудь выхода из создавшегося безнадежного положения. Необходимо было как можно скорей увести измученных женщин из их тягостного заточения, где они ни одной секунды не были гарантированы от смерти.

К счастью, Пасичный встретил жену моего брата, певицу Марию Ивановну Егоричеву, которая работала раньше с его женой. Она посоветовала ему обратиться за помощью ко мне, объяснив, что я сын покойного профессора-гебраиста отца Александра Глаголева, который в течение своей тридцатипятилетней священнической и профессорской деятельности всегда выступал на защиту угнетенных и невинно осужденных людей, независимо от их национальности и от того, к какому вероиспо-

веданию они принадлежат. Она рассказала, как в 1905 году во время еврейского погрома отец мой, несмотря на свой мягкий и даже робкий с виду характер, не побоялся выйти во главе крестного хода навстречу разъяренной толпе, убеждая ее прекратить свое злое, нехристианское дело; а в 1913 году, когда его назначили экспертом по делу Бейлиса, выступил в защиту евреев от возводимой на них клеветы — обвинения в ритуальных убийствах.

Мария Ивановна высказала надежду, что я буду верен тем принципам, в которых воспитывал нас отец, и сделаю все возможное, чтобы спасти обреченных женщин. Я перерыл все уцелевшие в бумагах моего отца обрывки старых церковных записей и, к счастью, нашел бланк давно уже отмененного и потерявшего силу гражданского акта — свидетельства о крещении. На этом бланке и была написана метрическая выписка о крещении Пелагеи Даниловны Шевелевой, родившейся в 1913 году от православных родителей. Гербовую марку для этого свидетельства достал сам Пасичный, отклеив ее от старого документа, выданного в свое время какому-то зубному врачу и дававшего ему право на открытие зубного кабинета.

К сожалению, год выпуска этой марки совершенно не соответствовал году, значившемуся на выданном Полине Давыдовне свидетельстве о крещении. С этим весьма сомнительным документом Полина Давыдовна с матерью были тайком приведены в церковную усадьбу и помещены в маленьком домике под № 6 по Покровской улице, который находился в ведении нашей церковной общины. Этот уединенный домик, расположенный в глубине сада, был построен в 1909 году для моего отца, настоятеля Добро-Никольской церкви. Здесь я прожил с восьмью до двадцати девяти лет: рос, учился, женился. Здесь родились мои старшие дети. И когда (после тринадцатилетнего отсутствия) я вновь перешагнул порог этого домика, мне захотелось, чтобы он, в память о моем покойном отце, послужил каким-либо хорошим целям. Вот в нем-то и удалось укрыть от рук убийц Полину Давыдовну и ее мать.

Во всех действиях, направленных на дело спасения Изабеллы Наумовны с дочерью и Полины Давыдовны с ее матерью, помогал мне мой друг Александр Григорьевич Горбовский. Он, не желая работать у немцев, оставил свою прежнюю работу в Академии наук и числился у меня управляющим церковными домами, что давало ему официальное положение во время немецкой оккупации. Этот человек, рискуя головой, сделал много добра людам, поставленным немцами вне закона. Он знал, что я скрываю в церковных домах евреев, и не только этому не препятствовал, но всячески способствовал этому. Он не подавал сведений о лицах, подлежащих отправке в Германию или на местные непосильные работы. А таких жильцов у нас в усадьбе, кроме Изабеллы Наумовны и Полины Давыдовны, было еще около десяти. Правда, им не угрожала смерть в Бабьем Яру как евреям, но их могли угнать в Германию.

Не раз бывали чрезвычайно острые моменты, когда казалось, что нашему управдому не сносить головы, но он оставался верен своим принципам: во что бы то ни стало защитить от немцев своих подопечных.

Особенно трудно было уберечь детей и подростков, которые постоянно напрочь забывали об осторожности и по своему легкомыслию, казалось, делали все, чтобы погибнуть.

— Рита! Да ведь тебя же схватили на работе и отправили в Германию! Пойми же наконец, что ты сейчас в Германии: Штутгарте, или, по крайней мере, в Кенигсберге. Так все думают, и никто не должен знать, что ты соскочила в Боярке с поезда и прячешься у нас на колокольне. А ты, Ира? Да ведь ты же, по официальным сведениям, лежишь сейчас чуть ли не на смертном одре! А ты о чем думаешь, Юра? Помни, что тебя нет в Киеве!

Так восклисал в тревоге управдом, а Рита, Юра и Ира, вырвавшись из своего вынужденного уединения и бездействия, совершенно впадали в детство и, собрав целую ораву себе подобных, с грохотом катали друг друга в тачке по старым чугунным плитам церковного двора или играли в волейбол, поднимая при этом страшный шум и визг. И это все на церковном дворе, а напротив, в школе, размещался немецкий госпиталь, перед которым неизменно стоял немецкий караул.

— Дети! Вы когда-нибудь читали «Хижину дяди Тома» Бичер Стоу?

— Нет! — беззаботно отвечали тоненькие голоса.

— Очень жаль! Вы бы тогда поняли, что находитесь в положении Элизы и других беглых негров, за которыми гонятся разъяренные работоторговцы!

Теперь, когда все это в прошлом, можно представить, насколько велика была опасность и какой самый настоящий подвиг совершал Александр Григорьевич Горбовский, числившийся оправдомом при Покровской церкви.

А моей задачей как настоятеля этой церкви было спасение... самого оправдома, который по своему полу и возрасту постоянно находился под ударом и временами даже жил незаявленным. Правда, по состоянию здоровья Александр Григорьевич всегда признавался военной комиссией негодным к военной службе и имел билет невоеннообязанного, но немцы с этим мало считались; поэтому я старался не отпускать его надолго от себя и дал еще ему звание псаломщика. «Ich bin ein Priester, und das ist mein Psalmsinger»³, — это заявление не раз спасало нас во время облав и проверок документов.

Было еще немало лиц, которые искали у меня защиты как у священника. Я так или иначе пытался их спасти. Будучи тогда настоятелем маленького зимнего храма при церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Подоле, я хотел, чтобы под покровом этого храма укрылось как можно больше обездоленных, и считал помощь этим людям своим христианским долгом. Вот почему в нашем маленьком и бедном храме оказалось такое огромное количество певчих, псаломщиков, сторожей, уборщиц, прорфорниц и дворников, что их хватало бы на 5 кафедральных соборов. К счастью, немцы мало разбирались в этом, а то мне бы не поздоровилось, да и моему «штату» плохо бы пришлось, — ведь справки о том, что данные лица находятся на службе, освобождали их от различных принудительных работ.

Но рассказывать о всех наших удачных и неудачных попытках спасти тех или иных людей от немцев — слишком долго.

Упомяну еще только о семье Николая Георгиевича Гермайзе.

Это была семья еврейского происхождения, но еще при царском правительстве родители Николая Георгиевича со всеми своими детьми приняли православие и с тех пор перестали считать себя евреями. Жена Гермайзе перед вступлением в брак тоже крестилась. Сын их Юра, чрезвычайно одаренный, живой семнадцатилетний мальчик, студент мединститута, даже, кажется, не подозревал, что он из евреев. Все они по паспорту числились украинцами, но если Юру еще кое-как можно было принять за такового, то родители его имели настолько ярко выраженный семитический тип, что сердце сжималось от ужаса за них — ведь ясно было, что первый же встречный немец сразу заподозрит их в том, что они евреи, и они погибнут. Так это и случилось. Через несколько дней после массового избиения евреев в Бабьем Яру к нам прибежал знакомый студент-медик и сообщил, что его товарищ по институту Юра Гермайзе вместе со своим отцом задержан на пункте, где должны были проходить регистрацию все мужчины города Киева. Несчастных обвинили в том, что они евреи, и стали беспощадно избивать.

Необходимо было как можно скорей дать знать Юриной матери о случившемся и, захватив метрическое свидетельство о крещении Юры и церковное брачное свидетельство родителей, доставить их на регистрационный пункт и туда же привести побольше людей, которые засвидетельствовали бы, что Николай Георгиевич и Юра не евреи. Дочь моя побежала в Нестеровский переулок, где жили Гермайзе, а мы с женой — в ту школу, где Николай Георгиевич в течение многих лет преподавал математику, чтобы призвать на помощь в качестве свидетелей его сослуживцев.

Мы бежали быстро, но события совершались еще быстрее. Прибывшие на помощь с необходимыми документами соседи Гермайзе видели только, как отца с сыном вывели из здания и, усадив в автомобиль, увезли в сторону Бабьего Яра, причем Юра был ужасно бледен и едва держался на ногах, а Николай Георгиевич так обезображен побоями, что глаза его были залиты кровью и совершенно вылезли из орбит. Он шел, как слепой, спотыкаясь и не узнавая ни людей, ни дороги. Когда мы с сослуживцами Гермайзе вбежали на пункт, задержанных уже увезли, и наши попытки добиться их возвращения и освобождения встречены были лишь проклятиями и угрозами.

Ясно было — они погибли, но надо было подумать о жене Гермайзе, Людмиле Борисовне. Несчастливая, переходя от полного отчаяния к слабой надежде на то, что муж и сын, которых она любила до самозабвения, живы, каждую минуту ждала, что за ней придут. Мы пытались успокоить убитую горем женщину, поддерживая в ней веру в возвращение мужа и сына. Но совершившееся изменить уже нельзя было, однако следовало предостеречь новое несчастье, которое вот-вот могло случиться с бедной Людмилой Борисовной. Трудно описать, что переживала она в жуткие,

³ Я священник, а это мой псаломщик (нем.).

бесконечно длинные октябрьские вечера и ночи в своей опустевшей квартире, оплакивая гибель сына и мужа и ожидая с часу на час в смертельной тоске такого же конца и для себя. Мы старались как можно чаще навещать Людмилу Борисовну, чтобы хоть сколько-нибудь ободрить ее, отвлечь от гнетущих мыслей и помочь разобраться в семейных документах. К сожалению, ее паспорт и церковное брачное свидетельство пропали вместе с сыном. Нашлось только студенческое удостоверение, выданное ей в свое время Высшими женскими курсами, в котором значилось, что она приняла перед вступлением в брак таинство крещения, при котором получила новое имя — Людмила, да еще кое-какие второстепенные документы.

Так шли для Людмилы Борисовны полные муки дни и ночи. И вдруг ее соседи принесли нам ужасное известие, что она задержана как еврейка и уведена в гестапо.

Я сейчас же написал заявление, в котором доказывал, что Гермайзе не еврей, и умолял не губить ни в чем не повинную женщину. С этим письмом моя жена поспешила в гестапо, но там ее приняли так сурово, что у нее сразу же пропала всякая надежда на успех. Дальнейшие попытки освободить Людмилу Борисовну тоже ни к чему не привели.

Как потом выяснилось, ее морили голодом в течение пяти дней, а на шестой, вместе с другими задержанными по городу евреями, пытавшимися спастись, вывели во двор и собирались везти в Бабий Яр. Среди обреченных были и дети, которых тщетно пытались укрыть у себя русские родственники или соседи. Когда евреев начали уже погружать на машины, чтобы везти на расстрел, Людмила Борисовна вдруг увидела следователя, который ее допрашивал и отнесся к ней лучше других. И тут проснувшийся в ней инстинкт жизни вывел ее из того состояния оцепенения и безразличия ко всему, даже к предстоящей насильственной смерти, в которое она впала. Она бросилась к следователю и умоляла пощадить ее, потому что она совсем не еврейка, а украинка, и сказала, что подтвердить это может жена священника Глаголева, которая давно ее знает. Следователь записал наш адрес и отправил несчастную обратно в камеру. И вот к нам на квартиру явился сотрудник гестапо, отрекомендовался и начал допрашивать жену. Вел он себя возмутительно, терроризируя и всячески стараясь запутать мою жену. Наконец он заявил, что если она поручится, что Л. Б. Гермайзе не еврейка, та будет выпущена на свободу, но если при дальнейшем разборе дела выяснится, что это показание ложное, то поплатится головой не только Гермайзе, но и моя жена. Положение было ужасное. Людмила Борисовна хоть и крещена, но еврейка, да и по внешнему виду трудно найти более ярко выраженный семитический тип. Да еще говорила она с сильным еврейским акцентом. От неосторожного показания могли погибнуть двое. Легче всего было сказать: «Я не знаю». Но это было равносильно подписанию смертного приговора Гермайзе. Утверждать, что она не еврейка, значило подписать смертный приговор себе. Это была невыносимая мука, но чувство долга и жалости взяло верх, и жена моя твердо заявила, что для нее даже и сомнения никакого не может быть в том, что Гермайзе русская, так как она и муж ее постоянно бывали в церкви, где служил мой отец, и просили отслужить панихиды и молебны, и это в советское время, когда никто их к этому принуждать не мог. Пригрозив еще раз моей жене за ложное поручительство, сотрудник гестапо ушел, и в тот же день Людмила Борисовна была выпущена на свободу, причем ей на руки была выдана справка о том, что она не еврейка, а украинка.

Это была большая радость. Людмила Борисовна возвратилась в свою ограбленную немцами квартиру. Она была такая измученная и страшная, что более походила на привидение, чем на живого человека. Дома ее ждал еще один удар: известие о том, что мать ее, старушка лет семидесяти, которая тоже не явилась 29 сентября на кладбище, а осталась в своей прежней квартире в Кияновском проулке, была там обнаружена немцами и отправлена в Бабий Яр, где ее расстреляли.

Одно было хорошо — то, что справка, полученная Людмилкой Борисовной в гестапо, давала ей возможность показываться на улице да и дома чувствовать себя в большей безопасности. Я выдал ей церковную справку о том, что она православная по вероисповеданию и украинка по национальности.

Трудно передать все те слова благодарности, которыми встретила Людмила Борисовна мою жену при их первом свидании. Нам хотелось только одного, чтобы несчастную больше не мучили и не преследовали, но, к сожалению, с нашими желаниями мало считались, и спустя месяца три Людмилу Борисовну вторично увели в гестапо, где она и погибла. На этот раз в гестапо вызвали уже меня самого и угрожали расправиться со мной за то, что я, русский человек и православный священник, запятнал себя заступничеством за жидовку.

Все это было нестерпимо тяжело и гнусно, и поневоле приходила в голову парадоксальная мысль о том, что тем из евреев, которые беспрекословно подчинились приказу и были расстреляны немцами в первый день, еще повезло, так как они погибли сразу и шли на казнь, даже не зная, что их ожидает. Гораздо сильнее страдали те, кто, пережив утрату близких и страх непрерывного ожидания смерти, все же были пойманы и расстреляны. А таких оказалось немало. Часто, даже намного позже 29 сентября, можно было встретить на улице извозчика или просто двуколку, на которых везли, как ненужный ненавистный хлам, как падаль на свалку, каких-нибудь ослабленных стариков евреев или полумертвых от болезни и страха женщин и детей. Это отправляли еще не добитых евреев в Бабий Яр.

Мне известно, что в детские дома были посланы специальные комиссии для отбора еврейских детей, даже самых крохотных, для расстрела. Обречены на смерть были обрезанные мальчики, так как тут уже, при всем желании, никакая администрация не могла скрыть их национальности.

Такие ужасы творили немцы с евреями Украины, но это было только прелюдией, после которой в еще больших масштабах пострадало русское и украинское население оккупированных городов и сел. Здесь не было хаты, в которой не оплакивали бы своего Грицька или Омелька, Параску или Оксану, угнанных на каторжные работы в Германию. Я встречал даже такие семьи, где было всего трое детей и их всех забрали у матери в Германию.

В городе люди все-таки могли постоять за себя и своих детей, добиться освобождения по болезни или по работе. Наконец, здесь легче было спрятаться или спрятать своих близких. Село ж в этом отношении оказалось совершенно беззащитно. И вот дивчат и хлопцев, иной раз совсем еще детей, не только шестнадцати, но даже пятнадцати и четырнадцати лет, которые ничего еще в жизни, кроме своего села, не видели, отрывали от семьи и угоняли в чужую, далекую, враждебную Германию, где их мучили, морили голодом, непосильной работой и холодом. С ними поступали как с невольниками-неграми на рабовладельческих плантациях.

Сколько их было и в селах, и на далеких хуторах, и в городе! Отец и муж на фронте, старшие дети в Германии, а дома мать с малюсенькими детьми. Вот обычная картина украинского села в годы немецкой оккупации. И это еще в те времена, когда немцы спокойно и «планово» распоряжались в стране. Как только дела их на фронте начали ухудшаться, а в тылу им сильно стали досажать партизаны, немцы совершенно озверели, и бесчинства и жестокости их достигли своего апогея.

Осень 1942 года и последующую зиму наша семья провела в селах за Днепром. Сначала в Тарасовичах, а потом в Нижней Дубечне. Принудили нас к этому тяжелая болезнь старшей девочки и предписание врачей увезти ее из города на свежий воздух и предоставить ей усиленное питание. В Киеве я ничего необходимого для спасения жизни больной дочки сделать не мог. Мы находились в очень тяжелых условиях и буквально жили впроголодь. Поэтому я попросил дать мне временное назначение на приход в Тарасовичи и переехал туда со всей своей семьей, захватив также в качестве родственницы Изабеллу Наумовну с Ирочкой. Александра Григорьевича Горбовского я тоже взял с собой, дав ему звание псаломщика. Так было для них безопасней.

К этому времени, то есть с осени 1942 года, за Днепром, особенно в лесных районах, начали усиливаться партизанские выступления. Отовсюду стали доходить к нам слухи, что то в одном, то в другом селе появляются по ночам, а иногда и среди дня, партизаны, убивают находящихся там немцев, расправляются с полициями, угоняют в лес скот, приготовленный для отправки в Германию. Не имея возможности бороться непосредственно с хорошо вооруженными партизанами, так как для этого у них не было на периферии достаточно сил, немцы избрали другой метод. Они присылали в «провинившиеся» села свои карательные отряды, которые сжигали село, стараясь истребить как можно больше «подозрительных», применяя для этого и расстрел, и повешение, и сожжение людей живьем в запертом помещении. Постепенно последний, наиболее зверский метод уничтожения людей сделался превалирующим. Множество больших цветущих сел было превращено в сплошные пожарища. Так были сожжены поблизости от Киева: Писки, Новая Басань, Новоселица, а позже Ошитки, Днепровские Новоселки, Жукин, Чернин и другие. Чувствовалось, что эта волна докатится и до Нижней Дубечни, в которую мы переехали из Тарасовичей. Что было делать? Немцам ничего не стоило причислить нас к подозрительному элементу и расправиться с нами по-своему.

Вдруг нас вызвали в сельуправу и потребовали, чтобы мы предъявили свои паспорта и удостоверения, а потом заявили в очень грубой форме, что мне, матушке

с детьми и дьяку они разрешают жить в селе, а что касается «якойсь там родычки з дивчиною, то ий нема чоґо тут без дила шлятыся, а треба ихаты в Кыв и працовагы».

С великим трудом удалось достать подводу и отправить бедную Изабеллу Наумовну с Ирочкой в Киев, под сень Покровской церкви, а через несколько дней, утром, до восхода солнца, я тайно с доверенным лицом отправил в Киев и свою жену, которой предстояло на днях рожать. Под сено на дно саней погрузили из наших запасов 4 мешка картошки, единственную гарантию от голодной смерти в городе, хоть на первое время. Тревожный и печальный это был отъезд. Страшно было мне отпускать жену; тревожилась и она, оставляя меня с детьми в селе, которому угрожала расправа карательного отряда. Но иначе поступить было нельзя, так как всех нас разом не выпустили бы местные власти, которые не хотели, чтобы я оставил их. Мы условились с женой, что через несколько дней, не позже 16 февраля, мы с детьми тоже покинем Дубечню.

Жена уехала. Дорога была тяжелая, а лошаденка настолько плохонькая, что 25 километров до Киева тащиться пришлось более десяти часов. Бедной путнице казалось, что дороге конца не будет и что рожать ей придется на льду. Уже поздно вечером добрались они наконец до Киева. А через несколько дней после их отъезда, 31 января, в Нижнюю Дубечню явился немецкий карательный отряд. Поводом для расправы с жителями служило то, что через их село накануне проехал отряд партизан, хотя при этом никаких столкновений с немцами не произошло.

Приехали каратели с вечера, остановились в школе, всю ночь пьянствовали с полициями и горланили пьяные песни, а на рассвете свершилось страшное: они заперли в одной из хат троих мужчин, молодую женщину и пятилетнего мальчика и, облив их предварительно керосином, подожгли. Когда несчастные, задыхаясь от огня и дыма, выбили стекла и хотели высадить через окно обезумевшего от страха ребенка, немцы штыками втокнули его обратно в пылающую хату.

А вокруг метались с воплями, ломали в отчаянии руки и умоляли о пощаде отцы, матери и жены сжигаемых. Их гнали прочь и били прикладами.

Когда мне сообщили о случившемся, я поспешил на место казни. Трудно себе представить более жуткое зрелище, чем то, которое открылось моим глазам. Палачи уже удалились, и теперь на месте пожара родные и соседи погибших разгребали еще дымящиеся угли, передвигали обгорелые балки и из-под них извлекали обуглившиеся трупы. Несмолкаемый стон стоял над селом.

Наутро я объявил в церкви, что буду служить панихиду по невинно замученным, и предложил всем принять в ней участие. Присутствовавшие в церкви остались, чтобы отдать последний долг погибшим односельчанам. А через два дня мы погребли на кладбище все обуглившиеся остатки человеческих тел, которые удалось разыскать.

Волосы встают дыбом от ужаса теперь, спустя два года, когда я вспоминаю о немецких зверствах, свидетелем которых довелось мне быть. В соседних селах творилось то же, только в более грандиозных размерах. Здесь сожженных живьем исчисляли не единицами, а десятками и даже сотнями...

Публикация, подготовка текста, примечания
П. ПРОЦЕНКО.

ИВАН ТВАРДОВСКИЙ

*

«У НАС НЕТ ПЛЕННЫХ»

Страницы пережитого

«Мы расстались по-братски нежно, как бы только до скорой непременно встречи вновь. И я ждал ее. Но ни через неделю, ни через год встреча не состоялась. Я и тогда понимал, что быть братом совсем не значит быть другом: братьев не выбирают... Хоронить Александра Трифоновича я прилетал из Сибири, где живу по сей день» — такими словами, полными печали и достоинства, заканчивалась документальная повесть Ивана Трифоновича Твардовского о большой семье Твардовских и о своем старшем брате — замечательном русском поэте.

«На хуторе Загорье» (М. 1983) называлась та книга Ивана Трифоновича, вернувшегося ныне на Смоленщину. Он просто — обстоятельно и немногословно — рассказывал о жизни на хуторе, обо всем, что так или иначе формировало Александра Твардовского, человека и поэта, не обходя молчанием и горькие страницы в жизни семьи. Большое место занимал в повести образ отца — Трифона Гордеевича Твардовского.

Но далеко не все мог тогда — в начале восьмидесятых — рассказать Иван Трифонович. Задним числом особенно видны в его давней повести хронологические пустоты, вынужденные умолчания. Позже в журнале «Юность» появились фрагменты его воспоминаний под названием «Страницы пережитого», не в пример более откровенные и выразительные: в 1988 году — о раскулачивании семьи Твардовских, ссылке, побегах из ссылки; в 1989-м — о войне и плене.

В настоящее время И. Т. Твардовский завершил работу над всей мемуарной книгой, она будет выпущена Издательским центром «Новый мир». Предлагаем читателям не печатавшиеся ранее «страницы пережитого»: о пребывании автора в финском плену и в Швеции, о долгом возвращении на родину — через ГУЛАГ.

Когда солдат открыл дверку и сказал: «Алас рьяйн!» — что означало «выходите!», мы увидели, что находимся у подъезда просторного бревенчатого здания с большими окнами, которое могло быть не иначе как сельской школой до оккупации этих мест финнами. Выглядело здание добротно: бетонный фундамент, двустворчатая входная дверь, подъезд с широкими ступеньками, кровля железная. И было не по себе видеть, что на запустевшей площадке, где должны бы резвиться крестьянские дети, дымилась походная армейская кухня. Возле котла возился в белом фартуке поверх телогрейки усатый человек, не проявивший ни малейшего интереса к нам, только что выбравшимся из закрытой машины. И мне подумалось: «Остерегается. Вдруг да окажется кто-нибудь из знакомых да и по имени назовет? Зачем ему такое знакомство?»

Тем временем охранник отошел в сторону, держа автомат на ремне перед собой. Вскоре на ступеньках появился человек в финской военной форме несвежего вида и без знаков отличия, взглянул с прищуром на пленных, а затем на бумажку в левой руке:

— Внимание! Номер шестьсот три есть? Пройдите со мной!

Таким образом я оказался первым из группы «приглашенным» в здание. Немолодой финский лейтенант лет пятидесяти просматривал за столом какие-то бумаги, он тут же вскинул голову, посмотрел на меня и предложил сесть. Кроме меня и этого офицера, в комнате никого не было. Ничего похожего на кабинет: простенький стол, телефон, несколько жестких стульев говорили о том, что все здесь временное, трофейное.

Держа перед собой, как я мог понять, сопроводительные бумаги и говоря свободно по-русски, офицер начал задавать вопросы. Я должен был назвать свой номер, фамилию и имя, откуда родом, где и когда был пленен, словом, поначалу обычные вопросы к военнопленному, которые уже не раз приходилось слышать и отвечать на них. Затем последовали вопросы иного порядка, например, знаю ли я имена сослуживцев, которые тоже находятся в плену в Финляндии. Я ответил, что встречать таких не случилось.

— Фамилию Глозман не помните? — спросил офицер как бы между прочим. Это кольнуло меня: я слышал, что Глозман действительно находится в плену, и подумал, что при каких-то, все возможно, обстоятельствах могут спросить и его в том же духе — помнит ли он Березовского, под именем которого я нахожусь в плену. Этого имени Глозман, конечно, знать не мог. На вопрос офицера о Глозмани я вынужден был ответить, что не помню, дескать, может, такой был, но не в одном со мной взводе. После этого, понизив голос, офицер сказал:

— Никому ничего не рассказывайте о себе. Ваше настоящее имя будем знать только мы. Вы также не должны что-либо узнавать о тех, с кем вам придется находиться вместе. Вы будете называть себя Громовым. Запомните это!

Эти предупреждения представились мне совершенно неожиданными и даже более — загадочными. Я тут же позволил себе спросить:

— С чем, скажите мне, может быть связано ваше предупреждение, по какой причине я должен держать себя инкогнито — жить в тайне, скрытно? Где я нахожусь?

— Вы находитесь в плену. Не будьте столь наивны, поймите наконец-то! Все, что вы должны знать сегодня, я вам сказал.

Звонка у него не было, и потому он встал из-за стола, — ниже среднего роста, совсем по-цивильски полный, круглолицый, каких в России несть числа, — дал понять, что разговор окончен, прошел к двери и, приоткрыв, сказал в коридор: «Старшина, ко мне!» Названный старшиной тут же, мигом появился. Им оказался тот, кто ввел меня к офицеру. Четко приставив ногу, он привычно произнес: «Слушаю вас, господин офицер!» — и получил указание поместить меня во вторую комнату.

Эта десятиминутная встреча с третьим по счету финским офицером в течение одних только суток укрепила меня во мнении, что финская разведка в отношении меня располагает определенным досье, знает мои высказывания о невозможности возврата на Родину, исходя из сталинского определения: «У нас нет пленных — есть предатели и изменники». Высказывания подобного толка могли быть — отрицать не хочу. Я действительно был убежден, что при возможном возвращении НКВД все поставит в учет: и мое «кулацкое» происхождение; и то, что был вместе с семьей в ссылке; что ссылку не принял — бежал, скрывался; что женился на девушке-спецпереселенке, и много всего прочего, что было мною пережито с глубокой душевной болью. Все это в моем представлении в те далекие годы служило только против меня.

И до конца в живых изведая
Тот крестный путь, полуживым —
Из плена в плен — под гром победы
С клеймом проследовать двойным.

Но как бы там ни было, я решительно оставался убежденным, что никто и ни при каких обстоятельствах не сможет заставить меня пойти на службу против моей Родины. Я верил в себя, знал, что никаким обманом склонить меня к предательству не удастся, был готов честно и открыто отвергнуть любые попытки принудить меня к участию во враждебной деятельности против моей страны, не раздумывая над тем, как много было учинено в этой стране несправедливостей по отношению ко мне. Даже в том случае, если бы мне доказывали и напоминали о предвоенном десятилетии, которое из года в год сопровождалось притеснениями и преследованиями. Пусть оно так: не торопилось счастье поселиться в нашем доме, зато не покидала нас надежда, что «все минет — правда останется». И как молодые мы еще были! И жили своей семьей, были малые детки у нас — никогда об этом не забывал.

Конечно, я понимал, что пленного могут поставить в невыносимые условия, но это не оправдание предательству. Все же от финнов я не ожидал, по крайней мере от большинства из них, что они могут пренебречь элементарной порядочностью по отношению к тем, кто не согласится продать интересы своего отечества.

Очень может быть, что кто-то из читателей отнесет меня безапелляционно к разряду трусов — на это, забегая вперед, смею ответить, что таковым я не был никогда. В первых числах января 1947 года, хорошо понимая, как может встретить меня КГБ, я совершенно добровольно, по своему собственному желанию, находясь в Швеции, обратился в советское консульство в Стокгольме с просьбой отправить меня на Родину. Моя просьба была удовлетворена. Как это произошло и чем закончилось, я рассказываю ниже.

По какой-то аналогии захотелось сказать вот о чем. Недавно, в октябре 1989 года, я смотрел по телевизору передачу заседания Верховного Совета СССР, где обсуждался вопрос об амнистии бывших советских военнослужащих — участников афганской войны, которые попали в плен после преступлений, совершенных на фронте. До чего же разными были суждения выступавших о том, кого надо, кого не надо амнистировать, и как зачастую велика некомпетентность депутатов, представления не имеющих о том, что же оно такое — амнистия и ради чего и во имя чего ее применяют во всех странах мира. И какой же молодец калмыцкий поэт Давид Кугультинов, что не стерпел, взял слово и на безупречном русском языке внес полную ясность в этот

вопрос. Вот так же может случаться и в судебных разбирательствах: судьбу человека подчас готовы решать полные невежды.

Как называлось селение, где меня допрашивал финский лейтенант, узнать не удалось. Первой неожиданностью для меня было то, что в комнате, куда поместил меня старшина (звание условное — никто не знал, кто он есть), находилось пятеро советских пленных. Свободная койка одна, и мне было указано, что могу ее занять. Осмотревшись, я понял, что присесть не на что, кроме как на койку. Мое появление ни у кого из обитателей комнаты не вызвало ни малейшего интереса, что показалось мне дурной приметой. Не случилось ничего такого, что бывает у нормальных людей, например, в каком-нибудь рабочем общежитии: подходят, знакомятся, спрашивают о том о сем: как там у вас? откуда? — и все такое прочее; ничего этого не было. «Значит, — подумал я, — предупреждены так же, как предупредил меня офицер: никому ничего не рассказывать и не интересоваться теми, с кем придется находиться вместе».

Двое читали толстые книги, другие — старые журналы. Поинтересовался, откуда оказались здесь книги, подумал, что уцелели, должно быть, из школьной библиотеки. Мне ответили, что книги принес старшина, а где он их взял, этого не знал никто. Ну, естественно, стесняться не было причин, заняться же хотя бы чем-то, отвлечься, заглушить навязчивые мысли было просто необходимо, и я попросил позволения взглянуть на титул. Это была книга Солоневича «Россия в концлагере», изданная в Париже в 1935 или в 1936 году. Вторая книга имела заголовок «От двуглавого орла к красному знамени», генерала Краснова.

Об этих книгах я тогда узнал впервые, был, конечно, немало заинтригован заголовками, но прочитать их удалось значительно позднее, когда судьба занесла меня в Швецию. Здесь же, в Финляндии, удалось прочитать лишь отдельные эпизоды из лагерной жизни на Соловецких островах. Читали, конечно, с обостренным интересом, поскольку наше положение настраивало на невеселые размышления.

Само собой разумеется, что, оказавшись среди незнакомых людей, нужно было понять, кто есть кто: что они чувствуют, что их привело сюда, представляют ли себе, что может их ожидать? Они всячески уклонялись от какого бы то ни было обмена мнениями, каждый ушел в себя, как бы оставляя за собой право принимать решение самостоятельно в любой ситуации. В сущности, такую точку зрения я считал правильной и был намерен до конца следовать этому правилу.

Приоткрывая двери комнат, старшина объявлял, чтобы выходили на ужин. Тут же включили электроосвещение — где-то поблизости работал двигатель. Собирались в прихожей, где стоял длинный, человек на двадцать стол со скамьями по обе стороны. Послышались команды: «В одну шеренгу становись! По порядку номеров рассчитайсь!» Зная, что вот-вот появится офицер и нужно будет доложить как положено, старшина смотрел в оба и офицера увидел точь-в-точь к моменту. Команды «смирно» и «равнение на середину» дал вовремя и с усердием доложил: «Господин офицер! По вашему приказанию люди в количестве девятнадцати человек...»

Кивком головы офицер дал понять, что ему все ясно, остановился напротив шеренги и, сцепив руки пониже груди, как бы раздумывая, с чего начать свое обращение. Несколько секунд помедлив, начал примерно так:

— Вы, русские люди, являетесь тем поколением, которое родилось и выросло в условиях отрицания религии, то есть вне веры в слово Господне, во слово Христа. Прошу вас внять моей просьбе и вместе со мной, прежде чем принять пищу, обратиться мыслью к Господу Богу и прочитать молитву верующих во Христа — «Отче наш». И да поможет вам Бог произнести слова молитвы, обращенные к Нему, повторяя их за мной.

Такого обращения никто не ожидал, и, возвращаясь памятью к столь давнему эпизоду, позволю себе отметить, что реакция пленных была сдержанно-молчаливой и понять, кто и как воспринял эти слова, в тот момент было невозможно. Мне же казалось, что это была начальная ступенька к вере в предопределенность судьбы, которую изменить никому не дано: все предначертано волей Всевышнего. То есть для нас остается единственный путь к спасению — поклонение воле Божьей.

Когда офицер сказал: «Начали!» — и стал отдельно произносить слова молитвы: «Отче наш! Иже еси на небеси... да будет воля твоя, да придет царствие твое...» — то оказалось, что два-три человека знали текст молитвы и произносили слова свободно, в унисон офицеру. Другие повторяли следом, некоторые, кажется, молча внимали, не выражая своих чувств.

Тот самый усатый повар, которого видели возле дымившей полевой кухни, принесил и ставил на стол финскую жидкую кашу (пууру), мелкую соленую рыбешку (салакку), отваренную в «мундире» картошку, пресный финский хлеб (лейпя) в виде плиток-галет из ржаной муки простого помола. Все это делилось порциями в том расчетливом объеме, чтобы по окончании трапезы на столе ничего не оставалось.

То ли из любопытства, но больше, видимо, желая присмотреться, что-то понять, уловить характерное в поведении людей, офицер присутствовал от начала и до окончания ужина. Похаживая с видом отчужденности, он тем не менее мог кое-что слышать или желать того. За давностью времени не считаю возможным передавать

подробности, помню лишь то, что лично касалось меня. Вот, например, мной был тогда задан вопрос: как скоро мне будет сказано, чего от меня хотят? Офицер ответил: «Думаю, что это произойдет скоро. Может, завтра. Но куда вам спешить? Война ведь продолжается, и конца ей пока не видно». Помнится, что слова офицера коснулись самых больных точек сознания, как укор чувству долга, как подтверждение пусть даже невольной, но все равно — вины: «Война продолжается, и конца ей пока не видно...» В завершение офицер предупредил, что «во избежание опасных последствий ночью свободно выходить в туалет нельзя». На вопрос, как быть при неотложной естественной нужде, ответил, что старшина Шулгин полномочен самостоятельно решать такие вопросы и он знает, как быть в таких случаях.

И вот настал день, когда ожидаемое старшее начальство прибыло. Целью оно имело побеседовать с каждым пленным по отдельности, дабы выявить степень его пригодности для службы в пользу Финляндии, воюющей против Советского Союза.

Приглашения к началу часов с одиннадцати. Старшина влетал в комнату, называл номер военнопленного и предлагал пройти в кабинет офицера. По возвращении первого таким же порядком уходил следующий. О том, как прошла беседа, о чем спрашивали, в каких званиях были военачальники, возвращавшиеся ничего не рассказывали. Надо признаться, что в ожидании своей очереди я испытывал предельное нервное напряжение, хотя, как ни странно, страха не чувствовал.

— Номер шестьсот три! — Взгляд старшины был обращен на меня. — Пройдемте!

Кроме уже знакомого офицера, в комнате были трое: в хорошо подогнанной форме майор лет тридцати пяти с ухоженным красивым лицом, несколько помоложе — лейтенант, и третий — в штатской одежде мужчина средних лет. Майор, сидя возле стола с сигаретой в руке, неслешно потряхивал ею над пепельницей, как бы в раздумье бросая взгляд на меня. Через переводчика предложил присесть, после чего последовали вопросы.

Вначале вопросы были самые обычные: национальность? год рождения? из какой социальной среды? верую ли в Бога? когда, где, при каких обстоятельствах попал в плен? участвовал ли в Зимней (финской) войне? какое семейное положение? и т. д. Мне не представляло труда отвечать, и, казалось, на том должно было все и закончиться. Правда, когда майор услышал, что у меня двое малых детей, он как бы сочувственно качнул головой и что-то сказал, но понять не удалось...

Дальше переводчик изложил главные вопросы майора.

В о п р о с: Известно ли военнопленному о том, что Сталин сказал о пленных: «У нас нет пленных — есть предатели и изменники?»

О т в е т: Об этом я знаю.

В о п р о с: Из каких источников вам стало известно об этом?

О т в е т: В основном из финских газет, радиопередач, просто из случайных рассказов при контактах с финнами.

В о п р о с: По окончании всякой войны стороны передают пленных в порядке обмена, не считаясь с тем, что ожидает каждого возвратившегося. На вашей родине, в Советском Союзе, существуют жестокие законы. Вас непременно будут судить и отправят на каторжные работы. Вы готовы принять такую участь, не станете уклоняться от возвращения на Родину?

О т в е т: Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос с полной определенностью. Война продолжается. Обстоятельства могут измениться. На Родину я непременно вернусь, но не насильственно, а только по собственному долгу, чести и сыновней любви к отечеству.

В о п р о с: По собственному чувству и любви вы что ж, готовы погибнуть, даже не повидав родных детей? Вы не знаете о том, что в Советском Союзе погибли тысячи совершенно ни в чем не виновных без суда и следствия?!

О т в е т: Зачем же так — не знаю, я знаю о многом, что было до войны, но война еще продолжается, и потому еще нельзя говорить, как сложатся обстоятельства.

В о п р о с: Вот мы в Финляндии знаем, что у вас в Советском Союзе звучат слова по радио: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Вы так же думаете?

О т в е т: Нет. Я так не думаю.

Я понимал, что навязчивые вопросы майора финской разведки с напоминанием о словах Сталина были рассчитаны на то, чтобы убедить военнопленных, что по возвращении на Родину после войны им не избежать если не смерти, то колымской каторги, а это по сути своей равно смерти. Значит, понимать нужно так: вражеский плен в перспективе будет заменен еще более жестоком — колымским. И никакой надежды на лучшее — «с клеймом проследовать двойным».

Майор поднялся со стула, осмотрелся и знаком дал понять переводчику и присутствовавшим при опросе офицерам, чтобы они вышли, оставив его со мной один на один. С минуту он молча прошелся по комнате, затем, к моему немалому удивлению, вполне прилично заговорил по-русски:

— Будем откровенны: ваша судьба в моем распоряжении. Но у вас есть две, только две возможности. Первая — это свобода и сотрудничество с нами. Вторая — пребывать в строгой изоляции на работе в лесу до конца... Выбирайте одно из двух!

— Спасибо, господин офицер, за ясность. О сотрудничестве не может быть и речи. Предпочту вашу строгую изоляцию и все связанное с ней, но не предательство.

— Предупреждаю: никому ни слова! — было последнее напутствие майора.

Вот так. Было вежливо обещано: строгая изоляция, работа в лесу до конца... Майор, похоже, умышленно не договорил: то ли до конца войны, то ли до конца самой жизни. Условия, ничего не скажешь, невеселые.

Дня через три-четыре меня и еще двух пленных, побывавших на встрече с майором финской разведслужбы, под конвоем привезли на вокзал города Петрозаводска. К отправлению пассажирского поезда к нам присоединили еще троих. Вечером поезд прибыл в город Йоенсуу, где нас высадили и пояснили, что путь будет продолжен на автомашине, которая вот-вот должна подойти — надо ждать. Но машина, которую мы терпеливо ожидали, стоя на ветру, может, час или больше, не пришла; и после долгих хлопот конвой нас определил в какое-то арестантское помещение, где пришлось провести ночь, корчась и ежась на холодном грязном полу. Утром чуть ли не мольбами выпросили поесть — получили арестантский завтрак, немного прогрелись и рады были хоть к черту на кулички, лишь бы ехать.

В неведомом направлении, без единой остановки везли нас в закрытой машине более трех часов. Затем, резко сбавив скорость и круто свернув с большой дороги, продолжили путь еще минут десять — пятнадцать и наконец подъехали к назначенной точке.

Еще находясь в закрытой машине, я прислушался, о чем говорит сопровождавший нас конвой с охранником, который должен был принять пленных. Элементарную финскую речь я свободно понимал: «Мистя он туллут?» (Откуда прибыли?) — «Аанислиннаста!» (Петрозаводска!) Замечу мимоходом: во время начала войны финнами был захвачен город Петрозаводск, и будучи в экстазе от успехов, они переименовали его в Аанислинну, что в переводе обозначало «Онежская крепость».

Тут же открыли нам дверку — перед глазами был одинокий дом на небольшой лесной прогалине, и было без слов ясно, что одна половина того дома оборудована для нас и нам подобных: она была за высоким ограждением из колючей проволоки. Вторая, без ограждения, — для охраны. Входная дверь вела в коридор, разделявший дом на две части с дверьми в левую и правую половины.

Как велика охрана, мы еще не знаем, пока на глазах только двое: сержант и рядовой. Сержант держит себя очень серьезно, в руке — сопроводительные, и он всматривается в лица, выкликая по номерам: «Сотаванки нумеро куусисата колме! Туле сисян!» (Военнопленный номер шестьсот три! Проходи в помещение.)

Прохожу в коридор, сворачиваю к левой двери и сразу слышу русскую речь. Оказывается, кроме нас, только что прибывших, двумя часами раньше была привезена группа из города Рованиеми. Факт, конечно, ни о чем еще не говорит, лучше это для нас или хуже, но все же...

Сплошные, от стены до стены, двухъярусные нары, заслонившие оба окна, которые оплетены колючкой снаружи. На нарах вместо постели длинные, в рост человека мешки из гофрированной бумаги, но внутри ничем не наполнены. «Может, потом?» — подумал. Всматриваюсь в лица: вроде нормальные, как всегда и везде — разные. Знакомых нет. Некоторые уже определили «свое» место у стены — тут оборона надежней, это везде учитывается.

Довольно долго не знали, в какой географической точке Финляндии мы находимся. И никаких признаков, что есть где-то хоть малое селение: полнейшая лесная тишина, ни собачьего лая, ни петушиной песни. И удивительно, что к этому затерянному в лесах одинокому дому было подведено электроосвещение. Позже мы узнали, что значительные лесные массивы принадлежат акционерному обществу и что такие одинокие дома есть в разных точках среди лесов — служат они жильем для приезжих рабочих в зимний период. Было совершенно ясно, что привезли нас для работы на лесозаготовках. Что это за работа, я знал по опыту тех давних тридцатых, будучи спецпереселенцем, — слабому, истощенному человеку такие работы не по силам. Об этом, похоже, еще никто серьезно не задумывался, хотя было видно, что большая часть группы физически была в самой незавидной форме. Да и по роду прежних занятий физический труд был им мало знаком: кто художник, кто музыкант, сапожник, бывший секретарь райкома ВЛКСМ, повар — то есть люди, которые в свое время могли лишь восторгаться красотами природы, в том числе и лесом: «Ах! Как хорошо на природе! Воздух! Какой чудесный запах!» Работая же на природе в положении невольника, испытывая голод и унижения, человек обычно не получает удовольствия от труда, и мысли о красоте природы его меньше всего занимают.

Первый день нашего пребывания в этом запрятанном в лесах лагере закончился тем, что мы получили скудный суточный паек, успели расправиться с ним и были удостоены посещения сержанта охраны. Начал он с того, что у него есть желание ближе и лучше понять русских и чтобы русские хорошо и правильно понимали его. Он сомневался, что такое понимание достижимо — очень непросто вести беседу на разных языках. Но среди нас тут же нашлись люди, которые сумели доказать, что слова его были поняты. В тех же случаях, когда произношение не достигало цели,

русские переходили на письменную речь. Сержант произвел самое положительное впечатление: его открытый, доброжелательный взгляд и какая-то неспешная предрасположенность позволяли надеяться, что такой человек не будет несправедливым. И был он по всем признакам совсем невоенным — сержанту было не менее сорока, которые от рождения прошли в этих лесных местах родной для него Финляндии. Ну и что? — предвижу, спросит читатель. Чем он так отличился, тот финский сержант, что посвящаются ему теплые строки воспоминаний? Мой ответ может быть только таким: сержант всегда был добр и справедлив. Политику вражды к русским, которая проводилась правительством Рюти и Таннера, он не признавал.

Для работы в лесу нам было предложено подобраться парами, что предусматривается техникой безопасности и взаимопомощью в работе. На каждую пару были даны лучковая пила в деревянной раме и два топора. Топоры особой финской формы, с более узким лезвием, специальные лесорубские, с удлиненным топориком и с особой насадкой — обух имеет удлинение в виде легкой конической трубки, которая предохраняет топориком от поломки. Все это, ничего не скажешь, хорошо, по-хозяйски предусматривательно, но полному от этого не лучше и не легче. Во-первых, пленный работает по принуждению и никакого лично своего интереса к работе он не имеет и иметь не может. Поэтому самый надежный, никак и никогда не ломающийся инструмент не только не лучше, но скорее всего — хуже: меньше у пленного оснований передохнуть от немилой, рабской работы. У него забота только об одном: как быть? на что надеяться? куда деваться? как выжить?

Напарником ко мне поспешил вызваться один рослый и довольно бодрый парень, приобретший в плену кличку Граф. Каким-то образом он учуял, что работа в лесу мне знакома, и я не посмел отказать ему. Он назвал себя бывшим студентом циркового не то училища, не то техникума. На вид он был очень приметным, выделялся некоторой странностью поведения: задумчивостью, отвлеченностью, порой — беспокойством, а еще внешностью: он был золотисто-рыжим.

Выше я упомянул, что интереса к работе у пленного нет и быть не может, но для работающих на лесозаготовках «интерес» был придуман: установили обязательный объем работы на каждый день, выполнишь — садись к костру, отдыхай, жди, пока выполнят все. Вот так было объявлено тем же сержантом охраны на месте работы, где для нас он был также и прорабом от акционерного общества.

Тогда у нас в СССР и в Финляндии на лесозаготовках и лесоповалах применялась только лучковая пила, и она считалась хорошим ручным инструментом. Со стороны глядя, можно сказать: ах, как хорошо, как легко она врезается в дерево! И все просто! Пригнись пониже, бери левой рукой за распорный брусок, правой — за нижний конец рамы и двигай: толкай от себя — тащи на себя! И вся наука! Но ведь лучковая пила — это рама, ее ширина от полотна до натяжного троса равна 45 сантиметрам при длине 1,2 метра; в работе ее нужно удерживать на весу строго в горизонтальном положении, то есть под углом 90 градусов к спиливаемому дереву. Немалая сила нужна, чтобы, не отдохнув, спилить дерево хотя бы в 25 — 25 сантиметров толщиною. Для пленных, впервые попавших на лесозаготовки, пребывавших в ощущении постоянного голода, такая задача была совершенно невыполнимой, чтобы, не разгибаясь и не переводя дыхания, спилить дерево с корня.

Из огражденной колючкой нашей «зоны отдыха» еще затемно выводили в лес под охраной: один охранник впереди и двое в хвосте растянувшейся цепи пленных. До места работы тридцать — сорок минут. В помещении оставался только дневальный, его обязанностью было приготовить пищу к нашему возвращению из леса.

Попривыкнув и смирившись с положением, люди молча разбрелись по лесу к тем местам, где были вчера; всматриваясь, отыскивали затеси на деревьях (рубка выборочная) и, ни слова не сказав друг другу, с отрешенностью ко всему окружающему начинали свой день на чужбине.

Был среди нас пожилой пленный по фамилии Полежаев. Родом из Пензенской области, до войны — профессиональный художник. Так вот он так ослабел, что начал впадать в какое-то оцепенение: прислонится к дереву и стоит, повесивши голову, час и два простоит... Напарника он себе не нашел и пробовал работать в одиночку, но дело у него плохо шло, и никто не обращал на него внимания. Как-то в начале дня сержант, проходя по лесосеке, нашел его неподвижно стоявшим у дерева, не приступавшим к работе, может, более часа. Его привели к костру, усадили поудобнее, и тут он мало-помалу начал оживать, отвечать на вопросы. Но лесорубом его и представить было невозможно — у него было крайнее истощение, близкое к дистрофии. В дальнейшем сержант учил его вязать метлы так, как это делается в Финляндии, — распаренной на костре молодой березкой, и ни в коем разе проволокой.

Этот эпизод с художником помог сержанту доказать необходимость улучшения питания пленным на лесозаготовках. Он востребовал от акционерного общества, в дополнение к казенному пайку, тонну картошки, и ее сразу же доставили на место. И было разрешено потреблять ее без ограничений — наше положение улучшилось, а сержант почувствовал себя настоящим благодетелем. Каждый божий вечер стал бывать в нашей лагерной половине, интересовался, кто каким мастерством обладает,

выражал готовность помочь тем, кто пожелает что-либо мастерить, художнику обещал краски и кисти и свое обещание сдержал — художник был очень порадован, чувствовать себя стал много лучше. И еще вот какая деталь. Сержант непременно осведомлялся: «Слушай, скажи! Плохо ли, когда есть картошка?» Я хорошо понимал, что безобидное честолюбие сержанта нельзя оставлять без внимания, что вовремя сказанное слово признательности откликнется только добром, и не было мне сложным ответить сержанту по-фински: «Господин сержант! Мы очень благодарны вам, вы так добры!» «Да, да! Я понимаю! Спасибо!» — отвечал он, разумеется по-фински, покачивая головой.

Для нас так и осталось неизвестным, отчитывался сержант за объемы выполненных работ перед кем бы то ни было или же, может, никто с него такого отчета не требовал, поскольку редко кто из нас выполнял те объемы, которые назначал сержант. Да и кому же не ясно, что ослабевшему человеку не вдруг-то можно поправиться, если даже и дадут ему поесть, хотя бы и досыта, картошки. Сержант это, надо думать, понимал и взысканий никаких не налагал, за что и вспоминаю я его добрым словом.

Не было тайной для нас и то, что солдаты-охранники и сам сержант были местными людьми, по какой-то там очереди по воскресным дням то один, то другой из них отправлялись на побывку к своим семьям. Возвращаясь, они привозили свежие газеты и охотно разрешали знакомиться с тем, что нового на фронтах и в мире. Так нам стало известно, что из самых разных стран разными путями и средствами в те годы прибывали в Швецию беженцы: из Франции, Норвегии, Дании, Польши, из Прибалтики и Финляндии. Писалось и о том, что Швеция, будучи нейтральной страной, считала своим долгом помогать всем оказавшимся в бедственном положении на ее, Швеции, территории, производила интернирование и содержала отнюдь не как врагов, хотя и в специальных лагерях. Об этих сообщениях я никому не рассказывал, хотя выбросить их из головы не мог — они все время меня занимали.

На лесосеке охранники в редких случаях находились возле работающих пленных. Большой частью они проводили время, сидя у костра. И так это вошло в привычку, что не возникало у них ни малейших подозрений о возможности побега. Туда же, к костру, собирались и пленные, выполнившие задание пораньше, и таким образом отдыхали, пока подходили остальные. В зависимости от толщины деревьев задание могло быть и десять, и пятнадцать, иногда и больше поваленных и очищенных от сучьев хлыстов на двоих работающих. На лесоповале я не был новичком, инструмент, топоры и лучковую пилу умел подготовить лучшим образом, и потому такой объем работы вместе с напарником Графом мы делали без особых напряжений. И получалось так, что умение работать облегчало положение: выполнив задание, мы шли к костру и час-полтора могли отдыхать, просушиться, а иногда, как ни странно, потолковать с охранниками, которые не только не уклонялись — были рады случаю обменяться словом. И в этом не было ничего особенного: простой человек не может быть злым всегда, хотя бы являясь и охранником, тем более когда он видит людей в подневольном труде.

Но не надо забывать, что самый мирный, как мы говорили — «хороший» охранник не дрогнув убьет вас, если только вы окажетесь в побеге и за вами будет погоня. Такую ситуацию не дай Бог испытать любому несчастному. А между тем я не расставался с мыслью о побеге. И когда случалось иметь самую безобидную, с тем же финским охранником, беседу, я смотрел на него и представлял, каким он может стать, преследуя убежавшего.

Мысленно перебирая варианты побега, я должен был согласиться, что зимой, находясь в лесной, незнакомой, малонаселенной местности, побег неосуществим. С одной стороны, вроде бы тебя никто и не охраняет и по три-четыре часа ты не видишь ни единой живой души, но куда же ты бросишься среди снежной зимы, облаченный в одежду пленника? И всего-то, казалось, не хватало мало-мальской, обыденно-обычной финской одежды... И тут же спохватывался: еще более важно знать местность, знать, где ты есть, куда ведут ближайшие пути-дороги, какие и где могут быть водные препятствия, которых в Финляндии великое множество... Да так вот и упрешься в тупик, и все само собой распадается.

С лесосеки хвойных мы были переведены на рубку березы. Тут и попала мне на глаза береза с большим округлым капом (выпльвом). Из собственного опыта я хорошо знал цену и качества этого отличного материала для различного рода мелких, мастерски выполненных изделий. Тогда же с помощью напарника Графа я отрезал кап от ствола березы, разделал на пластины, как и должно быть с расчетом на определенные изделия: портсигары, шкатулки, статуэтки и прочее. Право же, как-то неловко и рассказывать, что я загорелся желанием показать, что могут уметь руки, хотя бы и там, в плену: живому — живое. И мысль сработала: не попросить ли мне сержанта насчет «железок» — хотя бы кой-чего из режущих инструментов. В общем, сырые, ничем пока не привлекающие взгляд куски березового капа я принес в зону, чтобы сразу же вываривать их в кипящей воде, томить, сушить, готовить в зону.

О том, что обратиться к сержанту мы имели возможность в любое время и по любому вопросу, я уже, кажется, говорил, — явление в условиях плена если не исключительное, то не иначе как редкостное. Мы находились с охраной под одной

крышей, между пленными и охраной был коридор шириной в три шага, и мне казалось, что сержант дорожил мнением пленных и, пожалуй, даже скучал бы, если бы не имел возможности бывать у нас вечерами.

Не откладывая на потом, я рассказал сержанту, что имею намерение выполнить некоторые работы из березового капа, но нет никаких режущих инструментов для таких занятий. В тот момент материал уже вываривался в кипящей водяной ванне, в чем он мог убедиться на месте.

— Все ясно! Хорошо! — сказал он и сразу же объяснил, чем может помочь. Объяснял он так: — Слушай меня! Завтра, как только придешь на лесосеку, разжигай костер! Без костра дело не пойдет! И начинай вязать метлы! Штук полсотни, не менее! Графа даю в помощь, пусть помогает, ветки-прутья подносит, за костром следит — сам подсказывай, что нужно делать. Два дня хватит? Как только товар будет приготовлен, сразу же передам в магазин, за наличные, да-да! За наличные! И задача будет решена: с деньгами вместе с тобой поедem автобусом в Ааяякоски и приобретем все, что тебе необходимо. Это в моих силах.

Помощь, можно сказать, не очень... Но одно это — «поедем вместе с тобой» — для меня было очень важно, и полсотни метел я связал за два дня. Наконец-то я узнал, где мы есть: в трех километрах автогасса, в двадцати километрах торговый городок Ааяякоски; в двухстах километрах по автогассе — город Коккола на берегу Ботнического залива. Все это казалось очень важным, так как мечты о побеге продолжали меня занимать — как цель, как единственная, последняя попытка избавиться от сознания невосполнимой утраты надежд на право существовать. «У нас нет пленных — есть предатели и изменники» — эти слова вторгались в душу с навязчивой жестокостью и цинизмом.

Финляндия не испытала и десятой доли тех бедствий, которые выпали народам Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Это было заметно и по отсутствию разрушений, и просто по внешнему виду и душевному состоянию самого финского народа. В небольшом городке Ааяякоски, который находится в центральной, самой озерной части страны, не было той известной нам картины разорения, неприкаянности гонимых ужасом и голодом несчастных и обездоленных людей — ничего такого финны не знали. Ааяякоски предстал чистым, ухоженным скандинавским городком, где совсем по-мирному ходили нормально одетые люди, где не чувствовалось никакой войны. В магазине хозяйственных и скобяных товаров было тихо и свободно, тут, казалось, забота могла быть только о том, чтобы побольше было покупателей. Выслушав сержанта, пожилой хозяин магазина с любопытством и удивлением взглянул на меня, светливо стал двигаться вдоль полок, подбирая предположительно нужные инструменты, сопровождая рассказом о себе, что он и сам любитель поработать с деревом и кое-что понимает в этом деле.

Из предложенных инструментов я отобрал лишь самое необходимое: клюкарзы, стамески, перки, ручные сверла, косяки, стамески-уголки, коловорот и отделочные материалы — шлифовальные шкурки, лаки, клей, бруски для точки и наводки инструмента. С этим мы и ушли. Но по пути к автобусной остановке я увидел вывеску магазина «Суомен кирья» («Финская книга»), куда и упросил сержанта зайти. Моя мысль была — а вдруг попадетсЯ на глаза книга о Финляндии, чтобы подробней ознакомиться с географией этой страны. Я был почти уверен, что такая книга окажется. Конечно же, главной моей мечтой была не сама книга, а надежда, что в такой книге может быть карта, вот на что был взят прицел. И как же мне было досадно, когда я увидел, что в продаже была и карта Финляндии. Но, черт возьми, как же мне спросить, что ответить, если услышал бы от сержанта: «А зачем тебе карта?» Книгу с названием «Исянмаа» («Родина») я отыскал, стал ее смотреть, но думал о другом: нельзя. Если не сразу, то несколько позже догадается, для чего пленному нужна карта.

В истории, как я стал резчиком, нет ничего выдуманного. Я не считал себя профессионалом, но опыт имел. С отроческих лет увлекался резьбой по дереву и валянием в этом полубывшемся мне материале. Самым серьезным образом относился к мастерству на свой лад — в смысле отличительности, оригинальности, уникальности моих изделий, — повторяться не умел и не позволял себе. Осмелюсь привести здесь суждение брата Александра Трифоновича об одной моей работе, подаренной ему ко дню сорокапятилетия. Вот что он писал:

«Дорогой Иван! Сердечно благодарю тебя за подарок, которым я был очень тронут. Выполнен прибор рукой настоящего мастера-художника. Помимо всего, я очень люблю дерево, этот материал отличается какой-то особенной теплотой, и мне тем дороже твой подарок. Спасибо еще раз. Буду хранить этот прибор среди самых дорогих для меня вещей.

Карачарово, 14.08.55.
Твой Александр».

Не скажу, что я уповал на непреходящий успех моей затеи, но все же некоторую надежду возлагал, что кое-что, может, выгорит. Было замечено, что финны весьма неравнодушны ко всякого рода редкостным сувенирам — и совсем необязательно в виде подарков, главное, чтобы сам предмет, пусть даже пустячная вещица, имел связь с каким-то существенным событием в жизни. И тут любая тема годилась: от русских часов до брелока, значка, какой-нибудь поделки руками русского человека в виде курительной трубки, деревянной ложки, берестяного теска, диковинного изваяния или просто безделушки. И надо заметить, ни одному финну и в голову не придет позволить себе недобросовестность или необязательность: если дал слово, что-либо пообещал, всегда ведет себя с достоинством и порядочностью, о чем смею сказать из личных достоверных наблюдений.

С течением времени в лесную заповолочную обитель русских пленных стали проникать финские крестьяне, лесники, рабочие лесосек. Вначале изредка и робко, затем более смело, поскольку со стороны охраны строгих запретов не было. Больше того: сержант и сам в таких случаях любил поприисутствовать и непременно рассказать, что, дескать, есть среди этих ребят и художник, и жонглер, и мастер дамской обуви и что финский они понимают. Для определенной категории простых финских граждан такие сведения о русских были новы, достоверны и увлекательны, и вслушивались в них с полным вниманием. Ну, естественно, художник со своей стороны должен был подтвердить, что это действительно так, и, значит, надо было кое-что показать. Кстати, мы должны помнить, что речь идет о том самом художнике Полежаеве, пережившем степень крайнего истощения: с той поры отогрелся, кистью стал владеть, к случаю мог порадовать пейзажем с природы, натюрморт, портрет исполнить. Но бахвальства не терпел, был скромен, хотя просьб и похвал имел предостаточно.

Примерно с половины февраля 1943 года, вскоре после завершившегося победой Советской Армии Сталинградского сражения, к нам в этот лесной замок по воскресным дням стали наведываться финны, и не в одиночку, но парами, а целыми группами. Как можно было догадаться, это имело связь с облетевшим весь мир известием о полном разгроме армии Паулюса и пленении его самого и его трехсоттысячной армии, и рядовые финны, которые по тем или иным причинам были не на фронте, желали поделиться с нами, русскими пленными, размышлениями о победе русских в Сталинградском сражении.

— Ой! Ребята! Слушайте! Это такое сражение, какого не знала мировая история! — перебивая друг друга, говорили финны.

Не преувеличивая, должен заметить, что было чему удивиться: Финляндия была в состоянии войны с Советским Союзом, и в то же время среди финнов встречались люди не только не питавшие вражды к русским, но даже с симпатией отзывавшиеся о русских, или, точнее, о советских войнах, которые увенчали себя победой под Сталинградом.

Конечно, нельзя сказать, что в этот маленький лагерь финны приходили только из сочувствия к пленным или из солидарности к советским воинам. Приходили и просто из любопытства, посмотреть, понять, сравнить, представить: что же такое за люди, воспитанные в коммунистической стране? Чем они отличаются от граждан Финляндии? Трудно сказать, что они о нас думали, но на мой взгляд впечатления у финнов о русских складывались вполне хорошие, хотя положение пленного никак не украшает человека, и не учитывать этого нельзя.

Подобным посещениям способствовали и слухи, что среди небольшой группы пленных был художник, был музыкант-балалаечник, который самолично в самых невероятных условиях изготовил русскую балалайку и превосходно исполнил на ней удивительные мелодии, в том числе и финские. Это был юноша девятнадцати лет из Кировской области, Коля. К сожалению, его фамилию я уже не помню. А что такое редкостный мастер дамской обуви? Да к тому же было известно, что он, Костя Бутурлин, ленинградский мастер! И сержант не упускал случая напомнить об этом, а поскольку без его ведома ни о каких сделках не могло быть и речи, слухи о ленинградском кудеснике летели через леса и болота точно туда, куда нужно, — и появлялся необходимый материал, появлялись и новенькие изящные дамские туфли.

Предполагали, что это был единственный лагерь военнопленных, где охрана не препятствовала контактам финнов с пленными. Пленным же это было очень на руку: финны приносили сигареты, что-нибудь из продуктов, газеты и журналы, а порой, если стороны смогли договориться, например, об оплате за какую-то работу (портрет, картину, поделку, ремонт и прочее) частью деньгами, то передавали и деньги. Если же у пленного заводилась собственная, заработанная трудом финская марка, то он мог попросить любого, чаще знакомого посетителя купить что-либо, что также не запрещалось. Но финны лишь в редких случаях принимали деньги от пленного на сигареты или на лезвия для бритвы — такие просьбы обычно выполнялись за «спасибо» по-фински.

Для меня, помимо всего, немаловажным было слышать живую разговорную финскую речь, поскольку она существенно разнилась от чисто литературной, и мне.

изучавшему этот язык с помощью словарей, книг, газет и всяких случайных печатных текстов, было очень непросто воспринимать беглый разговор. И все же успех в знании финского языка был налицо: меня хорошо понимали, и я свободно мог объясниться. Порядочно был я знаком с грамматическими особенностями финского языка: падежные окончания, состояние предмета по временам, лицам, числам и прочее. Я должен был готовить себя, по существу, к странствиям по чужой земле с мыслью, что смогу добраться до нейтральной Швеции. Понимал, конечно, что риск велик, но иного выхода не видел, да и терять мне, находясь в плену, было нечего.

Приближалась весна. В марте я с полной отдачей и усердием был занят, назову так, изготовлением необычных по тонкости мастерства изделий из березового капа. Но надо же иметь в виду, что от работы в лесу никто меня не освобождал — заниматься этим я мог только вечерами и в воскресные дни. Сержант пошел мне навстречу только в том, что позволил работать в чердачном помещении, чтобы мне никто не мешал. И это было весьма важно. Но больно вспоминать, на что я рассчитывал. Дело в том, что мне было крайне необходимо каким-то невероятным образом приобрести финскую штатскую одежду, пусть самую недорогую и легкую, к весенним дням (брюки, куртку, свитер, рубашку, кепку с удлиненным козырьком), чтобы заменить «форму» пленника с латинской буквой «V» — Vanki, что означало «пленный». Вот это было для меня наисложнейшей задачей, ради этого я и впрягся в изготовление настольных миниатюр, относящихся к прикладному искусству, исходным материалом для которых был избран все тот же березовый кап. Прежде всего изделия должны быть филигранны и декоративно эффектны, тогда они привлекут внимание и интерес, цель будет достигнута, средства и труд оправданы.

Но я уже чувствую, читателю интересно: что за изделия мог я сотворить в условиях плена? Да еще с претензией, относя их к классу утонченного мастерства? Отвечаю так: случаи, когда человек, находясь в неволе, обнаруживал в себе невообразимые силы чисто творческого труда, известны с давних времен, и вряд ли нужно приводить конкретные примеры из жизни крепостных или даже узников, это не требует доказательств. Мной же были изготовлены две шкатулки и портсигар. Плоскости этих изделий были отполированы до зеркального глянца, украшены ажурным растительным орнаментом и увенчаны изваяниями северной фауны (упряжка оленей в движении, мальчик с овчаркой); портсигар был инкрустирован изображением дымящей трубки.

В первой половине мая 1943 года нас четверых — меня, Графа, боксера из Ленинграда Игнатушенко и Семена (фамилию не помню) из Пензенской области — везли этапом в товарном вагоне в северо-западном направлении. Мы догадывались, что не иначе как в штрафной лагерь. Произошло это после моего, вместе с Графом, побега: нас задержали истошно-немолчным криком: «Стой! Стой, Граф! Не смей, не смей!..» — это кричал бегущий впереди охранника дневальный, видел: автобус остановился, мы были у открытой двери... Могли бы, конечно, вскочить в салон, но поняли, что уехать не удастся, дали знак водителю, что не поедет, и автобус ушел. Задумано же было так: сбросив с себя одежду военнопленного, скрытно затаиться у автodorogi и ждать автобуса, чтобы наискорейше отдалиться от мест, где, как представлялось, поначалу непременно будут вести поиски. Вероятно, так оно могло и завершиться. Но никто не подозревал, что дневальному было поручено вести слежку за всем, что происходило в группе военнопленных, тем более что участились контакты между пленными и штатскими финнами. Ему удавалось и подслушивать, и приметить, кому и что могло быть передано, мог он, таким образом, знать и о том, что кое у кого есть «зачапки», что конкретно припрятано и так далее. Его недремлющее око могло заметить, что Граф и Березовский поддевали под обычную робу кое-что дополнительно из припасенного, — это и толкнуло его к доносу и участию в поимке.

Да, кому не доводилось быть в положении пойманного, не дай Бог и знать о том, как оно чувствуется, когда ведут тебя, неудачника, торжествуя над твоей несчастной участью. Спасибо хоть за то, что нас не били — сержант не позволил. Но было, право же, неловко, что из-за нас пострадали Игнатушенко и Семен — их присоединили по подозрению в намерении тоже бежать.

В вагоне мы были не менее суток. В нашем представлении было необычным, что мы четверо занимали вагон! Нам была дана вода, этапный паек, но хоть плачь, кричи — ни звука в ответ на просьбу выйти на остановке по естественным надобностям, — охрана нас, похоже, не сопровождала. Выход из положения мы, конечно, нашли, но ругательных слов по адресу финских правителей было послано от души с добавкой. Где-то стояли на запасных путях часов пять или больше, и — надо же! — какая-то неведомая нам женщина, оказавшись поодаль, услышала нашу ругательную речь, остановилась и безбоязненно обратилась к нам по-русски: «Здравствуйте, русские люди!» Боже мой, как мы были тронуты этим приветствием из уст женщины-матери! И до какого сердца не дошло бы родное сочувственное слово, если ничего такого не приходилось слышать два года?! Эти вдруг долетевшие слова, в минуту

почти отчаяния и тоски, коснулись души, и всем захотелось взглянуть на добрую и милую русскую женщину, которая еще успела сказать, что «Россию никто не победит, верьте, надейтесь...».

На железнодорожной станции города Вааса нас посадили на грузовую машину и увезли в лагерь для русских пленных, который находился в семи километрах от города, возле селения Муустасаари (Черный Остров). О том, что это штрафной лагерь, можно было догадаться без слов и пояснений. Поражало прежде всего, что сравнительно небольшая территория, обнесенная многорядным ограждением из колючей проволоки, была усеяна и загромождена бессчетным множеством больших камней-валунов. За исключением небольшой площадки и узких проходов к баракам, округлые граниты были везде и всюду. Это создавало постоянное неудобство при встречных движениях, люди вынуждены были тратить немалые усилия, пробираясь между преград, ударяясь о камни, проклиная все на свете и тех, кто с такой изощренностью осложнял условия жизни людей, оказавшихся в плену.

В этом лагере в основном содержались пленные, которые совершили побег, но были задержаны. Были здесь и по другим причинам, например, за воровство, но это в малом числе. Использовали пленных на довольно тяжелых работах — на строительстве аэродрома, погрузке и разгрузке в порту, изредка на сельскохозяйственных и других работах.

Общая атмосфера была наполнена духом уничижительного отношения к русским: за малейшую провинность, чаще всего на почве какой-то необъяснимой насаждавшейся ненависти, узников пороли розгами, для чего всегда возле бани в бочке с водой торчали заготовленные ивовые прутья. Немилосерден и жесток был начальник лагеря, получивший лагерное звание «черный лейтенант». В полной противоположности представлению, что финны якобы должны быть блондинами, начальник лагеря был сильно смугл лицом и черен как смоль волосом. Своим желчно-зловным взглядом он, казалось, мог жертву парализовать насмерть, поэтому его появление в зоне немедленно замечалось, и об этом, как по цепи, все узнавали: «Черный в зоне!» Он был невзрачен, мал ростом, сух и настожен, как голодный хищник. По его указанию в зоне была вырыта двухметровая яма с отвесными стенами, куда могли сбросить провинившегося и продержать в ней сутки и двое при любой погоде.

Люди слабели, болели, умирали. Как теперь стало известно, в ваасовском лагере только на русском кладбище похоронено в 1943 году около семидесяти человек. Убежать из этого лагеря никому не удавалось. Случаи самых дерзких попыток заканчивались неудачей, чаще — гибелью тех, кто рискнул бежать. Был случай, когда четверо пленных, работая в песчаном карьере в двадцати километрах от лагеря, отняли у конвоира винтовку и патроны, затем связали его, заткнули кляпом рот и бежали. Возглавил побег бывший моряк Вася. В лагере его и звали Моряком, на равных у него были и еще две клички: Москва, Боцман. Далеко уйти беглецы не успели, служебные собаки их настигли. Сколько могли они отстреливались, но одной винтовкой отразить осаду было немыслимо, и все они погибли. Со следами жестокой расправы труп Васи Моряка был привезен в лагерь для показа и назидания и не убирался двое суток.

За давностью моего пребывания в штрафном лагере в Финляндии и в связи, видимо, с преклонностью возраста имена людей, среди которых жил, терпел и Бог его знает на что рассчитывал и надеялся, помню очень немногие. Да и сама жизнь так складывалась — долгими годами шел по белому свету вместе с массой вконец обездоленных, как бы безликих, лишенных индивидуальных черт, низведенных примитивностью существования до полной утраты желания касаться возвышенных чувств.

Был, правда, в штрафном финском лагере один пленный родом из Рязанской области — Николай Дьяков, с которым я сблизился и поделился некоторыми тайнами — рассказал ему, что настоящая моя фамилия Твардовский, что поэт Александр Твардовский доводится мне родным братом. И вот хотя жизнь нас вскоре разлучила, он не забыл и спустя почти тридцать лет нашел меня. Встречаемся. Вспоминаем. Он живет в Москве, тоже пенсионер. Недавно отметили с ним мое семидесятипятилетие.

Сказать, что я родился в рубашке, вроде бы нельзя. Выпало мне в жизни с лихвой всяческих несчастий, хотя и дожил вот до светлых, радостных дней моей судьбы, чему искренне рад. «Судьба не обделила, своим добром не обошла» — как вычитал у одного поэта. Но это к слову. Рассказ же пойдет о том, что было и прошло...

Июль 1943 года. Лагерь военнопленных в Финляндии Муустасаари. Время утреннего развода по местам работы, основная масса пленных уже собралась возле вахты и на площадке, но из зоны еще не выводят. Переводчик поднялся на камень-валун, послышалось громкое: «Внимание! Слушайте! Кто имеет специальность литейщика?» Сказано было именно так: литейщика. Не горнового, не сталевара, не вагранщика, формовщика, заливщика. Среди пленных, а было их около четырехсот, нашлось только двое, которые назвались литейщиками: Григоренко Анатолий и я, автор этих строк.

— Подойдите сюда! — было сказано.

Черный лейтенант — начальник лагеря, и возле него пожилой, небольшого роста, изрядно располневший господин в будничном костюме, но при галстукe, как в тот же день стало известно — предприниматель, владелец небольших литейно-механических мастерских. Через переводчика нам были заданы вопросы:

— Что вам знакомо по литейному производству?

Я ответил, что знаю и могу формировать вручную по моделям в парных опоках и на плацу в одиночных. Знаком с тигельной плавкой на коксе и многим другим в фасонно-литейном производстве. Я понял, что мои ответы произвели впечатление на предпринимателя, как и ответы моего товарища. Таким образом, Черный лейтенант запродал нас владельцу мастерских по какому-то соглашению, и нас стали водить под конвоем на это частное производство. На весь рабочий день нас оставляли в мастерских под ответственность хозяина, а по окончании рабочего дня так же под конвоем уводили в лагерь.

Но одно то, что в течение дня мы не видели ни охраны, ни погонял-переводчиков, что находились среди простых мирных рабочих людей, которые относились к нам без всякой тени неприязни, по-людски сочувственно, — казалось чуть ли не сном. И невозможно было понять эту поразительную разницу: жестокость по отношению к пленным в лагерной зоне, где властвовали ненависть и насилие, и то, что мы почувствовали, оказавшись на производстве вместе с финскими рабочими. Это было очень маленькое частное предприятие из двух отделений: литейного, в котором работали, включая нас, всего пять человек, и механического на семь рабочих мест. Изготавливались здесь всякие мелкие и мельчайшие детали для моторных катеров: гребные винты, кнехты, декоративные накладки, ручки, краники, болтики и прочее. Все это тщательно обрабатывалось и доводилось до глянца шлифовкой и полировкой. В литейном отделении мы увидели единственного старого и слабого мужчину-литейщика, набивавшего формовочной землей спаренную опоку, стоя у формовочного стола. Были там еще две женщины, готовившие стержни для форм, а также занимавшиеся очисткой литья, приготовлением формовочной смеси и так далее. Совершенно ясно, что здесь мы нужны позарез: одному мужчине, тем более слабому, в литейке делать нечего. Тигель с металлом хотя бы килограммов на семьдесят поднять из горна, поставить в рогац и разлить в формы посылить только двум рабочим. Так что у хозяина была, может, единственная надежда на двух русских пленных, и ему не терпелось увидеть, что они собой представляют в деле. Мы же в свою очередь не могли рассчитывать на милосердие хозяина, понимали, что ему нужны умелые руки. Он снял с полки модель трехлопастного гребного винта и повертел ее в руках так и этак перед нами, переводя взгляд с одного на другого, как бы спрашивая: «Ну, понимаете?» И сказал: «Будьте добры, сделайте!»

Хозяин предприятия был из финских шведов по фамилии Сёдерлюнд, отлично знал, на чем испытать: изготовить форму для отливки хотя бы и малого трехлопастного гребного винта — работа из наиболее сложных, это мне было известно; модель неразъемна, снять верхнюю опоку, не нарушив форму, нельзя, если не применить так называемые по-рабочему лепехи — дополнительные вкладыши из формовочного состава для стержней, снимаемые отдельно. Об этом трудно догадаться, и если не случилось ни видеть, ни слышать — допустить ошибку проще простого. Нам же иметь такой финал испытаний было крайне невыгодно, и мы постарались его избежать.

Я употребил слово «постарались» и вот подумал, что кто-то из читателей может это понять как раболепное желание угодить хозяину. Но я с полной серьезностью хочу сказать, что об этом совсем не думал. Для меня дорога была сама возможность хотя бы в течение дня не видеть тех, кто усердно нес службу угнетения, бесстыдно спасая самого себя. Кроме того, я рассчитывал, что если удастся удержаться в стороне от зоны, то, может, подвернется удобный момент перебраться в Швецию — страну, которая помогает всем свергнутым войной в несчастье.

Совершенно беспристрастно смею сказать, что хозяин предприятия Сёдерлюнд оказался очень неплохим и сговорчивым человеком. То, что он проявлял заботу о людях, и в том числе, может, особенно о нас, пленных, подтверждалось постоянно. Он никогда не посмел сказать «давай, давай», как это практиковалось у нас в СССР не только в местах спецпереселений и в лагерях НКВД, но ведь и в колхозах было так. О том же, что, работая у этого мелкого собственника, мы, пленные, не знали голода, нет нужды говорить: обед и ужин для нас готовила и приносила в бытовую комнату его дочь. Звали ее необычным для русских двойным именем Анна-Лиса. Ее личная жизнь была помечена глубокой душевной травмой — муж наложил на себя руки, оставив ее с младенцем, когда ей было только двадцать. В нашу бытность мальчику было уже лет пять-шесть, и он всегда был с мамой рядом. Красотой она не отличалась, к тому же была излишне полной для своего возраста, и было похоже, что это ее немало огорчало. К нам, русским, она была расположена весьма любезно и доброжелательно — к случаю охотно могла присесть возле нас во время обеда, в меру приличия полюбопытничать, поспросить о том о сем. А уходя непременно скажет:

«Кайкеа хювин тейлле, поят!»¹ Такое отношение очень трогало нас и возвышало ее как женщину. Возможно, это объяснялось ее личной печалью о своей неблагоприятной судьбе, но если и так, то свойственно это только хорошим людям.

В течение всего рабочего дня наше положение как-то скрашивалось, называли нас по имени, не слышалось унижительного финского «сотаванки» (военнопленный), не резало слух каким-то образом залетевшее из лагерей НКВД блатное: «А ну, суки, вылетай без последнего!», «Ты, падло, куда прешь?», «Тебе, гнилая твоя потроха!..» — и без конца только ненависть и злоба к себе подобному, это ужасно. Конечно же, на работе у Сёдерлюнда ничего похожего не было. Но вот кончается рабочий день, приходит охранник с автоматом и уводит тебя в зону, «отдыхать» в аду. Ведут тебя по улице пригородного поселка, ты видишь мельканье ног встречноидущих, но тебе не хочется даже приподнять голову, смотришь вниз и думаешь, думаешь... и не мил тебе свет. И не на что тебе надеяться — впереди, если даже это случится и ты вернешься на Родину, ждет тебя какая-нибудь Индигирка или Колыма, Норильск или Печора. «Сойдешь поневоле с ума — оттуда возврата уж нету!» — как поется в песне колымских эзков.

В конце концов взбрело мне в голову вот что: а не затеять ли разговор с хозяином о том, чтобы не водили нас на ночлег в зону? Подумалось так: хозяин сам из себя вроде бы человек стоворчивый и доступный, на работе у него никто нас не охраняет, нет сомнений и в том, что как работники мы ему очень необходимы, ведем себя вполне добросовестно. Так за какой же такой грех мы должны переносить нечеловеческие муки лагерных условий в часы ночного отдыха? Этой мыслью я поделился с Анатолием, которого теперь уже, казалось, порядочно понял по совместной работе и положению. Он, Анатолий, мужчина моего же возраста, с делом знаком хорошо, очень честолюбив, но не глуп и симпатичен. Не было между нами секретов. Слушал он меня и плечами пожимал:

— Слушай, Иван! Ты, право же, черт знает, не то прорицатель, не то отгадчик: как ты мог почувствовать мои мысли? Присвоил и подаешь теперь как свои. Вот, брат, чудо! Поверь, я давно думаю об этом. Знаю, что многие из пленных этого лагеря живут у крестьян без охраны. И почему бы нам об этом не поговорить?

Саму беседу с хозяином не стану описывать подробно, скажу покороче. Финским я владел к тому времени лучше Анатолия, и потому было решено, что вести разговор более с руки мне. Хозяин был молчалив вообще, и это меня несколько смущало: трудно было понять, как он реагирует — на этот раз он только слушал да покачивал головой. Были некоторые проблемски ухмылки, не то улыбки, он как бы удивлялся моей смелости, но, хотя и не сказал ни «да», ни «нет», неудовольствия не выразил. Сказал только одно: «Селева!» (Ясно!) С тем и ушел.

Дней через пять, придя в литейку, после обычного приветствия «хюва пайва!» (добрый день) хозяин объявил, что с этого дня мы можем ночевать здесь, в комнатухе. Естественно, мы должны были поблагодарить господина хозяина за его внимание и сердечность.

В бытовой комнате для нас была поставлена широкая деревянная койка, наволока (чехол) для матраца из сена, то же — для подушки, одеяло. Большого мы не желали, лучшее могли видеть только во сне. Правда, наш рабочий день стал несколько длиннее, но это было не по принуждению или напоминанию со стороны хозяина мастерских — иногда просто как-то неудобно ничего не делать, если сам швед подолгу задерживался, работая на токарном станке. Когда же он уходил домой, то ни на какие запоры нас не закрывал.

Мы догадывались, что в улучшении нашего положения существенно помогла Анна-Лиса. Сама она, конечно, ни словом не обмолвилась об этом, но была просветленно рада, что нам стало удобнее и легче. Она не могла знать, что в моих затаенных планах созревало решение любыми путями бежать из Финляндии в Швецию, в страну морских разбойников, где не знают войны более двухсот лет, с тех самых пор, когда армия их короля Карла XII была разбита под Полтавой. И совершить такой марш я должен был, не дожидаясь окончания войны. Денно и ночью я думал об этом; кажется, всего ничего — семьдесят километров Ботнического залива отделяют берега Швеции от Финляндии, но это не для меня. Другой вариант — по суше, вдоль берега вплоть до пограничного Торнио, где граница проходит по реке. Но здесь, если верить карте, набирается строго по прямой не менее четырехсот километров — не шутка.

Сказать об этом Анне-Лисе при всей моей душевной к ней признательности я не мог и был терзаем ее добротой в том смысле, что она сочтет меня неискренним или хотя бы неблагодарным. Кроме того, я понимал, что факт возможного моего побега должен был причинить неприятности ее отцу, поверившему русским пленным и взявшему на себя ответственность перед лагерной администрацией. И хотя между мной и Анной-Лисой особой близости не было и, пожалуй, не могло быть, полностью

¹ Всего вам доброго, ребята!

исключать всякую ее надежду на, может, будущую серьезную дружбу, как мне казалось, тоже нельзя было.

Как-то мы заметили, что в механическом отделении приступили к работе два новых человека, которые привлекли внимание не только наше, но и того старого литейщика, и женщин, работавших на формовке стержней и на прочих вспомогательных работах. Вскоре стало ясно, что эти два новых токаря — эстонцы, получившие убежище в Финляндии, что они «паколайсет», то есть по-русски беженцы. Кое-что о беженцах из прибалтийских советских республик мне было известно из финских газет, которые я имел возможность читать каждый день — их приносила мне Анна-Лиса. Кстати сказать, с каких-то пор я понял, что для изучающих чужой язык газета является очень существенным учебным пособием: тут и броские заголовки, и рубрики кратких информаций, и происшествия, и объявления — все это очень схоже с публикациями газет на любых языках.

Сближения с эстонцами-беженцами я не искал, хотя видел их каждый день. Это были молодые люди в гражданской одежде, как можно было предположить, никаких ограничений они не имели — в смысле движения и проживания среди финнов, жили на частных квартирах. Изъяснялись они на своем родном языке, и финны их понимали, что для меня было любопытно. Позже я имел случаи кратких общений с эстонцами и, обращаясь к ним на финском языке, убедился, что в известных пределах их элементарная речь мне понятна.

Продолжая находиться под хозяйской крышей без каких-либо попыток отдаляться от мастерской, я был озабочен подготовкой к исполнению моих намерений отправиться в странствие вдоль побережья Ботнического залива на север. Сдерживала меня одежда и отсутствие энной суммы денег — в пути выпить хоть чашку кофе, купить финскую лепешку. Не разрешив этих вопросов, нельзя было и думать пускаться в путь. Все, казалось, мне способствовало: время года, наше безнадзорное бытие, знание языка, осведомленность в географии, но в той одежде, которая была на мне, ни в коем случае рисковать было нельзя. И тут еще появились новые, до поры не учитываемые мной сложности: ведь я все еще ни словом не обмолвился с Анатолием о моих планах. Размышлял: ну, если, допустим, все у меня будет, как говорится, на мази и настанет вечер, когда я должен сорваться с места, — как тогда быть? Попрошиться и уйти? Или ждать, когда он заснет, — уйти тайно? Или понадеяться на его солидарность и ввести в курс моих намерений? Казалось бы, за столь немалый срок нашей совместной работы можно человека узнать, да вот такого убеждения у меня не было, может, потому, что сам я никому не открывался: так же, видимо, и Анатолий мог хранить свою тайну.

И все-таки я решил рассказать Анатолию о моих намерениях. Теперь, спустя почти полвека, не могу вспомнить точно, было ли то поздним вечером или ночью в часы мучительной бессонницы, да и не это главное, факт, что разговор такой состоялся. Ну раз так, то надо было рассказать о том, что меня побуждало идти ва-банк на такой рискованный поступок. В жизни оно так, сам примечал: долго человек сдерживается, томится, ни с кем не делая своей тайной, да приходит такой момент, что нет больше сил, и стоит только чуть затронуть предельно натянутую струну — и все... Может, и не на пользу себе, а может, и легче станет.

Рассказал я Анатолию о своей ранней юности, о спецпереселении и мытарствах всей нашей семьи: беги, аресты, жизнь без документов, о более позднем периоде, когда предлагали увольняться с работы только потому, что по происхождению ненадежен, отказывали зарегистрировать новорожденного в загсе и посылали в комендатуру НКВД, где новорожденного регистрировали как спецпереселенца. На ж тебе, обернулась война еще и пленением в придачу ко всему.

— Вот, дорогой мой Толя, что меня побуждает на такой шаг! Тут и гадать не надо, что можно ожидать при моем возвращении из плена. Все будет учтено, и Колымы не миновать, а это пострашнее финского плена.

После недолгой паузы Анатолий решил, что я закончил свои откровения, и тут же спросил: «Хочешь знать мое мнение?» — на что я ответил неопределенно, в том духе, что «допустим» или «ну, разумеется...».

— Я, Иван, не моложе тебя и хорошо помню, как батьку забирали в тридцать втором — какая-то малость пшеницы была у него припрятана, и ее нашли. Пять лет «учили свободу любить!». А ты таился, ничего мне не говорил. Неужто не доверял? — Почти с обидой он посмотрел мне в глаза.

Я должен был объяснить ему, что в таких рискованных делах положено быть осторожным и ни в коем случае не наталкивать, не впутывать человека, который своим умом не пришел к подобному решению.

— Ну это само собой, это правильно. Так я же своим умом и решаю: давай вместе! Разве хуже вдвоем?

Сказать ему, что да, я считаю — хуже, ведь обидится. Я был уверен, что он еще не успел вдуматься, не в состоянии был даже представить, как велик риск нелегально преодолеть более четырехсот километров вдоль морского побережья, озираясь, голодая, ночуя под случайным кустом. Право же, я посажалел, что объяснился с ним, но правда и то, что уйти, не сказав ему ничего, я вряд ли смог бы.

— Ладно, Анатолий, можем пойти и вместе, если ты до конца останешься мужчиной в полном смысле слова. А пока давай-ка спать! Спи и думай, где и как достать самое простое и необходимое из одежды: штаны, куртку, кепку, рубашку. Без шумток нечего и думать! И, Боже избавь от беды... никаких поводов для подозрений и догадок! Учти это, и спокойной ночи!

Литейная полностью держалась на наших плечах. Мы изготовляли формы, наблюдали за нагревом и плавкой в тигле, разливкой металла, часто и выбивали горячие формы. Так что у хозяина было основание считать, что работников Бог послал ему вполне хороших — повезло, и, как нам казалось, было за что хозяину и некоторые издержки нести. А пришли мы к такой мысли в связи с тем, что после таких работ, как заливка форм и выбивка опок с горячими отливками, мы бывали в пыли и в поту и в той же робе шли на отдых. Вот в таком виде и предстали мы перед хозяином с деликатным вопросом: так-то оно так, человек вы цивилизованный, не можете не понять, что после работы нужно бы нам переодеться, да нет у нас ничего, кроме этой грязной робы. Оно, конечно, мы понимаем, что мы — пленные, но менять одежду все же, видимо, нужно.

Сам старый швед приходил в мастерские в чистой одежде; в раздевалке в шкафу — другая, к станку он вставал переодетый. Грешное дело: на его рабочий костюм я засматривался, но сейчас не о том.

Хозяин нас выслушал и предложил следовать за ним. Мы оказались в кладовой, где было много различного имущества в виде материалов, инструментов, приборов, и Бог знает чего там только не было, и мы не сразу поняли, ради чего хозяин решил познакомить нас с этими сокровищами. Когда же он начал снимать с полки и класть на стол одну за другой стопки брюк и курток: «Выбирайте, может, что-нибудь подойдет», — мы почти растерялись. Нам верилось и не верилось, что все это ни на какие запоры не закрывалось и сторожа у хозяина не было. Здесь же, в бытовой комнатке, по существу, среди всего этого имущества нас оставляли одних, и хозяин никогда ночью не приходил, чтобы проверить, все ли у него во владении в порядке. Не стану утверждать, что в Финляндии везде так, но у этого предпринимателя было именно так: никаких намеков, что может быть что-то похищено, чему мы очень удивлялись, ведь в мастерских, кроме нас, никого не оставалось с вечера и до утра. Собственно, такие условия, когда мы оставались вне надзора и слежки по окончании работы, убеждали меня, что есть возможность тихо оставить это место и что более удобных обстоятельств выждать не следует — их просто может не быть. Делясь такими соображениями с Анатолием, я заметил в друге моем долю сомнения и нерешительности. Это меня несколько беспокоило, я почувствовал, что он колеблется, к твердому решению не пришел и вряд ли придет, надеяться на него нельзя. Про себя подумал, что есть резон решительно ускорить задуманное и этим же вечером с наступлением темноты сказать, что я ухожу.

После работы, когда Анна-Лиса принесла нам ужин и, как обычно, присев на стул, начала о чем-то рассказывать, я попросил прочитать составленную мной записку к ней на финском языке, содержание которой было примерно следующее: «Простите, пожалуйста, Анна-Лиса, и будьте столь добры, скажите, нет ли у Вас какой-нибудь мужской рубашки, которую Вы могли бы мне подарить? Только это между нами. Был бы очень Вам обязан». Бегло прочтя мою записку, которую, кстати, я показал ей, держа в своих руках, она выразила полную готовность сделать все как нужно, сказав, что сейчас же принесет.

Могла ли она заподозрить меня в том, что рубашка нужна мне в преднамеренный мной путь? Я рассчитывал по ее расположенности к нам, что такой мысли у нее не должно было возникнуть, хотя, конечно, я рисковал. Но пока все шло благополучно; Анна-Лиса принесла рубашку не таясь, открыто, я тут же ее надел. Благодарно обещал отдарить, если Бог потерпит мои грехи и будет милостив к моей судьбе.

Это было в двадцатых числах августа. Было пасмурно, и оттого сумерки сгушались явно раньше обычного. Я почти был уверен, что Анатолий не решится идти со мной, но это не могло меня остановить, и я должен был сказать ему последнее слово. Видимо, он догадывался, что минута расставанья близка, и ему, может, удобнее будет ответить на мой прямой вопрос — признаться, что передумал, что уходить со мной не решается.

— Ну, Анатолий, мой час пробил. Сборы, как видишь, недолги, и я готов еще раз поставить себя под испытание на прочность. А как ты?

— Не осердись, Иван! Не осуди — боюсь!

Ну какая же могла быть обида на человека, который решил, что на такой шаг он идти не может... Мне оставалось только просить его задержаться в мастерских хотя бы на полчаса, пока я успею скрыться. И еще договорился о том, что ему ничего не известно, куда я был намерен продвигаться. Расстались мы по-хорошему, пожелали друг другу удачи. Но я совершенно был уверен, что он сразу же поставит в известность лагерную охрану во избежание каких-либо обвинений в сокрытии факта побега. Я дал ему понять: «Ты спал, а когда проснулся, меня уже не было...»

Принаряженный в хозяйский рабочий пиджак и его же кепку, я вышел из мастерских, прислушался: кроме гула автомашин, ничего не было слышно. Убедился,

что велосипеды находятся там, где им и положено быть, все три машины. Очень спокойно, то есть, конечно, в том смысле «спокойно», когда это достигается предельным напряжением воли, я взял один из находившихся в пирамидке, проверил — покрышки были туго накачанными, после чего вывел к магистрали и только тут обнаружил, что велосипед был женский. Но возвращаться, чтобы заменить, было уже ни к чему. И сердце, и ноги, и все во мне было подчинено единственной цели: быстрее и дальше откатиться от места, где меня только что не стало, и я нажимал на педали. Подъезжая к городу Вааса, почувствовал, что пошел дождь, и это было, наверно, хорошо. Было часов девять вечера — время не позднее и транспортных средств на магистрали было еще много, в том числе и велосипедов. Встречные меня не могли беспокоить, но в те моменты, когда обгоняли на мотоциклах, было тревожно: как знать, все могло быть. Но была надежда, что Анатолий никак не имел в виду, что я использую велосипед; вспомнят о нем, может, только назавтра. А напряжение нервное все еще не сбавлялось — сердце стучало с отдачей в виски, и я чуть ли не звучно ощущал удары! Дождь продолжался, спина и ноги были мокры и горячи, я дышал ртом, с меня градом лили пот и дождь, но я продолжал бросать свой вес на педали, чтобы еще, и еще, и еще дальше, дальше на север. Часов у меня не было, и я не мог даже приблизительно определить, как долго нахожусь в пути и как далеко я успел отъехать, прежде чем подумать, как мне лучше поступить: продолжать этот велосипедный бросок или, может, пора спешиться и искать какое-то укрытие. Но о каком укрытии могла идти речь, если я не мог и помыслить о встрече с человеком. По обе стороны был густой смешанный лес, больше похожий на заросли ольхи и, может, черемухи да березок; и уже совсем редко стал встречаться транспорт, и это тоже как-то неприятно, ведь ты можешь вызвать подозрение в случае какой-либо встречи и тем более, помилуй Бог, вопроса: кто ты есть? куда ты? кого тебе нужно и где он тот? Ни на один из подобных вопросов я не мог бы ответить.

Остановился и с велосипедом — круто в сторону, в эти мокрые, неведомые мне заросли. Дождь продолжает шелестеть по листьям, я барахтаюсь с велосипедом, который цепляется за все видимое и невидимое, но метров на двадцать я все же оттащил его от дороги. И там я его оставил с какой-то жуткой грустью обо всем, что делала война с человеком. Я стоял, не зная, как мне быть глухой темной ночью в непролазных зарослях во вражеской стране, где таких просто-запросто могут убивать как врага, — война продолжалась.

Как бы не своей силой я сдвинулся с места с чувством полной отчужденности от всего живого на свете, продираясь в безотчетности по мокрым зарослям в темной ночи. Все дальше и дальше, надеясь незнамо на что, потому что быть без движения еще тягостней и безнадежней. Вдруг вышел на поляну. Остановился, присел на корточки, всматриваясь и ощупывая ладонями землю. Я понял: это была поляна после покоса. Значит, где-то неподалеку может быть сено. Стал всматриваться поодаль себя и — о-о! — я мысленно вскрикнул: так вот же, вот же он, сенной сарай! Внутренне, в уме, я сообщал сам себе эту спасительную, уже видимую, представшую по воле Спасителя надежду. Я иду с предвкушением возможности забраться в глубь сена, зарыться, где не только сухо, но еще есть и доля сохранившегося июльского тепла — что может быть дороже в такую минуту!

Смею сказать, что был потрясен до глубины души и благодарил Господа Бога за его милосердие. Ведь я ничего не ведал, когда шел во тьме, был в отчаянии — и вот эта поляна как дар Господний. Я вырыл глубокую нору в сухом ароматном сене и успокоился, почувствовал, что могу уснуть.

Это была первая ночь из тех примерно сорока пяти ночей, которые мне пришлось провести в одиночестве за время пути от лагеря до финского пограничного со Швецией города Торнио. Описать подробно эти сорок пять суток мне не под силу. Можно лишь представить положение человека, который без денег и без документов преодолел после побега из лагеря около пятисот километров по чужой земле. Пришлось изведать и голод, и страхи, минуты и часы отчаяния и безнадежности. Неделями питался брусникой, которая часто попадалась в сосновых лесах у побережья Ботнического залива. Случалось наниматься в крестьянских хозяйствах копать каналы, чтобы иметь немного финских денег и продовольствия в пути. Были случаи, когда задерживали и держали взаперти день-два, но благодаря тому, что я выдавал себя за эстонец и знал по-фински, отпускали, как говорится, с Богом. Последнее задержание произошло в самом пограничном городке Торнио, где я рискнул пройти через границу прямо по мосту через пограничную реку. Тот мост соединяет два государства, и местное население ходит свободно из Финляндии в Швецию и наоборот. Но охрана знает местное население, можно сказать, в лицо. Здесь меня и задержали у самой цели: оставалось всего двадцать — тридцать метров до шведского берега. Жуткое состояние: могли бы вернуть на исходное место, но... В камере полицейского участка продержали без допроса почти трое суток, наконец вводят в кабинет к полковнику полиции. Спрашивает по-фински: «Куда вы идете?» Я отвечаю на финском языке, что иду в Швецию. «Кто вы?» Отвечаю, что эстонец. После этого он подвел меня к карте городка и указал мне, где можно более безопасно перейти границу вброд,

чешколько выше по реке, которая в тех местах является границей. Сказал и в какое время это лучше сделать: перед вечером. С тем и отпустил меня на свободу.

Все, что я успел увидеть на карте этого городка, я держал в памяти, и мне было ясно, что, выйдя из полицейского участка, нужно пройти вспять моего пути метров пятьсот, свернуть налево в переулок, то есть в направлении севера, и пройти за пределы населенного пункта. Однако, как было сказано, я должен был обойти городок перед вечером, притаившись, выждать до сумерек, находясь вблизи пограничной реки, и только потом быстро перебежать через реку. «Перебежать через реку» — эти слова не могли не беспокоить; что же это за река, которую можно перебежать, думал я. До предвечерней поры оставалось еще часа два-три, и провести их тоже оказалось непростым делом — надо было поменьше попадаться на глаза местным жителям. Но ведь и стоять не годится, если сам вид твой никак не вписывается в окружающую тебя среду, ты — пришелец из какого-то иного мира, на твоём лице следы глубокой тоски, и ты это знаешь, ты не хочешь слышать вопросы к тебе, ты хочешь есть... Побуждая себя к более бодрому шагу, я прошел метров двести и увидел вывеску: «Кахвила». Какая-то мелочишка у меня еще сохранилась, и тут-то я, как бы подхлестнув себя, взбежал по ступенькам подъезда, вошел в кофейную. Было там и тепло, и светло, и уютно, и ко всему еще чудесный запах горячих пампушек и кофе со сливками. Как во сне: молоденькая финка-северянка в белоснежном передничке с широкими лямками накрест любезно налила мне две миниатюрных чашечки кофе, подала на блюде пару пампушек, обронив свое учтивое «олкаа хювя!» (пожалуйста!), и эти ее два слова прошли глубоко в мою душу, как доброе пожелание, как благодать моему пути. «Киитоксия пальйон!» (Большое спасибо!) — ответил я с чувством смущения и какой-то неловкости, потому что ты инкогнито и ты не свободен от мнительности.

Задами я прошел по бугристому пустырю и, притаясь неподалеку от реки Торнио, сидел часа два, поджидая сумерек. Вслушиваясь и всматриваясь, я не заметил никакой пограничной охраны. Не было видно и пограничных столбов. Когда же начали сгущаться сумерки, момент моего решения перейти пограничную реку подступал к последним секундам отсчета. Я чувствовал, что усомниться или передумать уже не могу. И абсолютно не испытывал страха. Я просто рывком бросился бежать по затравеневшему низинному берегу прямо к реке, ни с чем не считаясь. И в те же минуты я услышал крики с финской стороны, охрана заметила, но остановит меня могла только пуля — я продолжал бежать. Тут же, лишь секундой позже, я услышал крики со шведской стороны, а затем увидел бегущих мне навстречу двух шведских солдат, и я понял, что их крики относились к финнам. Вот так я оказался в Швеции, а точнее, на шведской пограничной полосе, где и был встречен двумя, как оказалось, очень рослыми пограничниками в белых меховых шапках. Там я назвал себя собственным именем.

Это было 15 — 18 октября, точно не помню — дней не знал.

Там же, не дав мне отдышаться, они осыпали меня вопросами, которые я не мог понять, но когда один из них, тыча пальцем себе в грудь, произнес: «Яг эр свенскар! Свенскар!» — это уже было созвучно с нашим «швед» или «сведен», тем более что его палец указывал и на меня, то я понял его и сказал: «Я — русский! Рюслянд!» Тут я услышал: «О-о! Ео-о!» На их лицах было и сочувствие и приветствие. И нет, совсем не было это похоже на то, что меня повели под конвоем. Они как бы увлекали меня, идя рядом, торопясь, и отрывочно, с помощью жестов пытались мне что-то объяснить на непонятном для меня языке, касаясь моей невзрачной одежды, брезгливо произнося что-то схожее с нашим «фез-э!», бросая жест в сторону. Но, в общем, вели они себя совсем невраждебно, и это меня успокаивало и ободряло. Минут через десять мы подошли к будке телефонной связи, куда один из солдат вошел и позвонил. Очень скоро подошла автомашина типа нашей «ГАЗ-69», из нее как по тревоге почти на ходу выскочил человек в темной форме и вопрошающе обратился к солдатам. Было упомянуто слово «рюсск». Его взгляд скользнул по мне с головы до ног, и я услышал вопрос: «Рюсск пойке?» (Русский парень?) Я кивнул утвердительно, но дальше разговор не пошел, полисмен не знал ни русского, ни финского, и мне было указано, чтобы я сел в машину.

Ехать пришлось совсем недалеко — машина остановилась у небольшого каменного строения котельной, где была душевая. Вот так: прямо с ходу — меня под душ. Но об этом я догадался не сразу. Первым долгом мне стали предлагать, и так и этак показывать, чтобы я разделся, но происходило это не в душевой, а в кочегарке возле котла, и я никак не мог понять, в чем дело и чего от меня хотят. Потом показали мне кабину, открыли вентиль, я увидел, как хлынули струйки воды, — и догадался наконец, что я могу вымыться после моих долгих странствий. Но ведь надо только представить, каков я был, если полных семь недель не раздевался, — на мне все истлело, и боязно было вообразить, что после душа мне придется опять надеть то, что сбросил с себя. Но беспокойства мои были напрасными: когда вышел из душевой, то своей грязной одежды я не увидел — она уже была сожжена в топке. Кто-то из младших чинов полиции накинул на меня простыню, указал надеть тапки, и в таком

виде я был уведен в арестантское помещение и водворен в камеру, где было указано место и выдано натальное белье. Все это произошло прежде, чем подвергнуть меня первичному допросу: кто я есть, откуда и зачем перешел границу?

На допрос меня пригласили только на третий день. Не знаю, был ли это следователь в обычном представлении или же какой-то оперуполномоченный, но факт, что русским языком он не владел — допрашивал, с моего согласия, на финском. В сущности, для меня это никакой роли не играло, поскольку вопросы ко мне были ясны и понятны, каких-либо обвинений мне не предъявлялось, и у меня не было причин отвечать не так, как было на самом деле. В сравнительно краткой форме я рассказал этому первому шведскому следователю сухую правду: о том, что моя родовая фамилия Твардовский, что звать меня Иваном, и все то, что само собой следует по порядку: год рождения, место рождения, место жительства до службы в Красной Армии, сколько времени был на войне, когда попал в плен, когда и как бежал из лагеря пленных и т. д.

Здесь, в этом шведском пограничном городке Хапаранда, соединенном мостом через пограничную реку с соседним финским городком того же названия, я пробыл на положении задержанного не менее двух недель. Не буду описывать условия содержания — они не сравнимы с условиями в советских местах заключения.

За эти две недели поодиночке и группами прибыло человек сорок норвежцев, с десяток немцев из северной Финляндии и трое русских. Вступать в близкое знакомство с кем-либо из встретившихся здесь беженцев мне не случилось. Накануне отправки в лагерь для интернированных мне была дана вся необходимая по сезону одежда. Уезжал я поездом без всякой охраны, но поскольку шведского языка я совершенно не знал, мне был дан сопровождающий из штатских граждан. Поездом мы ехали часов семь-восемь, сошли на станции города Умео. Но до лагеря нужно было добираться автобусом — он был где-то в стороне, километрах в сорока от Умео, на берегу средней части Ботнического залива.

Это было в первых числах ноября 1944 года — первый день моего пребывания в шведском лагере интернированных беженцев из разных стран Западной и Восточной Европы: Франции, Бельгии, Голландии, Польши, Дании, Норвегии, из прибалтийских республик и прочих дальних и близких от Швеции мест. Но начнем с первого впечатления о самом лагере. Еще при въезде предстал обзору очень своеобразный, возведенный на склоне обширной лесной поляны городок из сотни, не менее, аккуратных типовых домиков-общежитий. Назвать их бараками просто не хочется и, пожалуй, нельзя — так они привлекательны и опрятны. Их строгие ряды на фоне зубчатой стены хвойного леса и благодаря броскому присутствию живых, двигающихся обитателей выглядели нарядно-праздничными. И ничего лишнего возле жилых домиков: ни сарайчиков, ни отхожих будок — санузел, водопровод, центральное отопление в каждом домике.

В доме, куда меня поселили, были только русские и говорящие по-русски. Кстати, он был единственный, русских в этом лагере было мало, всего человек тридцать или несколько больше. Но то, что русские жили отдельно от других, не было исключением — другие национальные группы также жили отдельно, и это было хорошо, так как были случаи национальной неприязни и явного недружелюбия. Самые неприятные эпизоды разыгрывались в столовой, которая была узким местом: приготовить пищу для такой массы людей и потом в сжатые минуты подать на столы, накормить стоило почти адских усилий шведским девушкам. И можно представить, какое нужно иметь терпение и выносливость, чтобы с утра и до вечера обслуживать все новые и новые сотни разноязычных пришельцев, которые к тому же не всегда вели себя достойно.

Каждый из интернированных по истечении двух-трех недель пребывания в лагере, пройдя какую-то проверку или уточнение данных, мог получить паспорт для иностранца и поехать в любой населенный пункт, чтобы устроиться на работу. В большинстве случаев администрация давала адреса предприятий, где желающие могли работать с оплатой на общих основаниях, то есть в тех же размерах, как оплачивался труд шведских рабочих. Но речь, конечно, могла идти о рабочих местах, где необязательно знать шведский язык: например, работать лесорубом, грузчиком, рабочим при ресторане и т. д. Такие условия лично меня в тот момент вполне устраивали, и я поджидал такой возможности. Во-первых, меня не прельщало положение жить на «милосердных» хлебах, я догадывался, что в конечном итоге каждое государство за своего подданного, находившегося в интернировании, обязано будет оплатить понесенные расходы. Во-вторых, с того момента, как только среди русских интернированных стало известно, что я Твардовский Иван Трифонович, то их это как-то сильно напугало, и меня стали обходить — зачислили в агенты НКВД. Поначалу я думал, что это просто интеллигенты от безделья шутят, ан нет. Один из них, назвавший себя журналистом, перешел на полный серьез и, обращаясь ко всем русским, криком призывал: «Что тут гадать?! Его брат, поэт Александр Твардовский, законченный сталинист! И сомнений не может быть, что этот не зря тут, по заданию НКВД прибыл!»

В Швеции, конечно, такие толки не могли представлять мне угрозу, но было неприятно: навесили на меня тень агента. Споспобствовало этому нелепому подозрению еще, пожалуй, и то, что я по простоте рассказал, что бежал из штрафного лагеря один, побережьем Ботнического залива, что в пути находился почти семь недель и границу перешел в районе реки Хапаранда. Этим маршрутом никто из русских не проходил, хотя ясно же было, что в Швецию все они прибыли из Финляндии. Если же это так, то я вправе был думать, что удалось им это сделать не без помощи тех, кому они служили. Но это, конечно, лишь моя догадка. И многое осталось неясным: в связи с чем, откуда и каким образом, если спросить каждого из русских, оказался он в Швеции, — как-то все старались уйти от таких вопросов. В лагере, где мне довелось быть (а был я там всего недели три), русские в своем большинстве были из интеллигенции, образованные люди: журналисты, преподаватели высших школ, инженеры, врачи, служители религиозного культа и прочие в этом роде. Никто из них ничего о себе не рассказывал. Они держались группами, как давно знавшие друг друга единомышленники. Позволю себе более подробно сказать лишь об одном из них — Брониславе Яворском. Ко мне он относился довольно дружелюбно, кое-что рассказывал о себе. Называл себя инженером, якобы доводился сыном известному в свое время московскому солисту. Обладал и сам отличным баритоном и по просьбе слушателей охотно исполнял два-три классических романса. Его любимые вещи были: «Хотел бы в единое слово...», «О, не буди меня, дыхание весны...», песнь варяжского гостя, «Сердце красавицы склонно к измене...» и другие известнейшие вещи из классики. Позже, примерно через год, когда я работал в одной из частных резных мастерских в селении Индальсэльвен неподалеку от города Сундсвалль, он приехал ко мне из города Упсала. Рассказывал, что как инженер, не владеющий ни одним из европейских языков, он не может получить инженерную должность на предприятиях Швеции — в лучшем случае предлагают пятьдесят процентов ставки инженера, а потому живет в нужде, в одиночестве и тоске. Он и посетил меня не от радости.

В конце ноября 1944 года администрация лагеря интернированных уведомила меня, что паспорт для иностранца на мое имя получен и если я пожелаю, то могу поехать на работу. Из русских и украинцев, согласившихся на такое предложение, набралось восемь человек. Без каких-либо задержек, в назначенный день автобусом нас доставили в город Умео, посадили на поезд, предупредили проводника вагона, чтобы не забыл, что этим русским ребятам нужно сойти на станции Аспео, где их обязательно встретят. Такая забота объяснялась тем, что никто из нас не владел шведским языком.

На той безвестной, утонувшей в лесах маленькой железнодорожной станции Аспео с населением едва ли более пяти-шести семейств, нас встретил и тепло приветствовал представительный господин крупного роста. Убедившись, что все мы, восемь человек, именно те, кого он ожидал, дал нам понять, чтобы следовали за ним. Не зная языка, мы не могли уяснить, что он предлагал нам немного отдохнуть в его семье за чашкой кофе — что, кстати, у шведов самый обычный жест доброжелательности. Мы молча шли следом, не удостоив господина элементарным в таких случаях словом «спасибо». С неподдельным радушием встретила нас супруга самого господина, который был, как мы узнали позже, представителем акционерного общества «Бюваттен» в этом районе лесозаготовок. Мы были тронуты вниманием к нам, готовностью так любезно и бескорыстно, с душевной щедростью угощать нас ароматным кофе со сливками и домашним печеньем. Мы благодарили как могли, но было до обидного неловко, что никто из нас не владел ни одним из европейских языков — достойно поблагодарить мы не могли. В завершение этой встречи нам предложили ознакомиться с комнатой фамильного собрания редкостных предметов культуры скандинавских народов прошлого, что также произвело на нас сильное положительное впечатление о людях шведской глубинки. Описать картину того часа нашего отдыха, знаю, мне не удастся, но надеюсь, меня могут понять, что случай такой достоин памяти.

До места нашего назначения, где нам предстояло работать, нужно было пройти пешком километров десять-одиннадцать в сторону от железной дороги, лесом. Господин предложил нам ознакомиться по карте, чтобы мы не сомневались — заблудиться мы не можем: на девятом километре значился крестьянский хутор, дальше — по льду через озеро напрямик к домику лесоруба, где есть и мастер участка, и повариха, и нас там уже ждут. Так и получилось; вечером того же дня мы были встречены и приняты в маленьком домике на отшибе от больших дорог и скоплений беглых представителей разных стран и народов.

Ясно же, что ничего завидного нет в том, что мы получили возможность работать в лесу. Но лучшего ничего нельзя было ни ожидать, ни искать людям, совершенно не знающим языка. И нет нужды останавливаться и описывать, как эта работа начиналась и как шла, — все такое почти каждому знакомо и понятно, если учесть, что полсотни лет тому назад в Швеции в лесу работали теми же методами, как у нас в России в те годы: еще не было ни бензопилы, ни сучкореза, ни трелевочного трактора, все это пришло позднее. Разница была лишь в том, что лесоруб в Швеции

зарабатывал раза в два-три больше, чем лесоруб в СССР, если сравнивать по объему товара, который можно приобрести на зарплату одного рабочего дня. Но не это было чем-то важным в жизни всех тех, кто оказался в плену или просто на чужбине, — эти люди жили одним днем и о своем будущем никаких ясных представлений иметь не могли. Восемь человек русских, в составе которых мне случилось работать в шведских лесах зимой 1944 — 1945 года, до войны и на войне друг друга не знали, не было среди нас разговоров о том, кто, где и чем занимался на Родине, как и о том, на что рассчитывает и надеется каждый из нас. Судя по возрасту и каким-то прочим приметам, мне казалось, все могли быть семейными людьми, но почему-то и этот вопрос оставался тайной себе на уме. Как и чем это объяснить, можно лишь гадать. Между прочим, не замечалось, чтобы кто-либо проявлял себя открыто антисоветски, вроде бы даже наоборот: эти люди искренне патриотически радовались успехам Советской Армии на фронтах. Но вот не помню, чтобы были высказывания о готовности возвратиться на Родину по окончании войны — боязнь ответственности оставалась непреодолимой. По существу — ответственности за не совершенное зло, за то, что остался жив из тех тысяч брошенных на произвол и потому погибших по вине бездарных командиров, не принеся своей смертью никакой пользы Родине.

Вместе с нами в лесу работали и шведские местные крестьяне: трое на собственных мощных рыжих лошадах занимались вывозкой из леса бревен к месту сплава, другие два шведа работали на повале, как и мы. Общение с ними было каждодневным, в известной мере — обоюдозанимательным: мы все больше постигали тайну шведской народной речи, и это было очень кстати — жизнь обаявала; в свою очередь, на досуге для простых шведов мы представляли непосредственный, из первых рук источник знаний о жизни в России. Интерес к России и к русским удерживается с тех далеких исторических событий, когда завоевательный поход на Россию короля Карла XII окончился поражением под Полтавой. Об этом знает буквально каждый житель Швеции. И здесь не могу не вставить в строку, что в подавляющем большинстве шведы необычайно любопытный и общительный народ. Им все интересно и непременно хочется знать, в то же время ничего не скрывают, рассказывая о своих личных делах, взглядах, убеждениях. Шведский крестьянин всегда готов рассказать, а если будет удобный случай — показать гостю свое хозяйство, свои достижения, обустройство своей усадьбы. Он всегда трезв и житейски мудр, свобододобив и милосерден. Мне случалось и бывать и жить в шведских семьях, до сих пор храню в памяти имена добрых людей и названия мест, где это происходило. Но об этом рассказ впереди.

С наступлением весны 1945 года, в апреле, когда Советская Армия уже была на подступах к Берлину и всему миру стало ясно, что дни фашистской Германии сочтены, когда информация о фашистских лагерях смерти, освобожденных Советской Армией, стала широко публиковаться в шведской печати с иллюстрациями документальных фотоснимков, не было сил удержаться от слез и содроганий души, глядя на полуживые скелеты уцелевших узников, и не было границ гневу и проклятиям людским фашизму за его зверства над людьми, за миллионы сожженных и замученных. Я видел, как в Швеции с мольбой взывали к Богу низвергнуть и покарать изверга рода человеческого.

Ни интернированным, ни освобожденным Советской Армией из фашистского плена по негласному закону не было дано право чувствовать себя причастными к исходу Великой Отечественной — Победе. Так именно понимал каждый, кто оказался в плену или «пропал без вести», и таких было, страшно сказать, более трех миллионов! И хотя большинство стали жертвами невообразимой неорганизованности нашей обороны в первый период войны, каждый понимал, что плен — незаживающая рана души воина. Все это действительно так, и всем известно, что миллионы советских воинов отдали жизнь свою, защищая Родину. И все же: неужто все оказавшиеся в плену — не хочется повторять их число — не смогли совладать с собой и, забыв о своем священном долге, предпочли жизнь в плену врага, в лагерях смерти? Так, может, есть предел человеческих сил? Может, с этим как-то нужно считаться, если вершители судеб тоже люди и у них есть матери и дети?

Из-за начавшихся паводков с прежнего лесоучастка нас, русских, перевели в другой, более населенный район неподалеку от железнодорожной станции Бюваттен, что между шведскими прибрежными городами Шеллефтео и Орншёльдсвик. Но здесь в прежнем составе мы оставались недолго. Поселены мы были точно в такое же общежитие, как на прежнем лесоучастке, — небольшой стандартный домик, с той лишь разницей, что стоял он возле шоссе, у автобусной остановки. Мы часто видели проходящие автобусы, иногда они останавливались, подбирали пассажиров и продолжали свой путь. Почему-то такая картина трогала и вызывала тоску почти необъяснимую: кто-то куда-то уезжал, а мы оставались на месте... Но вот вдруг один из нас, звали его Федей — рослый двадцатипятилетний брюнет, стал собирать свой чемоданчик, объявив, что уезжает... в Стокгольм (!): «Работать нет сил, ничто меня не интересует, душа моя стонет и плачет». Почти в точности такими словами он поведал, что давно нестерпимо угнетен душевно и держался только насильем над собой, но дальше, мол, нет мочи вести борьбу с чувством беспросветной подавленности. Понять истинную причину столь упаднического у Феде настроения мы не

могли, отнеслись к его решению неодобрительно, предостерегая от легкомысленного поступка, но он оставался при своем мнении. Выглядело это довольно странно: он не пожелал объяснить с мастером как с представителем конторы, хотя этого требовал существовавший порядок оформления ухода с предприятия. Помимо всего нам казалось, что такой поступок одного из нас, русских, когда он самовольно бросает работу, не заявив о расчете, будет воспринят как бестактный и неблагодарный в отношении гуманных мероприятий, оказанных Швецией всем интернированным. Не без труда все же Федю мы удержали и мастеру дали понять о крайне плохом самочувствии товарища. К сожалению, мы затруднялись перевести на шведский такие понятия, как «угнетенность», «разочарование», «утрата интереса к жизни», и мастер не сразу догадался, о каких симптомах мы говорим. Но как только он уяснил, что речь идет о душевном страдании, то спокойствие на его лице резко сменилось озабоченностью, и мы услышали от него: «Йу-йу! Йаг форстор. Дет ар психиска депрешун!»²

История эта закончилась более печально, чем можно было ожидать. Поначалу мастер сопроводил Федю в больницу в город Шеллефтео — ближайший уездный центр. Когда же недели через две мы всей группой поехали, чтобы навестить своего товарища, то его там уже не оказалось — он был отправлен в Стокгольм. По-быстрому, оперативно что-либо узнать в тогда еще совсем незнакомой для нас стране с элементарным знанием языка не представлялось возможным — вопрос отпал сам по себе. Значительно позже, по тем известным законам жизни, что человек так или иначе не может существовать вне всякой связи с людьми, когда кто-то из русских жил и работал в Стокгольме, до нас дошли слухи, что Федя скончался в больнице от туберкулеза скоротечной формы.

В том, что по окончании войны большое количество соотечественников по самым разным обстоятельствам находилось на чужбине, по Европам и Америкам — не было секрета. Предполагалось, что правительство СССР непременно решит вопрос возвращения своих граждан на Родину, в том числе и тех, кто оказался в Швеции. Интересовались этим все, хотя далеко не все считали, что возвращение возможно. Опять же по понятным причинам: ничего не было известно о судьбах тех, кто уже возвратился домой из немецкого плена.

К осени 1945 года в шведских газетах появились сообщения, что правительство СССР потребовало от Швеции выдачи какой-то части советских граждан из прибалтийских республик. Требование касалось конкретных лиц, названных в документах по именам и фамилиям. Эти люди категорически отказывались возвращаться в СССР, о чем тогда же сообщалось в шведских газетах. Но Советское правительство продолжало настоятельно требовать. Шведская сторона в лице короля Швеции Густава V обращалась с ходатайством к И.В. Сталину с просьбой не принуждать силой тех, кто возвращается не желает, и предоставить им возможность жить в Швеции. Как сообщалось в шведской печати, ответ был предельно краток: «Нет! Сталин».

Не могу назвать точно, в какой шведский порт подошел советский теплоход «Сестрорецк». Это судно должно было принять на борт всех затребованных и доставить их в СССР как совершивших преступления против Родины. Таким доводом Швеция вынуждена была уступить, и посадка прибалтов была назначена на определенный час. Понимая, что выхода нет, многие из прибалтов пошли на самое крайнее: при помощи бритвенных лезвий вскрывали себе вены. Но и такой шаг положения не изменил, и тех, кто не в состоянии был подняться и войти по трапу, вносили на носилках, объясняя, что на судне есть врачи и необходимая медпомощь будет оказана. Об этой операции подробно сообщали шведские газеты «Дагенс нюхетер» и «Стокгольмс тиднинген», называлось и число прибалтов, отправленных в тот раз в Советский Союз, — более ста человек.

Случилось так, что наше поселение неподалеку от железнодорожной станции Бюваттен привлекло внимание местных жителей, и стали у нас бывать и старые и молодые люди из разбросанных в округе хуторов и прочих селений. Объяснялось это просто: в шведской провинции русских людей мало кто когда-либо встречал, а тут — вот тебе, совсем рядом, приходи, знакомься, беседуй, чай пей и все такое прочее... И, пожалуй, редкими были вечера, чтобы никто из шведов не пришел посидеть у русских в гостях. У каждой из сторон складывался свой интерес к подобного рода общению, при этом обнаруживались разные привычки, воспитание, манеры поведения, разная способность проявить такт и человеческое достоинство как по отношению к национальной общности, так и к отдельной личности.

О провинциалах Швеции складывалось впечатление как о людях довольно высокой культуры. Это подтверждалось не только духовностью — уважительным отношением к чувствам собеседника, желанием внимательно выслушать и правильно понять, но еще и умением не поскупились на комплимент, если есть хоть небольшая причина это сделать. Такое нельзя было не заметить, когда наш колымчанин баянист Коля Арапов по просьбе шведов соглашался исполнить на баяне задушевные русские

² Я понимаю. Это психическая депрессия!

мелодии. Или пусть по другому поводу, знакомясь с моими скульптурными миниатюрами, выполненными на досуге, чтобы просто иметь таковые на случай... Но дело, конечно, не в том, что в Швеции я услышал нечто приятное и располагающее в отзывах о моих далеко не лучших работах. Я чувствовал все же совсем другое: после долгих лет рабского существования я увидел подлинно человеческое отношение ко мне, и это было очень дорого и незабываемо.

Живому — живое: как бы ни шемило сердце обо всем, что случилось, как бы ни была горька судьба, я не позволял себе согласиться с тем, что это уже мой конец и я не смогу возвратиться на Родину — русскому ничем не заглушить память о России. Я это чувствовал, я знал это из книг, я встречал людей в Финляндии, которые на себе испытывали, что такое для русского жизнь без России.

Восемь месяцев жизни в Швеции, хотя это время прошло в основном в лесной глуши, все же кое-что значили в смысле первичного овладения языком: коряво, дурно, но каждый из нас что-то мог сказать, спросить, ответить или просто догадаться, о чем могла идти речь. В этом отношении я имел сравнительно большой успех — шведский для меня был вторым, после финского, иностранным, и это играло известную роль: я твердо знал латинский шрифт, легко разбирался в грамматических формах словообразований, умел пользоваться словарем. Помогло мне и то, что я успел дать о себе знать в Финляндии той самой незабвенной Анне-Лисе — дочери владельца литейно-механических мастерских, где я работал до дня побега. Я сообщил Анне-Лисе (на финском), что жив и здоров, просил не осуждать строго, заверил, что готов немедленно возместить стоимость велосипеда в любой форме: деньгами или посылкой нужного товара, что это в Швеции не запрещено. Нет, Анна-Лиса не упрекнула. В ответном письме она выражала искреннюю радость, что я дал о себе знать, и были слова самых добрых пожеланий. А несколькими днями позднее я получил от нее русско-шведский и шведско-русский словари и грамматику шведского языка.

В общем, так скажу: почувствовал, что с лесорубством надо кончать. Может, не было бы таких мыслей, если бы ничего другого не знал, но — никуда не деться — я считал, что могу назвать себя знающим дело и место работы по специальности получу. К тому времени из объявлений в газетах я узнал, что в каждом городе Швеции есть информационное бюро под названием «Арбетсфёрмедлинг». Это сложное название в переводе на русский понимается как посредническое учреждение по трудоустройству: может оперативно связаться с любым предприятием в стране, получить сведения или дать адрес предприятия, где могут принять на работу по той или иной профессии. Я, признаться, не очень верил, что все так просто, а потому решил лично побывать в ближайшем городе Шеллефтео. Это было несложно сделать — автобусом не более одного часа пути. И я не откладывая совершил эту поездку.

Город Шеллефтео по численности жителей можно было сравнить с районным центром. В те годы в нем было тысяч 25 — 30, но выглядел он несравнимо — крупнее, капитальнее, наряднее.

Бюро «Арбетсфёрмедлинг» я нашел без труда, шел-посматривал, собирался спросить, но не потребовалось — оказался у подъезда. Это были, можно сказать, мои первые шаги в положении свободного человека в городе на чужбине. Но к свободе тоже надо было привыкнуть, освоиться, что само по себе не совсем просто. Не думаю, что по внешнему виду меня можно было заподозрить заморским пришельцем, но на служебном месте в названном заведении оказалась... миловидная молодая особа, чего я почему-то не предполагал и сразу почувствовал себя несвободно. И хотя я нашелся сказать и «здравствуйте!», и «простите!», и о том, ради чего... но шведских слов не хватило, рассказ застопорился, пришлось извиниться и сказать, что я — русский. Как ни странно, но эпизод запомнился именно таким: для той милой дамы было полной неожиданностью, что перед ней стоял молодой русский. Она даже вздрогнула, хлопнула в ладоши и даже вскрикнула «ой!» и, привстав с улыбкой, говорила с душевной доверчивостью, что она рада видеть русского молодого человека и быть для него полезной.

Поездка в Шеллефтео не была напрасной. В моем присутствии отыскали по справочнику номер телефона предприятия «Свенсонс треснидери» (Резьба по дереву Свенсона), которое находилось в 120 километрах от города, в местечке Индальсэльвен, состоялся разговор с самим предпринимателем Гарри Свенсоном и был получен конкретный ответ: «Буду счастлив видеть у себя русского резчика, добро пожаловать, сообщайте день приезда, рейс автобуса, я встречу». Вопрос был ясен. Приближалась минута поблагодарить за приятную встречу, но помнится, что, право же, не хотелось спешить расставаться с этой очаровательной женщиной. Она встала из-за стола, подала руку и сказала: «Фрю Христина Дальберг. Всего вам доброго!»

Итак, я должен был заявить о расчете в лесном хозяйстве акционерного общества «Бюваттен» и уехать. Остальных шесть человек русских я покидал, это было ясно, навсегда. Восемь месяцев мне пришлось вместе с ними работать в лесу, но за это время я никого из них близко не узнал и ни с кем не сдружился — жалеть нечего. Мой уход им был понятен — они видели мои работы, видели, как из березовых дров зачинались в моих руках и обретали форму изделия, достойные внимания, а иногда

и восхищения. Это так. Что я могу добавить о тех людях? Существенного ничего. Помню Валентина Шевченко: примерно моего возраста, сдержанный, остроумный, завистливый и очень скупой. Сравнительно, как говорят, грамотный. Помню, был Вокбус: малограмотный, неразвитый, имени его я не знал, все называли его по фамилии. Был молодой парень Лавров: спортивного вида, совестливый, скромный, имени не помню. Котов: самый пожилой из всех — в те годы ему было лет сорок пять, малограмотный, отсталый человек, имени тоже не помню. Арапов — из бывших эзков Колымы, баянист, пристрастен к алкоголю, но в Швеции свободной продажи алкогольных напитков не было — пил одеколон.

В управлении лесного хозяйства «Бюваттен», куда я пришел с заявлением о расчете, ко мне отнеслись внимательно, были слова благодарности и пожелание благополучия и удач на новом месте. Расчет произвели безотлагательно, было начислено и за дни положенного отпуска. Я, кстати сказать, как-то не имел в виду, что у капиталистов есть такой закон. В общем, все обошлось без осложнений.

Накануне отъезда, когда я уже собрал и уложил небогатые пожитки, кое-какой личный инструмент и образцы работ, к нам в общежитие вошел незнакомый человек, приветствуя нас на русском языке. Но произношение сразу же выдавало, что гость не из русских. Он назвал себя учителем одной из школ города Орншёльдсвик, что в шестидесяти километрах, сказал, что приехал сюда, желая встретиться с русскими, о которых узнал случайно, что давно и серьезно изучает язык, но все еще не удавалось встречаться с русскими людьми. Выглядел он симпатично: среднего роста, элегантный, свободный и открытый в своих взглядах, внутренне собранный. Терпеливо подбирая слова, он рассказывал, что его мечта и смысл жизни — это русский язык; желание такое у него возникло после прочтения великих русских писателей Достоевского, Лео Толстого, тут же отметив, что читал лишь отдельные их произведения, но это же в переводе, что совсем неоднозначно оригиналу. Слушать его было интересно, и в искренности его у меня никаких сомнений не возникало. Чувство увлеченности делом, мечтой, когда человек отдает этому все свои силы, мне было знакомо с отроческих лет, и потому ничего странного в молодом шведском учителе я не увидел. Я помнил, что в юности брат Александр так же был обуреваем мечтой стать настоящим поэтом, ради этой цели не считался ни с чем и молча нес душевную боль — страдая, что видно из его писем критику Анатолию Кузьмичу Тарасенкову, помеченных январем 1931 года. Приведу для наглядности одно из писем.

«Смоленск, 31/1 31

Толя!

Я добит до ручки. Был у секретаря обкома, он расследовал дело насчет обложения хозяйства моих родителей, и — признано, что обложению подлежит. Подозревать в пристрастности я его не могу. Я должен откинуть свои отдельные недоумения и признать, что это так.

Мне предложили признать это и отказаться от родителей, и тогда мне не будет препон в жизни.

АПП же несмотря ни на какие признания (а я признал и отказался) хочет, страшно хочет меня исключать.

Скажи ты мне ради бога, неужели это мой конец. Скажи. Поддержи. Почему я один должен верить, что я, несмотря ни на какие шуточки, буду, должен быть пролетарским поэтом? Может, ты-то этому не так уж и веришь?

Может, я действительно классовый враг и мне нужно мешать жить и писать. Я жду от тебя серьезного и убедительного, но не утешающего письма, срочно! Срочно, как только можно.

Замуторили меня здесь в Смоленске, что я и выразить не могу.

Толя! Можешь быть, мне в Москву податься?

Толя! Об этом письме кроме тебя никто не должен знать. Оно такое. Если узнает Клара или Маруся — я перестану с тобой иметь дело. Ты этого не сделаешь, Толя!

Жду ответа, держусь покамест! Жду ответа.

Александр».

Кажется, ясно: во имя избранной цели Александр ни перед чем не останавливался, вплоть до отказа от родителей. Тяжесть такого поступка отомолить трудно, и он не мог этого не понимать — нес этот грех в своей душе молча в течение всей своей жизни. Но, как говорится, Бог ему судья.

Проводить меня к автобусной остановке вышли из общежития все шестеро русских, вместе с которыми я пробыл эти восемь месяцев, работая в лесу. Особой привязанности к этим людям, я уже говорил, у меня не было, но как бы там ни было — жили вместе, на родном языке разговаривали, и вот пришел час, всем понятно, что впереди встреч может никогда не случиться, и это не настраивало на

веселый лад, было грустно. Тут же, совсем бесшумно, как из укрытия, появился и быстро подкатил автобус, мы наскоро пожали друг другу руки, кто-то втолкнул в багажник мой чемодан, я вскочил в салон автобуса, сопровождаемый пожеланиями счастливого пути, дверь закрылась, и все осталось за чертой...

Древняя шведская дорога петляла вправо, влево, огибая затаившиеся ступенчатые нагромождения округлых гранитов — свидетельства некогда происшедших загадок природы, встречно набегавшие картины смотрелись с необычайным интересом, и было не совсем понятно, когда вдруг открывался вид, где на кручах, разреженно поросших хвойным лесом, стояли ярко крашенные, как бы насквозь просвеченные индивидуальные домики, — право же, представить немислимо, каким трудом можно было их там построить! Ответ, конечно, виделся в том, что все такое начинается не от нужды, это так. Но ведь это совсем не редкость в шведской провинции — повсюду жилые строения выглядят добротны и привлекательно, а это значит, что жизненный уровень достаточно высок.

Местечко Индальсэльвен, где я должен был сойти, находится в двадцати километрах от города Стансвалль. По времени, прошедшему в пути, я мог примерно определить, что остановка уже где-то недалеко, но откуда мне знать точно — пришлось спросить у сидевшего рядом. Мне охотно подтвердили, что через одну будет Индальсэльвен. Какое-то время автобус шел параллельно железной дороге и был виден прошедший поезд. Все чаще мелькали строения, и уже было ясно: я подъезжал к предназначенной мне остановке.

Только-только успел получить и отнести немного в сторону мой чемодан, как тут же ко мне подошел человек, приветствовал обычным «добро пожаловать», представился, сказал, что рад меня видеть, и любезно просил идти к нему в дом. Все это было ясно, но у меня был чемодан и я хотел тащить его, но господин Свенсон не дал мне этого сделать: «Нет-нет, оставьте здесь, я pošлю человека, и он принесет!» — и, подхватив меня под руку, увлек к своей усадьбе.

По улице, уходящей в сторону от магистральной линии, мы шли метров триста, и я не мог не дивиться нарядности жилых строений и чистоте самой улицы. Свернув в переулок, мы вскоре подошли к дому моего работодателя Гарри Свенсона, где мне предстояло жить и трудиться до конца моего пребывания в Швеции. Это очень обыкновенный, простой человек, в чем я мог убедиться сразу же, как только оказался в его семье. И сам Гарри, и его супруга Хелен (у шведов отчества не употребляются) попросили называть их по имени, без обращения «господин», «госпожа», объяснили, что такие понятия не способствуют доброму взаимоотношению, они, мол, имеют тон отчуждения.

Я приехал в субботу. В Швеции в этот день работа прекращается в 14.00, так что в мастерской уже никого не было, и было предложено посидеть за чашкой кофе по шведскому обыкновению знакомства с новым человеком. Происходило это в кабинете Гарри, мы сидели в удобных креслах возле очень низенького столика какой-то странной асимметричной формы. Супруги Свенсон были очень гостеприимны и располагающе внимательны, может, потому, что они впервые видели русского человека и это было для них весьма интересно. Разумеется, какой-то серьезной беседы получиться не могло, поскольку шведским языком я владел еще довольно слабо, ответить даже на профессиональные вопросы мог кое-как, и выходом из положения оставалось показать свои работы, находившиеся в чемодане. И тут я спохватился и испытал конфуз: подумал, что Гарри забыл свое обещание, и посожалел, что согласился оставить чемодан. Но обошлось все хорошо — чемодан был доставлен, хотя я не заметил, когда и кому было поручено это сделать.

Я не знаю, почему получилось так, что, еще не зная и не представляя, чем занимаются мастера-шведы в мастерских Свенсона, еще не видя их мастерства, я решился показать свои работы, которые сам не считал вполне удачными. Правда, в этом я не спешил кому-либо признаваться, хотя чувства такие были.

У меня имелись три небольшие работы: настольная миниатюра в дереве «Медный всадник» (боязно об этом даже сказать — копия знаменитой скульптуры Этьенна Фальконе), нечто аллегорическое в виде пепельницы — «Лиса возле пня» и еще статуэтка — лось в спокойном состоянии.

С каким чувством я вынимал из чемодана эти вещицы, чтобы выставить для обзора и оценки, пусть не в выставочном зале, а в квартире частного предпринимателя в Швеции, читатель может сам представить. Попросив убрать со стола кофейные чашки и вазу и отодвинуть кресла, первым я поставил на стол моего «Медного всадника», затем — «Лису» и последним — «Лося». Супруги такого явно не ожидали и смотрели как оцепенелые, не смея что-либо сказать какое-то время, после чего Свенсон обратился ко мне, разумеется по-шведски:

— Дай твою руку, Иван! Я приветствую тебя и благодарю. Ты — скульптор!

Какого-либо официального договора между мной и Гарри, как работника с работодателем, заключено не было — меня устраивало вполне то, что он предлагал. Начал он с того, что попросил с оговоркой «если можно» продать ему эти привезенные мной три вещицы, которые он намерен где-то показать, узнать, какие будут суждения и так далее, словом — иметь на них право. Мне показалось неудобным назначать

какую-то цену — не первые и не последние они были в моей жизни, я с удовольствием отдал их тут же в виде подарка. Как подарок принять он не хотел — стеснялся, думаю, боялся показаться нескромным, но я настоял, чтобы он взял.

— Ладно, о делах — потом! А сейчас прошу к столу — Хелен давно ждет!

В этот момент меня познакомили с отцом Хелен, шестидесятидвухлетним Конрадом Хёлгандом, который показался мне очень приветливым и интересным человеком; прожил он в доме Гарри на втором (чердачном) этаже. Был у Свенсонов и сынишка, тринадцатилетний Магне. Гарри и Хелен было чуть больше тридцати.

Обед, как можно понять, был непредусмотренный, и это как раз было хорошо, душевно. Здесь же, за столом, решился вопрос о жилье и питании, что было весьма важно для меня. Получилось так, что едва я намекнул, что не знаю, как устроиться с жильем, Гарри не раздумывая предложил: «Располагайся в кабинете! К твоим услугам тахта, радиоприемник, телефон, письменный стол — живи, обедай вместе с нами, чувствуй себя как дома!» Я, право же, не совсем поверил, но оказалось, что супруги об этом уже имели разговор — Хелен подтвердила, что все так и есть.

— Еще вот что я хочу, Иван, сказать, — вновь начал Гарри, — об оплате: доверяю тебе самому называть цену за каждую отдельную работу. И даю тебе право свободно заниматься той работой, которая тебя будет интересовать. А дальше дело покажет, как нам будет удобнее.

Кажется, я ничего не сказал в ответ, даже того, что принято в таких случаях — «спасибо» или «большое спасибо», а, пожав плечами, лишь растерянно кивнул, как бы не совсем понимая. В это время старый Конрад перехватил мое внимание, начал спрашивать о впечатлениях, и застольная беседа пошла иным путем. Вскоре Конрад предложил прогулку, время приближалось к вечеру, и я был рад составить старому шведу компанию. Этот человек импонировал мне тем, что держал себя независимо и совершенно не вмешивался в вопросы, его не касающиеся; в его натуре угадывалась знакомая черта всех пожилых людей что-то вспомнить из далекого прошлого и рассказать с чувством законного права по возрасту и, может, причастности к тому, о чем могла быть речь. Прогулка была интересна сама собой: нужно было взглянуть, ознакомиться, послушать человека, который охотно рассказывал и показывал все, что имело отношение к истории этих мест и страны, которую я еще очень мало знал. Кратчайшим путем, по крутому склону, мы спустились к реке Индальсэльвен, где Конрад показал мне единственный древний бревенчатый небольшой дом, сохраняемый как исторический мемориал, как свидетельство тяжких последствий завоевательных походов короля Карла XII. Шведы были доведены до крайней бедности, пояснял мой спутник. Дом действительно был очень невзрачен: совершенно почерневший, маленькие оконные проемы, кровля на один скат из покрывшихся мхом плах. Здесь же мы смотрели на современный мост через реку, он был на необычайно высоких опорах, поскольку река протекает в глубоком каньоне между крутых склонов. На обратном пути я имел возможность ознакомиться с центральной частью этого населенного пункта, где бросалось в глаза множество торговых заведений, различных мастерских, агентств, частных врачебных кабинетов, учреждений и пансионатов, так что впечатление складывалось о процветающем торговом местечке или городке, где течет мирная и благополучная жизнь.

Сказать, что я так-таки сразу почувствовал себя как дома, поселясь в кабинете своего хозяина Гарри Свенсона после его слов, что он готов предоставить мне, как говорят, наибольшее благоприятствование, конечно же, я не могу. Я понимал, что подобная благожелательность поспешна и потому неубедительна. Мне показалось, что Гарри просто не в курсе трудовых затрат при исполнении скульптурных изображений в миниатюрах, где исходным материалом является дерево. Короче, я заподозрил, что Гарри ошибочно ожидает большего, чем я в состоянии сделать, находясь в его мастерских, и это меня тяготило.

Однако я смог отбросить такие навязчивые суждения и вскоре пришел к выводу, что все прояснится само собой и нет причин строить догадки о том, что будет завтра. Так я рассуждал в тот первый вечер, находясь в кабинете хозяина, где к моим услугам было все необходимое для сна и отдыха, и надо признаться, что о лучших условиях было грешно мечтать. И было, право же, как-то непривычно после всех мытарств так вот вдруг оказаться в неведомой мне шведской семье, где без каких-либо моих просьб и условий я встретил такое теплое отношение и сердечность, на которые я не знал даже, какими словами можно было достойно ответить. Я долго не мог уснуть.

Утром следующего дня — это было воскресенье — я встал в шесть часов, по привычке вышел во двор, умылся и тут же был замечен и приглашен на кофе — шведы без кофе не мыслят жизни. Через некоторое время, когда к Свенсонам пришли их знакомые, я услышал, что они, называя чье-то имя, прибавляли еще «брат» или «сестра». В их беседах, проходивших в очень сдержанной манере, мелькали упоминания об Иисусе Христе, а также и о евангельских общинах, о молитвах, о спасении. Когда же они представляли меня своим друзьям, можно было понять, что я явился к ним по воле Божьей и что они рады такому случаю. Тогда же я понял, что нахожусь в семье евангелистов лютеранской церкви. Чем существенным она отличалась от православной, я узнал позже, а поначалу это было только интересно, и я

ничего плохого не замечал в людях, исповедующих протестантство, называющих себя евангелистами.

Первый день работы в мастерских Свенсона начался с общего ознакомления с производственной деятельностью этого очень небольшого частного предприятия. Хозяин всячески старался придать побольше солидности своему детищу. Он показывал и объяснял, как происходит механизированная первичная обработка заготовок с последующей ручной доработкой. После этого изделия имели вид выполненных вручную, что особенно ценится. Находясь в отсеке, где были установлены различные деревообрабатывающие станки, Гарри Свенсон брал из груды механически обработанных заготовку и пояснял:

— Это будущая ваза! Смотреть пока не на что — здесь все снято и вынута механически и грубо. Все это так! А теперь мы посмотрим, какой она должна стать при окончательной обработке мастером-резчиком.

Мы прошли в небольшое помещение, где изделия тонируют и светлым лаком проявляют текстуру, имитируя ценное дерево. «Ну? Какое впечатление?» — глядя на меня с любопытством и нетерпением, спрашивал Гарри. Я действительно был немало удивлен — изделие стало неузнаваемо симпатичным, чего нельзя было не признать. Но то, что я не увидел разнообразия форм, что все эти вазы, подсвечники, подносы ничем не отличались один от другого, в моем представлении было серьезным недостатком, и об этом я посмел что-то сказать. Хозяин понял и согласился: «Да, это правда! Но я надеюсь...» — он, не договорив, взглянул на меня.

Когда мы вошли в помещение, где работали резчики — их было четверо, — Гарри простецки приветствовал их подобно нашему «здорово, ребята!» и сразу же, попросив внимания, представил им меня, как требовал заведенный порядок, не упустив сказать, что я русский и что новому человеку нужно доброе, дружеское внимание и уважение. Помимо всего Гарри сказал, что мне предстоит заниматься сувенирами, что это дело совсем незнакомое и будет всем интересно. Работа, естественно, была прервана, мне пожимали руку, искренне приветствовали, называли свои имена. Словом, получалось очень схоже с тем, как могло бы происходить, подумалось, на родине, в России. И было мне как-то грустно, хотя и мило. Тут же я узнал, что двое из ребят, которые помоложе, Хельберт и Хенри Свенсоны — родные братья хозяина мастерских. Третий, лет тридцати, симпатичный спортсмен (каноэ) Вилли Бьёрк — местный житель, и четвертый — эстонец из беженцев по фамилии Ливляйд. С того дня в мастерской Гарри Свенсона вместе со мной стало пять резчиков по дереву. Все вспомогательные работы, как то: разделку древесины, сушку, грубую предварительную обработку заготовок на деревообрабатывающих станках — выполнял сам хозяин. Что же касается отделки, тонирования и покрытия лаками, то этим занималась сама хозяйка Хелен и девушка из родственников. Столь подробное описание я делаю лишь для того, чтобы можно было представить потенциальный размах самого предприятия с громким названием «Свенсонс треснидери» (Резьба по дереву Свенсона) — всего-навсего восемь человек, в том числе в роли рабочего сам предприниматель. Но мне-то, природному кустарю-одиночке, это как раз было то, что надо: хозяин был рад предоставить мне самые благоприятные условия, самостоятельность и свободу.

Включиться в работу на новом месте и сразу же создать о себе впечатление как об опытном, знающем свое дело мастере — совсем не так просто, это мне было хорошо знакомо. Помимо всего, я находился под любопытным взглядом людей чужой страны, — еще более непросто. Я это знал и потому очень неспешно устраивал свое рабочее место, чтобы все у меня было по-своему, чтобы я мог работать и сидя и стоя. Прежде чем что-либо делать, я должен был просмотреть и подобрать наиболее декоративный материал для предполагаемых мной изделий, формы которых я всегда отыскиваю мысленным воображением. Я совсем не намерен выдавать себя за художника-кудесника и позволяю читателю думать обо мне что угодно, тем более что не называл себя иначе как кустарем-одиночкой. И метод моей работы с деревом ниоткуда не заимствован. Может, это покажется странным, но это так: формы и приемы работы давали сама моя трудная жизнь и природа, к которой я всегда оставался неравнодушен. Моим любимым исходным материалом было дерево. Для особо утонченных, ажурных, филигранных работ желательны только самые твердые, но однородно эластичные породы: груша, яблоня, отдельные виды березового капа, акация — как белая, так и желтая. Конечно, есть много других прекрасных пород, но я упоминаю только те, которые произрастают в средней и северной частях России.

Здесь я позволю себе сказать о принципах моей работы. Дело в том, что, увлекаясь с отроческих лет миниатюрным изображением животных, я никогда не стремился к стилизации, к условности, которая может преобладать над реалистической передачей действительности. Таково свойство моих увлечений — скрупулезно, точно запечатлеть действительную форму. Я считал, что дерево как материал такие требования обеспечивает, другое дело — как мне это удавалось, достигал ли я этой цели. Об этом не мне судить.

На предприятии Гарри Свенсона я не имел ясного представления, как сложится моя жизнь даже в сравнительно недалеком будущем. Смириться с мыслью, что для меня навсегда закрыт путь на Родину, я не хотел, хотя знал, что такое сталинский

тоталитарный режим и как разговаривают с теми, кто после войны посмеет возвратиться из страны, где был интернирован. Допуская в размышлениях сцену возвращения и, значит, воображаемой встречи с должностным лицом из органов сталинско-бериевского МГБ, облеченных правом решать твою судьбу, ты ничего иного не можешь представить, кроме желчной усмешки и злобного взгляда жаждущего показать силу предоставленной ему власти, чтобы садистски унижить и подавить свою жертву. Такого рода психологически навязчивые видения могут ошущаться зримо и угнетающе, и человек не находит в себе сил сопротивляться состоянию глубокой психической депрессии, избавиться от нее у него нет мочи.

И еще вот что мной замечено. В случае, когда человек не испытывает материальных трудностей на чужбине, а в Швеции было именно так, еще более ощутима щемящая тоска по Родине. Я это испытал в полной мере. Поначалу, работая у шведов в лесу, только что получив свободу и возможность работать по найму, а стало быть, и зарабатывать, недолгое время ты не думаешь о том, что все вокруг тебя чужое, ты под чужим небом, ты в чужом лесу, ты слышишь чужую речь, ты еще не почувствовал и не осознал, что вся эта вполне благоустроенная жизнь создана без твоего участия, и если ты и пользуешься этими благами, то ведь не как гражданин, а лишь как пришелец, принятый из чувства милосердия. Но вот ты надел хорошие штаны, имеешь возможность быть сытым, — и сразу же не можешь не вспомнить разоренную войной твою Родину, своих кровнородных, которые — ты понимаешь и чувствуешь — живут в тяжелейших условиях, вспоминают твое имя, не могут не оплакивать твою гибель; «пропал без вести», — такие мысли разрывают на части твое сердце. Вырваться из подобной безысходности очень трудно, и единственное, что помогало обрести душевное равновесие, — работа, которой я был занят, не побоюсь этого слова, творчески и профессионально. Кроме того, должен признаться, что мне повезло: волей чистой случайности я оказался в семье глубоко верующих людей местной евангельской общины, где всегда сохранялась атмосфера доброжелательности и сочувствия. Конечно, обратить меня в истинно верующего вряд ли было возможно — слишком далеко мы, русские, ушли от религии; но нельзя было не замечать доброты, постоянно присутствующей у верующих в отношениях в семье, равно как и в отношении вообще к любому человеку. Они безупречно отзывчивы, терпеливы, скромны и последовательны, и я мог только позавидовать их воспитанности.

За два с небольшим года моей жизни в Швеции страну эту я узнал только примерно, как бы со стороны. Более полугода работал в лесу, на отшибе от населенных мест, с коренными жителями встречался мало. Затем, опять же, жил и работал в небольшом провинциальном торговом местечке Индальсэльвен, так что не так-то много я могу рассказать об этом некогда грозном и воинственном государстве. В индустриальных шведских городах мне бывать не случилось. Но если судить о сельской местности, то тут, надо признаться, впечатления складывались самые хорошие, особенно от культуры ведения сельского хозяйства. В общем же я не вижу необходимости распространяться о жизни шведского народа в те далекие годы — всем хорошо известно, что Швеции не коснулась война 1941 — 1945 годов, эта страна сохранила нейтралитет и, естественно, ее жизненный уровень был тогда самым высоким в Европе.

Стокгольм, двадцатые числа декабря 1946 года. Был ли это вторник, четверг, суббота или какой иной день, сказать не могу — об этом я в тот момент не думал, мне было безразлично. Возле железнодорожного вокзала я попросил таксиста отвезти меня в советское представительство.

Такси остановилось как раз у подъезда, где я имел возможность прочитать: «Полномочное представительство СССР». Здесь же, прямо на тихой заснеженной улочке Виллагатан (улица Отдыха), я увидел и услышал играющих русских детей и был приятно тронут, что передо мной предстала такая знакомая картина обычной русской зимы.

Не зная, что меня могло ожидать в представительстве моей Родины, я не стал отпустить шофера, поднялся на ступеньки и нажал кнопку звонка. Дверь открылась. Я увидел важного вида и крупного роста швейцара в ливрее, который, кажется, первым спросил: кого имею честь встречать? Вопрос был ясен. Я ответил, что являюсь русским интернированным и хочу узнать, куда я должен обратиться по вопросу возвращения на Родину.

— Я вас понял! — сказал швейцар. — Вопросами возвращенцев на Родину, в Советский Союз, ведает консульство СССР. Оно находится в доме, — он назвал номер, — по этой же улице, на противоположной стороне, это совсем рядом.

Я поблагодарил, извинился за беспокойство и с тем раскланялся. С этой минуты такси мне больше не потребовалось — до конца 1952 года...

На мой звонок в консульство СССР вышла миловидная восточной внешности брюнетка. Я приветствовал ее по-шведски и спросил, могу ли быть принятым консулом, но она меня не поняла. Тогда я спросил: «Наверно, вы говорите по-русски?» «Ну конечно же!» — ответила она, добродушно улыбаясь, и тут же предложила пройти с ней в помещение. Из другой комнаты вышел молодой мужчина, предста-

вился мне в качестве консула, назвал себя по фамилии Петропавловский; и таким вот образом было начато официальное знакомство и беседа по интересовавшему меня вопросу. Надо сразу же учесть, что пишу я об этой встрече с советским консулом в Стокгольме спустя более сорока лет — немало утекло воды, и мне стоит трудов в доподлинности воспроизвести все о том часе моей встречи. Консул Петропавловский (к сожалению, уже не могу назвать его по имени-отчеству, запоматовав) был изысканно тактичен, вежлив, что возбуждало во мне своего рода опасение: не испугать бы неосторожным словом, ведь я еще располагал правом подумать — согласиться и назвать свое имя или же воздержаться от откровений. Пока я сказал лишь о том, что я — русский, интернированный Швецией в 1944 году.

— Да, да, простите, как вас звать? — как бы спохватившись, спросил консул, продолжая уверять, что он охотно готов помочь мне выехать на Родину. — Ну вот и прекрасно, Иван Трифионович! Мы вас сейчас же поселим в нашу гостиницу — мы ее арендуем. Вы пока отдохнете здесь, в шведской столице, может, дней пять-шесть, мы закажем вам билет на очередной пароход, и вы без всяких хлопот прибудете в финский порт Турку, там вас встретят, помогут с билетом на поезд до Хельсинки, ну и так далее. Все это не будет проблемой вплоть до вашего дома. Вот так, уважаемый Иван Трифионович! Вам все понятно и вы согласны?

Мне, конечно, все было понятно, даже больше, чем мог предполагать тот симпатичный консул.

— Тогда о чем же речь? Все будет сделано лучшим образом, заверяю вас в этом! Давайте ваш шведский паспорт!

Я подал в руки консула тощую книжицу, именуемую на шведском языке «утленнингс паспорт» (паспорт иностранца), которую, кажется, мне так и не пришлось где-либо предъявлять за все время пребывания в Швеции. Консул раскрыл корочки и... не знаю уж, как передать его удивление. Сначала он положил паспорт на стол, на какой-то миг сцепив на груди руки, откинулся на спинку кресла, потом встал, молча покачал головой и, взглянув на меня, сказал:

— Уважаемый Иван Трифионович! Я глубоко и сочувственно тронут тем, что случилась такая встреча. Дело в том, Иван Трифионович, — продолжал консул, — что именно сегодня, в день вашего обращения к нам по вопросу возвращения на Родину, мы получили свежий номер журнала «Огонек», который открывается стихотворением поэта Александра Твардовского «О Родине». Уверен, что вы об этом не могли знать, и потому я так глубоко тронут этим символическим совпадением. Будем же надеяться, что это к счастью.

Журнал был тут же принесен, чтобы я мог сам прочитать это шемюще-трогательное стихотворение брата «О Родине». Стихотворение непередаваемо потрясло меня самым совпадением сложившихся во мне на чужбине чувств с той сыновней любовью к отчим местам, которой наполнена каждая строфа брата:

Ничем сторона не богата,
А мне уже тем хороша,
Что там наудачу когда-то
Моя народилась душа.

Что в дальней дали зарубежной,
О многом забыв на войне,
С тоской и тревогою нежной
Я думал о той стороне.

Я не в силах был удержать застилающие глаза слезы — читал, прерываясь, от строфы к строфе в состоянии томительного волнения. И пусть оно так, что стихотворение посвящено малой родине, отчим местам, о которых поэт еще в юности говорил, что «И шумы лесные, и говоры птичьи, И бедной природы простое обличье Я в памяти всё берегу не теряя, За тысячу верст от родимого края».

Моя встреча с советским консулом в Стокгольме закончилась тем, что я был причислен по графе возвращающихся на Родину, и в ожидании отправки очередным пароходом из Стокгольма в финский порт Турку находился в гостинице.

Что же такое случилось, что толкнуло меня к тому, что я вдруг оказался в Стокгольме, явился в консульство и обратился за советом, как мне быть, как возвратиться на Родину? Смею ответить только в том духе, что сам вопрос я никогда не обходил, не исключал из моей жизни на чужбине и больше того — я этим вопросом душевно страдал и болел, и были периоды тяжелой душевной депрессии, когда терял всякий интерес к самой жизни. Работая в мастерской Свенсона, где имел хорошие условия и хорошую зарплату, я приходил к такому конечному убеждению, что никакое материальное благополучие не может унять скорбь и тоску по родной стороне и родной семье. Сейчас я не могу сказать, как долго могло продолжаться такое состояние, если бы не попала в мои руки газета «Свенска дагбладет», в которой было напечатано на русском языке «Обращение правительства СССР ко всем советским гражданам (поданным), находящимся за границей по причине пленения или по каким иным причинами не возвратившимся на Родину после Великой Отечественной

войны». Эту газету принес мне старый Конрад Хёглунд, отец супруги моего хозяина мастерской, кажется, в августе 1946 года, когда она была уже далеко не свежей. Вот с того момента и начал я готовиться к тому, чтобы преодолеть страх в себе и пойти на любой исход по возвращении.

Обращение правительства было напечатано по центру газетной полосы броско выделенным прямоугольником, равным четверти газетной страницы. Текст в сдержанном тоне давал разъяснение, что советское правительство готово отнестись с пониманием к судьбе каждого соотечественника, кто не утратил чувства долга перед Родиной и правдиво расскажет о постигшем его несчастье. Ну и о том, конечно, что Родина призывает не искать счастья на чужбине, но помнить, что всяческое содействие и гуманное отношение может дать только родное Отечество.

Мне казалось, что нужно иметь каменное сердце, чтобы не внять, не прочувствовать всю глубину трагедии тех, кто волей рока оказался в той «дальней дали зарубежной», не находя в себе сил к решительному шагу на встречу со своей отчей землей. Да, такой шаг в те годы давался не всем. И многие, как стало известно позднее, предпочли сгинуть где угодно, хоть на краю света — уезжали в Америку, в Аргентину, в Африку, даже в Австралию, если была такая возможность, лишь бы не на каторгу НКВД.

К тому времени, когда я познакомился с текстом вышеназванного обращения, мне были известны адреса некоторых русских, с которыми пришлось вместе работать в шведских лесах. Я сразу же написал им, посоветовал ознакомиться с содержанием этого официального правительственного документа, подумать и, может, отказаться от чужеземных харчей и присоединиться ко мне, вместе поехать на Родину. Но нет, мое предложение было начисто отвергнуто. Самого же меня как зачинщика назвали сумасшедшим.

Старик Конрад Хёглунд был мне наиболее симпатичен из членов семьи Свенсонов, и, можно сказать, я дружил с ним. Он был первым человеком из шведов, с которым я поделился своим намерением уехать, поскольку именно он принес мне газету «Свенска дагбладет», в которой было напечатано «Обращение».

— Мой дорогой Иван! Мне очень жаль расставаться с тобой, но, по-моему, это прекрасно, что ты едешь на родную землю. Дай руку твою! — такими словами ответил мне Конрад.

Для богомольных евангелистов эта новость была очень неожиданной и по-особому значительной. Как-никак полтора года я жил и работал среди них без единого случая осложнений в отношениях, и я всегда чувствовал их доброе расположение, а потому предвидел, что мой отъезд не останется без внимания общины. В тот же вечер к Свенсонам собралось несколько человек, как они называют себя — братьев и сестер во Христе, среди которых был пастор; его мне случилось видеть и прежде. Об этом пасторе я слышал самые невероятные истории, в том числе и о том, что в прошлом он был бесконечно несчастным, полностью падшим, осуждаемым, что в округе его не считали за человека и все его сторонились. Но однажды он вдруг в мгновение почувствовал себя совершенно другим, освободился от беспросветного мрака и ужаса, в его сознании жизнь осветилась радостью, он стал глубоко верующим человеком, и в этом было его спасение. Вот такова судьба этого в мою бытность всеми уважаемого пастора евангельской общины.

После того как отвлеченная беседа окончилась, пастор коснулся моего отъезда на Родину. Услышав от меня, что я решился на это по зову души и чувству долга, что делаю это по собственному убеждению, он сказал, что «на то есть воля Господня» и ничто не происходит само по себе. Затем он попросил моего согласия, чтобы я вместе с ними с молитвой поклонился Всевышнему, потому как в тяжких испытаниях только Он может прийти на помощь, только Он воздаст каждому по его страданиям на пути к Истине.

В стокгольмской гостинице, куда меня поселило советское консульство на время ожидания парохода в Финляндию, я пробыл целую неделю на правах обычного гостя: мне было сказано, что могу куда угодно отлучаться по личным делам, но придерживаться существующего порядка, например: не задерживаться позднее 23 часов вечера. Неделя эта, надо признаться, прошла в тревожном размышлении, что само по себе должно быть понятно каждому: я понимал, что на свободе нахожусь последние дни и как только поезд минет границу с СССР, то там она, свобода, сразу и закончится. В общем, правда, я не разочаровывался, держался; корабли мои уже были сожжены, отступать было некуда и сожалеть не о чем — жизнь на чужбине была не для меня. Но был я в одиночестве.

К посадке на пароход, уходивший в Турку, меня увезли на советской «Победе» в сопровождении консула Петропавловского. Было часов восемь вечера, посадка уже шла полным ходом, так что ожидать не пришлось ни минуты. Когда предъявили билет, проверяющий предложил сдать шведские деньги, и я не задумываясь отдал, оставив у себя какую-то мелочь, не зная, что этого можно было и не делать. Вот так, без особых формальностей прошла таможенная процедура. Петропавловский только-только успел сказать, что в Турку меня встретят, как тут же был дан сигнал — провожавшие прощались.

В финский порт Турку пришли утром. Не знаю, по каким таким приметам можно было меня опознать, но как только я начал спускаться по трапу, то сразу же увидел человека, который крикнул:

— Иван Трифонович, сюда! Сюда идите! Ну вот видите, я вас сразу узнал! Ну, здравствуйте, здравствуйте! Как себя чувствуете? А машина вот здесь, пройдемте! Вам ведь сейчас надо на хельсинкский поезд? Ну вот видите, все очень хорошо!

Через 4 — 5 часов поезд прибыл в Хельсинки, где точно так, как и в Турку, при выходе из вагона «товарищи» меня поджидали и назвали по имени как старого знакомого. С поезда меня увезли, не знаю для чего, в резиденцию советской правительственной комиссии, которая находилась в столице Финляндии. Ко мне все еще относились без заметных проявлений недоброжелательности, хотя ведь, вполне возможно, такое отношение было искренним. Здесь тоже не задержались, и было кем-то сказано, что нужно успеть пообедать перед посадкой на советский поезд.

В вокзальном ресторане в Хельсинки народу было очень много, в том числе советских военных. Пообедать успели, однако на советский поезд посадка уже шла, и кто-то из русских штатских сопроводил меня в вагон. После обычных при посадке копошений и суматохи все разместились по своим местам, и стало спокойно. Мое место было на средней полке, спешить взбираться на нее не хотелось, пошел покурить, пожалуй, только ради того, чтобы как-то сбавить нервную напряженность от всякого рода раздумий и предположений о близких и неизбежных поворотах судьбы. На какое-то малое время это может несколько отвлечь, но не больше того, так что задерживаться в окружении незнакомых людей и отвечать хотя бы и на безобидные вопросы или вступать в собеседования мне было ни к чему.

Вряд ли я уснул той ночью, хотя в состоянии забытья, видимо, временами находился, и вздрогнул, когда чья-то рука слегка коснулась меня. «Идет досмотр! Предъявите ваши вещи, билет!» — услышал я как бы предупредительное обращение и тут же увидел, что на нижней полке у пассажира в штатском перебирают в чемодане вещи. К нему же был вопрос: «Откуда едете?» Ответ был: «Из США!» С этим пассажиром было конечно, контролер обратился ко мне: «Ваш билет!» Билет у меня был до Ленинграда, контролер посмотрел, потом осведомился, имею ли я вещи, я ответил, что чемодан внизу под сиденьем, но контролер проверять не стал и с тем ушел. Некоторое время я не мог догадаться, почему мои вещи не нашли нужным проверять, но очень скоро все стало ясно: мы остановились в Выборге, и мне предложили сойти с поезда.

Под охраной двух сотрудников МГБ я был приведен прямо в Выборгскую тюрьму, где сразу же, прямо с ходу меня ввели в тюремный кабинет к сидящему за столом майору, который с явным сомнением произнес следующие слова: «Вот так работает советская контрразведка! Вы куда ехали?» Я ответил, что ехал, мол, на Родину, в Советский Союз и, смею полагать, нахожусь в советской тюрьме.

«Все правильно: находитесь вы в тюрьме. Но вы же не в тюрьму ехали... как видите...» Он смотрел на меня с прищуром, снизу вверх, не скрывая удовлетворенности своим положением. В общем это было похоже больше на его личное любопытство, но никак не на допрос: он спрашивал, как и зачем я оказался в Швеции, при каких обстоятельствах был пленен, о моей семье, и закончилось это знакомство тем, что дежурному было сказано: «В третью камеру!» С меня сняли наручные часы, ремень, общарили карманы и отвели в камеру.

Кажется, нет нужды подробно описывать все, что я увидел в камере. Это было в начале января 1947 года, немногим больше полутора лет после окончания войны, когда тюрьмы были переполнены до ужаса, и читатель об этом наслышан. Конечно, я не знал, как мне быть, — в камере не было ни пятнышка свободной площади как-то хотя бы присесть. Неполных два дня назад — Стокгольм, отдельный номер в гостинице, и вот, еще не выяснив степени моей вины, меня втолкнули в крошечный ад, где люди полностью потеряли человеческий облик и почти неудержимо наседали на меня, чтобы раздеть, ограбить и Бог его знает, что со мной сделать. Передать эту картину никаких слов не могу найти. Я видел глаза озверевших человекоподобных существ. Очень похоже, что сделано это было не без умысла, так как буйство было приостановлено дежурным тюремщиком и меня перевели в другую камеру, где находились нормальной морали люди. Значит, было дано понять, что моя судьба ничем не защищена и со мной могут сделать что угодно.

В Выборгской тюрьме я пробыл всего два дня. А какой-то лейтенант-следователь допросил без пристрастий, не затрагивая подробных обстоятельств, после чего в тот же день меня увезли на пассажирском поезде в Ленинград в сопровождении двух военнослужащих в обычном пассажирском вагоне, предусмотрительно не демонстрируя, что я ехал под охраной. В Ленинграде меня подвергли скрупулезному обыску (раздевали донага). Занималась этой операцией пожилая женщина весьма неприятной внешности, затем она же закрыла меня в так называемый бокс — помещение для арестованных площадью не более одного квадратного метра, — кажется, более скверного ничего придумать нельзя, если еще иметь в виду, что через волчок за вами все время кто-то наблюдает большим противным глазом. Вот так это было — не хочется и вспоминать.

В боксе я простоял на ногах несколько часов — с ума можно сойти! Наконец выпустили — и сразу в «воронок» и к поезду, в пассажирский вагон, с охраной, конечно, до самой Москвы. Опять «воронок», и я уже в Лубянской внутренней тюрьме, в одиночке.

Томительны, безгласны и безответны дни тюремного одиночества, когда ты находишься в условиях тоталитарного сталинского режима в полной непредсказуемости о том, что тебя ждет, и отрезан ты полностью от всего живого. Да ведь и вины же, по существу, твоей нет в том, что ты не погиб на этой страшной войне. А считается, похоже, так: раз ты не погиб, то уже виноват. И рассуждать дальше не о чем... И ты в отчаянии начинаешь шагать взад-вперед по камере, считать, останавливаться, вслушиваться: этажом выше, прямо над тобой, тоже кто-то считает шаги, слышны его повороты после каждых пяти шагов. Кто он? О чем думает? Этим никто не интересуется, и знать никому не надо.

Кажется, прошла неделя пребывания на Лубянке, и меня в первый раз увели на допрос. Глубокой ночью. По каким-то ступенчатым коридорам с поворотами и спусками — нельзя ни понять, ни запомнить, где тебя остановили лицом вплотную к стене. И от одного того, что глухой притихшей ночью, ничего тебе не объясняя, ведут по мрачным коридорам, становится жутко и тревожно, и ты невольно вспоминаешь своих близких родственников, дядьев по матери — Григория Митрофановича и Ивана Борисовича, канувших в небытие в 1937 году. Но почему же именно тогда, когда ты уже кое-как, не без труда смог уснуть?

В кабинете был не то майор, не то подполковник, фамилия Седов или Серов. Ему было лет 35 — 40. Он предупредил меня, что чем откровеннее и правдивее я буду давать показания, тем легче и скорее закончится следствие. Но я и сам был настроен рассказывать в точности так, как оно было в действительности, раз я добровольно, как было и задумано, возвратился на Родину. Вполне возможно потому, что в моих показаниях не возникало никаких неясностей, физических воздействий ко мне не применялось. Но следствие продолжалось довольно долго: по месяцу следователь какие-то выдержки мне устраивал, и я должен был терпеть и падать: в чем причина? Четыре месяца сидел один и не знаю, как бы я выдержал, если бы не было книг — книги меняли каждую неделю, четыре-пять томиков. Маловато, но все же...

В конце мая 1947 года следователь предложил мне ознакомиться с моим делом. Все там было собрано вместе с теми свидетельскими показаниями, которые были получены от лиц, знавших меня по финскому периоду и по Швеции. Были среди свидетельств и несправедливые, но в основном отвергнуть я не мог и подписал, рассчитывая, что будет суд, будут же как-то спрашивать, уточнять, слушать меня, должны же объективно подойти к решению судьбы человека. Я в это верил.

Не могу сказать точно, сколько дней прошло после подписания мной 206-й статьи (кажется, это по тем временам обвинительное заключение), может, недели две. Было начало июня, когда меня увели из одиночной камеры. Долго шли ко коридорам, затем поднялись на другой этаж, где открыли пустую камеру и приказали войти в нее. Дверь сразу же закрыли. Я осмотрелся и ужаснулся: в камере окон не было, по центру стоял неподвижный бетонный стол, возле стола каменная скамья — и ничего больше. Я был окончательно подавлен, почувствовал себя приговоренным к расстрелу. Ничего иного ожидать уже не оставалось, находясь в этом каменном склепе. И не хотелось присесть на каменную скамью. В этой страшной камере я пробыл несколько часов, но представить не могу, сколько было тех часов. Вдруг услышал звон или клацанье замков и ключей. Я вздрогнул. Дверь открылась, и было сказано: «Выходи!» Привели в служебное помещение, перегороденное деревянным барьером, за барьером была табуретка; мне сказали, что можно сидеть. Через несколько минут вошли два офицера, приказали встать. Один из них, произнес слово «внимание!», зачитал следующее: «Решением Особого совещания от... за нарушение воинской присяги, по статье 58 пункт 16 Твардовский Иван Трифонович, уроженец Смоленской области Починковского района деревни Загорье, 1914 года рождения приговорен к десяти годам лишения свободы без последующего поражения в правах, с отбыванием срока наказания в ИТЛ МВД СССР».

Лично сам я этот документ не читал и не помню, ставил ли подпись, что был ознакомлен с ним.

Нет нужды говорить, как я себя чувствовал. Помню, офицер обратился ко мне после прочтения приговора со следующими словами:

— Ну зачем же так падать духом? Отправят в лагеря, будете работать, будут зачеты, через три-четыре года освободитесь.

Вот такое утешение было сочувственно высказано представителем Особого совещания.

Меня поместили в камеру, где были только осужденные.

Без какого-либо судебного разбирательства, правом и волей Особого совещания я был приговорен к десяти годам лишения свободы. Особое совещание не сочло нужным предоставить мне возможность присутствовать при рассмотрении моего дела, моя судьба была решена заочно. Так мои вера и надежда, что «советское правительство готово отнестись с пониманием к судьбе каждого соотечественника,

кто не утратил чувства долга перед Родиной и правдиво расскажет о постигшем его несчастье» (из «Обращения Советского правительства», опубликованного на русском языке в шведских газетах в 1946 году), не оправдались.

Теперь, когда мне было объявлено решение Особого совещания, я понял, для чего меня «опускали» в камеру смертников и держали там несколько часов. Нужно было таким образом подготовить меня, то есть окончательно сломить, исключить во мне всякую надежду на жизнь и тем самым «облегчить» мне восприятие рока, чтобы я был рад, что жизнь мне сохранена.

Меня отвели в камеру для осужденных. С каким-то тревожным и тяжелым лязгом открылась дверь, и меня буквально втокнули внутрь, где я увидел двух сотоварищей по несчастью. Один стоял посреди камеры, как бы только что остановившись на полпути от стены до двери, услышав лязг запоров. На вид ему было лет пятьдесят, очень крупный и полный, он явно ждал моего «здравствуйте», и я это слово сказал. Он повторил это же слово, а потом, подумав, добавил: «В тюрьме люди должны оставаться людьми».

Второй сидел на койке, не проявив к моему появлению ни малейшего интереса. Он был моложе первого, видом невзрачен. На какой-то момент я почувствовал почти удовлетворение оттого, что рядом такие же люди, что есть возможность слышать их, обмолвиться словом. Я понимал, что на Лубянке уголовников не могло быть, и с осужденными по 58-й статье можно разговаривать как с нормальными людьми. Кстати, я только в той камере узнал, что десять лет — срок не самый большой, как до этого дня думал; что уже осуждали и на 15 лет, и на 20, и даже на 25. О сроках, как правило, у таких заключенных секретов не было, с этого начиналось само знакомство: сколько получил? где взял? каким судом? и так далее. Мне же, после почти полугода одиночки, просто хотелось поделиться всем тем, что накопилось. И тут уже не было причин умалчивать о каких-либо подробностях, если они даже не украшали твою личность. Единственное, что меня останавливало и затрудняло, — это назвать мою фамилию: имя поэта Твардовского было известно всякому после войны, и, конечно же, не хотелось давать повод суждениям о том, что вот как по-разному завершилась война для родных братьев. Но в дальнейшем и это перестало быть тайной. Я не скрывал, что являюсь родным братом поэта Твардовского — от правды никуда не деться.

Мой собеседник, прослушав мой рассказ, некоторое время, склонив голову, сидел молча. Было похоже, что он перебирал в памяти все то, что случилось и как случилось в его фронтовых действиях. Затем, глубоко вздохнув, начал примерно так:

— Это что! Вас можно понять как одну из множества судеб. А мне вот и рассказать о себе стыдно. (Так и сказал: стыдно.) Я ведь из кадровых военных, был командующим стрелковой дивизией. Моя фамилия Попов. Сразу скажу: Советская власть меня, рязанского пастуха, подняла до звания полковника. И вот — финал: осужден на двадцать пять лет. Как так могло случиться? Да так, что не смог достойно советского офицера погибнуть за Родину на поле брани.

И вот что рассказал Попов далее. Где-то в Белоруссии в начале Великой Отечественной его дивизия не выдержала натиска немецких войск и была разгромлена. Сам полковник вместе со своим комиссаром (фамилию последнего я не помню) оказался под угрозой плена. В тот трагический момент они поклялись, что живыми врагу не сдадутся. Вскоре до полковника долетели слова комиссара: «Полковник, стреляйся!» Тут же полковник был ранен и упал без сознания. Очнулся в немецком госпитале. Немцы вылечили. Был отправлен в лагерь для офицеров. Там он встречает знакомых по службе и узнает, что его комиссар тоже в плену, но не в силу ранения, а просто попал невредимым, но идет в плену как старший лейтенант.

— Это колынуло меня в самое сердце, — говорил полковник Попов. — Я понял тогда, что стрелять в меня мог только сам комиссар. И закипел я злобой и местью на комиссара, мое отношение к нему не тайл, а потому мои слова дошли до немецкого лагерного начальства, и комиссар был опознан. Я подтвердил: «Это он, комиссар из моей дивизии».

Все это по возвращении из плена полковник скрыл и благополучно проживал после войны в Москве. Но гибель комиссара в плену продолжала интересоваться контрразведку, и настал такой час, когда полковника Попова «попросили» для беседы. А потом его судил трибунал...

В ожидании этапирования в лагерь прошло не менее месяца. За это время раза три меня переводили из одной лубянской камеры в другую. Один раз дней десять содержался в Лефортовской. Случилось быть недолгое время вместе с генералом Бессоновым. Имя-отчество свое он не называл, или же, может, я запамätывал. Хорошо помню (да такое и забыть нельзя), что каким-то поздним часом меня перевели в камеру в шесть коек, из них одна была свободной, я ее занял. Бодрствовал в тот час только один человек, одетый в военную форму... английского солдата. Камера была довольно просторной, так что оставалось место, чтобы прохаживаться, что и делал тот «солдат» в английской форме. Ему было лет пятьдесят, выглядел прямым, бодрым, не скупился на слова. Моего «здравствуйте» показалось «солдату» совершенно недостаточно, и он подал мне руку:

— Генерал-лейтенант Бессонов, бывший командующий краснознаменной кавалерийской дивизией. Хочу знать, с кем имею честь.

Очень может быть, что назвавшему себя генералом мой внешний вид показался редкостным среди заключенных: на мне еще была отличная одежда, обувь, и к тому же возраст только тридцать два года. Можно было на первый взгляд заподозрить, что я и вправду представляю некую личность.

— Бывший рядовой Красной Армии Иван Твардовский, — ответил я и тут же, как бы не подумавши, позволил себе спросить: — Неужто вы самый настоящий генерал? Если это действительно так, то считаю, мне повезло: первый раз вижу перед собой генерала, хотя и при весьма печальных обстоятельствах.

Нет, генерал Бессонов не обиделся, держал себя великодушно, как я заметил, не только по отношению ко мне, но и ко всем прочим, кто был в камере. За немногие дни моего общения с генералом, что могло произойти только в камере, где генералом он был лишь в прошлом, в воспоминаниях, он успел порядочно рассказать о своей жизни. Был воспитанником Кремлевской кавалерийской школы. Попал туда по счастливой случайности: был до этого беспризорным, родителей своих не знал. На фронт ушел командующим кавалерийской дивизией. Дивизия была вынуждена спешиться, после чего он был пленен. Немцы вытащили его из траншеи.

Плохо или хорошо, но вот хочу привести один из эпизодов, рассказанных генералом, с той степенью точности, как запечатлели слух и память:

— Наслушавшись и насмотревшись фильмов о светлой и зажиточной жизни колхозников, я и мой комиссар, находясь в прифронтовой обстановке, как-то решили поехать в ближайший белорусский колхоз и позволить себе пообедать, короче, купить у колхозников курицу и там же ее зажарить. Но колхоз, как на грех, оказался нищенским, было понятно: живут они впроголодь. Отпала у нас охота затевать разговор о какой-то там курице. Посмотрев на их безотрадную жизнь, мы решили дать указание интендантской службе сварить на двух полевых кухнях хороший суп и угостить им колхозников от имени воинских властей. Как это будет воспринято, — продолжал генерал, — я пожелал видеть лично и поехал следом за кухнями с поварами. Дали знать жителям колхозного поселка, что все желающие могут отведать армейской пищи в свои посудины. Весть эта быстро, как по телеграфу разнеслась. Боже мой, что я увидел: со всех сторон бежали старые и малые с горшками, чугунами, ведрами, кастрюлями. Тут же появился старик с клочковатой, цвета золы, бородой и подошел ко мне: «Спасибо тебе, добрый генерал, что понимаешь нашу жизнь, спасибо!» А мне было не по себе, что так тяжела была на самом деле хваленая колхозная жизнь, которую я видел в кино.

Генерал прервал свой рассказ, обещая продолжить его позже. И он это сделал:

— Через четыре дня четыре немецких автоматчика вели меня, советского генерал-лейтенанта, через поселок того колхоза, где по моему указанию наши повара кормили жителей супом. Люди узнавали меня, скорбно смотрели на мой позор. Я шел с опущенной головой... в фашистский плен. И вот тогда где-то посреди поселка я увидел старика, который так усердно благодарил меня за угощение армейским супом. Отделившись от группы стоявших женщин и детей, он быстро приблизился ко мне и сильно плюнул в мою сторону. Это был жестокий удар для меня. Я так и не разгадал: то ли старик выражал этим свою ненависть ко мне, что вот, мол, генерал, а сдался живым в плен, то ли он таким поступком выразил солидарность с оккупантами.

С каким-то болезненным угрызением совести генерал вспоминал о дочери:

— Как она была счастлива, как любила отца, называла себя генеральской дочкой. И вот такой печальный конец. Рано или поздно ей станет известно, что я был в плену; может быть, она так никогда и не увидит своего отца.

Вскоре меня увели из этой камеры, и больше мне не пришлось встречаться с Бессоновым. В дни моего знакомства с ним он был еще подследственным. Виновным он себя не признавал. Из плена его освободили англичане. Как генерала его пожелал видеть Черчилль, и якобы этот факт стал причиной серьезных обвинений.

Как осужденный, я в любой час ожидал вызова для отправки этапом в лагерь. Среди заключенных было мнение, что осужденных долго не держат ни в Лубянской, ни в Лефортовской тюрьмах. И такой день настал. В первых числах июля 1947 года меня вызвали, в коридоре предложили получить вещи — чемодан, в котором были легкая одежда, белье, кое-что из мелких личных вещей. Мне сказали, что могу проверить, все ли вещи целы. Проверять я не стал, предвидя, что на этапе все это будет легкой добычей для воров и блатных, которые исповедуют кредо: ты умри сегодня, а я — завтра. И таскаться с чемоданом по этапам в отдаленные районы было равно добровольной услуге чертову батьке. Об этом я посмел сказать конвойным, но мой голос не был услышан, команда «с вещами следуйте к выходу!» обязала меня подчиниться, и я был посажен в «воронок». Следом за мной по одному приводили других. В салоне становилось все плотнее, уже и отодвинуться было некуда, но заключенные, казалось, были рады, что назначены на этап, и охотно мирились с неудобствами, а кто-то даже сказал: «Слава тебе, Господи, что услышал молитвы наши!» Тут же было уточнено, что благодаривший Бога имел двадцать пять лет срока.

Посадка в вагон-зак «столыпин» поезда Москва — Иркутск прошла тихо, как может быть только в Москве, где все эски были из внутренних тюрем МГБ. В отсеках (купе) за сеткой из стальных прутьев было сравнительно свободно и спокойно вплоть до Казани, где наш вагон-зак принял группу заключенных из казанской тюрьмы. И сразу стало ясно, что среди них были люди совсем из другого мира — слышались жаргоны, с конвоем они вступали в пререкания, вели себя нахально. Четверо из них попали в купе, где находился я со своим чемоданом. Появление казанских «артистов» было шумным, с напускной дерзостью. Они сразу же оценили опытным глазом, что в купе следуют политические, начали наводить «порядок». Самый юный из них, как бы оправдывая накопленный опыт воровских приемов в отношении к фрайерам, зычно крикнул дружку в соседнем купе: «Васек! Здесь дела-а!» Тут же, забывшись на верхнюю полку, он приблизился ко мне и с искривленной физиономией, ощерясь, злобно прошипел в лицо: «А ну-ка ныряй...! Вниз!» Мне было просто стыдно подчиниться требованию подонка. Я быстро приподнялся на локте и оттолкнул его. Тогда он пытался лизнуть мне по лицу обломком бритвенного лезвия и успел коснуться щеки, хотя мог бы зацепить и глаз. Я почувствовал — кольнуло, закричал: «Конвой! Конвой, сюда!» Подлец отстал, но полагать, что он оставит меня в покое, я не мог. Было ясно, что наглое требование «а ну-ка ныряй вниз!» юный воришка предъявлял по поручению других. Им нужно было узнать, какова будет реакция фрайера. Поскольку я не подчинился молодому подонку, то был избран более либеральный метод — дипломатия вора. Этаким в рубаше навыпуск, в мягких сапогах в гармошку, с круглым лицом пермского славянина, как я тогда понял — вор в законе, пожелал поговорить со мной. Он подсел рядом и вполголоса начал о том, что «пацан», дескать, поступил неправильно.

— Нужно понимать, чувствовать сорт людей, — были его неторопливые утверждения. — Я, знаете, — он объяснялся на «вы», — большой противник грубостей, потому что по-нашему, вы понимаете, закону так не положено. Но если честно сказать, извините меня, неприятности вас че минуют, пока вы будете следовать этапом. Вот, к примеру, этот приличный клифт на вас... Это же постоянно будет привлекать каждого суку, чтобы его снять с вас. Имейте это в виду — это будет точно так. Попадете на пересылку, например, в том же Иркутске, и с вас сдрючат все, и вы не посмеете пикнуть.

Доводы этого «честного» вора полностью подтвердились, и, забегая вперед, надо признать, что в Иркутске, в пересыльной тюрьме, где мне пришлось быть несколько часов, блатные увели меня в какой-то закоулок, где мне было сказано: «Жить хочешь? Снимай клифт! И брюки в полоску — тоже!» И представь, читатель, я сделал это без раздумий и сожалений. Взамен дали обноски. Но это было, повторяю, в Иркутске. А разговор с «честным» вором еще где-то под Свердловском. Продолжим его.

— У вас, — говорил вор чуть не шепотом, — полагаю, есть вещички. Советую пустить их в обмен на что-то съестное, чем отдать ни за понюх табаку какому-то подледу-суке. Как вы смотрите на мой совет?

Как ни странно, я был рад пойти на нечто такое, но совершенно не мог представить, кому можно предложить, находясь за решеткой вагон-зака. Спросил об этом собеседника.

— Вы правы, сделать это очень непросто, но если доверите, я готов помочь вам. Но мне нужно знать, то есть видеть самому, о чем может идти речь.

То, что этот человек был из уголовников, не вызвало сомнений, хотя по речевым данным он больше походил на чиновного служащего, но я знал, что в жизни нередки случаи, когда уголовник легко и профессионально справляется с ролью, которую должен сыграть. Мне же в тот момент он был даже симпатичен, и я охотно принял его предложение. Я понимал, что самое лучшее по тюремным законам — это успеть добровольно и вовремя поделиться всем, чем располагаешь.

Был тогда июль 1947 года, сплошь можно было видеть плохо одетых людей. Летнюю одежду не вдруг купишь, поэтому когда мой посредник увидел шелковые цветные мужские сорочки в шведской фабричной упаковке, он глубоко вздохнул и ахнул: «Вот это вещь! Ай-ай!»

Я не помню, но, кажется, он назвался Михаилом, упоминание его имени просто необходимо в повествовании: как-то нескладно называть его «вор» — вор тоже имеет имя, и я не буду лишать его этого права. Михаил начал с того, что попросился в туалет, чтобы улучшить момент и объясниться с солдатом: мол, есть отличная вещь, которую он, Михаил, может предложить на съестное. Сделать это ему удалось — возвратился с надеждой. Через некоторое время подошел солдат, открыл дверку, сорочку попросил в руки, и Михаил отдал ее. Встал вопрос о цене. За кусок хлеба и даже за буханку отдать такую сорочку нельзя было, но и на истинную ее стоимость, находясь в вагон-заке, рассчитывать было тоже нельзя. Михаил сказал, что отдает за столько, сколько подскажет совесть солдата. Дверку солдат опять закрыл и ушел. Михаил надеялся, что солдат не посмеет обмануть. И солдат сделал что было в его возможностях: дал кусок свиного сала и две буханки хлеба. Таким образом за время следования до Иркутска было реализовано все, что имелось у меня, после чего я

почувствовал себя освобожденным от забот и беспокойств и был просто удивлен, что так легко это произошло; чемодан был теперь мне ни к чему, и я его оставил в вагоне.

Во дворе Иркутской пересыльной тюрьмы я пробыл пять-шесть часов. Был вызван на этап в эшелоне, который отправлялся в тот же день дальше на восток. В основном такие эшелоны формировались здесь из обыкновенных, довоенного образца вагонов подъемностью 16,5 тонны. Нет нужды описывать их внутреннее устройство — оно довольно известно, поскольку на положении заключенных в них побывали миллионы граждан СССР. К сожалению, очень многим из них не суждено было возвратиться из тех дальних мест — Колымы, Индигирки, Лены, Чукотки. Также известно, что при попустительстве и даже при участии начальства из ГУЛАГа чинились произволы уголовников (бытовиков) над политическими непосредственно в пути следования этапов. Цинично бахвалясь умением жить, блатные не дрогнув могли отнять даже этапную горбушку хлеба у слабого, тем более у не владеющего русским языком. За несколько дней были «раскулачены» четверо тувинцев, следовавших этапом в моем же вагоне. И люди молчали, не посмев даже пристыдить уголовников, боясь расправы самым жестоким образом — избиванием до полусмерти.

Надежда все такое пережить чуть теплилась; и я после долгих раздумий написал первое письмо жене, через семь лет моей неизвестности, и, сложив его треугольником и написав адрес, выбросил через угловой люк вагона. В этот момент эшелон шел через какую-то маленькую станцию в Читинской области. Расчет был на то, что кто-нибудь, может, увидит и поднимет, догадается опустить в почтовый ящик. Люди ведь знали, что такую эпистола может подбросить только зэк из вагона. Мария Васильевна проживала в то время в Нижнем Тагиле, о чем я узнал еще в Лубянской тюрьме, знакомясь с документами следствия, среди которых был и протокол допроса жены в Нижнем Тагиле. Мое письмоцо Мария Васильевна получила и примерно поняла, откуда оно пришло. Я знал, что новость эта очень тяжела будет для нее, но вот так случилось, что иначе не мог, написал. О том же, что решением Особого совещания меня приговорили к десяти годам лишения свободы, умолчал: не хватило духу, не надеялся, что выживу этот срок.

В двадцатых числах июля эшелон из полсотни вагонов с заключенными общей численностью не менее двух с половиной тысяч прибыл в Находку, где и был окончен наш путь по железной дороге. Многие из зэков знали, что здесь нам предстоит быть в пересыльном лагере, ожидать отправки этапом в конечный ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь Севвостлага, может, в страну Колыму или даже на Чукотку. О Колыме многие были наслышаны. «Будь проклята ты, Колыма!» — в местах заключения каждый слышал эту песню, сочиненную безвестным автором, и она отнюдь не настраивала на оптимистический лад. На Колыму никому не хотелось попадать. А о Чукотке никто ничего не знал, но почему-то многие мечтали: «Вот на Чукотку бы попасть!» — с надеждой, что там наверняка хорошие условия и особое полярное снабжение.

Высадка из вагонов началась сразу же по прибытии эшелона. Отодвигалась дверь вагона, офицер МГБ выкликал фамилии. Здесь же был конвой с собаками. Каждый зэк, услышав свою фамилию, должен был назвать имя-отчество, статью, срок, после чего стать в строй по четыре и смотреть, как пышет злобой адресированная овчарка, не сводящая глаз с желанной жертвы. Как только заканчивалась высадка очередного вагона, группу вводили в зону пересыльного лагеря, где она становилась бригадой, назывался ее номер, назначался бригадир. С этого момента мы оказывались в зоне, где под открытым небом содержалось до двадцати тысяч заключенных. Ни о каких помещениях не могло быть и речи — сидели, лежали и жили вповалку прямо на земле. Куда ни посмотри — бессчетная, постоянно гудящая однородная серая масса. Было просто боязно отлучиться от тех, с кем был в вагоне. Казалось, можно затеряться и не найти того места, где ты обрел частицу площади. Потом, день за днем проводя в окружении тех, с кем вместе думаешь и делишься взглядами и предположениями, обнаруживаешь сходство понимания происходящего, и ты уже не терзаешься самоуничижениями за «ошибки», которые привели тебя к столь драматическому финалу, поскольку убеждаешься, что у многих, кто оказался рядом, волей обстоятельств личная судьба была еще более тяжелой, но все равно человек не лишал себя права надеяться, что может что-то измениться совсем неожиданно, что ничто не вечно и в том числе и в первую очередь не вечна несправедливость и жестокость. Примерно так же рассуждал и встретившийся мне болгарин. Ему было пятьдесят шесть лет, осужден по 58-й сроком на двадцать пять лет. Называл он себя верующим и считал, что это помогает ему в его тяжелой судьбе. «Я верю, что как только Сталин уйдет из жизни, — говорил он, не очень остерегаясь, — то все изменится, и я надеюсь, что до такого времени я доживу и буду освобожден».

Лето 1947 года в Приморском крае было необычайно сухим и жарким. В полдневные часы под палящими лучами солнца было тяжело. К тому же вода была не всегда в достатке. Но каждый помнил и благодарил Бога, что было тепло и земля в течение дня хорошо прогревалась, и это было очень важно — спали ведь прямо на земле, в той самой одежде, что на себе; а уж о том, чтобы что-то подстелить и чем-то укрыться, никто и не помышлял. В общем, жили под открытым небом дни и месяцы.

И что уж тут сказать, если содержались в загоне как скот, гонимый на убой. Поэтому все ждали того дня, когда этапируют куда угодно, лишь бы в рабочую зону, чтобы иметь какое-то место для сна под крышей.

В Находке в пересыльном лагере я был более двух месяцев. В конце сентября спать на голой земле было уже невозможно. Не знаю, как я не свалился, не схватил пневмонию; уже на подступе было отчаяние, и я вспоминал слова шведских евангелистов, которые провожали меня с молитвой к Всевышнему, чтобы дал мне сил и терпения вынести все, что судьба ни пошлет. Да, я был весь само терпение, и, может, это меня спасло.

На Чукотку отправляли этапом сравнительно небольшую партию заключенных — человек пятьсот или шестьсот. Слухи ходили, что отбирают только механизаторов. Я к такой категории не относился, в формуляре значился резчиком по дереву. И вдруг слышу, мою фамилию вызывают на этап. Поначалу подумал, что ослышался, но вызов повторился, сомнений не было; побежал к столу, где находились представители Чукотстроя. Спрашивают имя-отчество. «Иван Трифонович!» Слышу: «Какое совпадение! Поэт Твардовский ведь тоже Трифонович? — посмотрели на меня. — Да, чего только не встречается на свете!» Продолжили: «Статья?» — «Пятьдесят восемь-б». — «Срок?» — «Десять лет». — «Проходи!»

Вот так я оказался в этапе на Чукотку.

Нас посадили в трюм «Миклухо-Маклая», где были двухэтажные нары. После того как отчалили от пирса, было разрешено свободно подниматься на палубу, где для заключенных был туалет. Но поднимались на палубу не только и не столько по нужде, как ради того, чтобы взглянуть окрест, когда «Миклухо-Маклай» оставлял берега Большой земли. Было ясно, что увозили нас надолго, что впереди полная неизвестность и, может быть, кому-то из нас уже никогда не возвратиться отсюда.

Охрана не препятствовала тому, что эски непрерывной очередью поднимались на палубу. И это было понятно: кто же пожелает бросаться за борт в морскую пучину? Правда, оголодавшие эски острым нюхом учуяли соленую горбушу в бочках на палубе и начали было таскать ее, но тут же убедились, что она так солоня, что без хлеба ее есть совершенно нельзя, и это занятие прекратилось, скандала не возникло.

Все больше отдаляясь в открытое море, стали ощущать морскую качку. На палубу налетали гребни волн, и в такие моменты было и страшно и небезопасно находиться на ней. «Миклухо-Маклай» казался бессильным, покорным и ничтожно малым по сравнению с возникавшими морскими провалами и набегавшими невообразимой мощи валами, высотой в десятки раз превосходящими корпус корабля. И было трудно понять, движемся ли мы по курсу или находимся во власти стихии и несемся по воле ее Бог знает куда. Впервые я видел подобное, и охватывала жуть, хотелось забыться и ни о чем не думать.

Сколько дней мы были в пути, точно никто не мог сказать. В трюме не было ни дня, ни ночи — просто бесконечное время пребывания под водой в ожидании какого-то события или хотя бы какой-то перемены бытия. Но такие чувства, возможно, были свойственны только мне или немногим из тех, кто оставался сам с собой и «листал обратно календарь», вдумываясь в свое прошлое. Большинство же из обитателей трюма смотрели на происходящее без особых раздумий и как могли убивали время, слушая лагерных мастеров импровизаций о легендарных личностях — не без намека, что все «из истории личной жизни» самого рассказчика. Кстати сказать, такие самостоятельные мастера рассказа не редкость в среде лагерников, тем более прошедших такую жизнь в течение многих лет. В общем, все это не ново — люди всегда и везде разные.

О том, что «Миклухо-Маклай» приближался к Чукотке, мы узнали дня за два до того, как увидели горы-сопки побережья залива Креста. Они были очень похожи на гигантские терриконы, и не хотелось верить, что созданы они самой природой, — их остроконические макушки были словно насыпаны из небесного бункера. С подветренной стороны сопки были темно-серыми, но противоположная была припудрена снегом. Распадок же между сопками был покрыт белым снегом. Тут наше свободное хождение на палубу было запрещено, и заключенные заговорили о том, как быть, если начнут высаживать, не считаясь с тем, что почти все плохо, по-летнему одеты. Было ясно, что здесь, на Чукотке, уже зима.

Мы еще не знали, что уже год на берегу залива Креста есть лагерь заключенных, есть и поселок для вольнонаемных под названием Эгвекиног. Есть здесь и автобаза, и механические мастерские, и кузница на несколько горнов, и больница, и ряд других объектов, построенных в течение года силами заключенных. Словом, год тому назад, также глубокой осенью, сюда, на этот дикий холодный каменный берег у подножья пирамидальных сопок, было высажено из трюмов «Миклухо-Маклая» тысяча двести заключенных и было сказано: «Будете строить не шадя живота!» Но об этом нам, вновь прибывшим, стало известно несколько позже.

Высадка узников из трюмов началась в присутствии начальника Чукотстроя полковника Ленкова. Здесь же был начальник Чукотлага майор Стеценко, оперативники, охрана войск МГБ. Заключенные просили о сочувствии: они в плохом летнем

платье, а температура минус 15. Просьба была принята к сведению в том смысле, что высаживали не всех сразу, а партиями по пятьдесят человек и под конвоем направляли в баню, где выдавали обмундирование. Это, конечно, было снисхождение, но все равно стоять на морозном ветру хотя бы двадцать минут, представьте, в одной рубашке — не приведи Бог. Но требовалось не двадцать минут, чтобы прошли по одному пятьдесят человек, отвечая по всем пунктам: имя-отчество, год рождения, статья, срок, — требовалось не менее получаса. Первому-то как выдержать? За время, пока подготовят вторую партию, первая должна была дойти до бани (расстояние не менее одного километра), помыться, получить положенную зимнюю одежду и надеть ее на себя. Надо упомянуть еще и о том, что когда нагой заключенный подходил в кладовке к столу, чтобы получить бушлат, шапку, стеганые брюки, валенки и все прочее, то кладовщик ударил его что есть силы каждой названной вещью:

— Получай, сука, раз! Два! Три!..

Вот так встречали всех вновь прибывших в Чукотлаг. Да, впечатления были мрачными, и рассчитывать на то, что ты когда-нибудь, по окончании срока — «на поезде в мягком вагоне...», было нельзя.

После бани проходили формальную медицинскую комиссию в кабинете начальника санотдела лагерной больницы. Возглавлял комиссию, состоявшую из трех медиков, сам начальник санотдела. Он был весьма симпатичной, можно сказать — импозантной внешности, в возрасте лет пятидесяти. В кабинет заключенных вызывали раздетыми донага по два-три человека. По лагерным метким суждениям, заключенные в большинстве своем были «тонки», «звонки» и «прозрачны», то есть доведены до крайнего истощения. Надо признать, что начальник санотдела видел это и относился к нам сочувственно, но и только. Бегло осмотрев и пощупав каждого за ягодицу, он ронял слова равнозначно душевной тревоге, делал какие-то пометки в учетных карточках. Хорошо помню момент, когда он, взглянув на мою карточку, а потом внимательно на меня, спросил: «Да? Резчик по дереву? Интересно! Как и что вы можете выполнять?» Я объяснил, что в основном специализировался в валянии миниатюрной скульптуры в дереве, выполнял художественно оформленные вещи с практическим назначением. «Очень интересно! А инструменты? У вас же сейчас их нет?» «Конечно, сейчас у меня их не может быть», — был мой ответ. «Ладно! Посмотрим. — Обращаясь к члену комиссии, молодому врачу, он сказал: — Запишите: госпитализировать. — И обращаясь ко мне: — Положим вас на койку, отдохнете, потом решим, как с вами быть».

Вот так началось мое пребывание в Чукотлаге. В зону, таким образом, я не попал, что понять можно было как счастье, ниспосланное Богом.

Подозреваю, что какую-то роль, возможно, сыграла моя фамилия. Но это лишь предположительно. Главное все-таки в моей чукотской судьбе было то, что я обладал универсальным мастерством: столяр, резчик, модельщик, в известной степени ваятель, пусть самодеятельный. Это и оградило меня от общих работ.

Лагерная больница размещалась в большом бараке-землянке, как все другие жилые помещения для заключенных и для вольнонаемных. Лишь для начальства МГБ был возведен «голубой поселок» из брусовых домиков. Но как бы ни была примитивна эта лагерная больница с внешней стороны, внутри она поддерживалась в сравнительно чистом состоянии. Было в ней тепло, кормили больных заключенных вполне удовлетворительно. Два отделения: хирургическое, где находились на излечении обмороженные, тяжело травмированные на работе и в лагерных ссорах и баталиях, больные флегмоной; и терапевтическое — для тех, кто не нуждался в хирургическом вмешательстве.

Оказавшись на больничной койке без каких-либо моих просьб, поскольку вся моя «болезнь» заключалась в неутоленном чувстве голода, я был обеспокоен, пожалуй, только тем, что не знал, чем может закончиться проявленная ко мне милость. Очень сожалело, что не решился тогда узнать фамилию начальника санотдела. Для меня он был не иначе как явлением, которое обязывало: ни Боже мой не смей обращаться, но боготвори его душевно.

Рядом были люди, которые уже год прожили на Чукотке в лагере. В первые же дни я узнал, что из привезенных год назад тысячи двухсот заключенных осталось немногим более семисот; что на втором километре от поселка Эгвекинот их хоронят в загодя приготовленную траншею, вырытую бульдозером в каменисто-щебеночном грунте. По их рассказам, кроме строительства самого поселка, заключенных использовали на дороге к руднику Иультин, что в двухстах семидесяти километрах от Эгвекинота. Условия на этой стройке крайне тяжелые: холод и голод, люди замерзали, умирали от дистрофии и побоев.

— Эгвекинот — что! — рассказывал зэк Сахаров. — Это поселок, здесь рабочая зона в оцеплении, каждый знает свое место: механизаторы, металлисты, ремонтники как ни есть работают по специальности, большинство под крышей, в мастерских, в цехах, конвой в рабочую зону не заходит, свободное хождение, здесь же и вольнонаемные. А вот там какие муки терпят люди на трассе, где бригадир — царь и бог, где чуть что — ломом по горбу схватишь, и жаловаться некому. Поживешь — увидишь.

Через три дня меня пригласили к начальнику санотдела. Посмотрел вроде бы приветливо, спросил, как я себя чувствую. Я ответил, спасибо, дескать, хорошо.

— Вы откуда родом? — спросил. — Не может ли такое быть, что поэт Твардовский доводится вам родственником?

— Может. Так оно и есть. Я действительно довожусь ему родным братом.

Он помолчал, как бы подбирая слова, чтобы не показаться бестактным.

— Мне бросилось в глаза ваше отчество, подумал, что если это совпадение, то уж очень необычное. Но это, простите, к слову — в жизни я слышал и видел всякое, поскольку отношусь к поколению старой интеллигенции. Теперь о деле. Вы можете начертить, ну, в виде четких эскизов, те инструменты, которые нужны вам для резных работ? Здесь, в мастерских, есть слесарь-инструментальщик, надеюсь, он согласится изготовить по эскизам необходимый инструмент.

Я заверил, что смогу начертить даже в присутствии того слесаря и что это будет еще легче — можно будет подсказать, посоветоваться.

— Тогда собирайтесь. Мы пойдем в ЦАРМ³.

Просьбу главного медроботника слесарь принял как подарок. В лагерях, как я понял несколько позже, заслужить внимание таких людей считалось важнейшей задачей заключенного: ведь только медицина могла прийти на помощь, оградить или даже защитить заключенного, если он оказывался в беде. И слесарь, надо думать, хорошо это понимал и помнил про запас. Инструменты он сделал и сам принес их в больницу.

Начальник санотдела пообещал поселить меня в комнату при больнице, где находилась обслуга из заключенных (санитары, фельдшера, зубной техник, электрик, завхоз). Как много это значило, нет нужды объяснять: их не водили под конвоем, они не знали постоянных проверок и разводов, не голодали и не мерзли, не подвергались принуждениям и побоям, не находились под властью лагерных прислужников. Все такое рисовалось и мне, но я не знал еще, не мог предвидеть, что для моего рабочего места, где я должен буду заниматься резными работами (горько даже вспомнить), мой добрейший шеф определил подходящим помещением морга. Может, к стыду моему, но честно признаюсь, что слово «морг» мне тогда просто не было знакомо, оно не произвело на меня того впечатления, которое я мог бы получить от слова «мертвецкая». Поэтому, когда начальник санотдела предложил мне пойти вместе с ним посмотреть помещение и решить, где устроить в нем что-либо вроде верстачка, я не задумываясь последовал за ним. Само сооружение с расстояния смотрелось как заснеженный бугор с черневшим пятном входа, и можно было подумать, что это был не то погреб, не то склад-кладовая. Когда же мы подошли, то я увидел, что к двери нужно спуститься по ступенькам. Войдя в эту землянку, я все еще не мог понять ее назначения: само помещение было разгорожено надвое, в первой половине влево от входа — продолговатый, грубой работы стол, и больше ничего. Во второй, меньшей, сидел человек у топившейся печи, что-то готовил себе на обед, быстро встал и приветствовал вошедшего начальника. Без слов было ясно, что он заключенный и что здесь он на своем рабочем месте и здесь же живет — был виден топчан, накрытый одеялом.

— Ну как здесь у тебя, Рузальтис, сейчас пореже привозят умерших? — спросил шеф.

— Да, сейчас стало меньше, но будет холоднее — опять больше будет, — ответил литовец Рузальтис. И я понял, что такое морг.

— Ну что, Иван Трифионович, скажете? По-моему, здесь тепло и вполне можно устроить верстачок, вот хоть в уголку, подвести свет. Правда, придется видеть не очень приятные картины. Положение надо понять, пока изменить ничего нельзя, не от нас, не от меня это зависит.

На тот момент действительно ничего особо неприятного в землянке-норке не было. Литовец свое рабочее место содержал в чистоте, и, поскольку ничего иного шеф не мог предложить, я должен был согласиться и приступить к делу.

Начинать нужно было с того, чтобы устроить, пусть самый примитивный, верстак в виде, например, закрепленного к стене отрезка широкой доски. Возле верстака необходимо иметь какое-то сиденье (скамью, табурет, стул), сделать ящик для инструмента. Сразу же надо было где-то найти все, чем это можно сделать, — топор, ножовку, рубанок. Поразмыслив, как быть и куда сунуться, я решил встретиться с завхозом больницы Борисенковым. Мельком я его видел, но и только, как человека еще не знал, но, куда ни шло, подался к нему. Ко мне он отнесся с пониманием и был крайне удивлен и даже, не удержавшись, рассмеялся над тем, что «с любезностью и сочувствием» начальник санотдела упек меня в морг.

— Нет, Иван Трифионович, — высказал свое мнение завхоз, — надо постараться избавиться от этого помещения. Какое же может быть настроение в мертвецкой? Дышать трупным запахом, смотреть, как отогревают мороженых покойников, как этот литовец Рузальтис вскрывает им животы, — нет-нет, это не каждый вынесет! Давай-ка мы пойдем к Парамонычу и послушаем, что он скажет.

³ ЦАРМ — центральные авторемонтные мастерские.

Парамоныч — это заведующий аптекой. В заключении уже более десяти лет. На Чукотку попал с Колымы. В прошлом — полковник, член ВКП(б), осужден по 58-й статье, в лагерях каким-то образом освоил аптечное дело и вот заведует аптекой Чукотлага. Фамилию его мало кто знал, но Парамоныча все знали, и пользовался он всеобщим уважением, в том числе и со стороны вольнонаемных и сотрудников МГБ. Вот к нему мы и вошли — прямо в помещение аптеки, представляющее отдельный барак, разгороженный на несколько комнат: там и склад, и контора бухгалтера-эска Ивана Ивановича Олзоева, и отделение собственно аптечное, где Парамоныч готовил и отпускал лекарства, отсюда их получали медпункты закрытых зон и по рецептам — вольнонаемные граждане поселка Эвбекинот. Здесь же, в аптечном бараке, у Парамоныча была квартирка — спальня и кабинетик, так что в зону являться он не был обязан, как и главный хирург больницы Кондратий Калицкий, тоже отбывавший срок с 1937 года. Калицкий жил в отдельной землянке, и к нему был прикреплен, как принято было называть, дневальный.

Вот так, можно сказать, я оказался на Чукотке в окружении заключенных, которые были на особом положении и не испытывали на себе и десятой доли участи тех, кто был на общих работах, на трассе, в штольне Чултинского рудника, в тракторной колонне, застигнутой многодневной чукотской пургой где-то в безлюдной тундре. Об этом я думал, когда был свидетелем беседы завхоза Борисенкова с Парамонычем. Бывший полковник, конечно, по-своему тоже был несчастен, как и всякий дивнем, но в их беседе ни слова не было о том, что они голодают, что с каждым днем слабеют физически, что им приходится мерзнуть и мокнуть и рабски исполнять команду: а ну, вылетай без последнего! Ничего такого для них не существовало, хотя они тоже были заключенными, на той же Чукотке, но им повезло, они стали «придурками», как называют в лагере всех, кто по счастливым обстоятельствам оказался на «блатных» должностях. Нельзя сказать, что все они плохие люди, часто это связано с профессией, как, например, должность бухгалтера, врача, инженера, механика или мастера редкостной специальности — зубного техника, часовщика, хорошего портного.

Между тем завхоз выбрал момент и, обратив внимание собеседника в мою сторону, начал объяснять причину нашего визита:

— Вот какое дело, Илья Парамонович! Этот молодой человек из нового этапа. Начальник санотдела оставил его при больнице как мастера на все руки. Он, знаете, и резчик по дереву, и столяр-мебельщик, и модельщик литейного производства.

Парамоныч заинтересованно слушал, взвешивающе поглядывая на меня, вставлял свои короткие «да-да!» или «вот что!», «любопытно, да», «понимаю» и стал кое-что сам спрашивать:

— Как вас... имя-отчество? Давно осуждены?

На все вопросы я отвечал не спеша, но интерес ко мне, казалось, нарастал, и таким образом я вынужден был порядочно рассказать о себе, хотя особого желания у меня не было выкладывать все подробности. Все же я сказал, что в плен попал к финнам, что это было в самом начале войны, из плена бежал в нейтральную Швецию и вот такой финал — нахожусь здесь как ээк.

— Илья Парамонович, — вновь вклинивается завхоз, — Иван Трифонович находится сейчас в весьма незавидном положении — начальник санотдела ничего лучшего не сумел найти кроме как устроить верстачок, представьте себе, в морге. Но ведь это, знаете, никуда не годится. Сегодня там свободно, а завтра привезут с трассы труп, будет там Рузальтис вскрывать. Трупный запах и вся эта неприятная картина, право же, никак не вяжется, чтобы там что-то еще серьезное мастерить. Вот я и подумал, что вы давно ищете хорошего столяра, который смог бы изготовить вашей конструкции аптечный стол или шкаф, так, может, вы воспользуетесь случаем и попытаетесь договориться с начальником санотдела, чтобы этот мастер занялся вашей работой? И взяла бы его из морга к себе. Вот и было бы хорошо и вам и мастеру.

— Я, между прочим, подумал об этом, но надо же еще узнать, пожелает или, скажем так, сможет ли молодой человек взяться за такую работу. Место я здесь найду, хотя, может, и не очень просторное, но, думаю, позволит. Есть у меня и столярный инструмент и, кажется, почти все из материалов. Надеюсь, что санотдел не будет чинить препятствий. Ваше слово, Иван Трифонович!

Меня не пугала никакая сложность, и я постарался заверить Илью Парамоновича, что буду рад выполнить любую работу по дереву. В ответ на это мне было обещано, что вопрос будет решен скоро, может, сегодня же.

Самое главное для меня было не попасть в зону. Эти первые дни я чувствовал себя как никуда не примкнувший, никому не известный и всего остерегающийся — даже войти в комнату, где находилась больничная обслуга и где мне было позволено иметь место на верхних нарах. Я входил несмело, опасаясь недружелюбных взглядов и вопросов. Такие чувства меня всегда преследовали, видимо, в памяти сохранились слышанные где-то прежде слова: «Не страшна тюрьма — страшны люди в тюрьме». Это почти точно так: ты умри сегодня, а я — завтра; в тюрьме, на этапе, в лагерях могут нагло обидеть.

Слава Богу, на Чукотке мне не пришлось такое испытать. Эки из больничной obsługi были на редкость воспитанные, хорошие люди. Помню зубного техника из Литвы Гольдштейна, студента-медика болгарина Гаврилова, санитаров из русских студентов, фельдшеров, завхоза — все запомнились уважительными людьми. И пусть такие свидетельства не покажутся странными, я смею так думать и говорить: «Здесь было мало виноватых, здесь больше было — без вины» (А. Жигулин, «Воспоминание»).

Была глубокая снежная осень, светало лишь часам к десяти, а часов в восемь хоть глаз коли — ничего не видно; завхоз Борисенков сказал, что Парамонич ждет меня. И я пошел в аптеку с надеждой, что буду работать под крышей у полковника Парамонича. Аптечный барак был еще заперт изнутри, и я немного был озадачен: постучать или нет? Подумал, что открытым вход, когда еще темно, вряд ли мог Парамонич оставить, — постучал. Ждать не пришлось, дверь тут же открыл сам хозяин заведения.

— Простите, Илья Парамонович, что так рано... — начал я, но он, подняв руки, поспешил сказать:

— Нет, нет, я давно на ногах.

В тот момент я подумал, как это он не боится один ночевать в аптеке. Спрашивать об этом не стал, но мысль такую имел, ведь для известной категории эзков аптека своими «каликами-моргаликами» объект заманчивой.

— Вот что я могу сразу сказать вам, Иван Трифонович, пока мы здесь без свидетелей. Начальник санотдела согласен, чтобы вы работали у меня. Но вы должны иметь в виду, что числитесь в больнице как пациент-хроник, а не потому, что вас держат как специалиста. В аптеку приходят разные люди, по возможности воздерживайтесь от контактов. Он же просил, чтобы вы не торопись, но и не откладывав на потом, что-нибудь изготовили для него на память. Вы догадываетесь, почему это ему дорого?

— Возможно, потому, что на Чукотке живут временно, хотят иметь сувенир, изготовленный в этих местах.

— Да, правильно.

Я хорошо понимал, что под крышей аптеки нахожусь по милости начальника санотдела, что положение мое здесь зависимое и шаткое, конечно, я должен благодарить того, кто берет меня под свое покровительство. Для ээка даже один день облегченного существования — милость Божья. Так что просьбу, которую передал мне Парамонич: не торопясь что-нибудь изготовить для начальника на память, я готов был выполнить самым лучшим образом.

Рабочее место с расчетом, чтобы можно было выполнять и столярные работы (имелось в виду изготовление аптечного стола длиной в три метра), организовали в комнате, которая служила складом аптечных товаров. Пришлось освободить половину площади, где прямо на полу находились ящики, бутылки, картонные коробки. Кое-что уплотнили, кое-что перенесли в коридор, а что и подняли на полки. Одним словом, по нужде мириться можно было, чтобы один человек работал у верстака. И насчет столярного инструмента большой проблемы не оказалось: Илья Парамонович в свое время предусмотрительно приобрел на Колыме набор американского инструмента и не забыл погрузить его, когда дислоцировалось на Чукотку его аптечное хозяйство.

Пока меня еще никто не торопил и не подгонял, и самому, вроде бы ясно, совсем некуда было спешить. Отбывание срока только начиналось. Что там впереди могло меня ожидать, что предстояло испытать? — об этом страшно подумать. Но нельзя предаваться унынию, тем более что я находился, по-лагерному, почти в санаторных условиях. Такое положение надо было по возможности удерживать, не терять. Я начал изготавливать ту самую «вещицу на память» моему благожелателю, начальнику санотдела.

С тех пор, как я оставил работу в Швеции в резной мастерской Свенсона, прошел ровно год. Только сказати, где она, эта Скандинавия, и где залив Креста на Чукотке! Через весь Евразийский материк проволокли меня под конвоем. Тут нехитро, кажется, растерять и профессиональный настрой и фантазию... Да нет, нельзя было позволить себе такое — в профессии мое спасение. А страх такой уже был: вдруг что-то не пойдет? Как тогда быть? Душевное потрясение и совсем другие условия жизни действительно могут повлиять отрицательно, хотя я старался не верить в это.

В течение многих лет сначала любительски, а затем и профессионально для скульптурных миниатюр и скульптурной резьбы (барельеф на плоскости) я использовал только дерево, как правило — твердых пород, преимущественно березу. Но вот с чем я столкнулся на Чукотке: подходящего для моей работы сухого куска березы (капа, корня, отрезка доски, бруса) найти не смогли, хотя занимался этим сам Илья Парамонович, у которого были авторитет и положение, вес и влияние. Казалось, больше надеяться не на что. Кроме березовых тонких дощечек от мыльных ящиков, ничего достать не удалось. Для меня такой финал был сущим огорчением, намерения мои не могли быть выполнены.

Когда я уже приступил к изготовлению аптечного стола по эскизу Ильи Парамоновича, пришел в аптеку завхоз больницы Борисенков. По его манере обращения, а еще явственней — голосу я сразу уловил, что это был он, но зайти туда, к

Парамонычу, не шел удобным, надеялся, что Борисенков не может не заглянуть, поинтересуется, как я здесь устроился. И не ошибся.

— Ну вот, совсем по-человечески! — Подав руку, он еще посмотрел туда-сюда, присел на ящик, помолчал. — Иван Трифонович! Скажи мне: слышал ли, что Чукотка богата мамонтовой костью и что здесь славятся резьбой по кости чукотские умельцы? Не рискнешь ли перейти на этот редчайший материал, который попадает по трассе целыми бивнями? Метра по два длиной и по толщине — во! — показал, сводя кисти рук с просветом чуть ли не с бревно.

Было досадно, что самостоятельно к этой мысли не пришел. Черт возьми! Не однажды читал о холмогорских косторезах, что-то было известно и о чукотских (поселок Уэлен), но вот воспринималось это как нечто для тебя недоступное. Теперь же, когда мне подсказали, то я сразу подумал, что никакой особой сложности работа с таким исходным материалом для меня представлять не может. Ну сколько-то потверже, потребуется подобрать соответствующий режущий инструмент, и только.

С того самого дня, как я услышал от завхоза о мамонтовой кости, я загорелся желанием взять ее в руки и попробовать резцом, отдать всю увлеченность этому диковинному материалу. В тот момент я забывал, что нахожусь в заключении, что у меня десять лет срока. Я не мог не просить завхоза, который, кстати, имел вольное хождение в поселке Иультин, чтобы он, опираясь на старого ээка-аптекаря, занялся поиском мамонтовой кости. Он заверил, что большой трудности это не составит, так как сам видел, что слесаря использовали эту кость как дерево: кто на ручки для напильников, кто на трубки, мундштуки и прочие пустяки. Перед самым уходом завхоз вдруг спросил:

— Слушай, Трифонич! Это правда, что ты брат поэта Александра Твардовского?

— Откуда ты взял, кто сказал?

— Он! — И качнул головой в сторону Парамоныча.

— Во-первых, он у меня не спрашивал, а во-вторых, я ему, кажется, ничего на этот счет не говорил.

— Но фамилия-то у тебя — Твардовский?

— Ну и что? Мало ли на свете однофамильцев.

— Тогда извини. Будь здоров!

Этот эпизод, равный одной минуте, затронул притихшую мою боль. Не скажешь, что «жизнь меня не обделила, своим добром не обошла», потому что «не обошла тридцатым годом. И сорок первым. И иным»... Я старался не признаваться, что являюсь братом Александра Твардовского, чтобы не давать повода кому бы то ни было подумать, что иду к себе внимания или сочувствия; я должен был сам заслужить внимание и достойное обо мне мнение. И это, кажется, мне удалось. Скрывать, что я действительно сын Трифона Гордеевича Твардовского, было невозможно — записано в деле, а стало быть, и в формуляре, но чтобы без особой причины самому о себе рассказывать — такое считал непозволительным.

Под крышей аптеки, возле авторитетного на Чукотке тех дней ээка Ильи Парамоныча, мне пришлось побить месяца три-четыре. Месяца полтора возился с тем аптечным столом со множеством дверок, ящичков и полок; изготовил шкаф для платья по просьбе начальника санотдела, в который вложил все свое умение и изобретательность, делал кое-что из мелочи — шкатулки, портсигары, курительные трубки и всякую прочую чепуху из дерева. И еще, что было для меня особо важным, я хорошо изучил материал как таковой — мамонтовую кость и выполнил просьбу начальника санотдела, сделал из этой кости вещь на память. Она представляла собой небольшую шкатулочку со съемной плоской крышечкой, на которой была закреплена изваянная оленья упряжка. Это была моя первая работа из кости. Впоследствии, за четыре года и семь месяцев пребывания на Чукотке, мной было изготовлено разных изделий из мамонтовой и моржовой кости не менее сотни. Но это было, как я сказал, уже не под крышей аптеки.

Напомню, что аптека, как и лагерная больница, находилась хотя и не в зоне самого отдельного лагерного пункта (ОЛП) в поселке Эвбекиног, но совсем рядом, в каких-нибудь ста метрах от зоны. Значит, рано или поздно лагерное начальство должно было узнать, что в аптеке содержится под видом больного искусный мастер-зэк, который выполняет разные вещицы по заданию начальника санотдела. Короче, меня находят и забирают в зону. Я попадаю в бригаду разнорабочих-строителей и два дня ношу носилки. Положение круто изменилось: в барак-землянке из двух секций более ста заключенных, наполовину из уголовников. Разводы, проверки по принципу «вылетай без последнего!» — последний непременно получит от помощника бригадира «шутильником» по горбу, так что последним быть очень невыгодно. На разводе бригады подходят строем по четыре к вахте. Нарядчик считает: раз, два, три... при этом непременно крайнего из каждой четверки ударяет по спине — кого слегка врежет, а кому со злостью и «от души». Я для нарядчика новый, иду в шестой шеренге крайним слева. Решаюсь дать сдачи, быстро освобождаю правую руку (в ней был кусок хлеба). И вот получаю по хребту и... нарядчик тут же схвагивает мою плечу «на память». Происходит замешательство, меня выдергивают, заводят на вахту, дают под ребра и отправляют в карцер, который на лагерном жаргоне называется

«перд...ник». В той неотапливаемой будке я пробыл часа полтора. Приводят в кабинет начальника ОЛП Гутенко. Я вижу его впервые: лет тридцати, в форме старшины МГБ, блондин. Спокойно и незлобно смотрит на меня, сидя за столом. Уточняет: «Заклученный Твардовский?» — «Так точно, гражданин начальник!» — «Имя-отчество?» Называю. «Расскажите, за что посажены в карцер?» Передаю подробно, как было. «Да-а, я не оправдываю нарядчика, его поведение недостойно и заслуживает порицания. Но о его грубости вам следовало заявить письменно на мое имя, а не устраивать... — Не договорил, снял трубку телефона: — Бригадира хозбригады ко мне! — Немного помолчав, спросил: — Чем вы занимались в аптеке?» — «Конечно, не приготовлением лекарств, работал за верстаком, посылкою кое-что умею делать».

Входит бригадир хозбригады: «По вашему приказанию...»

— У тебя, Тимошенко, сколько сейчас в бригаде?

— Четыре человека, гражданин начальник!

— Вот мастера посылаю тебе. Пусть работает у верстака. Понял? Все!

— Ясно, гражданин начальник!

Я не думал, что бригадиру Тимошенко было все ясно, но мне было понятно, что начальник ОЛП отыскал меня с прицелом и что у него определенно есть дело для меня. Об этом я мог судить по обстановке самого кабинета. И обошелся он со мной без раздражения.

И вот я в столярке. Но Боже мой, что же это за мастерская! Назвать то убогое помещение мастерской никак нельзя. Да и верстака не было, две доски на козлах. Кто-то, может, что-нибудь строил на них, но это же только смех и грех, а не столярка. Да и инструмента не было ровным счетом никакого. Но подумал: мне ли печалиться, если начальник ОЛП человек серьезный, то он поймет и все можно будет сделать как подобает. Помещение, правда, очень лагерное, то есть не построено, а устроено в углу продуваемого всеми ветрами сарая впритык к угловым стенкам. Имелось окно, и это было хорошо. Так день прошел как бы не без пользы — я мог бы разъяснить и перечислить начальнику ОЛП все, чего пока не было на предложенном мне месте. Бригадиру сказал, чтобы он доложил начальнику о моих впечатлениях, чтобы тот вызвал меня для беседы.

Начальник ОЛП встретил меня как старого знакомого:

— Ну что там, Твардовский, напугало тебя? Чем могу помочь, чтобы ты смастерил кое-что хорошее?

— Простите, но я, во-первых, еще не знаю, что конкретно может интересовать гражданина начальника.

— Гм... Ну хорошо! Ты ведь, думаю, сам можешь догадаться. Ну вот смотри, что у меня в кабинете есть такое, что ты посчитал бы нужным заменить, дополнить?

— Это я могу назвать не задумываясь, — ответил я.

— Ну, пожалуйста!

— Нужно заменить стол, за которым вы сидите, — это раз. На столе должен быть приличный письменный прибор — это два. Для одежды нужно иметь оригинальную вешалку — это три. Хорошие полки для книг, журналов, несколько добротных стульев, еще кое-какие мелочи, скульптурные миниатюры. Это, в общем, большая работа. Вы согласны с моим мнением?

— Конечно, очень согласен! — Он про себя, было видно, удивился и обронил: — Ну и Твардовский...

Я сказал ему, что из ничего ничего сделать нельзя, даже будучи мастером на все руки.

— А что вам нужно? — Он спросил уже на «вы».

Я перечислил: сухой пиломатериал, столярная плита или добротная многослойная березовая фанера, столярный клей, шлифовальная шкурка разных номеров, лак целлюлозный, политура шеллачная, эбонит (пластик), кость мамонтовая, отапливаемое рабочее место.

— На складах в Чукотское все это должно быть, и надеюсь, что оно у нас будет. Лично займусь этим.

Поступи я как-то иначе (если бы, например, я заробел и постеснялся сказать начальнику о том, что мне необходимо для работы), я оказался бы в глупом положении, взвалил на себя невыполнимое. Случаи такие известны, когда начальство знать ничего не желает, а подчиненный якобы сбызан землю носом рыть, проявить смекалку, изыскать, выйти из положения. На такое я не собирался идти. Помимо всего, я должен был дать понять, что цену себе знаю.

Заинтриговать начальника мне удалось, ему снился воображаемый кабинет, где сидел он за полированным двухтумбовым письменным столом, на котором был уникальный письменный прибор. Примерно так я мог подумать, когда услышал от бригадира, что двух рабочих увезли грузить пиломатериалы и что отправил их сам начальник. А это значит, есть надежда, что дела мои не ухудшатся. Поднималось настроение, я размышлял так: если мои расчеты на выживаемость опираются только на мой личный труд и умение и ни на что другое — упрекнуть меня никто не вправе. Мне не было легко в столь примитивных условиях, с довольно тощим желудком и не считаясь со временем выжимать из себя все силы, доказывая, что горшки обжигают не боги, а мастера. Это решило мою судьбу — я выдержал чукотские лагеря.

Пристрастие к утонченному мастерству натолкнуло меня на мысль изготовить из мамонтовой кости ажурный браслет для наручных часов. Браслет состоял из десятичных шарнирно соединенных звеньев. В каждом звене четко просматривалось изображение фигурок северной фауны (белый медведь, песец, снежный баран, олень, морж и так далее). Изготовлен он был урывками между основной работой для обмена на съестное. Так без преднамеренной саморекламы слухи о необычных изделиях расходились сами собой, а просьбы и предложения от тех, кто работал рядом, а порой совместно или под началом вольнонаемных на строительстве, в автобазе, в механических мастерских, становилось все больше.

В 1948 году в поселке Эгвекинот у залива Креста в расположении автохозяйства был построен небольшой литейный цех цветного и чугунного фасонного литья. Теперь образовался блок горячих цехов, в который вошли кузнечный, термический, сварочный и собственно литейный. Начальником этого блока был прибывший из Магадана Юровский Леонид Борисович, он как раз занимался подготовкой к пуску литейного цеха. Потребовались рабочие литейного производства: вагранщики, формовщики, стержневщики, модельщики. Найти такие профессии нужно было, конечно же, среди заключенных. И такие люди нашлись, за исключением модельщика. Дело в том, что модельщик, являясь высококвалифицированным столяром, должен еще владеть и токарным делом, отлично знать формовку, чтобы в итоге получилась нужная деталь, а не копия модели по ее внешней форме. Деталь ведь очень часто должна иметь внутреннюю полость, которой у модели нет. В этом и состоит сложность: как получить ее в отливке. Значит, нужно модельщику помимо модели знать, как изготовить стержневой ящик (так называется деревянная форма для изготовления вкладышей, тоже из формовочного состава, но особо обогащенного). В общем, кажется, ясно, что модельщик — профессия серьезная.

Ко мне в лагерную мастерскую заявился сам Юровский. Я увидел его впервые. Вошел он быстро и смело, в приподнятом настроении, этакий круглый, кражистый, свежий и ухоженный человек средних лет, восточного облика, в кожаном пальто и начищенных до глянца сапогах. Он разительно выделялся среди заключенных, согбанных и замордованных рабским трудом и недоеданием. К таким, как Юровский, вольготно устроившимся в качестве ведущих и направляющих движение к светлому будущему, заключенные относились с затаенной желчной ненавистью просто за их принадлежность к элитарной челяди. Припоминая, что по отношению к Юровскому во мне такому чувству места не нашлось. Он подал мне руку, говоря, что сомнений у него нет, что видит Твардовского, что наслышан предостаточно, и тут же, поглядывая на законченные мной работы, заметил:

— Да-а! Вы, Иван Трифонович, действительно человек дела! Кроме как отлично, ничего не скажу. — Он коснулся рукой зеркальной поверхности письменного стола, повторил: — Да-а! И — это? И — это? — Обращая внимание на другие изделия, он выражал похвалу и восхищение. — Ну вот какое дело, Иван Трифонович, извините, не буду любопытствовать о том, что к делу не относится. Что вы скажете на мое предложение быть модельщиком во вновь открываемом литейном цехе? Конечно, — добавил он, — в отдельном помещении, где никто вам не будет мешать и где вы будете иметь самое доброе от меня внимание.

Конечно, я был заинтересован иметь постоянное место работы и тем самым избавиться от возможных угроз оказаться на общих работах, от чего в лагере никто не застрахован. Я дал согласие.

Юровский повел меня в блок горячих цехов. Вошли в комнату рядом с формовочным плацем. Это была совершенно пустая комната примерно в двадцать квадратных метров с безобразно выложенными стенами из дикого камня — нештукатуренные, серые, с потеками и наплывами из цементного раствора. В окнах были железные решетки; пол, слава Богу, дощатый.

— Вот, Иван Трифонович, здесь будет ваше рабочее место. Начинайте обзаводиться всем, что нужно. Учить вас нечему, чем могу — помогу. Вообще соображайте сами, — закончил Юровский и с тем оставил меня.

Пришлось начинать и соображать. Мне уже случалось слышать, что в лагерях не принято спрашивать: «А где взять металл, инструмент?» Назвался мастером — соображай сам, а иначе ты вовсе никакой не мастер. Я хорошо понимал, что организовать и наладить рабочее место модельщика я должен сам, ни на кого не надеясь, и это для меня было приятной и кое в чем обнадеживающей задачей. Во-первых, по счастливой случайности здесь, на Чукотке, где многие не выдержали и одного года и гибли от холода, голода и жестокого обращения, мне предоставили работу в помещении и по специальности, где я мог чувствовать себя вне опасности, потому что претендентов на эту работу в Чукотлаге не оказалось. Во-вторых, исключалась зависимость от всякого рода повелителей. Здесь никто не мог подгонять, требовать, судить о затрате труда. И в-третьих, я мог рассчитывать, что смогу заниматься кое-чем для души, точнее, по призванию, и, может, кое-что зарабатывать. Все такое я предвидел, верил, что так оно и будет. И вот, воодушевленный мечтой, я приступил к оснащению рабочего места. У меня появился верстак. Потом занялся устройством, на котором можно было при помощи передачи от ножной педали и

кривошипа вытачивать некоторые мелкие детали. Конечно, это не то, что требовалось, но для начала и это был выход из положения. Несколько позже я подружился с эками Машаровым и Бондаревским и с их помощью соорудил добротный токарный станок по дереву — с электромотором, со шпинделем на шариковых подшипниках и планшайбой для крепления заготовок. В общем, дело пошло, и таких случаев, когда я не сумел бы изготовить требующуюся модель, не было.

Сведущий читатель поймет, какой сложности приходилось изготавливать модели, если назову, например, модель головки блока двигателя автомобиля, кожух маховика трактора «С-80», коробку скоростей, коллектор автомашины, различные шестерни, матрицы. Одной из самых сложных работ была модель головки блока американского двигателя системы «Болиндер». Ее пришлось выполнять по образцу, для чего потребовалось разрезать образец на строгальном станке «Шпинге», чтобы увидеть внутреннюю полость (водяную рубашку) и толщину тела самой отливки. Да, работу эту я выполнил, но все же сомневался, что выполнена она идеально: доступ для обзора внутренней полости был ограничен, но, на мое счастье, отлитая деталь после механической доработки оказалась вполне удачной. Наряд на эту работу нормировал главный инженер ЦАРМа Швырков и оценил ее в пятьсот рублей. Меня поздравляли как сотворившего чудо.

Как бы кто ни думал, читая эти невыведанные строки, остается напомнить, что сравнительно с общим положением заключенных, оказавшихся на Чукотке, мне многое не пришлось испытать. Я не хитрил, никого не просил и не искал легких и удобных мест, не совершил чего-либо бесчестного по отношению к кому бы то ни было. Мне, видимо, просто повезло. Я этим дорожил. И если это было везение, то не без причин: я любил труд и многое умел делать.

Итак, судьба была милостивой ко мне: заканчивался год моего пребывания в Чукотлаге, но мне не пришлось за это время испытать тяжесть «Черных камней». Я взял эти слова в кавычки, помня о книге Анатолия Жигулина, которому довелось в качестве «врага народа» работать на рудниках. Но на Чукотке тоже были черные камни (без кавычек). Ради их добычи и был создан в 1946 году Чукотлаг на берегу залива Креста. Само месторождение тяжелого черного минерала было за Полярным кругом, в 280 километрах на северо-запад от залива. Поэтому от лагеря и от поселка Эгвекинот было начато строительство автотрассы в глубь материка, к месторождению под названием Иультин. Как жили, как начинали строить первое жилье — палатки, землянки, домики для начальства в условиях наступившей чукотской зимы, — можно только содрогаться от рассказов тех, кто остался в живых. Многие нашли вечный покой на взгорке второго километра. Это не было кладбищем в обычном понятии — могилы, надгробия. Умерших заключенных сваливали в загады вырытую бульдозером траншею, как павших животных. Сколько их было, погибших от нечеловеческих условий жизни, никто точно сказать не мог. Но называли, что за первый год пребывания на Чукотке от тысячи двухсот эков осталось немногим более семисот. Вот так это было, было.

Многое о Чукотстрое и Чукотлаге мне стало более понятным с того момента, как я был переведен модельщиком в бригаду специалистов, где бригадиром был эк инженер-конструктор Ханжиев.

Я сдержал слово, данное начальнику ОЛП: в его кабинете стояли моей работы письменный стол, книжные полки, вешалка, стулья и уникальный письменный прибор (тогда еще не было шариковых ручек — писали чернилами и ручкой с пером), и он отпустил меня с Богом, что было немаловажно на всякий случай. Бригада Ханжиева — это всех профилей металлисты, а также механики, сменные мастера, электрики, вулканизаторы, ремонтники, техники, а теперь еще и все, кто переведен для работы в литейном цеху — формовщики, вагранщик, стерженщик и я — модельщик. Здесь была совсем иная атмосфера взаимоотношений, поскольку каждый заключенный знал свое место, старался вести себя достойно, показать себя не случайным в бригаде специалистов. Нам же, вновь вошедшим в эту бригаду, предстояло запускать и осваивать литейный цех, то есть начинать с нуля и показать, чего каждый из нас стоит. Одно дело прийти на готовое, где порой не каждый даже знает, как все было организовано и налажено; и совсем другое, когда ты все должен начать сам.

Здание литейного цеха было построено, но цех не был подготовлен к тому, чтобы производить литье. Это было сложное из местного камня-известняка типовое здание по проекту на одну вагранку объемом 0,6 метра по внутреннему диаметру. Металлический корпус вагранки стоял без футеровки. Нужно было завозить огнеупорный кирпич, глину, кокс, формовочный песок, шихту (чугунный лом), пиломатериалы для изготовления опок и моделей, всякие необходимые мелочи для приготовления формовочных смесей (декстрин, растительное масло и так далее). При встрече с Юровским и его заместителем из эков инженером-металлургом Неядомским сразу же выяснилось, что о многом необходимом для литейного цеха эти руководители имели весьма отдаленное представление и уповали на то, что им подскажут подчиненные. В данном случае эки рабочих профессий. И, пожалуй, вряд ли нужно удивляться, что инженер-металлург, до ареста руководивший крупным металлургическим заводом, не знал, как приготавливается формовочная смесь, какие

связующие нужно добавить к песку и каким должен быть песок для этих целей. Зато настоящему формовщику все это до тонкости известно, и он даже рад случаю оказать помощь в подборе этих материалов, что и сделал формовщик Зенец Макар Анисимович, заключенный из сибирского города Рубцовска.

Вагранщик Алексей Алисов (а среди эков — Леха) уточнил, что для футеровки печи нужен шамотный кирпич, сырая шамотная глина «белюга» и порошок из обожженной шамотной глины. Ну, само собой, я также мог подсказать, что нужно из пиломатериалов.

Прежде чем была произведена первая плавка, которую очень ждали руководители Чукотстроя полковник Ленков и другие, прошло не менее месяца. Произвести футеровку, изыскать пригодный для формовки песок, завезти пиломатериалы для изготовления деревянных опок и моделей, обустроить модельное отделение (верстак, стеллажи), смонтировать вентилятор подачи воздуха в фурмы вагранки — работ набиралось достаточно; не говоря уж о том, что приготовление формовочной массы и сама формовка, а также изготовление моделей — все это нужно было сделать нашими руками. Но мы, эки, были довольны, что возле нас нет конвоя и что готовим себе рабочие места, как люди, знающие дело, как на производстве, где будем плавить металл, отливать нужные детали. Так и шло время: утром нас приводили в производственную зону, потом уводили на обед в лагерь, снова — на производство и вечером — «на отдых» опять в лагерь. К чему только не привыкает человек!

Бывали случаи, что, услышав мою фамилию, какой-нибудь эк постарается встать в шеренгу рядом, чтобы выяснить: «не довожусь ли?» — или: «Ух! Фамилия-то какая! С Теркиным небось встречался?» Особой беды я в этом не видел. Почему не пошутить, не посмеяться людям в неволе? А однажды тоже на такой «прогулке» — шли на работу — как-то не получилось от молчаться, и на очередное «правда ли...?» с досадой ответил: «У тебя только один вопрос или будут еще?» — «Только... да, один!» — «Правда!» Мне претиво вступать в контакт с людьми, которые начинали с этого: правда ли, что я брат известного поэта? Я считал, что у таких людей ничего нет, кроме желания удовлетворить свое любопытство, лично узнать от первоисточника. Если им удастся получить ответ на первый вопрос, последует второй, потом — третий, и если не оборвать, то цепочка вопросов будет тянуться все дальше. И я не раз вспомнил аптекаря Илью Парамоновича, который так и не спросил прямо — посчитал бестактным, а лишь стороной, намекнул вопросом: «Как вы думаете, почему начальник санотдела так хотел иметь сувенир вашей работы?» Я тогда понял, к чему был такой вопрос, но предпочел не коснуться имени брата — уклонился, как бы не разгадав намек.

Моей первой работой в качестве модельщика было изготовление модели кокиля для отливки тракторных катков, по которым движется тракторная гусеничная цепь (гусеница). Кокиль — толстенная чугунная форма для отливки чистых, точных, не требующих механической обработки деталей. Модель была выполнена мной по чертежу и принята с оценкой «хорошо». Мне пожал руку инженер-конструктор, и этого было достаточно, чтобы оправдать звание модельщика. И хотя я не сомневался в своих силах, но все же мне, заключенному, было по душе признание де-факто. В эти дни, когда было уже закончено футерование вагранки и вагранщик Алисов держал ее на прогреве, когда периодически включался вентилятор подачи воздуха в фурмы, цех наполнялся производственным гулом и особым, слегка курным запахом. Алисов предстал возле плавильной печи в позе умудренного опытом доктора, вслушивающегося в звуки невидимого процесса горения. Ничего наигранного в этом не было: он был здесь главным литейщиком, был озабочен, может, полностью забывая, что вечером поведут его под конвоем в зону лагеря. Но то — вечером. А днем... в таком серьезном деле он не заключенный, с ним беседует сам Швырков — главный инженер производственного участка, который обычно уничижительно недоступен и высокомерен. К тому же вызывающе щеголеват — опрятен, строен, даже красив и по-мужски наряден. И надо понять душу замордованного, выветренного жгучими ветрами эка, как много значило для него беглое «великодушие», минутное внимание столь приметного чина, если даже начальник блока горячих цехов Леонид Борисович Юровский из кожи лез и усердно, с рвением старался показать Швыркову все, что было подготовлено к пуску литейного цеха.

— Так можно, Леонид Борисович, рассчитывать, что завтра испытаем вагранку? Формы будут готовы, чтобы в случае чего не выливать металл на песок?

— Думаю, что можно, товарищ главный инженер, — отвечал Юровский.

— Гм... Думать не надо! Надо знать! Алисова сюда!

Торопливо подходит вагранщик Алисов:

— Слушаю вас, гражданин главный инженер!

— Ну-ка скажи, Алисов, будем завтра плавить металл?

— Я готов, гражданин главный инженер! Металл могу завтра дать в четыре часа!

— Вот это мне ясно! Молодец! Если все будет как сказал, получишь денежную премию.

Подходит к формовщику Макару Зенцу, который тоже, с учетом обстановки, стоя на коленках и будучи полностью поглощенным в работу, набивает опоку формовочной смесью.

— Как тебя, имя, отчество? — спрашивает формовщика.

Тот быстро вскакивает:

— Макар Анисимович Зенец!

— Макар, это что же? Макар попал туда, куда телят не гонял? — Швырков смеется и поглядывает на присутствующих, которые рады случаю — тоже прыскают от смеха. — Завтра, Макар, будет металл, формы будут?

— Формы, гражданин начальник, уже есть! Вот — раз! Два! Вот сейчас будет третья готова. Завтра еще подготовлю! За формами дело не станет.

Главный инженер Швырков уходит, пожелав добра до завтра.

Швырков был из тех колымских руководителей, которые хорошо знали, на каком языке разговаривать с тем или иным заключенным. Высшего технического образования он не имел, а потому вынужден был подходить к специалисту-заключенному с осторожностью. Если замечал, что можно какой-то вопрос поручить заключенному, то делал это подчеркнуто, мол, доверяет и надеется на успех. В таких случаях он мог проявить и известную долю великодушия, если это могло пойти в его пользу. Возле себя он всегда держал таких заключенных, как инженер-зэк Ханжиев, бригадир специалистов, через которого узнавал, кто чего стоит.

Поселок Эгвекинот в те годы был главной ремонтной базой всех видов транспортных средств и строительной техники. Здесь были Центральные авторемонтные мастерские (ЦАРМ), автобаза, склады всевозможных материалов. И здесь же, на месте, находились высококвалифицированные специалисты — рядом был ОЛП № 1. Я уже говорил, что работать в мастерских по специальности — шанс выжить, чего не было на общих работах где-нибудь на трассе, под открытым небом, и в дождь, и в метель; там свой закон: ты умри сегодня, а я — завтра. Отсюда и вывод: если удалось попасть на работу по специальности в мастерскую, в цех, то держатся за такое место нужно обеими руками и вкладывать все свои силы и умение, потому как иных средств, чтобы выжить, у тебя нет. Это и есть доказательство того, что и раба можно заставить работать на пределе его возможностей.

Литейный цех на Чукотке был крайне необходим прежде всего потому, что этот участок отдален от центра на тысячи и тысячи километров, а климатические условия ставили особые препятствия и задачи. Случалось: пурга, снежная стихия, автотранспорт парализован, снабжение отдаленных стройучастков прекратилось, где-то ждут продовольствия, но доставить его нет возможности. Единственное, что в таких случаях может помочь, — это пробивать снежные завалы тракторами и бульдозерами. Но эти машины, как назло, из-за поломки каких-то несложных деталей (а запасных не оказалось на складах) стоят недвижимыми. И чего бы проще — отлить эти детали на месте, в собственном литейном цехе. Да нет, цеха такого не было. Поэтому пуск литейного цеха был первоочередной задачей. Этого дня ждали, надеялись на эков: они все могут.

Леха Алисов, вагранщик, помнил и беспокоился, что слово он дал самому главному инженеру Швыркову. И день этот наступил, и слово свое Алисов, конечно же, хотел сдержать: к 16.00 дать плавку. По производственным участкам уже разошлась весть, что вагранка задута и металл будет дан к 16.00. В 15 часов из ЦАРМа пришли Ханжиев, сменный мастер Александр Андреевич Машаров, кто-то третий из слесарей — это тоже эки, но из тех, кто на особом положении — ответственные за ремонт. Поинтересовались: что заформовано? Зенец, формовщик, ответил: кокиль, в котором будут отливаться тракторные катки. Сменный мастер Машаров отозвался одобрительно, он знал, что кокильное литье обеспечивает самоцементацию рабочей поверхности, это очень важно для тракторного катка. Он же заинтересовался моделью предстоящей отливки, что, как я понял, было предлогом познакомиться с модельщиком. Вместе с ним мы вышли в модельное отделение, которое на тот момент еще выглядело очень непривлекательно, примитивно и бедно. Это я понимал и сам, но моя работа только начиналась, и мне еще некогда было толком обосноваться. Начало знакомств с Машаровым, однако, было положено. Александр Андреевич пообещал помочь оборудовать мастерскую. Мой примитивный токарный станок с передачей от ножной педали он тут же посоветовал заменить:

— Я набросаю эскизы элементов — узловых частей, которые нужно будет получить в литье: тумбу прежде всего, где будет электромотор и передняя бабка...

Тут мы услышали голос Швыркова: «Начальство прибыло» — и поспешили посмотреть, что происходит в цехе, на плацу у вагранки.

Момент как раз был самый интересный: ковш грели под форсункой, в цехе было человек до тридцати желавших понаблюдать, как будет получен жидкий металл. Из начальства — Швырков, Графов, главный механик Чукотстроя. Люди тихо обменивались суждениями, особо не приближаясь к вагранке. И только Швырков подошел было к ней, но Алисов крикнул: «Макар! Ковш под желоб!» — и жестом дал понять Швыркову, что так близко стоять нельзя. Швырков попятился. Тем временем Макар

Зенец со своим напарником Володей Степко поднесли на рогаче ковш под желоб. Алисов начал открывать острым ломиком летку. Все притихли. И вот мелькнула окутанная светящимся газом струйка металла и тут же весомой звучащей лентой пробежала прямо в желоб. Тишина огласилась вскриками: «Есть, есть металл! Ура! Свой, чукотский!» Захлопали в ладоши.

Металла в вагранке было больше, чем можно было принять в ковш для разливки в ручную при помощи рогача — только килограммов 80 — 90, не более. Пришлось перекрывать струю, что Алисов и сделал специальным инструментом, на конец которого насаживается глиняная пробка. Макар с Володей, взявшись за рукоятки рогача, осторожно приподняли ковш и медленно понесли к формам. Это тоже очень непростое дело — держать на руках такой груз; ковш с жидким металлом надо уметь наклонить над литником, чтобы струя точно попала в отверстие формы, не прервалась, не захлестнулась. Тут тоже нужен опыт, практика, чтобы жидкий металл стал отличной деталью. Но Макар, казалось, затаив само дыхание, удерживал ровную струю, пока заполнялась форма и металл показался в выпоре⁴. Только после этого он вздохнул, затем перешел к следующей форме.

Произошло это, назову так — событие, в октябре 1948 года.

Почему я так подробно пишу об этом? Только потому, что считал счастьем, что оказался нужен как модельщик, что не был одинок, имел хороших друзей. После отбытия срока на Чукотке я и по сей день сохранил с некоторыми из них самые добрые, дружеские отношения. Хочу сказать еще несколько слов об этих людях.

Александр Андреевич Машаров. Родился в 1925 году. Инженер-конструктор. Ныне живет и здравствует в Мариуполе. Родом из Абакана. Был осужден по статье 58-10 в 1942 году 22 апреля, когда учился на первом курсе Абаканского пединститута.

Иван Сидорович Бондаревский. По возрасту — мой сверстник, 1914 года рождения. Украинец, родом из селения Дергачи, что в пригороде Харькова. Был осужден, как и Машаров, по статье 58-10 к семи годам. Участник Великой Отечественной, награжден несколькими орденами и медалями. Реабилитирован в 1956 году.

Этих двух зэков судьба свела на Чукотке. Здесь они стали неразлучными друзьями. Машаров, прежде чем оказаться на этой холодной земле, уже около пяти лет был в заключении и прошел несколько тюрем и лагерей: в Абакане, Минусинске, Красноярске и еще в каких-то других местах, следуя все дальше на восток. За это время он порядком освоил лагерную стихию. Машаров имел пристрастное отношение к металлообработке, в заключении был и сварщиком, и токарем, и фрезеровщиком, хорошо изучил металлообрабатывающие станки. Его как специалиста этапировали на Чукотку осенью 1946 года. Как рассказывал сам Машаров, ему удалось попасть на глаза представителю Чукотстроя Степану Ивановичу Графову, который подбирал специалистов из заключенных пересыльного лагеря в Находке. Задавались профессиональные вопросы, и Машаров показал себя компетентным — ответил, как говорят, технически грамотно. Этому нельзя не верить, так как действительно Машаров, несмотря на всякого рода трудности, не расставался с мечтой стать настоящим инженером-конструктором и доказал это делом после освобождения: стал лауреатом Государственной премии, работая на Мариупольском металлургическом заводе.

Но вернемся к дням пребывания в Чукотлаге.

После той первой встречи и беглого знакомства в день пуска литейного цеха Машаров стал бывать у меня в мастерской каждый божий день, а иногда и два раза на день. Как-то так получалось, что его посещения не только не были неприятными, но совсем наоборот — они приносили как бы просветленное настроение, помогали обрести веру в будущее, в то, что может еще быть и радость и место в свободном обществе.

Здесь же я должен пояснить, что так вот, находясь на работе, свободно и ни у кого не спрашиваясь пойти куда-то в другой цех, как мог это делать Машаров, позволительно было немногим, но все же в производственных мастерских заключенные находились без охраны и свободно ходили по территории. Но таких было едва ли пять процентов от общего числа заключенных, да и не все специалисты были удостоены доверия — кого-то администрация совсем не замечала, к кому-то благоволила.

С Иваном Сидоровичем Бондаревским, другом Машарова, я познакомился несколько позже, но он еще больше, чем Машаров, стал близок для меня, когда я услышал подробности о чрезвычайно тяжелых днях его жизни. Его обвинили и осудили по сфабрикованному компрометациям. Попал он в жесточайшие условия и был доведен до крайней степени дистрофии — жизнь была на самой грани, когда уже не оставалось надежды. Но случилось так, что кроме него никто не знал и не умел отрегулировать какие-то пришедшие на Чукотку весы. Вот тогда-то и нашли его, единственного, кто знал, как смонтировать и отрегулировать. Но он был так слаб, что вынуждены были призвать врачей, чтобы любыми средствами поставить его на

⁴ Выпор — второе отверстие в форме для выхода газа и свидетельства, что форма заполнена металлом.

ноги. Далось это не сразу — организм не принимал пищу, больной терял сознание, дышал на инъекциях, но в конечном итоге все же поправился. Вот тогда и началась погода ясная для Ивана Сидоровича. Весы собраны, отрегулированы и испытаны. Его работе, «хощь — не хощь», была дана самая высокая оценка.

— Ну хорошо, — сказали в управлении, — а кроме весов, что может делать Бондаревский? Может, его направить к Графову в ЦАРМ?

— Могу выполнять любые слесарные работы, — ответил Иван Сидорович.

Вот так он и оказался в ЦАРМе, где мастером смены был зэк Машаров.

И кстати, несколько слов о начальнике ЦАРМа, Степане Ивановиче Графове. По огромной Колыме он прошел в должности начальника механических мастерских, которые были во многих колымских лагерях, — конечно, как член коммунистической партии. Это был человек очень маленького роста, шустрый и остроумный, часто на «подогреве», свыкшийся с лагерной системой, где всегда имелся выбор нужных ему работников. Жестоким его никак нельзя было назвать, хороших специалистов он уважал и гордым не был. Ну, пожалуй, к этому нечего и добавив.

Так вот этот Графов обратился к зэку Бондаревскому:

— А коническую шестерню (по-рабочему хвостовик) возьмешься изготовить вручную?

— Нет, не возьмусь, — ответил Бондаревский.

— Не сможешь? — посмеялся Графов.

— Не хочу переходить дорогу тем, кто готов взяться за эту работу. А вот если таких не найдется — дело другое.

Нужда в этих деталях была острой. Из-за них стояли автомашины. И что-то было объявлено наподобие конкурса: не окажется ли среди заключенных такого слесаря, который смоет бы изготовить коническую шестерню?

Такой человек нашелся — бригадир плотницкой бригады Писарев Яков Григорьевич из Новокузнецка. Этого человека я хорошо знал. Он действительно исполнил эту работу, но затратил сорок два часа, то есть почти пять рабочих дней (рабочий день зэка был девять часов).

Бондаревский знал об этом и предложил изготавливать конические шестерни на фрезерном станке с затратой времени не сорок два, а только два часа. Это явилось неслышанным новшеством и принесло ему абсолютное признание: он стал на Чукотке своего рода знаменитым человеком. В дальнейшем он показал себя и гравировщиком, и мастером кисти, и даже музыкантом — играл на трубе.

История с конической шестерней — еще одно подтверждение, что администрацию Чукотстроя мало заботили всякого рода технические вопросы, среди зэков было немало любящих мастеров, и можно было просто поручить что-либо заключенным, и все будет сделано наилучшим образом. Начальник блока горячих цехов Юровский похаживал, посматривал, посиживал в конторке, старался не мешать рабочим, не совать нос туда, где не был компетентен, относился к зэкам достаточно мягко и добропорядочно. Был у него и помощник, о нем я уже упоминал — Невядомский, по его словам, осужденный за работу во время оккупации не то в Запорожье, не то в Днепрпетровске: по принуждению немцев восстанавливал какой-то завод в качестве инженера-металлурга. За это и был осужден по статье 58-1а на десять лет. Здесь, в маленьком цехе, он не находил удовлетворения; искал новое дело, и был переведен на строительство горнообогатительной фабрики; хотел заслужить работой правительственную награду, но, кажется, это осталось лишь мечтой.

В конце 1948 года для многих заключенных пришла очень приятная весть: сверху было дано указание ввести зачеты за рабочие дни. Так, при выполнении дневной нормы до 151 процента засчитывалось два или даже три дня, в зависимости от условий и вредности работы. Сюда относились шоферы, бульдозеристы, трактористы, кузнецы и ряд других профессий. Литейщики и модельщики тоже проходили по категории «один день за три». В общем, радость была велика. Только подумать! Дана возможность отбыть десять лет за три-четыре года! Люди ликовали, обнимались, дух возродился, жизнь озарилась. Радовался и я. И тут-то уже не удержался — отправил письмо жене в Нижний Тагил, своей великомученице Марии Васильевне. Из следственных материалов я знал, что она все еще жила одна с больным нашим первенцем Валерой.

В это же время, на исходе 1948 года, помимо введения зачетов, в лагерных зонах были открыты ларьки, где заключенный мог купить сахар, хлеб, махорку и кое-что другое. Заключенные стали кое-что зарабатывать и получать на руки, были учреждены лицевые счета, на которые отчислялась часть заработка для дня освобождения. В общем, это было нечто новое в оплате труда зэков. Если на таком счету накапливалась известная сумма, то зэк мог снять некую часть по разрешению начальства...

Был такой случай. Ко мне в мастерскую пришел интеллигентный человек из управления Чукотстроя. Он назвал меня не по имени, а просто молодым человеком, но мне было полных тридцать пять, и я ему об этом сказал.

— Простите, пожалуйста, я знаю, вы — Твардовский. Но я не хотел называть по фамилии, а выглядите вы именно молодым человеком, — попытался он объяснить.

— Кто вы и что вас привело ко мне? — спросил я.

— Я — экономист. Моя фамилия Ширман. У меня к вам просьба.

Он сказал, что хотел бы иметь сувенир моей работы для дамы-именинницы. И чтобы, если это возможно, вещьца была из мамонтовой кости. Согласен уплатить сколько я назову. Главное, чтобы успеть к торжественному дню. Я согласился. Таким образом я стал прирабатывать. Начальнику производства это было известно, он не запрещал. К назначенному дню я изготовил асимметричной формы пудреницу с фигуркой северного оленя. Мой заказчик пришел в точно назначенный час. Я предупредил, что, если вещь не понравится, в обиде не буду и оставляю ее у себя. Заказчик осмотрел пудреницу и воскликнул:

— Я восхищен! Великолепно! Примите мою признательность.

О том, какие цены я назначал моим заказчикам за выполненные работы, не суть важно. Главное, я всегда успевал изготавливать модели, из-за меня формовка и литье не задерживались, нормы выработки, само собой, выполнялись не менее 151 процента, то есть один день засчитывался за три дня. О моих как бы не совсем законных работах по частным просьбам и заказам я упоминаю с долей смущения, вроде опасаясь суждений читателя: мол, хапуга, и в заключение нашел источник дохода. Ну что ж? Каждый волен думать по-своему, не буду доказывать, что это не так. Как бы кому ни казалось, но за работу не грешно получить и оплату. Тем более если она мастерски исполнена заключенным. К тому же резьба по кости не каждому с руки.

Слухи ширились, и я не успевал выполнять просьбы на изготовление сувениров. Я делал из мамонтовой кости и бивней моржа браслеты для наручных часов, различные статуэтки с резным изображением северных сюжетов, скульптурную резьбу на моржовых бивнях, ажурные кольца, пудреницы и миниатюрные шкатулки, медальоны и брелоки, футляры прорезные для наручных часов, стетоскопы и трубки курительные, пуговицы для женских пальто, пряжки к поясным ремням, ручки для письма, чернильные приборы, шпильки для волос и так далее. Все это делалось, повторяю, в свободное от основной работы время с разрешения Юровского, который делал даже заявки на выходные, чтобы я мог выйти из зоны. Не платили мне за работу только большие начальники (начальник автобазы Тетерюк, начальник райотдела МГБ Корсаков, начальник Чукотлага майор Стеценко, главный инженер Швырков). Непосредственный мой начальник Юровский, в отличие от других, бесплатно мой сувенир не принял, хотя я был намерен не брать с него ни копейки.

Первое письмо от жены я получил осенью 1948 года. Она сообщала, что наша дочурка Тамара умерла в 1943 году в возрасте двух лет. В детских яслях была помещена в изолятор по подозрению на инфекцию. В неотапливаемом изоляторе переохладилась, началась пневмония, и это привело ребенка к гибели. О сыне Валерии (в 1948 году ему было девять лет) писала, что хотя он и ходит в школу, но продолжает оставаться больным и надежды на выздоровление нет — водянка мозга неизлечима. Мое письмо, сложенное треугольником и на ходу поезда с экарами выброшенное на какой-то станции в Читинской области в 1947 году, она получила, поняла, что я осужден. Но как бы ни было ей тяжело, писала, что все равно благодарит Бога, что я еще живой. Выражала готовность ждать сколько бы ни было долго. В этом же письме сообщала о встрече с Александром Трифоновичем во время его пребывания в 1948 году в Нижнем Тагиле (кажется, в августе). До этого она с ним не встречалась, но поскольку ему было известно еще до войны, что в Нижнем Тагиле жил и работал брат Иван с женой и поскольку она обращалась к нему с просьбой во время войны и он откликнулся, то Мария Васильевна решила встретиться с ним. Нашла она его в гостинице «Северный Урал». Он имел с ней краткую беседу, но именно в том духе, чтобы только не выглядеть полным невежей. Живого интереса к встрече не выразил, о брате Иване — уклончиво. Сказал, что «давно с братьями не живу, Ивана мало знаю...» и так далее. Встреча произошла в коридоре гостиницы, в номер не пригласил. И было ясно, что хотел поскорее откланяться. Об этом и вспоминать тяжело. Александр Трифонович в те годы еще не осознавал суть сталинской диктатуры, имя Сталина для него было священным, и это он подтвердил в 1949 году «Словом советских писателей», в котором он был соавтором, посвященным вождю в день его семидесятилетия. Это «Слово» Александр читал в присутствии Сталина на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР 21 декабря 1949 года.

Жена писала мне часто, иногда даже не дожидаясь моего ответа, всегда нежно и сострадательно, не пытаясь обязать меня ответить: «За что? На сколько лет?», полагая, что мне трудно будет что-либо скрывать, недоговаривать, а может, этим она давала понять, что будет ждать сколько угодно. И дождалась. К моему великому огорчению, сын Валера меня не дождался, умер в 1951 году. Вот такая судьба моя.

Тепло, по-братски писал мне на Чукотку брат Константин. После восьми лет полной неизвестности Мария Васильевна сообщила ему мой адрес, и я получил от него письмо. Были в том письме такие строки: «Мне все, Ваня, понятно, кроме срока. Прошу поверить, что я никогда не посмею упрекнуть тебя. Войну я прошел полностью до самого Берлина. Был тяжело ранен, на излечения находился больше года в городе Камень-на-Оби. Имею награды: Славу и три общих медали...» Дальше сообщал, что имеет сыночка Василечка, «хотя и не своего, но нашей породы». Жил Константин

тогда, в конце сороковых, на Кубани в станице Прочноокопской, а в пятидесятом переехал на родину в Смоленскую область. Там он стал коммунистом и свое обещание «никогда не посмею упрекнуть» запомнял и... упрекнул. Вот так оно в нашей жизни...

Время не стояло. Дни, месяцы, годы проходили порой быстро — увлекался работой. В конце 1949-го освободился один из моих близких друзей Саша Машаров. Уехать не мог: навигация закончилась. Пришлось Саше зимовать в том же поселке Эгвекинот. Оформился по вольному найму на ту же должность — сменным мастером в механический цех. Как и прежде, он продолжал бывать у меня в модельной, засиживался вечерами, с грустью вспоминал об отце, который тоже тянул срок где-то в Соликамском районе. Одно-единственное письмо отца он получил за эти годы. Раз два показывал то письмо мне, и я на всю жизнь запомнил слова: «Дорогой сын! — писал Машаров-отец. — Волей случая я получил твое письмо. Горька наша судьба: вряд ли доведется нам увидеться. Ждет меня маленький дом и большой покой...»

Через сорок лет бывший зэк Саша Машаров приехал ко мне на Смоленщину, на мою малую родину, чтобы присутствовать на юбилейных торжествах, посвященных 80-летию Александра Трифоновича Твардовского, посмотреть воссозданный отчий хутор Загорье — мемориальный музей. Он приехал из Мариуполя на собственном «Москвиче» 16 июня 1990 года. Сейчас ему 67 лет. Год назад реабилитирован. Дал почитать свои воспоминания, пока не опубликованные. Вот что я посмел выписать о его отце: «А отец, хоть из рязанских лапотников, а умудрился закончить Томский университет. Перед арестом в 1941 году он преподавал физику и математику в Абаканском пединституте. Его посадили уже второй раз. Первый раз — когда началась охота на наших родных ведьм. Жгли книги в библиотеках Минусинска. Книжки горят плохо. Я тайком по ночам натакал домой сочинения Джека Лондона, Э. Сетона-Томпсона и много других. Когда же донесли на отца и был обыск, то нашли какого-то неведомого в то время кулацкого «перерожденца» Чайнова. И было это перед убийством Кирова, вот отца и замели».

В июле 1950 года мы провожали на свободу двадцатисемилетнего, полного надежд и желаний получить образование Сашу Машарова. Как, собственно, провожали? Следили глазами, как отходил с ним пароход от пирса порта Эгвекинот, отдалялся к горизонту неведомых прибрежных очертаний. Потом ждали обещанных писем, и они пришли из Минусинска. Писал Саша о том, что с великим трудом нашел работу, где не придирались к документам. Письменная связь с ним удерживалась года полтора-два. Потом он принял решение во что бы то ни стало получить высшее техническое образование — уехал в Москву и смог поступить на заочное отделение металлургического факультета. И тут я его потерял на сорок лет. Теперь, когда он снова связался со мной, свое молчание объяснял тем, что вынужден был молчать о Чукотке, оберегал жену и детей от всех возможных осложнений, того требовала брежневская система. Доля правды в этом, конечно, есть...

С Иваном Бондаревским я расстался летом 1951 года. Освободился он, кажется, в феврале, но выехать, естественно, в это время не мог. Ждал первого парохода, работал на прежнем месте по вольному найму, успел порядочно заработать и благополучно выехал к своей семье на Харьковщину. Мы по сей день переписываемся, два раза встречались. Он остался по-настоящему честным, человеком долга и товарищеской памяти.

Относительно спокойная жизнь в Чукотлаге была нарушена жеотокими батальонами между заключенными в декабре 1951 года. Началось с того, что прибыл этап, в основном состоявший из уголовников. Они, называвшие себя ворами в законе, вступили в яростную перебранку с теми своими «единоверцами», которые пробыли на Чукотке уже не один год. Карантинная зона, куда поместили вновь прибывших, находилась не где-то на отшибе, а здесь же, впритык к старой, отделена была лишь проволочным ограждением. По-доброму, сторонам оставалось пожать друг другу руки. Но такого не произошло. Возникла неопишуемая вражда, сопровождавшаяся грозными обвинениями вновь прибывших в адрес лагерных старожилов. Речь, конечно, шла о тех, кто, захватив сферу влияния в лагере, нарушил обет неписаных воровских законов, встал на путь услужения порабощенным, и так далее и так далее. Измышления были угрожающими, слышать их было жутко. Была объявлена беспощадная война на полное уничтожение противника и захват сферы жизненных интересов. Претендующие на исполнение расправы поочередно вскакивали на какой-то ларь, оставшийся от строителей, и с возвышения истощно изливали свою ненависть и злобу к противнику:

— Я тебя, сука, тварь, позорник, гумозник, — орал в экстазе «правдоискатель», — заставлю ползать и плакать, молиться и каяться! Буду резать твою паскудную кожу лентами! Буду медленно снимать с тебя волосы и развешивать вот на эту проволоку! Чтобы ты, прощаясь с жизнью, успел увидеть сам, что я буду творить из твоего подлючего тела!

Ораторы адресовались к конкретным именам, называли клички, приводили доказательства вины, место прошлых деяний с указанием дат, и создавалось впечатление, что названные могли уповать только на защиту начальства. Но это не было

чем-то важным для начальства. «Да режьтесь вы все до одного, туда вам и дорога!» — так, нетрудно было представить, оно на все это реагировало.

Угрозы продолжались до конца карантина. Затем новые бригады вышли на строительные объекты — возводить из дикого камня автогаражи: профилактики, среднего ремонта, осмотра и так далее — три корпуса и котельная. Этих строителей не так просто было заставить работать. Их представители сразу же стали проникать и в механический цех, и в литейный, и в кузню: им были нужны наждаки, где можно было бы выточить ножи и пики. И это им удалось — их боялись. В отдельных случаях применялись принуждения: подходили к кузнецу и предлагали отковать нож. В литейном цехе запросто вытачивали на наждаке кинжалы. Бывали и у меня в модельной. Честно говоря, они наводили ужас и на начальство.

Чем все это закончилось? Было совершено несколько убийств. В секцию бригады Ханжиева, в которой жил и я, часов в одиннадцать вечера, когда все уже улеглись спать, но одна лампочка, как всегда, оставалась включенной, вбежал уголовник с ножом в руке и громко приказал: «Всем укрыться одеялами с головой! А кто чувствует себя виновным, тому укрываться не надо». Все покорно подчинились этому требованию, но было страшно. Потом было сказано: «Пойдем!» Кого увел с собой этот преступник, никто не видел. Все лежали на своих местах недвижимо, без слов. В соседней секции той ночью задушили уведенного мокрыми скрученными полотенцами, сшитыми в одно. Узнали об этом утром. Преступников было четыре или пять, но на вахту с повинной явился только один, да и то неизвестно, добровольно он это сделал или был послан под угрозой. Потом был убит бригадир Гришин. На него напали ночью на спящего, разрубили топором голову. Потом еще и еще убивали на производстве. Затем после обеденного перерыва блатные под угрозой расправы не позволили бригадам выйти из зоны на работу. Об этом было доложено начальнику Чукотлага майору Стеценко: ОЛП № 1 саботирует выход на работу. Блатные ставили условие: освободить из барака усиленного режима (БУРа) их лидеров, посаженных за совершенные преступления.

На место прибыл Стеценко. Он потребовал немедленно выйти на работу, но в ответ услышал непристойную ругань и грязные выкрики. Обстановка накалялась: несколько сот голосов гудели и требовали освободить главарей. Снова и снова майор требовал подчиниться, но его не слушали. Здесь же стояла охрана с автоматами, и майор дал приказ: «Огонь по врагам народа!» И автоматы застрочили по сгрудившейся толпе заключенных. Было убито девяносто три человека, много раненых. Это событие само по себе было неслыханное, ужасное, потрясло всех жителей поселка Эгвекино. Ведь огонь был открыт по людям, которые находились за проволокой, и потому уже расстрел нельзя было оправдать. Приказ майора Стеценко о расстреле без суда и следствия ничем не отличался от немецко-фашистских расстрелов пленных. Тем более что люди согнанные были в толпу насильственно, под угрозой расправы уголовников. Погибли многие ни в чем не виновные.

Лично мне волей судьбы не пришлось быть в толпе попавших под расстрел. В тот день я не пошел на обед в зону, хотя обычно всегда ходил, но вот таков мой рок — сердце предвещало беду.

Трупы были перенесены в барачное здание старой больницы, где лежали до марта 1952 года не захороненными. Были комиссии, разбирательства, но об этом нигде ничего не было рассказано. Хоронили убитых в марте. В ящики из горбылей заключенные клали по четыре трупа и волокли их на второй километр, где была заблаговременно вырыта траншея. В нее и опускали погибших. Участвовал в захоронении и я. Лагерное начальство было заменено, в том числе и майор, его куда-то перевели в другое место.

В апреле 1952 года я первый раз посмел зайти в УРЧ (учетно-распределительную часть) Чукотлага, чтобы узнать, как идет сокращение моего срока согласно зачетам рабочих дней. Это учреждение находилось в зоне ОЛП № 1, тоже в барачном здании. В нем было до удивления уютно и чисто. За столом сидела очень милой внешности молодая женщина в форме МГБ, которую я никогда ранее не видел. Обошлась она со мной внимательно и добродушно, что казалось чем-то необычным. Ведь в лагере заключенный просто не встречает подобного. Он привык к словам «ты — зэк», что почти равно «ты — никто». А тут я услышал:

— Назовите, пожалуйста, свою фамилию.

Я назвал с добавлением имени и отчества.

— Ой! Я рада вас видеть, Иван Трифонович! — Она нашла мой формуляр и сказала: — Ну вот, ваш срок окончится двадцать седьмого мая — чуть больше месяца осталось.

Я поблагодарил ее и хотел уже уйти, но она, смущаясь, добавила:

— Извините меня, Иван Трифонович, мне очень неудобно, но я хочу просить вас... Будьте так добры, сделайте мне браслет для часов. И, пожалуйста, дайте слово, что зайдете к нам в день отъезда. Будете нашим гостем, муж будет очень рад вас видеть!

Да, дорогой читатель, не усомнитесь, я пишу истинную правду.

Очень сожалелю, что не запомнил и не могу назвать многие имена тех, с кем случалось встречаться, иметь откровенные беседы, от кого слышал добрые человеческие слова.

Накануне дня освобождения в мастерскую ко мне пришел новый начальник Чукотлага Григорьев, кажется, майор. Он сердечно поздравил меня с освобождением; я его видел впервые, но назвал он меня уважительно, по имени-отчеству.

Днем моего освобождения из Чукотлага было действительно уважительно, 27 мая 1952 года. В лагере я пробыл 5 лет 4 месяца 20 дней.

Прежде чем выйти за ворота, нужно было одеться в гражданское платье. Где его взять? Слышал, что в магазинах поселка ничего подходящего нет, да и не хотелось появляться на людях в лагерной шкуре. Подсказал какой-то шестерка, что все можно найти у «дяди Саши». Я спросил: «Не обманет?» — «Что ты! Разве позволит вор в законе обмануть? Идем!» Вот ведь как было, четыре года провел на Чукотке, но никаких «дядей» не знал, мне они были совсем неведомы. Я согласился пойти.

В глубине барака, в углу, была отгорожена одеялами на проволоке кабинка. Шестерка боязливо спросил: «Можно, дядя Саша, по делу?» Послышался голос: «Кто?» — «Это я, дядя Саша, Морж!»

Через минуту мне было позволено выбрать то, что меня могло устроить. Надетые на плечики висели над второй заправленной койкой десятка полтора костюмов и пиджаков. Я, конечно, понимал, что все это было когда-то с кого-то снято так же, как сняли с меня в Иркутской пересылке в 1947 году, может, и выиграно. Но для меня в тот момент этой роли не играло. Я подобрал по себе хорошо выглаженные темные брюки и светлый цветной пиджак, спросил о цене. «Шестьсот рэ», — был ответ. Я отсчитал деньги, подал и сказал: «Проверьте, пожалуйста!» В тот момент шестерка толкнул меня рукой и шикнул: «Ты что! Вор никогда не проверяет». «Дядя» небрежно без слов сунул в нагрудный карман деньги и тут же принял на второй вздерошенной койке горизонтальное положение.

Не буду описывать, как искал сорочку, туфли, кепку. Все это я нашел, хотя и не без хлопот. Пришел час, и я навсегда покидал «исправительное» заведение. Сразу же — на почту, послал телеграмму жене.

Но моя великая радость сменилась непредвиденной печалью. При получении справки об освобождении мне было объявлено, что есть такое указание — освобождающиеся по зачетам обязаны половину сокращенного срока отработать в Дальстрое по вольному найму. Боже мой! Что за напасть?! За что? Почему об этом не сказали сразу, когда объявляли о применении зачетов? Было сверхдосадно. Только послал телеграмму жене, и вот теперь ее снова надо терзать добавкой ожидания. Нет, не описать той горечи, с которой я оформлялся в отделе кадров в ту же мастерскую, которую успел только что сдать своему ученику. И никаким образом ничего нельзя было изменить.

Пришлось смириться. Договорился с молодой четой, приехавшей из Нижнего Новгорода, что займу в их квартире угол. Пообещал платить тысячу рублей в месяц, чтобы и столоваться вместе с ними. Спасибо им из моего сегодня! Хорошие были люди Витенька и Наденька Овчинниковы.

Кажется, 20 ноября встретился мне начальник отдела кадров управления Чукотстроя Михайленко. Я его знал с того дня, как он объявлял мне строгий выговор «за грубость» при оформлении на работу по вольному найму. Был такой случай. Михайленко остановил меня:

— Твардовский! Слушай, пожалуйста. Есть возможность уехать тебе, но нужно срочно отгравировать рельефом так, как это ты делаешь, один моржовый клык. Только и всего. Пароход уходит 24 — 25 ноября, ждет ледекола. Делай хоть ночью, хоть днем и тащи эту вещь ко мне на квартиру.

Ну что тут мне было отвечать? Конечно, я бросил все, схватил у него свежий клык, как назло — редчайшей длины, и помчался к себе в мастерскую. Ночь напролет работал без устали, и все так хорошо получалось, даже сам был доволен, что бывало далеко не всегда. Через день, в полдень — к Михайленко, знал, что он будет дома. С собой еще прихватил то, что берег для жены. Показал. Гляжу, какая реакция.

— Вещь стоящая. Признаюсь. Но слушай, платить могу только тем, что устрою выезд. Не будь мелочным!

— Да Боже мой, сохрани и помилуй, т-т-товарищ Михайленко! О какой еще оплате смею думать?!

— Приходи в три часа в управление, и точка! Поедешь как член ЦК, в каюте старшего помощника капитана. Ясно?

— Ясно, товарищ Михайленко.

В тот же день я узнал, что еду не только я, а еще человек триста. Встретил врача Маркова, давно знал его по рассказам аптекаря Парамоньча. Решили навестить старика. Нашли его в бывшей землянке хирурга Калицкого. Да, сдал Илья Парамонич. Но узнал. Обрадовался. Поздравил меня и Маркова с освобождением, с отъездом. Только подумать: когда я делал у него аптечный стол, он уже тогда был в заключении более десяти лет. Он тогда говорил: «Моя жена иногда упрекала меня за

то, что в жизни для меня самым главным была партия. На втором месте — служба. На третьем — семья. А жена говорила, что были бы мы счастливы, если бы все было наоборот: семья, служба, партия». Значит, моя последняя встреча с Ильей Парамоновичем была, когда он провожал шестнадцатый год в заключении. Один глаз у него был с большим отеком, и я спросил, с чем это связано. Он ответил: «Авитаминоз, цинга». Простились. Было видно, что удержал он слезу только волей — военный был человек.

Из порта Эгвекинот вышли 24 ноября 1952 года. Место в каюте мне было действительно предоставлено старпомом Чуйко. Капитан тогда был в отпуске, поэтому Чуйко был главным человеком на судне. На память ему я изготовил там же, на судне, пряжку для ремня. Ничего лучшего не мог, не было с собой инструмента — оставил ученику.

До Петропавловска-Камчатского шли девять суток. Здесь по какой-то причине стояли столько же на рейде. Во Владивосток пришли числа 20 декабря. Потом поезд, пересадка на станции Угольная, потом суток шесть ехали до Новосибирска. Снова пересадка. Ждали три дня. В Свердловске побывал в ЦУМе. Товаров было много, и я купил платье жене. И вот еду пригородным в Нижний Тагил. Телеграмму давал из Новосибирска, надеялся, что Маша встретит. Смотрел, искал. Нет, не встретила... Прошел по перрону туда-сюда, попался на глаза ларек: вино, всякая всячина из продуктов. Удивился обилию. И никакой очереди. Купил две бутылки шампанского, вышел на привокзальную площадь. Все изменилось за двенадцать с половиной лет, и уже не знал, «где эта улица, где этот дом». Взял такси.

— Карла Маркса, девяносто пять, — говорю таксисту, а он:

— Смеетесь? Это же вот, рядом!

— Нет, добрый ты человек, послужи, подвези к подъезду, какая тебе разница? Я же за все плачу!

Правда, минуты две ехали. Но у меня же были и вещи, так что такси было к делу.

О том уж не знаю, как и писать, когда поднимался на третий этаж и остановился у двери квартиры 22. Услышал за дверью разговор:

— Телеграмма послана из Новосибирска, а на каком поезде он приедет, угадать трудно. Боюсь, что не встречу, потому и не иду на вокзал.

По голосу узнал жену. Я постучал и услышал:

— Да-да! Пожалуйста!



И. СУРАТ

*

О «ПАМЯТНИКЕ»

Летом 1836 года, живя с семьей на даче на Каменном острове, Пушкин написал ряд стихотворений, с которыми мы связываем тайну его ухода, итог его духовного пути. Вот эти стихи: «Отцы пустынноики и жены непорочны...», «Подражание италиянскому», «Мирская власть», «Напрасно я бегу к сионским высотам...», «Из Пиндемонти», «Когда за Городом, задумчив, я брожу...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Четыре из них помечены в автографе цифрами (II, III, IV, VI), что обнаруживает замысел цикла, в основе которого — христианская тематика. Этот цикл, получивший у исследователей название «каменноостровского», составляет сегодня одну из актуальных проблем пушкинистики, о нем много пишут, но все еще неясны его состав, композиция, а значит и самый смысл — и, таким образом, завещание поэта остается пока непрочитанным.

«Памятник» не имеет номера в автографе, поэтому вопрос о его включении в каменноостровский цикл решается пушкинистами по-разному, в зависимости от того, каковыми видятся связи между тональностью и традиционными мотивами этой монументальной оды и личной религиозностью таких стихотворений, как «Отцы пустынноики...» или «Мирская власть». Многослойная смысловая структура «Памятника» вбирает в себя колоссальную и хорошо изученную литературную традицию, через толщу которой незаглушенно звучит собственный пушкинский голос. В нашей заметке предлагается лишь несколько наблюдений, связанных с ключевым для стихотворения словом «нерукотворный»: именно через это слово и его евангельский контекст может открыться здесь неожиданная смысловая перспектива, позволяющая уточнить отношение «Памятника» к другим каменноостровским стихам.

В статье, подводящей итоги многолетним спорам, М.Ф. Мурьянов показал, что «нерукотворный» является живым русским вариантом книжного церковнославянского «нерукотворенный» и, как впервые было замечено Д.-Г. Хантли, восходит к Евангелию от Марка (14, 58)¹. М.П. Алексеев поддержал высказанное И.Л. Фейнбергом (1933) и Р.О. Якобсоном (1937) мнение, что Пушкин мог почерпнуть слово «нерукотворный» из стихотворной надписи В. Рубана к «Медному всаднику» Фальконе, где оно относится к естественной каменной глыбе, положенной в основание памятника². Этот источник приходится отвести на самый дальний план хотя бы потому, что он мало прибавляет к пониманию «Памятника». К тому же совершенно очевидно, что летом 1836 года Евангелие было более актуальным для Пушкина чтением и источником, чем стихи Василия Рубана, в особенности если учесть, что речь идет не о случайном каком-либо слове, а об одном из важнейших слов итогового пушкинского стихотворения. Если уж искать литературный его источник, то логичнее обратиться к стихотворению В.А. Жуковского «Певец в Кремле» 1814 года (указано М.Ф. Мурьяновым), где «нерукотворный» употреблено именно в евангельском смысле. В пушкинском сознании значение этого слова было опосредовано иконографией³, легендой о происхождении Образа Спаса Нерукотворного, повествующей о том, как Спаситель запечатлел на полотне Свое изображение. Эта легенда могла вызвать у Пушкина аналогию с чудом поэтического творчества: поэт оставляет свой образ в творениях, как Христос Свой лик — на полотне. Но ведь у Пушкина сказано «воздвиг», «памятник себе воздвиг», тут есть значение напряженного созидания, а не мгновенного чуда. Нигде, ни в одном классическом «Памятнике» нет такого странного, оксюморонного по сути сочетания — «воздвиг нерукотворный», сочетания пластически конкретного,

¹ См.: Huntly D.-G. On the source of Puškin's *nerukotvornyj*. — Die Welt der Slaven. Wiesbaden, 1970. Jg. 15. Heft 4, s. 361 — 362; Мурьянов М. П., «Два этюда о словоупотреблении Пушкина. I Эпитет *нерукотворный*» («Вопросы литературы», 1989, № 4, стр. 206).

² См.: Фейнберг Илья. Читая тетради Пушкина М. 1985, стр. 584; Якобсон Роман. Работы по поэтике. М. 1987, стр. 164; Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л. 1987, стр. 57 — 58.

³ Эту мысль высказал в 1937 году А. Грегур в статье «Гораций и Пушкин» (см.: «Les Études classiques». Namur, 1937, vol. 6, № 4, p. 525 — 535).

«трудного» по смыслу глагола и прилагательного с ускользающим, метафизическим значением. Это сочетание порождает вопрос и отсылает к первичному, собственно евангельскому выражению о «храме нерукотворенном», который обещает воздвигнуть Сын Божий. Еще больший вопрос заключен между «я» и «нерукотворный». «Нерукотворный» — это ведь не просто «духовный», «нематериальный»; этим словом определяется в Новом Завете лишь то, что сотворено Богом, а Пушкин претворяет евангельский мотив в лирическое высказывание от первого лица: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Тут сразу задана та царственная надмирность поэта («вознесся выше он»), которая ощущается и дальше, в каждой строфе «Памятника». Прав Дэвид Хантли, что уже само это особое, лишь однажды употребленное Пушкиным слово «устанавливает связь между делом поэта и делом Христа»⁴.

В Евангелии от Марка «нерукотворенный» появляется в рассказе о суде синедриона, в речах лжесвидетелей, обвиняющих Христа в покушении на Иерусалимский храм: «Яко мы слышахом его глаголюща, яко аз разорю церковь сию рукотворену, и тремя денми ину нерукотворену созижду». Вся сцена неправедного суда, клеветы и надругательства соответствует личной биографической ситуации появления «Памятника» и резко отзывается в последней его строфе. Важны для «Памятника» и другие мотивы этой сцены: равнодушие Подсудимого, Его обреченность на смерть, а также противопоставление мирской власти и власти небесной. Слова о «храме нерукотворенном» (так это звучит в синодальном переводе и так вошло в религиозное сознание) поняты неправильно и теми, кто их повторяет, и членами синедриона (см. также Мф., 26, 61, 27, 40; Мк., 15, 29). Истинный смысл того, что хотел сказать Христос, разъясняется в Евангелии от Иоанна: «Отвещаша же иудеи и реша ему: кое знамение являеши нам, яко сия твориши; Отвеща Иисус и рече им: разорите церковь сию, и тремя денми воздвигну ю. Реша же иудеи: четыредьдесят и шестию лет создана бысть церковь сия, и ты ли тремя денми воздвигнеша ю; Он же глаголаше о церкви тела своего. Егда убо воста от мертвых, помянуша ученицы его, яко се глаголаше: и вероваша писанию, и словеси, еже рече Иисус» (Ин., 2, 18 — 22)⁵. Как видим, главное здесь — не понятое пророчество Христа о Своей смерти и Воскресении. Позже апостол Павел во втором Послании к Коринфянам говорит о смерти и бессмертии: «Вемы бо, яко аще земная наша хранина тела разорится, создание от Бога имамы, хранину нерукотворену, вечно на небесех» (2 Кор., 5, 1).

В пушкинском «Памятнике», в первых его строфах, а точнее в начальных стихах первой и второй строф, пророчество о телесной смерти и посмертной вечной жизни применено поэтом к себе: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Нет, весь я не умру...» Этот «памятник нерукотворный» получает тот же символический смысл, что и «церковь нерукотворена» и «хранина нерукотворена, вечно на небесех» (при этом слово «памятник» сохраняет и буквальное значение надгробия, к которому «не зарастет народная тропа»). У Иоанна, как и у Марка, акцентировано противостояние земных властителей и истинной власти Царя царей. В «Памятнике» эта тема преобразована в болезненно актуальный тогда для Пушкина мотив «поэт и власть»: «Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа». Как бы ни толковался «Александрийский столп», а ясно, что здесь это символ земного преходящего владычества, царства кесаря, и ему противопоставлено царство поэта, царство духа, которое «не от мира сего» (Ин., 18, 36)⁶.

«Нет, весь я не умру...» И дальше — знаменитая «таинственная формула»⁷ бессмертия поэта: «... Душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит». Эта формула не находит себе соответствия в многовековой поэтической традиции, стоящей за «Памятником», она индивидуально-пушкинская и несомненно главная для стихотворения, составляет его смысловой центр. Эти два стиха содержат чрезвычайно важную для Пушкина, долго вызревавшую мысль; ее историю можно проследить от послания Илличевскому 1817 года, через лирику 1822 — 1823 годов (и в частности — «Надеждой сладостной младенчески дыша...»), через «Андрея Шенье» 1825 года («... Я скоро весь умру»)⁸ и другие стихи о поэте, душе и смерти. Ближайшая, хотя и менее очевидная история этой формулы — ряд стихов 1835 — 1836 годов, от «Странника» до «Напрасно я бегу к сионским высотам...», выразивших смятение, сознание греха, поиск пути спасения. Этот поиск, порыв, побег «к сионским высотам» завершается в «Памятнике» «торжественным покоем»

⁴ Huntly D.-G. On the source of Puškin's *nerukotvornyj*, s. 362. Для поэтов нового времени в слиянии лирического «я» с Христом было уже что-то органичное — см., например, стихи А. Блока «Ты отошла, и я в пустыне...» (1907) или В. Ходасевича «Опять во тьме. У наших ног...» (1907). Для пушкинского же времени это можно расценить как раннее предвосхищение грядущей религиозной и творческой эпохи.

⁵ Синодальный перевод: «На это Иудеи сказали Ему в ответ: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме Тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус».

⁶ Вспомним сказанное о поэте в 1830 году: «Ты царь...» («Поэту»).

⁷ Слова С. Г. Бочарова (см.: Бочаров С. Г. О художественных мирах. М. 1985, стр. 74).

⁸ О связи «Памятника» с названными стихами см.: Ходасевич В. Ф. Поэтическое хозяйство Пушкина — «Беседа» Берлин, 1923, кн. 3, стр. 193; Непомнящий В. Поэзия и судьба. М. 1983, стр. 24; Бочаров С. Г. О художественных мирах, стр. 73 — 74; Битов Андрей. Статьи из романа. М. 1986, стр. 266.

открывшейся истины. Здесь найден ответ на самый мучительный вопрос последних лет: каков «спасенья верный путь», как спасется душа, если спасется. Судьба у поэта «необшая», душа его неотделима от лиры и именно в лире переживает его прах. В первой строфе «Памятника» декларировано собственное бессмертие, во второй лаконично определен путь, каким это бессмертие достигнуто. «Храм нерукотворенный» уже воздвигнут поэтом, путь поэтический осознан теперь как путь религиозный. Поэтическое бессмертие у Пушкина не заменяет личного спасения, но уверенно с ним отождествляется. По словам С.Г. Бочарова, «в пушкинской формуле два бессмертия так слились, что «душа» влилась в «заветную лиру» и в ней сохранится...»⁹. Самое таинственное в этой формуле — мистический союз души и лиры: лира включает, заключает в себя душу, душа таится, скрывается в лире, они и в вечности неразделимы. Пушкин написал вначале — «душа в бессмертной лире», тем поставив судьбу души в подчиненную зависимость от лиры и ее бессмертия. В окончательном варианте душа и лира равноударны в стихе, уравновешены в мыслях о посмертном бытии. Словом «заветная» внесена сюда и интимность в отношениях между душой и лирой, и метафизическая глубина; этим словом устанавливается связь «Памятника» с «Пророком»¹⁰: лира потому и бессмертна, что Богом заветана поэту. Тот завет исполнен, и путь указанный пройден — отсюда в «Памятнике» особые интонации, которые можно принять за гордость.

Тема славы, развернута дальше («И славен буду я, доколь в подлунном мире...»), — это уже новая тема, а не развитие мысли о стяжании вечной жизни. К словам о судьбе души нетленной поэту нечего прибавить, тут уместен предельный лаконизм. Последующие строфы — о судьбе и миссии поэта здесь, «в подлунном мире», и эта миссия соотносится с миссией Христа. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» — «И изыде слух его по всей Сирии» (Мф., 4, 24). Объединяющая сила искусства аналогична объединяющей силе христианского вероучения, как и всякой другой религии. Искусство приближает те времена, «когда народы, распри позабыв, / В великую семью соединятся». «И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгус, и друг степей калмык» — эта конструкция с присоединительными «и» несет то же собирательное значение, что и знаменитый стих из Послания апостола Павла о единстве народов во Христе: «...Несть еллин, ни иудей, обрезание и необрезание, варвар и скиф, раб и свобод, но всяческая и во всех Христос» (Кол., 3, 11). Когда-то в стихотворении «Свободы сеятель пустынный...» поэт, варьируя притчу Христа, гордо отказался от роли сеятеля и пастыря народов, будучи не понят ими: «К чему стадам дары свободы?» В «Памятнике» отношения поэта с народами видятся совсем иначе: народы именуются высоко и торжественно — «языки», то, что ими не понято сегодня, будет понято завтра, и народам, «ныне диким», поэт «будет любезен» именно за то, что когда-то было ими отринуто. Сходно представлены отношения великого человека с народом в написанном за год до «Памятника» «Полководце»: «Как часто мимо вас проходит человек, / Над кем ругается слепой и буйный век, / Но чей высокий лик в грядущем поколень / Поэта приведет в восторг и в умилень!» Как видим, здесь уже звучат мотивы «Памятника»¹¹, и в связи с этим особенно важными оказываются вскрытые Н.Н. Петруниной подтексты «Полководца»: судьба героя стихотворения ассоциативно связана с судьбой Христа и одновременно с личной судьбой самого поэта¹².

Четвертую строфу «Памятника» как-то всегда было трудно увязать с такими стихами, как «Поэт и толпа» или сонет «Поэту», но в предложенном контексте она находит свое естественное место. «Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело»; «Цель художества есть идеал, а не нравоучение» — эти истины остаются в своей несомненной силе, пока творит художник и утверждает себя в противостоянии толпе. Но в победном шествии поэзии через века и народы напряжение между искусством и нравственностью снимается: идеал, уже воплощенный в слове, получает силу высшей нравственной проповеди. «Чувства добрые», пробуждаемые лирой, «свобода и милость к падшим», проповедуемые народам с нагорных высот искусства, возводят поэта в ранг пророка и учителя.

Заключительная строфа «Памятника» многим казалась инородной и порождала парадоксальные толкования¹³; на самом деле ее связь с остальным текстом предельно тесна. Нет парадокса между будущим апофеозом поэзии, ее высшей божественной природой и сегодняшним глумлением над поэтом — эти три мотива связываются общими евангельскими ассоциациями. «Памятник» весь отлит из формул последней, немислимой

⁹ Бочаров С. Г. О художественных мирах, стр. 74.

¹⁰ Отмечено В. С. Непомнящим (Непомнящий В. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. Изд. 2-е, дополненное. М. 1987, стр. 446 — 447).

¹¹ О связи «Памятника» с «Полководцем» см.: Сакулкин П. Н. Памятник нерукотворный («Пушкин. Сборник первый» М. 1924, стр. 59).

¹² См.: «Стихотворения Пушкина 1820 — 1830-х годов. История создания и идейно-художественная проблематика». Л. 1974, стр. 286 — 291.

¹³ Напр.: Гершензон М. Мудрость Пушкина. М. 1919, стр. 49.

точности. «Веленью Божию, о Муза, будь послушна...» — итоговая формула и стихотворения, и всего пушкинского пути, в ней окончательно сочетались Бог и Муза, alter ego поэта. Пушкин отказался от других вариантов стиха («Святому жребию...», «Призванью своему...») ради этих слов, которыми его Муза возведена на высоту надмирную и одновременно подчинена Верховному Владыке, но только Ему. Дж. Миккельсоном замечено, что слово «послушна» связывает жребий Музы с судьбой Христа, как она описана Пушкиным в «Мирской власти»: «Иль покровительством спасаете могучим / Владыку, тернием венчанного колючим, / Христа, предавшего послушно плоть Свою / Бичам мучителей, гвоздям и копию?»¹⁴ С этим «тернием колючим», символом глумления и пытки, переключается отказ от лаврового венца в финале «Памятника», столь резко полемичный по отношению к литературной традиции (Гораций, Ломоносов, Державин). Мотивы обид, клеветы, непонимания¹⁵ — и равнодушия перед этим несправедливым судом возвращают нас к тому контексту, из которого пришло в «Памятник» слово «нерукотворный», и тем замыкают в кольцо композицию этого уникального лирического высказывания. Слово, послушное веленью Божию, возвратится к Отцу, исполнив Свою земную миссию, страдальческую и победную, — этому сюжету христианской мистерии соответствует скрытая тема «Памятника». Ничего подобного не было у пушкинских поэтических предшественников, создавших свои вариации на оду Горация «К Мельпомене». Пушкин первый ввел в классический «Памятник» слово «душа»¹⁶, а с этим словом — и тему личного бессмертия, не какого-то особого, метафорического бессмертия поэта, а истинного бессмертия в его религиозном смысле. Также первым ввел он сюда и тему «веленья Божия», то есть ту вертикаль, которой «пушкинский «Памятник» и отличается от всех „Памятников”»¹⁷. В первых строфах вертикаль «воздвигнута» от земли к Небу, куда по смерти уходит «душа в заветной лире», в последней — «веленье Божие» сверху осеняет земной путь поэта.

Прибегая в «Памятнике» к высшему духовному авторитету, Пушкин утверждает царственный статус поэзии и ее религиозное значение. Бывший во многом язычником, Пушкин в последние годы жизни глубоко проникся духом христианства, и «Памятник» об этом свидетельствует не меньше, чем «Отцы пустынноики...» или «Мирская власть». Но по призванию и служению он всегда был и остался «единого прекрасного» жрецом». «Сознание абсолютного религиозного смысла поэзии»¹⁸ определяет всю пушкинскую систему ценностей и является организующим началом в его судьбе. Лирика 1835 — 1836 годов («Странник», «Родрик», каменноостровский цикл) отразила важный этап самосознания Пушкина, поиск осмысленного религиозного пути, и «Памятник» ставит здесь итоговую точку. Поэзия в нем приравнена к религии, поэтическое и религиозное призвание слиты воедино, путь поэта освещен Небесами и ведет его к жизни вечной.

В «Памятнике» находят свое разрешение основные коллизии, связанные с поэтическим призванием и проходящие через все пушкинское творчество: поэзия и мирская власть, поэзия и народ, поэзия и нравственность, поэзия и личное бессмертие. «Памятник» свидетельствует о том, что земной путь самопознания был полностью исчерпан и Пушкин подошел уже к последнему пределу. Во внутренней логике каменноостровского цикла, к которому несомненно примыкает «Памятник», ему может быть отведено лишь последнее место. Как показано в работе В.П. Старка, три стихотворения цикла — «Отцы пустынноики...», «Подражание италиянскому», «Мирская власть» — объединяются темой Страстной недели¹⁹. Написанное после них «Когда за городом, задумчив, я брожу...» развивает тему телесной смерти. В «Памятнике», хронологически последнем в этом ряду, мощно звучит тема Воскресения²⁰.

¹⁴ Миккельсон Дж., «„Памятник” Пушкина в свете его философской лирики 1836 года» («Творчество А. С. Пушкина. Материалы советско-американского симпозиума в Москве. Июнь 1984 года». М. 1985, стр. 78).

¹⁵ «Хвала» здесь приравнена к «клевете» как форма непонимания. То же в «Ответе анониму» и сонете «Поэту», который во многом превосходит «Памятник».

¹⁶ Наблюдение С. Г. Бочарова (см.: Бочаров С. Г. О художественных мирах, стр. 74).

¹⁷ Мысль В. С. Непомнящего (см.: Непомнящий В. Поэзия и судьба. 1987, стр. 446).

¹⁸ Франк С. Л., «Религиозность Пушкина» («Путь» (Париж), 1933, № 40, стр. 32).

¹⁹ Старк В. П., «Стихотворение «Отцы пустынноики и жены непорочны...» и цикл Пушкина 1836 г.» («Пушкин. Исследования и материалы». Л. 1982, т. X).

²⁰ Здесь упоминаются не все каменноостровские стихи, так как нами не ставилась задача полного анализа цикла

Из истории русской общественной мысли

И. А. ИЛЬИН
(1883 — 1954)

*

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ

В числе пассажиров знаменитого «философского парохода», в 1922 году отправившего из России в Германию цвет отечественной науки, находился и Иван Александрович Ильин. В истории русской философии имя это упоминается обычно в числе «других» — во втором ряду, после таких имен, как С. Булгаков, С. Франк, Н. Лосский, Н. Бердяев, Л. Карсавин. В прекрасной книге Н. Зернова «Русское религиозное Возрождение XX века» (Париж. 1974) И. Ильин упоминается один раз и именно «через запятую», в числе тех, кому «предложили стать профессорами основанной в 1922 году Религиозно-философской академии»; в «Очерках по истории русской философской и общественной мысли» С. Левицкого (т. 2; Мюнхен. 1981) И. Ильин вообще не упоминается — притом что отдельные очерки посвящены отнюдь не только звездам первой величины, но и А. Козлову, Л. Лопатину, С. Аскольдову; несколько страниц отводят И. Ильину в своих историях русской философии Н. Лосский и о. В. Зеньковский, но скорее как оригинальному интерпретатору Гегеля, нежели как своеобразному мыслителю с собственным мирозерцанием. Лишь выдающийся знаток наследия Ильина Н. Полторацкий включил его в пятерку крупнейших русских философов XX века.

Биографически И. Ильин действительно вписывается в некую плеяду «и других» — правда, каких «других»!

Он родился 28 марта (9 апреля) 1883 года в Москве. Годом раньше Ф. Степуна, годом позже о. П. Флоренского, Л. Карсавина, В. Эрна, двумя — о. В. Зеньковского и о. А. Ельчанинова. Чуть моложе — Г. Федотов, чуть постарше — Г. Шпет.

Московский университет начала века, описанный еще одним младшим современником И. Ильина — Н. Арсеньевым в воспоминаниях «Дары и встречи жизненного пути» (Мюнхен. 1974), юридический факультет... В лишенной, как принято думать, правосознания России вырабатывается своеобразная теория права — в трудах П. Новгородцева и молодого приват-доцента университета И. Ильина. Роман Гуль вспоминал об Ильине-преподавателе: «Высокий, очень худой, красивый, но мезитовский (хотя и блондин), И.А. был блестящим лектором и блестящим ученым».

Он пишет двухтомное исследование о Гегеле «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (М. 1918), книгу, которая, по мнению историка философии Б. Яковенко, «заслуживает того, чтобы в общей литературе о Гегеле считать ее третьей основной работой, после работ Стирлинга и Куно Фишера». Впрочем, начиная с В.С. Соловьева, в России не было философа, который не «прошел бы» через тот или иной период иноязычной мысли, будь то «Метафизика в Древней Греции» С.Н. Трубецкого, «Кирхегардт и экзистенциальная философия» Л. Шестова, «Дионис и прадионисийство» Вяч. Иванова, «Этика Фихте» Б. Вышеславцева...

Диссертация И. Ильина о Гегеле была столь сильна, что даже и при таких оппонентах, как П. Новгородцев и Е. Трубецкой, И. Ильин был удостоен обеих степеней магистра и доктора государственных наук, — но от Вл. Соловьева с его знаменитым мастерским диспутом и до о.П. Флоренского, незадолго до этого защитившего «Столп и Утверждение Истины», в России привыкли к выдающимся защитам. Можно перечислить и другие типичные факты, вписывающие Ильина в когорту российских философов. Шесть раз был арестован перед высылкой — да кого ж не арестовывали в те годы! Прожил семьдесят один год, уложившись в мерки, означенные Библией («человек, дни его семьдесят лет, если же в силах — восемьдесят»), и в средний возраст русских философов XX века (Л. Шестов — семьдесят два, С. Булгаков и С. Франк — семьдесят три, П. Струве, Н. Бердяев — семьдесят четыре). Словом, «такой же», но иной. «Другой».

Изячное предисловие С. Хоружего к публикации избранных статей И. Ильина («Юность», 1990, № 8) начинается с наблюдений над его портретом работы М. Нестерова «Мыслитель» (1921 — 1922) — в сравнении с более известной работой того же художника «Философы», на которой изображены С. Булгаков и П. Флоренский. Не повторяя тонких замечаний С. Хоружего, хотелось бы их дополнить следующим: своеобразие портрета И. Ильина не только в том, что на одной картине философы, а на другой — мыслитель, а в его одиночестве. И это существенно. В «Философах» Нестеров прозрел парность, характерную для русской философии XX века. Как бы ни был одинок в своих поздних исканиях о. С. Булгаков, но до этого он обрел себе «пару» в о. П. Флоренском, а потом — выдающегося интерпретатора в лице Л. Зандера. При имени

Вступительная статья и составление Б. Н. ЛЮБИМОВА.

¹ Роман Гуль, «Я унес Россию» (т. 1 — «Россия в Германии»). Нью-Йорк, 1984, стр. 19).

² Цит. по: Полторацкий Н. Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды, мировоззрение. Тенафил (США). 1989, стр. 18. (Единственная пока книга, посвященная И.А. Ильину.)

В. Соловьева вспоминается Е. Трубецкой. Парность Н. Бердяева и Л. Шестова, П. Струве и С. Франка говорит сама за себя. Н. Лосский нашел ученика в лице С. Левицкого, учениками о. Г. Флоровского стали о. А. Шмеман и о. И. Мейендорф. Кто-то обретал себя в школе, течении, в стенах того или иного учреждения. У Ильина не оказалось ни «пары», ни школы, ни ученика.

Самое грустное, что многочисленные труды И. Ильина не упоминаются (за редким исключением) на страницах книг его выдающихся современников даже как повод для полемики: он как будто не нужен ни Булгакову, ни Франку, ни Бердяеву, как будто они его не читают. И он их тоже. Со свойственной ему резкой словесной чеканкой Ильин назовет Булгакова, Карсавина и Бердяева дилетантствующими ересархами, хотя обосновать это положение не сочтет нужным. Он, с его тайгой к строгой доказательности (вся книга о Гегеле построена на блистательно организованных цитатах из Гегеля), отметит, что публицистика Мережковского «беспредметно-температентна и парадоксальна — в духе В.В. Розанова, Бердяева, Булгакова и всей этой школы»³, — как будто была это — школа, как будто темперамент Мережковского совпадал с темпераментом Булгакова!. Особенно доставалось от Ильина Бердяеву, а после его смерти — Г. Федотову... Не для них писал И. Ильин — он обращался к другому читателю.

Если бы герои «Белой гвардии» — Алексей Турбин с Николкой, полковники Малышев и Най-Турсо со Студинским — вырвались живыми в Германию и Францию, они стали бы читателями И. Ильина. К таким, как они, обращения «Белая идея» (1926) и другие статьи этого круга, его знаменитая книга «О сопротивлении злу силою» (1925), им он объяснял смысл их послереволюционной жизни, им рассказывал «о России» (1934). К тем из них, кто прошел искушения 30 — 40-х годов, будь то искушение гитлеризмом или сталинизмом, обращался И. Ильин в «Наших задачах» — листках, издававшихся РОВС (Российский общевоинский союз) «только для единомышленников» с 1948 по 1954 год и собранных в двухтомник после смерти И. Ильина. К ним же обращался он и в своих лекциях. Одна из слушательниц Ильина (не симпатизирующая ему) писала: «Сильнейший мыслитель и красноречивый оратор — он просто как бурей увлекал за собой».

Этот особый тип философа-оратора тонко почувствовал П. Струве, единственный, кто в какой-то мере образцово парность с Ильиным в силу своего дара единения и объединения: «И.А. Ильин есть интресное и крупное явление в истории русской образованности. Формально — юрист, он по существу философ, т.е. мыслитель, а по форме — изумительный оратор или ритор в хорошем античном смысле этого слова. Когда он пишет, он говорит. А когда говорит, то захватывает ум, очаровывает слух, входит в душу с какой-то особой силой, присущей живому и твердо, мерному и ковальному человеческому слову... Ильин оратор-резчик, т.е. настоящий художник живого, врезывающегося в душу слова. Такого, как он, русская культура еще не производила, и он в ее историю войдет со своим лицом, особым и неподражаемым, со своим оригинальным дарованием, сильным и резким, во всех смыслах... И.А. Ильин — редкое и значительное явление русской образованности. Наши поколения знали блистательных судебных ораторов: А.Ф. Кони, В.Д. Спасовича, Ф.Н. Плевако, В.А. Маклакова, — чтобы назвать самых одаренных и крупных. Русское политическое ораторство, в лице И.С. Аксакова и, гораздо позже, Ф.И. Родичева и того же В.А. Маклакова, дало также изумительные образцы искусства, достигнув своей вершины в простом и мудро-уверенном красноречии незабвенного П.А. Столыпина. Но русское академическое ораторство, со времен Т.Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева, Н.И. Костомарова, Б.Н. Чичерина и Вл. Соловьева, словно потускнело для того, чтобы возродиться к новой жизни и силе в несравненном даровании И.А. Ильина»⁴. Юрист, оратор, историк философии, общественный деятель — патриот и монархист, ценитель искусства⁵, идеолог христианской культуры, религиозный созерцатель — таков И. Ильин в единстве своего пути, конец не отменил начало, в каждой следующей фазе присутствовали прошлые.

Даже по заглавиям книг и брошюр И. Ильина можно заметить постоянство основных его тем, повторяющихся или преображающихся: правосознание («Проблема современного правосознания», «О сущности правосознания»), религия, философия («Философия Гегеля...», «Религиозный смысл философии», «Аксиомы религиозного опыта»); культура («Основы христианской культуры», «Основы художества»). С этими категориями связаны патриотизм, темы родины, России («О России», «Основа борьбы за национальную Россию», «Родина и мы»). Русское искусство («Пророческое призвание Пушкина») — средоточие национальной культуры, ее света, противостоящего тьме, ее религиозно-нравственного смысла («О тьме и просветлении»). Борьба света с тьмой требует активизма, воли, сопротивления («О сопротивлении злу силою»), движения, обновления. Так возникает столь важная для русской мысли тема пути («Путь духовного обновления»,

³ Цит. по: Полторацкий Н. Иван Александрович Ильин, стр. 118.

⁴ Там же, стр. 135 — 137.

⁵ К.С. Станиславский посылал Ильину первые наброски своей системы. «Г-н Ильин меня трогает, кажется, решу обратиться зимой к его помощи, — писал он 3 августа 1912 года Л.Я. Гуревич. — Студия открывається, и, если бы он посетил ее в свободное время, само дело определило бы, какую большую помощь он мог бы там принести в разработке многих теоретических вопросов. Пока сердечно благодарю его» (Станиславский К.С. Собрание сочинений в восьми тт. М. 1960, т. 7, стр. 546). В 1919 году Станиславский изучал книгу Ильина о Гегеле, делал выписки из нее; теоретик актерского перевоплощения не мог пройти мимо методологической установки философа: «Историк философии задано осуществить тайну художественного перевоплощения: принять чужое предметосозерцание и усвоить его» (см.: Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. М. 1918. т. I, стр. IV).

«Путь к очевидности») и единения в этом движении. Конечно, ильинские темы — темы отечественной мысли XX века, но их сочетание, стиль мышления и выводы составляют уникальную особенность его дара.

Мысль Ильина более волевая, действенная и предметная, нежели, скажем, мысль Бердяева. Недаром его книга о Гегеле начинается с анализа категории конкретно-эмпирического. В его миросозерцании государство, родина, быт значат куда больше, чем не только для ненавистных Ильину Мережковского и Бердяева, но и для Булгакова и Франка. Недаром из современных ему писателей И. Ильин больше всех ценил И. Шмелева, отдавал ему предпочтение не только перед Мережковским, но даже и перед Бунинным. И. Шмелев ответил посвящением «Лета Господня» И. Ильину и его жене.

«Неотжившее достоинство отжившего быта»⁶, — мог ли бы так выразиться Бердяев и признавал ли он таковое за бытом?

Философ акта, воли, И. Ильин вызвал острую полемику своей наиболее известной после труда о Гегеле книгой «О сопротивлении злу силою». Не насилием, а силой — это разные вещи, справедливо указывал Ильин. Споря со своими критиками, И. Ильин писал: «Да, я утверждаю, что государственность, и меч, и сопротивление злодеям силою — приемлемы для православного христианина. Когда я говорю о «православном мече», то я разумею меч, православно обоснованный (совсем не «оправданный», и не «освященный», и не «святой»)»⁷.

М. Кольцов на страницах «Правды» явно передернул карты, утверждая, что И. Ильин пропагандирует «новейшей марки патентованное православие, с оправданием еврейских погромов, гражданской войны и белого террора»⁸ — об этом в книге И. Ильина нет и слова. З. Гиппиус написала остроумнее, злее, но тоже несправедливо, назвав труд И. Ильина «военно-полевым богословием»⁹. Еще более нетерпименно высказался Н. Бердяев в статье «Кошмар злого добра», приписывая И. Ильину позицию «Чeka во имя Божье», еще более отвратительную, «чем «чека» во имя дьявола»¹⁰. С этого момента И. Ильин повел войну на два фронта — направо и налево. Идеолог Белого движения, автор статьи «Белая идея», он восхищается «волевым, мужественным и честным духом» Врангеля и именуется «дивизионным интеллигентом» с душой штабного писаря, «бывшим человеком» — Деникина. Монархист, И. Ильин связывает свои надежды с «Вождем» (великим князем Николаем Николаевичем), именно «Вождем», а не «Царем», а направлению сторонников великого князя Кирилла Владимировича дает кличку «густопсовый черносотенный кириллизм».

У этой странной на первый взгляд для убежденного монархиста позиции были свои причины. Во-первых, сказалось отношение И. Ильина к окружению обоих претендентов. С точки зрения И. Ильина, сторонники великого князя Кирилла Владимировича были больны бонапартизмом, жаждой власти; во-вторых — отношение к личностям самих великих князей. Уместно вспомнить замечание Н. Андреева о том, что в бунинской «Жизни Арсеньева» «страницы, связанные с именем великого князя Николая Николаевича, не «звучат» для тех, кто не знает, что символизировало его имя именно в эмиграции»¹¹. Для И. Ильина, как и для И. Бунина, великий князь Николай Николаевич был символом чистого монархизма, без примеси черносотенства и обскурантизма. Наконец, за этим стояло отношение И. Ильина к политической ситуации второй половины 20-х годов: время Царя еще не наступило и неизвестно, наступит ли; сейчас нужен внепартийный Вождь, а не Царь.

После того как летом 1938 года (в частности, благодаря финансовой помощи С. Рахманинова) И. Ильин вырвался из гитлеровской Германии в Швейцарию, он еще в большей степени оказался «философом на отшибе».

Ряд трудов вышел уже после смерти И. Ильина.

В нашей стране до недавнего времени его имя можно было встретить лишь в философских энциклопедиях и словарях. Примерно с 1989 года публикации фрагментов из его наследия появились в столь разных по направлению и типу изданиях, как «Театральная жизнь» и «Путь», «Юность» и «Север», «Слово» и «Россия». В конце 1990 года была сделана попытка создать при Московском университете общество памяти И. Ильина, но, как многие нынешние начинания, пока не закончилась ничем. Однако, если давние слова И. Ильина: «Совершается незримое возрождение в зримом распаде»¹² — верны применительно к сегодняшнему состоянию России, наследие И. Ильина, ждущее публикации и изучения, конкретно, активно будет участвовать в возрождении, противостоя распаду.

Представить сколько-нибудь «предметно» и «очевидно» наследие И. Ильина сложно, труднее, чем многих его философских соотечественников и современников. Не говоря о том, что многие статьи его печатались в забытых малотиражных изданиях, ряд работ опубликован по-немецки (которым он блестяще владел) и ждет русского перевода, некоторые брошюры 30-х годов вышли в местах, далеких от эмигрантских центров (Женева, София, Нарва), и труднодоступны современному читателю и исследователю. Разносторонность дарования И. Ильина невольно ставит издателя в

⁶ Помещик [Ильин И.А.], «Смотреть вперед и созидать свое!» (отрывок из частного письма. — «Возрождение», 26.1.26).

⁷ Ильин И.А., «Отрицание меча» («Возрождение», 29.7.25).

⁸ Кольцов М., «Омоложенное евангелие» («Правда», 19.6.25).

⁹ Гиппиус З., «Предостережение» («Последние новости», 25.2.26).

¹⁰ Бердяев Н., «Кошмар злого добра (О книге И. Ильина «О сопротивлении злу силою»)» («Путь», 1926, № 4, стр. 104).

¹¹ Андреев Н., «Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом (Опыт постановки темы)» («Русская литература в эмиграции». Сб. статей. Питтсбург, 1972, стр. 23).

¹² Ильин И.А., «Путь православия» («Возрождение», 1.9.34).

туник: с чего начать? Вместе с тем характер нынешнего времени не может не накладывать отпечатка на позицию составителя.

Трудно удержаться от соблазна ознакомить читателя с суждениями И. Ильина относительно выборов в свободной России в год, когда Россия впервые за семьдесят четыре года свободно выбирает, хотя эти выборы, конечно, проходят не «по Ильину». Для И. Ильина чрезвычайно существенна была идея рэнга, отбора лучшего, а она, естественно, связана с недоверием к большинству. Это недоверие, присущее иерархическому мышлению и в мирное время, многократно усилилось у Ильина, опытно пережившего «восстание масс» в России и Германии.

Легко назвать И. Ильина «правым идеологом» — справедливым это утверждение станет в устах того, для кого категория «правое» не включает оценки. При всем своеобразии своего пути И. Ильин — наследник давней традиции русской мысли. Если не уходить в глубь веков, от А. Хомякова и И. Киреевского до Н. Федорова и Вл. Соловьева, о.С. Булгакова и о.П. Флоренского, она жила, говоря словами о.Г. Флоровского, в категориях долженствования — какой быть России. И не случайно в «замечаниях автора» к «Октябрю Шестнадцатого» А. Солженицын «подсказывает» читателю: «Через Андозерскую часть изложена система взглядов на монархию профессора Ивана Александровича Ильина»¹³, как не случайно появление имени И. Ильина в разделе «Слово к великороссам» из брошюры «Как нам обустроить Россию». Если это и правое крыло, то стоит вспомнить и библейский смысл этого слова: «...пути правые наблюдает Господь, а левые — испорчены...» (Притч. 4, 28). Впрочем, стоит вспомнить и то, что сказано перед этим («Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла») и что следует как итог: «Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит».

ИЗ КНИГИ «ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ»

О государственном правосознании

Для того, чтобы верно понять и обосновать идею государства, необходимо прежде всего усмотреть душевный уклад здорового государственного правосознания: это есть уклад творческий и притом христианский.

Начнем с необходимых предварительных разъяснений.

Обосновать идею государства совсем не значит провозгласить, что все государства, известные нам из истории человечества, были «хороши», находились на высоте идеи и творили одно благо. Этого нельзя сказать про человеческие дела ни в одной области жизни. Всюду — и в религии, и в нравственной сфере, и в литературе, и в живописи, и в науке, и в праве, и в политике — бывали лучшие и худшие, высшие и низшие создания; а бывали и такие явления, которые следовало бы отнести не к «культуре», а к «анти-культуре». Такие явления не компрометировали, однако, всю свою сферу: пошлый, нехудожественный роман не компрометировал всю литературу; религиозные заблуждения скопцов или хлыстов не ставили под сомнение всякую религиозность; дурные законы не свидетельствуют о невозможности справедливого права и т. д. Согласно этому отвергать идею государства на том основании, что в государственности и политике есть немало безобразных явлений, — было бы неосновательно и неумно.

Точно так же было бы неосновательно, отправляясь от этих искажений государства и политики, настаивать на неприемлемости государства для христианского сознания. А между тем ныне стали появляться такие софисты, которые решаются утверждать, что государство есть изобретение и орудие «диавола». Понимать государство как формальную систему насилия, как организацию безнравственного притеснения слабых сильными и т. под. — значит или обнаруживать полное отсутствие здорового правосознания, или же сознательно вводить в заблуждение темных людей. Не следует, конечно, по-детски идеализировать исторические государства; но, с другой стороны, недопустимо отвергать идею государства, не постигая ее здоровой и глубокой сущности.

В противоположность этим ошибочным воззрениям, мы выдвигаем идею государства, вынашивавшуюся здоровым правосознанием на протяжении многих веков, и утверждаем, что верно понятая государственная политика воспитывает людей по-своему в духе христианского учения. Согласно этому настоящее здоровое государство есть светлое и благое начало в истории человечества и насаждение здорового государственного правосознания поможет вывести человечество на пути духовного обновления...

Мы установили только то, что духовная солидарность граждан между собою составляет реальную основу государства и политики. А это означает, что государство надо понимать как живую систему братства, прямо соответствующую духу евангельского учения.

В сердце настоящего гражданина, а особенно истинного политика, государственный интерес и его личный интерес пребывают в состоянии живого неразложимого тождества. Это не значит, что у него «нет никаких» личных интересов, что он

¹³ Александр Солженицын. Октябрь Шестнадцатого. Вермонт — Париж. 1989, стр. 587.

отрекается всецело от себя и живет одними государственными делами. Но это значит, что интересы своей родины и своего государства он принимает так близко к сердцу, как свои собственные; а в случае прямого столкновения между ними — он приводит свой собственный интерес к молчанию. Так, он ни за какие богатства в мире не возьмется шпионить в пользу соседнего государства; он ни при каких условиях не будет кривить в государственном деле за взятку; он не станет подрывать валюту своей страны спекуляциями; он не захочет обогащаться вредным для его государства импортом и т.д. До всего этого его не допустит то живое тождество интересов, из которого он думает и действует в течение всей своей жизни.

Но, принимая интерес своего государства столь же близко к сердцу, как свой собственный, он тем самым испытывает каждый духовно-верный и справедливый интерес каждого из своих сограждан как свой интерес. Ибо каждый такой интерес включен принципиально в интерес всего государства в целом. В этом аксиома здорового государственного правосознания.

Именно к этому сводится содержание политической жизни; и можно было бы просто сказать, что только те граждане имеют основание активно участвовать в политической жизни, которые доказали свою способность к такому отождествлению интересов; ибо все остальные будут вести кривую и неверную политику, они будут искажать сущность государственного правосознания, подрывать доверие к государству и насаждать дух гражданской войны*.

Попытаемся теперь заполнить эту аксиому здоровой государственности живой силой воображения.

Может ли быть назван гражданином тот, кто не принимает цель своего государства? Такой человек может быть в стране, работать или торговать, но в чем же будет выражаться его гражданство, если ему нет дела до интереса, до цели, до задания, до судьбы данного народа и государства? Он явно будет пользоваться удобствами жизни и правами; но не будет нести ни обязанностей, ни бремени, ни ответственности; он будет паразитом, или приживальщиком, или, в лучшем случае, гостем, но не гражданином. А чтобы стать гражданином, он должен будет принять интерес государства так, как он принимает свой собственный.

Это возможно только двояким образом: или государство опустится до уровня его частного, личного своекорыстия и начнет служить ему (напр., частным выгодам одной партии или одного класса), — тогда вся политическая система окажется извращенной и выродившейся, а государство рано или поздно разложится и рухнет; или же (вторая возможность) — индивидуальная душа поднимется к содержанию истинной государственной цели и настоящего государственного интереса, т. е. человек станет патриотом и гражданином и начнет служить своей родине. Но тогда окажется, что истинная и высшая цель его жизни не отличается, по существу, от цели его родного государства; напротив — между ними обнаружится истинное и живое тождество. «Мое дело есть дело моей родины и моего государства; так что, с одной стороны, все вредное моей родине и моему государству не может стать моим делом; а, с другой стороны, дело моего народа и моего государства мне настолько близко и важно, как если бы оно касалось меня самого и моей судьбы» — вот формула истинного патриотического гражданства.

Не следует понимать это «тождество» только в смысле самоотречения и жертвенности. Потому что в действительности она выражает и акт самоутверждения, осуществляемый гражданином: ведь государство не только ограждает и растит всю национальную культуру общества, но обслуживает еще и каждый духовно-верный и справедливый интерес каждого из своих граждан**. А это означает, что гражданин, отождествляя себя со своим родным государством, — не только «жертвует», но и «приобретает», не только «отрекается», но и «выигрывает»... Это выражается во многих отношениях: и в том, что каждый гражданин, в качестве субъекта права, пользуется своими священными и неотчуждаемыми правами свободы и защитой своих частных, имущественных прав; и в том, что его жизнь и национальная независимость ограждаются государственной армией; и в том, что государство делает для него в порядке социального строительства, начиная от школы и кончая железными дорогами, начиная от государственного страхования трудящихся и кончая призранием нетрудоспособных...

Призвание государства состоит в том, чтобы при всяких условиях обращаться с каждым гражданином как с духовно свободным и творческим центром сил, ибо труды и создания этих духовных центров составляют живую ткань народной и государственной жизни. Никто не должен быть исключен из государственной системы защиты, заботы и содействия; и в то же время все должны иметь возможность работать и творить по своей свободной, творческой инициативе. Каждый гражданин должен быть уверен, что и он защищен, принят во внимание и

* Ср. главу третью, раздел третий «О политической свободе».

** Обслуживает хотя бы общей безопасностью, правопорядком и ограждением личной свободы. Это «обслуживание» отнюдь не следует понимать в смысле государственного всевмешательства.

найдет себе справедливость и помощь со стороны государства; и в то же время каждый должен быть самостоятелен и самодостаточен. Государство может требовать от граждан службы и жертв; но оно само должно служить и жертвовать. Иными словами, государство должно внушать гражданам живую уверенность в том, что в его пределах господствует живая христианская солидарность.

Государство говорит каждому из своих граждан: «Не только ты служишь, и тебе тоже служат. Твое служение состоит в отречении и жертвенности. Но если у тебя есть духовно-верный и справедливый интерес, то он должен быть принципиально признан, поддержан или по крайней мере защищен государством. Ибо интерес государства состоит именно из всех духовно-верных и справедливых интересов его граждан; часть этих интересов выделяется как общий всем интерес и обслуживается особо; другая часть остается частною и личною, но и она учитывается и поддерживается государством в меру ее духовной верности и справедливости. Не только ты один желаешь — быть здоровым, получать образование, иметь работу, не подвергаться эксплуатации, иметь пособие по болезни, пользоваться скорым, правым и милостивым судом и т. д.; в этом заинтересованы весь твой народ и твое государство в целом. Но и в частных интересах твоих государство поддерживает тебя, если они обоснованы и справедливы: то дешевым кредитом, то установлением необходимой опеки над малолетним, то обеспечением земельного надела, то примирительным разбором в столкновении классов. Ты не только средство для государства; ты в то же время — его живая цель.

И внушая эту уверенность гражданину, государство предоставляет ему творить по собственной, свободной инициативе; оно не связывает его и не стесняет его ненужной опекой; оно только заботится о нем, помогает ему. И если эта забота в чем-нибудь не проявляется, то вопрос сводится не к тому, призвано ли государство к этой заботе, а лишь к тому, в чем и как она должна проявиться...

Все это не означает, что призвание государства сводится к справедливому и социальному обращению с отдельными гражданами. Цель государства совсем не есть механическая сумма, слагающаяся из всех справедливых интересов отдельных граждан. Можно было бы, напротив, утверждать, что государство имеет дело исключительно с общим, всенародным интересом; ибо частный и личный интерес граждан может лишь постольку приниматься в расчет, поскольку он, именно в силу своей духовной верности и справедливости, может быть воспринят и истолкован как интерес общий и всенародный. Это допускает и этого требует всеобщая солидарность и взаимность граждан. А именно: в удовлетворении каждого духовно-верного и справедливого интереса каждого гражданина заинтересован не только он сам, но и все его сограждане; это интерес общий, народный, государственный.

Каждый нищий в стране есть не просто неудачливый бедняк, но живая язва народной и государственной жизни. Каждый безграмотный есть всенародная опасность. Каждый противно-общественный эксплуататор есть всенародный вредитель. Каждый ростовщик требует государственного обуздания. Каждое погрешное право есть пробел или разрыв в общей сети правопорядка и т. д. И все это не пустые слова; ибо одна из основных аксиом государственности гласит: «один за всех, все за одного». Народ есть живое единство, связанное тысячей живых нитей и пребывающее в непрерывном духовном и хозяйственном обмене; он подобен живому организму, где все находится в связи со всем и все питается от всего остального. Частная и личная жизнь развертывается в глубоком лоне всенародной жизни и общих интересов. Об этом нельзя забывать; мимо этого нельзя проходить равнодушно и безразлично. Народ, который не умеет или не хочет беречь и укреплять общие основы своего бытия, будет сурово наказан; первое же социальное землетрясение даст ему хороший урок, и можно только желать, чтобы этот урок пришел не слишком поздно.

Итак: государство не призвано опускаться до частного интереса отдельного человека; но оно призвано возводить каждый духовно-верный и справедливый интерес отдельного гражданина в интерес всего народа и всего государства. Если государство это делает или по крайней мере стремится к этому, то оно выполняет свое духовное и христианское призвание, становится через это социальным государством и воспитывает этим своих граждан в духе христианской политики. И тогда оно становится орудием всеобщей солидарности и гражданского братства*.

Классы и партии

Согласно всему этому верная установка личного правосознания была бы такова. Гражданин принимает и усваивает все интересы и задачи государства как свои собственные; тем самым он принимает и каждый духовно-верный и справедливый интерес каждого из своих сограждан. Если есть какой-нибудь «частный» интерес, который духовно-верен и справедлив, то он есть уже не просто частный интерес, но

* Нельзя не отметить, что эта идея «братства» вошла в государственно-политический мир со времен христианизации европейских народов, а совсем не со времен первой французской революции 1789 года.

субъективное естественное право и тем самым — общий, публичный и всенародный интерес, интерес и задача самого государства. А это значит, что нет гражданина в государстве, который мог бы пройти равнодушно мимо этого интереса. И в этом состоит сущность здорового государственного настроения и правосознания.

Таким образом государственное правосознание поднимает частную волю отдельного гражданина на высоту истинной политической цели: оно расширяет ее объем (прикрепляя его к справедливым интересам всех сограждан) и облагораживает ее содержание (указывая ей именно на духовно-верные и справедливые интересы других). Этим политика воспитывает человека, приучая его созерцать весь горизонт своих сограждан и выделять повсюду то, что по его собственному крайнему разумению духовно-верно и справедливо. В этом воспитании частная воля гражданина не только поднимается на государственный уровень и не только расширяется в объеме, но и освобождается от личной жадности и классового своекорыстия. В общем же это есть процесс государственного очищения души.

Строго говоря, истинная политика совсем не служит частным и личным интересам, — все равно, будь это частный интерес определенного лица, целой группы или целого класса. Истинная политика принципиально отклоняет все и всякие частные вождения. Она считается только с верными и справедливыми интересами лиц, социальных групп (напр., ремесленников, домовладельцев, инвалидов) и социальных классов (напр., крестьян, наемных рабочих, промышленников); и притом исключительно с точки зрения целого народа, государства, родины, с точки зрения общего интереса, справедливости, естественного права. Если определенный интерес определенного класса духовно обоснован и справедлив, — то это уже не классовый интерес, но интерес народа в целом, интерес самого государства и потому каждого отдельного гражданина как такового; и тогда бессмысленно кричать о том, что это-де «классовый» интерес. То, что надо отстаивать и обосновывать, есть именно не классовый интерес; ибо классовый интерес как таковой есть частное вождение, и потому он не подлежит удовлетворению. Отстаивать надо лишь те «классовые» интересы, которые суть общенародные и государственные; только они заслуживают удовлетворения. Всякий необоснованный классовый интерес есть частное домогательство, проявление противогосударственной алчности; он должен быть отклонен; и никакая пропаганда, никакая агитация, никакая классовая травля, никакое вооруженное восстание или гражданская война не могут изменить в этом что-либо: противогосударственная природа этого интереса не изменится ни от крика, ни от клеветы и лжи, ни от кровопролития. Конечно, необоснованный классовый интерес может политически «победить»; но такая победа подготовит только разложение государственного правосознания в стране и превратится неминуемо в опасность — и для государства в целом, и для самого «победившего» класса... Нет государства, состоящего из одного класса; и создать такое государство невозможно, ибо жизнь покоится на разделении труда, на специализации умений, на потомственной культурной традиции и на самостоятельности творческой инициативы. Поэтому попытка одного класса победить и подавить или, тем более, искоренить все остальные классы заранее обречена на неудачу; ничего, кроме расстройств жизни, всеобщего обнищания, культурного разложения и бесконечной гражданской войны, из этого не выйдет.

Истинная политика ведется там, где царит солидарность между гражданами и между отдельными классами. Она возникает не из параллелизма частных интересов, не из конкурирующих своекорыстий, не из классовой борьбы, которая есть не что иное, как прикровенная гражданская война. Она возникает из солидарности и взаимности; она исходит от идеи целого, народного единства, родины; она считается с духом, со справедливостью, с естественным правом, с общими задачами и целями; она ведет не к классовым раздорам, не к партийной грызне, не к политическому торгашеству, не к распродаже с молотка государственной власти; она требует, чтобы гражданин отождествлял себя со своей родиной, чтобы он принял интерес своего государства и все справедливые интересы всех своих сограждан.

Государство, при верном понимании, есть не механизм «принуждения» и «классовой конкуренции», как воображают многие, — но организм духовной солидарности. И политика означает не партийные притязания, не партийную ложь и не партийные интриги, но подъем правосознания к постижению патристических целей и к разрешению подлинно государственных задач. Каждый из нас, каждое новое поколение должно принять свое государство правосознанием: принять как живое духовное единство — единство культуры, власти и исторической судьбы; принять и вложиться в это единство, взяться за разрешение его конкретных задач — духовных, национальных, хозяйственных и правовых. И для этого каждый из нас и каждое новое поколение должны прежде всего верно перестроить и настроить свое правосознание.

Единство родины и государства никогда не сложится и не окрепнет, если правосознание граждан будет находиться в состоянии брожения, соблазна и разложения. Единство родины и государства требует внутренне крепкого и неколеблющегося правосознания. Для того, чтобы из множества людей и интересов возникло

политическое единение и государственное единство, необходимо, чтобы личная воля человека с самого начала была направлена на это единение и на это единство. Только тогда и политические партии будут строиться на верных основах, и политические голосования приобретут верный смысл.

Политические партии не должны делиться по принципу личного, группового, или классового интереса. Они призваны служить не лицам, не группам и не классам, а родине, народу, государству. Поэтому каждая партия обязана иметь программу всенародной справедливости, всенародного органического равновесия; программу общих государственных интересов; программу сверхклассовой солидарности; программу естественных прав, учитывающую все слои и все классы. Партий может быть несколько, много. Однако они не смеют расходиться друг с другом на том, чьи интересы они «защищают»; ибо все они призваны защищать общие интересы. Расхождение их может касаться лишь того, какие интересы суть солидарные, общие, всенародные, государственные, сверхклассовые и какая система органического равновесия спасительна для страны...

Согласно этому должны пониматься и проводиться и всевозможные политические голосования. При выборах и голосованиях никто никого не спрашивает о его личных интересах или о классовых интересах. Речь идет об интересах сверхличных, сверхклассовых, государственных, всенародных, общих, солидарных. Избирателя совсем не спрашивают о том, «чего бы ему хотелось?»; или: «что было бы выгодно тебе и твоему классу?»; или еще: «кто, по твоему мнению, мог бы лучше всего защищать твои интересы?... Несомненно, что в действительности такая постановка вопроса является на выборах господствующей: каждый тянет государственную ткань к себе и на себя; тянущих много; что удивительного, если эта ткань трещит по всем швам и расплывается? Вся эта постановка вопроса является извращенной, ложной и пошлой; она не имеет решительно никакого отношения к родине, государству и политике, она возникла совсем не из здравого государственного правосознания. И поскольку народная масса, ведомая демагогами, действительно отвечает при голосовании на такие или подобные вопросы, то ее голосование оказывается просто трагикомическим недоразумением, опасным для родины и государства и снижающим весь политический уровень народной жизни... Каждый кричит в свою пользу, и все воображают, что получат тем больше, чем громче будут кричать; а там — как-нибудь уже создается компромисс из громко вопиющих личных и классовых жадностей. И людям до сих пор все еще не явна противополитическая природа этого образа действий.

Верно формулированный вопрос при выборах и голосованиях звучит совсем иначе: «в чем нуждается родина? в чем состоит благо моего народа в целом? какие справедливые интересы моих сограждан, принадлежащих ко всем социальным классам, я могу и должен отстаивать как солидарные, общие и всенародные? как можно было бы упрочить органическое единство моего государства на основах христиански-братской солидарности?» и т. д. И если кто-нибудь не может ответить на эти вопросы, хотя бы потому, что он никогда о них не помышлял, а думал всегда только о собственной шкуре, то ему следовало бы из честности и скромности воздержаться от подачи своего голоса. Ибо, в самом деле, это просить только детям — на вопрос: «как упрочить благосостояние семьи?»; отвечать требованием: «давайте мне сладкого пирога, да побольше!»...

Для того, чтобы дать ответ на верно поставленный вопрос, каждый из граждан должен позаботиться о следующем: во-первых, воспитать и упрочить свое государственное правосознание на основах христиански-братской солидарности и патриотизма; во-вторых, углубить и расширить свою силу суждения в вопросах духовной культуры, права и хозяйства. Каждый из нас должен понять, что пока он не выполнил этих двух условий, он будет давать при всяком голосовании мнимые ответы на ложно поставленные вопросы. Пока мы не перевоспитаем в себе и через себя народное правосознание, до тех пор никакие отвлеченно выдуманные, формальные политические реформы не преодолеют и не устранят современный политический кризис. До тех пор и государства будут брести по не-христианским или даже противохристианским путям, и последствия этого будут обнаруживаться в не-социальной или даже противосоциальной политике.

Государственное и политическое обновление может прийти только из глубины правосознания и человеческого сердца. Ибо только оно сумеет найти и новые основы для всенародного единения, и новые государственные цели, и новые формы политического устройства.

Над книгой «Путь духовного обновления» И Ильин работал в 1932—1935 годах. Первое издание вышло в 1937 году в Берлине без трех последних глав. В предлагаемой читателям подборке перепечатываются фрагменты из главы девятой («О государстве»). Воспроизводится текст полного посмертного издания (Мюнхен, 1962, стр. 225 — 236).

ИЗ КНИГИ «О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ»

Грозные и судьбоносные события, постигшие нашу чудесную и несчастную родину, пронесаются опаляющим и очистительным огнем в наших душах. В этом огне горят все ложные основы, заблуждения и предрассудки, на которых строилась идеология прежней русской интеллигенции. На этих основах нельзя было строить Россию; эти заблуждения и предрассудки вели ее к разложению и гибели. В этом огне обновляется наше религиозное и государственное служение, отверзаются наши духовные зеницы, закаляется наша любовь и воля. И первое, что возродится в нас через это, будет религиозная и государственная мудрость восточного Православия и, особенно, русского Православия. Как обновившаяся икона являет царственные лики древнего письма, утраченные и забытые нами, но незримо присутствовавшие и не покидавшие нас, так в нашем новом видении и волеии да проглянет древняя мудрость и сила, которая вела наших предков и строила нашу святую Русь!

В поисках этого видения мыслью и любовью обращаюсь к вам, белые воины, носители православного меча, добровольцы русского государственного тягла! В вас живет православная рыцарская традиция; вы жизнью и смертью утвердились в древнем и правом духе служения; вы соблюли знамена русского Христолюбивого Воинства. Вам посвящаю эти страницы и вашим Вождям. Да будет ваш меч молитвою и молитва ваша да будем мечом!

* * *

Ко всем друзьям и единомышленникам, которые помогли мне в этой работе, и особенно к издателю этой книги я навсегда сохраню в душе благодарное чувство.

Автор.

Введение

В страданиях мудреет человечество. Неведение ведет его к испытаниям и мукам; в мучениях душа очищается и прозревает: прозрешему зору дается источник мудрости — очевидность.

Но первое условия умудрения — это честность с самим собою и с предметом перед лицом Божиим.

Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силой и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий Его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силой? Вот двуединый вопрос, требующий ныне новой постановки и нового разрешения. Ныне особенно, впервые, как никогда раньше; ибо беспощенно и бесплодно решать вопрос о зле, не имея в опыте подлинного зла; а нашему поколению опыт зла дан, с особенной силой, впервые, как никогда раньше. В итоге долго назревавшего процесса злу удалось ныне освободить себя от всяких внутренних раздвоенностей и внешних препон, открыть свое лицо, расправить свои крылья, выговорить свои цели, собрать свои силы, осознать свои пути и средства; мало того, оно открыто узаконило себя, формулировало свои догматы и каноны, восхвалило свою, не скрытую более природу и явило миру свое духовное естество. Ничего равносильного и равнопрочного этому человеческая история еще не видала или, во всяком случае, не помнит. Столь подлинное зло впервые дано человеческому духу с такой откровенностью. И понятно, что при свете этой новой данности многие проблемы духовной культуры и философии, особенно те, которые имеют непосредственное отношение к идеям добра и зла, наполняются новым содержанием, получают новое значение, по-новому освещаются и требуют предметного пересмотра. И прежде всего — с виду морально-практический, а по существу глубокий, религиозно-метафизический вопрос о сопротивлении злу, о верных, необходимых и достойных путях этого сопротивления.

Этот вопрос надо поставить и разрешить философически, как вопрос, требующий зрелого духовного опыта, продуманной постановки и беспристрастного решения. Для этого необходимо прежде всего отрешиться от преждевременных и торопливых выводов применительно к своей личности, к ее прошлым действиям и будущим путям. Исследователь не должен предварять своего исследования отпугивающими возможностями или перспективами; он не должен торопиться судить свое прошлое или позволять чужому осуждению проникать в глубину сердца. Каково бы ни было последнее решение вопроса, оно не может быть практически единым или одинаковым для всех: наивность всеуравнивающей, отвлеченной морали давно уже осознана в философии, и требовать, чтобы «все всегда» сопротивлялись злу силой или чтобы «никто никогда» не сопротивлялся силой злу, — бессмысленно. Только неискущенный, свободный дух может подойти к проблеме честно, искренно, зорко; все додумать и договорить, не прятая трусливо и не упрощая; не заговаривая себя словами аффектированной добротели и не увлекая себя ожесточенными жестами. Весь вопрос глубок, угончен и сложен; всякое упрощение здесь вредно и

чревато ложными выводами и теориями; всякая неясность опасна и теоретически, и практически; всякое малодушие искажает формулу вопроса; всякое пристрастие искажает формулу ответа.

Но именно поэтому необходимо раз навсегда отрешиться от той постановки вопроса, которую с такой слепой настойчивостью вдвигали и постепенно вдвинули в философские не искусственные души — граф Л.Н. Толстой, его сподвижники и ученики. Отправляясь от чисто личного, предметно не углубленного и не пререженного опыта «любви» и «зла», предрешая этим и глубину, и ширину самого вопроса, урезывая свободу своего нравственного видения чисто личными отвлечениями и предпочтениями, не подвергая внимательному анализу ни одного из обсуждаемых духовных содержаний (напр., «насилие», «зло», «религиозность»), умалчивая о первоосновах и торопясь с категорическим ответом, эта группа морализирующих публицистов неверно поставила вопрос и неверно разрешила его; и затем со страстностью, нередко доходившей до озлобления, отстаивала свое неверное разрешение неверного вопроса как богооткровенную истину. И так как материал истории, биологии, психологии, этики, политики и всей духовной культуры не укладывался в рассудочные схемы и формулы, а схемы и формулы претендовали на всеобщее значение и не мирились с исключениями*, то, естественно, начался отбор «подходящего» материала и отвержение «неподходящего», причем недостаток первого восполнялся художественно «убедительными» построениями. Проповедовался наивно-идиллический взгляд на человеческое существо**, а черные бездны истории и души обходились и замалчивались. Производилось неверное межевание добра и зла: герои относились к злодеям; натуры безвольные, робкие, ипохондрические, патриотически мертвенные, противогражданственные — превозносились как добродетельные***. Искренние наивности**** чередовались с нарочитыми парадоксами*****; возражения отводились как софизмы; несогласные и непокорные объявлялись людьми порочными, подкупными, своекорыстными, лицемерами*****. Вся сила личного дара вождя и вся фанатическая ограниченность его последователей обращалась на то, чтобы духовно навязать другим собственную ошибку и распространить в душах собственное заблуждение. И естественно, что учение, узаконивающее слабость, возвеличивающее эгоцентризм, потакающее безволию, снимающее с души общественные и гражданские обязанности и, что гораздо больше, трагическое бремя мироздания, — должно было иметь успех среди людей, особенно неумных, безвольных, малообразованных и склонных к упрощающему, наивно-идиллическому мирозерцанию. Так случилось это, что учение графа Л.Н. Толстого и его последователей привлекало к себе слабых и простодушных людей и, придавая себе ложную видимость согласия с духом Христова учения, отравляло русскую религиозную и политическую культуру.

Русская философия должна вскрыть все это, незаметно внедрившееся в души, гнездо опытных и идейных ошибок и постараться раз навсегда удалить отсюда все неясности и наивности, всякое малодушие и пристрастие. В этом ее религиозное, научное и патриотическое призвание: помочь слабым увидеть и укрепнуть, а сильным удостовериться и умудриться.

* Ср. Л. Толстой. Закон насилия, стр. 55. Круг чтения, т. II, стр. 162 — 165.

** Ср. Л. Толстой. Закон насилия, стр. 53, 79, 80. Круг чтения, III, 155 и др.

*** Напр.: когда часовой убивает бегущего преступника, то это есть «подлость и низость». «Царство Божие», стр. 76; или «пьяный сифилитик Петр со своими шутами», там же, стр. 90; и т. под.

**** Напр.: «Животные живут мирно без государственного насилия», Л. Толстой, Закон насилия, стр. 129; «Всякая присяга вымогается у людей для зла». «В чем моя вера», стр. 92; ср. «Царство Божие»: «Теперь уже нет тех особенных насильников, от которых государство могло защищать нас», стр. 66; преступники «суть такие же люди, как и все мы, и точно так же не любящие совершать преступления, как и те, против которых они их совершают», стр. 66; «все европейские народы исповедуют одинаковые принципы свободы и братства и потому не нуждаются в защите друг от друга», стр. 67; ср. о «бесполезности... и нелепости собрания податей с трудового народа», 71; «Сумма насилия ни в коем случае не может увеличиться от того, что власть перейдет от одних людей к другим», 90; «государственная власть всегда принадлежит худшим и злым», 89 и сл.; «Злые всегда властвуют над добрыми и всегда насилуют их», 90; и т. п.

***** Напр.: «Политическая деятельность... правителей и их помощников... есть в сущности самая пустая, притом же и вредная человеческая деятельность». Закон насилия, 134 и др.

Напр.: «Степень отрицания учения о непротивлении и непонимание его всегда пропорциональна степени власти, богатства, цивилизации людей». Закон насилия, 171; ср. 22 — 27, 43, 170. Государственные властители суть «большую частью подкупленные насильники», точно такие же, как разбойники на больших дорогах. Там же, стр. 80, ср. 110, 129. «Признание необходимости противления злу насилем есть не что иное, как только оправдание людьми своих привычных, излюбленных пороков: мести, корысти, зависти, честолюбия, властолюбия, гордости, трусости, злости». Закон насилия, стр. 143. Ср. еще утверждение, что сенатор, министр, монарх — гаже и хуже палача и шпиона, ибо прикрываются лицемерием. Там же, стр. 147. Известно, что количество таких утверждений может быть увеличено во много раз, ибо Л.Н. Толстой был щедр на подобные характеристики.

Постановка проблемы

Все эти предварительные исследования и соображения, расчищающие путь и проясняющие перспективу, позволяют теперь обратиться к постановке основной проблемы: о духовной допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения.

Понятно, что проблему невозможно ставить до тех пор, пока не установлены и не определены скрытые за ней реальные, предметные величины. Как рассуждать о зле, не обозначив и не раскрыв его подлинную природу? Что можно высказать о понуждении, если смешать его с насилием и не видеть ни его духовной функции, ни его мотивов, ни его назначения? Позволительно ли ссылаться на природу добра, полагая, что его сущность общеизвестна, и не замечая того, что она упрощается и искажается в рассуждении? Что может получиться в результате, кроме несостоятельного вопроса и несостоятельного ответа?

Но для того, чтобы правильно поставить проблему и правильно разрешить ее, нужна не только определенность предметного видения; необходимо еще напряженное усилие внимания для удержания того данного состава условий, вне которого падает или снимается сама проблема. Так, не стоит ставить проблему «удельного веса стали» для того, чтобы потом незаметно заменить «сталь» «чугуном» и, далее, разъяснить мимоходом, что «чугун» есть, в сущности, «руда», определить не «удельный вес», а «абсолютный вес» произвольно взятого кусочка руды... Подобно этому не стоит ставить проблему «сонатной формы» для того, чтобы разъяснить, что сонат вообще не бывает, что доказать ее существование невозможно, что лучше совсем не слушать музыку и что самое лучшее — это внутреннее самонаблюдение глухого человека... Всякая проблема имеет смысл только при данных величинах и при их верном опытном восприятии; вне этого она падает или обесмысливается; и тогда тот, кто все-таки продолжает разрешать ее в этом виде, оказывается в смешном положении человека, который мнимо трудится над мнимыми величинами и потом с увлечением провозглашает абсолютную истину.

Исследовать проблему о допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения имеет смысл лишь при наличии следующих условий.

Во-первых, если дано подлинное зло. Не подобие его, не тень, не призрак, не внешние «бедствия» и «страдания», не заблуждение, не слабость, не «болезнь» несчастного страдальца. Налицо должна быть злая человеческая воля, изливающаяся во внешнем деянии. Перед судом правосознания это будет воля, направленная против сущности права и цели права; а так как духовность составляет сущность права и бытие живого духа есть цель права, то это будет противодуховная воля — по источнику, по направлению, по цели и по средству. Перед лицом нравственного сознания это будет воля, направленная против живого единения людей; а так как любовь есть сущность этого единения и любовь есть сама единящая сила, то это будет противолобовная воля — по источнику, по направлению, по цели и по средству. Всюду, где такая противодуховная и противолобовная воля изливается во внешнем деянии, встает вопрос о сопротивлении злу посредством пресечения. Понятно, что этот вопрос должен быть немедленно разрешен всюду, где внутреннее понуждение оказывается бессильным, а злая воля выступает в качестве внутренне одержимой внешней силы, т.е. где она проявляется как духовно слепая злоба, ожесточенная, агрессивная, безбожная, бесстыдная, духовно растлевающая и перед средствами не останавливающаяся, где, следовательно, реально дан тот состав настроений и деяний, за который евангельское милосердие определило, как наименьшее, утопление с жерновом на шее (Мтф. XVIII. 6).

Понятно, что истолкование наличного зла как недуга, заблуждения, слабости, случайного «падения» и тому подобное*, — не разрешает, а снимает поставленную проблему; и тогда все призывы к уговаривающему непротивлению оказываются не ответом на вопрос, а скрытым уклонением от вопроса и ответа.

Вторым условием правильной постановки проблемы является наличие верного восприятия зла, восприятия, не переходящего, однако, в его принятие. Пока зло никем не воспринято, пока ни одна душа не увидела внешнего деяния и не прозрела скрытую за ним и осуществившуюся в нем злобу, — никто не имеет ни основания, ни повода ставить и разрешать проблему внешнего сопротивления. Именно поэтому многие люди, заранее тяготясь предчувствуемой необходимостью ответа, отвертываются от зла и предпочитают его не видеть: то уклоняясь от надвигающихся сведений**, то «доброжелательно» истолковывая их в лучшем смысле, то укрываясь за невозможностью и непозволительностью судить ближнего, то утверждаясь в «вере», что злоба вообще не присуща людям***. Понятно, что отвернувшийся человек, не видящий, не

* Ср. Толстой. Закон насилия. 3. 139. Круг чтения, III, 14, 101, 103. Ср. «Крестник», XI, 187. «Сгъдно», XI, 629 — 634.

** Ср. Круг чтения, I, 15: «Когда услышишь о дурных делах людей, — не дослушивай до конца и старайся забыть то, что услышал».

*** Ср. Толстой. Закон насилия, 129; «Царство Божие», 66.

воспринимающий, не испытывающий, — не может разрешить проблему, ибо он погашает ее в самом себе, он освобождает себя от ее бремени, притупляет ее остроту и мучительность, а самого себя лишает права участвовать в ее обсуждении; и вследствие этого все его суждения по данному вопросу оказываются или некомпетентными, как суждения слепорожденного о дополнительных цветах, или схоластическими, как суждения резонера о не испытанных, выдуманных обстоятельствах.

Следует или не следует физически пресекать злодеяние — в этом компетентен только тот, кто видел реальное зло, кто воспринял его и испытал, кто получил и унес в себе его дьявольские ожоги, кто не отвернулся, но погрузил свой взор в зрак сатаны, кто позволил образу зла подлинно и верно отобразиться в себе и вынес это, не заразившись, кто воспринял зло, но не принял зла. Ибо принявший зло — заразился им, до известной степени стал им; и тем самым превратился из субъекта сопротивляющегося — в субъекта, которому надо сопротивляться. Ему ли разрешать вопрос о способах сопротивления? А не принявший зло — подлинно познал его, но не стал им; он имеет его в своем духовном опыте, видит его природу, понимает его пути и законы и потому способен верно поставить и разрешить проблему сопротивления; испытав, отвергнув и умудрившись, он приобрел тем самым силу видения и право суда.

Третьим условием правильной постановки проблемы является наличие подлинной любви к добру в вопрошающей и решающей душе. Проблема сопротивления злу есть не теоретическая, а практическая проблема; ее постановка, обсуждение и решение предполагают, что человек не только воспринимает, созерцает или даже изучает явления и поступки людей, но оценивает их, связуется с ними живым, приемлющим и отвергающим отношением, выбирает, предпочитает и соединяет с выбранным и предпочтенным свое самочувствие, свою радость, свою жизнь и свою судьбу. Здесь мало испытывать и воспринимать, — надо любить и вступать в живое тождество; мало услышать, надо искренно и подлинно чувствовать; мало констатировать, надо радоваться и негодовать. Если человек, не знающий различия между добром и злом, не может даже усмотреть проблему сопротивления злу, то человек, знающий это различие, но относящийся к нему индифферентно, может усмотреть эту проблему, но не сумеет ни поставить, ни разрешить ее. Ибо она открывается только тому, кто берет ее главным, центральным чувствием своей души; кто берет ее потому, что не может не взять, и не может не взять ее потому, что вопрос о победе добра над злом есть вопрос его личного бытия и небытия. Подлинное сопротивление злу не сводится к порицанию его и не исчерпывается отвержением его; нет, оно ставит человека перед вопросом о жизни и смерти, требуя от него ответа, стоит ли ему жить при наличии побеждающего зла, и если стоит, то как именно он будет жить для того, чтобы этой победы не было. Если торжество кощунственной противодуховности и озлобленной противодобротности не душит человека и не гасит свет в его очах, то это означает, что в его душе нет почвы для верного постижения и разрешения проблемы сопротивления злу. Ибо эта проблема формулируется так: что следует делать тому, кто подлинно любит стихию духа и любви, и вот присутствует при ее опорочении, извращении и угашении. Но компетентен ли не любящий судить о трагедии любящего? Что могут сказать «холодный» и «теплый» тому, кто горением приемлет Божественное? Имеет ли смысл допытываться у безразличного, что он будет делать, если увидит гибель того, к чему он безразличен? Вот почему когда духовный нигилист и индифферентист ставят проблему сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения, то они снимают ее своей постановкой и дают ей мнимое разрешение.

Четвертым условием правильной постановки проблемы является наличие волевого отношения к мировому процессу в вопрошающей и решающей душе. Практическая природа вопроса предполагает не только наличие живой любви, но и способность к волевому действию, и притом к волевому действию не только в пределах собственной личности, но и за ее пределами — в отношении к другим людям, к их злой деятельности, и к тому мировому процессу, в который они органически включены*. Этот процесс, при любящем и волевом восприятии его, предстает в образе великой, развивающейся борьбы, в которой живой и здоровый дух не может не участвовать на стороне добра: он не может не любить, не решать и не напрягаться, содействуя одному и препятствуя другому. И вот, если не стоит спрашивать о том, что делать безразличному, то совсем уже нелепо ставить вопрос о том, что делать человеку, органически безвольному (если бы такой был возможен) или обрекающему себя на искусственное безволие. Человек, сознательно извлекающий свою волю из участия во внешнем для него мире; или удерживающий ее от воздействия на душевно-духовную жизнь и душевно-телесную деятельность других людей, — не имеет ни основания, ни права ставить и разрешать проблему о сопротивлении злу посредством внешнего понуждения. Ибо он, с самого начала, угашает или отводит в себе ту душевную способность (волю) и духовную направленность (на чужое воление), которые только и могут осмыслить эту проблему. Ему и не стоит ставить ее, потому что она для него не существует; ему не стоит и решать ее, потому что она предрешена

* Ср. два правила, выношенные и сформулированные Афинагором и Тагианом, в которых Л.Н. Толстой любит усматривать своих единомышленников по «непротивлению»: «презирайте мир» и «помышляйте о смерти».

для него в отрицательном смысле. И все, что он может высказать верного по ее поводу, это открытое признание своей некомпетентности и принципиальное решение воздерживаться от участия в ее обсуждении.

Наконец, в-пятых, проблема сопротивления злу посредством внешнего понуждения действительно возникает и верно ставится только при том условии, если внутреннее самозаставление и психическое понуждение оказываются бессильными удержать человека от злодеяния. Физическое воздействие должно испытываться как необходимое, т.е. как практически единственно действительное средство при данном стечении обстоятельств; вне этого не имеет смысла ставить проблему. Самая сущность ее в том, что человеку практически даются всего две возможности, всего два исхода: или потакающее бездействие, или физическое сопротивление. В первом случае он, видя, что психическое понуждение недействительно и что злодейство все равно состоится, — или прекращает борьбу совсем и отходит в сторону («моя хата с краю»), или продолжает применять это средство, заведомо для него обреченное на неудачу. Во втором случае он выходит за пределы психического понуждения и направляет или ограничивает злодейскую волю посредством телесного воздействия. Понятно, что тот, кто выдвигает третий исход и допускает или обнаруживает для данного случая действительность самозаставления или психического понуждения, тот не разрешает проблему, а угадывает ее; он доказывает не духовную запретность практически необходимого пресечения, а его практическую ненужность; и этим снимает проблему, обходя ее и не исследуя.

Таковы основные условия правильной постановки этой проблемы: подлинная данность подлинного зла; наличность его верного восприятия; сила любви в вопрошающей душе; сила воли в исследующей и отвечающей душе; и, наконец, практическая необходимость пресечения. Проблема может считаться поставленной только тогда, если ставящий признает, что все эти условия даны, и если он в процессе исследования утверждает их силой своего внимания, не угадывает их сознательным отвержением или перетолковыванием. Отсутствие хотя бы одного из этих условий делает вопрос неверным, а ответ мнимым.

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если зла нет, а то, что кажется злом, есть страдание, восходящее к подвижничеству?» Ответ может быть только один: нет, конечно, не следует. Но чего же стоит этот мнимый ответ на вопрос, который сам себя упраздняет?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если я не вижу зла и не знаю, в чем именно оно состоит», и бывает ли оно вообще, и если бывает, то есть ли оно сейчас и где именно?» Ответ может быть только один: пока не видишь и не находишь — не следует. Но какую же цену имеет такой успокаивающий ответ на вопрос наивного или духовно слепого ребенка?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если действие зла ничему не вредит» или вредит только неценному, нелюбимому, такому, что на самом деле не заслуживает ни обороны, ни поддержки и к чему следует относиться безразлично?» Ответ не вызывает сомнений: нет, не следует. Но какое же значение может иметь этот расчетливо-верный ответ на испуганно-отрекающийся вопрос?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если воля моя мертва для всего внешнего и права в этой своей мертвости, если она не имеет никаких целей и заданий вне меня самого и моей души и не призвана ни к чему внешнему?» Ответ ясен: нет, не следует. Но что же может дать живому духу такой дедуктивный ответ, навязанный формулой самоубивающегося вопроса?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если столь же действительны или еще гораздо более действительны ласка, уговоры, доказательства или обращение к стыду и совести?» Ответ несомнителен: конечно, не следует. Но кого же успокоит этот самоочевидный ответ, игнорирующий трагическую глубину умолчанной дилеммы?..

Верная постановка проблемы дает совсем иную формулу вопроса, а именно: если я вижу подлинное злодейство или поток подлинных злодейств и нет возможности остановить его душевно-духовным воздействием, а я подлинно связан любовью и волей с началом божественного добра не только во мне, но и вне меня, — то следует ли мне умыть руки, отойти и предоставить злодею свободу кощунствовать и духовно губить, или я должен вмешаться и пресечь злодейство физическим сопротивлением, идя сознательно на опасность, страдание, смерть и, может быть, даже на умаление и искажение моей личной праведности?..

Печатается по изданию: Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. Лондон. 1975.

* Круг чтения, III, 101 -- 103; ср. «Крестник», т. XI, стр. 187; «Царство Божие», 13, 14.

** Ср. у Толстого его полемические фразы о невозможности бесспорного определения зла. «Царство Божие», 13, 18, «В чем моя вера», 66 — 67.

*** Ср. даже у Марка Аврелия. «Наедине с собою», VIII, 55: «Порок вообще ни в чем не вредит миру».

ИЗ КНИГИ «НАШИ ЗАДАЧИ»

Белая идея

Белое дело не нами началось, не нами и кончится. Но силою исторических судеб нам пришлось поднять ныне его знамя в России, и мы несем это знамя с чувством величайшей духовной ответственности. Не мы создали его: оно древне, как Русь; мы только стали под него, опять как бывало, в час смуты и разложения. Мы знаем тех вождей и строителей русского национального и государственного дела, которые не раз на протяжении русской истории становились под это знамя, скликали под него верных сынов родины и, претворяя чувство в волю и слово в дело, выводили Россию из бед и опасностей. Мы знаем эти имена и эти деяния; и знание это только усиливает и углубляет наше чувство ответственности и повышает те требования, которые мы сами к себе предъявляем. Но именно признание этой традиции пробуждает в нас надежду, что мы сумеем быть достойными этого знамени; что честна и грозна будет наша борьба под ним; что мы донесем его до конца и передадим к нашим детям. Мы знаем, что на нем начертано. Мы знаем, к чему оно нас обязывает. Но мы знаем также, что в верности ему — спасение и возрождение России.

Мы стали под его знамя потому, что иначе мы не могли и не хотели; ибо нас поставила под него любовь к России, которая сильнее нас, и честь России, без которой жизнь на земле теряет для нас цену. Это мы чувствовали с самого начала; с тою же силою мы чувствуем это и теперь. Наши братья, замученные в подвалах и павшие в боях, засвидетельствовали это и жизнью и смертью. И поэтому, куда бы ни привела нас белая борьба, мы прежде всего с благоговением вспоминаем о них.

В едином, общем деле они опередили нас; они уже совершили и победили; они донесли наше знамя до конца и показали, как можно и должно строить родину, умирая за нее. Их дух, их деяния, их слова живы среди нас; мы помним их; мы гордимся ими; мы сами хотели бы совершить то, что они совершили. И потому мы стремимся, прежде всего, сохранить историческую правду об их деяниях; подлинную правду о том, что было: какие события вызывали белую борьбу; как она началась и возникла; чего хотели, что думали и что совершили те, которые становились под белое знамя. Мы знаем, что эта строгая и подлинная историческая правда таила в себе с самого начала ту духовную правду, ту идею и правоту, которой они служили и которой мы будем служить и впредь. И вот, пусть повествования нашей Летописи вскроют помyselы, цели и деяния белой борьбы, ее порывы и подвиги, ее победы, неудачи и заблуждения. И вскрытые неудачи пусть дадут нам лучшее понимание белого дела; а вскрытые заблуждения пусть оттенят чистоту и верность нашего знамени и нашей идеи. И пусть на этом пути правда истории осветит правду духа.

То, чего мы ищем, — это не пристрастное восхваление, и не замалчивание, и не преувеличение; но *историческое освещение и умудрение*. Белая борьба нуждается в летописи, а не в идеализации; в верном самопознании, а не в создании легенды; в удостоверении, а не в искажении. То, что было, то было *в действительности*; и никто никогда не отнимет у нас бывшего и не вычеркнет его из истории России. Мы хорошо знаем, какие духовные ключи породили белое течение наших дней, какие чувства и намерения одушевляли его деятелей, к каким деяниям это их вело и приводило. Нам надлежит лишь удостоверить прошлые исторические факты и тем вернее и глубже раскрыть *движущую идею* белой борьбы, а грядущие события и беспристрастная история доделают и допишут остальное.

Движущая идея белой борьбы проста, как сердце честного патриота; сильна, как его воля; глубока, как его молитва о родине. Она веда белых с самого начала; и тогда, когда их сознание еще не могло формулировать ее; она поведет их и далее, после того, как она будет до конца осознана и выговорена. Без нее вооруженная белая борьба была бы обычною гражданскою войною; с нею и через нее — она возродила древнюю русскую патриотическую традицию и знаменовала зарождение новой, государственно здоровой России... В то время, когда вооруженная борьба только еще начиналась, бывало так, что борющиеся вливались в нее *по отрицательному признаку*: по признаку неприятия коммунистической революции. Однако бороться с коммунистами можно было по разным побуждениям и мотивам — и личным, и партийным, и имущественным, и мстительным; и те, кто боролся по этим не белым побуждениям, бывали, конечно, драгоценны и полезны в сражении, но бывали и опасны для белого дела вне боя... Но и тогда уже многие, очень многие, именно те, кто составлял основное, неугомимое ядро борцов, носили в своем сердце то положительное — простое, сильное и глубокое, — что образует природу белого сердца и белой воли. С тех пор неудачи и испытания, соблазны слева и справа — отметали и отвевали все шаткое и небелое от крепкого и белого. Время шло. Те, кто выдержал горнило *боя и разоруженного лагеря*, вступили затем в горнило черной работы и *рассеянного изгнанничества*. Это горнило еще не изжито нами. Но, может быть, не за горами и его конец, и тогда круг подготовительных испытаний будет нами пройден. И сквозь весь

этот круг мы пронесли и пронесем наше знамя, нашу идею, простую, сильную и глубокую.

Эта идея выношена нами в военной борьбе с революцией и коммунизмом; но белое дело не исчерпывается этой борьбой и не сводится к ней. Вот уже шесть лет, как белая армия лишена оружия и не сражается с коммунистами; а ее дух не поколеблен, ее цели не померкли, ее бытие не потеряло смысла. И дух ее, и смысл ее будут жить неумаленными и в том случае, если исторические судьбы не приведут ее в дальнейшем к возобновлению прервавшейся вооруженной борьбы. Белое дело по необходимости велось и, может быть, будет вестись и далее — мечом; но меч совсем не есть его единственное оружие. Белый дух будет верен себе и в гражданском служении, и в созидаемом труде, и в воспитании народа. Пройдут определенные сроки, исчезнут коммунисты, революция отойдет в прошлое; а белое дело, возродившееся в этой борьбе, не исчезнет и не отойдет в прошлое: дух его сохранится и органически войдет в бытие и строительство новой России. Ибо возродившееся в отрицании белое дело отнюдь не исчерпывается отрицанием; собрав свои силы в гражданской войне, оно отнюдь не питается гражданской войною, не зовет к ней во что бы то ни стало и не угасает вместе с нею; пробужденное революцией, оно отнюдь не сводится к «контр-революции»; борясь против губительной химеры коммунизма, оно совсем не выдыхается вместе с этой химерой, восставая против интернационала и его предательства, оно имеет свой *положительный* идеал родины. Поэтому не правы все те, кто думает или говорит, что белое дело есть то же самое, что «вооруженная контр-революция».

Эта неправда связана с другою такою же неправдою, будто белое дело есть дело «сословное» и «классовое», дело «реставрации» и «реакции». Мы знаем, что есть «сословия» и «классы», особенно сильно пострадавшие от революции. Но ряды белых борцов всегда пополнились и будут пополняться совершенно независимо от личного и сословного ущерба, от имущественного и социального убытка. И в наши ряды с самого начала становились и те, кто все потерял, и те, кто ничего не потерял и все мог спасти. И в наших рядах с самого начала были и будут до конца люди самых различных сословий и классов, положений и состояний; и притом потому, что белый дух определяется не этими вторичными свойствами человека, а первичным и основным — *преданностью родине*. Белые никогда не защищали и не будут защищать ни сословного, ни классового, ни партийного дела: их дело — дело России, родины, дело *русского государства*. И сама белизна личной воли определяется именно этой способностью — *жить интересами целого*, бороться не за личный приренок, а за *публичное спасение*, потопить и сословное, и классовое, и партийное дело — в *патриотическом и государственном*. И понятно, что те, кто не способен к этому, — не выдерживают соблазнов и обсыпаются налево или направо.

Подобно этому белое дело *никогда не было и не будет* делом «реставрации» и «реакции». Быть может, есть люди, которые желали бы механически поставить все на старое место, но среди нас нет таких людей. Мы не политическая партия и не обязаны иметь выработанную политическую программу; среди нас есть место людям различных уклонов, оценок и влечений. Но суровая борьба научила нас всех глубже всматриваться в исторические события и трезво учитывать условия реальной жизни. И поэтому мы свободны и от революционных и от реакционных предрассудков; и то, чего мы желаем для России, это — *исцеление и возрождение, здоровье и величие*, а не возврат к тому недугующему состоянию, из которого выросла революция со всем ее позором и унижением.

Придет время, когда белое движение примет форму патриотического ордена и породит национальную политическую партию. Сейчас это время еще не пришло: белая организация еще оторвана от своего государственного лона; она еще не освободила Россию. И поэтому она имеет и должна иметь ныне форму *невооруженной армии*, облеченной в ризу «Обще-Воинского Союза». Эта организация не завершила еще своего исторического испытания. И задача ее ныне состоит в том, чтобы *углубить, очистить и укрепить свой дух, соблюсти свои личные силы и свою организацию, осознать свою идею и пребыть до конца в верности своему знамени*.

Белое дело требует, прежде всего, *белого духа*. Утратить дух значило бы утратить все; соблюсти и укрепить его значит спасти главное и выполнить нашу историческую миссию. Дух может и не иметь политической программы; но он имеет свои основоположения, свои неоспоримые аксиомы. Формулировать эти аксиомы значит выговорить нашу идею. Эта идея редко нами выговаривается; но живет она во всех нас, в нашем чувстве, в нашей воле, в наших поступках. Это значит, *мы живем ею*. И вот, эта жизнь — вера в нее, борьба за нее, смерть за нее и составляет наше *белое дело*. И нашей главной заботой должно быть ныне то, чтобы белое дело, жившее и до нас, но не раз затеривавшееся в истории России, сохранилось после нас и творчески вошло в жизнь нашей родины. Ибо мы должны быть уверены, что если бы Россию вела *белая идея*, то не было бы вовсе революционного крушения; и если бы белые девизы владели русскими сердцами, то Россия и ныне цвела бы во всей своей духовной красоте и во всем своем государственном величии.

По глубокому смыслу своему *белая идея*, выношенная и созревшая в духе русского православия, есть идея религиозная. Но именно поэтому она доступна всем русским — и православному, и протестанту, и магометанину, и внеисповедному мыслителю. Это есть идея борьбы за дело Божие на земле; идея борьбы с сатанинским началом в его личной и в его общественной форме; борьбы, в которой человек, мужая, ищет опоры в своем религиозном опыте. Именно такова наша белая борьба. Ее девиз: *Господь зовет, сатаны убоюсь ли?*

Поэтому если белые берутся за оружие, то не ради личного и частного дела и не во имя свое: они обороняют дело духа на земле и считают себя в этом правыми перед лицом Божиим. Отсюда религиозный смысл их борьбы: она направлена против сатанинского начала и несет ему меч; а внутренне она обращается к Богу и возносит к Нему молитву. Господь не влагает нам в руки меч; мы берем его сами. Но берем мы его не ради себя и сами готовы погнаться от взятого меча. И из глубины этой духовной трагедии мы обращаем к Нему наш взор и нашу волю. И в жизни наша борьба и наша молитва являются единым делом. Девиз его: *моя молитва, как мой меч; мой меч, как молитва.*

Это означает, что белая идея есть идея волевая. Пассивный мечтатель, колеблющийся, сентиментальный, робкий — не шли и не пойдут в белые ряды. Белый — человек решения и поступка, человек терпения, усилия и свершения. Жизнь есть для него действие, а не состояние; акт, а не стечение обстоятельств. Ему свойственно двигаться по линии наибольшего, а не наименьшего сопротивления. Ему свойственно не созерцать свою цель и не мечтать о ней, а пробиваться к ней и осуществлять ее. Поэтому его девиз: *умей желать, умей дерзать, умей терпеть. И еще: в борьбе закаляюсь, в лишениях крепну.*

И все это во имя идеала, которому белое сердце предано, во имя которого белая воля напряжена. Жизнь без идеала, жизнь безыдейного авантюриста и карьериста непонятна и отвратительна белой душе. Белый живет чем-то таким, чем поистине стоит жить, стоит потому, что за это стоит и умереть. Этот идеал для него не мечта, а волевая задача; не предмет пассивного воображения, а предмет живых усилий. Он любит его огнем своей души, и любовь эта может стать грозой. И поэтому девиз его: *грозная любовь, честная борьба.*

Это значит, что белый дух покоится, прежде всего, на силе личного характера. Люди слабохарактерные и бесхарактерные, ни в чем насмерть не убежденные, с двоящимися мыслями и нецельными желаниями — или не шли в ряды белых, или скоро уходили из них. Напротив, человек с характером всегда находил себе здесь братьев по духу. Характер белого состоит в том, что он предан своей святыне; из нее вырастает его жизненное слово; а за словом его следует его дело. Он верит в то, что исповедует; и делает то, что говорит. От этой цельности — его сила; от этой силы — его самообладание. От цельности и самообладания — его жизненная прямота и его презрение ко всяческому нашептам, ко всякой лжи, кривизне и интриге. И поэтому его девизы гласят: *моя святыня, мое слово, мое дело. И еще: владею собою. И наконец: с поднятым забралом.*

Но всюду, где живет и дышит сила подлинного характера, она несет человеку драгоценные дары: *достоинство, свободу и дисциплину.* И по этим дарам каждый из нас может и должен всегда проверять, насколько его характер уже развился и окреп.

Наше достоинство в том, что мы блюдем в себе нашу святыню. Она наш духовный Кремль; в служении ей слагается наша жизнь; к ней мы обращаемся в трудные минуты нашей жизни; она дает нам уверенность и силу. Она дает нам способность *быть*, а не *казаться*; и этому девизу мы должны быть верны до конца. Святыня веры и родины — вот наше достоинство и наша честь. И тот, кто имеет ее, тот блюдет себя и свое уважение к себе, тот сохраняет свое благородство во всех жизненных положениях: и в изгнании, и в черной работе, и в нищете, и в опасности. Ему дорога его *честь*, а не *почести*; таков его девиз, и искушения честолюбия не уведут его на кривые пути.

Наша свобода в том, что мы, согласно великим заветам нашей церкви, сами любим и сами видим то, во что мы верим как в святыню. Наша святыня живет в нас; мы преданы ей без всяких приказов и понуждений, без всяких разрешений и запретов. Мы духом не рабы; мы свободны духом — свободны верою, чувством и волею. Поэтому мы и не приняли с самого начала ига революционной черни и коммунистического рабства; но восстали за свободу, которая стала нашим девизом, за священное право *молиться, любить, творить и умереть в свободе.* И это право мы утвердим в России навсегда.

Отсюда, именно отсюда сила нашей белой организации: ибо нет более крепкой, более выдержанной, более неразрушимой дисциплины, чем та, которая рождена свободной убежденностью и силой характера. Этой дисциплине не страшны никакие трудности, никакие искушения, никакие страхи и соблазны. Потому что она питается свободною верою и свободною волею самого дисциплинированного борца. Она родит не слепую покорность, пассивную и двусмысленную, и не послушание за страх, рабское и лукавое, — а за свободное повиновение, за совесть. И такое повиновение покоится на преданности и становится творчеством. Что может превзойти его по силе? И отсюда наш девиз: *силен свободным повиновением.*

И весь этот душевный уклад, живущий с большей или меньшей зрелостью в каждом белом борце, сообщает ему то уверенное спокойствие, которое необходимо ему в борьбе и неудачах. Он знает всею силою своей веры и своей воли, что победит то Божье дело, которому он служит; и поэтому «неудача» есть для него не более чем отсрочка победы; и видимость «поражения» не может его поколебать. Победа есть для него вопрос *правоты*; правоты перед лицом Божиим; а молитва, воля и время довершат дело и рассеют призраки вражьего успеха. Он следует девизу: *в правоте моя победа*; и уверенно предвкушает победу в самой своей смерти. Ибо он всегда помнит другой белый девиз, утверждающий, что *свободный в жизни силен в смерти*.

Именно такова наша белая борьба за родину. Россия для нас не просто «территория», и не просто «люди», и не только «быт», «уклад» и «мощь». Но это прежде всего национальный сосуд Духа Божия; это наш родной алтарь и храм; и освященный им кровный, дедовский очаг. И потому «родина» есть для нас не предмет бытового пристрастия, а подлинная религиозная святыня. Борясь за родину, мы боремся за совершенство, и силу, и свободу русского духа; а для его расцвета нам нужна и территория, и быт, и государственная мощь. И потому — не бытовой, а религиозный смысл имел для нас всегда наш кличущий девиз: все за родину, всё за родину.

России-родине и были даны с самого начала наши молчаливые, наши грозные клятвы, когда поколебались основы ее бытия и ее быта. Они были даны там, в донских степях, и в северных снегах, и в сибирской тайге, и в первых одиночках Москвы. Мы ни в чем не изменили с тех пор этим клятвам: они помогли нам найти друг друга; они закалили нас; они сделали нашу армию органом национального достоинства и спасения. И ныне, обертываясь на пройденный путь, мы знаем, сколь верен и мудр наш девиз, утверждающий, что *блаженство в верности*.

Могли ли, могли ли мы, должны ли были действовать иначе, чем мы действовали? В час величайшей беды, в час национального крушения и унижения, могли ли мы не встать и не принять на свои плечи бремя, свалившееся на нашу родину? Разве патриот отделим от своего отечества? Разве есть для него жизнь, и солнце, и радость, когда гибнет его родина? Или он может делить с нею годы расцвета и отступаться от нее в часы гибели? Слабы были наши плечи; скудны были наши силы; неясны были наши пути... Но нас вел наш святой, добровольческий девиз: *подъемлю добрую волю — и родина оценит наше белое дело*.

Мы верим в это и будем верить до конца; ибо дух народа и совесть народа производят свой суд тогда, когда действовавшее поколение уходит из жизни и стихает кипение личных страстей, тщеславий и честолюбий; когда беспристрастная история вскрывает архивы, освещает поступки намерениями и вычитывает сокровенный смысл событий. Тогда обнаружится во всей своей полноте наша историческая и идейная правда и Россия не забудет тех, кто пошел за Алексеевым и Корниловым, не ища для себя ничего и отдавая все, что человеку бывает дорого в личной жизни. Ибо их девиз гласил: *любовию ведом, жертвою очишаюсь*. Что нам отзвывы современных недругов, зоилов и клеветников? Что знают они о наших подлинных побуждениях и целях? Что нам кривые суждения непротивленцев и ханжей, полупредателей и лицемеров? Что знают они о нашей «сухости» и «жестокости», о нашем «бессердечии» и «злостовании»? Не им дадим ответ; не их суда мы ждем. Наш девиз учит иному; он говорит: *служу России, отвечаю Богу*.

Богу и судьбе было угодно так, чтобы жизнь наша была достигнута великою русской смутю, имя которой «революция», «гражданская война» и «коммунизм». Не мы вызвали эту смуту; не мы хотели революции; не мы начали гражданскую войну; не мы губили Россию коммунизмом. И, может быть, многие из нас мечтали бы родиться в другую эпоху и служить России иначе. Но жребий был брошен, и притом не нами; предотвратить трагедию было не в наших силах. Мы могли только мужественно принять ее и честно изжить ее в борьбе.

Весь дух этой смуты был тягостен и отвратителен нам. Ибо это был дух жадности и посягательства, зависти и злобы. А наш дух иной, обратный смуте: *жертвую, но не посягаю; соревную, но не завидую*. Перед нами было одно задание, один исход: надо было спасти Россию; надо было избавиться ее от духовной заразы; надо было остановить ее распадение. И гражданская война стала для нас духовной неизбежностью. Жалок тот народ, который при таких условиях не нашел бы в себе сил для военного сопротивления... И Россия нашла их в нашем лице. И если бы история вернулась вспять, мы совершили бы опять то же самое... Но не личная ненависть водила нас в бой и не личная злоба; и не мести искали мы. И ныне, предвидя возможное возобновление борьбы, свидетельствуем: не мести, не мести, а отрезвление, очищение и примирение несем мы в Россию. Ибо наш девиз: *побеждаю, но не мщу*. Мы не одержимы духом гражданской войны; мы знаем ее гибельность и ее безумие. И никто из нас не прольет в России ни одной лишней капли крови.

Да, белое дело состоит в том, чтобы бороться за родину, жертвуя, но не посягая; утверждая народное спасение и народное достояние, но не домогаясь прибавка для себя; строя национальную власть, но не подкапываясь под нее; служа живой справедливости, но не противостоительному равенству людей. Мы не верим в справедливость насильственного уравнивания и имущественного передела; мы не верим

в целесообразность общности имущества, в правоту социализма, в спасительность коммунизма. Дело не в бедности, а в том, как справляется дух человека с его бедностью. Дело не в богатстве, а в том, чтобы каждый человек мог трудиться; трудясь, строить и приумножать; приумножая, творить новое и делиться с другими. Мы утверждаем естественность и необходимость частной собственности и видим в ней не «грех» и не «стыд», а личное и общественное духовное задание. И потому наши девизы: *собственность и творчество; изобилие и щедрость*.

И мы знаем, что на этих основах будет строиться грядущая, новая Россия.

Она предносится нам единою, ибо в центробежном распаде государство не живет, а умирает, не крепнет, а слабеет и гибнет. Она предносится нам великою — в качестве и в размере, в духе и в силе, в заданиях и в достижениях. Она предносится нам примиренною — установившею мир, терпимость, доверие и уважение среди своих народностей, классов, провинций и сословий. Она предносится нам возрожденною — в религии и в просвещении, в правопорядке и в хозяйстве, в семье и в быту. И мы выражаем этот облик в нашем исконном девизе: *единая, великая, примиренная, возрожденная*.

Мы не сомневаемся в том, что это грядет и осуществится. Россия была духовно больна перед смутой; революция явилась как обострение и развитие этой болезни. И вот, в страданиях и лишениях открываются глаза у наших братьев, несших иго коммунистов: идет отрезвление и оздоровление; выдыхается ненависть и истощается зависть; в душах пробуждается патриотизм и гражданственность. Русский в русском опять научается видеть брата по крови и по духу, а в России единую и общую мать. Близится тот час, когда все поймут, что у родины нет и не может быть пасынков; что у нее не должно быть обездоленных, бесправных, беззащитных и угнетенных; что русским станется всякий, кто огнем своей любви и своей воли говорит «я — русский!». И когда придет этот час, тогда все почувствуют и поймут, что в единстве русского лона — все остальные деления второстепенны или несущественны; что все «классы» и все «партии» — для России, что Россия существует не для классов и не для партий. И тогда победят наши девизы: первый — *сыны и братья*; второй — *один за всех, все за одного*.

Вне этих основ нет здоровой государственности; и на них будет стоять наша Россия. Знаем, что для этого русские души по обе стороны родного рубежа должны очиститься от предреволюционных недугов и революционных страстей; что они должны погасить в себе старый дух и зажечь новый; что они должны принять по-новому родину как целое и восчувствовать по-новому государственное дело России. И прежде всего усвоить дух качества и дух служения.

Не худшему, а лучшему должен быть открыт путь вверх. Всякий государственный строй, не соблюдающий этого, обречен на гибель. Путь вверх должен быть открыт не тому, кто одержим похотью властвования, а тому, в ком государственная воля и разумение соединяются с обостренным чувством ответственности; не бесчестному демагогу и не бездарному интригану, а мужу служения и совета; не тому, кто ранее чем-то был, а тому, кто ныне способен к несению государственного бремени. Тому — кто умеет обрести свое *достоинство в служении*; кто словом или делом исповедует, что *власть есть бремя* и что *верность долгу есть утешение*. Мы верим, что править Россиею и вести ее должны ее лучшие сыны. Отсюда наш девиз: *дорогу честности и таланту*; и еще: *нами правит лучший*.

Будет ли это русский Государь? Доживем ли мы до этого счастья, чтобы его благая и сильная воля всех примирила и объединила, всем дала справедливость, законность и благоденствие?... Будет, но не ранее чем русский народ возродит в себе свое древнее *умение иметь Царя*... А до тех пор мы примем волю и закон от того русского патриота, который поведет Россию к спасению, кто бы он ни был и откуда бы он ни пришел: ему наша сила, ему наша верность, ему наше свободное повиновение за совесть. Ибо он будет живым органом России, орудием ее национального самоспасения.

Пусть в этом деле не проснется дух раздора, тягания, отмщения, требовательности и местничества... Пусть личная жертвенность и государственная амнистия совместно погасят обиды и несправедливости смутного времени. Пусть раскаяние и личная годность дадут исход тому, кто позволил революции увлечь себя; пусть только бывшие «красные» солдаты и офицеры поймут, кому они служат, вспомнят свой долг перед Россией и братски, да, братски, воссоединятся с нами; пусть, наконец, всякий русский, живший за рубежом, свободно вернется и найдет свое место в возрождающейся родине. России нужны все ее национальные силы, все ее верные сыны, все, кто несет ей преданность, а не предательство. Все они составляют ее живое достояние: все они должны быть призваны и соблюдены; все должны быть допущены к новому творчеству и строительству. И наш девиз выговаривает это в словах: *творю и соблюдаю*. Ибо в жизни человека и народа — новое всегда создается и вырастает из соблюденного старого; и отвергающий свое историческое достояние обессиливает себя самого...

В верном предвидении этого, в крепкой уверенности живут и готовят это возрождение России люди белой идеи. Они знают друг друга; и доверяют друг другу; и доверяют своим вождям. Их основной и последний девиз — ЛЮБОВЬЮ и

КРОВЬЮ СПАЯННЫЕ — останется до конца их утешением и опорой. Что бы ни случилось еще, какие бы удары ни были еще нанесены белому делу и откуда бы они ни последовали — эта спайка переживет все и сохранится до конца. Ибо она необходима России. Так, как мы спаялись друг с другом — любовью к родине и кровью на полях чести, — так да спаяемся мы в будущем с нашими братьями, офицерами и солдатами, ныне имеющими несчастье числиться в красной армии! Так, как мы нашли друг друга в добровольном служении России, в жертвенной борьбе за нее и в свободном повиновении нашим вождям, — так должны найти себя и объединиться все русские люди от земледельца до ученого, от рабочего до художника! Белая идея больше нас; она велика, как Россия, и она должна охватить ее всю. Белое дело не нами началось: оно коренится в исконных русских традициях и оно доступно всем русским сердцам без исключения. Белый дух не нами кончится: он будет вести и строить Россию и тогда, когда нас не будет в живых...

Ибо этот дух не дух части, а дух целого. Это дух русского национального всеединства. И дело это есть правое дело. И идея эта есть верная идея.

И именно потому — за нами будущее...

Политика и уголовщина

Мы переживаем эпоху, в которую политика все более смешивается с грязью. Это надо продумать и из этого надо сделать выводы.

Всякое революционное движение нуждается в денежных средствах. Чем настойчивее, чем нетерпеливее и чем беднее революционер, тем острее становится для него вопрос о добычании денег любыми путями и средствами; чем решительнее он «отвергает капитализм» и чем больше он, в качестве социалиста или коммуниста, «презирает частную собственность», тем ближе он подходит к уголовному правонарушению. Это предвидел Достоевский, у которого Петр Верховенский прямо говорит: «я ведь мошенник, а не социалист». Это предвидел Лесков (в «Соборянах»): «мошенники, ведь, всегда заключают свою узурпацию все сумятицы, в которые им небезвыгодно вмешаться». Это предвидел граф А.К. Толстой и другие. Но предотвратить этого развития в России не удалось.

Еще Бакунин, мечтая о русской революции, возлагал свои надежды на русский преступный мир.

Уже в первую русскую революцию (1903 — 1906) некоторые революционные партии перешли к «экспроприациям», т.е. к ограблениям с убийством и к прижизненным и посмертным вымогательствам (смерть Саввы Морозова).

В страшные годы 1917 — 1920 смешалось все. Люди грабили и уверяли, что они «грабят награбленное». Интеллигентные революционеры присваивали себе чужие дома, чужие квартиры, чужую мебель, чужие библиотеки; и несколько не стыдились этого. Крестьяне грабили помещичьи усадьбы; революционные матросы — офицеров и городских «буржуев»; чекисты — арестованных; безбожники — храмы; солдаты — военные склады. Революция стала грабежом, следуя прямому указанию Ленина. В марте 1917 года Временное правительство амнистировало уголовных, считая их, по-видимому, нелегальными борцами против имущественной несправедливости, которые совершали свои уголовные деяния якобы вследствие отсутствия в стране свободы и равенства и якобы жаждали морального возрождения (см. в воспоминаниях заведующего всем розыскным делом Империи А.Ф. Кошко «Очерки уголовного мира Царской России», стр. 214). В то же время петербургская дактилоскопическая коллекция с фотографиями преступников и подозрительных лиц достигала *двух миллионов* (стр. 195) снимков. И вот преступный мир покинул тюрьмы, освобождая их для «контр-революционеров», — и привычные жители тюрем влились в революцию. Уголовные, принимавшие коммунистическую программу, быстро и легко вращались в партию и особенно в Чеку; уголовные, желавшие грабить самовольно, вне революционной дисциплины, арестовывались и расстреливались. В 1920 году лицо, близкое к профессиональному уголовному розыску, отмечало: «все нынешние преступники — новички, дилетанты; они грешат с голоду, ни скрыть, ни «завязаться», «смыть кровь» не умеют; а профессионалы-рецидивисты, тюремщики — или в партии, или перебиты ею за самовольство».

Главные правила революции гласят: «добро есть то, что полезно революционному пролетариату; зло есть то, что ему вредно», «революция — позволено все»; «законы буржуазных стран не связывают революционера». Все это внушено членам компартии и ее чиновникам. Так возник этот режим: разбойники стали чиновниками, а чиновники стали разбойниками. Уголовные и политики слились. Политическое и уголовное смешалось. В самую сущность новой «политики» были включены: ограбление, ложное доношение, беззаконные аресты, произвольные мучительства и убийства, вечная ложь, вечное вымогательство и законченный административный произвол. Уголовное (преступное) обхождение человека с человеком стало самой сущностью политики. А политика, принципиально

признавая преступление полезным для революции, зловеще засветилась всеми цветами уголовного наказания.

Но, что еще хуже: режим, возникший из этого смещения, поставил граждан в такие условия, при которых невозможно прожить без «блата». Это систематически подрывает все основы русского правосознания — вот уже в течение тридцати лет.

Уже в начале революции в широких кругах русского народа (в том числе и в интеллигенции!) складывалось сознание, что человек, ограбленный революцией, может вернуть себе свое имущество любыми путями. Именно отсюда все эти бесконечные советские «растраты», «хищения», подкупы, взятки: это есть или революционный грабеж, или же произвольное самовознаграждение пострадавшего от революции. Русское правосознание отвергло государственную природу советских захватов и признало ее делом уголовного насилия. И на уголовщину сверху стало отвечать «блатом» снизу.

Это понимание приобрело в дальнейшем величайшую популярность в народе под давлением тех хозяйственных мер, которые лишили русский народ свободных и достаточных средств производства и прокормления (социализм!). Нелегальное приобретение стало в России необходимым условием существования при социалистическом режиме. Черный рынок; отчетом прикрытая перетрата или растрата; тайная продажа «казенного имущества»; унос продуктов или полупродуктов с фабрик; ночное расширение крестьянами приусадебных участков; взаимное «одолжение» советских директоров; торговля похищенными спецами со стороны Гепеу и Гулага; ложное доношение как средство «спасения» и заработка — все виды советской нелегальности, вынужденной социализмом, неисчислимы. Уголовщина оказалась естественным коррективом к коммунистическому бедламу. Здесь человек от голода крадет свою собственную курицу; здесь библиотекарь потихоньку торгует страницами, вырванными из книг на куреве; здесь коммунисты «протаскивают через постель» подчиненных им интеллигентных женщин. Здесь люди в голодные годы доходят до людоедства. Все это должно быть сохранено для историков последующих поколений. Из всего этого должны быть сделаны выводы теперь же.

В революции политическое вырастает в уголовщину. В социальной и социалистической революции политика и уголовщина становятся неразличимы. В коммунистическом строе люди ищут спасения от голодной смерти и стужи в непрерывной уголовщине.

Тридцать лет упражнения в таком правосознании вряд ли могут быть признаны хорошей подготовительной школой для демократии.

Русская революция была катастрофой

После всего, что произошло в России за последние 32 года (1917 — 1949), нужно быть совсем слепым или неправдивым, чтобы отрицать *катастрофический характер* происходящего. Революция есть катастрофа в истории России, величайшее государственно-политическое и национально-духовное крушение, по сравнению с которым Смута бледнеет и меркнет.

Смута была брожением; народ перебродил и опомнился. Революция использовала новую смуту и брожение и не дала народу ни опомниться, ни восстановить свое органическое развитие.

Смута была хаотическим бунтом и дезорганизованным разбоем. Революция оседлала бунт и государственно организовала всеобщее ограбление.

Смуту никто не замыслил: она была эксцессом отчаяния, всенародным грехопадением и социальным распадом. Революция готовилась планомерно, в течение десятилетий; в известных слоях интеллигенции она стала традицией, передававшейся из поколения в поколение; с 1917 года она стала систематически проводиться по заветам Шигалева и чудовищным образом закрепляться: она ломала русскому человеку и народу его нравственный и государственный «костяк» и нарочно неверно и уродливо сращивала переломы.

Смута длилась 9 лет (1604 — появление самозванца, 1613 — избрание на царство Михаила Федоровича). Революция тянется уже 32 года, и конца ей не видно. Подрастают новые поколения, живущие в России, но не знающие ни ее истории, ни ее священных традиций, ни ее международного положения.

Смута разразилась в сравнительно первобытной России, расшатанной и оскудевшей после террора Иоанна Грозного. Революция была подготовлена и произведена в России, которая культурно цвела, хозяйственно богатела и прогрессивно реформировалась. Россия начала XX века имела две опасности: войну и революцию. Войну ей сознательно навязала Германия, чтобы остановить ее рост; революцию в ней сознательно раздули революционные партии, чтобы захватить в ней власть.

После смуты Россия была разорена (засеивалась всего одна двадцать третья часть прежней площади); но она сохранила свой национальный лик. Революция разоряет

и вымаривает ее систематически и симулирует ее мнимое «богатение»; она искадила ее национальный лик, отменила даже ее имя и превратила ее в *мировую язву*, грозящую всем народам.

Поэтому русская революция есть величайшая катастрофа — не только в истории России, но и в истории всего человечества, которое теперь слишком поздно начинает понимать, что советский коммунизм имеет *европейское происхождение* и что он теперь ломится назад — на свою «родину». Ибо он готовился в Европе сто лет в качестве социальной реакции на мировой капитализм; он был задуман европейскими социалистами и атеистами и осуществлен международным сообществом людей, сознательно политизировавших уголовщину и криминализовавших государственное правление. В мире встал аморальный властолюбец, сделавший науку и государственность орудием всеобщего ограбления и порабощения, — жестокий и безбожный, *величайший лжец и пошляк мировой истории*, научившийся у европейцев клясться именем «пролетариата» и оправдывать своими целями самые гнусные средства.

Итак, русская революция подготавливалась на протяжении десятилетий (с семидесятих годов) — людьми сильной воли, но скудного политического разума и доктринерской близорукости. Эти люди, по слову Достоевского, *ничего не понимали в России*, не видели ее своеобразия и ее национальных задач. Они решили политически изнасиловать ее по схемам Западной Европы, «идеями» которой они, как голодные дети, объелись и подавились. Они не знали своего отечества; и это незнание стало для русских западников гибельной традицией со времен главного поносителя России — католика Чаадаева...

Русские революционеры не понимали *величайших государственных трудностей*, создаваемых русским пространством, русским климатом и ничтожной плотностью русского населения. Они совершенно не разумели того, что русский народ является носителем порядка, христианства, культуры и государственности среди своих многонациональных и многоязычных сограждан. Они не желали считаться с суровостью русского исторического бремени (на три года жизни — два года оборонительной войны!) и хотели только использовать для своих целей накопившееся в народе утомление, горечь и протест. Они не понимали того, что государственность строится и держится живым народным правосознанием и что русское национальное правосознание держится на двух основах — на *Православии* и на *вере в Царя*. Как «просвещенные» неверы, они совершенно не видели драгоценного своеобразия русского Православия, не понимали его мирового смысла и его творческого значения для всей русской культуры. Они не видели тех опасностей, которые заложены для России — в неуравновешенности русского темперамента, в незрелости русского добродушного, по-детски увлекающегося и шаткого характера и в его многосотлетней непривычке активно и ответственно строить свое государство. Они не понимали, что западные демократии держатся на многочисленном и организованном «среднем сословии» и на собственническом крестьянстве и что в России нет еще ни того, ни другого.

Они видели только *сравнительную бедность и нравственную удобособлазнимость* русского народа — и десятилетиями демагогировали его. И никому из них и в голову не приходило, что народ, не привыкший к политической свободе, не поймет ее и не оценит; что он *злоупотребит* ею для дезертирства, грабежа и резни, а потом *продаст ее тиранам за личный и классовый прибыль*... Подпиливали столбы и воображали себя титанами, «Атлантами», способными принять государственное здание на свои плечи. Закладывали динамит и воображали, что удасться снести одну крышу, которая немедленно сама вырастет вновь из «нерухнувшего» здания. Сеяли ветер на все четыре стороны и, пожиная бурю, удивлялись, что их парусную лодку опрокинуло волною...

На этой политической близорукости, на этом доктринерстве, на этой безответственности — была построена вся программа и тактика русских революционных партий. Они наивно и глупо верили в политический произвол и не видели *иррациональной органичности русской истории и жизни*. И слишком поздно поняли свои ошибки. Благороднейшие из них признали свои недоразумения и промахи уже в эмиграции (Плеханов, Церетели, Фундаминский), тогда как другие доселе восхищаются своим «февральским» безумием...

Русская революция была безумием

Она была безумием, и притом *разрушительным безумием*. Достаточно установить, что она сделала с русской религиозностью всех исповеданий, в особенности с православной церковью; что она учинила с русским образованием, в особенности с высшим и средним образованием, с русским искусством, с русским правом и правосознанием, с русской семьей, с чувством чести и собственного достоинства, с русской добротой и с патриотизмом...

Она была безумием со стороны самих *умеренно-революционных* и *полуреволюционных* партий, кои вскоре были уничтожены со всеми их планами, программами, кадрами, газетами и традициями.

Но она же обнаружила и безумную беспечность и близорукость *правых* — *охранительных партий*, которые не имели ни творческих идей, ни социальных

программ, ни верных кадров в стране. Их хватило только на то, чтобы затруднить великую реформу Столыпина... А «крайне правые» только и умели обманно уверять Государя в «многомиллионности» своего «союза» и в его «верноподданничестве», с тем чтобы в грозный час опасности предать Царя и его семью на арест, увоз и убиение...

Революция была безумием и для *русского крестьянства*. Русское крестьянство стояло перед исполнением всех своих желаний; оно нуждалось только в лояльности и терпении. Равноправие и полноправие давалось ему от Государственной Думы (законопроект, выработанный В.А. Маклаковым). Земля переходила в его руки столь стремительно, что по подсчету экономистов к 1932 году в России не осталось бы ни одного помещика: все было бы продано и куплено по закону и нотариально закреплено. Земля отдавалась ему в частную собственность (реформа П.А. Столыпина, 1906). К началу этой реформы Россия насчитывала 12 миллионов крестьянских дворов. Из них 4 миллиона дворов уже владело землей на праве частной собственности, а 8 миллионов числилось в общественном владении. За 10 лет (1906 — 1916) на выдел из общины записалось 6 миллионов дворов из восьми. Реформа шла полным ходом в связи с прекрасно организованным переселением; она была бы закончена к 1924 году. Но революционные партии позвали к «черному переделу», осуществление которого было сущим безумием: ибо только «тело земли» переходило к захватчикам, а «право на землю» становилось спорным, шатким, непрочным и прекарным (т.е. срочным до востребования); оно обеспечивалось лишь обманно — будущими экспроприаторами, коммунистами. Итак, историческая эволюция давала крестьянам землю, право на нее, мирный порядок, культуру хозяйства и духа, свободу и богатство; *революция* лишила их всего. Подготовительный нажим большевиков начался немедленно вслед за «черным переделом» и длился 12 лет. Взяв за тем (1929 — 1935) коммунисты приступили к коллективизации и, погубив казнями и ссылками не менее 600 000 дворов и семей, ограбили и пролетаризировали крестьян и ввели государственное крепостное право.

Революция была безумием и для *русского промышленного пролетариата*. Война 1914 — 1917 гг. поставила его непосредственно перед легализацией свободных рабочих союзов. Революция дала ему — гибель его лучших технически обученных кадров; долгие годы безработицы, голода и холода; порабощение в тоталитарных тред-юнионах; снижение уровня жизни на целые поколения; падение реальной зарплаты; государственную «потогонную систему» (стахановщина); систему взаимного политического сыска, доносительства и концлагеря.

Почему сокрушился в России монархический строй?

Прошло 35 лет с тех пор, как в России — так неожиданно, так быстро, в несколько дней, и притом столь трагически и столь беспомощно, — сокрушился, отменился и угас монархический строй. Распалась тысячелетняя твердыня. Исчезла государственная форма, державно державшая и строившая национальную Россию. Священная основа национального бытия подверглась разложению, поруганию и злодейскому искоренению. И Династия не стала бороться за свой трон. Трон пал, и никто тогда не поднял и не развернул упавшего знамени; никто не встал под ним открыто, никто не встал за него публично. Как если бы никогда и не было дано присяги, как если бы угасли все священные обязательства монархии — и наверху, и внизу. Честных, и храбрых, и верных было не мало; но воля у них была как бы в параличе и кадры их были рассеяны по всей стране. И началась отчаянная гибельная авантюра, длящаяся и до сего дня; и конца ей еще не видно.

И вот, за все эти 35 лет я не знаю ни одной попытки осветить это трагическое крушение, объяснить этот государственный обвал, указать те исторические причины и те политические ошибки, которые привели Россию к такому крушению. Ибо, — скажем это открыто и недвусмысленно, — крушение *монархии* было крушением *самой России*; отпала тысячелетняя государственная форма, но водворилась не «российская республика», как о том мечтала революционная полуинтеллигентия левых партий, а развернулось *всероссийское бесчестие*, предсказанное Достоевским, и оскудение духа; а на этом духовном оскудении, на этом бесчестии и разложении вырос государственный Анчар большевизма, пророчески предвиденный Пушкиным, — больное и противоестественное древо зла, рассылающее по ветру свой яд всему миру на гибель.

В 1917 году русский народ впал в состояние *черни*; а история человечества показывает, что чернь всегда обуздывается *деспотами* и *тиранами*. В этом году, который шестнадцатилетний Лермонтов почти за 100 лет перед тем пророчески обозначил как «России черный год», русский народ развязался, рассыпался, перестал служить великому национальному делу — и проснулся под владичеством интернационалистов. История как бы вслух произнесла некий закон: в России возможны или *единовластие*, или *хаос*; к республиканскому строю Россия не способна. Или еще точнее: бытие России требует *единовластия* — или религиозно и национально укрепленного единовластия чести, верности и служения, т.е. *монархии*; или же

единовластия безбожного, бессовестного, бесчестного, и притом *антинационального* и *интернационального*, т.е. *тирании*.

И, возвращаясь мыслью, воображением и сердцем к дореволюционному времени, когда Россия, оставаясь Россией, органически и в то же время стихийно росла и цвела, мы не можем не спросить себя, как же это тогда — и в тесном династическом кругу, и среди чиновничества, и среди интеллигенции, и в народной массе, — как же это тогда люди не видели, что крушение *монархии* будет крушением *самой России*? Как не видели они той спасительной политической формы, которая одна только и могла вести и строить русскую жизнь и беречь русскую культуру? Что это было за ослепление? Чего не хватало русским людям для того, чтобы мужественно пережить трудную годину и сохранить религиозно освященную и исторически оправдавшую себя государственную форму? Чего не хватало — политического предвидения и разума, или верности, или дисциплины, или терпения?

Ибо, в самом деле, мы твердо уверены в том, что если бы Государь Император предвидел неизбежный хаос, яд большевизма и дальнейшую судьбу России, то он не отрекся бы, а если бы отрекся, то обеспечил бы сначала законное престолонаследие и не отдал бы народ в подчинение тому государственно беспомощному и заранее «обойденному слева» пустому месту, которое называлось Временным правительством. И в русских обывателях проснулось бы гражданственное начало; и русское крестьянство держалось бы иначе. Но предвидения не было; и государственное начало проснулось сразу лишь в героическом меньшинстве, решившем сопротивляться до конца... Из него и образовывались белые армии.

Чего же не хватало в России? Почему тысячелетняя форма государственного спасения и национально-политического самоутверждения могла исчезнуть с такой катастрофической легкостью от первого же порыва народного, уличного и солдатского бунта?

Ответим: *России не хватало крепкого и верного монархического правосознания*. Правосознание — не в смысле «рассуждения» только и «понимания» только; но в том глубоком и целостном значении, о котором теперь должна быть наша главная забота: правосознания — *чувства*, правосознания — *доверия*, правосознания — *ответственности*, правосознания — *действенной воли*, правосознания — *дисциплины*, правосознания — *характера*, правосознания — *религиозной веры*.

Монархическое правосознание было поколеблено во всей России. Оно было затемнено или вытеснено в широких кругах русской интеллигенции, отчасти и русского чиновничества и даже русского генералитета, — анархо-демократическими иллюзиями и республиканским образом мыслей, насаждавшимися и распространявшимися мировой закулисою с самой французской революции. Оно имело в простонародной душе своего вечного конкурента — тягу к *анархии* и к *самочинному устройению*... Вследствие этого оно, по-видимому, поколебало и властную уверенность в самой царствующей Династии.

Что же предстоит в России

Взвесив все высказанное нами об основах народоправства, всякий трезво мыслящий и ответственный демократ должен со скорбью признать, что русский народ после тридцатилетнего разгрома, насилия, обнищания и всяческого разврата — окажется не способным к осуществлению демократического строя до тех пор, пока он не восстановит в себе честь, совесть и национально-государственный смысл. Ныне в его душе все элементарные и необходимые основы народоправства подорваны, поруганы, извращены или прямо упразднены тоталитарными коммунистами. Русский народ существует, но существование его подобно мученическому унижению его собственных беспризорных детей. Состояние его — религиозное, духовное, интеллектуальное, волевое, политическое, хозяйственное, трудовое, семейственное и бытовое — таково, что введение народоправства обещает ему не правопорядок, а хаос, не возрождение, а распад, не целение, а «войну всех против всех»; это было бы последним и горшим бедствием. За кошмарной эпохой революционного «якобинства» началась бы *эпоха затяжной «жирондистской» анархии — со свирепой крайне правой тиранией в заключение*. Ребячливо и безответственно — закрывать себе на это глаза.

Поэтому первое, что обязан выговорить идейный и ответственный демократ, есть *пессимистический* диагноз и прогноз: *коммунистическая революция не приблизила Россию к народоправству, напротив — она подорвала все его живые основы, имеющиеся налицо в Императорской России*.

Революция длится уже 32 года; и она еще не окончена. За это время коммунисты сделали все, чтобы убить в не-коммунистической массе русского народа чувство государственной ответственности и духовного предстояния; чтобы сделать государственное начало ненавистным для русской души; синонимом бессмысленной каторги; чтобы отучить русского человека от свободного и верного политического изволения; чтобы погасить в его душе гражданина и приучить его к рабству; чтобы

внушить ему презрение к унижениям избирательной комедии. Какое же народоправство может быть построено на этом?

За эти долгие, мучительные годы советская власть делала все, чтобы отучить русских людей от свободной лояльности, чтобы смешать ее в душах с пресмыканием, с грубой лестью и подлым доношением. В советской России право стало равнозначным произволу и насилию; в душах утагалось всякое уважение к закону; правонарушение стало основной и необходимой формой жизни. Еще в 1919 году из Совнаркома была сформулирована директива: «сущность революции состоит в открытом попрании всякого права, включая и собственные декреты революции». И вот, по этой директиве — чиновник становится разбойником и взяточником, а социальный отброс возводится в чиновники. Загнанный же русский обыватель — в порядке жизненной самообороны от революционного разбоя превратил «блат» в естественный и неизбежный способ борьбы за существование. Сверху сделано было все, чтобы смешать «мое» и «твое», «мое» и «казенное» в одну неразличимую кучу, чтобы вытравить из душ всякую имущественную законность и честность. Какую же демократию можно построить на таком «воровстве»?

Коммунисты и поныне продолжают делать все, чтобы лишить народ русского национально-государственного кругозора и подменить его всемирно-революционным угаром, заносчивостью, самоуверенностью международного авантюризма. То чувство *державной правоты и державной меры*, которое столетиями воспитывалось в русской душе и на котором строилась вся Русь от Киева до Петербурга, попроно и распалось. Четвертый десяток лет коммунисты истощают без всякого национального смысла *жертвенность, чувство долга и силу служения*, присущие русскому народу как редко какому другому; проматывается русский патриотизм; разочаровывается русское самоотвержение; русский гражданин проходит величайшую принудительную школу политического разврата. Нужно совсем не знать историю и ничего не понимать в политике, чтобы пытаться строить демократию на этом разврате.

Русский человек никогда не жил чужою мыслью. Он всегда предпочитал думать «глупо», но самостоятельно; идти вразброд и тонуть в разногласии, но не подчиняться слепо чужому авторитету. И вот четвертый десяток лет из него выколачивают — революционной «учебой», голодом, страхом, навязчивой пропагандой и партийной монополией печати — способность к самостоятельной мысли. В его образовании — все опошлено, искажено и пролгано; в его принудительном «миросозерцании» — все мертво, трафаретно, безбожно и аморально. Он в течение целых поколений оторван от верного знания — и о самом себе, и о других народах. Он слеп в политике; и часто не знает о своей слепоте; и все чаще принимает свою слепоту за высшую умственную «зрячьсть». Предлагать ему народоправство можно только в надежде: заменить тоталитарный трафарет коммунистов *новым, тоже тоталитарным партийным трафаретом*. Что же может быть противнее истинному демократу, чем такая фальсификация «народоправства»? Или они попытаются создать новый «демократический фашизм», чтобы, воспевав свободу, попить ее от лица новой, неслышанной в истории псевдо-демократии?

После большевиков Россию может спасти — или величайшая государственная дисциплинированность русского народа; или же *национально-государственно-воспитывающая диктатура*. Какая же психологическая наивность нужна для того, чтобы «верить», будто русский народ, всегда страдавший недостатком характера, силы воли, дисциплины, взаимного уважения и доверия, найдет в себе *именно после этих долгих лет рабства и растления* эту сверх-выдержку, эту сверх-умеренность, сверх-волю и сверх-солидарность для осуществления демократического строя?

Подорваны все духовные и все социальные основы демократии — вплоть до оседлости, вплоть до веры в труд, вплоть до уважения к честно нажитому имуществу. В клочки раздрана ткань национальной солидарности. Повсюду скопилась невиданная жажда мести. Массы мечтают о том, чтобы стряхнуть с себя гипноз подлого страха и ответить на затяжной *организованный террор — бурным дезорганизованным террором*. И в этот момент им предлагают: 1. «Демократическую свободу», 2. «Право всяческого самоопределения» и 3. «Доктрину народного суверенитета». Кто же будет отвечать за неизбежные последствия этого?..

Какие же выборы нужны России?

Как бы ни сложился дальнейший ход событий в России, никакие общегосударственные выборы не будут возможны в первые годы после падения большевиков: в хаосе не выбирают; в состоянии общего брожения, возвращения, переселения, без оседлости и приписки — выборы *неосуществимы*. Всякая попытка произвести выборы и провозгласить «учредительное собрание» — будет заведомой фальсификацией, партийной подтасовкой, *политическим мошенничеством*. Заранее ясно, что такая «демократия», начинающая с обмана и фальши, — будет обречена.

Пока национальный диктатор не подберет себе честный и идейный правительственный аппарат, способный честно составить законные избирательные списки, до тех пор говорить о выборах невозможно. Представляя же себе дело так, что какое-то,

кое-как сбитое, из закулисных щелей понасаженное «полу-собрание» провозгласит себя «учредилкой» и объявит в виде избирательного закона фальсификацию выборов как неизбежную, или даже готовит ее как «желательную». Вряд ли кто-нибудь дерзнет на такое историческое позорище...

До всякого составления избирательных списков должен быть проведен генеральный, *всемирный перебор граждан*. Должен быть прежде всего издан закон, в силу которого право голоса не может принадлежать — помимо несовершеннолетних (мужчин до 25 лет, женщин до 30 лет), слабоумных, сумасшедших, глухонемых, заведомых пьяниц и кокаинистов — еще следующим категориям лиц: интернационалистам — навсегда; рядовым коммунистам — на 20 лет, членам Совнаркома, Политбюро, Чеки, ГПУ, НКВД, МВД — навсегда; палачам и полномочным начальникам концлагерей — навсегда; изблеченным политическим доносчикам — на 20 лет; уркам — на 10 лет; всем служившим в иностранной разведке — на 20 лет; лицам порочных профессий (кои будут перечислены в законе) — на все время их промысла и еще на 30 лет по прекращении такового (к таким профессиям принадлежат: разбойники, дважды присужденные воры, скупщики и укрыватели краденого, конокрады, контрабандисты, содержатели и содержательницы публичных домов, сводни и сводницы, члены террористических партий и организаций, шулера, чернорыночные спекулянты, внезапные ростовщики и т. под.). Этот закон должен быть предан самой широкой гласности по крайней мере за год до составления списков.

В предлагаемом всемирном *переборе граждан* участвуют, во-первых, весь народ на местах — по селам, поселкам, заводам, фабрикам и городским участкам; во-вторых, представители центральной власти.

За год до составления списков глава государства собирает на особые съезды губернских начальников и городских начальников, чтобы разъяснить им основную задачу нового перебора и отбора. Здесь вырабатывается единая, общая инструкция, которая передается на места и публикуется во всеобщее сведение. Губернские и городские начальники разъясняют ее своим подчиненным (уездным, участковым и заводским представителям власти), а те разъясняют ее сельским и участковым собраниям.

Внимая этой инструкции, народ должен убедиться и поверить, что *коммунистическая революция кончена, что партийный кошмар изжит, что начинается новое, разумное строительство, основанное на любви к России, на добросовестности, чести и честности*, на частной инициативе, на верности лояльному правительству и на *отборе лучших людей*. Народ должен понять, что от него ждут не партийного притворства, не лжи, не доносов, не взаимного предательства и угодничества перед властью, а составления избирательных списков с *устранением всех утративших право на голос*.

Это устранение происходит *закрытым голосованием* на основании *общего*, еще не избирательного списка жителей, составленного участковым начальником. Голосование подлечит *всякий*, против которого подано *пять* отводящих записок, без подписи, но с указанием *законного* основания для отвода. Например: Семен Семенович Гайдук отводится как доносчик; или как палач; или как скупщик краденого; или как интернационалист. Записки прочитываются вслух, обсуждению не подлежат, протоколируются и тотчас же уничтожаются; отведенный имеет право возразить публично; возражение его *не обсуждается*; вопрос решается простым большинством при *закрытом* голосовании.

Во всех случаях, где участковый начальник видит, что негодные элементы *не* отведены, а ценные элементы отведены, он обязан обжаловать производство перед губернским и городским начальником и добиться повторения процедуры. Там, где будет обнаружено сплоченное коммунистическое большинство и его успешные интриги, участок может быть оставлен совсем без избирательного списка.

Выборы не должны быть «тоталитарными». Всякий занесенный в списки имеет право воспользоваться своим правом голоса и не воспользоваться им. Но выборы не должны быть и партийными: никаких партийных программ, плакатов, никакой агитации быть не должно. Выделение лучших должно быть произведено *самим народом, совершенно свободно* и без всяких партийных «обещаний», нажимов, подсазываний и иных фокусов. России необходимы не партийные заговорщики, не партийные шукари и перевертни, а люди *реальной жизни и чести*. Свобода голосования должна быть гарантирована его тайною.

Выборы должны происходить не на основании партийных предложений и рекомендаций, а по принципу *личной известности и уважаемости*. Для этого необходимо избирание по участкам или малым округам. При таком порядке будет избрано минимум столько лиц, сколько будет всего избирательных участков (по одному на участок), или же вдвое, втрое и вчетверо больше. Это означает, что в первой стадии будут избираться не члены Государственной Думы, а *выборщики*, и притом выборщики выборщиков.

Это означает, что желательны отнюдь не прямые выборы, а многостепенные, где на каждой «ступени» возможен *спокойный, трезвый, деловой* отбор людей, со все более серьезным и глубоким осознанием цели и смысла избирания, и где партии все более и более утрачивают свое вредное влияние. Примерно говоря: села выбирают волостных выборщиков, волостные выбирают уездных, уездные губернских, губернские

членов Государственной Думы; в городах — малые избирательные участки посылают своих выборщиков в городской округ, окружные в главное городское собрание, которое и выбирает членов Государственной Думы. Народ должен воспринять «задание на лучших» и, почувствовав себя свободным, должен действительно *вложить* в это дело и объединиться на нем.

Это были бы выборы *общие* (с повышенным качественным и возрастным уровнем), *равные* (ибо никто не имел бы более одного голоса), *тайные* (по способу голосования) и *многостепенные*.

Почему мы верим в Россию

Где бы мы, русские люди, ни жили, в каком бы положении мы ни находились, нас никогда и нигде не покидает скорбь о нашей родине, о России. Это естественно и неизбежно: эта скорбь не может и не должна нас покидать. Она есть проявление нашей живой любви к родине и нашей веры в нее.

Чтобы быть и бороться, стоять и победить, нам необходимо верить в то, что *не иссякли благие силы русского народа, что не оскудели в нем Божии дары*, что по-прежнему, лишь на поверхности омраченное, живет в нем его исконное благосприятие, что это омрачение пройдет и духовные силы воскреснут. Те из нас, которые лишатся этой веры, утратят цель и смысл национальной борьбы и отпадут, как засохшие листья. Они *перестанут видеть Россию в Боге и любить ее духом*; а это значит, что они ее потеряют, выйдут из ее духовного лона и перестанут быть русскими.

Быть русским значит не только говорить по-русски. Но значит — *воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную самобытность* и ее во всей вселенской истории *неповторимое своеобразие*, понимать, что это своеобразие есть *Дар Божий*, данный самим русским людям, и в то же время — указание Божие, имеющее оградить Россию от посягательства других народов, и требовать для этого дара — свободы и самостоятельности на земле. Быть русским значит *созерцать Россию в Божьем луче*, в ее вечной ткани, *ее непреходящей субстанции, и любовью принимать ее как одну из главных и заветных святынь своей личной жизни*. Быть русским значит *верить в Россию так*, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и строители. Только на этой вере мы сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу. Может быть, и не прав Тютчев, что «в Россию можно только верить», — ибо ведь и разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна увидеть ее земное величие и ее духовную красоту, и воле надлежит совершить и утвердить в России многое. Но и вера необходима: без веры в Россию нам и самим не прожить, и ее не возродить.

Пусть не говорят нам, что Россия не есть предмет для веры, что верить подобает в Бога, а не в земные обстояния. Россия перед лицом Божиим, в Божьих дарах утвержденная и в Божьем лице узренная, есть именно предмет веры, но не веры слепой и противоразумной, а веры любящей, видящей и разумом обоснованной. Россия, как цепь исторических явлений и образов, есть, конечно, земное обстояние, подлежащее научному изучению. Но и самое это научное не должно останавливаться на внешней видимости фактов; оно должно проникать в их внутренний смысл, в духовное значение исторических явлений, к тому единому, что составляет дух русского народа и сущность России. Мы, русские люди, призваны не только знать историю своего отечества, но и видеть в ней *борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик*.

Мы должны видеть наш народ не только в его мятущейся страстности, но и в его смиренной молитве; не только в его грехах и падениях, но и в его доброте, в его доблести, в его подвигах; не только в его войнах, но и в сокровенном смысле этих войн. И особенно — в том скрытом от постороннего глаза *направлении его сердца и воли*, которым проникнута вся его история, весь его омылительный быт. Мы должны научиться *видеть Россию в Боге* — ее сердце, ее государственность, ее историю. Мы должны по-новому — духовно и религиозно — осмыслить всю историю русской культуры.

И, когда мы осмыслим ее так, тогда нам откроется, что русский народ всю свою жизнь *предстоял Богу*, искал, домогался и подвизался, что он знал свои страсти и свои грехи, но всегда мерил себя Божьими мерами; что через все его уклонения и падения, несмотря на них и вопреки им, душа его *всегда молилась и молитва* всегда составляла живое естество его духа.

Верить в Россию значит видеть и признавать, что душа ее укоренена в Боге и что ее история есть возрастание ее от этих корней. Если мы в это верим, то никакие «провалы» на ее пути, никакие испытания ее сил не могут нас страшить. Естественна наша неутихающая скорбь о ее временном унижении и о мучениях, переносимых нашим народом; но не естественно уныние или отчаяние.

Итак, душа русского народа всегда искала своих корней в Боге и в Его земных явлениях: *в правде, праведности и красоте*. Когда-то давно, может быть еще в доисторические времена, был решен на Руси вопрос о правде и кривде, решен и запечатлен приговором в сказке: «Надо жить по-Божьи... Что будет, то и будет, а кривдой жить не хочу...» И на этом решении Россия строилась и держалась в течение

всей своей истории — от Киево-Печерской Лавры до описанных у Лескова «праведников» и «инженеров-бессребренников»; от Сергия Преподобного до унтер-офицера Фомы Данилова, замученного в 1875 году кипчаками за верность *вере и родине*; от князя Якова Долгорукова, прямившего стойкой правдой Петру Великому, до умученного большевиками исповедника — Митрополита Петербургского Венямина.

Россия есть прежде всего — *живой сонм русских правдолюбцев*, «прямых строителей», верных Божьей правде. Какою-то таинственной, могучей уверенностью они знали-ведали, что *видимость земной неудачи не должна смущать прямую и верную душу*; что делающий по-Божьи *побеждает одним своим деланием, строит Россию одним своим* (хотя бы и одиноким, и мученическим) стоянием. И тот из нас, кто хоть раз попытался обнять взором этих русских стоятелей, тот никогда не поверит западным разговорам о ничтожности славянства и никогда не поколеблется в своей вере в Россию.

Россия держалась и строилась памятью о Боге и пребыванием в Его живом и благодатном дуновении. Вот почему когда русский человек хочет образумить своего ближнего, он говорит ему: «Побойся Бога!» — а укоряя, произносит слова: «Бога в тебе нет!» Ибо имеющий Бога в себе носит в своей душе *живую любовь и живую совесть*: две благороднейшие основы всякого жизненного служения — священнического, гражданского и военного, судейского и царского. Это воззрение исконное, древнерусское; оно-то и нашло свое выражение в указе Петра Великого, начертанном на Зерцале: «Надлежит пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть, проклят всях, творяй дело Божье с небрежением». Это воззрение выражал всегда и Суворов, выдвигая идею русского воина, сражающегося за дело Божье. На этом воззрении воспитывались целые поколения русских людей — и тех, кто сражался за Россию, и тех, кто освобождал крестьян от крепостного права (на основах, не осуществленных нигде в мире, кроме России), и тех, что создавали русское земство, русский суд и русскую школу предреволюционного периода.

Здоровая государственность и здоровая армия невозможны без чувства собственного духовного достоинства; а русский человек утверждал его на вере в свою бессмертную, Богу предстоящую и Богом ведомую душу; вот откуда у русского человека то удивительное религиозно-эпическое и спокойное восприятие смерти — и на одре болезни; и в сражении, которое было отмечено не раз в русской литературе, в особенности у Толстого и Тургенева.

Но здоровая государственность и здоровая армия невозможны и без верного чувства ранга. И прав был тот капитан у Достоевского, который ответил безбожнику: «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?» Творческая государственность требует еще *мудрости сердечной* и *вдохновенного созерцания*, или по слову Митрополита Филарета, сказанному во время коронации Императора Александра II, — она требует «наипаче таинственного осенения от Господня Духа владычного, Духа премудрости и ведения, Духа совета и крепости».

Этим духом и держалась Россия на протяжении всей своей истории, и отпадения ее от этого духа всегда вели ее к неисчислимым бедам. Поэтому верить в Россию значит принимать эти глубокие и великие традиции — *ее воли к качеству, ее своеобразия и служения*, укореняться в них и уверенно строить на них ее возрождение.

И вот, когда западные народы ставят нам вопрос, почему же мы так непоколебимо уверены в грядущем возрождении и восстановлении России, то мы отвечаем: потому что мы знаем историю России, которой вы не знаете, и живем ее *духом*, который вам чужд и недоступен.

Мы утверждаем духовную силу и светлое будущее русского народа в силу многих оснований, из коих каждое имеет свой особый вес и кои все вместе ведут нас в глубину нашей веры и нашей верности.

Мы верим в русский народ не только потому, что он доказал свою способность к государственной организации и хозяйственной колонизации, политически и экономически объединив одну шестую часть земной поверхности; и не только потому, что он создал правопорядок для ста шестидесяти различных племен — разноязычных и разноверных меньшинств, столетиями проявляя ту благодушную гибкость и миролюбивую уживчивость, перед которой с таким радостным чувством преклонился однажды Лермонтов («Герой нашего времени», глава I, «Бэла»);

и не только потому, что он доказал свою великую духовную и национальную живучесть, подняв и пересилив двухсотпятдесятителее него татар;

и не только потому, что он, не защищенный естественными границами, пройдя через века вооруженной борьбы, проведя в оборонительных войнах две трети своей жертвенной жизни, одолел все свои исторические бремена и дал к концу этого периода высший в Европе средний уровень рождаемости: 47 человек в год на каждую тысячу населения;

и не только потому, что он создал могучий и самобытный язык, столь же способный к пластической выразительности, сколь к отвлеченному парению, — язык, о котором Гоголь сказал: «что ни звук, то и подарок, и право, иное название еще драгоценнее самой вещи»... («Выбранные места из переписки с друзьями». 15, 1);

и не только потому, что он, создавая свою особую национальную культуру, доказал — и свою силу творить новое, и свой талант претворять чужое, и свою волю

к качеству и совершенству, и свою даровитость, выдвигая из всех сословий «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» (Ломоносов);

и не только потому, что он выработал на протяжении веков свое особое русское правосознание (русский предреволюционный суд, труды российского Сената, русская юриспруденция, сочетающая в себе христианский дух с утонченным чувством справедливости и *неформальным* созерцанием права);

и еще не только потому, что он создал прекрасное и самобытное искусство, вкус и мера, своеобразие и глубина которого доселе еще не оценены другими народами по достоинству — ни в хоровом пении, ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, ни в скульптуре, ни в архитектуре, ни в театре, ни в танце;

и еще не только потому, что русскому народу даны от Бога и от природы неисчерпаемые богатства, надземные и подземные, которые обеспечивают ему возможность,— в самом крайнем и худшем случае успешного вторжения западных европейцев в его пределы,— отойти в глубь своей страны, найти там все необходимое для обороны и для возвращения отнятого расчленителями и отстоять свое место под Божьим солнцем, свое национальное единство и независимость...

Мы верим в Россию не только по всем этим основаниям, но, конечно, мы находим опору и в них. За ними и через них сияет нам нечто большее: народ с *такими дарами и с такой судьбой*, пострадавший и создавший *такое, не может быть покинут Богом в трагический час своей истории*. Он в действительности и не покинут Богом уже в силу одного того, что душа его искони укоренилась и укоренилась в молитвенном созерцании, в искании горнего, в служении высшему смыслу жизни. И если временно омрачилось око его, и если единожды поколебалась его сила, отличающая верное от соблазна,— то страдания очистят его взор и укрепят в нем его духовную мощь...

Мы верим в Россию потому, что созерцаем ее *в Боге* и видим ее такую, какой она была *на самом деле*. Не имея этой опоры, она не подняла бы своей суровой судьбы. Не имея этого живого источника, она не создала бы своей культуры. Не имея этого дара, она не получила бы и этого призвания. Знаем и разумеем, что для личной жизни человека 25 лет есть срок долгий и тягостный. Но в жизни целого народа с тысячелетним прошлым этот срок «выпадения» или «провала» не имеет решающего значения: история свидетельствует о том, что на такие испытания и потрясения народы отвечают *возвращением к своей духовной субстанции, восстановлением своего духовного акта, новым расцветом своих сил*. Так будет и с русским народом. Пережитые испытания пробудят и укрепят его инстинкт самосохранения. Гонения на веру очистят его духовное око и его религиозность. Изжившиеся запасы зависти, злобы и раздорливости отойдут в прошлое. И восстанет новая Россия.

Мы верим в это не потому, что желаем этого, но потому, что знаем русскую душу, видим путь, пройденный нашим народом, и, говоря о России, мысленно обращаемся к *Божьему замыслу, положенному в основание русской истории, русского национального бытия*.

ЕЛЕНА НЕВЗГЛЯДОВА

*

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ О ПОЭЗИИ

...В наших интонациях содержится наше мировоззрение, все, что человек думает о жизни.

М. Пруст.

Сейчас, когда мы так дорожим обретенной возможностью читать и писать о том, что ранее не обсуждалось, когда радость встречи на журнальных страницах с недавно запретными темами еще не притупилась, предвижу возможное сопротивление тому, о чем собираюсь сказать; предвижу, что в нашей бурной воензированной общественной жизни, в которой литература всегда принимала деятельное участие, и впредь не удастся уловить тихий момент для штатских соображений о природе поэзии. Приходится предпринимать заведомо несвоевременную попытку отвлечь внимание в другую сторону. Утешаюсь тем, что речь идет о самых долгосрочных ценностях:

Лишь поэзия, временем огорчена или местом,
Под шумок уверяет, что мир этот втайне прекрасен!

Нас долго и усердно воспитывали при помощи художественных средств. Началось это еще до фальсификации литературного процесса при сталинском режиме. С незапамятных времен в писателе видели учителя жизни, а затем — инженера душ и прораба духа.

Соответственно критика привыкла изучать нравы по литературным произведениям. Открыв дореволюционный номер «Нивы», можно натолкнуться на рассуждение — в типично современной манере — о характере Гурова в рассказе Чехова «Дама с собачкой». Критик высокомерно и поучительно судит героя (его праздность, отсутствие направляющей идеи, цели в жизни), прямо хоть вставляй в учебник по литературе для советских школьников.

Поэзия — скажем так — более огнеупорна, чем проза, она энергичнее сопротивляется пожиранию текстов идеологическим огнем. Однако и здесь критик и читатель зачастую склонны воспринимать заявления автора слишком буквально, слишком доверчиво, не отличая намерений от реальных воплощений.

И сегодня по-прежнему в центре внимания — «вопросы, которые ставит писатель», и «проблемы, которые он поднимает». Остальное относится к разряду «художественных особенностей».

Но была, была все же увенчавшаяся крупным успехом попытка иного подхода к искусству.

«Поэтика есть наука, изучающая поэзию, как искусство... Не эволюция философского мировоззрения или «чувства жизни» по памятникам литературы, не историческое развитие и изменение общественной психологии... составляет в настоящее время предмет наиболее оживленного научного интереса, а изучение поэтического искусства, поэтика», — писал В.М. Жирмунский в 1924 году.

К сожалению, сейчас не часто встречается пристрастная восприимчивость к смысловым оттенкам каждого слова, которая характеризует метод анализа опоязовской школы. Но уже не новость, что вниманием к мелким подробностям текста можно добраться до самого главного в этом тексте. Напомню один из примеров, на котором основывался Ю.Н. Тынянов в своей книге «Проблема стихотворного языка»:

От редакции. Литературная критика этого номера, целиком посвященная стихам, приурочивалась к «пушкинскому» месяцу — июню. Но по обстоятельствам, уже известным нашим читателям, № 6 «Нового мира» за этот год стал № 10, октябрьским. Что ж, 19 октября — не меньший повод задуматься над состоянием поэзии...

Там в стране преображенных
Ищет он свою земную,
До него с земли на небо
Улетевшую подругу...

Небеса кругом сияют
Безмятежны и прекрасны...
И надеждой обольщенный,
Их блаженства пролетая,

Кличет там он: Изолина!
И спокойно раздается:
Изолина! Изолина!
Там, в блаженствах безответных.

«...с некоторым удивлением мы замечаем, что слово «блаженства» имеет здесь значение чего-то пространственного», — пишет Тынянов и детально, пристально рассматривает причины этого смыслового преображения.

Обнаруженные Тыняновым «колеблющиеся» признаки значения обладают в стихе более важным смыслом, нежели словарное, вещественное значение слова. Когда поэт говорит, что он любит природу и сочувствует ближнему, прежде чем поверить ему, надо найти в его произведении подтверждение сказанному. Законы стиха позволяют предъявить эти требуемые доказательства, этому они и служат, по правде говоря.

Стихи — звучащая речь. При чтении некоторых прозаических текстов можно пробежать строчки глазами и схватить смысл, минуя произнесение. Стихи требуют голоса, который если и не звучит, то непременно присутствует в воображении, потому что ритм материализуется в звуках речи. Как музыкант, читая ноты, слышит музыку, так мы при чтении стихов слышим мелодию речи, интонацию. Она так же необходима для восприятия стихового смысла, как в музыке звук.

Между звуком голоса и душевной деятельностью существует непосредственная связь. Изменений голоса столько же, сколько изменений души, которые и вызываются преимущественно голосом, писал Цицерон в трактате об ораторском искусстве. Обратим внимание: «...вызываются преимущественно голосом». Казалось бы, ничтожные средства — повышение, понижение тона и пауза, но как много они, видимо, значат. Только нужно их услышать и, услышав, понять.

Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь...

В ямбической строке ударение приходится на второй слог, но в первом стихе оно переносится на слово «здесь», в результате чего возникает внезапная пауза — такая пауза случается в запинаящейся от волнения устной речи. Этого мгновенного интонационного сбоя достаточно, чтобы почувствовать жар души, обратившейся к Богу, — строки взяты из стихотворения Бродского «Разговор с небожителем». Необходимо расслышать этот сбой, сдвиг, посредством которого введена в стих особая поступь торжественности, — лицо говорящего само поднимается кверху, несмотря на значение слов «здесь, на земле». А если этого не слышать, смысл становится служебным: пустое указание места действия.

Кстати, слышать можно и не зная, что такое ямб, так же как, усвоив все пять размеров русского стиха, дольник и тактовик, можно не разобрать интонацию приведенных строк, если слух не способен улавливать выражаемые голосом движения души.

«Имеющий уши да слышит». Наша устная речь передает даже те чувства, которые мы хотели бы скрыть; она выдает характер, вкусы, настроения. Мелодия речи — это мимика души.

Интонация, которую лингвист назвал душой предложения, не имеет своего носителя в языке. Ни высота тона голоса, его подъемы и спады, ни сила звука, ни долгота паузы не фиксируются при переводе устной речи в письменную.

Так бы наша душевная работа, дирижирующая речью, но остающаяся за сценой, и проходила безвестно, напрасно, подспудно... если бы не поэзия!.. Увы, как часто при чтении стихов приходит в голову, что автор не нуждается в метре для выражения своей мысли, что все, что он говорит, было бы удобнее сказать прозаической речью, что для него метр — механическое правило, которое он более или менее успешно соблюдает.

Пришел он с фронта победителем.
А после школьным стал учителем.
Я помню: сидя на возу,
он, презиравший околичности,
при обсуждении культа личности
культю смахивал слезу.

Зачем нужна эта раскачка, эта неуместная игра? И навязчивые грубые парные рифмы только мешают рассказу о судьбе, о которой совершенно нелепо говорить, отстукивая ритм, притоптывая. Чуткое к поэзии ухо сразу, не рассуждая, уловит: метр здесь лишний.

За каждым оригинальным мелодическим ходом звучащей речи стоит определенное душевное движение. Механическое заимствование — повтор — для него губителен. Тот, кто впервые сказал «пламень чувств», был, наверно, гениален, но, повторяя эти слова сейчас, мы в лучшем случае не чувствуем ничего. Это относится и к речевым мелодиям.

Особенно въедливы риторические интонации гражданской скорби и гнева. Сколько рифмованной публицистики прикидывалось лирикой в 60-е годы! Гражданские мотивы в поэзии потому и выделились в особую категорию («...никто из понимающих дело не смешает этой п р и к л а д н о й лирики с лирикой чистою», — как заметил В. Соловьев в статье «О лирической поэзии»), что гражданская скорбь получила свое узнаваемое на слух выражение в определенной стиховой мелодике, образовав мелодический шаблон. Нет сомнений в том, что гражданский мотив может быть использован поэтом в бескорыстно чистых лирических интересах; разделение поэзии на гражданскую и лирическую вообще неправомерно; но важно, чтобы этот мотив прозвучал чистым голосом, не слившимся с известным риторическим штампом. Сейчас поэзия имеет совсем другую тенденцию. Она стремится к свободе от идеологичности и гражданской риторики. Но, вот беда, интонация праведного гнева живет сама по себе, ее призрак бродит по пространству русской поэзии, ничего не стоит на него натолкнуться и ненароком присвоить.

Там, где отсутствует индивидуальная мысль, зацепляющая внимание, возникает какая-то попусту величественная, настоянная на привычной риторике речевая мелодия, которую несет в себе метр, являясь в этом случае знаком как бы взятых напрокат возвышенных чувств.

Этот холм в степи, неумышленно голый, —
это узел пространства, узилище свету.
И тревожится сердце, и ритм тяжелый
так и сносит его. И ветра нету.
Череп из полыни, как стон простора,
выгоняют тропу, оглушают прелью.
И тропа просеивает щебень до сора
и становится пылью, влекомой целью.
И качается зной в монолитной дреме
самоцветами ада в мареве этом,
и чем выше тропа, тем пыль невесомей
и срывается в воздух гнилушным светом.

Поклонники Ивана Жданова, возможно, найдут оправдание шуточному «неумышленно голому холму», странным образом соседствующему с архаичной формой «узилище» и еще более странным окончанием дательного падежа, обслуживающим родительный падеж существительного «свет»: «узилище свету». Честно говоря, я не вижу объяснения этим причудам. Кроме того, я не могу себе представить «череп из полыни» и то, каким образом они оглушают прелью.

«Самоцветы ада в мареве этом...» — произноса строку, чувствую неловкость, вызванную «адской» красотой. Оборот «чем... тем...» лишь имитирует движение мысли, потому что в описании символической картины зависимость между высотой и весом — «чем выше тропа, тем пыль невесомей», — не важна, не играет никакой роли, ни о чем не говорит и ничего не значит, даже иносказательно.

Страсти нагнетаются, стихотворение очень большое — 64 строки, — автор пугает, но мне не страшно, потому что непонятно: «...их руда топорщит своим жлобобоем» и т.п. Описания не связаны ни с какими конкретными представлениями и к нашей жизни не имеют отношения. Авторское воображение готово на любые расходы, но мы-то здесь ни при чем.

И ты видишь в себе, что здесь поминутно
совершается праздник и преступленье,
и на казнь волокут тропой распутной,
начинается подвиг, длится мученье.

Что значит «видишь в себе, что здесь...»? Нет, не вижу, не могу видеть, все это выдуманно — и может быть выдуманно еще страшнее и, хочется добавить, еще малограмотнее.

Я отдаю должное умению Жданова строить метафору, но признаюсь: мне кажется, что это умение пропадает даром. Не поддержанное мыслью, прикрепленной к реальным — внешним или внутренним — событиям, оно крутится на холостом ходу, топчется в дебрях безвыходного воображения.

Как однообразно звучит эта речь! Выходит так, что почти ни одной строки этих стихов мы не можем произнести о п р а в д а н н ы м печально-торжественным тоном, к которому склоняет нас размер.

Рассмотрим другой случай:

В старом зале, в старом зале,
над Михайловской и Невским,
где когда-то мы сидели
то втроем, то впятером,
мне сегодня в темный полдень
поболтать и выпить не с кем —
так и надо, так и надо
и по сути — поделом.
Ибо, что имел — развеял,
погубил, спустил на рынке
даже первую зазнобу, даже лучшую слезу...

Затрепанный четырехстопный хорей наполнен интенсивным сложным чувством, так что высказанная в словах печаль оборачивается почти радостью, их не разнять; ритмический, а следовательно, интонационный рисунок, будучи неизменным на протяжении восьми строк, не кажется однообразным. В чем секрет?

Во-первых, названо конкретное место — над Михайловской и Невским; во-вторых, когда сидят втроем, а не вдвоем, и впятером, а не вчетвером, есть основание подозревать психологически напряженную ситуацию: как непросты бывают в юности эти союзы (втроем и впятером) — об этом приходится мгновенно подумать. Во всяком случае, точные цифры — свидетельство того, что они не с потолка взяты, поэт говорит о том, что действительно было («Было, были, был, был, был» — так с пронзительной смелостью кончается это стихотворение).

...мне сегодня в темный полдень
поболтать и выпить не с кем —
так и надо, так и надо
и по сути — поделом.

Заметим, «темный» полдень — он тоже вызывает доверие. Обратим внимание на возникающую в этих строках неожиданную смесь осознанной справедливости случившегося с острым чувством досады: «Так и надо!» — восклицают обычно с язвительным злорадством. Заданная вначале мелодия грустно-счастливого воспоминания («В старом зале, в старом зале...») не дает ходу этому оттенку, оставляя все же часть болезненного раздражения, поддержанного повтором «так и надо, так и надо» и еще словечком «поделом»: узнаваемое, живое единство приятия и досады. Таким бывает признание собственной ошибки.

Все это тут же было бы погублено, если бы поэт не почувствовал, не услышал необходимости немедленной перемены интонации:

Ибо, что имел — развеял...

Как будто внезапным резким движением покончено с прошлым всего лишь оттого, что устойчивое ударение на третьем слоге внезапно сместилось, пропуск ударения создал новый интонационный жест. Затем строка увеличилась вдвое:

...даже первую зазнобу, даже лучшую слезу...

Заметим это увеличение интонационной амплитуды, заметим простонародное словцо «зазнобу», вызывающее в памяти городской фольклор (так называемый жестокий романс), и «лучшую слезу» тоже заметим. Заметив все это, увидим, как мелодия размера наполняется живым чувством...

Интонация размера охотно соединяется с эмоциями, часто звучавшими в этом размере. Бывает достаточно одной строки, чтобы узнать голос автора. При одном имени поэта в воображении возникает звук его речи, связанный с привычными для него размерами: таковы Лермонтов, Некрасов, Блок...

Есть поэты — к ним в первую очередь относится Пушкин, — чья речь в нашей памяти звучит как-то неопределенно, странным образом ненапевно, не связанно с монотонией какого-то размера. Музыка их стиха пуцена в оборот не ритмом, а интонацией.

Несмотря на удачу приведенного стихотворения Евгения Рейна, а также других его стихов, продолжающих некрасовско-блоковскую традицию, я все-таки предпочитаю другую линию в творчестве этого поэта — условно говоря, кузминскую. Лучший пример — стихотворение «Дельта» в книге «Береговая полоса». Оно написано белым стихом, местами переходящим в свободный (верлибр).

Поэт сознательным усилием осуществляет переход:

Уже остывший круглый камень,
На котором ютились духи ночи до утра.

Он слышит, что если белый стих пустить, так сказать, на самотек:

Уже остывший круглый камень, на котором
Ютились духи ночи до утра, —

голос ахматовских белых стихов заглушит его собственную мысль — мелодия размера имеет такую тенденцию.

Сейчас очень трудно, опираясь на ритм, не впасть в интонационное однообразие. И очень важно не оказаться в плену у мелодического штампа, сломать навязчивую «автоматизацию» стиха. Надо иметь силы отказаться от существования на ритмическую ренту.

Еще один губительный для лирики порок — повествовательная интонация. Как правило, она возникает там, где последовательно излагается некий сюжет¹.

Письменная речь имеет всего три интонационных типа: повествовательный (самый распространенный), вопросительный и восклицательный. И вот, нечто сообщающая, поэт должен побороть интонацию сообщения — обыденную, привычную, нейтральную для эмоций, повествовательную интонацию. Именно мелодия речи имеет силу внушения и непосредственного воздействия.

Вместо того чтобы отталкиваться от повествования, «не уставая рвать повествованья нить», как сказано у Мандельштама, многие поэты увлекаются рассказом в стихах, рассказом, в котором сюжет развивается в противоположенной лирике логической последовательности.

Даже в тех случаях, где речь дышит естественно и нестесненно, в слишком настойчивом присутствии повествовательной интонации метр становится ненужным. Поэзия должна справляться с фабулой, понимая, что главное —

не впасть, как в колею,
в чужую интонацию рассказа,
в повествованье...

Вот пример из того же О. Чухонцева, высказавшего эту мысль:

...и молча поднял перст, и черным ногтем
мне показал: «З а к р ы т о н а о б е д».

Каких нам знамений не посылает
судьба, а мы и явного не ждем!

Или там же:

...я с ясностью увидел, что он думал
и даже что он думал

...баржи затопить
цыплят разделать и поставить в укус
разбить оппортунистов из костей
и головы бараньей сделать хаши
сактировать любимчика купить
цицматы и лаваш устроить чистку
напротив бани выселить татар
из Крыма надоели Дон и Волгу
соединить каналом настоять
к женьтибе сына чачу на тархуне...

Не случайно в перечислении отсутствуют знаки препинания и постоянно чередуются разнохарактерные действия. В этих замечательных стихах («Двойник» из книги «Ветром и пеплом») лирический сюжет строится на смене планов и отступлениях, приводящих к интонационному разнообразию.

Другой пример:

Ливня не льет великая вода —
сочится из небесных мелких сит.
Олёша мало пьет, но пьет всегда —
как тихий этот дождик моросит.
В печи осина глеет, а в щели
свою свирельку пробует сверчок,
и сыплет мелкий дождичек или,
поласковой сказать, мусеничок.
Олёша извинит, что я не пью,
ну по одной, пожалуй, — помянуть
родителей — попа и попадью —
о всех, тогда погубленных, вздохнуть...

(В. Леонович)

Останавливаюсь менее чем на половине, чтобы поделиться впечатлением. Мне кажется, что до слов «Олёша извинит» еще можно воспринимать смысл мелодически:

¹ В повествовательных жанрах (например, в поэмах) тоже идет борьба лирического момента с повествовательным, но иначе, чем в лирических стихотворениях.

звучанье стиха напоминает о плохой погоде, тоскливом, но милом деревенском уюте; дальше необходима смена интонации, нельзя продолжать тем же повествовательно-сказовым тоном: никто не сможет произнести эти стихи как собственную речь, а ведь эта возможность — основной признак лирики. Поняв, что имеет дело просто с сообщением, читатель вправе отложить стихи с чувством обманутого ожидания.

Лирика — это разговор поэта с самим собой, со своей душой, с Богом; самому себе (или Богу) рассказы вать не нужно и нелепо. Сюжет, как во внутренней речи, должен развертываться упоминаниями, а не сообщениями.

У настоящего поэта сюжет вообще не разворачивается с логической последовательностью, а лепится в теплых руках всегда бодрствующего чувства, окутывающего каждый сюжетный момент, забегающего в сторону, уклоняющегося от сюжетной линии. Мы позабыли об этом. Наша поэзия переполнена повествованиями, начисто лишенными лирического начала. Его заменило назидание, «гражданский» пафос, разного рода риторика. Лирику мы сдали на попечение ритмического импульса, действующего механически. Взятые напрокат интонации размера стали знаком лиризма — в результате ушло лирическое напряжение, поэзия уже не затрагивает душу. Расскажу-ка я анапестом о подвиге (или о любви), пусть знают — как бы говорит поэт. А теперь хореем о репрессиях. Доверчивый читатель печалится и скорбит. В соответствии с авторским замыслом он извлекает из стихов сюжет, пропуская мимо ушей стиховой смысл.

Сообщение, содержащееся в любом предложении, как бы интересно и умно оно ни было, если оно не окрашено эмоционально и не интонировано, может быть лишь поводом для поэтической мысли. С другой стороны, самое простое и обыденное выражение может приобрести статус поэтической мысли, если оно эмоционально окрашено и, следовательно, интонировано. В книге «Литература в поисках реальности» Л.Я. Гинзбург к одной из главок поставила эпиграфом слова «Вопросов нет» и подпись под ними: Кушнер. Человек со стороны, возможно, удивится: зачем такому ходовому словосочетанию понадобилось чье-то авторство? Но в стихах Кушнера оно звучит, приходясь на усеченную строку пятистопного ямба, с таким явственным выражением горького знания, не подлежащего обжалованию, с такой сухой грустью и твердостью, что невольно впечатывается в память и выражает весь комплекс чувств, возникший в контексте:

Исследовав, как Критский лабиринт,
Все закоулки мрачности, на свет
Я выхожу, разматывая бинт.
Вопросов нет.

Очевидно, весь комплекс смысла понадобился Л.Я. Гинзбург, то есть понадобилась не просто мысль, а поэтическая мысль.

Мимо вросших машин по асфальту струится ручей,
Возле люка потоп, капли виснуть на дверцах устали.
Завтра тронется эта армада сияющих «Волг», «Москвичей».
Если главное так анонимно, а город, как воздух, — ничей,
Остается любить однозначные злые детали.

В этих строках Алексея Машевского выражена мысль, к которой поэта привело напряженное наблюдение. Явно эти сами по себе ничего не значащие детали (люк, капли воды, череда мокрых машин) добились от поэта чего-то большего, чем простое называние, перечисление: его мысль — результат желания увековечить бессловесную, невзрачную и как бы взывающую к помощи красоту, ту красоту, которая возникает из нашей потребности ее видеть и чувствовать.

Еще один пример:

Спрятана кровать, на которой дед умирал,
только на этом месте
До сих пор чуточку холоднее и поэтому слегка тревожно.
Бесконечные лекарства, ночные вызовы «скорой»,
неосознанные жесты
Сухих рук, перебирающих простыню, как клавиши, осторожно.

Скрытый смысл этих строк Николая Кононова добыт усилием сознания, направленного на смутные ощущения. Его мысль озабочена подробностями глубинной душевной жизни. Нетривиальное психологическое наблюдение, прозвучавшее в необычных «безразмерных» стихах, скрепленных едва слышными, далеко разведенными рифмами, представляется мне счастливой находкой. В них высказано то, что не бросается в глаза, что нельзя эффектно выкрикнуть в микрофон; это-то и ценно, потому что сопринородно Поэзии.

Как бы две стороны имеет поэтическая мысль. Во-первых, это то, что не лежит на поверхности, а извлечено из глубин душевного опыта. Во-вторых, это то, что

соответствующим образом интонировано. Другими словами, поэтическая мысль зависит от предмета внимания и адресата речи.

Поэтическая мысль как бы скрыта в вызвавшей ее к жизни повODE, она как будто вложена в то впечатление, которое задело душу и пронзило.

Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответь!

Камень под ногой, дерево, фонарь, внезапное восклицание или воспоминание, строка текста, брошенная перчатка, звук шагов, шум дождя — все может выступить в роли вложенной в руку записки. Повод для стихов может быть на удивление незначительным. Но — «немедленно ответь!» Это значит, что внезапное впечатление, вещь или явившаяся мысль, будучи даже совсем пустячными, имеют подспудную связь с самыми важными, ключевыми понятиями и представлениями, составляющими систему ценностей поэта.

Эту связь и нужно обнаружить, предъявить в стихотворении. Похоже на задачу, которую решить — нравственный и этический долг. В ее решении стиховые признаки (рифма, метр, если он есть) — главные помощники и приспешники. «Поэта — далеко заводит речь», — сказала Цветаева. Но не дальше главных ценностных представлений, в кругу которых вращается мысль, бьется сердце. Тот, кто прорывает их охранительную ограду, напрасно пользуется рифмой: он не поэт.

Речь поэта обращена к Богу. Так было испокон веку, так есть и сегодня. Но человек, поэт XX века не только в форме молитвы обращается к Богу. Возник новый жанр общения с Небожителем — разговор. Как сказано у Кушнера:

Бог — это то, что мы подумали о нем,
С чем кинулись к нему, о чем его спросили.

Знакомо ли вам с младенчества ощущение, что кто-то высший, самый мудрый и человеичный, видит и чувствует все, что с вами происходит, то есть разделяет с вами все переживаемое? Вы должны заслужить его одобрение, угадать, как правильно поступить, а для этого нужно постоянно не упускать из виду его точку зрения. К нему-то и обращена речь в стихах. Он не отвораичивается ни от чего, что занимает ваше внимание, но он не позволяет вашему вниманию отклониться, снизиться. Это очень важно. Кто-то сказал о людях: все вы одинаковы, но то, в чем вы разные, — какие же вы разные! Так вот, люди отличаются тем, что им представляется интересным и неинтересным.

Мне кажется, что по самым разным и неожиданным поводам мы можем проявлять внимание к окружающему с оглядкой на высшие силы, с обращением к их участию. Литература в поисках ускользающей реальности постепенно, но неуклонно избавляется от всех канонов. А ведь канонизированы могут быть не только формы выражения, а и поводы для поэтической мысли; очень часто поэты не отваживаются проявить к собственной жизни интерес, не освященный литературными условностями.

В поэзии царствует «чувствующая мысль», как обмолвился И. С. Аксаков о стихах Тютчева. Эта мысль освещает новые грани предмета при его соприкосновении с душевной жизнью. Бодрствующая душа охотно вступает в контакт с любимым, самым малым явлением действительности, она ищет повод, предлог, «услужливый предлог», как сказал Баратынский.

Облюбованные поэзией прошлого века предметы нынешняя поэзия с сожалением или без сожаления оставляет. Если прежде внимание поэтов было обращено на крупногабаритные чувства соответственно прямым наименованиям: любовь, гнев, радость, жалость и еще несколько столь же определенных чувств (восторг, отчаяние), — то в XX веке после Чехова, Анненского, Пруста в литературе появились душевные движения, не лежащие сверху, не заявляющие о себе громкими голосами, не фиксируемые отчетливыми именами.

Находящиеся в тени психологические ощущения, как бы младшие братья широко известных чувств, — вот, на мой взгляд, предмет внимания современной поэзии. Как бы ни были незначительны частные переживания частной души (ну, например, ощущение человека, сидящего перед фотообъективом и пытающегося справиться с выражением собственного лица), раз они новы, то есть не высказаны еще в стихах (речь идет о душевном опыте!), — значит, они интересны и ценны.

Алексей Пурин, характеризуя поэзию этого типа, в статье о М. Кузмине пишет: «...поэзия, проходящая от Анненского и раннего Кузмина через молодые стихи Ахматовой и Пастернака, через позднего Кузмина, через прозу Набокова... Именно эта другая, главная, по нашему мнению, поэзия на долгие годы была помещена как бы в зону слепого пятна, в двойную тень — официального умолчания и литературской невосприимчивости, была при жизни сдана в музей». Мне кажется, что и сейчас она в лице нескольких поэтов, живая, чувствующая, как все ценное — немногочисленная и негромкоголосая, втайне горюет, недооцененная, о внимательном читателе и критике.

Сейчас в большом числе появились поэты — они считают себя последователями Хлебникова и Мандельштама, не догадываясь, что право быть продолжателем надо зарабатывать, — поэты, которые, вообще отказавшись от предмета мысли, от самой мысли, от конкретного чувства, строят свои стихи на беспричинном эмоциональном накале, и эти стихи похожи на речь человека в подпитии, искусственно взбудораженного изнутри. В поэзии это состояние безотчетной эйфории (сродни алкогольному опьянению) почему-то не считается постыдным, с ним не принято бороться. Более того, это состояние даже приравнивается к вдохновению, отождествляется с Поэзией как таковой.

Наш сон клевал Нерона нос неровный,
нам лысила смерть в кино, когда
принц крови — Кромвель падал с кровли,
усваиваясь нами без следа.

Эти строки Парщикова слегка напоминают Пастернака стремительностью, то-ропливым, как будто неряшливым подбором слов, произведенным почти исключительно по звуку, так что смысл затемняется, прячась в аллитерациях, но у Пастернака задыхающийся безумный бег имеет мотивировку: восхищение перед миром — удивленное, восторженное, захлебывающееся — влечет его вихрем «поверх барьеров».

Что же происходит в стихах Парщикова — неясно, и неясно не в деталях, а в целом. Когда, например, поэт говорит: «Я уезжаю. Я в вокзал вошел», — не торопитесь ему верить, хотя тут как раз мелькает основание для доверия в виде занавеса, замеченного на окнах вокзального помещения. Однако в следующей строфе, отменяя все сказанное, выскакивает, как в испорченном автомате, совершенно неожиданное: «И властью моря я создал...» Как, прямо на вокзале? Каким образом? Что произошло? Боюсь, что сам автор не сможет ответить на эти неминуемые вопросы, если не постесняться их ему задать.

Смена планов не должна разрушать общего смысла; образы при всей «далековатости» связаны единой целью и, как ни расходятся, в итоге непременно должны сойтись. Этого не происходит в «Мемуарном реквиеме» Парщикова.

Интонация праведного гнева с тщеславным расчетом на вселенский резонанс, местами — с примесью иронии, пожирает все подряд, все причудливые метафоры («белена аванса», «мускулы песка» и проч.). И однообразие душевных движений не возмещается изысканностью картин, часто непредставимых. Автор этих стихов как будто в противоположность поэту, воскликнувшему: «О, если б без слова Сказаться душой было можно!», — хочет сказать словами — без души.

Сейчас много говорят об авангардизме. Концепция, предложенная М. Эпштейном («Новый мир», 1989, № 12), объясняет это явление как культурно-социальное, к поэзии, мне кажется, не имеющее отношения. Нового искусства быть не может, может быть только новое в искусстве, причем установка на разрыв со всем предшествующим преграждает путь новизне.

Рассмотрим это явление с еще одной, психологической, точки зрения, которая в отношении поэтических текстов представляется чрезвычайно уместной.

То, что в статье Эпштейна скрывается под именем «авангард», разнородно. Остроумные стихи Пригова (не все из них действительно остроумны) и заумь типа кручениховских «дыр бул шил» — настолько разные вещи, что никак не уместаются в одном ящичке, какую этикетку к нему ни приклеивай. С заумью, мне кажется, мы разобрались уже благодаря Хлебникову, как-то признавшемуся, что вымышленные слова, которые во время написания стихов жгли его, впоследствии, увы, оставляли совершенно холодным. А юмор есть юмор, куда его ни отнеси.

Довольно несложно воздействовать на расположенного читателя даже случайным, неразборчивым словом. Наш ум, тяготея к осмысленности впечатлений, при помощи ассоциаций наделяет смыслом — пусть кажущимся, пусть расплывчатым — всякий жест и всякое словосочетание; так, меняющиеся контуры облаков или неотчетливые тени всегда что-то напоминают.

Эпштейн объясняет, что в основе авангардизма лежит принципиальная бессмыслица, отрицание смысла, «эстетика конца», когда «мир сам теряет свой образ». Подобно юродивому, авангардист попирает общепринятые нормы поведения, ибо он стоит «за границей мира», направляемый «чувством Откровения грядущего». Что это за грядущее — неизвестно, но что должен чувствовать человек, остающийся человеком (будь он даже отъявленным авангардистом), в то время как «в прах рассыпаются все надежные, освященные прошлым образы реального»?

Эффектно, ничего не скажешь, выглядит «черный квадрат»: это «глубина поглощения на белом фоне отталкивания, зримый образ проходящего мира, открытый нам туннель перехода в иные миры»; но зададимся вопросом: что думает человек, заглянувший в этот туннель? Как он представляет себе «иные миры»? Авангардист, по Эпштейну, вовсе этим не интересуется. Он отражает картину разрушения одного мира другим, занятый исключительно разрушением. «Другой мир» непредставим, зато гибель этого — «вмятины на стенах, эти проломы и зигзаги, растущие у нас на

глазах», — столь ошутима, что отражать ее... Вспоминается анекдотическая фраза якобы из учебника по математике: «Некто, падая в колодезь, вычислил...»

Нет, в самом деле, что же стоит за этим наблюдением и отражением, какое чувство? Не есть ли перед нами то подростковое бесчувственное экспериментаторство, о котором, помните, рассказывает Толстой в «Отрочестве», — тяжелые, необъяснимые состояния души, когда в онемении, будто под наркотом, во власти одного лишь любопытства, подросток склонен к бессмысленным и даже жутким поступкам, мучимый бесплодными упражнениями ума, покинутого впадшим в латарию чувством?

Однажды вообразив эсхатологическую картину распада, индивидуальное сознание способно ее выразить, однако отнюдь не находясь в состоянии распада, а, наоборот, как того требует творчество, напрягая интеллект в борьбе с вещественным хаосом. Такие стихи выразительны именно в том случае, если успешно завершилось интеллектуальное усилие. Да, кто-то «велит, чтоб жглась юродивого речь», но тому из авторов, кто на это рассчитывает, все же не надо взваливать все труды на того, кто «велит».

Нарушение логики в речи имеет две противоположных причины и — соответственно — носит совершенно разный характер. Пропуск логического звена нередко возникает в напряженном сознании в результате стремительной работы мысли, ее больших скоростей; и совершенно иной алогизм рождает расслабленная мысль под усыпительные расхожие представления, что чем дальше от смысла, тем ближе к Поэзии, чем темней и непонятней, тем поэтичнее. Но это совсем не так. Разнообразные «темноты» — сюжет для особого разговора. Сейчас я скажу только, что оправдание авангардизма как «художественного освоения именно тех областей бытия, которые незримы, неосязаемы, неизрекаемы», выглядит странно, потому что словесное искусство вообще есть выражение невыразимого, нареkanie неизреченного, борьба с языковыми знаками за именование того, что не обозначено в языке. Об этом «невыразимом» кто только не упоминал из поэтов!

Социально-культурное поведение, описанное Эпштейном с помощью понятия юродства, может быть описано и с точки зрения психоневропатологической. Сошлюсь на исследование С.Н. Давиденкова о неврозах. Известны широко бытующие действия и слова, когда человек из суеврных побуждений символически плюет через плечо, стучит по дереву, произносит какие-то формулы-заклинания. Некоторые люди, страдающие определенным невротическим недугом, должны исполнить весьма сложный и диковинный ритуал, который они сами себе невольно назначают и который со стороны выглядит не менее странно, чем поведение юродивого. Предполагается, что подобные патологические состояния связаны с религиозным сознанием, возможно, подавленным. Но при всем сочувственном уважении к психологическому источнику болезни было бы нелепо видеть проявление высшей духовной деятельности в такого рода зависимости от трансцендентного мира. Ибо сознание человека, подверженного тягостной неволе, ослаблено, интеллект угнетен и ушиблен.

Ощущение потустороннего может быть и слабодушной попыткой сговора с непознанным (каковой, в сущности, является описанное невропатологом поведение невротиков), и энергичным порывом ума, нацеленного на взятие всех мыслимых преград.

Павел Флоренский в своих воспоминаниях описывает возникший у него в детстве момент душевного контакта с цветком и сопоставляет взгляд цветка на него-мальчика со взглядом пятимесячного младенца, смотрящего на него-отца. Эти удивительные мгновенные связи с неведомым вызваны остротой чувства, они сродни Откровению. Только напряжение душевных сил способно обострить и направить мысль в запредельные, недоступные обычному опыту области.

Душевное напряжение — это то, что необходимо для творчества, то есть для строительства, ибо даже картину разрушения надо построить, как, скажем, это делал Баратынский в самых мрачных своих стихах. Без активности чувства, без его настойчивой подсказки невозможно составить мнение ни о чем, предмет мысли выскальзывает из слабых рук; подобно чеховской душечке, «видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы».

Разрозненные части мира, механически отраженные сетчаткой, для кого и какой могут представлять интерес, будь то телега, бутылка или компьютер и прочие новейшие атрибуты нашего века? Самая, пожалуй, страшная картина разрушения, написанная Мандельштамом в его «Стихах о неизвестном солдате», потребовала, может быть, самого большого напряжения души — в состоянии высочайшего подъема духа сказано:

И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Обращение посредством анапеста к «ласточке хилой, разучившейся летать», с просьбой научить «без руля и крыла» справляться с жизнью разве не говорит о выхваченном на лету, на этот миг, как всегда бывает в творчестве, счастливом

умении «совладать», совладать даже с «воздушной могилой», какой в иные времена представляется человеку жизнь? Вот что сказал об этом Ван Гог: «Сама жизнь... неизменно поворачивается к человеку своей обескураживающей, извечно безнадежной, ничего не говорящей, пустой стороной, на которой, как на пустом холсте, ничего не написано. Но какой бы пустой, бесцельной и мертвой ни представлялась жизнь, энергичный, верующий, пылкий и кое-что знающий человек не позволит ей водить себя за нос».

Не нужно никаких других причин, кроме «энергии заблуждения» и пылкости творческого акта, во время которого человек овладевает хаосом, чтобы иметь повод говорить о радости высшего порядка. Как может «художество утрачивать былую радость» (Эпштейн) и оставаться художеством? Радость и вдохновение — синонимы.

Речь идет не о создании идеала прекрасного, а о творчестве вообще, вообще о созидании; даже если предмет творческой мысли — распад, его нужно создать, явить в словах, красках или звуках. Что такое антиискусство? Если не водить друг друга за нос, придется признать, что это крайняя степень отсутствия искусства.

Повторим: мысль поэта — «чувствующая мысль», и ее обслуживает интонация.

Есть люди, и их немало, у которых не сложилась корреляция между мелодией речи и эмоцией; они, конечно, вопрос сопровождают вопросительной интонацией, а утверждение — утвердительной, но интонационные оттенки пропускают мимо ушей, точнее, мимо души. Что ж, тут ничего не поделаешь.

Случается и так, что привыкший к книге как к собеседнику человек, сам того не замечая, начинает читать стихотворный текст глазами, а не слухом. Он и не знает, в какой момент утратил внутренний голос, обрученный со смыслом, который доносит до сознания «божественный глагол». Если это произошло, душа его не встрепенется при чтении стихов, ибо он утратил поэтический слух. Поэзия — искусство интонированного смысла. В стихах живет летучая, ускользающая от внимания и чуждая бумаге материя устной речи. После всего сказанного, надеюсь, это не покажется непонятным. Скажу об этом еще несколько слов. Было бы жаль, если бы то невольное творчество, к которому побуждает нас общение, то напряжение души и возможность высказаться наиболее полно, не только посредством знаковой системы языка, а еще и непосредственно: жестом, взглядом, краской на лице, звуком голоса, — если бы эта возможность, реализовавшись на одно мгновение в разговоре, тут же пропадала навечно, не оставив нигде никакого следа. Природа, одарив нас этой возможностью, позаботилась об ее увековечении. В конце концов, всякое искусство имеет целью оставить след, задержать, остановить мгновение жизни.

Поэзия образуется живейшими связями души и тела, если их единство позволяет еще говорить о связях. Неосознанные мелкие движения мельчайших мускулов и нервов, о существовании которых осведомлены в полной мере лишь нейрохирурги, принимают активное участие во всех наших реакциях. Психолог Уильям Джеймс считал, что эти движения и есть эмоция, что никакого другого субстрата у нее нет, что печаль, например, не причина работы слезных желез и определенных лицевых мускулов, а сама их работа. Телесная реакция на раздражители извне и есть то, что мы называем эмоцией.

Так это или не так, но, во всяком случае, несомненно, что каждое повышение и понижение тона голоса, каждое ускорение и замедление речи, каждое ударение и пауза, которые вызывают незаметную работу лицевых мускулов, рта, гортани, в поэзии одушевлены и глубокомысленны, играют не второстепенную, а конструктивную, как говорили опоязовцы, роль.

Важно услышать, как произносится стих, и почувствовать то, что стоит за его произнесением. Нет ли мошенничества, подделки? То есть есть ли в тексте доказательства подлинности, о которых речь шла в начале? В сущности, читательская квалификация определяется способностью уловить фальшь, это самое трудное. И если в быту подозрительный человек вызывает неприязнь, то в литературе, наоборот, простодушие хуже воровства, и, кстати говоря, замечено: чем более придирчив человек к речевому поведению в искусстве, тем более бесхитроsten он в реальных жизненных обстоятельствах.

Важно вслушаться, чтобы понять, с какими словами сочетаются те или иные модуляции голоса — чему они служат и работают ли они вообще. «Голос — это работа души», как сказал поэт...



ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ

*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОКОНЧЕНО

Всю жизнь, с тех пор как выучился грамоте, я читал стихи. Потом стал писать рифмуя и называл это стихами; вот уже лет тридцать как то, что мне удавалось написать, печаталось в периодике под рубрикой «Поэзия» и выходило книжками в редакциях поэзии различных издательств. Мало того: я еще и учил, как писать стихи, на всяческих совещаниях молодых поэтов, фестивалях молодой поэзии, семинарах, обсуждениях и проч., и проч., и проч. Но и этого недостаточно — сотня с лишком книг, выпущенных издательством «Советский писатель», имеет в выходных данных мою фамилию: редактор Е. Л. Храмов. Я бывал на многих поэтических вечерах, знаю соблазн эстрады, помню, что могли сделать с публикой Евтушенко или Окуджавы, помню аплодисменты, выкрики из зала: «Прочтите то, прочтите это!» — записки, конную милицию у Лужников и дружинников вокруг памятника Маяковскому.

И вот это все проваливается. Исчезает. Никому не нужно.

Что происходит, почему — это объяснить можно, и это объясняют (и объясняли) во многих статьях. Но относительно объяснений мне отчего-то вспоминается рассказ о Блоке на одном из заседаний ОПОЯЗа. От Блока ждали отзыва, и он дал отзыв. Он сказал: «Все, что вы здесь говорили, интересно и, вероятно, правильно, но я думаю, что поэту вредно об этом знать».

Я хочу в этих торопливых заметках попытаться на своем примере рассказать о том, как возникают вокруг обыкновенного человека облака поэзии, как приходят к нему стихи и что именно они приносят. Пастернак уже написал, как «начинают жить стихом». Но Пастернак — гений.

Нет, я года в два не рвался «в тьму мелодий». Сначала пришли слова. И слова эти были — Лермонтова.

В семье отца был культ Наполеона, и он принес из своего детства в мое бронзовую фигурку императора и несколько фарфоровых чашек с портретами Наполеоновых маршалов. Первым стихотворением, которое я читал наизусть, было «Воздушный корабль».

И маршалы зова не слышат,
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

Изменить — в конце 30-х годов это было страшно, ничего страшней и подлее вообразить невозможно: изменившие маршалы сразу же становились в один ряд с троцкистско-бухаринскими шпионами и нашим собственным изменившим маршалом... «А какие маршалы изменяли Наполеону?» «Мармон», — начинал отвечать папа.

Имена у маршалов были красивые, но вот Мармон — долго еще это слово было для меня синонимом самого гнусного поведения. А после «Воздушного корабля» шло «Последнее новоселье». И там снова про измену:

Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили
И, как рабы, вы предали его!

Как изменяют женщины, я еще не знал, но ведь изменили же! И предали! И вот этот несчастный, со всех сторон обложенный изменой император, зарытый «наемною рукой», как простой солдат, в «плаще своем походном», приходил в мое сознание не в походном плаще, а в блестящем, шумном, звонком одеянии, наброшенном на него рукой поэта, тоже страдавшего от измен и предательства, и тоже убитого (Наполеон воспринимался мною как убитый), и тоже военного, в эполетах.

Как Наполеон казался всегда молодым, так и Лермонтов был молод: мне почему-то объясняли, что убили его в двадцать пять лет.

Пушкин был всякий: и веселый, и скучный, и сказки писал. Лермонтов был яснее, определеннее, злее был — и все у него было резко: здесь поэт, а там «надменные потомки», здесь черная (то есть неестественная) кровь, а там «правильная» (я так и читал в детстве: «И вы не смаете всей вашей черной кровью Поэта правильную кровь».

Правильную — красную, как у людей). Воспел Наполеона. А это красиво — воспеть Наполеона (в «Бородине» французы — враги, но там нигде нет Наполеона). И когда я, кажется, в четвертом классе начал писать поэму, она была о войне 1812 года (вокруг меня шла ведь тоже Отечественная). Я закончить ее не сумел, заняла она несколько тетрадных страничек, и поэмой я назвал ее, потому что написана она была разными размерами (мерность я тогда соблюдал слабо). Одну строфу оттуда я помню и сейчас: «И двинулись в поход дивизии Мюрата, дивизии Даву, Бертье и Удино. Светило солнце, солнце их заката, и шло навстречу им Бородино». Строфа эта застряла в моей памяти, возможно, по причине моей детской радости: я зарифмовал иностранные слова, да еще дважды, с простыми русскими словами! Смутно я чувствовал — что-то здесь верно: не французы движутся к Бородину, а оно движется к французам. Так невольно я нащупал троп, о котором, разумеется, не имел ни малейшего представления. И теперь понятно, почему следующим явился ко мне Константин Симонов. Но не «Жди меня» — высокая незатейливость этого стихотворения была не по моим детским зубам, — а другое:

И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, польхнув мечом на солнце,
Повел дружину за собой.

Здесь тоже чужое слово рифмуется с русским: не помню уж теперь, прочел ли я симоновское «Ледовое побоище» до «Удино — Бородино» или после.

Вот такой пришла ко мне поэзия, и так я воспринимал настоящие стихи: круглые, звонкие, золотом и медью оправленные слова и колокола — не бубенчики — рифмы. Странно, что при всем при том пушкинское «сиянье шапок этих медных» до меня не доходило.

А рядом бытовала другая поэзия.

В начале 30-х годов из калужской деревни приехала к московским родичам некая молодая женщина по имени Елизавета. Пожив какое-то время у моей бабушки и деда, во время войны она оказалась у нас. Приходилась она моей матери не то троюродной, не то четвероюродной племянницей, а мне, стало быть, сестрой такой же степени родства. С Лизой-то я и рос лет с восьми и почти до самой зрелой поры. Нет, она не была Ариной Родионовной, не пела мне народных песен, сказок тоже не рассказывала. Но она говорила: «Чернышню наше — маленькая деревня, а вот в Хотькове народу — Китай!» Она говорила: «Совсем ты изоврался — палкой в тебя не попадешь». И еще она говорила: «Иду я этим летом в Думиничи, села на холму — такая красота, жалко, что я молиться позабыла». Мой товарищ написал как-то в стихах: «Как жалко, что на свете нету Бога и некого за все благодарить». Это ведь из того же сердца, что «жалко, что молиться позабыла», выплеснуто! И когда я, уже будучи автором первой книжки, вспомнил одно Лизино выражение и вставил его в стихи: «И весь он в наших руках, дурак, как воробей в горсти», — только так, через двадцать лет, поблагодарил я ее за первые уроки поэзии.

И еще одного человека надо назвать. Старшая сестра отца — тетка Леля. Архитектор, два года в Сорбонне, она носила летом широкополую шляпу из черной соломки, зимой прятала руки в муфту, жила в крохотной комнатенке в двухэтажном доме на Первой Мещанской, когда-то принадлежавшем ее мужу. Она читала мне Брюсова (не очень нравился), Брюсова (очень нравился) и французских поэтов в Брюсовских переводах. Вот этот XII или XIII том дореволюционного издания Брюсова я читал и сам. Оказывается, можно рифмовать и так, как это сделал Брюсов в переводе из Верлена:

Небо над городом плачет,
Плачет и сердце мое.
Что оно, что оно значит,
Это унынье мое?

И вот однажды тетка Леля, глядя в исписанный черными четкими чернилами листок, прочитала мне стихотворение о солдате, пришедшем на могилу своей жены. Особенно выделила она последние строчки:

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

И видя, что стихи не произвели на меня особого впечатления, она значительно прибавила: «Это запрещенные стихи, ты никому не рассказывай о них». Но и такое обстоятельство не прибавило весу прочитанному стихотворению. Передо мной в то время уже громоздился Маяковский. Но моя тетка — Сорбонна, мастерская архитектора Бенуа, Поль Верлен, Брюсов, Жан Мореас — и вот читала она простое пронзительное стихотворение Исаковского и волновалась, как девочка...

А Маяковского я тоже узнал благодаря ей. Не того, которого проходили в школе, тот был скучен и обязателен. Другой Маяковский был в толстом однотомнике сорокового года. Лучшее, пожалуй, издание — а был он похоронен вскоре тринадцатую тома своего собрания: ни у одного большого поэта нельзя найти такой прорыв плохих стихов, как у тринадцатитомного Маяковского! Но тот, в однотомнике! Я знал наизусть и «Облако в штанах» с его немудрящим, как я теперь понимаю, космизмом, и «Флейту-позвоночник», и «Про это». Время познания Маяковского совпало с первой влюбленностью, и как же можно было не читать, может быть, и о себе: «Только — слышишь! — убери проклятую ту, которую сделал моей любимой!» И у этого же промогласного, буйствующего напоказ Маяковского я находил и такие строки:

Не говорите. Глупые речи заводят:
чтоб дед пришел, чтоб игрушки ворох.
Деда нет. Дед на заводе.
Завод? Это тот, кто делает порох.

Не будет музыки. Рученек
где взять ему? Не сядет, играя.
Ваш брат теперь, безрукий мученик,
идет, сияющий, в воротах рая.

И остроумие Маяковского восхищало. Ну как же! «Судья написал на каждой долине: „Долина для некурящих“». И опять же рифмы, изощренные, полные, и, главное, иностранное слово с русским: «,...Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия!» И на площадь, мрачно очерченную чернью, багровой крови пролилась струя!» Тетка Леля встречала несколько раз Маяковского и рассказывала, как он появился в кафе на Кузнецком и в зале закричали: «Маяковский, стихи, стихи!» — и он начал читать, а читал он «По морям, играя, носится с миноносцем миноносица» (вот где праздник рифм!). А потом, рассказывала тетка, он взял в руки шляпу и пошел мимо сидящих, громко говоря: «Маяковскому на новые штаны! Маяковскому на новые штаны!» Как тут было окончательно не полюбить его? Перефразируя Ап. Григорьева, которого я не только не знал, но и не подозревал о его существовании, Маяковский был мое все. Уже через несколько лет, на излете школы, мой старший товарищ Юра Васильев скажет вдруг: «Отдаю всего Маяковского за две строчки Блока «И вижу берег очарованный и очарованную даль». И заставит меня тем самым усомниться впервые в своем кумире.

Я рос не в литературной среде. И даже не в среде искусства: не литераторы, артисты, музыканты окружали меня, а обычная служивая интеллигенция, инженеры, бухгалтеры (или главные бухгалтеры), юристы. И даже ниспровергатель Маяковского Юра Васильев был не юный поэт, и не студент-филолог, а первокурсник Текстильного института. Поэзия, стихи были как бы деталями быта, а не непременным условием человеческого существования. Они украшали этот быт, делали его изысканней, что ли. Но они куда-то и звали уже...

А по радио в это время Качалов читал «Юбилейное» и Пушкина, еще кто-то читал современных живых поэтов: «Высокие горы сдвигает, меняет движение рек; по полюсу гордо шагает советский простой человек». Сталинские премии получали Лебедев-Кумач и Николай Грибачев, а первым поэтом, получившим орден, был Виктор Гусев — кто вспомнит теперь: «И как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве».

Но в это же время писались стихи из «Доктора Живаго», «Поэма без героя», издавал одну за другой книжечки в «Самсебяиздате» Николай Глазков. Но для меня, да и почти для всех, это было, как теперь говорят, в андерграунде. А в иных московских домах можно было отыскать не только полузапретного Есенина или Ахматову, но и тоненькие книжечки Ходасевича и Цветаевой.

Были эти книжечки и у моей тетки Лели, хотя выяснилось это только после ее смерти. Мне она Цветаеву и Ходасевича не читала и не показывала: берегла мою пионерско-комсомольскую невинность. А Ахматову я от нее узнал. От нее и от товарища Жданова. Доклад его я, начитанный мальчонка тринадцати лет, прочитал, и Ахматова представлялась мне почему-то маленькой старушкой в сбившемся с головы платке, с волосами, собранными в пучок, и необычайно суетливой. Это понятно — ведь была она «барынькой, мечущейся между будуаром и моленной». Вот и стихи ее это подтверждали: «Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь и ночей наших пламенным чадом...» «Да,— сказала тетя Леля,— но он не дочитал. А там сказано... — И она почти шепотом закончила: „Я к тебе никогда не вернусь“».

И в одно мгновение строфа стала на ноги, и возникла передо мной вместо мятущейся барыньки высокая, взволнованная и какая-то необычайно достойная женщина, только что пришедшая дивное четверостишие, в котором был и ангельский, видевшийся мне каким-то хрусгально-кипарисовым сад, и чудотворная икона; чада ночей я, правда, воспринять не мог по-настоящему, но сад-то я видел, а «чад» с ним рифмовался, и этого было достаточно, чтобы жил и чад.

И потом тетка читала мне Ахматову, но как-то урывками, не законченное стихотворение, а строфу. Так я услышал: «Звенела музыка в саду таким невыразимым горем...» (только первое четверостишие из четырех), и «Ты куришь черную трубку...», и даже стихи, выброшенные Анной Андреевной из окончательного варианта:

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал...

Стихи заполняли меня все более и более, пока наконец я не увидел и не услышал живых поэтов и не оказался в самой что ни на есть литературной среде.

Хотя нет, живых поэтов я встречал и раньше.

Мы возвращались из эвакуации уже в декабре 1942 года. Теплушка казалась мне огромной: другой конец ее, по ту сторону буржуйки, освещавшей отблесками небольшое пространство вокруг себя, был скрыт сумерками, мраком глубины елового леса. На грани света и мрака сидела старая, как мне тогда казалось, женщина. Она была горбоноса, белоснежные волосы выбивались из-под черного платка, на коленях у нее лежала тетрадка (или блокнот, или просто что-то непродуктовое лежало). И я услышал, как на чей-то вопрос она ответила: «Я стихи пишу».

Не знаю, какие стихи писала эта, как я понимаю теперь, очень красивая и совсем не старая женщина, кто она была: графоманка, или подлинный поэт, или профессиональный стихотворец. Она и до этой фразы выделялась каким-то спокойствием и резким контрастом черного платка и белых волос, — вокруг все было темно-серое, укутанное. Но как мне тогда захотелось (вернее, это я сейчас понимаю, что захотелось, — не зря же я помню ее и сейчас, почти через пятьдесят лет) когда-нибудь ответить так же спокойно и уверенно: «Я стихи пишу».

Вторая встреча с поэтами тоже произошла в вагоне. После войны, в трамвае маршрута «А». У самых дверей стояли двое: один маленький, другой большой. Маленький был рыжий, со сморщенным, как затертый рубль, лицом и мелкими быстрыми глазами. Держась за вагонную петлю, он напористо насакивал снизу на высокого и, как бы бодая его в подбородок всем своим поднятым кверху лицом, выкрикивал: «Нет, как я нашел концовку: «В яблоках сад!» Здорово вед! А скажи, правда хорошо? В яблоках сад». Его товарищ, тоже рыжий, но плотный, высокий, улыбался и кивал.

С тех пор повидал я много поэтов хороших и разных, но эти двое впечатались в память как два типа: седая, прямо сидящая женщина в теплушке и маленький рыженький напористый человечек, нашедший такую замечательную концовку. «В яблоках сад!» Подумать только...

В 1953 году я впервые напечатался. Умер Сталин, и мое вполне маяковское стихотворение на смерть вождя появилось в «Литературной газете», правда с тавром непрофессионализма: рядом с фамилией автора стояло «студент МГУ». Но и это меня окрылило: тут же я написал второе, уже о похоронах Сталина (прозорливо срифмовав «Берия — не верю я»), но «Литературка» не напечатала. Пыл мой не остыл: я сочинил что-то про американских империалистов и про стилияг, заявив себя (себе) как поэта гражданской темы, — никакого результата.

Между тем окружавшая меня поэтическая, если можно так сказать, фактура постепенно, но со все возрастающим ускорением менялась. Вышла в свет маленькая и под «конвоем» А. Суркова книжечка Ахматовой. Возвращались — стихами — Цветаева, Павел Васильев, Мандельштам, Корнилов. На экране телевизоров читал стихи Ярослав Смеляков. Правда, его «Любка» жила в фольклоре и тогда, когда ее автор пропадал в лагерях. Принимались и упредительные меры. Перед выходом сборника Павла Васильева А. Коваленков писал в «Знамени» о его грубой физиологичности, отталкивающим «животном» напоре. Приведя примером сцену забоя быка из «Соляного бунта», А. Коваленков заставил меня захотеть немедленно прочитать поэта, от которого он предостерегал: с таким густым письмом я еще не встречался. Но если А. Коваленков хотя бы цитировал, то Вас. Журавлев (существовал в те годы такой, баа-а-льшим поэтом считался, пока не выдал за свое ахматовское стихотворение) в какой-то центральной газете припомнил по поводу Марины Цветаевой горьковского поэта Смертяшкина. Тогдашние «смертяшкины» Вас. Журавлева и нынешние проскуринские обвинения в некрофилии по поводу Набокова — как не меняются с годами наши жизнелюбцы.

Появление всех этих имен не только меняло критерии. Я знал корниловскую «Песню о встречном», она не пропала, только слова были объявлены народными. Но пели ее без одного куплета: «И радость никак не запрятать, когда барабанщики бьют. За нами идут октябрюта, картавые песни поют. Отважные, картавые, идут звеня». И вот эти «отважные, картавые» учили меня, как должен работать эпитет, больше, чем все главы об эпитете в книгах по поэтике.

И пошли-поехали новые имена: и тридцатилетние, прошедшие войну, но заглушенные в 40 — 50-х, и совсем молодые. Нынешняя поэтическая молодежь брюзливо

морщится при имени Евтушенко, а для нас он был знаменем, был «пробивателем», и в том, что он говорил, и в том, как он говорил, сколько корневых рифм высыпал он перед нами!

Как-то сразу увиделось, что вокруг огромное количество молодых стихотворцев. И зародились различные литобъединения. У нас в МГУ было два, но большинство собиралось на Ленинских горах у Николая Старшинова. Стихи тогда писали и будущие прозаики (скажем, Сергей Есин и Г. Немченко), и те, кто выбрал жизненную дорогу, вообще с литературой не связанную. Илья Иослович сейчас крупный ученый, математик, а тогда вот что он был:

Господь нас встретит у ворот
И скажет: «Ай-люли!
И до чего ж поганый сброд
Прижился на земли».

Наташа Горбаневская, маленькая, в больших очках, читала тонюсеньким голосом:

Хоронили управдома,
Шли за ним четыре дома,
И известные в квартале
Три старушки причитали:
«Ой не знаешь, ой не знаешь,
Где найдешь, где потеряешь,
О какой такой сучок
Поломаешь каблучок».

Все это было совсем не похоже на то, к чему я привык, но это запоминалось, ложилось на душу сразу же, и теперь, спустя тридцать с лишним лет, я легко вспомнил эти строки (хотя, возможно, в чем-то и перезрал).

А еще было литературное объединение «Магистраль». Его возглавлял критик и поэт (правда, к тому времени у него еще не было ни одной книги) Григорий Михайлович Левин. Я не встречал человека с такой любовью к стихам. Он любил их так, что невольно приходит на ум фраза из горьковских «Варваров»: «Испанец в любви доходит даже до свирепости». Злые языки могли бы сказать про Григория Михайловича, что у него была стасовская способность пьянеть от любых помоев, но злых языков в тогдашней «Магистрале» не было. А были там такие стихи:

Мальчик, говорят, продолжатель
рода.
Без него, говорят, захиреет род.
А продолжателю рода
уготована
рота,
В которую непременно он попадет.

Автор этих стихов не вставлял их в свои книжки (а их у него вышло с тех пор немало) — он считает их, очевидно, слабыми. Мне они понадобились как воспоминание о постижении прописей. Какие некруглые, без всякой меди и золота слова! Приведу еще стихи того же поэта, из того же времени. Но они читателю покажутся знакомыми:

Год сорок первый. Зябкий туман.
Уходят последние солдаты в Тамань.

А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой,
он лежит на самой передовой:
ногами — в песок,
к волне головой.

Грязная волна наползает едва —
приподнимается слегка голова;
вспять волну прилив отнесет —
ткнется устало голова в песок...

А еще был клуб «Факел», где худой, с отчаянными глазами Генрих Сапгир складывал вообще что-то невероятное:

Скульптор
Вылепил Икара.
Ушел натурщик,
Бормоча: «Халтурщик!
У меня мускулатура,
А не части от мотора».

И это тоже увлекало.

В жизнь входило целое поэтическое поколение. Потом их назовут шестидесятники.

То же самое происходит и сейчас. Почти так. Но не так.

Наше поколение было обманутым в своей вере. Но не на такой уж туфте были мы обмануты. Можно маршировать, с упоением распевая: «Воткнув еврею в сердце нож, мы снова скажем — мир хорош»; а можно маршировать под другой напев: «Весь мир насилия мы разроем». Часть обманутых искала новую веру, а другая, и совсем не меньшая, хотела лишь очистить старую.

Нынешнее поколение не было обманутым. Потому что оно не верило. Никакой нормальный человек не мог поверить в звезды Брежнева. Трудно литературно образованному или литературно заинтересованному юноше поверить в Ленинскую премию Егору Исаеву, тогда как Смелякову дали рангом пожиже. Нельзя было вздохнуть зачитываясь романами Рашидова или Георгия Маркова. Время Брежнева было, да простят мне жертвы Сталина, в чем-то хуже сталинских времен. Нам врал, но старались не показывать, что врут, старались, чтобы мы поверили. Лжецы учили нас говорить правду. Пришедшие на смену сапогам и френчам белые сорочки и галстуки врал, совершенно не стараясь о правдоподобии. Никогда еще не было власти, столь мало обеспокоенной нравственным контактом с народом. Тут можно было спиться с кругом, уйти в наркоту, стать благополучным. Слава Богу, что творчество помогло нынешним молодым обойтись без того, без другого, без третьего.

Но им надо было отринуть, оттолкнуть от себя все тяжелые вагоны, забитые идеологическим грузом, преодолеть всю надглядную агитацию, развешанную по стенкам этих вагонов. Преодолеть — легче всего высмеять. По Марксу: «Человечество смеялся расстается со своим прошлым». И дождо расставанье. Сначала происходило оно на традиционно сатирических площадках, вспомним шестнадцатую полосу «Литературки». Потом в серьезных по жанровой принадлежности стихах замелькали ходячие призывы, бодрые лозунги, идеологические клише в самых невероятных контекстах. Сюда же попадали и строки из шлягеров и из подлинных поэтов, которые тоже воспринимались как нечто присущее тому, от чего надо было отстраниться. Вот так, к примеру: «О подвигах, о доблести, о славе КПСС на горестной земле». Смешно? Смешно. Идем дальше (это уже другой поэт): «МИНЗДРАВ СССР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: все миновалось, молодость прошла». Два разных поэта независимо (надеюсь) друг от друга используют один прием и к тому же паразитируют (в биологическом, а не в бытовом смысле) на одном и том же стихотворении! А дальше больше: «В духовом шкафу играет духовой оркестр. На скамейке подсудимых нет свободных мест». И еще: «Шофер затих... Я вышел из такси». И еще: «Роняет лес все то, что он роняет...» Все эти примеры (кроме первого) взяты из стихов одного поэта, который иногда пишет подлинные иронические стихи, но чаще вот такие реминисценции бормочет, как ошалевший от терьяка басмач-пенсионер. Вступает третий: «Туда, где роща корабельная лежит и смотрит как живая». (И чего-то им так Блок дался?)

То же самое и со стихами на историческую тему. Размышление в Гунибе, месте пленения Шамиля:

Один грузин (фамилию соврем,
поскольку он немножко знаменитый)
хотел сюда приехать с динамитом.
Вот было б весело! Вот это был бы гром!

Конечно, если б парни всей земли
с хорошеньким фургонным автоматом,
да с газаватом, ой да с айгешатом,
то русские сюда бы не прошли.

Или о любимом мною Наполеоне:

Так он и шел по Европе тогдашней,
Чуть постоял под Пизанской башней
И на восток от нее повернул.
Взял он Берлин — ГэдээРа столицу,
Всю ПНР захватил, кровопийца,
И через Неман, бродяга, шагнул

Но отыскали большое мы поле,
Видим, есть где разгуляться на воле,
Начали строить редут.
Фланги как следует укрепили
И троекратно провозгласили
«Но пасаран» — ставь быть, «Не пройдут».

Есть, кстати, еще один безошибочный прием — оборвать цитату. Странно, что никто этим еще не воспользовался. А как славно бы получалось! Однажды с Аркадием Аркановым мы так развлекались. Вот Пушкин: «И он к устам моим приник и

вырвал...» А какое адюльтерное стихотворение можно сделать из чуковского «Мой-додыра»!

Вдруг из маминой из спальни
Кривоногий и хромой
Выбегает...

Как это просто и легко. Была б это одна дружеская компания, но если — направление? Как могло случиться, что ироничные стихи оказываются так скучны? Раз улыбнешься, другой усмехнешься, а потом зевнешь и скажешь: «Да это черт-те что такое». И хотя я считал многое в нашей, 60-х годов, поэзии несколько инфантильным, но эти суровые юноши, иным из которых уже давно за тридцать, еще инфантильней. К счастью, из той же новой волны выплескиваются и такие строки:

Ничего-то мы толком не знаем,
Труса празднуем, горькую пьем,
От волнения спички ломаем
И посуду по слабости бьем.
Обязуемся резать без лести
Правду-матку, как есть напрямик.
Но стихи не орудие мести,
А серебряной чести родник.

Это стихи Сергея Гандлевского, поэта истинного и обидно мало печатавшегося у нас, даже сейчас, в годы перестройки. Вообще у этого поколения были слишком неблагоприятные стихи, чтобы печататься в благополучное время застоя. Только недавно узнал я замечательного, трагически ушедшего из жизни Александра Сопровского; одно лишь свое стихотворение увидел он опубликованным, а большая подборка в «Огоньке» появилась через несколько дней после его гибели. Готовя стихи А. Сопровского к печати, я сказал его вдове, что, может быть, стоило бы несколько сократить одно стихотворение. Она мне ответила: «Вы знаете, когда Саша считал стихи законченными, он не соглашался ни на какие изменения. Ему необязательно было печататься».

Говоря об «иронистах», я коснулся лишь одной, не самой значительной линии в, условно говоря, молодой поэзии. Но эта линия не ограничена процитированными мною несколькими поэтами. Их, увы, всерьез едущих на одном приеме, гораздо больше. Цитировал я тех, кто на слуху.

Есть и другая линия.

Несколько лет я вел занятия в литературной студии при Московской писательской организации. Там, кроме моего, было несколько других поэтических семинаров. Одна из моих семинаристок, славная молодая женщина, по профессии не связанная с литературой или журналистикой, писала стихи, никак не укладывающиеся в рамки нашего довольно классического семинара. Она совершенно искренне хотела себе объяснить, какими же должны быть стихи, чтобы привлекать внимание, воздействовать на читателя и т. д. Ей очень хотелось верить алгеброй гармонии и раз навсегда установить, что такое поэзия. К тому же не меньше хотелось ей печататься, да она и не скрывала этого. Целый трактат она написала о поэзии с пространными рассуждениями, выкладками — словом, со всем тем, о чем Блок сказал, что «поэту вредно об этом знать». Нашему теоретику оказалось не вредно. Видя, как она мучается непризнанием и глубоко ей сочувствуя, посоветовал я перейти ей в другой семинар, руководитель которого привечал всех по принципу «это ново». Мой совет оказался удачным. Прошло не так много времени, и наша бедная семинаристка была объявлена одной из глав «новой школы», «надеждой» и т. д. Стихи она пишет точно по рецептам своего исследования, и видите — получилось. Как-то, послушав нескольких поэтов «новой школы», я решил попробовать сделать такие стихи. Их можно конструировать из набора нескольких элементов: а) иностранные слова, б) демонстрация образования, можно так называемого свежего, то есть когда человек, получив, скажем, по подписке свежий том Николая Кузанского, сразу же упоминает его в своем выступлении и по возможности быстрее вставляет в стихи, в) обязательно в свои строки вклеить какое-нибудь клише. Еще несколько сформулированных года три назад истин я уже сейчас не помню ввиду тогдашнего моего лихорадочного состояния: всю ночь и часть следующего дня я лепил нового поэта. Я дал ему простую, но не совсем простую, фамилию, назвал Алексеем, набросал биографию — он у меня был, бедняжка, тяжело болен, находился на излечении в подмосковном санатории (костным туберкулезом у него наградили, и потому стихи его попали ко мне из рук его матери или тетушки). Лет ему было между двадцатью и тридцатью. Затем я прочитал его стихи на нашем семинаре, где семинаристы сами решали, станет ли тот или иной вновь появившийся их сотоварищем. Моего поэта приняли без восторга (я порадовался за семинар), но приняли. Сказали только: «А чему его учить? Он все умеет» (я порадовался за себя). Затем мне надо было устроить его литературную судьбу, и я отдал его стихи в солидный литературный «Орган» (куда — не скажу, чтобы не раскрывать псевдоним): одно стихотворение моего гомункула было

опубликовано. Встретив «в кулуарах» некую зрелую покровительницу «новой волны», пишущую, впрочем, вполне добропорядочные стихи, я сказал ей: «Не понимаю, что ты находишь в этом NN? Ну что здесь хорошего?» И прочитал:

Цвела скрупулезно малина
Как дар красоты и любви,
И шарики гемоглобина
Купались в венозной крови.
И звонко копытами цокал
Скакун, первогодок, пострел,
И дед, превратившись в бинокль,
На все это сверху смотрел.

«Ты ничего не понимаешь», — быстро сказала она, улетающая куда-то по своим литературным делам. Я собрался было послать моего Алексея на конкурс в Литинститут, но одумался...

Стихи эти куда-то затерялись (номер «Органа» я сохранял довольно долго). Помню только отдельные фрагменты да одно произведение целиком. Называлось оно «Физиологическая поэма». Привожу его полностью.

Эх! Поиграть бы в пинг-понг шариками гемоглобина!

Вообще гемоглобин, так же как и рифмовавшийся с ним «гамма-глобулин», часто встречался в стихах моего Алексея М., что легко объяснялось его пребыванием в лечебном заведении. Приведу еще несколько оставшихся в памяти строчек:

Устав от Вико и Декарта,
Ввалился я в оперный зал.
«Три карты! Три карты! Три карты!» —
Мне призрак явился и грозно сказал.

И попал я в такой крутой замес —
Только-только успел сказать на ходу:
«А жене скажи, что в степи замерз
И домой ночевать не буду».

Но существует и еще одно направление. Направление, оснащенное не только трактатом моей былой семинаристки, но целым рядом исследований, истолкований и разъяснений. Впрочем, о нем лучше всего, на мой взгляд, сказано в замечательной книге Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского». Я позволю себе процитировать большой отрывок из главы, посвященной русским футуристам (называется глава «Братья-разбойники»):

«С самого начала и до конца литературный союз русских футуристов был единственным в своем роде профессиональным союзом — это был союз графоманов.

Ни один посторонний, то есть талантливый, не мог бы долго существовать в этой группе. Пастернак, привлеченный личностью Маяковского, которого он очень высоко ценил, залетел однажды на огонек, едва не сгорел, но вовремя (а лучше бы раньше) спасся.

На протяжении примерно пятнадцати лет существования русских (московских) футуристов Маяковский был и оставался лучшим, талантливейшим, то есть попросту единственным. И это, конечно же, не случайно.

Казалось бы, и прочие литературные группы не слишком изобиловали талантами. У имажинистов тоже был только Есенин, все же остальное — Мариенгоф... Поэт вообще профессия редкая, и скорее следует удивляться, что было их слишком много. Но нет, имажинисты — совершенно другое дело. Мариенгоф был, возможно, не талантливее, чем Крученых, но Мариенгоф стремился быть талантливым. Он, в отличие от Крученых, не возводил бездарность в ранг гениальности, не обманывал, не совершал подмены. Он сочинял плохие стихи, но он не выворачивал вверх дном критерии, так, чтоб эти стихи считались хорошими. Он, быть может, тоже был графоманом, но о нем так и говорить не хочется, потому что он не был графоманом в о и н с т в у ю щ и м. Он, скажем, был просто слабым поэтом...

Алексей Крученых организует выпуск специальной книжечки, где в четырех статьях рекламируются его стихи. Одна из статей называется «Слюни черного гения». Другая, подписанная самим Бурлюком, — «Бука русской литературы».¹

«После одеколона и рисовой пудры Бальмонта, после нежных кипарисового дерева (?) вздохов Ал. Блока — вдруг

Оязычи меня щедро, ляпач!..»

Вот этот «ляпач» и решил все дело. Он и оязычил и надоумил.

¹ Карабчиевский неточен: статья «Бука русской литературы» написана Сергеем Третьяковым, Бурлюку же принадлежат заметки «Ядополный». — Е. Х.

Как стрижи начинают мелькать перед непогодой, так и появление «ляпачей» предвещает резкие изменения общественной жизни.

Много лет наблюдал я людей, чьим ремеслом было изготовление стихов, так же как можно изготавливать обувь, водить автобусы или печь пирожки для общепита. На базаре одной из восточных стран я видел человека, который за сходную плату исполнял заказы потребителя: воспеть возлюбленную заказчика, оплакать смерть близкого, сочинить хвалебную оду по любому указанному поводу. Но это были частные заказы. Нашим профессионалам пера заказы давало государство.

«Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс», — сказал Маяковский. Но и те, у кого и силенок было поменьше, и звон не такой яркий, отдавали. И получали. «По звону». О эти дежурные «датские» (к датам) стихи в газетах, о эти баловни обкомов и крайкомов — наши тульские, красноярские, мухоранские поэты, о эти ашуги и шаиры из автономных областей и национальных округов, чьи русские переводы появлялись в печати еще до того, как оказывались написанными оригиналы, о лауреаты по разрядке премий государственных, «республиканских, областного комсомола, краевого совпрофа, гнедые, буланые, пегие, муругие!

Деидеологизируясь, государство снимает их со своего кошта. Целый социальный пласт исчезает на наших глазах. Прощайте, фестивали молодой поэзии, прощайте, областные, краевые, региональные совещания литераторов, прощайте, литконсультанты, прощай, вся литобслуга! Прощайте, одномники и многотомники унылых псалмопевцев и бодрых певцов рабочего класса. Прощайте, раздутые тиражи одних и ужатые тиражи других. Все — за свой счет! Издательства не хотят работать в убыток. Все — за свой счет. Советская социалистическая поэзия приказывает долго жить поэзии настоящей.

И она будет жить. Но не в истерической атмосфере Лужников и поп-парадов. Она уйдет в книжки с небольшими тиражами. Их все равно найдут и прочтут те, для кого поэзия — необходимое условие существования. Ибо поэт, как говорил Блок, сам осуществляет выбор среди людей.



Литература и искусство

«...БЕЗ БЫТИЯ»*

Елена Шварц. Стихи. Л. Ассоциация «Новая литература». 1990. 119 стр.
Елена Шварц. Исторические стихи. «Вестник новой литературы». Вып. 2. Л.
Издательство Ассоциации «Новая литература». 1990.

Детский садик, адик, раек; садок —
Питерской травки живучей таит пучок.
В полночь ухает не сова, не бес —
Старый раскольник растет в армяке до небес.

Чтобы понять, что принесла нам на своих разлохмаченных крыльях муза Елены Шварц, с которой поэт, как и с другими своими потусторонними сродниками и собеседниками, находится в напряженных отношениях вражды-любви, нелишне заглянуть в набросанные ее рукой штрихи поэтической биографии. Это стихотворение, «Детский сад через тридцать лет», написано таким характерным для Шварц полураешником, и в полусотне строк умещается не только своя (лирической героини), но и многих из нас, обших наших времени и места, горемычная история: раскольникче кладбище, «мясокостный» (или мыловаренный?) с коженными заводами, ржавые танки, детские страхи, первая кровь... Детство, играющее среди могил. Послевоенный Петербург-Ленинград («и топь болотная времен никонианских») разворачивает свои пустыри, на которых для живших там было кое-что страшнее Медного всадника.

Старый раскольник растет в армяке до небес.

Он берет из прудов черные кожи,
И хлещет воздух по роже,
И пускает их по небу, как тучи,
Весь нести —
Город, как туша, разделан
У дикой тоски в горсти.

И за то, что здесь был мой детский рай;
И за то, что здесь Ты сказал: играй;
И за то, что одуванчик на могилах рвала
И честно веселой, счастливой была,
О дай мне за это Твою же власть
И Тебя, и детство свое проклясть.

Совсем нетрудно отмежеваться от этого невероятного проклятия, укрывшись за высокой

стенной какого-нибудь идеального примера. Вспомнить хотя бы письмо о Павла Флоренского из ссылки, где он пишет, что никого не проклинает, но все в своей судьбе принимает, видит в ней некий замысел, испытание, быть может, нужное его душе. Но ясно, что духовное измерение нерушимой религиозной традиции нельзя применить к исследованию такого явления, как стихи Елены Шварц. Здесь мы поставлены перед миром, предельно, до костей, самообнаженным и, казалось бы, разрушенным до конца. Перед хаосом, но не первобытным, а тем, что оказывается в остатке при конце мира.

История пошла пузырями, провалилась.

Все окна мечены крестом,
Все крестится в глазах моих:
И скрытые кресты столбов —
И позвоночных и простых,
И улицы — в скрешенье их.
И только церковь без крестов
Стоит, как стебель без цветов.

Это зубы дракона ходили «на Исакий войной; войной...», серпами жали кресты. И, бредя до скошенному, видит бедный человек, что нечего ему уже из истории надеть на себя завидного к празднику. Надо заново все создавать: и теплое свое язычество, и мифологию, и единое длинное слово «мир», и так идти и идти по страшным местам как по ужасам трех ночей, которые должен провести отрок в избушке на курьих ножках, чтобы стать воином и мужем; снова «поклониться земле сырой»; дойти вспять до садов Эпикура, до Парок...

Солнце ехало вниз, и тени понятий длиннели.
Гелиос, о погоди! Дай мне их все же понять.

А там, без конца оглядываясь на отягтые временем головы китайских мудрецов и расколотые мраморы и гипсы античности, на их белые тени в Александровском саду, на умершего Пана и такую же мысль о Господе гос-

* «...На земле оживил я, недомога. Отбыл он без бытия...» (Е. Баратынский).

Где действует классическое, то есть ориентированное на высшие истины, сознание, там, при всей сложности темы и метода, читателю не оставляют возможности метаться между жизнью и смертью, не находя ответов, разрешающих дело в пользу того или другого. Там возможна либо жизнь, либо смерть, но не противная положенным для нас свыше законам «смертожизнь», или злолюбовь, или питье молока из груди подруги (есть и такой сюжет), или каземидость, или весь сладострастный анатомический театр собственного телесного устройства, перед которым размышления над черепом Йорика — просто ребячьи забавы. Во всем — отказ от детского неведения в пользу загробного опыта души, пережившей себя, жакетса, еще до рождения.

Бог, если Он сколько-нибудь есть во мне, плачет и сострадает, но склоняясь над раковиной Елениных стихов, и становится дурно, как от болотного газа. Все ждешь, когда же она попросит белой анестезии будущей жизни. А она не просит.

Не помогай, не подходи,
Хотя бы я о том молила.
Ты только издала следы,
Как боль в глаза мне ужас влила.
Не помогай, не подходи,
Не то и ты скользнешь со склона.
Как корчусь — издала следы,
Как пальцы, локти в смерти токут.

Только носится туда-сюда (от падшего мира живых к распавшемуся — мертвым), охваченная некой странной заботой о сохранности праха и вооруженная каким-то пыточными инструментами, которыми шевелит души, как угли, в непрерывной, крутящейся веренице реинкарнаций.

Перед нами искусство эпохи после газовых печей. Ладонь без линий судьбы, «палимпсест» выделанной человеческой шкурки. Все это может быть заложено в сознание только памятью об изощренных методах человекоубийства в предыдущих поколениях. Наверное, с этим нельзя жить. Но поскольку нельзя и умереть, душа, с которой сначала опали сияющие одежды веры и послушания, мучается уже не муками собственной судьбы, а общим безумием мира. Хоть пора уж бросать остатки ветхой жизни, стоит она посреди свалки и все еще вытягивает из нее оружие останки: быть может, смилуется Господь и спасет этих, последних... Которые проклинали.

Кто обделен с рождения, как Польша,
Кто в пору глухоговорения
Родился — полузадушенный, больной,
Кто горло сам проткнул себе для пенья...

Вот подзащитные Елены Шварц.

В таком обращении к Господу Богу от имени и в защиту падших душ и заключен, как представляется, основной пафос этих стихов. Возможно, именно здесь обнаруживает себя

то вещество поэзии, которое как огонь неутолимый — от свечи к свече — передается классической традицией, побуждая вспомнить многие имена и темы — от лермонтовского «Демона» до французских проклятых поэтов.

О традиции, впрочем, стоит говорить и шире, не только ощущая в стихах Шварц присутствие Хлебникова и Заболоцкого, но и обращаясь к средневековой культуре. Перед нами пародия на весь Божий мир, что роднит эти стихи и с ярмарочным представлением, и с желчным, богоотрицающим пафосом антиутопий; но в то же время на всей картине лежит кровавый отсвет всемирной мистической трагедии.

Сюжеты Елены Шварц взяты из тех пределов, куда Орфей спускался на поиски Эвридики и где единожды побывал бессмертный Дант. Эти сюжеты (где отсутствует, кстати, фигура друга и проводника, тем более — ангела или Пресвятой Богородицы, как в видениях и духовных стихах) воспринимаются словно впервые заявленные, доселе в русской поэзии немислимые, хоть и встречавшиеся в прозе поэтов же — Брюсова, Сологуба... Они ошеломляют прежде всего своей брейгелевско-босховской смелостью и суггестивностью, инфернализмом, выходящим за черту возможного в фольклоре и апокрифах. Сам «глубинный» метод добывания красок откуда угодно заставляет автора почти поселиться на границе мира живых и мира мертвых — в некой инферносфере,

Где масоны выводят в ночи цыплят
Из вареных вкрутую яиц...

Поэт становится гостем могил и семейных склепов, тех мест, куда попадают после смерти преступники и властители, куда проваливаются орудия казни и газовые печи, весь реквизит кровавых ближних и дальних инквизиторских и богоборческих эпох. Это может быть просто область ночи, населенная снами, полная демонических существ и призраков, летающих над дряхлыми грешными городами — Петербургом, Венецией, Содомом... Вот рудник, где старательно добывается сюжет-сновиденье, а в сущности — та же «свалка», которой растапливал костры своих бестселлеров Валентин Пикуль. И конечно, это пародия на историю и одновременно нешуточный, по-булгаковски карнавалный и прозорливый портрет своей эпохи в измерениях новой реальности — реальности смерти, тленья и будущего Суда, который начинается сегодня. Нельзя не обратить внимание и на иллюзионизм подробностей, на обманчиво наивные описания, стилистику псевдолубка с вкрапленными в него коллажными лоскутами гекзаметра, ямбов и всего, чего потребует тема.

И вот, отдавая должное резцу, кривому ножу и кисти художника, уместности рассказчика, про которую в своей «Дегуманизации искус-

ства» сказал Ортега-и-Гасет, что это «тенденция избегать всякой фальши и тщательное исполнительское мастерство», а также кропотливой и небезопасной работе ночного старателя, окутанного вихрями архивной и могильной пыли, с детским страхом Божиим смотрю я на открывающийся из этих шлолен образ мира, выстроенного и иллюминированного так, что маленькими, и смешными, и совсем не страшными для тьмы выглядят все упомянутые имена и безмянные фигурки христианских святых и какого-то незаметного и бессильного небесного воинства. Да его снизу, из этого ада, и вовсе не видать.

Таков же ряд некогда величавых фигур в цикле, получившем название «Историческая шкатулка». Все они взяты не из своего только времени, а из нескольких временных планов, один из которых — посмертный период гробовых метаморфоз. Почти романная сюжетность поэтических построений Шварц слита с жесткой и агрессивной лирической нотой. Это не повествование, а как бы сиюминутное проживание интенсивного потока образов. Но вообще-то обгчное для литературы «настоящее в прошедшем» не возвращает в поэтике Елены Шварц действующих лиц к жизни, это не жизненная реальность, а остановленное мгновение вечной гибели. Отжившие свое герои утратили пурпур, который их облекал во дни земного бытия, и стали как бы куклами плоти, мучимыми воспоминаниями о них других людей. Автор понуждает актеров своего театра без конца испытывать это постыдное фиаско.

Этот растабуированный мир культуры и истории может существовать лишь благодаря смерти и сроку давности. Здесь как бы говорится родным мертвецам: «Все. Кончилась ваша власть. Вы — не цари. Мы — не рабы. Теперь попляшите-ка в руках историка, который одержит с вас ключья плоти вместе с кружевным бельем, альковными сценами, интригами, изменами, пороками и всей вообще изнанкой бытия». Уценка и обесценка всего, что могло осознаваться как достойные и достоинство. Книгиня Дашкова может быть учтена до крысы, Достоевский — до эпилептического припадка, Бетховен — до ночного горшка, в который выплескивается кофе. Изумление, смешанное с отвращеньем, вызывает нагая Екатерина Великая, раскинувшаяся плотью до крайних пределов империи (стихотворение «В отставке»). Несомненно, этот образ давно просился в литературу и намеками мелькал в ней. Однако весь эпизод с заголением истлевшей монархии подчинен откровенно пародийной логике: в нем буквально реализуется метафора, заключенная в слове «разоблачать», и на ум просится старая пословица: велика Федора, да дура. Но более всего эта пародия задает не «нижний ряд» исторических соответствий, а ударяет по верхним

иерархиям творения, в том числе по культуре Мудрости и Матери, не просто царицы, но как бы прародительницы. И все-таки, даже спящая, даже мертвая, императрица все еще волнует воображение сегодняшнего униженного человека (психологически он дан в лице любовника государыни) — возвышающего себя за счет чужой славы, испытывающего завистливую боль при мысли об упущенных преимуществах, об утраченном доступе к власти, которая предпочтительней любви.

Трудно было бы перечислить все то, что пошло на строительство поэтических мистери Елены Шварц:

Бог, время, сны, Москвы пожар
И флот Антония влюбленный,—

по определению самого поэта. Но этот мирный реестр далеко не описывает составляющих ее поэтики и стилистики. То чувство «отвращения к человеку», о котором говорит Ортега-и-Гасет, превращается у нее в отвержение «благопристойных» форм искусства. Не отказывает ли иной раз вкус? Скорее она сама своею волей отказывает вкусу там, где восходят до небес миазмы над почти раблезианской громадой падали. Но не то страшно, что человек в этой системе вывернут почти до кишок, а то, что в своем протесте, в борьбе воробья-Иакова с Богом, он заходит так далеко, что мы в итоге не можем уследить, все ли он еще горестная паха или уже Люцифер. Слишком последовательно нагнетание «кошунственных ингредиентов» нового искусства: «Обожание злого хвоста...», «Когда засвищут Воскресенье...», «Меж туч клубится орган половой...», «А ее бы пока изнасиловал плотник». Не говоря о всей «сумме» демонологии, о выдираемой плоти, о брызжущей крови. Эта обратная, изнаночная сторона сострадания, проявляющая себя в преступлениях мысли, встает в общий ряд с темами младенчества как смерти, родительства как вампиризма, детства как кошмара. Весь мир Елены Шварц, будто в самом жутком из триллеров, зачат и дышит «как бы в кровососушей колыбели». Невозможно хладнокровно рассматривать эту мясную лавку жизни, невозможно не почувствовать оскорбления Нового завета новой литературой.

И вдруг вырастает на этом проклятом пространстве

Большое дерево — Божье Слово —

На котором пророки висят, как терновые вишни
Или как рыба на нити (прыг-скак) рыболова.

Ведь не было ничего похожего уже очень давно в нашей поэзии на это самосветящееся древо — Неопалимую купину, выросшую свободно посреди хаоса, полного демонов. Несомненно, здесь продемонстрировано очень вольное обращение со Священным писанием.

Подумать только! — как оправдано это дерзновенное «висят» образом рыбы и образом плода... Но зато и купина — не настоящая. Елка с игрушками. И тут же ловлю себя на том, что это напряжение между высоким и сниженным, величавым и гротесковым никогда, конечно, не снимается, не уравновешивается до покоя, до твердой веры, говорящей «да, да» и «нет, нет».

Видимо, поэт мыслит так: поскольку история уже была, а культура тоже «кончилась», ее конец должны сопровождать конвульсии искусства, для которого уже нет очищения и очевидна лишь жертва наедине со своим палачом — неоплаканная, неотмщенная и нераскаивная.

Что же чувствует жертва, когда она видит алтарь?
Ах, сама она чует — что кого-то прирезала встарь...

...По мере того как я читала стихи Елены Шварц, от неприятия и смешного, должно быть, страха перехода к переживанию их художественной, мистической и житейской правды, меня не оставляла мысль об искушении. Дерзостно искушается не одно наше смертное сознание, но — в прямых обращениях и через имена святых — Тот, про кого написано: «Не искушай Господа Бога твоего» (Второзаконие). Таков уж этот путь. Быть может, поистине мученический, — а может, гибельный?

Ольга НИКОЛАЕВА.

Елгава.

*

ГАРМОНИИ ТАИНСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Евгений Курдаков. Из первых рук. Стихи и баллады. Алма-Ата. «Жазушы». 1990. 119 стр.
Евгений Курдаков. В центре мира. «Наш современник», 1990, N 2.

На городской площади солидно возвышались общественно полезные здания: «чиновничий дом», больница, школа, театр, тюрьма.

И только цветочный киоск среди них
Был празднично ветрен, беспечен и тих,

Один он не звал, не карал, не учил,
Не ведал, не значил, — он просто любил,

И ветер души его — запах цветов —
Витал между этих высоких домов...

(«Баллада о цветочном киоске»)

Так и поэзия (позволю себе истолковать простенькую аллегорию Евгения Курдакова — «ветренная», «беспользная») — она, «витая» среди людей, соединяет их внутренними связями любви, очищает, возвышает, снимает ожесточенность, возникающую меж нами в ежедневных заботах, — «на бунтующее море лет примирительный слей».

Когда же «киоск этот был равнодушно снесен» и «очищающий запах цветов» исчез, тут и обнажилась «безлюбовность», безрадостность мира, лишенного поэзии:

Запахла тюрьма вдруг тяжелой бедой,
Больница — бессильем, страданьем, тоской,

Халтурой театр окровавлен запах,
А школа — рутинной, скрывающей страх.

И даже высокий чиновничий дом,
Вдруг выдал себя, засмердил сурочком...

Думаю, что нынче на поэзию необходим именно охранительный взгляд, потому что сама поэзия еще хранит воспоминание о живом, она удерживает это воспоминание в стихе — быть может, наиболее консервативном и

стойком проявлении чувства равновесия, красоты и гармонии, давно утраченного единства и связи с природными стихиями, которые человек некогда обуздывал, приручал посредством стихотворного метра, а не бульдозера. С теми стихиями, что приносят в поэзию одухотворенный, но не утративший пластической чувственности образ:

Ветер взвывается, и птицы взлетят,
И потемнеет, на миг обессилев,
Воздух, промешанный сотнями крыльев,
Перетекающих в дальний закат.

Строфа эта не только воспоминание о живом, она и есть живое, органичное, ощущается в ней полнота лирического переживания, внутренняя свобода, возможная в сфере красоты, эстетического «инобытия». Здесь и созерцательность, но и по-своему современное ощущение напряженности мира. Причем я бы не сказал, что стих доведен до зеркальной гладкости. Слово «промешанный» звучит тяжело (даже физическое усилие чувствуется), но именно такое слово и нужно было поэту, чтобы передать густоту, плотность, насыщенность и, главное, «настоящность», полноту пространства.

Есть симметрия, композиционная закономерность в том, что это «грузное» слово стоит именно в полноударной строке: в катрене полноударные строки четырехстопного дактиля чередуются со строчками, облегченными на первой стопе. Такое чередование «тяжелых» и «легких» строк подкрепляет зрительный образ — игру света (одновременно «потемнеет» и свет «дальнего заката»), контраст движения и остановки («ветер взвывается» — «на мир обессилев»). Начатая с длинного слова, освобожденная от первого метрического ударения

строка «Перетекающих в дальний закат» звучит протяженно-легко, прозрачно, и впрямь улетающая вдаль, захватывая как можно больше пространства, будто промеривая его уходящей в бесконечность траекторией. Стих как бы пытается дотянуться до времен, когда земля еще только начала оформляться из спрессованной в спираль вселенной, остывать и затвердевать, когда еще не было «второй», рукотворной, природы, а безраздельно царил «первая»:

Эти грубые глыбы порфира,
Эти кварцы на гребнях холмов:
Каждый камень лежит в центре мира
Над седеющим прахом веков.

«Грубые глыбы порфира», «кварцы на гребнях» — тут угадывается знание природы изнутри, внимание к осязаемой фактуре вещей, умение и привычка к ремеслу. И читая многочисленные стихи, так и названные «Резьба по дереву», «Старый пенёк», «Сад корней», «Корчевье», «Поиск формы», а в особенности книгу Курдакова «Лес и мастерская» (Алма-Ата, 1986), мы действительно узнаем о профессиональных занятиях поэта флористикой, изготовлением скульптур и композиций из корней, пней, веток, коряг, коры, разных наростов.

Здесь сходятся, пересекаются поэтический интерес к природе, хранилище довременного и вечного, стихийного и живого, и интерес мастера к природному материалу, к древесине, держащей в заточении ждущие освобождения существа, — эстетизация природы на рискованной грани с декоративностью. Соседство, родство этих двух профессий в пределах одной души, одного творческого сознания показательно: занятия флористикой, окультуривающей природу, в определенной мере отражают и общехудожественные и общемировоззренческие установки автора. Так строгая скульптурность, пластичность торжественного пятистопного ямба в «Равноденствии»:

Бесшумно передвинулись светила
Высоких сфер и звездных поясов,
И солнце невзошедшее ступило
Из знака Девы в зыбкий знак Весов, —

облекает собой точно вымеренное и неукоснительно соблюдаемое равновесие самих природных сил:

В дрожащем предрассветном занебесье,
Еще не в силах сумрак превозмочь,
Застыли два прозрачных равновесья,
Две равнополных чаши — день и ночь.

И если вспомнить Тютчева, который непременно вспомнится, то, как видим, здесь уже нет места «пылающей бездне» или другой бездне — «с своими страхами и мглами», нет бурь и катаклизмов, но есть размеренная, «возвышенная точность Зодиака», есть ми-

роздание, стройное до геометрической расчерченности:

Небесные столбы меж темных туч,
Они возникнут в трепетном сиянье,
Опущенные вдруг с высоких круч
Бесплотную опорой мирозданья.

Хрустальный храм из солнечных колонн
Восстанет над поверженным заливом
Весь до предела светом напоен,
Весь до конца в неведенье счастливым.

Три поэтовых дела, назначенные когда-то Блоком, выполняются смиренно и буквально: звуки освобождаются «из родной безначальной стихии» (причем это какая-нибудь конкретная природная стихия); звуки приобретают форму, приводятся в гармонию; гармония вносится в мир.

Мой берег вечный, река без края, волна и ветер!
Как мало надо, чтоб быть счастливым на белом свете!

То, что шестиударный ритмряд делится на три одинаковых отрезка, ощущается на слух и даже на глаз, что можно показать графически, преобразовав строку в целых три:

Мой берег вечный,
река без края,
волна и ветер! —

но тогда потерялись бы монотонно-красивая волнообразность, напевность, цезурность, строгое соблюдение словоразделов — все, что фиксирует здесь не только гармонию звуков, но дел, состояния и отношений:

На белом свете, под этим небом, на этих пашнях
Простим заблудших, претерпим властных,
поднимем падших!

Рядом с «Садом корней» в книге Курдакова мог бы быть и раздел «Сад камней», напоминающий о тех изящных рукотворных «музеях» камней, которые устраивают люди под открытым небом. Во всяком случае, как видно из стихотворения «Звериный стиль», возможен взгляд на нерукотворную, естественную природу как на коллекцию камней, экспонатов, отчего природа, не теряя первозданности, приобретает очертанья некоего замысла, творенья:

Петроглифами здесь испещрены
Лбы плоских плит на обнаженных скалах.
Чья твердая рука их высекала?
К кому они навек обращены?

Автору, повторяю, свойствен взгляд гармонизирующий, окультуривающий. То есть, конечно, хаос, ужас, неукротимые силы где-то «шевелиются», о чем редкие стихотворения напоминают (например, «Приснилось мне, что смертной метелью...»), и все-таки строгие метры Курдакова снова и снова заставляют вспомнить, что слово умиротворяло стихии разговором, заклинанием, ворожкой мелодии и

ритма. О том, что автор вполне сознательно видит в себе прямого наследника, носителя этого поэтического дела, почти напрямую говорится в стихотворении «Пряха»:

Кто заповедал мне помнить душой
 Это камлание, язычество это,
 Солнцепрядение, кручение света,
 Переполнение жизнью самой?..

В этом смысле метрика и ритмика Курдакова могли бы стать предметом особого разговора, несмотря на ее подчеркнутую силлаботоничность, традиционность, консерватизм. Были ли в русской версификации дольник, тактовик, акцентник, наконец, верлибр, то есть формы, последовательно удаляющиеся от классической просодии с начала сего века? — спросит читатель. Может показаться, что для Курдакова они не существовали. Но нет, думаю, что как раз очень даже существовали. Если бы не существовали и если бы не дошел стих почти до полного растворения в «естественной» речи, до полной утраты музыкальности, не было бы столь жесткой силлаботонической реакции (и не только у Курдакова, но едва ли не у всех значительных поэтов наших дней: В. Казанцева, Ю. Кузнецова, Вл. Соколова, О. Чухонцева). Любопытно, что у Курдакова нет не только так называемых неклассических размеров, но на всю книгу нет ни одного четырехстопного ямба, этого самого «нейтрального» размера XIX века. А вообще поэзия Курдакова — это царство трехсложников, ритмичных, напевных, *н а и б о л е е с т и х о в* из-за того, что — в сравнении с ямбом — они наименее приспособлены для пропусков «схемных» ударений. Можно, правда, привести примеры того, как поэт ради гладкого метра пользуется лишними словами, особенно предложениями, частицами и

т. п., как певучие трехсложники сбиваются на красивенький вальс:

И чтоб старый поэт, знаменитый, печальный,
 Пригласил бы однажды меня на чаек,
 И сидели б мы с ним, пили чай и молчали,
 И он был бы, как я, одинок, одинок.

(«Дворник»)

Сейчас просто нет места приводить полностью прекрасное стихотворение Курдакова «Псы Актеона», поэтому, рискуя упростить его суть и эстетическое впечатление, процитирую лишь последнюю строфу:

И миф иссяк уже вполне, без вывода, урока, —
 И смысл загадочный его остался затемнен...
 О чем ты, миф, ведь не о том, что не уйти от рока?
 И не о том ведь, что никто не будет пошажен?..
 Строфа пустует на ходу и дремлет утомленно,
 Глаза закроешь — и летит, летит кровавый сон...
 Стихи мой, слепые псы, собаки Актеона,
 Я вас с руки кормил, а вы все мчитесь мне вдогон...

Конечно же, условно говоря, содержание произведения и в том, «что не уйти от рока», но, если угодно, смысла существования стихотворения — в самом существовании его как стихотворного текста, в той самой авторитарности, «внушительности» метра и ритма, о которой уже однажды писал открыватель поэзии Курдакова Вадим Кожинов. И в пятикратном прогоне восьмистишной строфы, вроде бы громоздкой, но динамичной, и в том, что длинный семистопный ямб звучит не тяжело, а стремительно. Кстати, и в этой стремительности тоже воплощена неотвратимость рока. Вывод этот — в конце, хотя в начале баллады, казалось бы, ничто не предвещало «темы творчества».

Для поэта стихи — неотвратимый рок, судьба, призвание, служение.

А для нас?

Вл. СЛАВЕЦКИЙ.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

1. ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Темнота зеркал. Стихотворения и поэмы. М. «Советский писатель». 1990. 176 стр.

Можно ли говорить о Евгении Рейне, не говоря о тех, с кем он когда-то начинал, — о Кушнере и Бродском? Да прежде всего сам Рейн будет против. В стихотворении «Возвращение» (а куда же ему возвращаться, как не в родной Ленинград) эта дружба поставлена в центр бытия:

Здесь при Осе и Саше в петроградском размере
под унылый трехсложник некрасовской музыки
мы держали треножник и не знали обузы,—

и столь пышный образ здесь вовсе не всуе. Ведь именно помянутые поэты были хранителями священного огня, той славной традиции, что когда-то и родилась в этом городе и которую В. Вейдле назвал петербургской поэтикой. Начавшись со стихов Гумилева, Ахматовой, Мандельштама (то есть тех, кого именуют акмеистами), эта поэтика, по утверждению зарубежного исследователя, продолжала цвести в Ленинграде, отчетливо обнаруживаясь у «молодых»: Вейдле называет в этой связи Бродского, мы же добавим Кушнера и Рейна.

Ведь действительно, любовь к предметности, к точному, взвешенному слову, взятому обычно из будничного обихода, характеризует и объединяет этих трех поэтов, делая особенно рельефной их драгоценную несхожесть.

И если Кушнер ощущает мир гармоничным и ясным, если для Бродского очевидна его отчаянная мрачность, то Рейн находит его прежде всего загадочным. Реальное и фантастическое переплетаются в его мире естественно и органично, отсылая порой к той разновидности «петербургской поэтики», что нам явлена в гумилевском «Заблудившемся трамвае», или в ахматовской «Поэме без героя», или, скажем, в мандельштамовском «Фазтонщике».

Однако Рейн не только фиксирует загадочность жизни, не только мастерски ее воспроизводит: остро чувствуя ее потенциальную опасность, он хотел бы в ней кое-что прояснить. Не отсюда ли, в частности, его постоянное стремление возвратиться назад, прийти, скажем, в старый, давно оставленный дом — в смутной надежде найти там былое и снова взглянуть на него:

— Зайдем, зайдем... А вот моя квартира
на семь жильцов, теперь она пустует,
вот комната на первом этаже ..

Ремонт, неразбериха, переделка.
Паркета нет, но есть еще обои
и крюк с лепниной, на котором долго
покачивался абажур...

В этих случаях Рейн никогда не торопится, рассаживается, осматривается, закуривает, но... загадки не убывают, а скорее множатся. А поэт, как ни странно, не особенно унывает, как бы даже радуясь такому финалу, тому, что тайна вопреки предпринятым усилиям остается при нем. И пусть она тревожит, тяготит, порою мучит, именно она, похоже, и привязывает к жизни, давая второе дыхание, расцветившая быт. Быт, прямо скажем, весьма непростой, выделяющийся даже на фоне традиционной ленинградской бедности.

Ведь обычным местом действия стихов ленинградских поэтов был не «ночной аэропорт в Нью-Йорке», как у иных московских коллег, а комната в коммунальной квартире, дощатая терраска на Финском заливе. Правда, у Кушнера эта комната всегда отличалась особой опрятностью, уютом: скатерка, шторы, зажженная лампа на письменном столе... У Бродского — хотя бы в силу известных обстоятельств — уютom, конечно, не пахло, отсюда и характерный сарказм: «Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу — да чешу котофея...» Однако у Рейна даже такого вот котофея быть не могло — по причине хронического отсутствия собственного угла. А если и возникала в его стихах какая-либо живность, то она неизменно чужая, приبلудная: «Прошел по подоконнику дворовый, немного мной прикармливаемый кот...»

Рейн вечно скитается по каким-то временным, случайным жилищам, за которые, бывает, нечем заплатить, — и эта деталь, простодушно им упомянутая, тревожит читательское сердце. И хотя в подобной неприютности, понятно, радости немного, порою кажется, что странные пристанища чем-то и милы поэту. Скорее всего именно своей диковинностью, странностью. Даже соседи, случайно оказавшиеся за стенкой, вызывают не раздражение, а интерес, становясь героями стихотворений, а бывают, и поэм.

Ближний неизменно загадочен для Рейна — и сосед, и приятель, и, конечно, возлюбленная. Но, пожалуй, главную тайну представляет собственная персона. Отсюда, похоже, и метафора, давшая название книге, — «темнота зеркал», говорящая о том, что автопортрет «перед зеркалом» (скажем, в духе Ходасевича) для Рейна едва ли возможен. Хотя время от

времени он пытается сделать кой-какие наброски. Вот один из них:

— Что же вы робко теснитесь под тентом, тени?
Все здесь ваше, а я заказал лишь столик.
Так раскните в плетеных креслах колени,
Громовержец, шептун, сластолюбец, стоик.

А что же к такой самохарактеристике добавим мы, прочитавшие и этот сборник Рейна и предыдущий? Множество определений приходит на ум, ведь он поразительно искренен с читателем. А впрочем, ограничиться можно одним только словом — поэт!

II. ТО ВРЕМЯ — ЭТИ ГОЛОСА. Ленинград. Поэты «оттепели». Сборник стихов. Составитель Майя Борисова. Л. «Советский писатель». 1990. 356 стр.

«Как, снова коллективный сборник? Кому он нужен? Читателю? Но покупают эти сборники неохотно. А что до поэтов... Зачем им лезть в общую кучу?...» — кто это, по-вашему, столь напористо нагнетает вопрос за вопросом? Нет, не придирчивый критик, а самолично составитель коллективного сборника, его главный инициатор, причем в первых же строчках своего предисловия. Нагнетает, движимый надеждой, что после прочтения книги сомнения эти развеются в прах.

Но, к сожалению, они остаются, хотя протест вызывает не идея как таковая (трудная, но выполнимая) объединить под одной обложкой с десятком поэтов, но сами принципы ее воплощения. В первую очередь главный, казалось бы, остроумный — взять и собраться своей прежней компанией, той, что собиралась когда-то на ленинградских поэтических вечерах. И хотя сложившееся содружество выглядит и сейчас весьма представителью: тут и Городницкий, и Британишский, и Кушнер, и Горбовский, и даже Соснора, — тем не менее оно оказалось куда уже той реальной компании поэтов, которой был славен тогда Ленинград.

Рейн, Уфлянд, Бродский... Они-то куда подевались? Без них ведь уж точно — «народ неполный». И хотя их имена фигурируют в книге — в посвящениях, в прозаических преамбулах к подборкам их коллег и сверстников, — самих стихотворений нет. А это означает, что торжественная вывеска «Ленинград. Поэты „оттепели“» лишь отчасти соответствует действительности.

Знаменитая ленинградская школа оказалась здорово обедненной и, кстати, обреченной на заведомый провал в соревновании с московской школой, соревновании не только подразумеваемом, но и продекларированном в предисловии к книге. Вспомним тогдашних московских молодых — столь сильно начинавших Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского... Хотя, конечно, и такой гипотетический томик, в мечтах столь блестящий, на деле легко провалить, если ограничиться, к примеру, только этой компанией, игнорируя других московских поэтов. Или, скажем, принять решение включать лишь неопубликованное, как это было сделано в ленинградском сборнике. Ведь именно таков был принцип отбора,

и в нем нам видится второй существенный изъян книги. Ведь многие стихотворения, не увидевшие свет по причине «крамольности», со временем утратили это свое главное, а иногда и единственное достоинство.

Таково, к примеру, стихотворение М. Борисовой «Мраморщик», с которым была связана когда-то шумная история. Написанное после разгрома художественной выставки в Манеже и прочитанное на поэтическом вечере в Ленинграде, оно вызвало нешуточные репрессии: кого-то уволили с работы, кому-то вlepили выговор... И вот читаем его через тридцать лет: идеи, будоражившие в то время умы, давно узаконены, острота ушла, обнажив ученическую неуклюжесть слога.

Все это не означает, естественно, что стихи «из запасников» заведомо слабы. Есть ведь поэты, которые просто не могут опуститься ниже определенной, неизменно высокой, отметки. Таков в первую очередь Кушнер, чья подборка без натяжки держит уровень его ранних книг.

Особый случай — Виктор Соснора, поэт, хорошо известный на Западе, но мало печатавшийся в России. «Я автор тридцати одной книги стихотворений... и все это не опубликовано», — довольно этично констатирует Соснора в кратком предисловии к собственной подборке, получившейся — а тут как раз было из чего выбрать — весьма интересной.

Приятное удивление вызывают стихотворения Горбовского — своей дерзостью, бесшабашностью, удалью, к тому же облагороженные изрядной долей иронии. Именно это, по-видимому, и выделяло его среди сверстников, но в дальнейшем почему-то выхолостилось из книг. И теперь уже не кажется странным, что именно Горбовский сочинил «Фонарики»... Да-да, ту самую знаменитую, по распространенному мнению народную, песню:

Когда качаются фонарики ночные
и темной улицей опасно вам ходить,
я из пивной иду,
я никого не жду,
я никого уже не в силах полюбить...

Велик соблазн, конечно, привести ее канонический текст целиком, но отсылаю к сборнику. Сборнику, в котором помимо Горбовского, Сосноры, Кушнера имеется еще немало авторов, представленных, к сожалению, гораздо бледнее. Преобладая чисто количественно, именно эти стихи определяют лицо книги, выход которой — при всем сочувствии к родившему ее энтузиазму — не назовешь удачей.

И. Винокурова.

*

ПУШКИН В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКЕ. Конец XIX — первая половина XX в. Составитель Р. А. Гальцева. М. «Книга». 1990. 527 стр.

В сознании русского общества Пушкин давно уже превратился в мифологического куль-

турного героя, родоначальника, первотворца, демиурга. С точки зрения рационально-исторической, такая мифологизация — плод поверхностного дилетантизма или религиозно-патетического восприятия истории. Но со стороны правил создания мифологических образов — все верно: никто, кроме Пушкина, не может претендовать на эту роль. Мы продолжаем писать на языке, выработанном в пушкинскую эпоху, и мыслить в категориях той европейской культуры, которая широко вошла в жизнь образованных сословий именно при Пушкине.

На мифе о Пушкине сошлись две крайности нашей жизни: интересы государства и духовные стремления «мыслящих личностей» (в том числе оппозиционных государству).

До 1917 года мерка казенности не особенно мешала пушкиноведческой мысли; после перемены власти мерка эта опустилась чем далее, тем ниже, вследствие чего вершиной советского пушкиноведения 30—50-х годов оказалась только текстология (наиболее серьезные академические работы Ю. Н. Тынянова, Б. В. Томашевского, Г. А. Гуковского изданы лишь в 60-е). Свободу мысли, превышающую казенную мерку, могли позволить себе лишь те, кто оказался тогда вне родины.

Из дореволюционных работ в книге помещены статьи В. С. Соловьева, Д. С. Мережковского, Л. Шестова, В. В. Розанова, М. О. Гершензона; остальные написаны в основном в эмиграции — статьи Вяч. И. Иванова, С. Н. Булгакова, А. В. Карташева, В. Н. Ильина, П. Б. Струве, И. А. Ильина, Г. П. Федотова, С. Л. Франк; в приложении напечатана короткая заметка В. Ф. Ходасевича. Пушкин для них трикрат русская тема (→ тема утраченной русской культуры: «...мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке» (Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник. Пг. 1921, стр. 45).

Ни один из них не был академическим пушкинистом — не готовил рукописей к печати, не составлял летописей жизни и творчества, не специализировался на поиске источников пушкинских цитат; к постижению Пушкина они шли от собственных историко-софских, эстетических, культурологических, религиозных представлений и познаний. Между тем в силу индивидуального совершенствования этих представлений и познаний каждый из них строит образ своего культурного русского героя. Как бы ни назывались статьи — «Судьба Пушкина», «Мудрость Пушкина», «Жребий Пушкина», «Лик Пушкина», — какие бы методологические принципы ни подвигались для строения этого образа (например, «метод медленного чтения» Гершензона), все равно интуиция вкупе с общей образованностью и талантливостью дают в результате судьбу и жребий телеологии Соловьева и Булгакова, мудрость, явленную Гершензоном, лик, узренный Карташевым.

«В кругу этих мыслителей обсуждаются три тайны Пушкина, — пишет в предисловии Р. А. Гальцева, — тайна творчества... тайна духа... тайна личности Пушкина». Можно дополнить: еще одна важ-

ная тайна, соединяющая большинство напечатанных в книге статей в единый диалог, — тайна России. Не переставая быть личным поэтом для каждого из этих мыслителей, Пушкин одновременно является средоточием путей, судеб, вех, глубин и идей самой русской жизни — жизни истории русского государства, русской нации, русской культуры, русской духовности, которые и были главным предметом их размышлений. В исследовании этой тайны они прямые наследники великих интерпретаторов Пушкина XIX столетия — Гоголя, Белинского, Ап. Григорьева, Достоевского. Прямо или косвенно в большинстве статей отзываются слова Гоголя, сказанные им еще при жизни Пушкина: «В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

«Пушкин таинственно стал alter ego России... В Пушкине открылся величественный лик самой России» (А. В. Карташев). Религиозное сознание Пушкина — «это есть в известном смысле проблема русского национального самосознания» (С. Л. Франк). «Пушкин был живым средоточием русского духа, его истории, его путей, его проблем, его здоровых сил и его больных узлов» (И. А. Ильин). «Пушкин — самый объемлющий и в то же время самый гармонический дух, который выдвинул был русской культурой» (П. Б. Струве). Если не учитывать внутреннюю логику религиозно-интуитивных прозрений, в подобных высказываниях можно увидеть своего рода клише и даже ощутить сходство с декларативными штампами советских школьных учебников литературы (при поправке на лексику и специфику идеологии). Но в данном случае за декларациями стоят действительные муча и отрада духовных исканий: написанное этими мыслителями о Пушкине — это нередко вариации сказанного ими о России в других работах. И едва ли не главная тема статей о Пушкине — антиномии русской жизни и русского национального самосознания: религиозность и неверие; православие и язычество; духовная стыдливость и задор цинизма; тоска по святой жизни и разгул страстей; томление до гармонии, тишине, покою и необуздываемые стихийные силы; поклонение свободе и консерватизм; вольнолюбие и имперский пафос — из этих антиномий складывается и образ Пушкина и образ России. Отличие в одном: жизнь Пушкина завершена, история России еще длится. Поэтому, читая Пушкина, метафизический мыслитель алчет угадать замысел Бога насчет жребия России. Поэтому пушкинское преодоление буйства — гармонией, революционности — консерватизмом, безверия — религиозностью, разгула — святостью — это одновременно как бы потенциальная возможность для России положительно разрешить мучительные противоречия — разрешить гармонией, религиозностью, святостью. Поэтому само явление Пушкина в русской культуре может вполне серьезно рассматриваться как залог мессианской сущности России, ее богоизбранности: «...иметь

такого поэта и пророка — значит иметь свыше великую милость и великое обетование» (И. А. Ильин). Верить в такое обетование, живя в 20—30-е годы где-нибудь в Париже или Берлине, зная, что происходит на родине, и помня, что русская история не имеет прецедентов благополучного разрешения своих антиномий, — это, конечно, величественная и грустная утопия.

А. Песков.

*

REVUE DES ÉTUDES SLAVES. Т. 59. ALEXANDRE PUCHKIN. Paris. 1987. 429 p.

Первенство в зарубежной пушкинистике сейчас принадлежит США и Западной Германии. В США, например, за последние 10—15 лет издано более, чем в какой-либо из романо-германских стран, монографий, специальных журнальных выпусков, сборников статей о Пушкине. Это капитальные труды по поэтике Пушкина Пола Дебречени и Савелия Сендеровича, отдельные пушкинские номера «Revue canadienne-américaine d'études slaves», «Russian language journal». А. И. и П. Д. Рит составили библиографию англоязычных работ о Пушкине. Наконец, в 1985 году в США вышел конкорданс пушкинской поэзии («Pushkin: a concordance to the poetry»; автор — Дж. Томас Шоо, многоопытный американский пушкинист; это расположенный в алфавитном порядке каталог всех слов во всех формах, употребленных поэтом, с указанием строк, где они встречаются).

Что же касается Франции, то 59-й том «Revue des études slaves» («Журнал исследований по славистике») — это единственное вышедшее здесь за те же 10—15 лет собрание научных статей, посвященное исключительно Пушкину. Конечно, нельзя сказать, что во Франции чуждаются Пушкина. Печатались новые переводы его произведений; в Лозанне (Швейцария) на французском языке вышел двухтомник Пушкина, подготовленный Е. Г. Эткиндром; во французских периодических изданиях опубликовано несколько статей о Пушкине; Пушкину посвящена диссертация Л. Удо, о Пушкине говорится в других диссертациях: об А. И. Тургеневе (М. Тьерри), о демонизме в русской литературе (Н. Зернов); во Франции напечатаны впервые «Прогулки с Пушкиным» А. Д. Снявского.

Но все-таки если в США или Западной Германии занятия Пушкиным и публикации работ о Пушкине стали уже системой, во Франции — пока нет, хотя, казалось бы, Франция — самое место для западного культурного центра пушкиноведения и потому, что именно здесь «аукалась» именем Пушкина первая после 1917 года русская эмиграция, и потому, что на уроженце Франции Дантесе лежит грех убийства Пушкина, но главное, конечно, потому, что «можно ли представить себе путь Пушкина без французской революции, без наполеоновской эпопеи, без поэтов и мыслителей XVIII столетия, без Вольтера, Парни и Андре Шенье, без Беранже, Мюссе,

Сент-Бёва, Ламартина, Мильвуа, Жермены де Сталь, Шатобриана, без Монтескье и Токвиля?» — так риторически спрашивает составитель пушкинского тома «Revue...» Е. Г. Эткинд. Не знаю подробностей распространения пушкиноведения во Франции за последние три-четыре года, но если Е. Г. Эткинду хватает энергии для собирания и в будущем подобных сборников, ему, безусловно, будет принадлежать честь создания в отечестве Вольтера и Парни нового пушкиноведческого центра.

Надо сказать, что 59 том «Revue...» выдержан в стиле и духе лучших традиций русской академической пушкинистики — имею в виду пушкинистику как область конкретных историко-литературных исследований. Если подыскивать современный эквивалент этому сборнику в отечестве Пушкина, пожалуй, следует назвать серию «Пушкин. Исследования и материалы», выпускаемую Пушкинским Домом. Но уж если книги этой серии — библиографическая редкость (из-за малого тиража), то издание «Revue...» — просто раритет.

Открывается том рассказом ныне уже покойного балетмейстера Парижской оперы С. М. Лифаря (в записи Е. Г. Эткинда и Р. Кембалла) об организации первой европейской выставки, посвященной Пушкину, в 1937 году в Париже. Далее идут статьи и заметки пушкинистов, живущих во Франции, Англии, Западной Германии, США, Канаде, Израиле, Швеции. Авторы статей — Е. Г. Эткинд, И. З. Серман, С. Сендерович, Ф. Раскольников, Л. Шур, С. Давыдов, У. Виккери (статьи этих авторов напечатаны на русском языке, прочие — на французском), А. Маркович, Р.-Д. Кайль, И. Меньё, Р. де Понфильи, Р. Кембалл, М. Тьерри, А. Книгге, Л. Мартинес, М. Кадо, Ж.-Л. Бакс, Ж. Бонамур, Е. Анри, А. Моннье, В. и А. Береловичи, Р. Гейро. Темы статей: Пушкин, Сент-Бёв и А. Дешан; Пушкин и Флориан; метапереводы Пушкина; самозванцы у Пушкина; Франция в рисунках Пушкина; Пушкин в записках А. О. Смирновой-Россет; Пушкин и Александр Тургенев; пушкинские проекты бегства за границу в 1824—1826 годах; Пушкин и Грибоедов как реформаторы русской драматургии; принцип противоречий у Пушкина; время в «Евгении Онегине»; первый номер «Современника» как самостоятельная книга Пушкина; опыт реконструкции последнего лирического цикла Пушкина («Отцы пустыньники...», «Подражание италиянскому» и т. д.); поэтика малых трагедий, «Пиковой дамы», «Выстрела», «Бесов», стихотворений «Румяный критик мой...», «Я вас любил...», «Стамбул гяуры нынче славят...». Помещены новые переводы на французский двадцати стихотворений Пушкина.

Словом, в высшей степени академическая книга, венчаемая пятьюдесятью страницами архивных разысканий Л. Шура, в том числе «Из истории поисков во Франции материалов о дуэли и смерти Пушкина. По документам архива Андре Мазона» — письма А. А. Шахматова, Б. Л. Модзалевского и П. Е. Шеголева к А. Мазону, и двадцатью страницами библиографии пушкиноведения за 1975—1985 го-

ды на Западе. Завершается том рецензией на московскую книгу 1984 года Н. Я. Эйдельмана «Пушкин: история и современность в художественном сознании поэта».

Конечно, сказать, что каждая из статей и заметок — абсолютно новое слово в пушкиноведении, нельзя. Вряд ли такое вообще можно сказать о нормальном академическом пушкиноведении: новизна здесь сегодня измеряется не открытиями, а накоплением материалов и интерпретаций. Не в расчете вообще можно сказать о нормальном академическом пушкиноведении: новизна здесь сегодня измеряется не открытиями, а накоплением материалов и интерпретаций. Не в расчете вообще можно сказать о нормальном академическом пушкиноведении: новизна здесь сегодня измеряется не открытиями, а накоплением материалов и интерпретаций. Не в расчете вообще можно сказать о нормальном академическом пушкиноведении: новизна здесь сегодня измеряется не открытиями, а накоплением материалов и интерпретаций.

С. М. Лифарь вспоминал, как, готовя Пушкинскую выставку 1937 года, обратился к Жану Кокто сделать афишу: «Понимаете, для меня это означало — связать французскую поэзию с русской; ведь Пушкин убил французом, а вот теперь пусть французы чествуют нашего Пушкина!» Жан Кокто сразу же: «А кто такой Пушкин?» — ...не знал. Никто не знал... И Валери не знал. В 36-м году я устраивал спектакль в честь Пушкина. И я написал ему речь, которую он там произнес. А до этого не знал» («Review...», стр. 15).

Пятьдесят с небольшим лет с той поры прошло. Пушкинистика стала международной. Что же до уровня, то он на Западе уже достаточно высок — и за счет собственных специалистов, и в немалой мере за счет притока туда русской «академической» эмиграции 70—80-х годов.

Алекс Сэндоу.

*

А. Н. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». М. «Высшая школа». 1990. 95 стр.

В 1989 году, готовя свой этюд о «Медном Всаднике» к печати, А. Н. Архангельский как-то обронил, что по выходе книжки хотел бы «послушать старших» («Литературное обозрение», 1989, № 6, стр. 16). Что сказали старшие — не знаем, а мнение младших готовы предложить. П о с л у ш а т ь — словечко, очень определяющее тип творчества самого Архангельского. Именно умение слушать чужое слово и вникать в образ мысли другого человека — один из явных его талантов. Чужой текст для него не источник самовыражения.

Конечно, соединение исторического и современного в одной голове накладывает свой отпечаток, и поэтому когда Архангельский обращается к истории литературы прошедших столетий, его нельзя заподозрить только в академических намерениях. В данном случае для разборов и размышлений выбран пушкин-

ский текст, прямо проецирующийся на современную общественную ситуацию. «Медный Всадник» бьет в самое больное место русской жизни, начинающее болеть при всех социальных обострениях: это противоречие государственности и человека, власти и подданного.

Существуют три основных мнения при определении позиции Пушкина в «Медном Всаднике»: 1) «Медный Всадник» — это пушкинская «апофеоза» Петра Великого и обоснование права государственной власти распоряжаться судьбой отдельной личности; 2) Пушкин стоит на стороне бедного Евгения; 3) конфликт государства и личности, по идее Пушкина, неразрешим. Архангельский предлагает особое толкование: «Пушкин... может, любя героев, не соглашаться ни с одним из них и, показывая их (хотя и неравную) неправоту, намечать путь к *своей* истине...». Архангельский подходит к центральному противоречию через пушкинскую поэтику, а конкретно — через анализ жанровых архетипов «Медного Всадника» (оды и идиллии), являющихся поэтическими аналогами ролей государственной власти и частного лица. Образ Всадника представлен, по идее Архангельского, поэтикой торжественной оды, а образ Евгения — поэтикой идиллии. (При этом мир идиллии Архангельский оценивает, явно опираясь на работу М. М. Бахтина о романтных хронотпах, а общие принципы жанрово-стилевого анализа «Медного Всадника» основаны на идеях Л. В. Пумпянского.)

Исторический же вывод Архангельского можно назвать принципиально новым — на фоне тех трех концепций «Медного Всадника», о которых шла речь выше. В стихотворении «Пир Петра Первого» (1835) Архангельский нашел и продолжение жанровой «игры» одой и идиллией, и пушкинское разрешение «невстреч» человека и государства, и выход из неодолимого в рамках «Медного Всадника» противостояния власти и подданных: «„*Пир Петра Первого*” стал разрешением конфликтов „*Медного Всадника*” — идейных, стилистических, жанровых. По мысли Пушкина, государство должно стать гуманным, ориентированным на личность человека, а тот, в свою очередь, призван возвысить свой дух до трагических высот истории; только в сущностном единении частное и общественное могут дать спасительный выход из противоречий русской жизни, подобно тому как ода и идиллия, объединившиеся в жанровом составе „*Пира Петра Первого*”, рождут новую художественную гармонию» (стр. 73; курсив автора). Может быть, вывод и упрощающий исторического Пушкина (все-таки Пушкин не был утопистом), зато прямо связующий нашу историю с жизнью сегодняшней. Какой же русский не любит мечтать о такой гармонии?

А. В. Давидян, А. В. Жуковская.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ*

*

ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Париж — Нью-Йорк. — Москва. № 158 (I — 1990). 306 стр.

Номер открывается заметкой главного редактора журнала Н. А. Струве «Памяти Сахарова». В разделе «Богословие — Философия» напечатаны доклад неромонаха Иоанна (Экономцева) «Национально-религиозный идеал и идея империи в петровскую эпоху», статья прот. Иоанна Мейендорфа (США) «Святейший патриарх Тихон, служитель единства Церкви», Дмитрия Поспеловского (Канада) «Митрополит Сергей и расколы справа» и другие материалы. Публикуется неизвестная статья Владимира Соловьева «Церковные дела. Письмо первое». Заканчивается публикация прот. Сергея Булгакова «Расизм и христианство» (начало № 156 и 157). Раздел «Литература и жизнь» открывается стихами и переводами Сергея Аверинцева. Столетию Бориса Пастернака посвящена анкета, на которую отвечает Ю. Кублановский, Олеся Николаева, О. Раевская-Хьюз, Н. Струве, Б. Филиппов и Л. Флейшман; публикуется письмо поэта профессору П. С. Когану (1924) в защиту молодого тогда Н. Н. Вильяма-Вильмонта. Обращают на себя внимание выдержки из дневников Бориса Поплавского.

ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Париж — Нью-Йорк — Москва. № 159 (II — 1990). 316 стр.

Нам особенно интересно отметить критические размышления А. Н. Паршина, анализирующего статью В. Н. Тростникова «Научна ли научная картина мира?», опубликованную в «Новом мире» (1989, № 12). В богословском разделе публикуется доклад монахини Елены о св. Александре Невском, материалы о духовной дочери о. Сергея Булгакова сестре Иоанне Рейтлингер и о философе А. А. Мейере,

* В этом номере мы аннотируем номера журналов, которые с 1990 года распространяются по подписке на территории СССР. — *Ред.*

письма о. Павла Флоренского. О проблемах Церкви пишут Д. Поспеловский (Канада), прот. Р. Кондратик (США). Публикуется письмо архиеп. Иоанна Шаховского прот. Александру Трубникову «Нужно ли канонизировать Николая II?». Н. А. Струве публикует письма С. Л. Франка князю Г. Н. Трубецкому. Завершают номер материалы «Памяти о. Александра Меня» и заметка о выставке издательства УМСА-PRESS в московской Библиотеке иностранной литературы осенью 1990 года.

ГРАНИ. Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. № 155. 1990. 327 стр.

Основным литературным произведением этого номера, поступившего в Москву из Франкфурта-на-Майне, является повесть ныне уже широко известного Леонида Бородина «Женщина и море», одновременно публикуемая в журнале «Юность» (1990, № 1). Поэзия представлена подборками Юрия Кублановского и Лии Владимировой. Представляют определенный интерес четыре письма Марины Цветаевой 1940 года детской писательнице Л. В. Веприцкой (публикация и предисловие Игнатия Шенфельда). Два письма И. Е. Репина свидетельствуют, как считает их публикатор Валентина Синкевич, о религиозной настроенности в поздний период жизни художника. Очерк Владимира Запещкого «Колпашевский яр» рассказывает, как в 1979 году в Колпашеве были найдены и уничтожены массовые захоронения сталинских узников. Ю. Фельштинский представляет воспоминания немецкого дипломата Карла Гельфериха о его миссии в Москву в 1918 году сразу после убийства посла Мирбаха. Общее впечатление: все материалы номера могли бы быть свободно напечатаны в 1990 году в советской прессе, не исключая, пожалуй, даже рецензию В. Голицына на книгу Екатерины Андреевой «Власов и Русское освободительное движение».

Составитель А. В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всем вопросам подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати». Цена одного номера по подписке на 1992 г. — 4 руб. 70 коп., за год — 56 руб. 40 коп.

Главный редактор С. П. Зальпин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Д. А. Гранин, И. Я. Зедонис, В. А. Костров (зам. главного редактора), Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко

Технический редактор А. Гимзбург

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 29.05.91 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир»
Подписано к печати 9.08.91 г. Формат бумаги 70 × 108 1/16. Бумага кн.-журн. Offset-печать. Объем 16 п. л.
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 894 000 экз. (2-й завод 359 001—609 000 экз.). Зак. 91420101 Цена 2 р. 10 к.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов СССР»,
103798, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Изготовлены диапозитивы в издательско-производственном объединении «Автор».

Отпечатано в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна»,
252000, Киев-47, проспект Победы, 50.

**«Новый мир» до конца текущего и
в 1992 году предполагает опубликовать:**

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман);
ПЕТР БАЛАКШИН. Финал в Китае (фрагменты книги);
ЛЕОНИД БЕЖИН. Калоши счастья (записки случайного философа);
АНДРЕЙ БИТОВ. Япония как она есть (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Кудыч (повесть);
В. ГАВРИЛИН. Мысли о музыке;
В. ДОМОГАЦКИЙ. Кладовка (попытка консервации);
И. А. ИЛЬИН. О сопротивлении злу (из философского наследия);
АНАТОЛИЙ КИМ. Кентавр (роман); **Рассказы;**
М. КУРАЕВ. Зеркало Монтачки (повесть);
АЛЛА ЛАТЫНИНА. Что разрушать и что консервировать?
ЛЕВ ЛОСЕВ. Новые стихи;
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. И Аз воздам (роман);
ФРАНСУА МОРИАК. Во что я верю (перевод с французского);
П. И. НОВГОРОДЦЕВ. Из философского наследия;
МАРИНА ПАЛЕЙ. Рассказы;
**ПЕРЕПИСКА БОРИСА ПАСТЕРНАКА
С ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙАР;**
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Время ночь (повесть); **Рассказы;**
МИХАИЛ РОЩИН. Америка (фрагменты книги);
Н. САРРОТ. Дар речи (перевод с французского);
ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери (роман);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом (новые главы «очерков литературной жизни»); **Апрель Семнадцатого** (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);
АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ. Из философского и поэтического наследия;
ПИТИРИМ СОРОКИН. Современное состояние России (из наследия);
ДАНИИЛ ХАРМС. Дневники;
ИГОРЬ ЧИННОВ. Заморские земли (стихи);
а также другие произведения.
Следите за нашими анонсами.

В 1992 году в журнале появится новый цикл «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ XX ВЕКА: ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ»; будут продолжены публикации под рубрикой «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР».